Денис Давыдов

Надежда Дурова

сочинения

Денис Давыдов

Сочинения

Надежда Дурова



Денис Давыдов

Надежда Дурова

Сочинения

МОСКВА
ИЗДАТЕЛЬСТВО «ПРАВДА»
1987

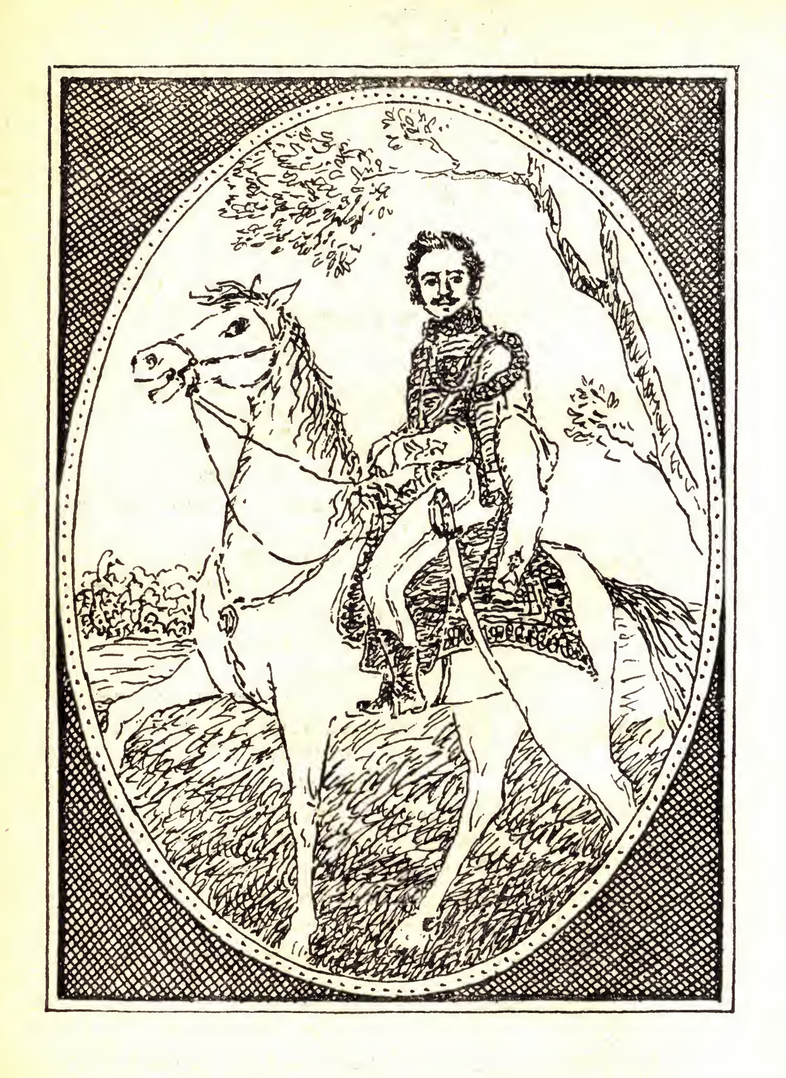
84 Р 1
Д 13

Составление
В. П. Коркия

Послесловие
Л. И. Емельянова

Д $\frac{4702010100 - 1295}{080(02) - 87}$ 1295—87

Денис Давыдов





ГОЛОВА И НОГИ

Уставши бегать ежедневно
По грязи, по песку, по жесткой мостовой,
Однажды Ноги очень гневно
Разговорились с Головой:
«За что мы у тебя под властию такой,
Что целый век должны тебе одной повиноваться;
Днем, ночью, осенью, весной,
Лишь вздумалось тебе, изволь бежать, таскаться
Туда, сюда, куда велишь;
А к этому еще, окутавши чулками,
Ботфортами да башмаками,
Ты нас, как ссылочных невольников, моришь
И, сидя наверху, лишь хлопаешь глазами,
Покойно судишь, говоришь
О свете, о людях, о моде,
О тихой иль дурной погоде;
Частенько на наш счет себя ты веселишь
Насмешкой, колкими словами,—
И, словом, бедными Ногами
Как шашками вертишь».
«Молчите, дерзкие,— им Голова сказала,—
Иль силою я вас заставлю замолчать!..
Как смеете вы бунтовать,
Когда природой нам дано повелевать?»
«Всё это хорошо, пусть ты б повелевала,
По крайней мере нас повсюду б не швыряла,
А прихоти твои нельзя нам исполнять;
Да, между нами ведь признаться,
Коль ты имеешь право управлять,

Так мы имеем право спотыкаться
И можем иногда, споткнувшись — как же быть,—
Твое Величество об камень расшибить».

Смысл этой басни всякий знает...
Но должно — тс! — молчать: дурак — кто всё
болтает.

1803

РЕКА И ЗЕРКАЛО

За правду колкую, за истину святую,
За сих врагов царей,— деспóт
Вельможу осудил: главу его седую
Велел снести на эшафот.
Но сей успел добиться
Пред грозного царя предстать —
Не с тем, чтоб плакать иль крушиться,
Но, если правды не боится,
То чтобы басню рассказать.
Царь жаждет слов его; философ не страшится
И твердым гласом говорит:
«Ребенок некогда сердился,
Увидев в зеркале свой безобразный вид:
Ну в зеркало стучать, и в сердце веселился,
Что может зеркало разбить.
Наутро же, гуляя в поле,
Свой гнусный вид в реке увидел он опять.
Как рéку истребить? — Нельзя, и поневоле
Он должен был и стыд и срам питать.
Монарх, стыдись! Ужели это сходство
Прилично для тебя?..
Я — зеркало: разбей меня,
Река — твое потомство:
Ты в ней найдешь еще себя».

Монарха речь сия так сильно убедила,
Что он велел ему и жизнь и волю дать...
Постойте, виноват! — велел в Сибирь сослать,
А то бы эта быль на басню походила.

1803

ОРЛИЦА, ТУРУХТАН И ТЕТЕРЕВ

Орлица
Царица
Над стадом птиц была,
Любила истину, щедроты изливала,
Неправду, клевету с престола презирала.
За то премудрою из птиц она слыла,
За то ее любили,
Покой ее хранили.
Но наконец она Всемощною Рукой,
По правилам природы,
Прожив назначенные годы,
Взята была судьбой,
А попросту сказать — Орлица жизнь скончала;
Тоску и горести на птичий род нагнала;
И все в отчаяньи горчайши слезы льют,
Унылым тоном
И со стоном
Хвалы покойнице поют.
Что сердцу горестно, легко ли то забыть?
Слеза — души отрада
И доброй памяти награда.
Но — как ни горестно — ее не возвратить...
Пернаты рассуждают
И так друг друга уверяют,
Что без царя нельзя никак на свете жить
И что царю у них, конечно, до́лжно быть!
И тотчас меж собой совет они собрали
И стали толковать,
Кого в цари избрать?
И наконец избрали...
Великий боже!
Кого же?
Турухтана!
Хоть знали многие, что нрав его крутой,
Что будет царь лихой,
Что сущего тирана
Не надо избирать,
Но до́лжно было потакать —
И тысячу похвал везде ему трубили:
Иной разумным звал, другие находили,
Что будет он отец отечества всего.

Иные клали всю надежду на него,
Иные до небес ту птицу возносили,—
И злого петуха в корону нарядили.
А он —
Лишь шаг на трон,
То хищной тварью всей себя и окружил:
Сычей, сорок, ворон — в павлины нарядил,
И с сею сволочью он тем лишь забавлялся,
Что доброй дичью всей без милости ругался:
Кого велит до смерти заклевать,
Кого в леса дальнейшие сослать,
Кого велит терзать сорокопуту —
И всякую минуту
Несчастья каждый ждал,
Томился птичий род, стонал...
В ужасном страхе все, а делать что — не знают!
«Виновны сами мы,— пернаты рассуждают,—
И, знать, карает нас вселенные творец,
За наши каверзы, тираном сим вконец,
Или за то, что мы в цари избрали птицу —
Кровопийцу!..»
И в горести они летят толпой к леску
Размыкать там свою смертельную тоску.
Не гимны, Турухтан, тебе дичина свищет,
Возмездия делам твоим тиранским ищет.
Когда народ стенёт, всяк час беда, напасть,
Пернаты, знать, злодейств терпеть не станут боле!
Им нужен добрый царь,— ты ж гнусен на
престоле!
Коль необуздан ты — твоя несносна власть!
И птичий весь совет решился,
Чтоб жизни Турухтан и царствия лишился.
К такому приступить гораздо делу трудно!
Однако как же быть?
Казалось многим то безумно,
Но чем иным переменить?..
Ужасно действие и пропасть в нем греха!
Да, как ни есть,
Свершили месть —
Убили петуха!
Не стало Турухтана,—
Избавились тирана!

В восторге, в радости, все птицы вне себя,
Злодея истребя,
Друг друга лобызают
И так болтают:
«Теперь в спокойствии и неге заживем,
Как птицу смирную на царство изберем!»
И в той сумятице на трон всяк предлагает:
Кто гуся, кто сову, кто курицу желает,
И в выборе царя у птиц различный толк.
О рок!
Проникнуть можно ли судеб твоих причину?
Караешь явно ты пернатую дичину!
И вдруг сомкнулись все, во всех местах запели,
И все согласно захотели,
Чтоб Тетерев был царь.
Хоть он глухая тварь,
Хоть он разиня бестолковый,
Хоть всякому стрелку подарок он готовый,—
Но все в надежде той,
Что Тетерев глухой
Пойдет стезей Орлицы...
Ошиблись бедны птицы!
Глухарь безумный их —
Скупяга из скупых,
Не царствует — корпит над скопленной добычью
И управлять другим несчастной отдал дичью.
Не бьет он, не клюет,
Лишь крохи бережет.
Любимцы ж царство разоряют,
Невинность гнут в дугу, срамцов обогащают...
Их гнусной прихотью кто по́ миру пошел,
Иной лишен гнезда — у них коль не нашел.
Нет честности ни в чем, идет все на коварстве,
И сущий стал разврат во всем дичином царстве.

Ведь выбор без ума урок вам дал таков:
Не выбирать в цари ни злых, ни добрых петухов.

1804

БУРЦОВУ

Призывание на пунш

Бурцов, ёра, забияка,
Собутыльник дорогой!
Ради бога и... арака
Посети домишко мой!
В нем нет нищих у порогу,
В нем нет зе́ркал, ваз, картин.
И хозяин, слава богу,
Не великий господин.
Он — гусар, и не пускает
Мишурою пыль в глаза;
У него, брат, заменяет
Все диваны куль овса.
Нет курильниц, может статься,
Зато трубка с табаком;
Нет картин, да заменятся
Ташкой с царским вензелём!
Вместо зеркала сияет
Ясной сабли полоса:
Он по ней лишь поправляет
Два любезные уса.
А на место ваз прекрасных,
Беломраморных, больших,
На столе стоят ужасных
Пять стаканов пуншевых!
Они по́лны, уверяю,
В них сокрыт небесный жар.
Приезжай, я ожидаю,
Докажи, что ты гусар.

1804

БУРЦОВУ

В дымном поле, на биваке
У пылающих огней,
В благодетельном араке
Зрю спасителя людей.
Собирайся в круговую,
Православный весь причёт!

Подавай лохань златую,
Где веселие живет!
Наливай обширны чаши
В шуме радостных речей,
Как пивали предки наши
Среди копий и мечей.
Бурцов, ты — гусар гусаров!
Ты на ухарском коне
Жесточайший из угаров
И наездник на войне!
Стукнем чашу с чашей дружно!
Нынче пить еще досужно;
Завтра трубы затрубят,
Завтра громы загремят.
Выпьем же и поклянемся,
Что проклятью предаемся,
Если мы когда-нибудь
Шаг уступим, побледнеем,
Пожалеем нашу грудь
И в несчастьи оробеем;
Если мы когда дадим
Левый бок на фланкировке,
Или лошадь осадим,
Или миленькой плутовке
Даром сердце подарим!
Пусть не сабельным ударом
Пресечется жизнь моя!
Пусть я буду генералом,
Каких много видел я!
Пусть среди кровавых бóев
Буду бледен, боязлив,
А в собрании героев
Остр, отважен, говорлив!
Пусть мой ус, краса природы,
Черно-бурый, в завитках,
Иссечется в юны годы
И исчезнет, яко прах!
Пусть фортуна для досады,
К умножению всех бед,
Даст мне чин за вахтпарады
И георгья за совет!
Пусть... Но чу! гулять не время!

К ко́ням, брат, и ногу в стремя,
Саблю вон — и в сечу! Вот
Пир иной нам бог дает,
Пир задорней, удалее,
И шумней, и веселее...
Ну-тка, кивер набекрень,
И — ура! Счастливый день!

1804

ГУСАРСКИЙ ПИР

Ради бога, трубку дай!
Ставь бутылки перед нами,
Всех наездников сзывай
С закручёнными усами!
Чтобы хором здесь гремел
Эскадрон гусар летучих,
Чтоб до неба возлетел
Я на их руках могучих;
Чтобы стены от *ура*
И тряслись и трепетали!..
Лучше б в поле закричали...
Но другие горло драли:
«И до нас придет пора!»
Бурцов, брат, что́ за раздолье!
Пунш жестокий!.. Хор гремит!
Бурцов, пью твое здоровье:
Будь, гусар, век пьян и сыт!
Понтируй, как понтируешь,
Фланкируй, как фланкируешь:
В мирных днях не унывай
И в боях качай-валяй!
Жизнь летит: не осрамися,
Не проспи ее полет,
Пей, люби да веселися! —
Вот мой дружеский совет.

1804

ДОГОВОРЫ

Довольно... я решен: люблю тебя... люблю.
Давно признанию удобный миг ловлю,
И с уст трепещущих слететь оно готово.
Но взглянешь ты — смущаюсь я
И в сердце робкое скрываю от тебя
Всё бытие мое, вмещающее слово.
Бегу тебя... вотще!.. полна
Безумная душа тобою,
В мечтах бессонницы и в жарких грезах сна,
Неотразимая! ты всюду предо мною.
Прилично ль это мне? — Прошла, прошла пора
Тревожным радостям и бурным наслажденьям,
Потухла в сумраке весны моей заря;
Напрасно предаюсь привычным заблужденьям,
Напрасно! — мне ль тебя любить?
Мне ль сердце юное к взаимности склонить?
Увы, не в сединах сердца обворожаешь!

Всё правда!.. но вчера... ты знаешь...
Могу ли позабыть наш тайный разговор!
Ты резвостью мила; но вздох, но томный взор,
Но что задумчивость твоя мне обещают?
Сказать ли всё тебе? Уж в свете примечают,
Что ты не так резва, беспечна и меня
Безмолвно слушаешь. Вчера рука твоя
Моей не покидала.
Она в руке моей горела, трепетала,
И ты глядела — на кого?
Глядела на меня, меня лишь одного...
Я видел всё... да, я любим тобою!
Как выражу восторг я сердца моего?

Теперь заранее нам дóлжно меж собою
Согласно начертать сердечный договор;
Мы тем предупредим семейственный раздор,
Неудовольствия и неизбежны споры.
Вот *первая статья:*
Мы будем жить одни, глаз нá глаз, ты да я.
Здесь тьма насмешников, которых разговоры
Кипят злословием; ехидных языков
Я, право, не боюсь; но модных болтунов,

Кудрявых волокит, с лорнетами, с хлыстами,
С очками на носу, с надутыми брыжжами —
Как можно принимать? — Нет, без обиняков,
Нет, нет, решительно: отказ им невозвратный!
И для чего нам свет и чопорный и знатный,
Рой обожателей и шайка сорванцов?
К чему, скажи ты мне, менять нам тихий кров
И мирную любви обитель
На шумный маскарад нахалов и шутов?
Бог с ними! что́ до них! я обществ не любитель
И враг любезникам. Могу ль переносить
И угождения, и в дружбе уверенья
Вертлявых шаркунов? Имеешь позволенье
Раз в месяц... два раза̀ — принять и угостить
Мне с детства моего знакомого соседа
Семидесяти лет. О, как его беседа
Полезна для души! Какой он явный враг
Всем ветреным забавам, развлеченьям,
Пирам, и праздникам, и светским угожденьям.

Итак, мой сделан первый шаг,
И первая статья написана. *Вторая*:
Прошу театр не посещать.
Но это — жертва не большая:
Ах, нам ли время убивать,
За наслаждением искусственным стремиться?
Миг дорог для любви! Мой друг, мой юный друг,
Минута праздная чем может наградиться?
К тому ж, что видим мы в театрах? — Малый круг
Разумных критиков, а прочие — зеваки,
Глупцы, насмешники, невежды, забияки.
Открылся занавес: неистовый герой
Завоет на стихах и в бешенстве жеманном
Дрожащую княжну дрожащею рукой
Ударит невпопад кинжалом деревянным;
Иль, небу и земле отмщением грозя,
Пронзает грудь свою и, выпуча глаза,
Весь в клюквенном соку, кобенясь, умирает...
И ужинать домой с княжною уезжает.
Комедия тебя неужто веселит?
Чему учиться в ней? — лукавствовать, смеяться
Над добрыми людьми? Но можно ль забавляться
Несчастьем ближнего? — Там старичок смешит,

Что поздно полюбил,— но кто повелевает
Волнением страстей? Там мужа наряжает
Прической модною прелестная жена —
И муж бодается; насмешка не одна
Язвит любовников ревнивых!..
Что́ тут веселого? — К тому ж не вижу ль я
Опять соборища слепцов многоречивых!
Куда деваться мне? куда укрыть тебя
От жадных взглядов их и уст медоточивых?
Уж вот они,— шумят! Уж в ложе,— боже мой!..
Уж пять *наездников* меж мною и тобой...
И вот еще один теснится с извиненьем...
И я у притолки! — Любезные слова
Их слушать осужден с досадой, с нетерпеньем...
Молчу! Что́ делать мне? — Супружние права
Теряют действие в собраньях многолюдных.
Но зрелищу конец, и мы идем с толпой
К подъезду... ах, и тут не легче жребий мой:
И тут я сволочью нахалов безрассудных
Затолкан до́ смерти! Они спешат, летят,
Усердствуют тебе и руку предлагают...
Возможно ль отказать? Учтивость, говорят,
Отказам первый враг. Глаза мои теряют
Тебя средь моря шуб, капотов, сертуков,
И шляп с султанами, и шапок, и чепцов!
Не черти ли назло мне путь пересекают,
Везде препятствия! — и я один брожу...
Нет, именем любви тебя прошу
Забыть навек театр, любви моей опасный!
Не всё, не всё еще: танцуешь ты прекрасно,
Я знаю; *но тебе на ба́лах не бывать.*
Как, будешь ты на бал заране наряжаться,
С намереньем приготовляться,
Чтоб нравиться другим, прельщать, обворожать?..
Так, стало, для других и локоны волнисты
Завьются? Для других и яхонты огнисты,
Алмазы яркие зажгутся в волосах,
Всё это для других? — И в золоте, в лучах,
Богиня празднества, кадимая жрецами
И упоенная мольбами и хвалами,
Из жалости одной взор бросишь на того,
Кто более всех любит, и кого
Ты не нарядами, не блеском привлекаешь,

Но сердцем, но умом, но скромностью пленяешь!..
Но вальсы начались. На вальс тебя просить
Подходит юноша. Он, с видом боязливым,
        Бродящим взором, торопливым,
Окинул общество и взор остановить
Решился на тебе... И кто не восхитится,
Увидевши тебя! Уж он с тобой вертится...
Злодей! Уж он, обняв твой гибкий, стройный стан,
Летает... до́ полу из милости касаясь,
И ты лицо с лицом!.. А я?.. я, разрываясь,
Опять у притолки! А я? Опять в обман
Попался! Думал быть с тобою неразлучен,
Ждал удовольствия — теперь несносен, скучен,
В отчаянье, взбешен! — Но вальса вихрь утих,
И ты спешишь ко мне, чтоб перевесть дыханье.
Я ожил, я забыл и горе и страданье,
Но, ах, надолго ли? — Рой франтов молодых
В погоне за тобой, и ты с одним из них —
Прекраснейшим, любезнейшим... Нет, полно!
Нет, *балы позабудь!..* Утешь меня!.. Довольно
Измучен уже я одной мечтой моей!
Для рассудительных, бесчувственных людей
Я странен, может быть? Что ж делать, друг мой милый,
Могу ли быть тебе несносен от того?
Не я виновен в том. Я сердца моего
      Могу ль избавиться? Какою силой
        Дам чувства новые ему?
Мне скажут: я тебя на скуку осуждаю,
        Твой дом — в безлюдную тюрьму,
Столицу — в монастырь пустынный обращаю...
О нет! я сам хочу, чтоб всюду за тобой
Утехи, радости стремилися толпой...
Но я покой люблю, но скромность обожаю...
И потому *тебя в деревню призываю.*
Огромны здания не нужны нам с тобой:
Чертог, украшенный искусною рукой,
      Очаровательный, чудесный,
Не так мне нравится, как сельский домик тесный,
Но светлый и простой; я тесноту люблю:
Боюсь далеко жить от той, с кем жизнь делю!
В одной же горнице кто шепчет, кто вздыхает,
Кто стукнет, заскрыпит, на цыпочках ступает,—

Я вижу, слышу, знаю всё —
И сердце от того спокойнее мое.
Чего ж еще желать блаженства к дополненью?
Во вкусе а́нглийском, простом,
Я рощу насажу, она окру́жит дом,
Пустыню оживит, даст пищу размышленью;
Вдоль рощи побежит струистый ручеек;
Там ивы гибкие беседкою сплетутся;
Березы над скамьей, развесившись, нагнутся;
Там мшистый, темный грот, там светленький лужок.
И даже огород приманит нас порою
Своей роскошною и скромной простотою.
Мы будем счастливы природой и собой!
Не далеко межа пустынников владенью...
Но сколько места в нем живому наслажденью!
Бог с ними, с бла́гами роскошных гордецов!
Им мир и блеск мирской — нам угол и любовь.
Друзья, товарищи трудов моих смиренных —
Кто будут? Жители села с простым умом;
Ум сто́ит остроты: в невежестве своем
Они почтеннее людей высокомерных,
Которых называть опасно... Замолчу!..
Итак, с тобою я в деревню полечу,
Забывши светские печальные забавы,
И общежитие, и модные уставы.
О, сколько радости нас ожидает там!
Скитаться будем мы по рощам, по горам,
Куда глаза глядят... Но только всё со мною,
Не разлучаяся, рука с рукою.
Найдем красивый вид; мы, восхищаясь им,
Приостановимся и взоры усладим,
И сердце сладкими наполнится мечтами...
Но вечереет день, уж солнце за горами,
И сумрак стелется; мы тихою стопой
Идем, задумавшись, с растроганной душой,
Спокойны, сча́стливы. Деревню переходим,
Но мимо хижины убогой не проходим;
Там скорбь безмолвную ты в рубище найдешь...
Смотри: мать бледная с детьми к тебе теснится;
Ты всем несчастным друг, ты помощь им даешь,
И жаркая слеза из глаз твоих катится.
Так дни проводишь ты. Там щедрою рукой
Даришь приданое невесте молодой;

Там старца дряхлого ты лёта уважаешь:
Почетную скамью на свадьбе уступаешь;
И в скромном платьице, без вычурных чудес,
Ты всем являешься посланницей небес.
Так в радостях любви мы дней не замечаем,
Так жизнь летящую в блаженство обращаем.
Ратификации трактату моему
Я с нетерпеньем жду. Доверься своему
Ты другу — *подпиши статьи первоначальны;*
Доволен будет он. Со временем ему
Осенни вечера, мечты, прогулки дальны —
Внушат важнейшие. Придет счастливый час —
И *тайные статьи* явя́тся *напоказ.*

1807, середина 1830-х годов

ЧИЖ И РОЗА

Басня

Дочь юная весны младой,
Румяна Роза расцветала
И утреннею красотой
Сердца невольно привлекала.
И Чижик Розу полюбил;
Он путь к красавице направил,
Кочующих друзей оставил
И день и ночь при Розе жил.
Качаясь на зеленой ветке,
Где ждал награды для себя,
Хорошенькой своей соседке
Он говорил: «Люблю тебя!»
«Уж многие любить клянутся,—
Сказала Роза,— так, как ты;
Когда ж лишусь я красоты,
Где верные друзья найдутся?»
«Мне быть неверным? Никогда! —
Поет любовник легкокрылый,—
Напротив, страсть моя тогда
Еще усилится, друг милый!»
Амур тогда в саду летал:
Ему ль оставить это дело?

Он вдруг дыханье удержал —
И всё в природе охладело.
Бореи свищут, прах метут;
Листочки Розы побледнели,
Зефиры, мотыльки взлетели,
И следу нет!.. А Чижик тут.
«Ах, если ты находишь счастье
В моей любви,— он говорил,—
Утешься! Я люблю в ненастье,
Как в утро красное любил!»
Бог удивился не напрасно,
Он щедро наградил чету:
Удвоил Розы красоту,
И Чиж один любим был страстно.

Смысл басни, кажется, найдён;
Его ты знаешь, друг мой милый:
Я — тот любовник легкокрылый,
Но как за верность награжден?

1808

* * *

Поведай подвиги усатого героя,
О муза, расскажи, как Кульнев воевал,
Как он среди снегов в рубашке кочевал
И в финском колпаке являлся среди боя.
Пускай услышит свет
Причуды Кульнева и гром его побед.

Румяный Левенгёльм на бой приготовлялся
И, завязав жабо, прическу поправлял,
Ниландский полк его на клячах выезжал,
За ним и корпус весь Клингспора пресмыкался;
О храбрые враги, куда стремитесь вы?
Отвага, говорят, ничто без головы.

Наш Кульнев до зари, как сокол, встрепенулся;
Он воинов своих ко славе торопил:
«Вставайте,— говорит,—вставайте, я проснулся!
С охотниками в бой! Бог храбрости и сил!

По чарке да на конь, без холи и затеев;
Чем ближе, тем видней, тем легче бить злодеев!» *
Всё вмиг воспрянуло, всё двинулось вперед...
О муза, расскажи торжественный поход!
. . . .

1808

ПОДРАЖАНИЕ ГОРАЦИЮ

Если б боги милосердия
Были боги справедливости,
Если б ты лишилась прелестей,
Нарушая обещания...
Я бы, может быть, осмелился
Быть невольником преступницы!
Но, Аглая, ка́к идет к тебе
Быть лукавой и обманчивой!
Ты изменишь — и прекраснее!
И уста твои румяные
Еще более румянятся
Новой клятвой, новой выдумкой!
Голос, взор твой привлекательней,
И, богами вдохновенная,
Ты улыбкою небесною
Разрушаешь все намеренья
Разлюбить неразлюбимую!
Сколько пленников скитается,
Сколько пре́зренных терзается
Вкруг обители красавицы!
Мать страшится называть тебя
Сыну, юностью кипящему,
И супруга содрогается,
Если взор супруга верного
Хотя раз, хоть на мгновение
Обратится на волшебницу!..

1808

---

* Приказ Кульнева накануне нападения, которое было назначено за два часа до рассвета. *(Прим. Давыдова.)*

ГРАФУ П. А. СТРОГАНОВУ

За чекмень, подаренный им мне
во время войны 1810 года в Турции

Блаженной памяти мой предок Чингисхан,
Грабитель озорник, с аршинными усами,
На ухарском коне, как вихрь перед громами,
В блестящем панцире влетал во вражий стан
И мощно рассекал татарскою рукою
Всё, что противилось могущему герою.
Почтенный пращур мой, такой же грубиян,
Как дедушка его, нахальный Чингисхан,
В чекмене легоньком, среди мечей разящих,
Ордами управлял в полях, войной гремящих.
Я тем же пламенем, как Чингисхан, горю;
Как пращур мой Батый, готов на бранну прю.
Но мне ль, любезный граф, в французском одеянье
Явиться в авангард, как франту на гулянье,
Завязывать жабо, прическу поправлять
И усачам себя Линдором показать!
Потомка бедного ты пожалей Батыя
И за чекмень прими его стихи дурные!

1810

МОЯ ПЕСНЯ

Я на чердак переселился:
Жить выше, кажется, нельзя!
С швейцаром, с кучером простился
И повара лишился я.
Толпе заимодавцев знаю
И без швейцара дать ответ;
Я сам дверь важно отворяю
И говорю им: «Дома нет!»

В дни праздничные для катанья
Готов извозчик площадной,
И будуар мой, зала, спальня —
Вместились в горнице одной.

Гостей искусно принимаю:
Глупцам — показываю дверь,
На стул один — друзей сажаю,
А миленькую... на постель.

Мои владенья необъятны:
В окрестностях столицы сей
Все мызы, где собранья знатны,
Где пир горой, толпа людей.
Мои все радости — в стакане,
Мой гардероб лежит в ряду,
Богатство — в часовом кармане,
А сад — в Таврическом саду.

Обжоры, пьяницы! хотите
Житье-бытье мое узнать?
Вы слух на песнь мою склоните
И мне старайтесь подражать.
Я завтрак сытный получаю
От друга, только что проснусь;
Обедать — в гости уезжаю,
А спать — без ужина ложусь.

О богачи! не говорите,
Что жизнь несчастлива моя,
Нахальству моему простите,
Что с вами равен счастьем я.
Я кой-как день переживаю —
Богач роскошно год живет...
Чем кончится? И я встречаю,
Как миллионщик, новый год.

1811

В АЛЬБОМ

На вьюке, в тороках, цевницу я таскаю,
Она и под локтем, она под головой;
Меж конских ног позабываю,
В пыли, на влаге дождевой...
Так мне ли ударять в разлаженные струны
И петь любовь, луну, кусты душистых роз?
Пусть загремят войны перуны.
Я в этой песне виртуоз!

1811

ЭПИГРАММЫ

К ПОРТРЕТУ БОНАПАРТЕ

Сей корсиканец целый век
Гремит кровавыми делами.
Ест по сту тысяч человек
И ..... королями.

К ПОРТРЕТУ NN

Говорит хоть очень тупо,
Но в нем это мудрено,
Что он умничает глупо,
А дурачится умно.

НА К.

Bout-rimè *

В любезности его неодолимый *груз*,
В нем не господствуют ни соль, ни *перец;*
Я верю: может быть, для немок он — *француз,*
Но для француженок он — *немец.*

НА НЕГО ЖЕ

А кто он? — Француз, германец,
Франт, философ, скряга, мот,
То блудлив, как ярый кот,
То труслив, как робкий заяц;
То является томим
Чувством жалостно-унылым,
То бароном легкокрылым,
То маркизом пудовым.

---

* Буриме *(фр.)* — стихи на заданные рифмы.

НАДПИСЬ К СОЧИНЕНИЯМ Г.**

Он с цветочка на цветок,
С стебелька на стебелек
Мотыльком перелетает;
Но сколь рок его суров:
Все растенья он лобзает,
Кроме... ла̀вровых листов!

ЭПИГРАММА

Остра твоя, конечно, шутка,
Но мне прискорбно видеть в ней
Не счастье твоего рассудка,
А счастье памяти твоей.

Между 1805 и 1814 годами

К МОЕЙ ПУСТЫНЕ

Пустыня тихая, сует уединенна,
В тебе я позабыл все горести мои!
Но будь ты на холмах *Аи*,—
Тогда была бы совершенна!

1814

В. А. ЖУКОВСКОМУ

Жуковский, милый друг! Долг красен платежом:
Я прочитал стихи, тобой мне посвященны;
Теперь прочти мои, биваком окуренны
И спрысканны вином!
Давно я не болтал ни с музой, ни с тобою,
До стоп ли было мне?..

. . . .

Но и в грозах войны, еще на поле бранном,
Когда погас российский стан,
Тебя приветствовал с огромнейшим стаканом
Кочующий в степях нахальный партизан!

1814

ПЕСНЯ

Я люблю кровавый бой,
Я рожден для службы царской!
Сабля, водка, конь гусарской,
С вами век мне золотой!
Я люблю кровавый бой,
Я рожден для службы царской!

За тебя на черта рад,
Наша матушка Россия!
Пусть французишки гнилые
К нам пожалуют назад!
За тебя на черта рад,
Наша матушка Россия!

Станем, братцы, вечно жить
Вкруг огней, под шалашами
Днем — рубиться молодцами,
Вечерком — горелку пить!
Станем, братцы, вечно жить
Вкруг огней, под шалашами!

О, как страшно смерть встречать
На постеле господином,
Ждать конца под балдахином
И всечасно умирать!
О, как страшно смерть встречать
На постеле господином!

То ли дело средь мечей!
Там о славе лишь мечтаешь,
Смерти в когти попадаешь,
И не думая о ней!
То ли дело средь мечей:
Там о славе лишь мечтаешь!

Я люблю кровавый бой,
Я рожден для службы царской!
Сабля, водка, конь гусарской,
С вами век мне золотой!
Я люблю кровавый бой,
Я рожден для службы царской!

1815

ДРУГУ-ПОВЕСЕ

Болтун красноречивый,
Повеса дорогой!
Оставим свет шумливый
С беспутной суетой.
Пусть радости игривы,
Амуры шаловливы,
И важных муз сигклит,
И троица харит
Украсят день счастливый!
Друг милый, вечерком
Хоть на часок покинем
Вельмож докучный дом
И к камельку подвинем
Диваны со столом,
Плодами и вином
Роскошно покровенным
И гордо отягченным
Страсбургским пирогом.
К нам созван круг желанный
Отличных сорванцов,
И, плющем увенчанны,
Владельцы острых слов,
Мы Вакховых даров
Потянем сок избрáнный!
Прошу тебя забыть
Нахальную уловку,
И крепс, и понтировку,
И страсть людей губить,
А лучше пригласить
Изменницу, плутовку,
Которую любить
До завтра, может быть,
Вчера ты обещался.
Проведавши мой зов,
На пир ко мне назвался
Эрот, сей бог богов,
Веселых шалунов
Любимец и любитель,
Мой грозный повелитель
До сребряных власов.

Я место назначаю
Почетное ему,
По сану и уму:
Прекрасного сажаю
Близ гостьи молодой
И тяжкий кубок мой
Чете препоручаю.
И пробка полетит
До потолка стрелою,
И пена зашумит
Сребристою струею
Под розовой рукою
Резвейших из харит!
Так время пробежит
Меж радостей небесных,—
А чтоб хмельнее быть,
Давай здоровье пить
Всех ветрениц известных!

1815

ПОЭТИЧЕСКАЯ ЖЕНЩИНА

Что́ она? — Порыв, смятенье,
И холодность, и восторг,
И отпор, и увлеченье,
Смех и слезы, черт и бог,
Пыл полуденного лета,
Урагана красота,
Исступленного поэта
Беспокойная мечта!
С нею дружба — упоенье...
Но спаси, создатель, с ней
От любовного сношенья
И таинственных связей!
Огненна, славолюбива,
Я ручаюсь, что она
Неотвязчива, ревнива,
Как законная жена!

1816

ОТВЕТ НА ВЫЗОВ НАПИСАТЬ СТИХИ

Вы хотите, чтоб стихами
Я опять заговорил,
Но чтоб новыми стезями
Верх Парнаса находил:
Чтобы славил нежны розы,
Верность женские любви,
Где трескучие морозы
И кокетства лишь одни!
Чтоб при ташке в доломане
Посошок в руке держал
И при грозном барабане
Чтоб минором воспевал.
Неужель любить не можно,
Чтоб стихами не писать?
И, любя, ужели должно
Чувства в рифмы оковать?
По кадансу кто вздыхает,
Кто любовь в цветущий век
Лишь на стопы размеряет,
Тот — прежалкий человек!
Он влюбился — и поспешно
Славит милую свою;
Возрыдая безутешно,
Говорит в стихах: «Пою!»
От парнасского паренья
Беспокойной головы
Скажет также, без сомненья,
И жестокая: «Увы!»
Я поэзией небесной
Был когда-то вдохновен.
Дар божественный, чудесный,
Я навек тебя лишен!
Лизой душу занимая,
Мне ли рифмы набирать?
Ах, где есть любовь прямая,
Там стихи не говорят!..

1816

ЭЛЕГИЯ I

Возьмите меч — я недостоин брани!
Сорвите лавр с чела — он страстью помрачен!
О боги Пафоса, окуйте мощны длани
И робким пленником в постыдный риньте плен!
Я — ваш! И кто не воспылает!
Кому не пишется любовью приговóр,
Как длинные она ресницы подымает,
И пышет страстью взор!
Когда харитой улыбнется,
Или в ночной тиши
Воздушным призраком несется,
Иль, непреклонная, над чувствами смеется
Обуреваемой души!
О вы, которые здесь прелестьми гордитесь!
Не вам уж более покорствует любовь,
Взгляните на нее и сердцем содрогнитесь:
Она — владычица и смертных и богов!
Ах, пусть бог Фракии мне срамом угрожает
И, потрясая лавр, манит еще к боям,
Воспитанник побед прах ног ее лобзает
И говорит *прости*! торжественным венкам...
Но кто сей юноша блаженный,
Который будет пить дыханье воспаленно
На тающих устах,
Познает мленье чувств в потупленных очах...
И на груди ее воздремлет утомленный?
Чего ему тогда останется желать?
Чего искать ему?—он всё уже имеет!
Он выше всех царей достоин восседать!
Он бог, пред коим мир, склонясь, благоговеет!

1814

ЭЛЕГИЯ II

Пусть бога-мстителя могучая рука
На теме острых скал, под вечными снегами
За ребра прикует чугунными цепями
Того, кто изобрел ревнивого замка
Закрепы звучные и тяжкими вратами,
За хладными стенами,
Красавиц заточил в презрении к богам!

Где ты, рожденная к восторгам, торжествам,
И к радостям сердец, и к счастью юной страсти,
Где ты скрываешься во цвете ранних лет,
Ты, дева горести, воспитанница бед,
Смиренная раба неумолимой власти!

Увижу ли тебя, услышу ль голос твой?
И долго ль в мрачности ночной
Мне с думой горестной, с душой осиротелой
Бродить вокруг обители твоей,
Угадывать окно, где ты томишься в ней,
Меж тем как снежный вихрь крути́т среди полей
И свищет резкий ветр в власах оледенелых!
Ах! может быть, к окну влекомая судьбой
Или предчувствием каким неизъяснимым,
Ты кра́дешься к нему, когда мучитель твой,
Стан гибкий обхватя, насильственной рукой
Бросает трепетну к подругам торопливым!

Восстань, о бог богов! Да пламенной рекой
Твой гнев жестокий и правдивый
Обрушится с небес на зданье горделиво,
Темницу адскую невинности младой;
И над строптивою преступника главой
Перуны ярые со треском разразятся!
Тот, кто осмелится бесчувственно касаться
До юных прелестей красавицы моей,
Тот в буйной дерзости своей
И лик священный твой повергнет раздробленный
И рушит алтари, тебе сооруженны!
А ты, любимица богов,
Ты бедствий не страшись — невидимый покров
Приосенит тебя от бури разъяренной,
Твой спутник — бог любви: стезею потаенной
Он провести прекрасную готов
От ложа горести до ложа наслажденья...

О, не чуждайся ты благого поученья
Бессмертного вождя! Учись во тьме ночной,
Как между стражами украдкой пробираться,
Как мягкою стопой чуть до́ полу касаться
И ощупью идти по лестнице крутой.
Дерзай! Я жду тебя, кипящий нетерпеньем!

Тебе ль, тебе ль платить обидным подозреньем
Владыке благ земных? Ты вспомни, сколько раз
От бдительных моих и ненасытных глаз
Твой аргус в трепетном смущенье
Тебя с угрозой похищал
И тайным влек путем обратно в заточенье!..
Всё тщетно! Я ему стезю пересекал.
Крылатый проводник меня предупреждал
И путь указывал мне прежде неизвестный.
Решись без робости, о сердца друг прелестный!
Не медли: полночь бьет,
И угасающи лампады закурились,
И стражи грозные во мраке усыпились...
И руку бог любви прекрасной подает!

1814

ЭЛЕГИЯ III

О милый друг, оставь угадывать других
Предмет, сомнительный для них,
Тех песней пламенных, в которых, восхищенный,
Я прославлял любовь, любовью распаленный!
Пусть ищут, для кого я в лиру ударял,
Когда поэтов в хоре
Российской Терпсихоре
Восторги посвящал!
Но ты не в заблужденьи,
Кого в воображеньи
Я розами венчал,
Чьи длинные ресницы
Звук стройныя цевницы
Потомству предавал!
И мне ли огнь желанья
В других воспламенять,
Мне ль нового искать
В любви очарованья?
Я страстен лишь тобой!..
Под именем другой
Тебя лишь славят струны,
И для тебя одной
Бросаю в вражий строй
Разящие перуны!

Восторгом упоен,
Века предупреждаю
И, миртом осенен,
Бессмертие вкушаю.

1815

ЭЛЕГИЯ IV

В ужасах войны кровавой
Я опасности искал,
Я горел бессмертной славой,
Разрушением дышал;
И в безумстве упоенный
Чадом славы бранных дел,
Посреди грозы военной
Счастие найти хотел!..
Но, судьбой гонимый вечно,
Счастья нет! подумал я...
Друг мой милый, друг сердечный,
Я тогда не знал тебя!
Ах, пускай герой стремится
За блистательной мечтой
И через кровавый бой
Свежим лавром осенится...
О мой милый друг! с тобой
Не хочу высоких званий,
И мечты завоеваний
Не тревожат мой покой!
Но коль враг ожесточенный
Нам дерзнет противустать,
Первый долг мой, долг священный —
Вновь за родину восстать;
Друг твой в поле появится,
Еще саблею блеснет,
Или в лаврах возвратится,
Иль на лаврах мертв падет!..
Полумертвый, не престану
Биться с храбрыми в ряду,
В память Лизу приведу...
Встрепенусь, забуду рану,
За тебя еще восстану
И другую смерть найду!

1816

ЭЛЕГИЯ V

Всё тихо! и заря багряною стопой
По синеве небес безмолвно пробежала...
И мгла, что гор хребты и рощи покрывала,
Волнуясь, стелется туманною рекой
По лугу пестрому и ниве молодой.
Блаженные часы! Весь мир в отдохновеньи!
Еще зефиры спят на дремлющих листах,
Еще пернатые покоятся в кустах,
И всё безмолвствует в моем уединеньи...

Но, боги! Неужель вы с мира тишиной
И чувств души моей порывы усмирили?
Ужели и во мне господствует покой?..
Уже, о счастие! не вижу пред собой
Я призрак грозный, вечно милый,
Которого нигде мой взор не покидал...
Нигде! ни в шумной сече боя,
Ни в бранных игрищах военного покоя!..

О ты, что я в тоске на помощь призывал,
Бесчувствие! о дар рассудка драгоценный,
Ты, вняв мольбе моей смиренной,
Нисходишь наконец спасителем моим.
Я погибал... Тобой одним
Достигнул берега, и с мирныя вершины
Смотрю бестрепетно, грозою невредим,
На шумные валы бездонныя пучины!..

А ты, с кем некогда делился я душой,
И кем душа моя в мученьях истощилась...
Утешься: ты забыта мной!..
Но, ах, почто слезой ланита окропилась?
О слезы пламенны, теките! Я свои
Минуты радости от сих минут считаю
И вас не от любви,
Но от блаженства проливаю!

1816

ЭЛЕГИЯ VI

О ты, смущенная присутствием моим,
Спокойся: я бегу в пределы отдаленны!
Пусть избранный тобой вкушает дни блаженны,
Пока судьбой храним.
Но, ах! Не мысли ты, чтоб новые восторги
И спутник сча́стливый твоих весенних дней
Изгладили меня из памяти твоей!..
О, нет! Есть суд небес и справедливы боги!
Душевны радости, делимые со мной,
Воспоминания протекших упований
И сладкие часы забвенья и мечтаний,
И я, я сам явлюсь тревожить твой покой!
Но уж не в виде том, как в дни мои счастливы,
Когда — смущенный, торопливый —
Я плакал без укор, без гнева угрожал
И за вину твою — любовник боязливый —
Себе у ног твоих прощения искал!
Нет, нет! Явлюсь опять, но как посланник мщенья,
Но как каратель преступленья,
Свиреп, неумолим везде перед тобой:
И среди общества блистательного круга,
И средь семьи твоей, где ты цветешь душой,
В уединении, в объятиях супруга,
Везде, везде в твоих очах
Грозящим призраком, с упреком на устах!
Но нет!.. О, гнев меня к упрекам не принудит:
Чья мертвая душа тобой оживлена,
Тот благости твои век, век не позабудет!
Его богам молитва лишь одна:
Да будет сча́стлива она!..
Но вряд ли счастие твоим уделом будет!

1816

ЭЛЕГИЯ VII

Нет! полно пробегать с улыбкою любви
Перстами легкими цевницу золотую;
Пускай другой поет и радости свои,
И жизни сча́стливой подругу дорогую...

Я одинок — как цвет степей,
Когда, колеблемый грозой освирепелой,
Он клонится к земле главой осиротелой
И блекнет средь цветущих дней!
О боги, мне ль сносить измену надлежало!
Как я любил! — В те красные лета,
Когда к рассеянью всё сердце увлекало,
Везде одна мечта,
Одно желание меня одушевляло,
Всё чувство бытия лишь ей принадлежало!
О Лиза! сколько раз на Марсовых полях,
Среди грозы боев я, презирая страх,
С воспламененною душою
Тебя, как бога, призывал
И в пыл сраженья мчал
Крылатые полки железною стеною!..
Кто понуждал меня, скажи,
От жизни радостной на жадну смерть стремиться?
Одно, одно мечтание души,
Что славы луч моей на милой отразится,
Что, может быть, венок, приобретенный мной
В боях мечом нетерпеливым,
Покроет лавром горделивым
Чело стыдливое подруги молодой!
Не я ли, вдохновен, касался струн согласных
И пел прекрасную!.. Еще Москва полна
Моих, в стихах, восторгов страстных;
И если ты еще толпой окружена
Соперниц, завистью смущенных,
И милых юношей, любовью упоенных,—
Неблагодарная! не мне ль одолжена
Ты торжеством своим?.. Пусть пламень пожирает,
Пусть шумная волна навеки поглощает
Стихи, которыми я Лизу прославлял!..
Но нет! Изменницу весь мир давно узнал,—
Бессмертие ее уделом остается:
Забудут, что покой я ею потерял
И до конца веков, средь плесков и похвал,
Неверной имя пронесется!

А я? — Мой жребий: пасть в боях
Мечом победы пораженным;

И, может быть, врагом влеченным на полях,
Чертить кремнистый путь челом окровавленным...
Так! Я паду в стране чужой,
Далёко родины, изгнанником невинным:
Никто не окропит холодный труп слезой...
И разбросает ветр мой прах с песком пустынным!

1817

ЭЛЕГИЯ VIII

О, пощади! Зачем волшебство ласк и слов,
Зачем сей взгляд, зачем сей вздох глубокой,
Зачем скользит небережно покров
С плеч белых и с груди высокой?
О, пощади! Я гибну без того,
Я замираю, я немею
При легком шорохе прихода твоего;
Я, звуку слов твоих внимая, цепенею;
Но ты вошла... и дрожь любви,
И смерть, и жизнь, и бешенство желанья
Бегут по вспыхнувшей крови,
И разрывается дыханье!
С тобой летят, летят часы,
Язык безмолвствует... одни мечты и грезы,
И мука сладкая, и восхищенья слезы...
И взор впился в твои красы,
Как жадная пчела в листок весенней розы.

1817

ЭЛЕГИЯ IX

Два раза я вам руку жал;
Два раза молча вы любовию вздохнули...
И девственный огонь ланиты пробежал,
И в пламенной слезе ресницы потонули!
Неужто я любим? — Мой друг, мой юный друг,
О, усмири последним convincing увереньем
Еще колеблемый сомненьем
Мой пылкий, беспокойный дух!

Скажи, что сердца ты познала цену мною,
Что первого к любви биения его
Я был виновником!.. Не надо ничего —
Ни рая, ни земли! Мой рай найду с тобою.
. . . .
Погибните навек, мечты предрассуждений,
И ты, причина заблуждений,
Чад упоительный и славы и побед!
В уединении спокойный домосед
И мирный семьянин, не постыжусь порою
Поднять смиренный плуг солдатскою рукою,
Иль, поселян в кругу, в день летний, золотой
Взмахнуть среди лугов железною косой.
Но с кем сравню себя, как, в поле утомленный,
Я возвращусь под кров, дубами осененный,
Увижу юную подругу пред собой
С плодами зрелыми, с водою ключевой
И с соком пенистым донского винограда.
Когда вечерние часы — трудов отрада
На ложе радости . . . .
. . . .
. . . .
Я часто говорю, печальный сам с собою:
О, сбудется ль когда мечтаемое мною?
Иль я определен в мятежной жизни сей
Не слышать отзыва нигде душе моей!

1817(?)

ВОЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД ИЗ ПАРНИ

Сижу на берегу потока,
Бор дремлет в сумраке; всё спит вокруг, а я
Сижу на берегу — и мыслию далеко,
Там, там... где жизнь моя!..
И меч в руке моей мутит струи потока.

Сижу на берегу потока,
Снедаем ревностью, задумчив, молчалив...
Не торжествуй еще, о ты, любимец рока!
Ты счастлив — но я жив...
И меч в руке моей мутит струи потока.

Сижу на берегу потока...
Вздохнешь ли ты о нем, о друг, неверный друг...
И точно ль он любим? — ах, эта мысль
жестока!..
Кипит отмщеньем дух,
И меч в руке моей мутит струи потока.

1817

НЕВЕРНОЙ

Неужто думаете вы,
Что я слезами обливаюсь,
Как бешеный кричу: *увы!*
И от измены изменяюсь?
Я — тот же атеист в любви,
Как был и буду, уверяю;
И чем рвать волосы свои,
Я ваши — к вам же отсылаю.
А чтоб впоследствии не быть
Перед наследником в ответе,
Все ваши клятвы *век любить* —
Ему послал по эстафете.
Простите! Право, виноват!
Но если б знали, как я рад
Моей отставке благодатной!
Теперь спокойно ночи сплю,
Спокойно ем, спокойно пью
И посреди собратьи ратной
Вновь славу и вино пою.
Чем чахнуть от любви унылой,
Ах, что здоровей может быть,
Как подписать отставку милой
Или отставку получить!

1817

НА МОНУМЕНТ ПОЖАРСКОГО

Так правосудная Россия награждает!
О зависть, содрогнись, сколь бренен твой оплот!
Пожарский оживает —
Смоленский оживет!

1817

ПЕСНЯ СТАРОГО ГУСАРА

Где друзья минувших лет,
Где гусары коренные,
Председатели бесед,
Собутыльники седые?

Деды, помню вас и я,
Испивающих ковшами
И сидящих вкруг огня
С красно-сизыми носами!

На затылке кивера,
Доломаны до колена,
Сабли, ташки у бедра,
И диваном — кипа сена.

Трубки черные в зубах;
Все безмолвны, дым гуляет
На закрученных висках
И усы перебегает.

Ни полслова... Дым столбом...
Ни полслова... Все мертвецки
Пьют и, преклонясь челом,
Засыпают молодецки.

Но едва проглянет день,
Каждый пó полю порхает;
Кивер зверски набекрень,
Ментик с вихрями играет.

Конь кипит под седоком,
Сабля свищет, враг вали́тся...
Бой умолк, и вечерком
Снова ковшик шевелится.

А теперь чтó вижу? — Страх!
И гусары в модном свете,
В вицмундирах, в башмаках,
Вальсируют на паркете!

Говорят: умней они...
Но что слышим от любого?
Жомини да Жомини!
А об водке — ни полслова!

Где друзья минувших лет.
Где гусары коренные,
Председатели бесед,
Собутыльники седые?

1817

НАДПИСЬ К ПОРТРЕТУ КНЯЗЯ ПЕТРА ИВАНОВИЧА БАГРАТИОНА

Где Клии взять перо писать его дела? —
У Славы из крыла.

1810-е годы

* * *

Как будто Диоген, с зажженным фонарем
Я по свету бродил, искавши человека,
И, сильно утвердясь в намереньи моем,
В столицах потерял я лучшую часть века.
Судей, подьячих я, сенаторов нашел,
Вельмож, министров, прокуроров,
Нашел людей я разных сборов —
Фонарь мой всё горел.
Но, встретившись с тобой, я вздрогнул, удивился —
Фонарь упал из рук, но, ах!.. не погасился.

1810-е годы

БОГОМОЛКА

Кто знает нашу богомолку,
Тот с ней узнал наедине,
Что взор плутовки втихомолку
Поет акафист сатане.

Как сладко с ней играть глазами,
Ниц падая перед крестом,
И окаянными словами
Перерывать ее псалом!

О, как люблю ее ворчанье:
На языке ее всегда
Отказ идет как обещанье —
Нет на словах, на деле *да.*

И, грешница, всегда сначала
Она заво́пит горячо:
«О, варвар! изверг! я пропала!»,
А после: «Милый друг, еще...»

Конец 1810-х или
начало 1820-х годов

ЛИСТОК

Листок иссохший, одинокой,
Пролетный гость степи широкой,
Куда твой путь, голубчик мой? —
«Как знать мне! Налетели тучи,
И дуб родимый, дуб могучий
Слюмили вихрем и грозой.
С тех пор, игралище Борея,
Не сетуя и не робея,
Ношусь я, странник кочевой,
Из края в край земли чужой;
Несусь, куда несет суровый,
Всему неизбежимый рок,
Куда летит и лист лавровый
И легкий розовый листок!»

Конец 1810-х или начало 1820-х годов

ЭПИТАФИЯ

Под камнем сим лежит Мосальский тощий:
Он весь был в *немощи* — теперь попал он в *мощи.*

1822

ВЕЧЕР В ИЮНЕ

Томительный палящий день
Сгорел; полупрозрачна тень
Немного сумрака приосеняла дали.
Зарницы бегали за синею горой
И, окропленные росой,
Луга и лес благоухали.
Луна во всей красе плыла на высоту,
Таинственным лучом мечтания питая,
И, преклонясь к лавровому кусту,
Дышала роза молодая.

1826

ОТВЕТ

Я не поэт, я — партизан, казак.
Я иногда бывал на Пинде, но наскоком,
И беззаботно, кое-как,
Раскидывал перед Кастальским током
Мой независимый бивак.
Нет, не наезднику пристало
Петь, в креслах развалясь, лень, негу и покой...
Пусть грянет Русь военною грозой —
Я в этой песни запевало!

1826

ГЕНЕРАЛАМ, ТАНЦУЮЩИМ НА БАЛЕ ПРИ ОТЪЕЗДЕ МОЕМ НА ВОЙНУ 1826 ГОДА

Мы несем едино бремя,
Только жребий наш иной:
Вы оставлены на племя,
Я назначен на убой.

1826

ТОВАРИЩУ 1812 ГОДА, НА ПУТИ В АРМИЮ

Мы оба в дальний путь летим, товарищ мой,
Туда, где бой кипит, где русский штык бушует.
Но о тебе любовь горюет...
Счастливец! о тебе — я видел сам — тоской
Заныли... влажный взор стремился за тобой;
А обо мне хотя б вздохнули,
Хотя б в окошечко взглянули,
Как я на тройке проскакал
И, позабыв покой и негу,
В курьерску завалясь телегу,
Гусарские усы слезами обливал.

1826

ПАРТИЗАН

Отрывок

Умолкнул бой. Ночная тень
Москвы окрестность покрывает;
Вдали Кутузова курень
Один, как звездочка, сверкает.
Громада войск во тьме кипит,
И над пылающей Москвою
Багрово зарево лежит
Необозримой полосою.

И мчится тайною тропой
Воспрянувший с долины битвы
Наездников веселый рой
На отдаленные ловитвы.
Как стая алчущих волков,
Они долинами витают:
То внемлют шороху, то вновь
Безмолвно рыскать продолжают.

Начальник, в бурке на плечах,
В косматой шапке кабардинской,
Горит в передовых рядах
Особой яростью воинской.

Сын белокаменной Москвы,
Но рано брошенный в тревоги,
Он жаждет сечи и молвы,
А там что будет — вольны боги!

Давно незнаем им покой,
Привет родни, взор девы нежный;
Его любовь — кровавый бой,
Родня — донцы, друг — конь надежный.
Он чрез стремнины, чрез холмы
Отважно всадника проносит,
То чутко шевелит ушьми,
То фыркает, то у́дил просит.

Еще их скок приметен был
На высях за преградной Нарой,
Златимых отблеском пожара,
Но скоро буйный рой за высь перекатил,
И скоро след его простыл...
. . . .
. . . .
. . . .

1826

ПОЛУСОЛДАТ

«Нет, братцы, нет: полусолдат
Тот, у кого есть печь с лежанкой,
Жена, полдюжина ребят,
Да щи, да чарка с запеканкой!

Вы видели: я не боюсь
Ни пуль, ни дротика куртинца;
Лечу стремглав, не дуя в ус,
На нож и шашку кабардинца.

Всё так! Но прекратился бой,
Холмы усыпались огнями,
И хохот обуял толпой,
И клики вторятся горами,
И все кипит, и все гремит;

А я, меж вами одинокой,
Немою грустию убит,
Душой и мыслию далеко.

Я не внимаю стуку чаш
И спорам вкруг солдатской каши;
Улыбки нет на хохот ваш,
Нет взгляда на проказы ваши!

Таков ли был я в век златой
На буйной Висле, на Балкане,
На Эльбе, на войне родной,
На льдах Торнео, на Севкане?

Бывало, слово: *друг, явись!*
И уж Денис с коня слезает;
Лишь чашей стукнут — и Денис
Как тут — и чашу осушает.

На скачку, на борьбу готов,
И, чтимый *выродком* глупцами,
Он, расточитель острых слов,
Им хлещет прозой и стихами.

Иль в карты бьется до утра,
Раскинувшись на горской бурке;
Или вкруг светлого костра
Танцует с девками мазурки.

Нет, братцы, нет: полусолдат
Тот, у кого есть печь с лежанкой,
Жена, полдюжины ребят,
Да щи, да чарка с запеканкой!»

Так говорил наездник наш,
Оторванный судьбы веленьем
От крова мирного — в шалаш,
На сечи, к пламенным сраженьям.

Аракс шумит, Аракс шумит,
Араксу вторит ключ нагорный,
И Алагёз *, нахмурясь, спит,
И тонет в влаге дол узорный;

* Заоблачная гора, на границе Эриванской области. *(Прим. Давыдова.)*

И веет с пурпурных садов
Зефир восточным ароматом,
И сквозь сребристых облаков
Луна плывет над Араратом.

Но воин наш не упоен
Ночною роскошью полуденного края...
С Кавказа глаз не сводит он,
Где подпирает небосклон
Казбека * груда снеговая...

На нем знакомый вихрь, на нем
громады льда,
И над челом его, в тумане мутном,
Как Русь святая, недоступном,
Горит родимая звезда.

1826

НА СМЕРТЬ NN

Гонители, он — ваш! Вам плески и хвала!
Терзайте клеветой его дела земные,
Но не сорвать венка вам с славного чела,
Но не стереть с груди вам раны боевые!

1827

ПРИ ВИДЕ МОСКВЫ, ВОЗВРАЩАЯСЬ С ПЕРСИДСКОЙ ВОЙНЫ

О юности моей гостеприимный кров!
О колыбель надежд и грез честолюбивых!
О, кто, кто из твоих сынов
Зрел без восторгов горделивых
Красу реки твоей, волшебных берегов,
Твоих палат, твоих садов,
Твоих холмов красноречивых!

1827

---

* Одна из высочайших гор Кавказского хребта. (*Прим. Давыдова.*)

ЗАЙЦЕВСКОМУ, ПОЭТУ-МОРЯКУ

Счастливый Зайцевский, Поэт и Герой!
Позволь хлебопашцу-гусару
Пожать тебе руку солдатской рукой
И в честь тебе высушить чару.
О, сколько ты славы готовишь России,
Дитя удалое свободной стихии!

Лавр первый из длани камены младой
Ты взял на парнасских вершинах;
Ты, собственной кровью омытый, другой
Сорвал на гремящих твердынях;
И к третьему, с лаской вдали колыхая,
Тебя призывает пучина морская.

Мужайся! — Казарский, живой Леонид,
Ждет друга на новый пир славы...
О, будьте вы оба Отечества щит.
Перун вековечной Державы!
И гимны победы с ладей окриленных
Пусть искрами брызнут от струн вдохновенных!

Давно ль под мечами, в пылу батарей,
И я попирал дол кровавый,
И я в сонме храбрых, у шумных огней,
Наш стан оглашал песнью славы?..
Давно ль... Но забвеньем судьба меня губит,
И лира немеет, и сабля не рубит.

1828

БОРОДИНСКОЕ ПОЛЕ

Элегия

Умолкшие холмы, дол некогда кровавый,
Отдайте мне ваш день, день вековечной славы,
И шум оружия, и сечи, и борьбу!
Мой меч из рук моих упал. Мою судьбу
Попрали сильные. Счастливцы горделивы
Невольным пахарем влекут меня на нивы...

О, ринь меня на бой, ты, опытный в боях,
Ты, голосом своим рождающий в полках
Погибели врагов предчувственные клики,
Вождь Гомерический, Багратион великий!
Простри мне длань свою, Раевский, мой герой!
Ермолов! я лечу — веди меня, я твой:
О, обреченный быть побед любимым сыном,
Покрой меня, покрой твоих перунов дымом!

Но где вы?.. Слушаю... Нет отзыва! С полей
Умчался брани дым, не слышен стук мечей,
И я, питомец ваш, склонясь главой у плуга,
Завидую костям соратника иль друга.

1829

С. А. К<УШКИ>НОЙ

Вы личиком — пафосский бог,
Вы молоды, вы стройны, как Аглая,
Но я гусар... я б вас любить не мог,
Простите: *для меня вы слишком неземная!*
К вам светской страстью, как к другой,
Гореть грешно! — С восторженной душой
Мы вам, как божеству, несем кадил куренье,
Обеты чистые, и гимны, и моленье!

1829

ДУШЕНЬКА

Она еще не менее хороша для глаз, все обнимающих во мгновении и на мгновение,— как для души, которая чем больше ищет, тем более находит.

Жуковский

Бывали ль вы в стране чудес,
Где, жертвой грозного веленья,
В глуши земного заточенья
Живет изгнанница небес?

Я был, я видел божество;
Я пел ей песнь с восторгом новым
И осенил венком лавровым
Ее высокое чело.

Я, как младенец, трепетал
У ног ее в уничиженьи
И омрачить богослуженье
Преступной мыслью не дерзал.

Ах, мне ль божественной к стопам
Несть обольщения искусство?
Я весь был гимн, я весь был чувство,
Я весь был чистый фимиам.

И чтó ей наш земной восторг,
Слова любви? — Пустые звуки!
Она чужда сердечной муки,
Чужда томительных тревог.

Из-под ресниц ее густых
Горит и гаснет взор стыдливый...
Но отчего души порывы
И вздохи персей молодых?

Был миг: пролетная мечта
Скользнула по челу прекрасной,
И вспыхнули ланиты страстно,
И загорелися уста.

Но это миг — игра одна
Каких-то дум... воспоминанье
О том небесном обитанье,
Откуда изгнана она.

Иль, скучась без нее, с небес
Воздушный гость, незримый мною,
Амур с повинной головою
Предстал, немеющий от слез.

И очи он возвел к очам
И пробудил в груди волненья
От жарких уст прикосновенья
К ее трепещущим устам.

1829

NN

Вы хороши! — Каштановой волной
Ваш локон падает на свежие ланиты;
Как мил ваш взор полузакрытый,
Как мил ваш стан полунагой!
Не вы ль оригинал живой
Очаровательной хариты,
Кано́вы созданной рукой?
Вы хороши! — Но мой покой
Неколебим. Осанка величава,
Жеманная тоска искусственной любви
Не страшны мне: моя отрава —
Взор вдохновительный и слово от души.
Я их ищу давно, давно не обретая.
Вам не сродни крылатый бог:
Жизнь ваша — стрелка часовая,
Арифметический *итог*.
Но та, которую люблю, не называя...
Ах! та вся чувство, вся — восторг,
Как Пи́ндара строфа живая!

1829

ГОЛОДНЫЙ ПЕС

Ох, как храбрится
Немецкий фон,
Как горячится
Наш херр-барон.
Ну, вот и драка,
Вот лавров воз!
Хватай, собака,
Голодный пес.

Кипят и рдеют
На бой полки;
Знамена веют,
Горят штыки,
И забияка
Палаш вознес!
Хватай, собака,
Голодный пес.

Андрианополь
Без битв у ног,
Константинополь
В чаду тревог.
Что ж ты, зевака,
Повесил нос?
Хватай, собака,
Голодный пес.

Лях из Варшавы
Нам кажет шиш,
Что ж ты шаршавый,
Под лавкой спишь?
Задай, лаяка,
Варшаве чёс!
Хватай, собака,
Голодный пес.

«Всё это жжется...
Я брать привык,
Что так дается...
Царьград велик.
Боюсь я ляха!..»
А ты не бось!
Хватай, собака,
Российский пес.

Так вот кресченды
Звезд, лент, крестов,
Две-три аренды,
Пять-шесть чинов;
На шнапс, гуляка,
Вот денег воз!
Схватил собака,
Голодный пес.

1832

ГУСАРСКАЯ ИСПОВЕДЬ

Я каюсь! я гусар давно, всегда гусар,
И с проседью усов — всё раб младой привычки
Люблю разгульный шум, умов, речей пожар
И громогласные шампанского оттычки.

От юности моей враг чопорных утех —
Мне душно на пирах без воли и распашки.
Давай мне хор цыган! Давай мне спор и смех
И дым столбом от трубочной *затяжки!*

Бегу век сборища, где жизнь в одних ногах,
Где благосклонности передаются весом,
Где откровенность в кандалах,
Где тело и душа под прессом;
Где спесь да подлости, вельможа да холоп,
Где заслоняют нам вихрь танца эполеты,
Где под подушками потеет столько...,
Где столько пуз затянуто в корсеты!

Но не скажу, чтобы в безумный день
Не погрешил и я, не посетил круг модный;
Чтоб не искал присесть под благодатну тень
Рассказчицы и сплетницы дородной;
Чтоб схватки с остряком бонтонным убегал,
Иль сквозь локоны ланиты воспаленной
Я б шепотом любовь не напевал
Красавице, мазуркой утомленной.

Но то — набег, наскок; я миг ему даю,
И торжествуют вновь любимые привычки!
И я спешу в мою гусарскую семью,
Где хлопают еще шампанского оттычки.
Долой, долой крючки, от глотки до пупа!
Где трубки?.. Вейся, дым, на удалом раздолье!
Роскошествуй, веселая толпа,
В живом и братском своеволье!

1832

NN

Вошла — как Психея, томна и стыдлива,
Как юная пери, стройна и красива...
И шепот восторга бежит по устам,
И крестятся ведьмы, и тошно чертям!

1833

ЕЙ

В тебе, в тебе одной природа, не искусство,
Ум обольстительный с душевной простотой,
Веселость резвая с мечтательной душой,
И в каждом слове мысль, и в каждом взоре чувство!

1833

ВАЛЬС

Ев. Д. З<олотаре>вой

Кипит поток в дубраве шумной
И мчится скачущей волной,
И катит в ярости безумной
Песок и камень вековой.
Но, покорен красой невольно,
Колышет ласково поток
Слетевший с берега на волны
Весенний, розовый листок.
Так бурей вальса не сокрыта,
Так от толпы отличена,
Летит, воздушна и стройна,
Моя любовь, моя харита,
Виновница тоски моей,
Моих мечтаний, вдохновений,
И поэтических волнений,
И поэтических страстей!

1834

* * *

О, кто, скажи ты мне, кто ты,
Виновница моей мучительной мечты?
Скажи мне, кто же ты? — Мой ангел ли хранитель
Иль злобный гений-разрушитель
Всех радостей моих? — Не знаю, но я твой!
Ты смяла на главе венок мой боевой,
Ты из души моей изгнала жажду славы
И грезы гордые, и думы величавы.

Я не хочу войны, я разлюбил войну,—
Я в мыслях, я в душе храню тебя одну.
Ты сердцу моему нужна для трепетанья,
Как свет очам моим, как воздух для дыханья.
Ах! чтоб без трепета, без ропота терпеть
Разгневанной судьбы и грóзы и волненья,
Мне надо на тебя глядеть, всегда глядеть,
Глядеть без устали как на звезду спасенья!
    Уходишь ты — и за тобою вслед
        Стремится мысль, душа несется,
        И стынет кровь, и жизни нет!..
Но только что во мне твой шорох отзовется,
Я жизни чувствую прилив, я вижу свет,
И возвращается душа, и сердце бьется!..

1834

РОМАНС

Не пробуждай, не пробуждай
Моих безумств и исступлений,
И мимолетных сновидений
Не возвращай, не возвращай!

Не повторяй мне имя той,
Которой память — мука жизни,
Как на чужбине песнь отчизны
Изгнаннику земли родной.

Не воскрешай, не воскрешай
Меня забывшие напасти,
Дай отдохнуть тревогам страсти
И ран живых не раздражай.

Иль нет! Сорви покров долой!..
Мне легче горя своеволье,
Чем ложное холоднокровье,
Чем мой обманчивый покой.

1834

Я вас люблю так, как любить вас должно:
Наперекор судьбы и сплетней городских,
Наперекор, быть может, вас самих,
Томящих жизнь мою жестоко и безбожно.
Я вас люблю не оттого, что вы
Прекрасней всех, что стан ваш негой дышит,
Уста роскошствуют и взор Востоком пышет,
Что вы — поэзия от ног до головы!
Я вас люблю без страха опасенья
Ни неба, ни земли, ни Пензы, ни Москвы,—
Я мог бы вас любить глухим, лишенным зренья...
Я вас люблю затем, что это — *вы!*
На право вас любить не прибегу к пашпòрту
Иссохших завистью жеманниц отставных:
Давно с почтением я умоляю их
Не заниматься мной и убираться к черту!

1834

НА ГОЛОС РУССКОЙ ПЕСНИ

Я люблю тебя, без ума люблю!
О тебе одной думы думаю,
При тебе одной сердце чувствую,
Моя милая, моя душечка.

Ты взгляни, молю, на тоску мою
И улыбкою, взглядом ласковым
Успокой меня, беспокойного,
Осчастливь меня, несчастливого.

Если жребий мой умереть тоской —
Я умру, любовь проклинаючи,
Но и в смертный час воздыхаючи
О тебе, мой друг, моя душечка!

1834

ПОСЛЕ РАЗЛУКИ

Когда я повстречал красавицу мою,
Которую любил, которую люблю,
Чьей власти избежать я льстил себя обманом,—
Я обомлел! Так, случаем нежданным,
Гулящий на воле удалец —
Встречается солдат-беглец
С своим безбожным капитаном.

И МОЯ ЗВЕЗДОЧКА

Море воет, море стонет,
И во мраке, одинок,
Поглощен волною, тонет
Мой заносчивый челнок.

Но, счастливец, пред собою
Вижу звездочку мою —
И покоен я душою,
И беспечно я пою:

«Молодая, золотая
Предвещательница дня,
При тебе беда земная
Недоступна до меня.

Но сокрой за бурной мглою
Ты сияние свое —
И сокроется с тобою
Провидение мое!»

1834

РЕЧКА

Давно ли, речка голубая,
Давно ли, ласковой волной
Мой челн привольно колыхая,
Владела ты, источник рая,
Моей блуждающей судьбой!

Давно ль с беспечностию милой
В благоуханных берегах
Ты влагу ясную катила
И отражать меня любила
В своих задумчивых струях!..

Теперь, печально пробегая,
Ты стонешь в сумрачной тиши,
Как стонет дева молодая,
Пролетный призрак обнимая
Своей тоскующей души.

Увы! твой ропот заунывный
Понятен мне, он — ропот мой;
И я пою последни гимны
И твой поток гостеприимный
Кроплю прощальною слезой.

Наутро пурпурной зарею
Запышет небо,— берега
Блеснут одеждой золотою,
И благотворною росою
Закаплют рощи и луга.

Но вод твоих на лоне мутном
Всё будет пусто!.. лишь порой,
Носясь полетом бесприютным,
Их гостем посетит минутным
Журавль, пустынник кочевой.

О, где тогда, осиротелый,
Где буду я! К каким стрáнам,
В какие чуждые пределы
Мчать будет гордо парус смелый
Мой челн по скачущим волнам!

Но где б я ни был, сердца дани —
Тебе одной. Чрез даль морей
Я на крылах воспоминаний
Явлюсь к тебе, приют мечтаний,
И мук, и благ души моей!

Явлюсь, весь в думу превращенный,
На берега твоих зыбей,
В обитель девы незабвенной,
И тихо, странник потаенный,
Невидимым приникну к ней.

И, неподвластный злым укорам,
Я облеку ее собой,
Упьюсь ее стыдливым взором,
И вдохновенным разговором,
И гармонической красой;

Ее, чья прелесть — увлеченье!
Светла, небесна и чиста,
Как чувство ангела в моленье,
Как херувима сновиденье,
Как юной грации мечта!

1834

25 ОКТЯБРЯ

Я не ропщу. Я вознесен судьбою
Превыше всех! — Я счастлив, я любим!
Приветливость даруется тобою
Соперникам моим...
Но теплота души, но всё, что так люблю я
С тобой наедине...
Но девственность живого поцелуя...
Не им, а мне!

1834

ЗАПИСКА, ПОСЛАННАЯ НА БАЛЕ

Тебе легко — ты весела,
Ты радостна, как утро мая,
Ты ре́звишься, не вспоминая,
Какую клятву мне дала...
Ты пра́ва. Как от упоенья,
В чаду кадильниц, не забыть
Обед, который, может быть,
Ты бросила от нетерпенья.

А я? — Я жалуюсь безжалостной судьбе;
Я плачу, как дитя, приникнув к изголовью,
Мечусь по ложу сна, терзаемый любовью,
И мыслю о тебе... и об одной тебе!

1834

* * *

Что̀ пользы мне в твоем совете,
Когда я съединил и пламенно люблю
Весь божий мир в одном предмете,
В едином чувстве — жизнь мою!

1834

* * *

В былые времена она меня любила
И тайно обо мне подругам говорила,
Смущенная и очи опустя,
Как перед матерью виновное дитя.
Ей нравился мой стих, порывистый, несвязный,
Стих безыскусственный, но жгучий и живой,
И чувств расстроенных язык разнообразный,
И упоенный взгляд любовью и тоской.
Она внимала мне, она ко мне ласкалась,
Унылая и думою полна,
Иль, ободренная, как ангел, улыбалась
Надеждам и мечтам обманчивого сна...
И долгий взор ее из-под ресниц стыдливых
Бежал струей любви и мягко упадал
Мне на́ душу — и на устах пылал
Готовый поцелуй для уст нетерпеливых...
. . . .
. . . .

1834 или 1835

* * *

Унеслись невозвратимые
Дни тревог и милых бурь,
И мечты мои любимые,
И небес моих лазурь.

. . . .

Не глядит она, печальная,
На пролет надежд моих.
Не дрожит слеза прощальная
На ресницах молодых!

1834 или 1835

РОМАНС

Жестокий друг, за что мученье?
Зачем приманка милых слов?
Зачем в глазах твоих любовь,
А в сердце гнев и нетерпенье?
Но будь покойна только ты,
А я, на горе обреченный,
Я оставляю все мечты
Моей души развороженной...

И этот край очарованья,
Где столько был судьбой гоним,
Где я любил, не быв любим,
Где я страдал без состраданья,
Где так жестоко испытал
Неверность клятв и обещаний
И где никто не понимал
Моей души глухих рыданий!

1834 или 1835

* * *

Я помню — глубо́ко,
Глубо́ко мой взор,
Как луч, проникал и рощи, и бор,
И степь обнимал широко, широко...
Но, зоркие очи,
Потухли и вы...
Я выглядел вас на деву любви,
Я выплакал вас в бессонные ночи!

1836

ВЫЗДОРОВЛЕНИЕ

Прошла борьба моих страстей,
Болезнь души моей мятежной,
И призрак пламенных ночей
Неотразимый, неизбежный,
И милые тревоги милых дней,
И языка несвязный лепет,
И сердца судорожный трепет,
И смерть и жизнь при встрече с *ней*...
Исчезло всё! — Покой желанный
У изголовия сидит...
Но каплет кровь еще из раны,
И грудь усталая и ноет и болит!

1836

ВЕЧЕРНИЙ ЗВОН

Вечерний звон, вечерний звон,—
Как много дум наводит он!
Не тот, что на закате дня
Гудит в стенах монастыря,
Но тот, что пасмурной порой
Поется девой молодой...
Вечерний звон, вечерний звон,—
Как много дум наводит он!

Как он мучителен и мил!
Как он мне чувства возмутил,
Когда впервые звук его
Коснулся слуха моего!..
То был не звук, но глас страстей,
То говор был с душой моей!
Вечерний звон, вечерний звон,—
Как много дум наводит он!

Всё вторило в природе ей:
Луна средь облачных зыбей,
Пустыня в сумрачной тиши
И ропот девственной души,

Терзаемой любви тоской,
И очи, полные слезой!..
Вечерний звон, вечерний звон,—
Как много дум наводит он!

1830-е годы

ЭПИГРАММЫ

* * *

Меринос собакой стал,—
Он нахальствует не к роже,
Он сейчас народ прохожий
Затолкал и забодал.
Сторож, что ж ты оплошал?
Подойди к барану прямо,
Подцепи его на крюк
И прижги ему курдюк
Раскаленной эпиграммой!

УЧЕНЫЙ РАЗГОВОР

«О ты, убивший жизнь в ученом кабинете,
Скажи мне: сколько чуд считается на свете?» —
«Семь».— «Нет: осьмое — ты, педант мой дорогой;
Девятое — твой нос, нос сизо-красноватый,
        Что, так спесиво приподнятый,
Стоит, украшенный табачною ноздрей!»

* * *

Нет, кажется, тебе не суждено
Сразить врага; твой враг — детина чудный,
В нем совесть спит покойно, непробудно.
Заставить бестию *стыдиться* — мудрено...
Заставить *покраснеть* — не трудно!

1836

ЧЕЛОБИТНАЯ

Башилову

В дни былые сорванец,
Весельчак и веселитель,
А теперь Москвы строитель,
И сенатор, и делец,
О мой давний покровитель,
Сохрани меня, отец,
От соседства шумной тучи
Полицейской саранчи,
И торчащей каланчи,
И пожарных труб и крючий.
То есть, попросту сказать:
Помоги в казну продать
За сто тысяч дом богатый,
Величавые палаты,
Мой пречистенский дворец.
Тесен он для партизана:
Сотоварищ урагана,
Я люблю, казак-боец,
Дом без окон, без крылец,
Без дверей и стен кирпичных,
Дом разгулов безграничных
И налетов удалых,
Где могу гостей моих
Принимать картечью в ухо,
Пулей в лоб иль пикой в брюхо.
Друг, вот истинный мой дом!
Он везде,— но скучно в нем;
Нет гостей для угощенья,
Подожду... а ты пока
Вникни в просьбу казака
И уважь его моленье.

1836

СОВРЕМЕННАЯ ПЕСНЯ

Был век бурный, дивный век,
Громкий, величавый;
Был огромный человек,
Расточитель славы.

То был век богатырей!
Но смешались шашки,
И полезли из щелей
Мошки да букашки.

Всякий маменькин сынок,
Всякий обирала,
Модных бредней дурачок,
Корчит либерала.

Деспотизма супостат,
Равенства оратор,—
Вздулся, слеп и бородат,
Гордый регистратор.

Томы Тьера и Рабо́
Он на память знает
И, как ярый Мирабо,
Вольность прославляет.

А глядишь: наш Мирабо
Старого Гаврило
За измятое жабо
Хлещет в ус да в рыло.

А глядишь: наш Лафает,
Брут или Фабриций
Мужиков под пресс кладет
Вместе с свекловицей.

Фраз журнальных лексикон,
Прапорщик в отставке,
Для него Наполеон —
Вроде бородавки.

Для него славнее бой
Карбонаров бледных,
Чем когда наш шар земной
От громов победных

Колыхался и дрожал,
И народ, в смятенье,
Ниц упавши, ожидал
Мира разрушенье.

Что ж? — Быть может, наш герой
Утомил свой гений
И заботой боевой,
И огнем сражений?..

Нет, он в битвах не бывал —
Шаркал по гостиным
И по плацу выступал
Шагом журавлиным.

Что ж? — Быть может, он богат
Счастьем семьянина,
Заменя блистанье лат
Тогой гражданина?..

Нет, нахально подбочась,
Он по дачам рыщет
И в театрах, развалясь,
Всё шипит да свищет.

Что ж? — Быть может, старины
Он бежал приманок?
Звезды, ленты и чины
Прѐзрел спозаранок?

Нет, мудрец не разрывал
С честолюбьем дружбы
И теперь бы крестик взял...
Только чтоб без службы.

Вот гостиная в лучах:
Свечи да кенкеты,
На столе и на софах
Кипами газеты;

И превыспренний конгресс
Двух графинь оглохших
И двух жалких баронесс
Чопорных и тощих;

Всё исчадие греха,
Страстное новинкой;
Заговорщица-блоха
С мухой-якобинкой;

И козявка-егоза —
Девка пожилая,
И рябая стрекоза —
Сплетня записная;

И в очках сухой паук —
Длинный лазарони,
И в очках плюгавый жук —
Разноситель вони;

И комар, студент хромой,
В кучерской прическе,
И сверчок, крикун ночной,
Друг Крылова Моськи;

И мурашка-филантроп,
И червяк голодный,
И Филипп Филиппыч-клоп,
Муж... женоподобный,—

Все вокруг стола — и скок
В кипеть совещанья
Утопист, идеолóг,
Президент собранья,

Старых барынь духовник,
Маленький аббатик,
Что в гостиных бить привык
В маленький набатик.

Все кричат ему привет
С аханьем и писком,
А он важно им в ответ:
Dominus vobiscum! *

---

* Господь с вами! *(лат.)*

И раздолье языкам!
И уж тут не шутка!
И народам и царям —
Всем приходит жутко!

Всё, что есть,— всё в пыль и прах!
Всё, что процветает,—
С корнем вон! — Ареопаг
Так определяет.

И жужжит он, полн грозой,
Царства низвергая...
А России — боже мой! —
Таска... да какая!

И весь размежеван свет
Без войны и драки!
И России уже нет,
И в Москве поляки!

Но назло врагам она
Всё живет и дышит,
И могуча, и грозна,
И здоровьем пышет.

Насекомых болтовни
Внятием не тешит,
Да и место, где они,
Даже не почешет.

А когда во время сна
Моль иль таракашка
Заползет ей в нос,— она
Чхнет — и вон букашка!

1836



НЕКОТОРЫЕ ЧЕРТЫ ИЗ ЖИЗНИ ДЕНИСА ВАСИЛЬЕВИЧА ДАВЫДОВА

Денис Васильевич Давыдов родился в Москве 1784 года июля 16-го дня, в год смерти Дениса Дидерота. Обстоятельство сие тем примечательно, что оба сии Денисы обратили на себя внимание земляков своих бог знает за какие услуги на словесном поприще!

Давыдов, как все дети, с младенчества своего оказал страсть к маршированию, метанию ружьем и проч. Страсть эта получила высшее направление в 1793 году от нечаянного внимания к нему графа Александра Васильевича Суворова, который при осмотре Полтавского легкоконного полка, находившегося тогда под начальством родителя Давыдова, заметил резвого ребенка и, благословив его, сказал: *«Ты выиграешь три сражения!»* Маленький повеса бросил псалтырь, замахал саблею, выколол глаз дядьке, проткнул шлык няне и отрубил хвост борзой собаке, думая тем исполнить пророчество великого человека.

Розга обратила его к миру и к учению. Но как тогда учили! Натирали ребят наружным блеском, готовя их для удовольствий, а не для пользы общества: учили лепетать по-французски, танцевать, рисовать и музыке; тому же учился и Давыдов до тринадцатилетнего возраста. Тут пора была подумать и о будущности: он сел на коня, захлопал арапником, полетел со стаею гончих собак по мхам и болотам — и тем заключил свое воспитание.

Между *порошами* и *брызгами*, живя в Москве без занятий, он познакомился с некоторыми молодыми

людьми, воспитывавшимися тогда в Университетском пансионе. Они доставили ему случай прочитать «Аониды», полупериодическое собрание стихов, издаваемое тогда Н. М. Карамзиным. Имена знакомых своих, напечатанные под некоторыми стансами и песенками, помещенными в «Аонидах», воспламенили его честолюбие: он стал писать; мысли толпились, но, как приключение во сне, без связи между собою. В порывах нетерпения своего он думал победить препятствия своенравием: рвал бумагу и грыз перья, но не тут-то было! Тогда он обратился к переводам, и вот первый опыт его стихосложения:

Пастушка Лиза, потеряв
Вчера свою овечку,
Грустила и эху говорила
Свою печаль, что эхо повторило:
«О, милая овечка! Когда я думала, что ты меня
Завсегда будешь любить,
Увы, по моему сердцу судя,
Я не думала, что другу можно изменить!»

В начале 1801 года запрягли кибитку, дали Давыдову в руки четыреста рублей ассигнациями и отправили его в Петербург на службу. Малый рост препятствовал ему вступить в Кавалергардский полк без затруднений. Наконец привязали недоросля нашего к огромному палашу, опустили его в глубокие ботфорты и покрыли святилище поэтического его гения мукòю и треугольною шляпою.

Таковым чудовищем спешит он к двоюродному брату своему А. М. Каховскому, чтобы порадовать его своею радостью; но увы, какой прием! Вместо поздравлений, вместо взаимных с ним восторгов этот отличный человек осыпал его язвительными насмешками и упреками за вступление на службу неучем. «Что за солдат, брат Денис,— заключил он поразительный монолог свой,— что за солдат, который не надеется быть фельдмаршалом! А как тебе снести звание это, когда ты не знаешь ничего того, что необходимо знать штаб-офицеру?» Самолюбие Давыдова было скорбно тронуто, и с того времени, гонимый словами Каховского, подобно грозному призраку, он не только обратился к военным книгам, но пристрастился к ним так, что не имел уже нужды в пугалищах, чтоб заниматься чтением.

Между тем он не оставлял и беседы с музами: он призывал их во время дежурств своих в казармы, в госпиталь и даже в эскадронную конюшню. Он часто на нарах солдатских, на столике больного, на полу порожнего стойла, где избирал свое логовище, писывал сатиры и эпиграммы, коими начал ограниченное словесное поприще свое.

В 1804 году судьба, управляющая людьми, или люди, направляющие ее ударами, принудили повесу нашего выйти в Белорусский гусарский полк, расположенный тогда в Киевской губернии, в окрестностях Звенигородки. Молодой гусарский ротмистр закрутил усы, покачнул кивер на ухо, *затянулся, натянулся* и пустился плясать мазурку до упаду.

В это бешеное время он писал стихи своей красавице, которая их не понимала, потому что была полька, и сочинил известный призыв на пунш Бурцову*... который читать не мог оттого, что сам *писал мыслете.*

В 1806 году, быв переведен в Лейб-гусарский полк поручиком, Давыдов явился в Петербург. Вскоре загорелась война с французами, и знаменитый князь Багратион избрал его в свои адъютанты. Давыдов поскакал в армию, прискакал в авангард, бросился в сечу, едва не попался в плен, но был спасен казаками.

По заключении мира Давыдов возвратился в Россию и написал «Договоры», «Мудрость» и несколько других стихотворений.

Зимою 1808 года объявлена война Швеции. Давыдов является в армию, ждет обещанного приступа Свеаборгу, но, узнав о начатии переговоров для сдачи этой крепости, он спешит к Кульневу на север; следуя с ним до окрестностей Улеаборга, он занимает с командою казаков остров Карлое и, возвратясь к авангарду, отступает по льду Ботнического залива, до селения Пигаиоков, а оттуда до Гамле-Карлеби. При селении Химанго, в виду неприятельских аванпостов, он перевел Делилеву басню «La Rose et l'Etourneau» **.

В течение этой кампании Давыдов неотлучно находился при авангарде Кульнева в северной Финляндии; сопутствуя ему во время завоевания Аландских

* Этот Бурцов служил в одном полку с Давыдовым и умер в 1813 году. *(Прим. Давыдова.)*

** «Роза и Скворец».

островов, он с ним расставлял пикеты, наблюдал за неприятелем, разделял суровую его пищу и спал на соломе под крышею неба.

В течение лета 1809 года князь Багратион поступает на степень главнокомандующего Задунайскою армиею; Давыдов находится при сем блистательном полководце во всех сражениях того года.

1810 года обстоятельства отрывают князя Багратиона от армии; граф Каменский заступает его место, и Давыдова снова приписывают к авангарду Кульнева. В поучительной школе этого неусыпного и отважного воина он кончает курс аванпостной службы, начатой в Финляндии, и познает цену спартанской жизни, необходимой для всякого, кто решился *нести службу, а не играть со службою.*

Возвратясь после рущукского приступа к генералу своему, получившему тогда главное начальство над 2-ю западною армиею, Давыдов находился при нем в Житомире и Луцке без действия, если исключим курьерские поездки и беседы его с соименным ему покорителем Индии (Бахусом или Вакхом, иначе Дионисием).

Начинается Отечественная война. Давыдов поступает в Ахтырский гусарский полк подполковником, командует 1-м баталионом оного до Бородина *; подав первый мысль о выгоде партизанского действия, он отправляется с партиею гусар и казаков (130-ю всадниками) в тыл неприятеля, в середину его обозов, команд и резервов; он действует против них сряду десять суток и, усиленный шестьюстами новых казаков, сражается несколько раз в окрестностях и под стенами Вязьмы. Он разделяет славу с графом Орловым-Денисовым, Фигнером и Сеславиным под Ляховым, разбивает трехтысячное кавалерийское депо под Копысом, рассеивает неприятеля под Белыничами и продолжает веселые и залетные свои поиски до берегов Немана. Под Гродном он нападает на четырехтысячный отряд Фрейлиха, составленный из венгерцев: Давыдов — в душе гусар и любитель природного их напитка; за стуком сабель застучали стаканы и — город наш!!!

* Тогда гусарские полки состояли из двух баталионов; каждый баталион заключал в себе пять эскадронов в мирное и четыре эскадрона в военное время. *(Прим. Давыдова.)*

Тут фортуна обращается к нему *задом.* Давыдов предстает *пред лицо* генерала Винценгероде и поступает под его начальство. С ним пресмыкается он чрез Польшу, Силезию и вступает в Саксонию. Не стало терпения! Давыдов рванулся вперед и занял половину города Дрездена, защищаемого корпусом маршала Даву. За таковую дерзость он был лишен команды и сослан в главную квартиру.

Справедливость царя-покровителя была щитом беспокровного. Давыдов снова является на похищенное у него поприще, на коем продолжает действовать до берегов Рейна.

Во Франции он командует в армии Блюхера Ахтырским гусарским полком. После Краонского сражения, в коем все генералы 2-й гусарской дивизии (что ныне 3-я) были убиты или ранены, он управляет двое суток всею дивизиею, а потом бригадою, составленною из гусарских полков — того же Ахтырского и Белорусского, с которыми он проходит чрез Париж. За отличие в сражении под Бриеном (Ларотьер) он производится в генерал-маиоры.

1814 года Давыдов возвращается из Парижа в Москву, где предается исключительно поэзии и сочиняет несколько элегий.

Во время мира он занимает место начальника штаба пехотных корпусов: вначале 7-го, а потом 3-го.

В 1819 году он вступает в брак, а в 1821 году *бракует* себя из списков фронтовых генералов, состоящих по кавалерии. Но единственное упражнение: застегивать себе поутру и расстегивать к ночи крючки и пуговицы от глотки до пупа надоедает ему до того, что он решается на распашной образ одежды и жизни и, в начале 1823 года, выходит в отставку.

Со вступлением на престол императора Николая Давыдов снова оплечается знаками военной службы и опоясывается саблею. Персияне вторгаются в Грузию. Государь император удостоивает его избранием в действующие лица и на ту единственную пограничную черту России, которая не звучала еще под копытами коня Давыдова. Он вырывается из объятий милого ему семейства и спешит из Москвы в Грузию: в десять дней Давыдов за Кавказом. Еще несколько дней —

и он с отрядом своим за Безобдалом, в погоне за неприятелем, отступающим от него по Бамбакской долине. Наконец еще одни сутки — и он близ заоблачного Алагёза поражает четырехтысячный отряд известного Гассан-хана, принудив его бежать к Эриванской крепости, куда спешит и сам сардар эриванский с войсками своими от озера Гохчи. Тут открывается глазам Давыдова Арарат в полном блеске, в своей снеговой одежде, с своим голубым небом и со всеми воспоминаниями о колыбели рода человеческого.

После сей экспедиции Давыдов занимается строением крепости Джелал-Оглу, которую довершает около декабря месяца. Зимою, во время бездействия, он получает от генерала Ермолова отпуск в Москву на шесть недель, но едва успевает он обнять свое семейство, как снова долг службы влечет его за кавказские пределы. Но эта поездка не приносит ему успеха прошлогоднего: на этот раз перемена климата не благоприятствует Давыдову, и недуг принуждает его удалиться к кавказским целительным водам, где, тщетно ожидая себе облегчения, он находится вынужденным уже безвозвратно отбыть в Россию.

До 1831 года он заменяет привычные ему боевые упражнения занятиями хозяйственными, живет в своей приволжской деревне, вдали от шума обеих столиц, и пользуется всеми наслаждениями мирной, уединенной и семейной жизни. Там сочиняет он «Бородинское поле», «Душеньку», «Послание Зайцевскому» и проч.

Тяжкий для России 1831 год, близкий родственник 1812, снова вызывает Давыдова на поле брани. И какое русское сердце, чистое от заразы общемирного гражданства, не забилось сильнее при первом известии о восстании Польши? Низкопоклонная, невежественная шляхта, искони подстрекаемая и руководимая женщинами, господствующими над ее мыслями и делами, осмеливается требовать у России того, что сам Наполеон, предводительствовавший всеми силами Европы, совестился явно требовать, силился исторгнуть — и не мог! Давыдов скачет в Польшу, 12 марта он находится уже в главной квартире армии, в местечке Щенице, а 22-го — в Красноставе, где кочует порученный ему отряд войск, состоящий из полков: трех казачьих и Финляндского драгунского.

Шестого апреля он берет приступом город Владимир-на-Волыни и низлагает в нем одно из главных ополчений мятежников Волынской губернии.

Двадцать девятого апреля он, вместе с генерал-маиором графом Толстым, загоняет корпус Хржановского под пушки крепости Замостья.

Седьмого июня, командуя авангардом корпуса генерала Ридигера в сражении под Лисобиками, Давыдов принимает на щит свой все удары главных сил неприятеля и не уступает ему ни шагу. Бой длится более трех часов. Генерал Ридигер, пользуясь стойкостью пехоты Давыдова, обходит сражающихся, ударяет в тыл неприятеля и сим искусным и отважным движением обращает победы на свою сторону. За этот бой Давыдов производится в генерал-лейтенанты.

В течение августа Давыдов, продолжая командовать то различными отрядами, то всею кавалериею корпуса генерала Ридигера, действует за Вислою между Варшавою и Краковым. Наконец, командуя в предмостном укреплении на Висле при местечке Казимирже, он отбивает учиненное на него всем корпусом Ружицкого нападение, предпринятое 28 августа, и по совершенном низложении мятежа русскою армиею возвращается в Москву, на свою родину, к своему семейству.

Давыдов немного писал, еще менее печатал; он, по обстоятельствам, из числа тех поэтов, которые довольствовались *рукописною,* или *карманною,* славою. Карманная слава, как карманные часы, может пуститься в обращение, миновав строгость казенных осмотрщиков. Запрещенный товар — как запрещенный плод: цена его удвоивается от запрещения. Сколько столовых часов под свинцом таможенных чиновников стоят в лавке; на вопрос: долго ли им стоять? — отвечают они: *вечность!*

Общество любителей российской словесности, учрежденное при Московском университете, удостоило Давыдова избранием в число своих действительных членов, и он примкнул в нем к толпе малодействующих. Однако сочинение его «Опыт партизанского действия» и издаваемые ныне «Стихотворения» дают ему право на адрес-календарь Глазунова и на уголок в Публичной библиотеке, в сем богоугодном и странно-

приимном заведении, куда стекаются любовники гулливых барышень Парнаса. При всем том Давыдов не искал авторского имени, и как приобрел оное — сам того не знает. Бо́льшая часть стихов его пахнет биваком. Они были писаны на привалах, на дневках, между двух дежурств, между двух сражений, между двух войн; это пробные почерки пера, чинимого для писания рапортов начальникам, приказаний подкомандующим.

Стихи эти были завербованы в некоторые московские типографии тем же средством, как некогда вербовали разного рода бродяг в гусарские полки: за шумными трапезами, за веселыми пирами, среди буйного разгула.

Они, подобно Давыдову во всех минувших войнах, появлялись во многих журналах наездниками, поодиночке, наскоком, очертя голову; день их — был век их.

Сходство между ними идет далее: в каждой войне он пользовался общим одобрением, общею похвалою; в мирное время о нем забывали вместе с каждою войною. То же было и с журналами, заключающими стихи его, и с его стихами. Кому известна ныне служба его во время войн в Пруссии, в Финляндии, в Турции, в России, в Германии, во Франции, в Грузии и в Польше? Кто ныне знает о существовании какой-нибудь «Мнемозины», какого-нибудь «Соревнователя просвещения», «Амфиона» и других журналов, *поглощенных вечностью* вместе со стихами Давыдова?

Никогда бы не решился он на собрание рассеянной своей стихотворной вольницы и на помещение ее на *непременные квартиры* у книгопродавца, если бы добрые люди не доказали ему, что одно и то же — покоиться ей розно или вместе.

Сбор этот стоил ему немалого труда. Некоторые стихотворения были исторгнуты им из покрытых уже прахом или изорванных журналов, а другие, переходя из рук в руки писцов, более или менее грамотных, изменились до того, что едва были узнаны самим автором. Мы не говорим уже о тех, которые, прославляя удалую жизнь, не могли тогда и не могут теперь показаться на инспекторский смотр цензурного комитета, и о тех, кои исключены им из списка за рифмы на глаголы, ибо, как говорит он, *во многоглаголании несть спасения.*

Как бы то ни было, он обэскадронил все, что мог, из своей сволочи и представляет команду эту на суд читателя, с ее странною поступью (allure), с ее обветшалыми ухватками, в ее одежде старомодного покроя, как кагульских, как очаковских инвалидов-героев новому поколению забалканских и варшавских щеголей-победителей! Будут нападки — это в порядке вещей. Но пусть вволю распояшется на этот подвиг санкт-петербургская и московская милиция критиков! В лета щекотливой юности Давыдова малейшее осуждение глянца сапогов, фабры усов, ста́тей коня его бросало его руку на пистолеты или на рукоять его черкесской шашки. Время это далеко! Теперь мы ручаемся, что он ко многому уже равнодушен, особенно к стихам своим, к коим равнодушие его, относительно их красоты или недостатков, не изменялось и не изменится. И как быть иначе! Он никогда не принадлежал ни к какому литературному цеху. Правда, он был поэтом, но поэтом не по рифмам и стопам, а по чувству; по мнению некоторых — воображением, рассказами и разговорами; по мнению других — по залету и отважности его военных действий. Что касается до упражнения его в стихотворстве, то он часто говаривал нам, что это упражнение или, лучше сказать, порывы оного утешали его, как бутылка шампанского, как наслаждение, без коего он мог обойтись, но которым упиваясь, он упивался уже с полным чувством эгоизма и без желания уделить кому-нибудь хотя бы малейшую каплю своего наслаждения.

Заключим: Давыдов не нюхает с важностью табаку, не смыкает бровей в задумчивости, не сидит в углу в безмолвии. Голос его тонок, речь жива и огненна. Он представляется нам сочетателем противоположностей, редко сочетающихся. Принадлежа стареющему уже поколению и летами и службою, он свежестью чувств, веселостью характера, подвижностью телесною и ратоборством в последних войнах собратствует, как однолеток, и текущему поколению. Его благословил великий Суворов; благословение это ринуло его в боевые случайности на полное тридцатилетие; но, кочуя и сражаясь тридцать лет с людьми, посвятившими себя исключительно военному ремеслу, он в то же время занимает не последнее место в сло-

весности между людьми, посвятившими себя исключительно словесности. Охваченный веком Наполеона, изрыгавшим всесокрушительными событиями, как Везувий лавою, он пел в пылу их, как на костре тамплиер Моле́, объятый пламенем. Мир и спокойствие — и о Давыдове нет слуха, его как бы нет на свете; но повеет войною — и он уже тут, торчит среди битв, как казачья пика. Снова мир — и Давыдов опять в степях своих, опять гражданин, семьянин, пахарь, ловчий, стихотворец, поклонник красоты во всех ее отраслях — в юной деве ли, в произведениях художеств, в подвигах ли, военном или гражданском, в словесности ли,—везде слуга ее, везде раб ее, поэт ее. Вот Давыдов!

ВСТРЕЧА С ВЕЛИКИМ СУВОРОВЫМ

(1793)

Посвящается князю
Александру Аркадьевичу Италийскому,
графу Суворову-Рымникскому

1

С семилетнего возраста моего я жил под солдатскою палаткой, при отце моем, командовавшем тогда Полтавским легкоконным полком,— об этом где-то было уже сказано. Забавы детства моего состояли в метании ружьем и в маршировке, а верх блаженства — в езде на казачьей лошади с покойным Филиппом Михайловичем Ежовым, сотником Донского войска.

Как резвому ребенку не полюбить всего военного при всечасном зрелище солдат и лагеря? А *тип* всего военного, русского, родного военного, не был ли тогда Суворов? Не Суворовым ли занимались и лагерные сборища, и гражданские общества того времени? Не он ли был предметом восхищений и благословений, заочно и лично, всех и каждого? Его таинственность в постоянно употребляемых им странностях наперекор условным странностям света; его предприятия, казавшиеся исполняемыми как будто *очертя голову;* его молниелетные переходы, его громовые победы на неожиданных ни нами, ни неприятелем точках театра военных действий,— вся эта поэзия событий, подвигов, побед, славы, продолжавшихся несколько десятков лет сряду, все отзывалось в свежей, в молодой России полной поэзией, как все, что свежо и молодо.

Он был сын генерал-аншефа, человека весьма умного и образованного в свое время; оценив просвеще-

ние, он неослабно наблюдал за воспитанием сына и дочери (княгини Горчаковой). Александр Васильевич изучил основательно языки французский, немецкий, турецкий и отчасти италианский; до поступления своего на службу он не обнаруживал никаких странностей. Совершив славные партизанские подвиги во время Семилетней войны, он узнал, что такое люди; убедившись в невозможности достигнуть высших степеней наперекор могущественным завистникам, он стал отличаться причудами и странностями. Завистники его, видя эти странности и не подозревая истинной причины его успехов, вполне оцененных великой Екатериной, относили все его победы лишь слепому счастию.

Суворов вполне олицетворил собою героя трагедии Шекспира, поражающего в одно время комическим буфонством и смелыми порывами гения. Гордый от природы, он постоянно боролся с волею всесильных вельмож времен Екатерины. Он в глаза насмехался над могущественным Потемкиным, хотя часто писал ему весьма почтительные письма, и ссорился с всесильным австрийским министром бароном Тугутом. Он называл часто Потемкина и графа Разумовского своими благодетелями; отправляясь в Италию, Суворов пал к ногам Павла [1]*. Было ли это следствием расчета, к которому он прибегал для того, чтобы вводить в заблуждение наблюдателей, которых он любил ставить в недоумение, или, действуя на массы своими странностями, преступавшими за черту обыкновения, он хотел приковать к себе всеобщее внимание?

Если вся жизнь этого изумительного человека, одаренного нежным сердцем [2], возвышенным умом и высокою душой, была лишь театральным представлением, и все его поступки заблаговременно обдуманы,— весьма любопытно знать: когда он был в естественном положении? Балагуря и напуская на себя разного рода причуды, он в то же время отдавал приказания армиям, обнаруживавшие могучий гений. Беседуя с глазу на глаз с Екатериной о высших военных и политических предметах, он удивлял эту необычайную женщину

---

* См. примечания Д. Давыдова на с. 300—320 настоящего издания.

своим оригинальным, превосходным умом и обширными разносторонними сведениями[3]; поражая вельмож своими высокими подвигами, он язвил их насмешками, достойными Аристофана и Пирона. Во время боя, следя внимательно за всеми обстоятельствами, он вполне обнимал и проникал их своим орлиным взглядом. В минуты, где беседа его с государственными людьми становилась наиболее любопытною, когда он, с свойственной ему ясностью и красноречием, излагал ход дел, он внезапно вскакивал на стул и пел петухом, либо казался усыпленным вследствие подобного разговора; таким образом поступил он с графом Разумовским и эрцгерцогом Карлом. Лишь только они начинали говорить о военных действиях, Суворов, по-видимому, засыпал, что вынуждало их изменять разговор, или, увлекая их своим красноречием, он внезапно прерывал свой рассказ криками петуха. Эрцгерцог, оскорбившись этим, сказал ему: «Вы, вероятно, граф, не почитаете меня достаточно умным и образованным, чтобы слушать ваши поучительные и красноречивые речи?» На это Суворов возразил ему: «Проживете с моих лет и испытаете то, что я испытал, и вы тогда запоете не петухом, а курицей». Набожный до суеверия, он своими причудами в храмах вызывал улыбку самих священнослужителей.

Многие указывают на Суворова как на человека сумасбродного, невежду, злодея, не уступавшего в жестокости Аттиле и Тамерлану, и отказывают ему даже в военном гении. Хотя я вполне сознаю свое бессилие и неспособность, чтобы вполне опровергнуть все возводимые на этого великого человека клеветы, но я дерзаю, хотя слабо, возражать порицателям его.

Предводительствуя российскими армиями пятьдесят пять лет сряду, он не сделал несчастным ни одного чиновника и рядового; он, не ударив ни разу солдата, карал виновных лишь насмешками, прозвищами в народном духе, которые врезывались в них, как клейма. Он иногда приказывал людей, не заслуживших его расположения, выкуривать жаровнями. Кровопролитие при взятии Измаила и Праги было лишь прямым последствием всякого штурма после продолжительной и упорной обороны. Во всех войнах в Азии, где каждый житель есть вместе с тем воин, и в Европе во время на-

родной войны, когда гарнизоны, вспомоществуемые жителями, отражают неприятеля, всякий приступ неминуемо сопровождается кровопролитием. Вспомним кровопролитные штурмы Сарагосы и Тарагоны; последнею овладел человеколюбивый и благородный Сюшет. Вспомним, наконец, варварские поступки англичан в Индии; эти народы, кичащиеся своим просвещением, упоминая о кровопролитии при взятии Измаила и Праги, умалчивают о совершенных ими злодеяниях, не оправдываемых даже обстоятельствами. Нет сомнения, что если б французы овладели приступом городами Сен-Жан-д'Акр и Смоленском, они поступили бы таким же образом, потому что ожесточение осаждающих возрастает по мере сопротивления гарнизона. Штурмующие, ворвавшись в улицы и дома, еще обороняемые защитниками, приходят в остервенение; начальники не в состоянии обуздать порыв войск до полного низложения гарнизона.

Таким образом были взяты Измаил и Прага. Легко осуждать это в кабинете, вне круга ожесточенного боя, но христианская вера, совесть и человеколюбивый голос начальников не в состоянии остановить ожесточенных и упоенных победою солдат. Во время штурма Праги остервенение наших войск, пылавших местью за изменническое побиение поляками товарищей, достигло крайних пределов. Суворов, вступая в Варшаву, взял с собою лишь те полки, которые не занимали этой столицы с Игельстромом в эпоху вероломного побоища русских. Полки, наиболее тогда потерпевшие, были оставлены в Праге, дабы не дать им случая удовлетворить свое мщение. Этот поступок, о котором многие не знают, достаточно говорит в пользу человеколюбия Суворова [4].

В это время здравствовал еще знаменитый Румянцев, некогда начальник Суворова, и некоторые другие вожди, украшавшие век чудес — век Екатерины; но блеск имен их тонул уже в ослепительных лучах этого самобытного, неразгадываемого метеора, увлекавшего за собою весь мир чувств, умов, вниманий и доверенности своих соотчичей, и увлекавшего тем, что в нем не было ни малейшего противозвучия общей гармонии мыслей, поверий, предрассудков, страстей, исключительно им принадлежащих. Сверх того, когда и по

сию пору войско наше многими еще почитается сборищем истуканов и кукл, двигающихся посредству одной пружины, называемой страхом начальства,— он, более полустолетия тому назад, положил руку на сердце русского солдата и изучил его биение. Он уверился, вопреки мнения и того и нашего времени мнимых наблюдателей, что русский солдат, если не более, то, конечно, не менее всякого иностранного солдата, причастен воспламенению и познанию своего достоинства, и на этой уверенности основал образ своих с ним сношений. Найдя повиновение начальству — сей необходимый, сей единственный склей всей армии,— доведенным в нашей армии до совершенства, но посредством коего полководец может достигнуть до некоторых только известных пределов,— он тем не довольствовался. Он удесятерил пользу, приносимую повиновением, сочетав его в душе нашего солдата с чувством воинской гордости и уверенности в превосходстве его над всеми солдатами в мире,— чувством, которого следствию нет пределов.

Прежние полководцы, вступая в командование войсками, обращались к войскам с пышными, непонятными для них речами. Суворов предпочел жить среди войска и вполне его изучил; его добродушие, доходившее до простодушия, его причуды в народном духе привлекали к нему сердца солдат. Он говорил с ними в походах и в лагере их наречием. Вместо огромных штабов он окружал себя людьми простыми, так, например, Тищенкой, Ставраковым.

Но к чему послужило бы,— я скажу более,— долго ли продолжалось бы на своей высоте это подъятие духа в войсках, вверенных его начальству, если б воинские его дарования,— я не говорю уже о неколебимой стойкости его характера и неограниченной его предприимчивости,—если б воинские его дарования хотя немного уступали неустрашимости и самоотвержению, которые он посеял в воинах, исполнявших его предначертания? Если б, подобно всем полководцам своего времени, он продолжал идти тесною стезею искусства, проложенною посредственностью, и не шагнул исполински и махом на пространство широкое, разгульное, им одним угаданное, и которое до сей поры никто не посещал после него, кроме Наполеона?

Случай, который я хочу рассказывать, требует несколько предварительных замечаний об этом предмете, чтобы сделаться понятным во всех своих подробностях. Они не будут длинны.

Суворов застал военное искусство основанным на самых жалких началах. Наступательное действие состояло в движении войск, растянутых и рассеянных по чрезмерному пространству, чтобы, как говорили тогда, *охватить оба крыла противника и поставить его между двух огней.* Оборонительное действие не уступало в нелепости наступательному. Вместо того чтобы, пользуясь сим рассеянием войск противника, ударить совокупно на средину, разреженную и слабую от чрезмерного протяжения линии, и, разорвав ее на две части, поражать каждую порознь,— полководцы, действовавшие оборонительно, растягивали силы свои наравне с наступательною армиею, занимая и защищая каждый путь, каждую тропинку, каждое отверстие, которым она могла к ним приблизиться. Некоторые,— и те почитались уже превосходнейшими вождями,— некоторые решались изменять оборонительное действие в наступательное, растягивая силы свои еще более растянутых сил неприятельской армии, чтобы, с своей стороны, *охватить оба ее крыла* и поставить ее *между двух огней* обоих крыл своих. К этому надобно прибавить так называемые демонстрации отряженными для сего частями армии на далекое расстояние, отчего только уменьшалась числительная сила главной массы, определенной для боя. К демонстрациям можно присоединить фальшивые атаки, которые никого не обманывают; размеренные переходы войск, которые только способствовали неприятелю рассчитывать время их прибытия к мете, им назначенной, следственно и предупреждать намерения их начальника; и, наконец, бо́льшую заботливость о механическом устройстве подвозов с пищею в определенные сроки, чем о предметах, касающихся собственно до битв, и тем самым полное подданство военных соображений и действия соображению и действию чиновников, управляющих способами пропитания армии. Такова была стратегия того времени! Тактика представляла не менее нелепостей; когда дело доходило до сражения, важнейшие условия для принятия битвы состояли в избрании местоположения более

или менее возвышенного, в примкнутии обоих крыл армии к искусственным или природным препятствиям и в отражении оттуда неприятельских усилий, *не двигаясь с места.* При нападении на неприятеля — употребление фальшивых атак, которые никого не обманывали, и действие более огнем, чем холодным оружием; нигде решительности, везде ощупь и колебание воли.

Можно представить себе, как поступил с таковыми преградами гений беспокойный, своенравный, независимый.

Еще полковником Астраханского гренадерского полка, на маневрах у Красного Села, где одна сторона предводительствуема была графом Паниным, а другая самой Екатериною, Суворов, который давно уже негодовал на методические движения, в то время почитаемые во всей Европе совершенством военного искусства, и на долговременную стрельбу во время боя,— по мнению его, ничего не решавшую,— осмелился показать великой монархине и своим начальникам образ действия, приличнейший для духа русского солдата, и испортил маневр порывом своевольным и неожиданным. Среди одного из самых педантических движений, сопряженного с залпами *плутонгами* и *полуплутонгами,* он вдруг прекратил стрельбу своего полка, двинулся с ним вон из линии, ворвался в средину противной стороны, замешал часть ее и все предначертания и распоряжения обоих начальников перепутал и обратил все в хаос. Спустя несколько месяцев, когда ему предписано было идти с полком из Петербурга в Ригу, он не пропустил и этого случая, чтобы не открыть глаз и не обратить внимания на пользу, какую могут принести переходы войск, выступающие из расчета, укоренившегося навыком и употребляемого тогда всеми без исключения. Посадив один взвод на подводы и взяв с ним полную казну и знамя, он прибыл в восемь дней в Ригу и оттуда донес нарочным о дне прибытия полка на определенное ему место рапортом в Военную коллегию, изумленную таковой поспешностью. Вскоре прибыла и остальная часть полка, но не в тридцать суток, как предписано было по маршруту, а не более как в четырнадцать суток. Одна Екатерина, во всей России, поняла и молодого полковника и оба данные им

наставления, и тогда же она сказала о нем: «Это мой собственный, будущий генерал!»

После такого слова легко было и не Суворову идти к цели свободно и без опасения препятствий; что же должен был сделать Суворов с своею предприимчивостью, с своей железною волею? И как он этим воспользовался!

Он предал анафеме всякое *оборонительное,* еще более *отступательное* действие в российской армии и сорок лет сряду, то есть от первого боевого выстрела до последнего дня своей службы действовал не иначе, как *наступательно.*

Он совокуплял все силы и всегда воевал одною массою[5], что давало ему решительное превосходство над рассеянным того времени образом действий, принятым во всей Европе,— образ действия и поныне употребляемый посредственностью, следовательно, неослабно и беспрестанно: ибо везде дорывается она до власти преимущественно пред дарованием, по существу своему гордо-скромным.

Что касается до чистого боевого действия, Суворов или стоял на месте, вникая в движения противника, или, проникнув их, стремглав бросался на него усиленными переходами, которые доныне именуются *суворовскими,* и падал *как снег на голову.*

Следствием таких летучих переходов, предпринимаемых единственно для изумления неприятеля внезапным для него нападением во время его расплоха и неготовности к бою, было предпочтение Суворовым холодного оружия огнестрельному. И нельзя быть иначе: не вытягивать же линии и не завязывать дело канонадою и застрельщиками, чтобы, встревожив противника нечаянным появлением, дать ему время прийти в себя, оглядеться, устроиться и привести положение атакованного в равновесие с положением атакующего! И весь этот образ действия, им созданный, приспособлялся к местностям и обстоятельствам его чудесным, неизъяснимым даром мгновенной сметливости при избрании выгоднейшего стратегического пути между путями, рассекающими область, по которой надлежало ему двигаться, и тактической точки поля сражения, на коем надлежало ему сражаться. По этому пути и на эту точку устремлял он все свои силы, не развлекая их

никакими посторонними происшествиями, случаями и предметами,— как не отвлекал он до конца жизни мыслей и чувств своих от единственной господствовавшей над ним страсти — страсти к битвам и славе военной.

Из кратких выписок его приказов или так называемых заметок мы видим лишь похвалы штыку и презрение к ружейной пальбе; это значило, что надо было, избегая грома, часто мало вредящего и отсрочивающего развязку битв, сближаться с неприятелем грудь с грудью в рукопашной схватке. Везде видна решительность и быстрота, а не действие ощупью. Он любил решительность в действиях и лаконизм в речах; длинные донесения и рассказы приводили его в негодование. Он требовал «да» или «нет», или лаконическую фразу, выражающую мысль двумя-тремя словами. Он был непримиримым врагом немогузнаек, о которых говорил: «От проклятых немогузнаек много беды». Однажды Суворов спросил гренадера: «Далеко ли отсюда до дальнейшей звезды?» — «Три суворовских перехода»,— отвечал гренадер. Презирая действия, носящие отпечаток робости, вялости, излишней расчетливости и предусмотрительности, он старался возбудить в войсках решительность и смелость, которые соответствовали бы его залетным движениям.

Суворов в конце своего знаменитого поприща предводительствовал австрийцами против французов[6], он покорил Италию, в которой много буйных голов обнаруживали явную непокорность законным властям. Пусть австрийцы, французы, италианцы скажут: где и в каком случае Суворов обнаружил жестокость и бесчеловечие? К концу кампании половина армии Моро с генералами Груши́, Периньон, Викто́р, Гардан и другими были взяты в плен. Обращение Суворова с пленными и вышеупомянутыми лицами могло ли сравниться с поведением австрийцев и англичан, которые томили своих пленных в смрадных, сырых казематах крепостей и понтонах?

Все немало изумлялись постоянству, с которым Суворов с юных лет стремился к достижению однажды избранной им цели, и выказанной им твердости душевной, необходимой для всякого гения, сколько бы он ни был глубок и обширен. Я полагаю, что еще в

юности Суворов, взвесив свои физические и душевные силы, сказал себе: «Я избираю военное поприще и укажу русским войскам путь к победам; я приучу их к перенесению лишений всякого рода и научу их совершать усиленные и быстрые переходы». С этой целью он укрепил свое слабое тело упражнениями разного рода, так что, достигнув семидесятилетнего возраста, он ежедневно ходил по десяти верст; употребляя пищу простую и умеренную, он один раз в сутки спал на свежем сене и каждое утро обливался несколькими ушатами воды со льдом.

Избрав военное поприще, он неминуемо должен был встретить на нем много препятствий со стороны многочисленных завистников и вынести немало оскорблений. Первым он противопоставил диогеновскую бочку, и пока они занимались осуждением его причуд и странностей, он ускользал от их гонения; пренебрегая вторыми, он терпеливо следовал по единожды избранному пути. Он стремился к одной главной цели — достижению высшего звания, для употребления с пользой необычайных дарований своих, которые он сознавал в себе. Он мечтал лишь о славе, но о славе чистой и возвышенной; эта страсть поглотила все прочие, так что в эпоху возмужалости, когда природа влечет нас более к существенному, нежели к идеальному, Суворов казался воинственным схимником. Избегая общества женщин, развлечений, свойственных его летам, он был нечувствителен ко всему тому, что обольщает сердце. Ненавистники России и, к сожалению, некоторые русские не признают в нем военного гения; пятидесятитрехлетнее служение его не было ознаменовано ни одной неудачей; им были одержаны блестящие победы над знаменитейшими полководцами его времени, и имя его до сих пор неразлучно в понятиях каждого русского с высшею степенью военного искусства; все это говорит красноречивее всякого панегирика.

Предвидя, что алчность к приращению имения может увеличиваться с летами, он заблаговременно отстранил себя от хозяйственных забот и постоянно избегал прикосновения с металлом, питающим это недостойное чувство. Владея девятью тысячами душами, он никогда не знал количества получаемых доходов; будучи еще тридцати лет от роду, он поручил управ-

ление имениями своим родственникам, которые доставляли его адъютантам, избираемым всегда из низшего класса военной иерархии, ту часть доходов, которая была необходима для его умеренного рода жизни[7].

Познание слабостей человечества и неослабное наблюдение за самим собою составляли отличительную черту его философии; когда старость и думы покрыли чело его сединами и морщинами, достойными наблюдения Лафатера, он возненавидел зеркала, которые надлежало выносить из занимаемых им покоев или закрывать полотном, и часы, которые также выносили из занимаемых им комнат. Многим эти оригинальные причуды казались весьма странными; они относили их к своенравию Суворова. Обладая в высшей степени духом предприятия, он, подобно свежему юноше, избегал всего того, что напоминало ему о времени, и изгонял мысль, что жизнь его уже приближается к концу. Он не любил зеркал, вероятно, потому, что мысль увидеть себя в них стариком могла невольно охладить в нем юношеский пыл, убить в нем дух предприятия, который требовал всей мощи душевной, всей любви к случайностям, которые были свойственны лишь молодости. Фридрих Великий, имея, вероятно, в виду ту же самую цель, стал румяниться за несколько лет до своей кончины.

Таким образом, укрепив свое тело физическими упражнениями, введя в заблуждение зависть своими причудами, терпеливо перенося разного рода оскорбления, наблюдая постоянно за собою и, наконец, предавшись душою лишь страсти к славе, Суворов, с полной уверенностью в силе своего гения, ринулся в военное поприще. Он достиг генерал-маиорского чина лишь на сорок первом году жизни, то есть в такие лета, когда ныне многие, удостоившись получить это звание, спешат уже оставить службу. Кто из нас не видал тридцатилетних генерал-маиоров, ропщущих на судьбу, препятствующую им достигнуть следующего чина чрез несколько месяцев? Суворов при производстве своем в генерал-маиоры был почти вовсе неизвестен, но зато какой быстрый и изумительный переход от этой малой известности к великой и неоспоримой славе! Генерал Фуа сказал о Наполеоне: «Подобно богам Гомера, он, сделав три шага, был уже на краю света». Слова этого

известного генерала могут быть вполне применены к нашему великому и незабвенному Суворову.

И этого-то человека судьба позволила мне видеть и, что еще для меня лестнее, разменяться с ним несколькими словами в один из счастливейших дней моей жизни!

Вот как это было.

2

За несколько месяцев до восстания Польши Суворов командовал корпусом войск, расположенных в губерниях Екатеринославской и Херсонской. Корпусная квартира его была в Херсоне. Четыре кавалерийские полка, входившие в состав корпуса: Переяславский конно-егерский, Стародубский и Черниговский карабинерные и Полтавский легкоконный — стояли лагерем близ Днепра, в разных пунктах, но близких один к другому. Полтавский находился у села Грушевки, принадлежавшего тогда княгине Елене Никитишне Вяземской, после того, как уверяли меня, какому-то Стиглицу, а нынче — не знаю кому. Дом, занимаемый нашим семейством, был высокий и обширный, но выстроенный на скорую руку для императрицы Екатерины во время путешествия ее в Крымскую область. Лагерь полка отстоял от дома не далее ста шагов. Я и брат мой жили в лагере.

В одну ночь я услышал в нем шум и сумятицу. Выскочив из палатки, я увидел весь полк на конях и на лагерном месте одну только нашу палатку неснятою. Я бросился узнать причину этого неожиданного происшествия. Мне сказали, что Суворов только что приехал из Херсона в простой курьерской тележке [8] и остановился в десяти верстах от нас, в лагере одного из полков, куда приказал прибыть всем прочим полкам на смотр и маневры.

Я был очень молод, но уже говорил и мечтал только о Суворове. Можно вообразить взрыв моей радости! Впрочем, радость и любопытство овладели не одним мною. Я помню, что покойная мать моя и все жившие у нас родственники и знакомые, лакеи, кучера, повара и служанки, все, что было живого в доме и в селе, собиралось, спешило и бежало туда, где остановился

Суворов, чтобы хоть раз в жизни взглянуть на любимого героя, на нашего боевого полубога. Заметим, что тогда еще не было ни побед его в Польше, ни побед его в Италии, ни победы его *над самою природою на Альпах,* этой отдельной пиндарической оды, заключившей грандиозную эпопею подвигов чудесного человека.

Вскоре мать моя и мы отправились вслед за полком и за любопытными и остановились в пустом лагере, потому что войска были уже на маневрах. Суворов приказал из каждого полка оставить по малочисленной команде для разбития палаток, а с прочими войсками начал действовать, и действовать *по-своему:* маневр кипел, подвигался и кончился в семнадцати верстах от лагерного места. К полудню войска возвратились. Отец мой, запыленный, усталый и окруженный своими офицерами, вошел к нам в палатку. Рассказы не умолкали. Анекдоты о Суворове, самые пролетные его слова, самые странности его передавались с восторгом из уст в уста. Противна была только требуемая им от конницы *лишняя* (как говорили тогда офицеры) быстрота в движениях и продолжительное преследование мнимого неприятеля, изнурявшее людей и лошадей.

Но всего более не нравился многим следующий маневр: Суворов разумел войско оружием, а не игрушкой, и потому требовал, чтобы каждый род войска подчинял все второстепенно касающееся до боевого дела,— как, например, свою красивость и стройность,— той цели, для которой он создан. Существенная обязанность конницы состоит в том, чтобы *врезываться* в неприятельские войска, какого бы они рода ни были; следственно, действие ее не ограничивается одной быстротою скока и равенством линий во время скока. Ей должно, сверх того, вторгаться в средину неприятельской колонны или фронта и рубить в них все, что ни попадется под руку, а не, проскакав некоторое расстояние, быстро и стройно обращаться вспять под предлогом испуга лошадей от выстрелов, не коснувшись ни лезвием, ни копытом до стреляющих. Для прекращения подобной отговорки Суворов приучал лошадей им командуемой конницы к скоку во всю прыть, вместе с тем приучал и к проницанию в средину

стреляющего фронта, на который производится нападение. Но чтобы вернее достигнуть этой цели, он не прежде приступал к последнему маневру, как при окончании смотра или ученья, уверенный в памятливости лошадей о том построении и даже о том командном слове, которым прекращается зависимость их от седоков.

Для этого он спешивал половинное число конных войск и становил их с ружьями, заряженными холостыми патронами, так, чтобы каждый стрелок находился от другого в таком расстоянии, сколько нужно одной лошади для проскока между ними; другую же половину оставлял он на конях и, расставя каждого всадника против промежутка, назначенного предварительно для проскока в пехотном фронте, приказывал идти в атаку. Пешие стреляли в самое то время, как всадники проскакивали во всю прыть сквозь стреляющий фронт; проскочив, они тотчас слезали с лошадей, и этим заключался каждый смотр, маневр или ученье. Посредством выбора времени для такого маневра лошади так приучились к выстрелам, пускаемым, можно сказать, в их морду, что вместо страха они, при одном взгляде на построение против них спешивающихся всадников с ружьями, предчувствуя конец трудам своим, начинали ржать и рваться вперед, чтобы, проскакав сквозь выстрелы, возвратиться на покой в свои коновязи или конюшни. Но эти проскоки всадников сквозь ряды спешившихся солдат часто дорого стоили последним. Случалось, что от дыма ружейных выстрелов, от излишней торопливости всадников или от заноса некоторых своенравными лошадьми не по одному, а по нескольку вдруг, они попадали в промежуток, назначенный для одного: это причиняло увечье и даже смертоубийство в пехотном фронте. Вот отчего маневр был так неприятен тем, кому выпадал жребий играть роль пехоты. Но эти несчастные случаи не сильны были отвратить Суворова от средства, признанного им за лучшее для приучения конницы к поражению пехоты: когда доносили ему о числе жертв, затоптанных первою, он обыкновенно отвечал: «Бог с ними! Четыре, пять, десять человеков убью; четыре, пять, десять тысяч выучу»,— и тем оканчивались все попытки доносящих, чтобы отвлечь его от этого един-

ственного способа довести конницу до предмета, для которого она создана.

За полчаса до полночи меня с братом разбудили, чтобы видеть Суворова или, по крайней мере, слышать слова его, потому что ученье начиналось за час до рассвета, а в самую полночь, как нас уверяли, он выбежит нагой из своей палатки, ударит в ладоши и прокричит петухом: по этому сигналу трубачи затрубят *генерал-марш,* и войско станет седлать лошадей, ожидая *сбора,* чтобы садиться на них и строиться для выступления из лагеря. Но, невзирая на все внимание наше, мы не слыхали ни хлопанья в ладоши, ни крика петухом. Говорили потом, что он не только в ту ночь, но никогда, ни прежде, ни после, сего не делывал, и что все это была одна из выдумок и увеличение разных странностей, которые ему приписывали.

До рассвета войска выступили из лагеря, и мы спустя час по их выступлении поехали вслед за ними в коляске. Но угонишься ли за конницею, ведомою Суворовым? Бурные разливы ее всеминутно уходили от нас из виду, оставляя за собою один гул. Иногда между эскадронами, в облаках пыли, показывался кто-то скачущий в белой рубашке, и в любопытном народе, высыпавшем в поле для одного с нами предмета, вырывались крики: *«Вот он, вот он! Это он, наш батюшка, граф Александр Васильевич!»* Вот все, что мы видели и слышали. Наскучив, наконец, бесплодным старанием хотя однажды взглянуть на героя, мы возвратились в лагерь в надежде увидеть его при возвращении с маневров, которые, как нас уверяли, должны были окончиться ранее, чем накануне.

И подлинно, около десяти часов утра все зашумело вокруг нашей палатки и закричало: *«Скачет, скачет!»* Мы выбежали и увидели Суворова во ста саженях от нас, скачущего во всю прыть в лагерь и направляющегося мимо нашей палатки.

Я помню, что сердце мое упало,— как *после* упадало при встрече с любимой женщиной. Я весь был взор и внимание, весь был любопытство и восторг, и как теперь вижу толпу, составленную из четырех полковников, из корпусного штаба, адъютантов и ординарцев, и впереди толпы Суворова — на саврасом калмыцком коне, принадлежавшем моему отцу, в белой

рубашке, в довольно узком полотняном нижнем платье, в сапогах вроде тоненьких ботфорт, и в легкой, маленькой солдатской каске формы того времени, подобно нынешним каскам гвардейских конно-гренадеров. На нем не было ни ленты, ни крестов,— это мне очень памятно, как и черты сухощавого лица его, покрытого морщинами, достойными наблюдения Лафатера, как и поднятые брови и несколько опущенные веки; все это, невзирая на детские лета, запечатлелось в моей памяти не менее его одежды. Вот почему не нравится мне ни один из его бюстов, ни один из портретов его, кроме портрета, писанного в Вене во время проезда в Италию, с которого вернейшая копия находится у меня, да бюста Гишара, изваянного по слепку с лица после его смерти; портрет, искусно выгравированный Уткиным, не похож: он без оригинального выражения его физиономии, спящ и безжизнен.

Когда он несся мимо нас, то любимый адъютант его, Тищенко,— человек совсем необразованный, но которого он перед всеми выставлял за своего наставника и как будто слушался его наставлений,— закричал ему: «Граф! что вы так скачете; посмотрите, вот дети Василья Денисовича».— «Где они? где они?» — спросил он и, увидя нас, поворотил в нашу сторону, подскакал к нам и остановился. Мы подошли к нему ближе. Поздоровавшись с нами, он спросил у отца моего наши имена; подозвав нас к себе еще ближе, благословил нас весьма важно, протянул каждому из нас свою руку, которую мы поцеловали, и спросил меня: «Любишь ли ты солдат, друг мой?» Смелый и пылкий ребенок, я со всем порывом детского восторга мгновенно отвечал ему: «Я люблю графа Суворова; в нем все — и солдаты, и победа, и слава».— «О бог помилуй, какой удалой! — сказал он.— Это будет военный человек; я не умру, а он уже три сражения выиграет! А этот (указав на моего брата) пойдет по гражданской службе». И с этим словом вдруг поворотил лошадь, ударил ее нагайкою и поскакал к своей палатке.

Суворов в сем случае не был пророком: брат мой весь свой век служил в военной службе и служил с честью, что доказывают восемь полученных ран,— все, кроме двух, от холодного оружия,— ран, издалека не

получаемых; а я не командовал ни армиями, ни даже отдельными корпусами; следовательно, не выигрывал и не мог выигрывать сражений. При всем том слова великого человека имели что-то магическое: когда спустя семь лет подошло для обоих нас время службы и отцу моему предложили записать нас в Иностранную коллегию, то я, полный слов героя, не хотел другого поприща, кроме военного; брат мой, озадаченный, может быть, его предсказанием, покорился своей судьбе и, прежде чем поступил в военное звание, около году служил в Московском архиве иностранных дел юнкером.

В этот день все полковники и несколько штаб-офицеров обедали у Суворова. Отец мой, возвратясь домой, рассказывал, что пред обедом он толковал о маневре того дня и делал некоторые замечания. Как в этом маневре отец мой командовал второю линиею, то Суворов, обратясь к нему, спросил: «Отчего вы так тихо вели вторую линию во время третьей атаки первой линии? Я посылал к вам приказание прибавить скоку, а вы все продолжали тихо подвигаться!» Такой вопрос из уст всякого начальника не забавен, а из уст Суворова был, можно сказать, поразителен. Отец мой известен был в обществе необыкновенным остроумием и присутствием духа в ответах; он, не запутавшись, отвечал ему: «Оттого, что я не видал в том нужды, ваше сиятельство!» — «А почему так?» — «Потому, что успех первой линии этого не требовал: она не переставала гнать неприятеля. Вторая линия нужна была только для смены первой, когда та устанет от погони. Вот почему я берег силу лошадей, которым надлежало впоследствии заменить выбившихся уже из сил».— «А если бы неприятель ободрился и опрокинул бы первую линию?» — «Этого быть не могло: ваше сиятельство были с нею!» Суворов улыбнулся и замолчал. Известно, что он морщился и мигом обращался спиною в ответ на самые утонченные лесть и похвалу, исключая тех только, посредством которых разглашалась и укоренялась в общем мнении его непобедимость; эту лесть и похвалу он любил, и любил страстно, вероятно, не из тщеславия, а как нравственную подмогу и, так сказать, заблаговременную подготовку непобедимости.

Вечером мы с матерью нашей и со всеми домашними поспешили обратно в Грушевку. Важное происшествие приготовлялось для нашего дома. Суворов, по особенной благосклонности к моему отцу, сам назвался к нему на обед. Не помню точно, но, кажется, это было во время петровского поста, или день обеда был в среду или пятницу; только мне весьма памятны хлопоты и суматоха в доме для приискания поболее и получше рыбы и для приготовления других любимых им блюд.

Не менее забот было и при устройстве приема и угощения знаменитого гостя,— так, чтобы ход обыкновенного его образа жизни и привычных странностей и прихотей не получил ни малейшего изменения.

К восьми часам утра все было устроено. В гостиной поставлен был большой круглый стол с разными постными закусками, с *благородного размера* рюмкою и с графином водки. В столовой накрыт был стол на двадцать два прибора, без малейшего украшения посреди, без ваз с фруктами и с вареньем, или без плато, как тогда водилось, и без фарфоровых кукол на нем. Ничего этого не было; Суворов этих прихотей ненавидел. Поставлен был длинный стол, на нем скатерть, а на скатерти двадцать два прибора, и все тут. Не было даже суповых чаш на столе, потому что кушанья должны были подаваться одно за другим, с самого пыла кухонного огня, прямо к сидящим за трапезою; так обыкновенно делывалось у Суворова. В одной из отдельных горниц за столовой приготовлены были: ванна, несколько ушатов с холодною водою, несколько чистых простынь и переменное его белье и одежда, привезенные из лагеря.

Маневры того дня кончились в семь часов утра, то есть в семь часов утра войска были уже на марше к лагерю. Отец мой, оставив свой полк на походе, поскакал в лагерь во всю прыть своего черкесского коня, на котором был на маневрах, чтобы там переменить его, скорее приехать к нам и до прибытия Суворова исправить то, что требовало исправления для его принятия. Уже он был на половине пути от лагеря к Грушевке, как вдруг с одного возвышения увидел около двух верст впереди себя, но несколько в боку — всадника с другим всадником, отставшим довольно далеко;

оба они скакали во все поводья по направлению к Грушевке; это был Суворов с одним из своих ординарцев, скачущий туда прямо с маневров. Отец мой усилил прыть своей лошади, но не успел приехать к нашему дому прежде сего шестидесятитрехлетнего старца-юноши. Он нашел уже его, всего опыленного, на крыльце, трепавшего коня своего и выхвалявшего качества его толпе любопытных, которою был окружен. «Помилуй бог, славная лошадь! Я на такой никогда не езжал. Это не двужильная, а трехжильная!» [9]. Тут отец мой пригласил и провел его в приготовленную ему комнату, а сам занялся туалетом: подобно Суворову, он весь покрыт был пылью, так что нельзя было угадать черт лица его.

Начали наезжать приглашенные на этот же обед другие гости: я помню тогда дежурного генерала при Суворове — Федора Ивановича Левашова, маиора Чорбу, Тищенку, о котором сказал прежде. Тут были также полковники полков, собранных на маневры, все чиновники корпусного штаба Суворова, с ним прибывшие, и несколько штаб-офицеров Полтавского полка. Из полковников памятны мне только Юрий Игнатьевич Поливанов (кажется, тогда уже в бригадирском чине) и подполковник Карл Федорович Гейльфрейх. Все сии гости были в полном параде, в шарфах, и все находились в гостиной, где был отец мой, одетый подобно другим, во всю форму, мать моя, мы и одна пожилая госпожа, знакомая моей матери, приехавшая из Москвы вместе с нами. Она с первого взгляду не понравилась Суворову и была предметом насмешливых взглядов и шуток во все время пребывания его у нас.

Мы все ожидали выхода Суворова в гостиную. Это продолжалось около часу времени. Вдруг растворились двери из комнат, отделенных столовою от гостиной, и Суворов вышел оттуда чист и опрятен, как младенец после святого крещения. Волосы у него были, как представляются на его портретах. Мундир на нем был генерал-аншефский того времени, легкоконный, то есть темно-синий с красным воротником и отворотами, богато шитый серебром, нараспашку, с тремя звездами. По белому летнему жилету лежала лента Георгия первого класса; более орденов не было. Лет-

нее белое, довольно узкое исподнее платье и сапоги, доходившие до половины колена, вроде легких ботфорт; шпага на бедре. В руках ничего не было — ни шляпы, ни каски. Так я в другой раз увидел Суворова.

Отец мой вышел к нему навстречу, провел его в гостиную и представил ему мать мою и нас. Он подошел к ней, поцеловал ее в обе щеки, сказал ей несколько слов о покойном отце ее, генерал-поручике Щербинине, бывшем за несколько лет пред тем наместником Харьковской, Курской и Воронежской губерний. Каждого из нас благословил снова, дал нам поцеловать свою руку и сказал: «Это мои знакомые»,— потом, обратясь ко мне, повторил: «О, этот будет военным человеком! Я не умру, а он выиграет три сражения». Тут отец мой представил ему родную сестру мою, трехлетнего ребенка. Он спросил ее: «Что с тобою, моя голубушка? Что ты так худа и бледна?» Ему отвечали, что у нее лихорадка. «Помилуй бог, это нехорошо! Надо эту лихорадку хорошенько высечь розгами, чтоб она ушла и не возвращалась к тебе». Сестра подумала, что сеченье предлагается ей самой, а не лихорадке, и едва не заплакала. Тогда, обратясь к пожилой госпоже, Суворов сказал: «А об этой и спрашивать нечего; это, верно, какая-нибудь *мадамка»*. Слова сии сказаны были без малейшей улыбки и весьма хладнокровно, что возбудило в нас смех, от которого едва мы воздержались. Но он, не изменяя физиономии, с тем же хладнокровием подошел к столу, уставленному закусками, налил рюмку водки, выпил ее одним глотком и принялся так плотно завтракать, что любо.

Спустя несколько времени отец мой пригласил его за обеденный стол. Все разместились. Подали щи кипячие, как Суворов обыкновенно кушивал: он часто любил их хлебать из самого горшка, стоявшего на огне. Я помню, что почти до половины обеда он не занимался ничем, кроме утоления голода и жажды, средь глубокого молчания; и что он обе эти операции производил, можно сказать, ревностно и прилежно. Около половины обеда пришла череда и разговорам. Но более всего остались у меня в памяти частые насмешки его над пожилою госпожой, что нас, детей, чрезвычайно забавляло, да и старших едва не увлекало к смеху. В течение всего обеда он, при самых ин-

тересных разговорах, не забыл ловить каждый взгляд ее, как скоро она обращалась в противную от него сторону, и мгновенно бросал какую-нибудь шутку на ее счет. Когда она, услышав его голос, оборачивалась на его сторону, он, подобно школьнику-повесе, потуплял глаза в тарелку, не то обращал их к бутылке или стакану, показывая, будто занимается питьем или едою, а не ею. Так, например, взглянув однажды на нее тогда, как она всматривалась в гостей, он сказал вполголоса, но довольно явственно: «Какая тетеха!» И едва успела она обратиться на его сторону, как глаза его опущены уже были на рыбу, которую он кушал весьма внимательно. В другой раз, заметив, что она продолжает слушать разговоры тех же гостей, он сказал: «Как вытаращила глаза!» В третий раз, увидев то же, он произнес: «Они там говорят, а она сидит да глядит!»

Тищенко сказывал после, что из одного только уважения к матери моей Суворов ограничил подобными выходками нападки свои на госпожу, которая ему не понравилась, но что обыкновенно он, дабы избавиться от присутствия противной ему особы, при первой встрече с нею восклицал: «Воняет, воняет! Курите, курите!» И тогда привычные к нему чиновники, зная уже, до кого речь касается, тайно подходили к той особе и просили ее выйти из комнаты. Тогда только прекращались его восклицания.

После обеда он завел речь о лошади, на которой ездил на маневрах и приехал к нам на обед. Хвалил ее прыткость и силу и уверял, что никогда не езжал на подобной, кроме одного раза в сражении под Козлуджи. «В сем сражении,— сказал он,— я отхвачен и преследуем был турками очень долго. Зная турецкий язык, я сам слышал уговор их между собою, чтобы не стрелять по мне и не рубить меня, а стараться взять живого: они узнали, что это был я. С этим намерением они несколько раз настигали меня так близко, что почти руками хватались за куртку; но при каждом их наскоке лошадь моя, как стрела, бросалась вперед, и гнавшиеся за мною турки отставали вдруг на несколько саженей. Так я спасся!»

Пробыв у нас около часа после обеда весьма разговорчивым, веселым и без малейших странностей, он

отправился в коляске в лагерь и там отдал следующий приказ:

«Первый полк отличный; второй полк хорош; про третий ничего не скажу; четвертый никуда не годится».

В приказе полки означались собственным именем каждого; я назвал их номерами. Не могу умолчать, однако, что первый номер принадлежит Полтавскому легкоконному полку.

По отдании этого приказа Суворов немедленно сел на перекладную тележку и поскакал обратно в Херсон.

Спустя несколько месяцев после мирных маневров конницы и насмешек над пожилою госпожой на берегах Днепра Польское королевство стояло уже вверх дном, и Прага, залитая кровью, курилась [10].

ВСТРЕЧА С ФЕЛЬДМАРШАЛОМ ГРАФОМ КАМЕНСКИМ (1806)

В 1806 году 4 июля я был переведен из ротмистров Белорусского гусарского полка, что ныне гусарский полк принца Оранского, в Лейб-гвардии гусарский полк поручиком [11]. В конце сентября я приехал в Петербург и немедленно переехал в Павловск, где квартировал эскадрон, в который я был назначен. Эскадронный командир был давний мой друг и один из виновников перевода моего в гвардию, сослуживцы же — ребята добрые. Мы жили ладно. Во всем полку нашем было более дружбы, чем службы, более рассказов, чем дела, более золота на ташках, чем в ташках, более шампанского (разумеется, в долг), чем печали... Всегда веселы и всегда навеселе!

Может быть, в настоящих летах моих я благословил бы участь мою и не желал бы более; но мне тогда было двадцать два года от роду: я кипел честолюбием, уставал от бездействия, чах от избытка жизни.

Сверх того, положение мое относительно к товарищам было истинно нестерпимое. Оставя гвардию, не слыхавшую еще боевого выстрела, я провел два года в полку, который не был в деле, и поступил обратно в ту же гвардию, которая пришла из-под Аустерлица. От меня еще пахло молоком, от нее несло жженым порохом. Я говорил о рвении моем; мне показывали раны, всегда для меня завидные, или ордена, меня льстившие. Не раз вздох ропота на судьбу мою заструил чашу радости.

Наконец пришла весть о разбитии прусской армии под Иеной. Заговорили о движении войск наших на

помощь пораженным союзникам, и фельдмаршал граф Каменский вызван был из деревни для начальствования армиею. Я ожил. Как бешеный пустился я в столицу, чтобы разведать о средствах втереться к нему в адъютанты или быть приписанным к какому-нибудь армейскому полку, идущему за границу.

Тщетны были старания мои. Я не мог найти не только ходатая, но даже человека, в котором бы хотя мало-мальски отозвалось брожение чувств моих. Везде на поэзию, кипящую и в душе, и в глазах, и в словах моих, встречал я прозаическое словцо: *«Это вам делает честь!»* — «Умилосердитесь! Я не похвалы прошу, я прошу помощи: не дайте мне заглохнуть в гарнизонной службе и на придворных балах; дайте подышать чистым воздухом!» — *«Вы знаете, что государь не любит волонтеров».* Я принимал за клевету такое святотатственное слово насчет государя императора, почитая за сверхъестественное дело, чтобы русский царь не любил тех, кои рвутся вперед. Тем заключились все попытки мои у людей могучих.

Между тем колонны батюшек и бабушек, дядюшек и тетушек, как будто войско, принадлежавшее Наполеону, лезли на приступ 9-го нумера Северной гостиницы, где остановился фельдмаршал. Всякий просил его о своем кровном, все просьбы были удовлетворяемы, и, к большему моему терзанию, я должен был быть свидетелем сборов к отъезду в армию многих моих знакомых и приятелей.

Отчаяние решило меня: 16-го ноября, в четвертом часу *пополуночи*, я надел мундир, сел в дрожки и приехал прямо к самому фельдмаршалу. Я избрал час сей для того, чтобы предупредить новую колонну родственников, готовившуюся на рассвете к новому приступу.

К тому ж всякий чудак любит чудное, а *набег* среди ночи юного поручика, служившего без связей и протекции, на престарелого фельдмаршала, живого, ярого и строптивого, не так-то близок был к обыкновенным правилам общежития и даже благоразумия. Все спало на дворе и в гостинице. Нумер 9-й, к коему вела крутая, тесная и едва освещенная лестница, находился в третьем этаже[12]. У входа в оный был маленький коридор, в коем теплился фонарь. Погода бы-

ла холодная. Пришед к дверям нумера, я завернулся в шинель и прислонился к стене в ожидании какого-нибудь выходца из горниц, чтобы войти с ним вместе в переднюю, оглашаемую сиповатым храпом какого-то дюжего денщика фельдмаршала.

Однако первый пыл решимости моей убавился, когда я, осмотрев себя, взглянул на коридор, едва освещенный гаснувшим уже фонарем, и сообразил с сими очевидными предметами час, избранный мною на торжественное представление себя высокой особе, и младенческое своенравие всех почти стариков с просонков, приправленное необузданными порывами гнева, принадлежавшими лично фельдмаршалу графу Каменскому. Подумав немного, я сбросил с себя шинель, давшую мне вид Абеллино или Фра-Диаволо, и решился дожидаться развязки сего игрища в одном мундире.

Слышу, отворяется дверь, и маленький старичок, свежий и бодрый, является предо мною в халате, с повязанною белой тряпицею головою и с незажженным в руке огарком. Это был фельдмаршал. Увидя меня, он остановился. *«Кто вы таковы?»* — спросил он меня. Я назвал себя. *«К кому пришли?»* — *«К вашему сиятельству»*. Он взглянул мне быстро в глаза, пошел вдоль коридора к фонарю, зажег свой огарок и, на обратном пути, поровнявшись со мною, сказал мне: *«Пожалуйте сюда»*. Я пошел за ним; он молчал и шел с огарком впереди меня. Перед входом в спальню я из уважения хотел было остановиться, пока удостоюсь особого зова. Приметя сие, он сказал довольно сердито: *«Нет, пожалуйте сюда»*. Я вошел в спальню. Тогда он, воткнув огарок в подсвечник, стоявший на столике подле кровати, спросил меня: *«Что вам надо?»* Я объявил желание мое служить на войне. Он вспыхнул, начал ходить скорыми шагами взад и вперед по горнице и почти в исступлении говорить: *«Да что это за мученье! Всякий молокосос лезет проситься в армию, когда я еще и сам не назначен к месту! Замучили меня просьбами! Да кто вы таковы?»* Я повторил мое имя. *«Какой Давыдов?»* Я сказал имя отца моего.

Тут он смягчился, вспомнил о своей приязни с ним и даже с дедом моим; начал поименно называть моих родственников, так что едва не добрался до выходца

из Золотой Орды Минчака Касаевича, родоначальника Давыдовых. Потом, подойдя ко мне ближе, с видом, однако, добродушия, он сказал: *«Помнится мне, что ты против воли должен был однажды выйти из гвардии? За что? Скажи мне правду, как бы ты сказал ее покойному отцу своему».* Я рассказал приключение сие со всею откровенностью лет и характера моего. Он слушал со вниманием, иногда улыбался, иногда хмурился, и я, как ястреб, взмывал над местами, от коих примечал, что брови его начинают смыкаться, падал стремглав и уцеплялся за те, от коих предчувствовал улыбку. Когда я кончил, он, пожав мне руку, сказал: *«Ну, хорошо, любезный Давыдов! Нынче же буду просить тебя с собою; расскажу государю все: как ты ночью,— слыхано ли это! — ночью ворвался ко мне в горницу, как я тебя принял — прости меня! — за неблагонамеренного человека... Право, я думал, что ты хочешь застрелить меня! Правду сказать, я смерти никогда не боялся, а в моих летах еще менее боюсь ее; но ты весьма был похож на подозрительную особу. Признайся!»* Я извинялся, что осмелился обеспокоить его в такой необыкновенный час. *«Нет, нет, напротив,*— возразил он с пылкостию,— *это мне приятно, это я люблю, это значит ревность неограниченная, горячая; тут душа, тут сердце... я это знаю, я чувствую!»*

Итак, распростясь с фельдмаршалом, я возвратился домой с надеждою на успех. Сердце мое обливалось радостью, чад бродил в голове моей; уже я командовал полком, уже я решил важное сражение и едва ли не победителем Наполеона бросился на постель, на коей не мог сомкнуть глаз от душевного волнения. Надежда в эти лета так похожа на подлинность.

Поутру заговорили в гвардии и в городе о моем наездническом наскоке на фельдмаршала; но от него я ничего не получал. Назавтра я приехал к нему в девять часов утра, чтобы узнать о моей участи. Улица была заперта дрожками и каретами. Я вошел в горницы, полные чиновниками, и остановился у притолки. Ударил час развода. Фельдмаршал, выходя садиться в карету, увидел меня, бросился ко мне, обнял меня и, взяв в сторону, сказал мне: *«Я говорил о тебе, любезный Давыдов! Просил тебя в адъютанты к себе в несколько приемов, но мне отказано под предлогом,*

что тебе надо еще послужить во фронте. Признаюсь тебе, что по словам и по лицу государя я вижу невозможность выпросить тебя туда, где тебе быть хотелось. Ищи сам собою средства, и поверь, что какие бы ты ни нашел пути, чрез кого бы ты ни достиг своей цели, я всегда с радостию приму тебя и доставлю тебе случай отличиться». С этим словом он исчез, а я остался как вкопанный!.. Но когда потянулась вслед за ним и мимо меня процессия *избранных*, я взглянул на нее, пожал плечами и улыбнулся, как никогда сатана не улыбался!

Я не распространился бы в описании этого случая, мало любопытного для других, хотя и насладительного для меня воспоминанием о первом порыве моем к поприщу, столь давно, столь неослабно, горячо и страстно мною пробегаемому, если б случай этот не выводил на сцену человека, поколением нашим забытого и новому поколению почти неизвестного; а между тем этот человек имел счастие в течение пятидесятилетнего служения отечеству нести в общем мнении и в мнении самого Суворова высокую честь единственного его соперника в эпоху людей превосходных. Такая честь не есть удел посредственности...

Этою попыткой я не мог удовольствоваться; закусив повода, я бросался на каждую стезю, которая, как казалось мне, могла вести меня к моей цели.

Находясь уже давно в самых дружественных отношениях с моим эскадронным командиром, я потому был весьма обласкан сестрою его, весьма значительною в то время особой. Проводя обыкновенно время мое в ее великолепном, роскошном и посещаемом вельможами, иностранными послами и знатными лицами доме, я потому имел довольно обширный круг знакомых. Поиск мой в 9-й нумер Северной гостиницы сделался, как я уже сказал, предметом минутных разговоров той части столицы, которая от тунеядства питается лишь перелетными новостями, какого бы рода они ни были. Дом Марьи Антоновны Нарышкиной, как дом модный, принадлежал к этому кварталу. Едва я после вышесказанного происшествия вступил в ее гостиную, как все обратилось ко мне с вопросами об этом; никто более ее не удивлялся смелому набегу моему на бешеного старика.

Этот подвиг, который удостоивали называть чрезвычайным, много возвысил меня в глазах этой могущественной женщины. В заключение всех восклицаний, которыми меня осыпали, она мне наконец сказала: «Зачем вам было рисковать, вы бы меня избрали вашим адвокатом, и, может быть, желание ваше давно уже было бы исполнено». Можно вообразить себе взрыв моей радости! Я отвечал, что время еще не ушло, что одно внимание и участие ее служит верным залогом успеха, и прочие в том же вкусе фразы. Она обещала похлопотать обо мне; она, может быть, полагала, что во мне таится зародыш чего-либо необыкновенного и что слава покровительствуемого может со временем отразиться на покровительницу; я поцеловал с восторгом прелестную руку и возвратился домой с такими же надеждами на успех, как по возвращении моем из Северной гостиницы. Чрез два дня я узнал, что все мои просьбы рушились о приговор не лишать меня изящного занятия равняться во фронте и драть горло перед взводом.

Казалось, что приговор мой был подписан и что судьба решительно отказалась оживотворить меня своей улыбкой. Что ж вышло? Приезжает курьер Валуев с известием о болезни фельдмаршала и об отбытии его из армии. Спустя два дня является другой курьер, граф Васильев, с донесением Беннингсена о победе при Пултуске, и государь назначает князя Петра Ивановича Багратиона командиром авангарда действующей армии, которую препоручает генералу Беннингсену.

Какое, по-видимому, могли иметь влияние на военную участь бедного гусарского поручика, ходившего с бичом по манежу или сидевшего за круговой чашей с товарищами, фельдмаршал или Пултуск, или Беннингсен, или Багратион? Первому отказали насчет меня, когда ему ни в чем не отказывали; Беннингсен не ведал даже о моем существовании; о Пултуске я знал только по карте; а Багратион знаком был со мною только мимоходом: здравствуй, прощай, и все тут!

Я в день приезда графа Васильева был в Петербурге для свиданья с братом и весьма мало ожидал ходатайства обо мне князя Багратиона, будучи

убежден в неудаче его попыток, если бы он и вздумал предпринять их. Узнав о назначении его в армию, мне и в голову не входило проситься к нему в адъютанты! Вот каким образом исполнились мои желания.

Князь, получив из уст государя известие о назначении своем и о позволении взять с собою несколько гвардейских офицеров, заехал в то же утро к Нарышкиной с тем, чтобы спросить ее, не пожелает ли она, чтобы он взял с собою брата ее (моего эскадронного командира), так как он уже служил при князе в Аустерлицкую кампанию с большим отличием, был ему душевно предан и всегда говаривал, что он ни с кем другим не поедет в армию. Нарышкина немедленно согласилась на предложение князя, прибавив к этому, что если он вполне желает ее одолжить, то чтобы взял с собою и Дениса Давыдова. Одно слово этой женщины было тогда повелением; князь поехал на другой день к императору, и я по сие время не знаю, как достиг он до той цели, до коей фельдмаршал достигнуть не мог, несмотря на все его старания. Ничего не подозревая обо всем этом, я в день решения своей участи приехал, по обыкновению, обедать к Нарышкиной вместе с ее братом. Она, увидев его, поспешила объявить ему, что он едет с князем Багратионом; меня бросило в дрожь; Борис Четвертинский, любивший меня, как брата, зная, как велико было желание мое ехать в армию, спросил ее: «А он? — показывая на меня.— А он?» — «Нет, опять отказ!» — отвечала она. Я побледнел.

Заметив это, она испугалась, бросилась ко мне и сказала: «Виновата, я хотела пошутить, и вы едете». Я не помню, что в то время со мною сделалось; но меня уверяли, что я едва не бросился к ней на шею.

Во время обеда я не мог есть; не кровь, но огонь пробегал по всем моим жилам, и голова была вверх дном! После обеда я бросился к князю Багратиону, который вечером должен был отправиться к своему месту. Он жил в доме князя Гагарина на Дворцовой набережной. Когда я приехал, кибитка была уже подвезена к его крыльцу [13]. Стыжусь своей слабости! Я хотя был уверен, что князь не обманул Нарышкину, объявив ей о соизволении государя на отъезд мой в

армию, и был также уверен, что и Нарышкина не обманула меня, но, опасаясь разочарования, я лучше хотел остаться в неведении, чем удостовериться в истине, может быть, для меня ужасной! И что же? Вместо того чтобы спросить князя, точно ли я к нему назначен и когда прикажет мне ехать, что необходимо следовало бы сделать, я, простившись с ним, проводил до кибитки, не промолвив о себе ни слова! Когда уже он был далеко, я, устыдясь самого себя, не без усилия поехал к графу Ливену (исправлявшему тогда должность директора военнопоходной его величества канцелярии), который решительно объявил мне, что я назначен адъютантом к князу Багратиону и что на другой день будет о том отдано в приказе.

Выехав из Петербурга 3 января, я догнал около Пскова князя Федора Гагарина (служившего тогда корнетом в Кавалергардском полку) и вместе с ним приехал в Вильно. Там нашли мы множество гвардейских офицеров наших, из коих помню только Рындина (убитого генерал-маиором при Проводах 1829 года), барона Дамаса, довольно основательно владевшего русским языком (который был потом министром военным, потом министром иностранных дел во Франции, а еще позднее наставником герцога Бордоского), Пущина (что ныне генерал-маиор в отставке), Фридрихса (что ныне шталмейстером при дворе), Мандрыку (что ныне генерал-маиор) и прочих. Все эти офицеры были командированы для обучения порядку службы новоформировавшихся армейских полков. Мы хотели, отдохнув несколько дней в Вильно, воспользоваться балами и прочими увеселениями города, а потом уже скакать к месту назначения. Но узнав, что в армии ждут с часа на час генерального сражения, кровь моя снова закипела, и я поспешно оставил Вильно.

Проездом через Скидель я заезжал в Озерках к Шепелеву, который был тогда полковником и формировал Гродненский (что ныне Клястицкий) гусарский полк; там нашел я эскадронных командиров полка его и моих приятелей Степана Бибикова, Александра Давыдова, вечного маиора, но славного впоследствии генерала Кульнева, Горголия, познакомился с славным впоследствии Ф. В. Ридигером, отцом-команди-

ром моим в войну 1831 года, столь справедливо его прославившую; он был тогда, кажется, штаб-ротмистром или ротмистром Гродненского полка.

В Гродно я заезжал к жене полковника Бороздина (что умер генералом-от-кавалерии); он так же, как и Шепелев, окончив формирование полка Финляндского драгунского, был уже за границей в Лике.

Никогда не забуду той радости, с которой я первый раз в жизни переехал чрез границу нашу. Как было для меня все ново, необыкновенно! Весьма естественно любоваться чистыми, красивыми городками и селениями и каткими дорогами, осененными деревьями, но меня радовали и аккуратные немцы с пудовыми их шутками насчет Наполеона, от нашествия которого, однако же, не в шутку их в дрожь бросало; и бирсуп, и бутерброд, и грубые почтальоны, так учтиво обходящиеся с лошадьми своими! Я ехал на Августово, Лик, где ночевал у Бороздина, Рейн, Гутштадт, и 15-го, в девять часов утра, приехал в Либштадт, в минуту выступления главной квартиры и главной армии в Морунген, где 13-го числа был атакован и разбит Бернадотом Евгений Иванович Марков, командовавший частию авангарда армии.

Получив в Петербурге и на пути несколько пакетов на имя главнокомандующего, я был представлен ему и имел честь вручить их ему лично. Мне приятно было встретить в комнате его множество моих петербургских приятелей и знакомых. Все меня обступили; всякий спрашивал о друзьях, о любезных, в Петербурге оставленных. Многим из нашей молодежи надоела война, производимая в такое суровое время года, без решительных успехов и при всякого рода недостатках. Многие вздыхали о петербургской роскошной жизни. «Глупый ты человек,— говорили мне они,— черт тебя сюда занес! Как дорого бы мы дали, чтоб возвратиться назад! Ты еще в чаду, мы это видим,— погоди немного, и мы услышим, что ты скажешь». Они представляли мне разные трудности, меня ожидающие. Я отвечал им, что я заранее знал, куда еду: туда, где дерутся, а не туда, где целуются, и уверен был и буду, что война не похлебка на стерляжьем бульоне. И подлинно, я не думал тогда о трудах и опасностях: так неограниченность надежд и к этому

еще так сильно новое мое положение, так сильно новые, разнообразные и живые картины действовали на мои чувства. Довольно сказать, что с детства моего я дышал только боевой службой, был честолюбив до крайности и имел только двадцать два года от роду.

Прибыв на почтовых, я не имел верховой лошади, чтобы ехать вместе с войсками. Один из приятелей моих уступил мне на переход до Морунгена одну из заводских лошадей своих, и мы отправились. Я ехал при Павлоградском гусарском полку с его шефом генерал-маиором Чаплицом и полковником графом Орурком, ныне генерал-лейтенантом. На походе я познакомился с некоторыми офицерами, между коими были князь Баратаев, Ясон и Степан Храповицкие. Я не думал тогда, что с последним буду служить в великий 1812 год партизаном и заключу с ним братскую дружбу на кровавых пирах войны Отечественной!

Не могу описать, с каким восторгом, с каким упоением я глядел на все, что мне в глаза бросалось! Части пехоты, конницы и артиллерии, готовые к движению, облегали еще возвышения справа и слева — в одно время, как длинные полосы черных колонн изгибались уже по снежным холмам и равнинам. Стук колес пушечных, топот копыт конницы, разговор, хохот и ропот пехоты, идущей по колени в снегу, скачка адъютантов по разным направлениям, генералов с их свитами; самое небрежение, самая неопрятность одежды войск, два месяца не видавших крыши, закопченных дымом биваков и сражений, с оледенелыми усами, с простреленными киверами и плащами,— все это благородное безобразие, знаменующее понесенные труды и опасности, все неизъяснимо электризировало, возвышало мою душу! Наконец я попал в мою стихию!

Но сколь чувства и мысли человека подвластны различным впечатлениям! Сейчас военное ремесло казалось мне с привлекательнейшей стороны; пройдя несколько верст вперед, оно явилось мне во всей нагой отвратительности.

Мы подошли к деревне Георгенштадь, к самому тому полю, на коем за два дня пред приходом нашим был разбит Марков. Селение сие было разбираемо

на костры тою частию войск наших, которой было определено провести ночь на этом месте. Некоторые из жителей стояли вне селения с немою горестию, без слез и ропота, что всегда для меня было и есть поразительнее стенаний и вопля. Неопытный воин, я доселе полагал, что продовольствие войск обеспечивается особенными чиновниками, скупающими у жителей все необходимое для пищи, доставляющими необходимые эти потребности в армию посредством платы за подводы, нанимаемые у тех же жителей; что биваки строятся и костры зажигаются не из изб миролюбивых поселян, а из кустов и деревьев, находящихся на корне; словом, я был уверен, что обыватели тех областей, на коих происходят военные действия, вовсе не подвержены никакому несчастию и разорению и что они ничто более, как покойные свидетели происшествий, подобно жителям Красного Села на маневрах гвардии. Каково было удивление мое при виде противного! Тут только удостоверился я в злополучии и бедствиях, причиняемых войною тому классу людей, который, не стяжая в ней, подобно нам, солдатам, ни славы, ни почестей, лишается не только последнего имущества, но и последнего куска хлеба, не только жизни, но чести жен и дочерей и умирает, тощий и пораженный во всем, что у него есть милого и святого, на дымящихся развалинах своей родины,— и все это отчего? Оттого, что какому-нибудь временщику захотелось переменить красную ленту на голубую, голубую на полосатую!

На этом же поле позорище другого рода потрясло мою душу. Мы вступили, как я сказал, на равнину Морунгенской битвы. «Уже,— как говорит один из благозвучных наших прозаиков,— уже отстонало поле, уже застыла кровь; тысячи лежали на снегу. Опрокинутые трупы с отверстыми, потусклыми очами, казалось, еще глядели на небо; но они не видали уже ни неба, ни земли. Они валялись, как сосуды драгоценного напитка, разбросанные и раздробленные насильственной рукой в пылу буйного пира. Мрачный зимний день наводил какую-то синеватую бледность на сии свежие развалины человечества, в которых за два дня пред тем бушевали страсти, играли надежды, и свежие желания кипели, как лета пылкой юности».

Я из любопытства рассматривал поле сражения. Прежде ездил по нашей, а потом по неприятельской позиции. Видно было, где огонь и где натиски были сильнее, по количеству тел, лежавших на тех местах. Артиллериею авангарда нашего командовал тогда полковник Алексей Петрович Ермолов, и действие ее было, во всем смысле слова, разрушительно в пехотных колоннах и линиях неприятельской конницы, ибо целые толпы первой и целые ряды последней лежали у деревни Пфаресфельдшен, пораженные ядрами и картечью, в том же порядке, как они шли или стояли во время битвы.

Вначале сия равнина смерти, попираемая нами, которые спешили к подобной участи, сии лица и тела, искаженные и обезображенные огнестрельным и рукопашным оружием, не произвели надо мною никакого особого впечатления; но по мере воли, даваемой мною воображению своему, я — со стыдом признаюсь — дошел до той степени беспокойства относительно самого себя или, попросту сказать, я ощутил такую робость, что, приехав в Морунген, я во всю ночь не мог сомкнуть глаз, пугаясь подобного же искажения и безобразия. Если бы рассудок имел хотя малейшее участие в действии моего воображения, то я легко бы увидел, что таковая смерть не только не ужасна, но завидна, ибо чем рана смертоноснее, тем страдание кратковременнее,— а какое дело до того, что после смерти будешь пугать живых людей своим искажением, сам того не чувствуя! Слава богу, с рассветом дня воспоследовало умственное мое выздоровление. Пришед в первобытное состояние, я сам над собою смеялся и, как помнится, в течение долговременной моей службы никогда уже не впадал в подобный пароксизм больного воображения.

День дневки я пробыл в Морунгене и обедал у главнокомандующего, к которому заходил еще и вечером. Хотя я был весьма неопытен в военном ремесле, но помню, что меня крайне удивила нескромность Беннингсена и прочих генералов, при главной квартире находившихся. Я был сам свидетелем, как Беннингсен, К<норринг>, граф Толстой, лежа на карте, сообщали друг другу о предположениях своих. Они объявляли свои намерения при множестве разного рода

чиновников военных и статских, адъютантов и иностранцев!

Шестнадцатого января, рано поутру, я купил себе верховую лошадь и в сопровождении одного казака отправился к князю Багратиону, принявшему уже начальство над авангардами Маркова, Барклая-де-Толли и Багговута. Команды первого и последнего находились тогда в деревне Бибервальд, лежащей на пути из Любемиля в Дейч-Эйлау; команда Барклая была в отделе. На пути моем я объехал конницу Корфа и графа Петра Петровича Палена у Грос-Готсвальда, где купил еще лошадь верховую в Сумском гусарском полку; следуя далее, в Остерродском лесу проехал мимо кочующей на дороге около озера Борлингзе дивизии графа Остермана; ночью, приехав в Любемиль, я явился к Н. А. Тучкову, коего дивизия находилась в сем городе, и рано поутру прибыл к своему месту. На пути присоединились ко мне ехавшие так же, как и я, в авангард, Митавского драгунского полка поручик Хитров и один казачий офицер, коего я забыл имя.

Князь квартировал в красивой и обширной избе прусского поселянина. Он занимал большую горницу, где стояла кровать хозяйская, на которой ему была постлана солома; пол этой горницы был также устлан соломою. В свите его тогда находились Кавалергардского полка полковник князь Трубецкой (что ныне генерал-адъютант и генерал-от-кавалерии), граф де Бальмен, граф Грабовский, Афросимов, Эйхен и прочие. Вскоре я увидел Евгения Ивановича Маркова и Барклая, тогда еще в генерал-маиорских чинах, генерал-маиора Багговута, полковников Юрковского, Ермолова, Турчанинова и прочих; аванпостами командовал Юрковский. Я помню, что в то время, хотя Барклай был украшен лишь Георгием и Владимиром 4-й степени и штурмовой Очаковской медалью, но уже пользовался репутацией мужественного и искусного генерала.

В течение пятилетней моей службы при князе Багратионе в качестве адъютанта его я во время военных действий не видал его иначе, как одетым днем и ночью. Сон его был весьма короткий — три, много четыре часа в сутки, и то с пробудами, ибо каждый приез-

жий с аванпостов должен был будить его, если привезенное им известие того стоило. Он любил жить роскошно: всего было у него вдоволь, но для других, а не для него. Сам он довольствовался весьма малым и был чрезмерно трезв. Я не видал, чтобы он когда-либо пил водку или вино, кроме двух рюмок мадеры за обедом. В то время одежда его была сертук мундирный со звездою Георгия 2-го класса, бурка на плечах и на бедре шпага, которую носил он в Италии при Суворове; на голове картуз из серой смушки и в руке казацкая нагайка.

От суровости времени года в сию кампанию не глядели за формою, и мы все то носили, что более другого грело. Я было надел на себя лейб-гусарский ментик, но меня уговорили снять его, дабы избегнуть опасности быть ранену или убиту от своих, потому что в корпусе Бернадота, который в то время ближе других находился к нам, был 10-й гусарский полк, носивший красные ментики, подобно Лейб-гусарскому полку.

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ СОВРЕМЕННОЙ ВОЕННОЙ ИСТОРИИ (1806—1807)

УРОК СОРВАНЦУ

(1807)

Посвящается сыновьям моим:
Василию, Николаю, Денису,
Ахиллу и Вадиму

Армия наша отступала от Янкова к Прейсиш-Эйлау.

В то время арьергард получил новое образование: он разделен был на две части.

Одной командовал генерал-маиор Барклай-де-Толли, другой — генерал-лейтенант князь Багратион.

Двадцать третьего января первый из них дрался близ Деппена, прикрывая отступление армии к Вольфсдорфу.

Двадцать четвертого пришла очередь князю Багратиону прикрывать отступление ее от Вольфсдорфа к Ландсбергу.

Сколько помню я, арьергард князя Багратиона состоял из полков: Екатеринославского и Малороссийского гренадерских, Псковского пехотного, нескольких егерских, Елисаветградского и Александрийского гусарских, Курляндского драгунского, какого-то уланского, нескольких казачьих и до сорока орудий артиллерии.

Частные командиры арьергарда были славные впоследствии генерал-маиоры: граф Петр Петрович Пален, Марков, Багговут, граф Ламберт и уже в то время знаменитые полковники: Ермолов, командовав-

ший всей артиллерией арьергарда, князь Михаил Петрович Долгоруков, Гогель и Юрковский. Последний командовал передовою цепью.

Вольфсдорфское дело было первым боем моего долгого поприща. Не забуду никогда нетерпения, с каким я ждал первых выстрелов, первой сечи! При всем том, как будто сомневаясь в собственном мужестве, я старался заимствоваться духом у сподвижников князя Багратиона, поглощая душой игру их физиономий, взгляды их, суждения и распоряжения, которые дышали любовью к опасностям и соединялись с какою-то веселою беззаботностью о жизни. Но более всех действовал на меня сам князь. Я еще не видал его возвышенного духа в полном развитии; но мое воображение уже проникало сквозь его величавое спокойствие в хранилище нравственной силы и гениальных соображений, которые в нем зажигались и извергались из него в самом пылу битвы по мере безнадежности на успех и возрастающей уверенности в гибели.

На рассвете неприятель начал сбивать передовую нашу цепь под Варлаком, верстах в четырех от Вольфсдорфа. Арьергард стал в ружье на месте своего ночлега за Вольфсдорфом, параллельно к большой дороге, ведущей из Гутштадта в Либштадт. Позиция эта заслоняла проселочную дорогу, проходящую мимо Петерсдорфа на Дитрихсдорф и далее на Аренсдорф, Опен и Кашауен, по которой арьергард должен был отступать вслед за армией. Угол леса, находящийся между Вольфсдорфом и Эльдитеном, наполнился егерями 5-го егерского полка. Малый кавалерийский отряд двинулся рысью для наблюдения за неприятелем со стороны нашего левого фланга.

Французский авангард, предшествуемый фланкерами и за которым следовала вся сила армии, изредка стрелял из одного, иногда из двух орудий по нашей передовой цепи; выдвигал громады свои на снежные холмы и спускался с них по направлению к Вольфсдорфу.

Юрковский, под прикрытием ближайших к неприятелю казаков своей команды, то останавливался, то снова тянулся косвенно к боевой линии арьергарда, на правый фланг 5-го егерского полка, за угол леса.

Будучи адъютантом князя Багратиона и, следственно, без команды, я выпросился у него в первую цепь будто бы для наблюдения за движением неприятеля, но, собственно, для того, чтобы погарцевать на коне, пострелять из пистолетов, помахать саблею и — если представится случай — порубиться.

Я прискакал к казакам, перестреливавшимся с неприятельскими фланкерами. Ближайший ко мне из этих фланкеров, в синем плаще и медвежьей шапке, казался офицерского звания. Мне очень захотелось отхватить его от линии и взять в плен. Я стал уговаривать на то казаков; но они только что не смеялись над рыцарем, который упал к ним как с неба с таким безрассудным предложением. Никто из них не хотел ехать за мною, а у меня, слава богу, случилось на ту пору именно столько благоразумия, сколько было нужно для того, чтобы не отважиться на схватку с человеком, к которому, пока я уговаривал казаков, уже подъехало несколько всадников. К несчастию, в моей молодости я недолго уживался с благоразумием. Вскоре задор разгорелся, сердце вспыхнуло, и я как бешеный толкнул лошадь вперед, подскакал к офицеру довольно близко и выстрелил по нем из пистолета. Он, не прибавив шагу, отвечал мне своим выстрелом, за которым посыпались выстрелы из нескольких карабинов его товарищей. То были первые пули, которые просвистали мимо ушей моих. Я не Карл XII, но в эти лета, в это мгновение, в этом упоительном чаду первых опасностей я понял обет венценосного искателя приключений, гордо взглянул на себя, окуренного уже боевым порохом, и весь мир гражданский и все то, что вне боевой службы, все опустилось в моем мнении ниже меня, до антиподов! Не надеясь уже на содействие казаков, но твердо уверенный в удальстве моего коня и притом увлеченный вдруг овладевшей мною злобой — бог знает за что! — на человека мне неизвестного, который исполнял, подобно мне, долг чести и обязанности службы,— я подвинулся к нему еще ближе, замахал саблею и принялся ругать его на французском языке как можно громче и выразительнее. Я приглашал его выдвинуться из линии и сразиться со мною без помощников. Он отвечал мне таким же ругательством и предлагал то же: но ни один

из нас не принимал предложения другого, и мы оба оставались на своих местах. Впрочем, без хвастовства сказать, я был далеко от своих и только на три или на четыре конские скока от цепи французских фланкеров, тогда как этот офицер находился в самой цепи. С моей стороны было сделано все,—все, за что следовало бы меня и подрать за уши и погладить по головке.

В это самое время подскакал ко мне казачий урядник и сказал: «Что вы ругаетесь, ваше благородие! Грех! *Стражение* — святое дело, ругаться в нем все то же, что в церкви: бог убьет! Пропадете, да и мы с вами. Ступайте лучше туда, откуда приехали». Тут только я очнулся и, почувствовав всю нелепость моей пародии троянских героев, возвратился к князю Багратиону.

Мудреное дело начальствовать арьергардом армии, горячо преследуемой. Два противоположные предмета составляют основную обязанность арьергардного начальника: охранение спокойствия армии от натисков на нее неприятеля во время отступления и вместе с тем соблюдение сколь можно ближайшей смежности с нею для охранения неразрывных связей и сношений. Как согласить между собою эти две, повидимому, несогласимые необходимости? Прибегнуть ли к принятию битвы? Но всякая битва требует более или менее продолжительной остановки, во время которой умножается расстояние арьергарда от армии, более и более от него удаляющейся. Обратиться ли к одному соблюдению ближайшей с нею смежности и, следственно, к совершенному уклонению себя от битвы? Но таковым средством легко можно подвести арьергард к самой армии и принесть неприятеля на своих плечах. Багратион решил эту задачу. Он постиг то правило для арьергардов, которое, четырнадцать лет после, изложил на острове св. Елены величайший знаток военного дела, сказав: «L'avantgarde doit presser les attaques; l'arrière-garde doit manoeuvrer» («Авангард должен беспрерывно напирать, арьергард должен маневрировать»). И на этой аксиоме Багратион основал отступательные действия арьергардов, коими он в разное время командовал. Под начальством его никогда арьергард не оставался долго на месте и притом

никогда безостановочно не следовал за армиею. Сущность действия его состояла в одних отступательных перемещениях с одной оборонительной позиции на другую, не вдаваясь в общую битву, но вместе с тем сохраняя грозную осанку частыми отпорами неприятельских покушений,— отпорами, которые он подкреплял сильным и почти всеобщим действием артиллерии. Операция, требующая всего гениального объема обстоятельств, всего хладнокровия, глазомера и чудесной сметливости и сноровки, коими князь Багратион так щедро одарен был природою.

Все это было свыше моих понятий. Гусарский штаб-ротмистр, я жаждал горячей битвы: по моей стратегии она была необходима, и в том, что она состоится, ручалась мне известная неустрашимость князя, которого первою обязанностью была, по моему мнению, защита Вольфсдорфской позиции всеми силами и мерами, хотя бы это стоило всего арьергарда. Я так был убежден в глубокомысленности моего рассуждения, так уверен был в том, что все пошло бы иначе, если б меня послушались, что сам Суворов или Наполеон не были бы в состоянии убедить меня в противном! Вот единственная причина взрыва моей невежественной самонадеянности, подвергшей меня опасности, от которой избавило меня одно провидение.

Тотчас по возвращении моем из передовой цепи к князю, я послан им был к 5-му егерскому полку с приказанием оставить занимаемый им лес и отступить к Дитрихсдорфу, где избрана была для арьергарда вторая позиция. Это меня удивило и огорчило. «Как! — думал я,— когда так мало еще войск вступило в дело, когда в 5-м егерском полку ни одно еще ружье не закоптилось порохом, а уже отступление! Где же та неустрашимость князя, которую так выхваляли и восхваляют?» Однако я поскакал к егерям и выполнил поручение.

Между тем передовая цепь наша, продолжая перестрелку с неприятельскими фланкерами, отодвинулась уже к лесу, который должны оставить егеря. Случилось так, что, возвращаясь от них к моему месту после отданного им повеления и перебирая в голове моей средства, как бы *исправить промах* князя Багратиона, решившегося оставить Вольфсдорфскую

позицию без сильного отпора неприятельских нападений, я проезжал сквозь ту же передовую цепь, средь которой, за час пред тем, я так гомерически и только что не экзаметрами ругался с французским офицером. Надо было, чтоб я еще увидел и того урядника, который прозою своего благоразумия прервал мое эпическое исступление. Я подъехал к нему, и вдруг мысль гораздо сумасброднее той, от которой он отвлек меня, вспыхнула в моей голове! Черт знает, где я читал, что в некоторых сражениях появлялись люди, прежде не замеченные, и силою воли и дарования исторгали победу у неприятеля, действуя наперекор предначертаний главного начальства. Как же не испытать судьбы своей? Может быть, и я не менее их одарен великими дарованиями; может быть, и я избран провидением для подобного подвига, и... воображение мое полетело и занеслось бог знает куда! Я задумал ударить с передовою цепью на неприятеля, опрокинуть его и тем увлечь за собою 5-й егерский полк, который только что начал собираться,— чтобы выступать из леса. Увидевши успех мой, полагал я, князь подкрепит меня всем арьергардом и даст знать о том Беннингсену, который немедленно возвратится со всею армиею. Одним словом, я возмечтал не более и не менее как разбить весь неприятельский авангард горстью всадников и егерей и быть даже главным виновником поражения самого Наполеона. И все это пришло мне в голову не за кулисами, а на самой сцене, на коей я собственными глазами видел все расстояние от Вольфсдорфа до Варлака покрытым густыми колоннами пехоты и конницы с несметным числом артиллерии,— следственно, я мог, кажется, удостовериться в нелепости моего предприятия; но страсть говорила громче рассудка, что часто со мной бывало и в других случаях. Полный своего горнего плана, я спросил урядника: «А что, брат, если б ударить?» — «Для чего ж нет, ваше благородие»,— отвечал он и, указывая на фланкеров, которые вертелись у нас под носом, прибавил: «Их здесь немного; с ними можно справиться; давеча мы были далеко от пехоты, а теперь близко: есть кому поддержать».— «Ну, подбивай же на удар своих казаков,— сказал я ему,— а я примусь подбивать гусар и улан» (их было

рассыпано взвода два в казачьей цепи). Нам удалось. Цепь вся *гикнула* и дружно бросилась в сечу; мы перемешались с неприятельскими фланкерами. Сабельные удары посыпались, пули засвистали, и пошла потеха. Я помню, что и моя сабля поела живого мяса; благородный пар крови курился и на ее лезвии.

Сеча продолжалась недолго.

Французские фланкеры, смятые нашими, пошли на уход; но, в запальчивости погони, мы неожиданно встретились с их резервами, которые прискакали на помощь. Это были драгуны, с конскими хвостами, развевавшимися на гребнях шлемов. Они бросились на нас с жадностью; посыпались свежие удары, и мы, в свою очередь, сбитые и опрокинутые, обратились в бегство вдоль опушки леса, где уже не было егерей, чтобы поддержать нас. Весь огромный план моего сумасбродства рушился, и я, подобно Наполеону после Ватерло, пасмурный и суровый, возвращался к князю, направляясь мимо Вольфсдорфа к Дитрихсдорфу, куда тянулись все войска арьергарда. Я ехал один лощиною, в полной беспечности насчет неприятеля, ибо растрепавшие нас драгуны удовольствовались успехом и нас не преследовали. Но едва поднялся я на возвышение, как вдруг встретился, почти лицо с лицом, с шестью французскими конно-егерями, едущими из Вольфсдорфа для надзора за движением главных сил арьергарда. Я вздрогнул. Увидеть их и поскакать прочь — было действием одного и того же мгновения. Они вдогонку выстрелили по мне из карабинов и жестоко ранили мою лошадь, которая, однако ж, продолжала скакать на первых порах, не уменьшая прыти. Я думал, что отделался; но не тут-то было! Они уже настигали меня, обскакивая справа и слева. Я окинул глазами окрестность, не увижу ли какой-либо подмоги, и увидел только хвосты колонн арьергарда, подходившие к Дитрихсдорфу, верстах в трех от меня. На всем поле до самого леса не было уже никого из наших. Гибель казалась неизбежною. На мне накинута была шинель, застегнутая у горла одною пуговицей, и сабля голая в руках, у седла пистолеты, которых я не успел зарядить после выстрелов на передовой цепи. Один из моих преследователей, видно, на лучшей лошади, чем его товарищи, догнал

меня, но не на такое расстояние, чтоб достать саблею, а только чтоб ухватиться за край моей шинели, раздувавшейся от скока. Он воспользовался этим и чуть-чуть не стащил меня с лошади. К счастию, шинель расстегнулась и осталась в его руках. Я безостановочно продолжал скакать к лесу, преследуемый и настигаемый все ближе и ближе, потому что лошадь моя ослабевала и начинала укрощать скок от полученной ею раны. Зима была кроткая, и оттого болота были обманчивы: под снегом лежала топь непроходимая.

Я скакал не по дороге, а как попало, и, как на беду, наскакал на ту часть опушки леса, куда примыкало неприметное для глаз болото. Лошадь моя рухнула в него со всего маху, провалилась по брюхо, упала на бок и издохла. Еще две секунды — и острие надо мною! Смерть или плен были бы моею участью!

В самый этот момент около двадцати казаков, посланных Юрковским для надзора за неприятелем и приведенные сюда одним провидением, выскочили с криком из лесу, немного повыше болота, в котором я загряз с моею лошадью, и погнали моих преследователей обратно к Вольфсдорфу. Но один из них, истинный мой спаситель, посадил меня позади себя и привез к Юрковскому, который дал мне лошадь из-под убитого гусара. Так я возвратился к арьергарду, стоявшему уже на позиции под Дитрихсдорфом.

Между тем князь, коего доброта сердца не уступала высоким качествам геройской души, беспокоился на мой счет и беспрестанно спрашивал обо мне каждого возвращавшегося из передовой цепи. Никто не мог дать ему удовлетворительного ответа, куда я девался.

Наконец я предстал пред него на чужой лошади, без шинели, в грязи, в снегу, в крови, но, признаться, с каким-то торжественным видом — и от избежания беды, и от полной уверенности в превосходстве моего подвига. Разумеется, что я утаил и от князя и даже от товарищей моих грандиозные замыслы и предначертания, которые и тогда уже начинали казаться мне донкишотством. Я рассказал им только о преследовании меня неприятелем и спасении меня казаками. Князь слегка пожурил меня за опрометчивость, и,

сколько я мог заметить, с одобрительной улыбкою, и приказал дать свою бурку в замену сорванной с меня шинели. Он вскоре представил меня даже к награждению.

ВОСПОМИНАНИЕ О СРАЖЕНИИ ПРИ ПРЕЙСИШ-ЭЙЛАУ 1807 ГОДА ЯНВАРЯ 26-ГО И 27-ГО

Посвящается
Алексею Петровичу Ермолову

Дела минувших лет...
Оссиан

Сражение при Прейсиш-Эйлау почти свеяно с памяти современников бурею Бородинского сражения, и потому многие дают преимущество последнему перед первым. Поистине, предмет спора оружия под Бородиным был возвышеннее, величественнее, более хватался за сердце русское, чем спор оружия под Эйлау; под Бородиным дело шло — *быть* или *не быть* России. Это сражение — наше собственное, наше родное сражение. В эту священную лотерею мы были вкладчиками всего нераздельного с нашим политическим существованием: всей нашей прошедшей славы, всей нашей настоящей народной чести, народной гордости, величия имени русского,— всего нашего будущего предназначения. Предмет спора оружия под Эйлау представлялся с иной точки зрения. Правда, что он был кровавым предисловием Наполеонова вторжения в Россию, но кто тогда видел это? Несколько избранных природою, более других одаренных проницательностию; большей же части из нас он оказался усилием, чуждым существенных польз России, единым спором в щегольстве военной славы обеих сражавшихся армий, окончательным закладом: чья возьмет, и *понтировкою* на удальство, в надежде на рукоплескание зрителей, с полным еще бумажником, с полным еще кошельком в кармане, а не игрою на последний приют, на последний кусок хлеба и на *пулю в лоб* при проигрыше, как то было под Бородиным.

Итак, не оспоривая священного места, занимаемого в душах наших Бородинской битвою, нельзя, однако ж, не сознаться в превосходстве над нею Эйлавской относительно кровопролития. Первая, превышая последнюю восемьюдесятью тысячами человек и с лишком шестьюстами жерлами артиллерии, едва-едва превышала ее огромностью урона, понесенного сражавшимися. Этому причиною род оружия, чаще другого употребленного под Эйлау. В Бородинской битве главным действовавшим оружием было огнестрельное, в Эйлавской — рукопашное. В последней штык и сабля гуляли, роскошествовали и упивались досыта. Ни в каком почти сражении подобных свалок пехоты и конницы не было видно, хотя, впрочем, свалки эти не мешали содействию им ружейной и пушечной грозы, с обеих сторон гремящей и, право, достаточной, чтобы заглушать призывы честолюбия в душе самого ярого честолюбца.

Мне было тогда немного более двадцати лет; я кипел жизнью, следственно, и любовью к случайностям. К тому же жребий мой был брошен, предмет указан и солдатским воспитанием моим и непреклонною волею идти боевою стезей, и неутомимою душою, страстною ко всякого рода отваге и порывавшеюся на всякие опасности; но, право, не раз в этом двухсуточном бое проклятая Тибуллова элегия «*О блаженстве домоседа*» приходила мне в голову. Черт знает, какие тучи ядр пролетали, гудели, сыпались, прыгали вокруг меня, рыли по всем направлениям сомкнутые громады войск наших и какие тучи гранат лопались над головою моею и под ногами моими! То был широкий ураган смерти, все вдребезги ломавший и стиравший с лица земли все, что ни попадало под его сокрушительное дыхание, продолжавшееся от полудня 26-го до одиннадцати часов вечера 27-го числа и пересеченное только тишиною и безмолвием ночи, разделившей его свирепствование на два восстания.

Таково было действие и огнестрельного оружия в Эйлавском сражении. Но и в этом, как и во всех сражениях, оно производило более шуму, чем гибели, более потрясало нервную систему и воображение человека, чем достигало цели всякого оружия: вернейшего и скорейшего истребления противников. В этом отно-

шении огнестрельные действия далеко уступают рукопашным схваткам, где удары даром не расточаются; падая на предметы, находящиеся под самым лезвием и потому не требующие, подобно огнестрельному оружию, прицелов издали, производящих удары неверные, гадательные, вредящие более количеством, чем собственным своим достоинством.

Чтобы вполне обнять положение обеих армий, сражавшихся в сей знаменитой битве, надо взять свыше.

При обозрении театра войны того времени мы видим, что он граничил к северу с Фриш-Гафским и Куриш-Гафским заливами, или с частью Балтийского моря; к югу — с Австрийскою Галициею, землею тогда нейтральною;[14] к западу — с Вислою, а к востоку — с Неманом, границею России, что составляло около трехсот верст длиннику и до двухсот верст поперечнику. На этом тесном пространстве необходимо было обеим армиям избегать смежности и с Галициею и с морем, чтобы не быть опрокинутою противною армиею или в море, или в пределы нейтрального государства. Уважение это решило генерала Беннингсена оставить Пултуск и перенести действие в Старую Пруссию. Малейшая медленность в сем случае угрожала нам неотразимым бедствием, потому что главные силы французов находились тогда не против Пултуска, а в направлении от Цеханова к Макову. Чрезвычайная ростопель воспретила Наполеону достичь до избранной им цели и способствовала нам совершить перемещение наше чрез Остроленку, Тикочин, Биалу, Щучин и Рейн.

На сем окружном марше главнокомандующий наш — генерал Беннингсен, оставя корпус Эссена 1-го в Высоко-Мазовецке, а дивизию Седморацкого в Ганиендзе, Иоганнисбурге и Николайкине для связи Эссена с главными силами армии, двинулся с ними к Бартенштейну.

В то время расположение французской армии было следующее:

гвардия, 12 тысяч, в Варшаве;

корпус Ланна, 23 тысячи, между Брок и Остроленки, против Эссена 1-го;

корпус Даву, 34 тысячи, в Мишеницах;

корпус Сульта, 30 тысяч, в Вилленберге;

корпус Ожеро́, 11 тысяч в Нейденбурге;

резервный кавалерийский корпус, 20 тысяч, под командою Мюрата, в окрестностях Вилленберга;

корпус Бернадота, 17 тысяч, почти вне круга боевых происшествий, в Эльбинге.

Все эти войска размещались уже по кантонир-квартирам; только корпус Нея, состоявший из 22 тысяч человек пехоты и кавалерии Бессиера, преследовал прусский корпус Лестока вниз по Аллеру, в направлении к Фридланду, и чрез это находился почти на пути, по которому следовала наша армия.

Беннигсен узнал о сем залетном положении Нея в Рейне. Пользуясь бездействием французской армии, он вознамерился отрезать и истребить этот корпус на походе. Все наши силы обратились на Рёссель и Бишофштейн. К несчастью, исполнение не соответствовало достоинству плана. Переходы были медленны, к тому же и направление было не довольно наперерез, что дозволило Нею и Бессиеру пробраться чрез Прейсиш-Эйлау, а потом между Пассаргою и Аллером к Гильгенбергу и беспрепятственно примкнуть к массе своей армии.

Между тем Бернадот, узнав о предприятии нашем на Нея и Бессиера, постиг опасность, которой подверг бы себя дальнейшим пребыванием на берегу моря и между крепостями Данцигом и Грауденцом, тогда еще занятыми прусскими войсками. Оставя окрестности Эльбинга, он двинулся на Голланд и, вступив в Морунген, подвинул авангард свой к Либштадту.

В это время армия наша, прошедши Гейльсберг, подошла к Аренсдорфу, а авангард ее, под командою генерал-маиора Маркова, атаковал Либштадт.

Неприятельский авангард отступил с уроном. Марков следовал за ним и атаковал самого Бернадота в Морунгене, но понес от него значительное поражение и принужден был отойти к главной армии, прибывшей в Либштадт.

Тут надлежало нам прекратить дальнейшее наступление, потому что, перейдя уже черту расположения главных неприятельских сил, оставшихся между Омулевы и Наревы, оно подвергало нас потере сообщений

наших с дивизиею Седморацкого, с корпусом Эссена 1-го и, что всего важнее, с нашей границей и заключало действие наше между Фриш-Гафским заливом, Вислою и французскою армиею в случае вступления ее на пройденные нами пути. Но, невзирая ни на что, в намерении отвлечь Бернадота от главной французской армии и вместе с тем освободить Грауденц от блокады, мы продолжали подвигаться в бездну гибели, преследуя Бернадота, отступавшего на Дейч-Эйлау и Стразбург к Торну. Уже главная квартира была около Любемиля; в Ризенбург вступил прусский корпус Лестока; в Дейч-Эйлау — авангард князя П. И. Багратиона[15], а аванпосты его, под командою полковника Юрковского,— в Стразбург. Однако какое-то неопределенное чувство тревожило Беннингсена насчет соотносительного положения нашего с главными силами Наполеона. Чтобы сколько-нибудь исправить оное защитою затыльных сообщений наших, главнокомандующий счел необходимым оставить корпус Сакена в Зебурге и корпус князя Голицына в Алленштейне, и таковым полумероприятием только что прибавил протяжение армии, подвергнув Сакена и Голицына натиску превосходного числом неприятеля и нимало не улучшив положения главной армии, направленной к ложному предмету действия. Но русский бог велик! Вдруг аванпостные казаки авангарда берут в плен французского офицера, посланного курьером от маршала Бертье к Бернадоту с Наполеоновым приказанием напирать на армию нашу и не выпускать ее из виду и, между тем, с извещением его о движении всех французских сил на Вилленберг, Пассенгейм и Алленштейн. Багратион мгновенно проник опасность. Он в ту же минуту отослал и пленного курьера, и перехваченную бумагу к Беннингсену, и, не дожидая дальнейшего повеления от него, сам собою обратил авангард вспять и пустился на соединение с армиею усиленными переходами. Однако, предвидя неминуемость генерального сражения, он, в намерении обессилить неприятельскую армию целым корпусом войск, не забыл и о Бернадоте; он приказал Юрковскому атаковать его аванпосты, сбить их и преследовать целый день, дабы чрез то уверить его, что намерение наше теснить его всеми силами не изменилось и про-

должится. Приказание Юрковскому заключалось постскриптом, в котором предписано ему было обратное движение при наступлении ночи и поспешнейшее следование для примкнутия к авангарду по приложенному маршруту.

Предприятие это увенчалось желаемым успехом. Бернадот, не получив повеления Наполеона, перехваченного казаками, остался в неведении о направлении главных сил французов в тыл нашей армии, угрожавшей ей такою гибелью. К тому же он полагал, что натиск Юрковского поддерживается всем авангардом, а авангард следовал за всей нашей армией и продолжал отступление к Торну, что отсрочило прибытие его на Эйлавское поле сражения несколькими сутками.

Юрковский примкнул к авангарду несколькими часами позже присоединения оного к армии под Янковым; но прусский корпус Лестока, быв от Янкова гораздо отдаленнее Багратиона, не мог уже надеяться достигнуть до сего пункта безопасности и потому избрал путь на Саальфельд, Вормдит и Мельзак, стараясь всегда находиться на одной высоте с нею по мере отступления армии.

Двадцать второго января наш авангард застал всю армию, сосредоточенную при Янкове, лицом к лицу с французскою армиею, полагавшей янковский путь занятым одним корпусом князя Голицына и изумленною неожиданною встречею всех сил наших, готовых к отпору ее натисков, ибо известие о взятии казаками посланного к Бернадоту курьера тогда еще не дошло до Наполеона. Обманутый в стратегическом предприятии своем, он вознамерился посредством тактического действия на наш левый фланг возвратить потерянное, поставя армию нашу в то самое положение, которого избегла она быстрым перелетом от Дейч-Эйлау к Янкову. Вследствие чего Сульт атаковал Бергфрид, деревню, к коей примыкал левый фланг наш, а генерал Гюо поскакал с бригадою легкой кавалерии к Гутштадту. Мы отстояли Бергфрид; но Гутштадт, заключавший часть обозов армии без охранных войск, попался в руки французов — партизанский набег, замечательный при общем тогдашнем неведении правил этого рода действий.

2

При наступлении ночи армия наша отошла к Вольфсдорфу, оставя для прикрытия сего отступления арьергард генерал-майора Барклая-де-Толли на оставленном ею месте.

Поутру 23-го Барклай поднялся вслед за армиею, но на пути был атакован превосходными силами, целый день сражался, потерял много, особенно при Деппене, но к вечеру примкнул к армии, стоявшей уже на боевой позиции при Вольфсдорфе. Ночью армия снялась с позиции и потянулась по направлению к Ландсбергу. Арьергард Багратиона сменил утомленный накануне арьергард Барклая и остался при Вольфсдорфе для того же предмета, для которого оставлен был накануне арьергард Барклая при Янкове.

Двадцать четвертого, поутру, Багратион атакован был наступавшим неприятелем. Битва была горячая, но, несмотря на усилия французов, щегольство в порядке сохранено было во всех частях арьергарда. К вечеру он потянулся вслед за армиею, направляясь чрез Толбаш и Кашауен, и прибыл в Бергерсвальд, в трех верстах от Фрауэндорфа, где на несколько часов приостановилась главная армия. В этот день прусский корпус Лестока, шедший на одной высоте с арьергардом нашим по направлению на Вормдит, атакован был корпусом Нея, отряженным исключительно против него от главной французской армии на походе ее из Янкова к Вольфсдорфу. В одно и то же время отряжен был от этой же армии и корпус Даву на Гейльсберг; это было сделано в видах облегчения шествия войск по тесной от снегов дороге, причинявшей чрезмерное растягивание маршевой колонне.

В ночь на 25-е армия наша выступила к Ландсбергу, но не одною уже, а двумя колоннами для избежания, подобно французской армии, затруднения в движении одною колонною по пути, заваленному снегами. 1-я колонна потянулась большою дорогою; 2-я, под начальством Сакена, на Спервартен и Петерсгаген; арьергард Барклая прикрывал отступление первой, арьергард Багратиона шел на Клаузитен, Паулен и Попертен в Ландсберг, где примкнул к армии почти в

одно время с Барклаем, который на пути своем под Гофом понес сильное поражение.

Бросив взгляд на карту, мы увидим, что направление сего трехсуточного нашего отступления нимало не перечило основной мысли Наполеона отрезать нас от сообщения наших с Неманом, или, что одно и то же, с Россиею, и подавить нас тылом к морю, то есть к Фриш-Гафскому заливу. В противодействие этой мысли, к чему должны были клониться усилия наши в течение сего трехсуточного отступления? К сохранению сообщений с Неманом посредством движения всею громадой войск наших от Янкова к Гутштадту, вместо того чтобы идти нам к Вольфсдорфу; или от Вольфсдорфа к Гейльсбергу, вместо того чтобы идти нам к Ландсбергу; или от Ландсберга к Домнау и Фридланду, вместо того чтобы идти нам к Прейсиш-Эйлау. Таким движением мы неминуемо нарушили бы все намерения Наполеона, ибо, избавясь посредством его от охвата левого нашего фланга правым флангом французской армии, мы тем заслонили бы сообщения наши с Россиею и удалились бы от Фриш-Гафского залива, к которому более и более приближался тыл наш, по мере отступления и направления нашего к Эйлау и Кенигсбергу.

Но стратегические виды решительно пожертвованы были каким-то мнимым тактическим выгодам, основанным на ложном мнении, что войску русскому столько же необходимо для битвы местоположение открытое, сколько французскому закрытое или изобилующее естественными препятствиями, и что, сверх того, *войску нашему, от малого навыка его к стройным движениям в боях, выгоднее оборонительное, чем наступательное действие;* как будто за семь лет перед тем при Суворове оно знало не только сущность, а даже название сего рода действия! Как будто бы Альпы, с их ущелиями, пропастями, потоками и заоблачными высями, принадлежат более равнинам, чем закрытым и изобилующим естественными препятствиями местностям!

Но таково было рассуждение всех вообще военачальников того времени, и на сем-то рассуждении основана была мысль *на открытом местоположении при Эйлау сразиться оборонительно.*

Между тем Наполеон, не зная, что Беннингсен избрал Эйлау полем битвы, и привыкнув трехдневным опытом достигать нашу армию под вечер и видеть уходящею с занятой позиции во время ночи, предполагал Прегель и кантонир-квартиры за Прегелем единственными предметами нашего отступления. Ни в каком случае не думал он и не мог думать, чтобы сражение ожидало его под Эйлау — на пункте, не представляющем не токмо стратегического, но даже тактического преимущества перед Янковым, Вольфсдорфом и Ландсбергом, оставленными нами без спора оружия. С этою мыслию он следовал за нами по большой дороге, имея в двенадцати или двадцати пяти верстах от главных сил своих — вправо Даву на Гейльсбергской дороге, а влево, верстах в двадцати, Нея, преследовавшего прусский корпус Лестока в направлении к Крейцбургу, и на несколько суток позади себя Бернадота, неизвестного о происходящем.

Ночью на 26-е армия наша выступила от Ландсберга и, по неимению двойного пути, довольно битого и широкого, потянулась к Эйлау одною колонною. Арьергард Багратиона оставлен был в Ландсберге для прикрытия этого движения. По случаю мешкотного выступления армии с места ночлега и медленности ее в движении одною колонною Багратион принужден был отсрочить отступление арьергарда до восьмого часа утра. В восьмом часу неприятельские колонны двинулись, спустились со снежных высот Гофа и, подобно широкому потоку, расстлались по всему пространству от Гофа до Ландсберга. Бой завязался. Мы отступали, теснимые и давимые превосходством сил. Не дошедши до половины расстояния от Ландсберга до Эйлау, весь арьергард уже вступил в дело. Подошло местоположение открытое: нужно было более кавалерии. Багратион послал меня[16] к главнокомандующему просить у него несколько конных полков на подкрепление арьергарда. Беннингсен приказал мне взять два первые конные полка, которые я встречу на пути не дошедшими еще до позиции. Жребий пал, кажется, на С.-Петербургский драгунский и Литовский уланский полки, с которыми я рысью отправился чрез Эйлау к арьергарду, подошедшему уже к мызе Грингофшен. Кирасирский его величества и два драгунские полки, Карго-

польский и Ингерманландский, присланы были вслед за конницей, мною приведенной.

Между тем неприятель продолжал напирать сильнее и сильнее. Арьергард отступал в порядке и без волнения. Несколько полков 8-й пехотной дивизии подошли к нему на подмогу, ибо не все еще войска вступили на избранное для них боевое поле и вся батарейная артиллерия была на походе проселочною дорогою, вправо от армии. Необходимо было удержать стремление неприятеля, чтобы дать время и батарейной артиллерии примкнуть к армии, и армии довершить свое размещение и упрочить оседлость позиции. Возвратясь к Багратиону, я нашел его, осыпаемого ядрами и картечами, дававшего приказания с геройским величием и очаровательным хладнокровием. Вскоре сражавшиеся с обеих сторон столкнулись, потому что Багратион, получа подкрепление и вместе с тем известие о неготовности еще армии к бою, остановился, а Наполеон, считая на беспрерывное отступление Багратиона, продолжал прилив своей армии, напирая волнами на волны. Ружейный огонь трещал по всей линии и не раз прерываем был звуками железа об железо. Полтавский и Софийский пехотные полки ходили на штыки с успехом на 46-й линейный. С.-Петербургский драгунский полк, ведомый полковником Дехтяревым, ударил на 18-й линейный, который шел от Грингофшена между озером и холмом, находящимся возле мызы, затоптал этот полк, рассеял его и взял одного орла. Полковник Ермолов, командовавший всею артиллериею арьергарда, сыпал картечи в густоту наступавших колонн, коих передние ряды ложились лоском; но следующие шагали по трупам их и валили вперед, не укрощаясь ни в отваге, ни в наглости.

Несмотря на все наши усилия удержать место боя, арьергард оттеснен был к городу, занятому войсками Барклая, и ружейный огонь из передних домов и заборов побежал по всему его протяжению нам на подмогу, но тщетно! Неприятель, усиля решительный натиск свой свежими громадами войск, вломился внутрь Эйлау. Сверкнули выстрелы его из-за углов, из окон и с крыш домов; пули посыпались градом, и ядра занизáли стеснившуюся в улицах пехоту нашу, еще раз ощетинившуюся штыками. Эйлау более и более напол-

нялся неприятелем. Приходилось уступить ему эти каменные дефилеи, столько для нас необходимые. Уже Барклай пал, жестоко раненный; множество штаб- и обер-офицеров подверглись той же участи или были убиты, и улицы завалились мертвыми телами нашей пехоты. Багратион, которого неприятель теснил так упорно, так неотступно, числом столь несоизмеримым с его силами, начал оставлять Эйлау шаг за шагом. При выходе из города к стороне позиции он встретил главнокомандующего, который, подкрепя его полною пехотною дивизиею, приказал ему снова овладеть городом во что бы то ни стало, потому, что обладание им входило в состав тактических его предначертаний. И подлинно, независимо от других уважений, город находился только в семистах шагах от правого фланга боевой нашей линии. Багратион безмолвно слез с лошади, стал во главе передовой колонны и повел ее обратно к Эйлау. Все другие колонны пошли за ним спокойно и без шума, но при вступлении в улицы все заревело *ура*, ударило в штыки — и мы снова овладели Эйлау. Ночь прекратила битву. Город остался за нами.

Заняв его достаточным числом пехоты, Багратион снабдил начальствовавшего над нею приказаниями и наставлениями, распустил прочие войска арьергарда по местам, назначенным им в диспозиции, и, *не имев уже команды*, отправился в главную квартиру, которая занимала тогда мызу Ауклапен, в трех верстах от Эйлау, в тылу нашей линии.

Пожар костров запылал в обеих армиях. Казалось, что все кончено до следующего утра. Вышло иначе. Взятие приступом города произвело то, что производит всякий удачный приступ: разброд по улицам и по домам большой части войска, которое предалось своевольству и безначалию. Надлежало собрать и устроить его. Начальствовавший над ним прибег к единственному в таких случая способу — к барабану; но он забыл, что находится лицом к лицу с неприятелем, которого бивачные огни пылали почти у ворот города, и недостаточно обдумал дело. Он приказал *ударить сбор*, не назначив даже места, где его ударить. Барабаны загремели, но в стороне города не ближайшей к неприятелю, а самой отдаленной от него, или, лучше сказать, у самого отверстия улиц, ведущих из города к позиции

нашей армии. Можно вообразить, что произвела подобная оплошность! Едва барабанный бой раздался по городу, как все хлынуло к точке сбора, оставя и ворота эйлавские, и площадь, и улицы без защиты. Неприятель этим воспользовался, вступил по пятам нашим в пустой город и расположился с полною решимостию удержать его за собою во что бы то ни стало.

Неожиданное и, можно сказать, несчастное происшествие это, угрожая правому флангу нашему внезапным ночным нападением, принудило Беннингсена исключить на всю ночь из боевого порядка всю 4-ю пехотную дивизию, усилить ее Архангелогородским пехотным полком и расположить между армиею и городом и, сверх того, передвинуть ближе к отверстиям улиц батарею из сорока батарейных и двадцати легких орудий, заложенную прежде на самой оконечности правого фланга армии. Но тем не ограничилась неблагоприятность этого обстоятельства: оно лишило нас на другой день средства, за пять еще часов до прибытия корпуса Даву на поле сражения, двинуть все наши силы на правый фланг французской армии, бывшей тогда без этого корпуса, без корпуса Бернадота, лишенной всяких опор флангам своим и расположенной за городом, на оси которого мы безопасно могли предпринять этот решительный поворот вправо и воспользоваться превосходством и сил наших и местности. Наконец оно перенесло на сторону неприятельской армии все выгоды, представляемые опорою на Эйлау, на оси коего она уже, а не наша армия, совершила на другой день поворот влево, примкнула к подходившему на поле сражения корпусу Даву и, охватя им весь левый фланг наш, подавила его к Кенигсбергской дороге и тем исполнила виды Наполеона, которые с самого начала движения от Наревы клонились к тому, чтобы отстранить нас от последнего прямого сообщения с Россиею, отбросить к Кенигсбергу и к Фриш-Гафскому заливу. Словом, по занятии неприятелем Эйлау, нам ни минуты не следовало оставаться на избранном нами боевом поле и надлежало немедленно отойти к Домнау или Фридланду. Перемещение безопасное по случаю свободного в этом направлении отверстия, еще не пересеченного корпусом Даву, и ночи, которой оставалось более чем на семь часов времени, следовательно, по край-

ней мере на двадцать верст переходу. Но воля главнокомандующего была непоколебима: жребий был брошен.

3

Армия наша, заключавшая в себе от семидесяти восьми до восьмидесяти тысяч, размещена была так.

Она примыкала правым флангом к большой Кенигсбергской дороге у селения Шлодитена[17] и шла несколько косвенно к городу; потом, не доходя около полуверсты до города, образовала тупой угол и упиралась левым флангом к Клейн-Саусгартену.

Деревня Серпальтен, находившаяся впереди Саусгартена, занята была слабым отрядом генерал-маиора Багговута.

Пять пехотных дивизий: 2-я, 3-я, 5-я, 7-я и 8-я построены были в две линии; два баталиона каждого полка развернутым фронтом, третий позади их в колонне; при них было более двухсот орудий.

Резерв, состоявший из двух дивизий, 4-й и 14-й, построен был в две густые колонны и имел при себе шестьдесят орудий конной артиллерии. Вначале он расположен был по обеим сторонам мызы Ауклапен; но при рассвете переведен был ближе к центру армии.

Вся конница разделена была на три части и расставлена на флангах и в средине армии, где находилось не более двадцати восьми эскадронов; казацкие полки расположены были на обоих флангах уступами.

Независимо от артиллерии, размещенной вдоль линии и находившейся при резерве, 1-я батарея из сорока батарейных и двадцати легких орудий заложена была вначале на правом фланге армии, у Кенигсбергской дороги, а по занятии неприятелем города подвинута на семьсот шагов от него; 2-я батарея из семидесяти батарейных орудий расположена была почти на центре армии, в версте от города; и 3-я из сорока батарейных — между сею батареею и Саусгартеном. Ко всем трем батареям примыкали войска первой нашей линии, как куртины к бастионам.

Прусский корпус Лестока, усиленный русским Выборгским пехотным полком и простиравшийся почти до восьми тысяч человек, был еще далеко, но направлял-

ся к Альторфу, то есть к правому флангу нашей позиции, заманивая одною бригадою, командуемой генералом Плоцом, Нея к Крейцбургу для отвлечения его от круга решительных происшествий и от содействия его в приготовлявшемся бое.

Правым флангом командовал генерал-лейтенант Тучков 1-й; срединою — генерал-лейтенант Сакен; левым флангом — генерал-лейтенант граф Остерман-Толстой; резервом — генерал-лейтенант Дохтуров; всею кавалериею — генерал-лейтенант князь Голицын; артиллериею — генерал-лейтенант Резвой. Багратион, который был всех моложе в чине генерал-лейтенанта, не имел особой команды и назначен был к Дохтурову.

Французская армия в ночь с 26-го на 27-е расположена была в следующем порядке:

у передовых строений города и в городе — пехотная дивизия Легранда;

на правой стороне города — пехотная бригада Вивиена; на левой — пехотная бригада Фере (обе составляли пехотную дивизию Леваля);

к правому флангу бригады Вивиена примыкала пехотная дивизия Сент-Илера.

Все сии три дивизии составляли корпус Сульта.

На правом фланге дивизии Сент-Илера, уступом,— драгунская дивизия Мильо;

за городом, по обеим сторонам Ландсбергской дороги, находились драгунские дивизии Клейна и Груши;

уступом от их левого фланга, позади пехотной бригады Фере,— гвардейская кавалерийская дивизия;

на левом ее фланге, выступом,— легкие кавалерийские бригады Кольберта, Гюо и Брюера; а уступом — кирасирская дивизия Гопульта;

легкая кавалерийская бригада Дюронеля — на оконечности левого фланга всей армии, между ею и селением Альторф;

позади кирасир Гопульта, на дороге от Эйлау к селению Стробенену,— пехотный корпус Ожеро́;

пешая гвардия Наполеона и его собственный бивак — на холме между Эйлау и мызою Грингофшен;

пехотный корпус Даву — верстах в двадцати от армии, на Бартенштейнской дороге;

пехотный корпус Нея — на Мельзакской дороге к Цинтену, около селения Гусенен, верстах в двадцати пяти от армии;

пехотный корпус Бернадота — на несколько суток позади армии.

Местоположение занимаемой нами позиции представляло слегка холмистую равнину, примыкающую левой стороною к легким возвышениям, господствующим над нашим левым флангом, положение которого столь опасно было и в стратегическом отношении. Снег покрывал землю; это затрудняло перемещение артиллерии, а оледенелые и покрытые снегом небольшие озера, рассеянные по полю сражения, были весьма обманчивы, представляя плоскости, по-видимому удобные, но в существе своем опасные для движения артиллерии. Болота были еще непроходимы даже и для пехоты! Лес из кустарников находился между селениями Саусгартеном, Кушитеном и мызой Ауклапеном. Погода была вообще ясная, хотя нередко отемняемая скоропостижными и пролетными появлениями густого снега. Стужа легкая, не превышавшая трех или четырех градусов.

С утренним полусветом армия поднялась и стала в ружье. Еще костры курились на месте ночлега между войсками, которые черными полосами рассекали белое, незапятнанное поле будущего сражения; еще нигде изнутри их не сверкнуло ни одного выстрела; только видно было некоторое волнение в линиях и колоннах, приходивших в окончательный порядок; 4-я пехотная дивизия и Архангелогородский полк возвратились на свое место, в состав главного резерва армии. Ободняло, и со светом дня грянула шестидесятипушечная батарея нашего правого фланга. Часть неприятельской артиллерии, ночевавшей позади передних строений города, выдвинулась из-за них и отвечала на вызов,— и Наполеон увидел собственными глазами, что дело уже идет к битве не с арьергардом, как он думал, а со всею нашею армиею. Не может быть, чтобы в эту минуту великий полководец не упрекнул себя в удалении корпусов Нея и Даву на такое расстояние от армии, на каком они тогда находились, и не подосадовал на судьбу, лишившую его в такой решительный день содействия корпуса Бернадота. Обстоятельство

это не прошло бы ему даром за семь лет прежде, когда Суворов был еще на коне пред русскими знаменами. Но оттого, что уже не было Суворова, нельзя было пренебрегать Беннингсена, полководца не без замечательных достоинств по многим отношениям. Гонцы полетели к Даву и к Нею с приказаниями немедленно обратиться им к Эйлау.

Между тем жестокая канонада гремела вокруг города, и главные силы французской армии начали размещаться. Легкие кавалерийские бригады Дюронеля, Брюера, Гюо и Кольберта остались влево от Эйлау. Пехотная дивизия Леваля, соединив все три бригады, расположилась левым флангом к этим легкоконным бригадам, а правым — к городу. Пехотная дивизия Легранда выдвинулась вперед города и примкнула к правому флангу Леваля. Корпус Ожеро́ построился в две линии: дивизия Дежардена составила первую, а дивизия Гюдле вторую линию. Обе эти дивизии примкнули левые свои фланги к церкви, находящейся у оконечности города, где находился Наполеон во все время сражения.

За Ожеро́ расположилась кирасирская дивизия Гопульта, примыкая слева к пешей гвардии, стоявшей позади церкви за возвышением. За Гопультом стала конная гвардия, а вправо, на одной с ним линии, драгунская дивизия Груши. Дивизия Сент-Илера (от корпуса Сульта) примкнула к правому флангу первой линии Ожеро́, заслоня собою драгунскую дивизию Клейна, и составила оконечность всей армии.

Канонада с обеих сторон загоралась по мере развития французской армии параллельно нашей. Она сделалась общею, но все гремела с бо́льшею силою около города, нежели на других пунктах; с нашей стороны потому, что мы посредством ее старались воспретить дивизиям Легранда и Леваля нападение на наш правый фланг, а с неприятельской — для привлечения внимания нашего более на наш правый, чем на левый фланг, и для облегчения чрез то усилия Даву, коего прибытие на оконечность оного долженствовало решить участь сражения.

Уже огонь из нескольких сот орудий продолжался около трех часов сряду, но ничего замечательного не происходило ни с неприятельской, ни с нашей стороны.

Получив известие о незамедлительном прибытии корпуса Даву, коему велено было при направлении его к армии принять вправо от Бартенштейнской дороги, на которую он перешел с Гейльсбергской, Наполеон приказал всему центру главной армии двинуться вправо же, для связи действия своего с действием Даву. Войска двинулись; но в самую эту минуту закрутилась метель с густым снегом, так что в двух шагах ничего не было видно. Корпус Ожеро́ потерял дирекцию и, отделясь от дивизии Сент-Илера и всей кавалерии, предстал, неожиданно и для нас и для себя, пред центральною батареею нашею в самую минуту прояснения погоды. Семьдесят жерл рыгнули адом, и град картечи зазвенел по железу ружей, застучал по живой громаде костей и мяса. В одно мгновение Московский гренадерский, Шлиссельбургский пехотный и пехотная бригада генерала Сомова, склоня штыки, ринулись на него с жадностию. Французы всколыхнулись; но, ободрясь, они подставили штыки штыкам и стали грудью.

Произошла схватка, дотоле невиданная. Более двадцати тысяч человек с обеих сторон вонзали трехгранное острие друг в друга. Толпы валились. Я был очевидным свидетелем этого гомерического побоища и скажу поистине, что в продолжение шестнадцати кампаний моей службы, в продолжение всей эпохи войн наполеоновских, справедливо наименованной эпопеею нашего века, я подобного побоища не видывал! Около получаса не было слышно ни пушечных, ни ружейных выстрелов, ни в средине, ни вокруг его: слышен был только какой-то невыразимый гул перемешавшихся и резавшихся без пощады тысячей храбрых. Груды мертвых тел осыпа́лись свежими грудами; люди падали одни на других сотнями, так что вся эта часть поля сражения вскоре уподобилась высокому парапету вдруг воздвигнутого укрепления. Наконец *наша взяла!*

Корпус Ожеро́ был опрокинут и жарко преследован нашею пехотою и прискакавшим генерал-лейтенантом князем Голицыным с центральной конницей на подпору пехоты. Задор достиг до невероятия: один из наших баталионов, в пылу погони, занесся за неприятельскую позицию и явился у церкви, в ста шагах от самого Наполеона; об этом упомянуто самими французами во

всех описаниях войн того времени. Минута была критическая. Наполеон, коего решительность умножалась по мере умножения опасности, приказал Мюрату и Бессьеру с тремя дивизиями Гопульта, Клейна и Груши и с конною гвардиею ударить на гнавшиеся при криках *ура* войска наши. Движение, необходимое для спасения хоть части сего корпуса, и притом для предупреждения общего с нашей стороны натиска, в случае, если Беннингсен на это отважится. Более шестидесяти эскадронов обскакало справа бежавший корпус и понеслось на нас, махая палашами. Загудело поле, и снег, взрываемый двенадцатью тысячами сплоченных всадников, поднялся и завился из-под них, как вихрь из-под громовой тучи. Блистательный Мюрат в карусельном костюме своем, следуемый многочисленною свитою, горел впереди бури, с саблею наголо, и летел, как на пир, в средину сечи. Пушечный, ружейный огонь и рогатки штыков, подставленных нашею пехотою, не преградили гибельному приливу. Французская кавалерия все смяла, все затоптала, прорвала первую линию армии и в бурном порыве своем достигла до второй линии и резерва, но тут разразился о скалу напор волн ее. Вторая линия и резерв устояли, не поколебавшись, и густым ружейным и батарейным огнем обратили вспять нахлынувшую громаду. Тогда кавалерия эта, в свою очередь преследуемая конницею нашею *сквозь строй* пехоты первой линии, прежде ею же смятой и затоптанной, а теперь снова уже поднявшейся на ноги и стрелявшей по ней вдогонку,— отхлынула даже за черту, которую она занимала в начале дня. Погоня конницы была удальски запальчива и, как говорится, *до дна* (à fond). Оставленные на этой черте неприятельские батареи были взяты достигшими до них несколькими нашими эскадронами; канониры и у некоторых орудий колеса были изрублены всадниками, но самые орудия остались на месте от неимения передков и упряжей, ускакавших от страха из виду.

В этой рукопашной схватке и в приливе и отливе кавалерии дивизионные генералы: кавалерийский Гопульт, гвардейский Далман, генерал-адъютант Корбино и пехотный Дежарден легли на месте битвы. Сам маршал Ожеро́, дивизионный генерал Гюдле и бри-

гадный Лошет были ранены; некоторые другие бригадные генералы и множество штаб-офицеров, как Лакюе, Маруа, Бувьер и прочие, понесли подобную же участь. Два эскадрона гвардейских конных гренадеров, которые составляли хвост уходившей неприятельской кавалерии, были охвачены нашею конницею и положили жизнь между первою и второю линиями. 14-й линейный полк лишился всех офицеров, а в 24-м линейном осталось в живых только пять. Весь корпус Ожеро́, три кавалерийские дивизии и конная гвардия представляли лишь одни обломки. Шесть орлов было взято нашими.

Какая была минута для дружного и совокупного напора всех сил наших на дивизию Сент-Илера, оставшуюся без подпоры и без надежды на какую-либо подпору! Все вокруг этой дивизии было или истреблено, или расстроено и, что всего важнее, лишено духа не только помогать ей, но даже защищаться. Сверх того, еще было не более одиннадцати часов утра, следовательно, оставалось еще два часа до прибытия корпуса Даву на поле сражения. Но чтобы пользоваться подобными минутами, не довольно глубокого познания своего дела, не довольно духа твердого и ума расчетливого: все это мертво без вдохновения, без того порыва непонятного, неизъяснимого, мгновенного, как электрическая искра, который столько же необходим поэту, витию, как полководцу; принадлежность Наполеона, принадлежность Суворова — поэтов и витий действия, как Пиндара, как Мирабо — полководцев слова.

Благоприятный случай, обещавший оружию нашему так много выгоды, исчез. Войска наши, гнавшиеся за неприятелем, принуждены были возвратиться в состав главных сил армии, из которой не было выдвинуто ни одного баталиона им на помощь, и расстроенный неприятель, пользуясь их отливом, сплотился, устроился и ободрился. Тогда обе сражавшиеся армии вошли в то самое положение, в котором находились они до резни и сечи, до бойни, бесполезно пожравшей такое множество, и все эти чудеса храбрости, все это самоотвержение, весь этот героизм воинов, загромоздивших трупами своими поле кровавого прения, обратился ни во что, как будто его и не бывало!.. Дей-

ствие ограничилось жестокою канонадою, снова разлившеюся по всему протяжению обеих армий, и побиением ею новых тысячей, *так, от нечего делать,* до прибытия к французам корпуса Даву, к нам — прусского корпуса Лестока,

Настал второй период сражения.

Около первого часу пополудни на гребне высот, которые виднелись от нас влево и к которым примыкал наш левый фланг, замелькало несколько отдельных всадников. За ними показались громады конницы, а там выдвинулись громады пехоты и артиллерия. Горизонт зачернел и взволновался. Холмы Саусгартена, дотоле безмолвные, сверкнули, оклубились дымом и *проглаголали.* Даву ответствовал им из сорока орудий и потек лавою на боевое поле в одно время с приблизительным к нему движением дивизии Сент-Илера, подкрепленной кавалерийской дивизией Мильо. На левом фланге Сент-Илера, уступом от него, двинулись потерпевшие уже в бою кавалерийские дивизии Клейна, Груши и Гопульта: они были построены в три линии. К левому флангу этой кавалерии примкнул остаток корпуса Ожеро́, построенный в две линии. За ними расположилась пешая гвардия, а позади Гопульта — не менее кавалерийских дивизий потерпевшая конная гвардия. Дивизии же Легранда и Леваля так, как и четыре легкие кавалерийские бригады, остались на своих местах.

Все внимание, и наше и неприятельское, обратилось к Даву и к нашему левому флангу.

Поскакали адъютанты по Альторфской дороге с повелениями Лестоку увеличить поспешность к прибытию его не к правому уже флангу армии, а чрез Шмодитен к левому. Некоторая часть конницы и артиллерии, находившихся на нашем правом фланге и на центре, потянулась к тому же левому флангу, который неприятельские силы подавляли более и более к центру, давно уже терпевшему от батарей, расположенных за каменными строениями города; они обстреливали продольными выстрелами все протяжение армии нашей от Эйлау до Ауклапена и леса, находящегося между Саусгартеном, Ауклапеном и Кушитеном.

Обстоятельства представлялись не в красивом виде. Даву, оттеснив левый фланг наш за лес, занял

пространство, разделяющее Кушитен и Саусгартен, заложил на высотах Саусгартена огромную батарею и с своей стороны ударил ядрами прямо в протяжение нашей армии, пронизываемое уже продольными выстрелами из Эйлау. Селение Кушитен наполнилось его пехотою одновременно с пехотою дивизии Сент-Илера, забравшеюся в мызу Ауклапен, где была ночью главная квартира Беннингсена. Граф Остерман с неустрашимостью, граф Пален с спокойствием героев отражали нападение, успехами усилившееся,— но тщетно! Беспорядок начинал сказываться в наших войсках. Вся часть поля сражения, от Кушитена до Шмодитена, покрылась рассеянными солдатами: они тянулись к Кенигсбергской дороге под прикрытием тех из своих товарищей, которые, не теряя ни духа, ни устройства, обливали еще кровью своею каждый шаг земли, ими оспариваемой. Перекрестный огонь умножавшихся батарей неприятеля пахал, взрывал поле битвы и все, что на нем ни находилось. Обломки ружей, щепы лафетов, кивера, каски вились по воздуху; все трещало и рушилось.

Среди бури ревущих ядр и лопавшихся гранат, посреди упадших и падавших людей и лошадей, окруженный сумятицею боя и облаками дыма, возвышался огромный Беннингсен, как знамя чести. К нему и от него носились адъютанты; известия и повеления сменялись известиями и повелениями; скачка была беспрерывная, деятельность неутомимая; но положение армии тем не исправилось, потому что все мысли, все намерения, все распоряжения вождя нашего — все дышало осторожностью, расчетливостью, произведениями ума точного, основательного, сильного для состязания с умами такого же рода, но не со вспышками гения и с созданиями внезапности, ускользающими от предусмотрений и угадываний, основанных на классических правилах. Все, что Беннингсен ни приказывал, все, что ни исполнялось вследствие его приказаний,— все клонилось лишь к систематическому отражению нападений Даву и Сент-Илера, противуставя штык их штыку и дуло — их дулу, но не к какому-либо неожиданному движению, выходящему из круга обыкновенных движений, не к удару *напропалую и очертя голову* на какой-либо пункт, почитаемый неприятелем вне опасности.

И подлинно, как шло дело? Даву продолжал напирать, охватывая более и более левый фланг нашей армии, тогда как часть центра и правый фланг оной, не двигаясь с места, постепенно и мало-помалу отделяли от себя частицы пехоты, конницы и артиллерии на подпору отступавшему левому флангу, не предпринимая ничего совокупного, ничего решительного, ничего того, что бы могло скоропостижностью своею ошеломить противника. Впрочем, немало приносило нам пользы и одно кой-какое преграждение натисков правого неприятельского фланга: отсрочивая решительное поражение, оно давало время корпусу Лестока прибыть на поле битвы. Но для сего следовало подкреплять сей фланг большими массами, а не мелкими частицами.

Багратион, который в минуты опасности поступал на свое место силою воли и дарования, двинул резерв к Ауклапену и обратил его лицом к Даву и Сент-Илеру. Ермолов прискакал к тому же пункту с тридцатью шестью конными орудиями, выдвинул их из-за резерва, осыпал брандскугелями Ауклапенскую мызу, мгновенно зажег ее и принудил неприятельскую пехоту из нее удалиться; генерал-маиор граф Кутайсов прибыл также сюда с двенадцатью орудиями, но позднее. Тогда, не теряя ни минуты, он бросился к ручью, рассекавшему лес, и сразился с заложенными на нем батареями, не перепуская вместе с тем ни одной пехотной колонны ни к лесу, ни к Ауклапену, ни к Куштитену для подкрепления войск, ввалившихся в это последнее селение. Но эти успехи, или, лучше сказать, эта отсрочка угрожаемой гибели, не могла быть продолжительна. Для похищения у неприятеля решительной победы надлежало не только *остановить,* но *поразить* Даву натиском на его правый фланг и вместе с тем угрозить тылу его общим наступлением на корпус Ожеро́ и кавалерии, которая к нему примыкала. Для последнего мы еще обладали достаточной силой, но для первого нам необходим был прусский корпус, который все не являлся.

Наконец прискакали адъютанты с известием о приближении Лестока, столь давно, столь нетерпеливо нами жданного. Занявши бо́льшую часть корпуса Нея битвою с бригадою генерала Плоца и преследованием

ее к Крейцбургу, Лесток с главными силами своими, состоявшими из девяти баталионов и двадцати девяти эскадронов, обратился на Лейсен, Гравентен и Альторф. Уже было около четырех часов пополудни; дорога Альторфская зачернела войсками, и Беннингсен поскакал к ним навстречу — и для ускорения их прихода, и для того, чтобы направить их по собственным его видам. Заметно было, что по прибытии главнокомандующего к сему корпусу стремление его усилилось. Лесток направлен был к Шмодитену; он миновал это селение и, не доходя до Кушитена, построил войска в боевой порядок. Правую колонну составлял русский Выборгский пехотный полк, левую — полк Рюхеля; в резерве за ними — гренадерский баталион Фобецкого развернутым фронтом. Пехотный полк Шёнинга, построенный в колонну, оставив селение влево, ударил на неприятельскую пехоту, пред ним находившуюся, опрокинул ее и прогнал в лес. Генерал Каль, с конницею и одним полком казаков, примкнувших к нему от главной армии, оставя Кушитен вправо, напал на неприятельскую кавалерию, примыкавшую к этому селению, расстроил ее и, обратясь на пехоту, выбегавшую в расстройстве из Кушитена, затоптал и истребил бóльшую часть ее, не допуская ее до лесу, в котором скрылась первая пехота.

В этом случае Выборгский пехотный полк отбил три орудия, взятые французами у нашего левого фланга, во время его отступления.

Овладев Кушитеном, Лесток поворотил войска вправо и построил их лицом к лесу. Полк Шёнинга составил правый фланг, гренадерский баталион Фобецкого и Выборгский пехотный — средину, а полк Рюхеля — левый фланг корпуса. Вторую линию составили кирасирский полк Вагенфельда и драгунские полки Ауера и Бачко. Легкоконный полк *Товарищей* построился на левом фланге пехоты.

В это время отступавший левый наш фланг остановился и устроился, а резерв его, под командою генерал-маиора графа Каменского, и конница резерва, под командою генерал-маиора Чаплица, двинулись на подпору прусскому корпусу.

Атака на лес была произведена с превосходным мужеством и с замечательным устройством. Лес был очи-

щен частью огнестрельным, частью холодным оружием. Вот момент общего натиска всей средины и всего главного резерва нашей армии на разжиженные от утреннего боя корпус Ожеро́, конную гвардию и три кавалерийские дивизии Клейна, Груши и Гопульта, соединившие левый фланг с правым флангом французской армии. Подобное движение даровало победу Наполеону под Аустерлицом.

Но армия наша осталась на месте, ограничив действие свое одною канонадою. Напору Лестока содействовала собственная его артиллерия, бившая в лицо войска Даву и Сент-Илера, и артиллерия Ермолова, низавшая продольными выстрелами линию этого корпуса и сей дивизии по всему протяжению от левого до правого их фланга.

Несмотря на это общее с нашей стороны бездействие, предоставлявшее все усилия одному Лестоку и артиллерии Ермолова, неприятель не устоял против них. Отступление его, начатое сперва с устройством, обратилось наконец в предосудительный беспорядок, который достиг до того, что двадцать восемь орудий, частью подбитых и частью ничем не поврежденных, были брошены им на месте сражения. Наступивший мрак и неведение об этом не дозволили прусскому генералу украсить день эйлавский такими важными трофеями. Даву и Сент-Илер, оставив поле битвы, расположили войска свои по обеим сторонам Саусгартена; передовая цепь и караулы их заняли место в нескольких саженях впереди его. Вся неприятельская линия рассекала поле сражения от Саусгартена к Эйлау. У Эйлау остались на прежних местах пехотные дивизии Леваля и Легранда; но четыре легкие кавалерийские бригады подвинулись к Альторфскому ручью для открытия сообщения с частью корпуса Нея, подходившего уже к Альторфу.

С нашей стороны войска расположились так.

Передняя линия их, примкнув левым флангом к дороге, идущей от Кушитена в Домнау, шла вдоль ручья, текущего от Auклапена, и рассекала лес почти надвое. Оттуда линия эта проходила впереди Ауклапена и упиралась в центральную батарею нашу, игравшую столь значительную роль в первом периоде сражения. К этой батарее примыкали войска правого

фланга, как примыкали они в первоначальном их построении перед сражением. Это наступательное положение сражавшихся войск по прекращении битвы доказывает отсутствие решительного перевеса оружия одной армии над другою. Как французская, так и наша остались в занимаемых ими позициях с некоторым только изменением на левом нашем фланге, уступившем несколько саженей места корпусу Даву и дивизии Сент-Илера по причине наступления сумрака, который затруднил битву.

Еще один час дня — и Лесток неминуемо овладел бы артиллериею, оставленною французами между Кушитеном и Саусгартеном, и принудил бы самый корпус Даву и дивизию Сент-Илера отступить за Саусгартен и далее.

Глубокая ночь более и более густела над Эйлавским полем, упитанным кровью. Все окружные селения пожирались пламенем, и отблеск пожаров разливался на войска утомленные, но еще стоявшие под ружьем и ожидавшие повелений своих начальников. Кое-где видны уже были вспыхнувшие костры биваков, вокруг коих толпились или к которым пробирались и ползли тысячи раненых. Искаженные трупы людей и лошадей, разбитые фуры, пороховые ящики и лафеты, доспехи и оружие — все это, здесь разбросанное, там сваленное в груды, придавало равнине живописность ужаса и разрушения, достойную кисти вдохновенного творца *Последнего дня Помпеи.*

Бой прекратился, но недоумение: «Возобновить ли битву, или отступить нам к Кенигсбергу, французам — к Висле?» — обуревало мысли верховных вождей обеих армий. Упрямейший восторжествовал не возобновлением нападения, но дождавшись утра на месте битвы. Беннингсен оставил поле около полуночи и на нем несколько эскадронов для надзора за неприятелем и прикрытия армии, потянувшейся к Кенигсбергу; Лесток отошел чрез Алленбург в Вело. Погони не было. Французская армия, как расстрелянный военный корабль, с обломанными мачтами и с изорванными парусами, колыхалась еще грозная, но неспособная уже сделать один шаг вперед ни для битвы, ни даже для преследования.

Вдруг закипели ружейные выстрелы в Шмодитене. Мы изумились. Первая наша мысль обратилась к Нею, вышедшему из нашей памяти. И подлинно, Ней, прибыв с частию своего корпуса в Альторф в девять часов вечера, нашел там прусский гренадерский баталион капитана Куровского, который, видя несоразмерность сил своих с неприятельскими, оставил селения и отошел к армии. Генерал Лиже-Белер с 6-м и 39-м полками легкой пехоты следовал за ним и вступил в Шмодитен, селение, полное нашими ранеными и командами, прибывшими для их прикрытия. Последние открыли огонь по французам, и перестрелка завязалась. Тотчас отряжен был к ним на помощь Воронежский пехотный полк и несколько орудий; но неприятель, не дожидаясь нашего отряда, отступил в Альторф, и тем прекратилась тревога.

Двадцать восьмого числа армия наша, отдохнув в Мюльгаузене, продолжала путь свой к Кенигсбергу, вокруг которого остановилась, оставив в арьергарде князя Багратиона в Людвигсвальде.

Французская армия, опасаясь на пути вперед нового сражения, осталась около Эйлау; двадцать четыре эскадрона только двинулись для наблюдения на берега Фришинга, к Мансфельду и Людвигсвальду, и то по истечении с лишком двух суток и по уверенности Наполеона в прибытии армии нашей к Прегелю.

Пятого февраля Наполеон решился отступить за Пассаргу для занятия кантонир-квартир и оставил Эйлау, преследуемый нашим авангардом и всеми казачьими полками под начальством своего атамана Платова, который с того дня начал свою европейскую репутацию.

Обратное шествие неприятельской армии, несмотря на умеренность стужи, ни в чем не уступало в уроне, понесенном ею пять лет после при отступлении из Москвы к Неману,— в уроне, приписанном французами одной стуже, чему, впрочем, никто уже ныне не верит. Находясь в авангарде, я был очевидцем кровавых следов ее от Эйлау до Гутштадта. Весь путь усеян был ее обломками. Не было пустого места. Везде встречали мы сотни лошадей, умирающих или заваливших трупами своими путь, по коему мы следовали, и лаза-

ретные фуры, полные умершими или умирающими и искаженными в Эйлавском сражении солдатами и чиновниками. Торопливость в отступлении до того достигла, что, кроме страдальцев, оставленных в повозках, мы находили многих из них выброшенных на снег, без покрова и одежды, истекавших кровию. Таких было на каждой версте не один, не два, но десятки и сотни. Сверх того, все деревни, находившиеся на нашем пути, завалены были больными и ранеными, без врачей, без пищи и без малейшего призора. В сем преследовании казаки наши захватили множество усталых, много мародеров и восемь орудий, завязших в снегу и без упряжи.

Урон наш в этом сражении простирался почти до половинного числа сражавшихся, то есть до 37 тысяч человек убитых и раненых: по спискам видно, что после битвы армия наша состояла из 46 800 человек регулярного войска и 2500 казаков. Подобному урону не было примера в военных летописях со времени изобретения пороха.

Оставляю читателю судить об уроне французской армии, которая обладала меньшим числом артиллерии против нашей и которая отбита была от двух жарких приступов на центре и на левом фланге нашей армии.

Трофеи наши состояли в девяти орлах, исторгнутых из рядов неприятельских, и в двух тысячах пленных. Прусский корпус взял два орла.

4

Трогательное происшествие случилось со мною после сражения. За год и два месяца армия наша поражена была под Аустерлицом. Кавалергардский полк разделил поражение с прочими. Служивший в этом полку поручиком родной брат мой, тогда двадцатилетний юноша, был жестоко ранен: он получил пять ран саблею, одну пулею и одну штыком и был оставлен замертво в груде трупов на поле сражения. Так пролежал он до глубокой ночи. Ночью он очнулся, встал и кое-как добрел до огня, сверкавшего из ближайшей деревни, которую нашел полную русскими ранеными,

между коими он и поместился. Спустя трое суток двое кавалергардов, подобно ему, но гораздо легче его раненных,— Арапов и Барковский,— уговорили его идти вслед за отступавшею армией нашей, и он, не зная о ее направлении, побрел вместе с ними, как бродят люди, изнуренные страданиями и голодом. Путешествие их продолжалось недолго. Гвардейский конно-гренадерский эскадрон, отряженный из французской армии для собрания раненых как французских, так и русских, настиг странников и объявил им об их участи. Делать было нечего: надлежало повиноваться. Эскадрон пошел далее, но командир оного препоручил брата моего и его двух товарищей одному из офицеров своего эскадрона для доставления их в Брюн, где тогда находилась главная квартира Наполеона.

Но *бедненький ох, а за бедненьким бог!* — говорит пословица. Офицер сей был поручик Серюг, племянник министра Маре (герцога Бассано). На его произвол отданы были и жизнь и смерть брата моего. Я говорю — и жизнь и смерть, потому что ненависть французов к русским и русских к французам началась с этой эпохи. В обеих армиях вошло в обычай срывать с пленного последний покров, последнюю обувь и, изнеможенного голодом, усталостью, стужею или ранами, предавать смерти. Начальство этого не приказывало, но за этакие поступки никогда не взыскивало. Человеколюбивый и сострадательный Серюг не был еще заражен этими гнусными примерами. Соболезнуя злополучию своего пленника, он простер свою снисходительность до того, что воспретил ему идти пешком, посадил на лошадь и, видя его ослабленным от голода, разделил с ним последний кусок собственного хлеба. Так привез он его до пастора ближайшего села, приказал ему накормить его при себе досыта, снарядил для него повозку и отправил его в Брюн, оживя его дружеским и, можно сказать, братским участием. Кроме того, он дал брату слово отыскать его в Брюне, куда надеялся вскоре возвратиться, и, на случай невозврата, взял с него слово прибегнуть прямо к дяде его, министру Маре, и требовать от него всех вспомоществований, необходимых в его положении.

Все это слышал я от брата по возвращении его из плена и за несколько недель до отъезда моего в армию.

Прибыв с арьергардом в Людвигсвальд 29 января, я отпросился у князя Багратиона в Кенигсберг для собственных надобностей и, по прибытии туда, пристал у генерала Чаплица, исправлявшего тогда должность коменданта города. Чаплиц объявил мне, что какой-то французский офицер, раненный в последнем сражении, спрашивал обо мне или, лучше сказать, осведомлялся, нет ли в армии нашей гвардии поручика Давыдова? Я один был гвардии поручик Давыдов в целой армии и, из любопытства узнать имя этого французского офицера, просил показать себе именной список пленных чиновников. Каково было мое удивление, когда имя *гвардии конно-гренадерского поручика Серюга* первое бросилось мне в глаза при раскрытии огромного фолианта! Увидеть это имя и бежать к Серюгу было одним движением. Я еще не добежал, еще не видал его в лицо, а уже был братом его, другом, вечным другом и страстным братом. Надобно сказать, что жители Кенигсберга, узнав о прибытии армии нашей к стенам города, опасались отступления ее далее и занятия города французами, почему, дабы предварительно заслужить Наполеонову благосклонность, они употребили все старание испросить у Беннингсена позволение разобрать по домам своим раненых французских офицеров для пользования и содержания их на своем иждивении. Разумеется, что в этом фортуна более благоприятствовала племяннику министра, чем другому. Серюг пользовался гостеприимством богатейшего гражданина в Кенигсберге.

Я нашел его в высоком, роскошно убранном доме, коего весь первый этаж предоставлен был на его волю. Кровать с занавесью, белье отличное, ширмы, столики, диваны, обширные кресла возле кровати, полусвет и курение в комнате, и врач, и лекарства,— ни в чем не было недостатка. Но он лежал бледный, изнеможенный, в жестоких страданиях. Несколько сабельных ран по голове и по рукам не столько его беспокоили, сколько мучила его рана пикою в пах, глубокая и смертельная. Я тихо и осторожно подошел к кровати страдальца и объявил ему мое имя. Мы обнялись как будто родные братья. Он спросил о брате моем с живейшим участием; я бла-

годарил за сохранение мне его и предложил себя к его услугам с душевным чувством. Он на это отвечал мне: «Вы видите, я на попечении доброго человека и ни в чем не нуждаюсь. Однако вы можете мне сделать большое одолжение. Без сомнения, между пленными есть раненые моего взвода; не можете ли вы исходатайствовать у начальства двух или хотя одного из моих конно-гренадер для пребывания подле меня. Пусть я умру, не спуская глаз с мундира моего полка и гвардии великого человека».

Разумеется, что я бросился к Беннингсену и Чаплицу, испросил у них позволения на избрание из толпы пленных двух конно-гренадер взвода Серюга и уже чрез два часа явился к нему, сопровождаемый двумя его усачами, осененными медвежьими шапками и одетыми во всю форму. Нельзя изъяснить радости несчастного моего друга при виде своих сослуживцев. Изъявлению благодарности не было бы конца без просьбы моей прекратить порывы сердца, столь изнурительные в его положении.

Двое суток я не оставлял Серюга ни денно, ни нощно; на третьи все кончилось: он умер на руках моих и похоронен на кенигсбергском кладбище.

За гробом шли двое упомянутых французских конно-гренадер и я — поручик русской гвардии. Странное сочетание людей и мундиров!

Глубокая печаль живо выражалась на лицах старых рубак, товарищей моих в процессии... Я был молод... Я плакал.

ТИЛЬЗИТ В 1807 ГОДУ

1

1807 года 2-е июня ознаменовано было неимоверною храбростию, неимоверными усилиями войск наших, и при всем том этот день был днем бедственным для нашего оружия. Помещенная в боевой порядок наперекор основным правилам военного искусст-

ва, заваленная превосходным числом неприятеля, засыпанная на тесном пространстве густою массою чугуна и свинца, частью вбитая в тесные улицы Фридланда, частью опрокинутая с крутых берегов в Алле, армия наша тянулась к Прегелю, чтобы оградить себя от дальнейших покушений неприятеля.

Не забуду никогда тяжелой ночи, сменившей этот кровавый день. Арьергард наш, измученный десятисуточными битвами и ошеломленный последним ударом, разразившимся более на нем, чем на других войсках, прикрывал беспорядочное отступление армии, несколько часов пред тем столь грозной, стройной и красивой. Физические силы наши гнулись под гнетом трудов, нераздельных со службою передовой стражи. Всегда бодрый, всегда неусыпный, всегда выше всяких опасностей и бедствий, Багратион командовал этой частью войск; но и он, подобно подчиненным своим, изнемогал от усталости и изнурения. Сподвижники его, тогда только начинавшие знаменитость свою,— граф Пален, Раевский, Ермолов, Кульнев — исполняли обязанности свои также чрез силу; пехота едва тащила ноги, всадники же дремали, шатаясь на конях.

На рассвете армия прибыла в Веалу и в продолжение дня перешла через Прегель; арьергард, соединясь с нею, истребил мост. Все войско, сколько позволило время, устроилось и пошло далее на Таплакен, Клейн-Ширау и Пепелкен, в направлении к Тильзиту. Порядок марша был следующий: впереди гвардия со всей батарейною артиллериею, за ними два полка легкой кавалерии правого фланга (остальною кавалериею этого фланга Беннингсен усилил арьергард), потом вся тяжелая кавалерия обоих флангов, наконец, вся пехота и легкая артиллерия, и с ними главная квартира; арьергард заключал шествие.

Но прежде чем продолжать очерк этого отступления, необходимо взглянуть на предшествовавшие оному стратегические распоряжения обоих полководцев.

Наполеон стоял на Пассарге; передовой корпус его армии, корпус Нея, находился в Гутштадте и окрестностях его.

Беннингсен, устрашенный действием в смежности Фриш-Гафского залива, к которому едва не была при-

перта армия его во время зимней кампании, избрал новую черту действия. Он расположил войска свои по течению Алле, от окрестностей Гутштадта до Шипенбейля, занимая ими Гейльсберг и Бартенштейн; назначил Гейльсберг пунктом соединения всех сил своих для генерального сражения и покрыл возвышения, облегающие город, многочисленными укреплениями. Распорядок этот не подлежал бы осуждению, если б черта действия, избранная Беннингсеном, заслоняя единственное основание армии нашей — Неман и Россию, заслоняла вместе с тем и магазины, на Немане или между Неманом и нашей армией расположенные. Но никаких магазинов не существовало по этому направлению. Напротив, Беннингсен отстранил их от естественного и истинного основания своего и, заслоняя Неман и Россию, оставил и даже умножил съестные и боевые запасы в Кенигсберге, находившемся на правом фланге армии и почти вне круга боевых происшествий. Таким распорядком он подверг и магазины и подвозы, высылаемые из них в армию, неминуемой гибели при первой необходимости оставить Гейльсберг, при первом шаге его на правый берег Алле.

Оплошность эта не могла укрыться от проницательного и всеобъемлющего взгляда полководца, каков был Наполеон. Он решился воспользоваться ею не только потому, что долг всякого военачальника пользоваться ошибками противника, но и по необходимости. Область, которую изнуряли войска его, расположенные на кантонирских квартирах в течение двух месяцев, и область, столько же времени изнуряемая войсками нашими по тем же причинам и в которую он намеревался вторгнуться, не представляли никакого средства к пропитанию. Надлежало иметь заранее строенные магазины, а эти магазины, как я выше сказал, устроены нами только в Кенигсберге. Разумеется, что Наполеон немедленно определил в мысли своей город этот предметом своего действия, тогда как мы забыли даже оставить в нем достаточный гарнизон для охранения его от наскока самой малочисленной партии гусар неприятельской армии.

Но, чтоб овладеть Кенигсбергом, не подвергая себя той же самой опасности, в коей находился Беннингсен во время зимней кампании, надлежало выбить

армию нашу из гейльсбергских укреплений и отбросить ее на правый берег Алле; средство это не было упущено из виду. Французская армия, перейдя чрез Пассаргу, подходила к Гейльсбергу, обнимая левым крылом своим наше правое крыло. Тогда только Беннингсен вспомнил о Кенигсберге. Три способа представлялись ему к сохранению, хотя на некоторое время, Кенигсберга: один в отражении Наполеона от гейльсбергских укреплений, разбитии его армии и преследовании ее за Пассаргу и далее к Висле; другой — в перемещении всей армии нашей к Фриш-Гафскому заливу, не принимая сражения под Гейльсбергом (движение тогда уже опасное и от смежности с неприятелем почти невозможное; к тому же если б оно и удалось, то снова подвергло бы армию нашу тому бедственному положению, в коем находилась она во время зимней кампании); наконец третий — в направлении прямо в Кенигсберг вместо всей армии некоторой части оной. Беннингсен избрал последний, тем более что и самое положение дел сему способствовало. Прусский корпус Лестока, действовавший на нижней Пассарге у Спандена, был отрезан от нашей армии движением левого крыла французской армии от Эльдитена к Гутштадту. То же произошло и с русским отрядом графа Каменского, возвращавшегося из-под Данцига после неудачной попытки пробиться в эту крепость прежде покорения ее французами. Беннингсен воспользовался обоими обстоятельствами. Лесток, усиленный русским отрядом Каменского, что составило около двенадцати тысяч человек, поспешил к Кенигсбергу.

В это время Наполеон атаковал армию нашу, защищавшую гейльсбергские укрепления, и после неимоверных усилий, продолжавшихся до глубокой ночи, был отбит с чрезвычайным уроном.

Мы победили не наступательно, а оборонительно, но победили и, следственно, могли на другой день воспользоваться победой — атаковать неприятеля. Беннингсен простоял весь этот день в укреплениях и на третий, с армией, ободренной успехом, мало понесшей урону и нисколько не расстроенной, перешел на правый берег Алле, вдоль которого потянулся к Прегелю. Наполеон достиг своего предмета не победою, а неуда-

чею. Таковых примеров мы не видим в истории. Нет столь мало предприимчивого коменданта крепости, который не произвел бы из нее хоть слабой вылазки после отбитого приступа,— не только чтобы решился оставить ее, будучи победителем.

Между тем как мнение о чрезвычайной предприимчивости противника своего принуждало Беннингсена уклоняться от генерального сражения, с Наполеоновой стороны уверенность в недостатке предприимчивости Беннингсена увлекала его в самые опрометчивые действия. Он видел урон, расстройство и, следственно, некоторое потрясение духа в бо́льшей части своей армии, что нераздельно со всяким неудачным приступом. Он видел армию нашу, отступавшую после успеха своего не от бессилия, не от расстройства, не от боязни — чего никогда не бывает в самых посредственных войсках, зарытых по горло в смертоносных укреплениях и отразивших от сих укреплений неприятеля, штурмовавшего их с чистого и открытого местоположения. Он видел все это и не принял в уважение ничего из им виденного. Он, как кажется, не хотел сознаться, что оставление гейльсбергских укреплений и отступление наше вдоль Алле к Прегелю не что иное, как следствие воли, управлявшей нами, а не победы его над нами; что ничего окончательного еще не воспоследовало и что рассечение гордиева узла еще впереди; а, следовательно, для сего перёда надо более войска. Без этого предположения нельзя поверить, чтобы этот великий полководец решился отрядить Мюрата с корпусами Сульта, Даву и бо́льшею частью кавалерии, всего около пятидесяти тысяч человек, вслед за Лестоком, и только что с двумя третями армии приступил бы к решению участи войны, впервые для него более полугода продолжавшейся.

Нет сомнения, что вернее и безопаснее было бы Наполеону, оставя без внимания Лестока в Кенигсберге, идти всеми силами вслед за нашей армией к Нижней Алле, и только по одержании над ней победы отделить от главных своих сил корпуса, отделенные еще из-под Гейльсберга. Единым направлением их от Нижней Алле, чрез Тапиао в Лабиао, он беспрепятственно и вдруг достиг бы до двух предметов: до овладе-

ния Кенигсбергом без выстрела и до неминуемой гибели корпуса Лестока, коему, кроме Лабиао, не было другого выхода.

Лесток узнал 4-го числа о поражении Беннингсена под Фридландом и об отступлении армии нашей к Тильзиту. Он немедленно оставил Кенигсберг и поспешил к Лабиао, чтобы оттуда выйти на тильзитский путь. Постигая всю опасность положения своего, он не шел, он летел туда без отдыхов. Мюрат, овладев нашими магазинами в Кенигсберге, оставил при них корпус Сульта и, отослав Даву чрез Тапиао в главную армию Наполеона, пустился в погоню за Лестоком с одною кавалериею. Он догнал его, но тогда уже, как Лесток прошел открытое местоположение и у Лабиао вступил в леса и болота, где кавалерия была бесполезна. Между тем 3-го числа Наполеон направил из Фридланда корпус Нея на Инстербург и следовал за нами с главными силами.

Не зная об оставлении Сульта в Кенигсберге и о примкнутии Даву к Наполеону и увлеченный мнением, что при малейшем медлении в отступлении Ней с собственным корпусом и Мюрат с корпусами Даву и Сульта могут прибыть на тильзитский путь и стать между нами и Тильзитом, Беннингсен рассудил, что бóльшая опасность предстоит армии нашей нападением на нее войсками Нея и Мюрата с тыла, чем в напоре всей французской армии спереди от Велау. Это в некотором отношении весьма справедливое рассуждение едва не решило Беннингсена всею громадою войск без исключения достигнуть поспешнее до узла путей, исходящих из Инстербурга и Лабиао и соединяющихся с тильзитским путем при деревнях Ваннаглаукен и Шиллупишкен. Но такой род отступления произвел бы другого рода опасность. Главная масса французской армии, не встречая ни преград, ни отпоров от арьергарда нашего, который поступил бы тогда в состав главных сил, могла, как говорится, сесть нам на плеча и жаркими, неотступными натисками довершить нашу гибель прежде, чем достигли бы мы до правого берега Немана.

Чтобы сколько-нибудь укротить стремление Наполеона со стороны Велау и вместе с тем избегнуть преграды, которую могли воздвигнуть нам Мюрат и

Ней на пути отступления нашего к Тильзиту, приходилось жертвовать арьергардом. Багратион оставлен был при Таплакене с повелением отражать натиски Наполеона и отступать как можно медленнее за армиею, которая в то же время усилила переходы свои. Так, полтора года пред тем Кутузов, в такой же почти крайности и по тем же причинам, оставил того же Багратиона под Голлабрюном и Шенграбеном против огромных корпусов Ланна, Сульта и Мюрата. Но как там, так и тут та же звезда горела над питомцем Суворова. Казалось, что провидение хранило его до Бородинского дня, чтобы сочетать великое событие с великою жертвою, другое Каннское побоище со смертью другого Павла Эмилия.

В течение всего 3-го числа преследование производилось без сильных натисков, без той наглости, которая отличала французские войска при малейшей удаче. Но 4-го мы приметили умножение сил в преследовавших нас войсках и почувствовали железную волю их верховного предводителя. Арьергард наш был жестоко тесним под Клейн-Ширау, Битенене и Попелкене. Узел путей, соединяющихся в Ваннаглаукене и Шиллупишкене, был от нас еще далеко, главная же армия еще далее. О войсках Лестока, также и о посланных партиях для надзора за движением и направлением Нея, мы не получали никакого известия: было от чего прийти в отчаяние!

В этот день, как будто для развлечения нас от неблагоприятных обстоятельств, прибыло в арьергард несколько башкирских полков, только что пришедших в армию. Вооруженные луками и стрелами, в вислоухих шапках, в каких-то кафтанах вроде халатов и на лошадях неуклюжих, малорослых и тупых, эти жалкие карикатуры удалых черкесских наездников присланы были в арьергард,— как нас уверяли тогда,— с намерением поселить в Наполеоне мысль о восстании на него всех народов, подвластных России, и тем устрашить его. Но то ли было время, чтобы морочить людей фантасмагориями,— еще менее такого положительного человека, каков был Наполеон? Не народы невежественные и дикие, а триста тысяч резервного, регулярного войска, стоящего на границе с примкнутыми штыками и под начальством полководца, знаю-

щего свое дело, предприимчивого и решительного,— вот что тогда могло устрашить Наполеона. Я не спорю, что при вторжении в какое-либо европейское государство регулярной армии нашей, восторжествовавшей уже несколько раз над войсками этого государства,— я не спорю, что тучи уральцев, калмыков, башкирцев, ринутых в объезд и в тыл неприятельским войскам, умножат ужас вторжения. Их многолюдство, их наружность, их обычаи, их необузданность, приводя на память гуннов и Аттилу, сильно потрясут европейское воображение и, что еще не менее полезно, вместе с воображением и съестные и военные запасы противной армии. Но после поражения под Фридландом, но при отступлении к Неману, когда и самая наша пехота, артиллерия и конница с трудом уже преграждали сокрушительный победоносный ход наполеоновских громад к границам России, открытой и не готовой на отпор вторжения,— как можно было охмелять себя несбыточными надеждами! Как было уверять себя в успехе, противопоставляя оружие XV столетия оружию XIX-го и метателям ядр, гранат, картечи и пуль — метателей заостренных железом палочек, хотя бы число их доходило до невероятия!

Как бы то ни было, но французы и те из русских, которые впервые увидели башкирцев, встретили их единодушным смехом,— достойное приветствие воинственной красотою — безобразия, просвещением — невежества. Вечером много было рассказов о приключениях с башкирцами в течение этого дня. Что касается до меня, я был очевидцем одного только случая, весьма забавного.

На перестрелке взят был в плен французский подполковник, которого имя я забыл. К несчастию этого подполковника, природа одарила его носом чрезвычайного размера, а случайности войны пронзили этот нос стрелою насквозь, но не навылет; стрела остановилась ровно на половине длины своей. Подполковника сняли с лошади и посадили на землю, чтобы освободить его от этого беспокойного украшения. Много любопытных, между коими и несколько башкирцев, обступили страдальца. Но в то время как лекарь, взяв пилку, готовился пилить надвое стрелу возле самого пронзенного носа, так, чтобы вынуть ее справа

и слева, что почти не причинило бы боли и еще менее ущерба этой громадной выпуклости,— один из башкирцев узнает оружие, ему принадлежащее, и хватает лекаря за обе руки. «Нет,— говорит он,— нет, бачка, не дам резать стрелу мою; не обижай, бачка, не обижай! Это моя стрела; я сам ее выну...» — «Что ты врешь, — говорили мы ему, — ну, как ты вынешь ее?» — «Да, бачка! возьму за один конец, — продолжал он, — и вырву вон; стрела цела будет». — «А нос?» — спросили мы.— «А нос? — отвечал он,— черт возьми нос!..»

Можно вообразить хохот наш.

Между тем подполковник, не понимая русского языка, угадывал, однако ж, о чем идет дело. Он умолял нас отогнать прочь башкирца, что мы и сделали. Долг платежом красен: тут, в свою очередь, французский нос восторжествовал над башкирскою стрелою.

Пятого числа положение наше не улучшилось. То же неведение о Лестоке и о Нее, та же неотвязчивость авангарда в преследовании, те же усилия, то же самоотвержение войск наших при отражении натисков неприятеля! Рассуждая об ожидающей нас участи с одним из ближайших тогда приятелей моих, гвардии Семеновского полка штабс-капитаном бароном Дибичем, мы как-то нечаянно и в одно время оглянулись вправо и увидели около пятидесяти прусских гусар, скакавших к правому флангу нашей позиции. Я езжал на коне не манежно, но бойко, на казацкую руку, и конь подо мной был залетный. В одно мгновение я уже съехался с пруссаками и немедленно прискакал с ними к Багратиону. Они объявили ему, что Лесток благополучно прошел чрез Гросс-Баумвальдский лес, что французы далеко от него отстали, что они еще далее отстанут по причине плотины, рассекающей этот лес более чем на две мили,— плотины узкой и сверх того изломанной и разрытой в разных местах войсками Лестока. Мы ожили! Но судьба не довольствовалась одним подарком. В ту же минуту пришло донесение, не менее счастливое: партии наши, посланные к стороне Инстербурга для наблюдения Нея, прислали известие, что он, не обращаясь уже к тильзитскому пути, взял направление к Гумбиннену; следственно, и с этой стороны горизонта небо прояснилось. Дела на-

ши приняли иной оборот; спасение наше было уже несомненно!

Наконец того же дня к вечеру Тильзит и Неман — предметы, для беспрепятственного и покойного достижения коих главною армиею брошен был арьергард напропалую,— были достигнуты армиею нашею.

Все войска, составлявшие ее, расположились боевым порядком у Дранговской кирки для прикрытия начавшейся переправы тяжестей.

Эти важные для нас события развязали руки Багратиону; он избавился от обязанности удерживать в самом дальнем расстоянии от нашей армии вдесятеро против арьергарда сильнейшие громады войск, предводимых самим Наполеоном. Ней и Мюрат не угрожали уже тылу его, и действие его могло ограничиваться одними легкими и обыкновенными отпорами неприятеля, напиравшего на фронт его от Велау.

В таком положении были дела наши, когда я, 6-го поутру, послан был к Беннингсену с уведомлением о прекращении опасности арьергарду с тыла, о сохранении войсками и устройства, и бодрости духа, о соединении Мюрата с главною армиею и о направлении корпуса Нея на Гумбиннен.

Я не застал уже армии нашей у Дранговской кирки. Переправя тяжести свои чрез Неман, она сама уже предприняла переправу, и главная квартира перешла в Тильзит. Проехав за кирку, я повстречал скакавшего от Беннингсена в арьергард маиора Эрнеста Шёпинга, одного из остроумнейших наших товарищей и собеседников. «Что нового, Шёпинг?» — спросил я его. «Новое то,— отвечал он мне,— что я везу письмо от Беннингсена к Багратиону. Беннингсен предписывает ему войти чрез меня в сношения с французами и предложить им перемирие, пока приступим к переговорам о мире. Вот тебе все новое. Прощай!»

Нет, не могу выразить, что произвело во мне это известие! Я не скажу, чтобы в отношении собственно к себе мне противны были и перемирие и самый мир. Напротив, беспрерывные отступления, даже после успехов, беспрерывные занятия новых позиций, будто неприступных, а между тем при появлении неприятеля немедленно оставляемых, и решительное отсутствие наступательного действия — приводили меня в от-

чаяние. Мне такого рода война истинно надоела, даже опостыла. Ко всему этому положение дел представлялось мне так, как оно было в существе своем: обнаженным от всех оптических обманов и обольщений. Несоразмерность дарований Беннингсена с гением Наполеона, несоразмерность числительной силы армии нашей с неприятельской армиею, некоторая уверенность в непобедимости Наполеона, вкравшаяся уже тогда в дух бо́льшей части войска, вещественное расстройство армии после Фридландского поражения, недостаток в резервах, чрезмерное расстояние от нас не готовой еще милиции и множество других обстоятельств не менее важных,— все это было мне известно, и все это от нескольких слов Шёпинга исчезло из моей памяти. Я ничего не видал, я ничего не чувствовал другого, кроме срама приступать к миру без отмщения за Фридланд, и из себя выходил от негодования, как будто на меня лично обрушалась обязанность ответствовать отечеству за оскорбление его славы и чести. В безумии моем я поспешил к Беннингсену, чтобы уверить его в отличном еще положении арьергарда и в возможности смело продолжать военные действия на столько времени, сколько ему заблагорассудится. Как будто все зависело от арьергарда? Как будто довольно было одного клока войск для борьбы с полководцем, против которого признавали недостаточною и целую армию? Такова молодость!

Я прискакал в главную квартиру. Толпы разного рода людей составляли ее. Тут были англичане, шведы, пруссаки, французы-роялисты, русские военные и гражданские чиновники, разночинцы, чуждые службы и военной и гражданской, тунеядцы и интриганты,— словом, это был рынок политических и военных спекуляторов, обанкрутившихся в своих надеждах, планах и замыслах.

Войдя в дом, занимаемый Беннингсеном, я узнал, что хотя он еще отдыхает, но что скоро выйдет в залу. От нечего делать я возвращался уже на улицу, чтобы до появления Беннингсена посмотреть на идущие войска к переправе и на приготовление моста к сожжению. В эту минуту счастье навело меня на такого воителя, моего знакомца, которого одно выражение физиономии противоречило уже мерам, гнездившимся в

голове моей. Это бледное и трепещущее привидение, узнав от меня намерение мое, возмечтало, видно, что Беннингсен непременно и беспрекословно уважит все то, что я, двадцатилетний сорванец, предложу ему. Ужас обуял его. Он принялся доказывать мне, как предосудительно подчиненному давать советы такой высокой особе, каков главнокомандующий, особенно в мои лета, в моем чине (Лейб-гусарского полка штабс-ротмистра) и при малой моей опытности; что, впрочем, все уже решено и что, кроме насмешек и прозвания «La mouche du côche»*, я ни до чего другого не достигну. Замечание это было жестоко справедливо, и оно потрясло решимость мою до основания. Я призадумался и, очнувшись, окинул глазом то (давно ли еще столь бодрое и уверенное в низложении Наполеона?) общество, которым был окружен. Этого было довольно, чтобы наложить печать на уста мои. Не было сомнения, что при таковых рыцарях нечего было и помышлять о продолжении борьбы с неприятелем. Тут только разглядел я, в какой мир я попал, и узнал, до какой степени та часть армии, которая живет под крышами и так редко вдается в случайности сражений, различествует от той, которой крышею служит шатер небесный и которую за два часа перед тем я оставил под пулями и ядрами, готовою хоть на вековые войны.

В главной квартире все было в тревоге, как за полчаса до *светопреставления.* Один Беннингсен был неизменен. Он страдал, это видно было, но страдал скорбию безмолвною, мужественною, римскою скорбию; это был Сципион, пораженный Аннибалом при Тессине. Едва он показался в зале, я подошел к нему и передал ему то, с чем был прислан от Багратиона, не прибавя ни слова из нелепой мысли, посетившей меня после моей встречи с Шёпингом. Я уже был излечен от нее благоразумием испуганного моего знакомца и зрелищем испуганной главной квартиры, которой дух более или менее, рано или поздно, но всегда и неминуемо должен отозваться в войсках, ею управляемых. Известие, привезенное мною о безопасном положении, в которое вступил арьергард, было, как каза-

* Человек, суетящийся без толку *(фр.)*.

лось, приятным подарком для Беннингсена; взор его прояснился. После некоторых вопросов его и ответов моих аудиенция кончилась, и я возвратился к своему месту.

Между тем армия наша все 6-е и часть 7-го числа беспрерывно переходила на правый берег Немана, под прикрытием арьергарда, который, невзирая на предложение Беннингсена, давно уже полученное Наполеоном, теснимый авангардом его, продолжал сражаться. Наконец все войска без исключения перешли через Неман, кроме нескольких десятков казаков, ближайших к фланкерам неприятельским и с ними перестреливавшихся. Послано было приказание им примкнуть поспешнее к войскам, перешедшим уже за реку. В самую эту минуту французские конно-егеря и драгуны показались в городе и бросились за ними. Казаки скакали, не примечая, что передовой из преследователей, с саблею наголо, был сам Мюрат; но они успели уже коснуться до правого берега Немана, когда он только что вскакал на мост. Мост вспыхнул почти под мордой красивого коня его и в миг обнялся пламенем. Опрометчивый паладин остановился, круто поворотил коня назад и шагом возвратился в город; Неман разделил сражавшихся. Во время перемирия в Тильзите Мюрат хвастал этою погонею и уверял, что он хотел особою своею перескакать чрез мост и показаться на нашем берегу. «Жаль, что этого не было, ваше высочество,— отвечал ему кто-то из наших,— мы имели бы лишнего пленного».

Армия наша расположилась так.

Главная квартира в Амт-Баублене.

Пехота и регулярная кавалерия — между Погегеном и Вилькишкеном.

Гвардия — в Бенниккайтене.

Прусский корпус Лестока — в Амт-Винге.

14-я русская пехотная дивизия — против Рагнита (куда прибыл корпус Нея), простираясь до Юрбурга.

Все казачье войско — на заливных лугах Немана, против сожженного моста.

Авангард и квартира Багратиона поместились сначала в деревне Шаакене, на дороге, проходившей из Амт-Баублена в Вилькишкен, на берегу одного из заливов Немана; но за несколько дней до заключения

мира авангард был распущен, а квартира Багратиона переведена в Погеген.

Тем кончилась война 1806 и 1807 годов.

Какой чудесный переворот менее чем в два года!

В 1805 году, в августе, Франция, сопредельная другим государствам, из которых каждое обладало подобными и ни в чем не уступавшими ей средствами и могуществом, покоилась в границах своих за Рейном. В 1807 году, в начале июня, не существовало уже между Францией и Россиею ни одного государства, вполне независимого; все они более или менее покорялись одной воле, воле завоевателя, который с высоких берегов Немана пожирал уже ненасытным взором землю русскую, синеющую на горизонте.

2

Восьмого числа поутру я находился в главной квартире в Амт-Баублене. При мне приехал туда с ответом на предложенное Беннингсеном перемирие адъютант маршала Бертье, Луи Перигор (племянник Талейрана). Я знал его за три года прежде в Петербурге, когда он числился при французском посольстве. Но там я видал его мальчишкою и во фраке; а тут увидел его возмужалым и в гусарском платье. Он был недурен собою и казался еще красивее в черном ментике, который весь горел золотом, в красных шароварах и в медвежьей шапке, что французы называют colback.

Перигор принят был весьма вежливо. Это было в порядке вещей, но, к сожалению, с излишнею снисходительностью к его наглости. В зале, где находились сам Беннингсен со множеством других генералов и разного рода чиновников, с непокрытыми, как всегда и везде водится, головами, Перигор вошел нос кверху и в шапке на голове, остался в ней до обеда, не снимал ее за обеденным столом Беннингсена и так был до самого своего отъезда. Все это сделано было под предлогом, что военный устав французской армии запрещает снимать шапки и каски офицерам, когда на них лядунки, означающие время службы. Пусть так; но кто мешал Перигору, по исполнении данного ему поручения, снять лядунку и после лядунки шапку? Он

тем соблюл бы и законы военного устава своей армии и гораздо прежде их принятые обществом и вкоренившиеся уже в него законы общежития, что, впрочем, всегда соблюдалось французами и прежде и после Перигора. Надо полагать, что не в его голове родилась эта дерзкая мысль. Она внушена была ему свыше, как мерило нашей терпимости; а терпимость наша служила, может быть, мерилом числа и рода требований, которые явились при переговорах о мире. Как знать? Легко могло случиться, что со сбитием долой шапки с головы Перигора вылетело бы и несколько статей мирного трактата из головы Наполеона. *Дело было в шапке,* но мы не умели,— я не хочу сказать: мы не смели,— воспользоваться этим случаем. Это умышленное пребывание с покрытой головой, при нашем главнокомандующем и при наших генералах и чиновниках, было почувствовано всеми, но никто не сказал ни полслова о том Перигору, хотя бы посредством косвенной шутки [18].

Боже мой! какое чувство злобы и негодования разлилось по сердцам нашей братии, молодых офицеров, свидетелей этой сцены! Тогда еще между нас не было ни одного космополита; все мы были старинного воспитания и духа, православными россианами, для коих оскорбление чести отечества было то же, что оскорбление собственной чести. Разгоряченное воображение наше представило нам Перигора каким-то татарским послом, приехавшим за данью в стан великих князей российских, каким-то гордым римлянином, другим Попилием, обводившим вокруг нас черту мечом своим, с приказом не переступать чрез нее, пока не покоримся всем его требованиям. Поступок Перигора был первым шагом к оскорблению нашего достоинства, столь часто впоследствии оскорбленного Лористоном, Савари и в особенности Коленкуром проклятой и наглой памяти; но зато, в день победного вступления нашего в Париж, надо было видеть, как все эти лица униженно прибегали к великодушию нашего государя.

Когда вспомнишь об этой тяжкой эпохе, продолжавшейся пять лет сряду, и тут же взглянешь на Россию и увидишь, что она теперь, и представляешь себе все то, что она совершила без помощи, без подпоры доброжелателей и союзников, одна сама собою, соб-

ственным духом, собственными усилиями,— тогда, не краснея, говоришь и об Аустерлице, и о Фридланде, и о нечестивых наполеоновских надзорщиках, о всех этих каплях, упавших в океан событий 1812 года,— тогда гордо подымаешь голову и мыслишь: я русский.

Того же дня, в шестом часу пополудни, отправился в Тильзит генерал-лейтенант князь Лобанов-Ростовский для переговоров о перемирии, которое заключено было 9-го числа и ратификовано Наполеоном 10-го. Важнейшие статьи условия состояли: в определении демаркационной черты обеих противных армий по тальвегу или по средине Немана; в начатии военных действий (в случае несогласия обеих договаривавшихся сторон) не прежде истечения одного месяца, считая ото дня объявления о прекращении перемирия; в заключении перемирия с прусскою армиею особо от российской и в принятии всех возможных мер к поспешнейшему заключению окончательного мира.

Последняя статья была необходима для Наполеона. Невзирая на победу его под Фридландом и на угрозительное пребывание его на Немане, обстоятельства его были в существе своем не так благоприятны, как казались. Впереди Россия с ее неисчислимыми средствами для себя, без средств для неприятеля,— необъятная, бездонная. Позади Пруссия,— Пруссия без армии, но с народом, оскорбленным в своей чести, ожесточенным, доведенным до отчаяния насилиями завоевателей, не подымающим оружия потому только, что не к кому еще пристать, и ожидающим с минуты на минуту восстания Австрии. С своей стороны, Австрия, потрясенная Ульмом и Аустерлицом, но обладающая еще трехсотсорокатысячной армиею, готовою к военным действиям, и коей восьмидесятитысячный авангард уже двинут был к северным границам Богемии, в область, прилегавшую к путям сообщения Наполеона с Франциею. Вот положение, которое беспокоило сего великого полководца в Тильзите и которое понуждало его к требованию поспешнейшего заключения мира.

Император Александр находился тогда недалеко от главной квартиры своей армии.

Одиннадцатого, в три часа пополудни, Наполеон послал обер-гофмаршала своего Дюрока к его вели-

честву с приветствиями и с ратификованным им актом перемирия. Государь весьма милостиво принял Дюрока и ратификовал акт, им привезенный. Кажется, тогда же назначено было то достопамятное свидание, коего шумом воспользовался Наполеон, существенною пользой — Александр, которое произвело, с одной стороны, предложение, с другой — согласие, причинившее первую ошибку Наполеона, увлекшую его от ошибки к ошибке до окончательной его гибели. Я говорю о восстании его на Испанию.

Тринадцатого был этот торжественный и любопытный день. Так как демаркационная черта проходила по тальвегу или средине Немана, то на самой этой средине, возле сожженного моста, построены были два павильона вроде строющихся на реках купален, четвероугольных и обтянутых белым полотном. Один из них был и обширнее и красивее другого. Он определен был для двух императоров; меньший — для их свит. Павильоны эти построены были по приказанию Наполеона командовавшим артиллериею его армии генералом Ларибоассьером. На одном из фронтонов большого видно было с нашей стороны огромное *A;* на другом фронтоне, со стороны Тильзита, такой же величины литера *N,* искусно писанные зеленою краскою. Две больших, но обыкновенных барки с гребцами приготовлены были на обеих сторонах реки для поднятия обоих монархов с их свитами и доставления их к павильонам. Правый берег Немана, занимаемый тогда нами,— луговой и пологой, следственно, уступающий в высоте левому берегу, принадлежавшему тогда французам. Это местное обстоятельство было причиной, что все пространство земли, от самого города до первых возвышений, на коих лежали селения Амт-Баублен, Погеген и другие,— все было для них открыто и видимо, тогда как мы ничего другого не могли видеть, кроме Тильзита, торчавшего на хребте высокого берега и потом сходящего по скату его к Неману. Однако нам ясно представлялось все, что происходило в этой части города. Мы видели толпы жителей, мы могли даже различать мундиры всякого рода войск, там роившихся, и любоваться стоявшей по обеим сторонам главной улицы, от сгиба оной до берега Немана, старой гвардией, которой часть по-

строена была несколькими линиями, обращенными лицом в нашу сторону. Все это войско ожидало появления непобедимого вождя своего, громоносного своего полубога, чтобы приветствовать его в минуту быстрого его проскока к пристани.

С нашей стороны никаких приготовлений не было сделано, кроме барки с гребцами и, в виде конвоя, одного полуэскадрона Кавалергардского полка и одного полуэскадрона, или полного эскадрона, прусской конной гвардии. Войска эти расположены были на берегу реки, правым флангом против сожженного моста, левым — к некогда богатой крестьянской усадьбе, называемой Обер-Мамельшен-Круг и находящейся почти у самого берега, на повороте дороги, проложенной мимо ее из Тильзита в Амт-Баублен. Эта усадьба назначена была местом кратковременного приюта для императора Александра, дабы прибыть ему к барке и потом к павильону не ранее и не позже Наполеона. Долго искали красивее пристанища, но никакого уже строения на берегу не существовало; все разобраны были на бивачные костры,— да и это строение представляло вместо крыши одни стропилы, ибо вся солома, служившая крышей, снята была войсками для кормления лошадей, нуждавшихся не токмо в сене, но и в соломе.

Поутру некоторые из главных генералов наших съехались верхами в Амт-Баублен, где находился уже император. Князь Багратион туда же приехал, и я, пользуясь званием его адъютанта и жаждавший быть свидетелем такого необыкновенного зрелища, следовал за ним, одетый в богатый лейб-гусарский ментик.

Все были в парадной форме по возможности. Государь имел на себе преображенский мундир покроя того времени. На каждой стороне воротника оного вышито было по две маленьких золотых петлицы такого же почти рисунка, какой теперь на воротниках преображенского мундира, но несравненно меньше. Эксельбант висел на правом плече; эполетов тогда не носили. Панталоны были лосиные белые, ботфорты — короткие. Прическа тем только отличалась от прически нынешнего времени, что покрыта была пудрою. Шляпа была высокая; по краям оной выказывался бе-

лый плюмаж, и черный султан веял на гребне ее. Перчатки были белые лосиные, шпага на бедре; шарф вокруг талии и андреевская лента чрез плечо. Так был одет Александр.

Теперь одежда эта показалась бы несколько странною; но тогда она всем нравилась, особенно на тридцатилетнем мужчине такой чудесной красоты, стройности и ловкости, коими одарен был покойный император.

Около одиннадцати часов утра государь, прусский король, великий князь Константин Павлович и несколько генералов, назначенных сопровождать государя на барке, сели в коляски и отправились к берегу Немана, по Тильзитскому тракту. Прочие генералы с адъютантами своими скакали верхами по обеим сторонам колясок; эта процессия, без сомнения, видна была из Тильзита. Так прибыли мы в Обер-Мамельшен-Круг. Коляски остановились, и все вошли в огромную сельскую горницу. Государь сел близ окна, лицом ко входу. Он положил свою шляпу и перчатки на стол, стоявший возле него. Вся горница наполнилась генералами, с ним приехавшими и у коляски его скакавшими. Мы, адъютанты, вошли вслед за нашими генералами и поместились на дне картины, у самого входа.

Я не спускал глаз с государя. Мне казалось, что он прикрывал искусственным спокойствием и даже иногда веселостию духа чувства, его обуревавшие и невольно высказывавшиеся в ангельском его взгляде и на открытом, высоком челе его. И как могло быть иначе? Дело шло о свидании с величайшим полководцем, политиком, законодателем и администратором, пылавшим лучами ослепительного ореола, дивной, почти баснословной жизни, с завоевателем, в течение двух только лет, всей Европы, два раза поразившим нашу армию и стоявшим на границе России. Дело шло о свидании с человеком, обладавшим увлекательнейшим даром искушения и, вместе с тем, одаренным необыкновенной проницательностью в глубину характеров, чувств и мыслей своих противников. Дело шло не об одном свидании с ним, а посредством этого свидания, об очаровании очарователя, об искушении искусителя, о введении в заблуждение светлого и по-

ложительного гениального его разума. Необходимо было отвлечь силы, внимание и деятельность Наполеона на какое-либо предприятие, которое по отдаленности своей могло бы дать время Европе хотя сколько-нибудь освободиться от загромоздивших ее развалин; России — приготовить средства для отпора покушений на независимость ее, рано или поздно государем предвиденных.

Вот что волновало мысли и душу Александра, и вот что им достигнуто было вопреки мнения света, всегда обворожающегося наружностью. Как и что ни говори, но победа в этом случае несомненно и неоспоримо осталась за нашим императором, это можно доказать самыми фактами. Наполеон очнулся от заблуждения своего только в конце 1809 года, когда великодушное упрямство испанцев отвлекло уже бо́льшую часть сил его от Европы и когда мы, будучи его союзниками, так явно уклонялись от содействия ему в войне с Австриею, чтобы сохранить с нею те связи дружества, которые нам немало пригодились в эпоху Отечественной войны.

Не прошло получаса, как кто-то вошел в горницу и сказал: «Едет, ваше величество». Электрическая искра любопытства пробежала по всех нас. Государь хладнокровно и без торопливости встал с своего места, взял шляпу, перчатки свои и вышел с спокойным лицом и обыкновенным шагом вон из горницы. Мы бросились из нее во все отверстия, прибежали на берег и увидели Наполеона, скачущего во всю прыть между двух рядов старой гвардии своей. Гул восторженных приветствий и восклицаний гремел вокруг него и оглушал нас, стоявших на противном берегу. Конвой и свита его состояли, по крайней мере, из четырехсот всадников.

Почти в одно время оба императора вступили каждый на свою барку. Государя сопровождали: великий князь Константин Павлович, Беннингсен, граф (что ныне князь) Ливен, князь Лобанов, Уваров и Будберг, министр иностранных дел. С Наполеоном находились: Мюрат, Бертье, Бессьер, Дюрок и Коленкур. В этот день король прусский не ездил на свидание; он оставался на правом берегу реки вместе с нами.

О, как явственно,— невзирая на мою молодость,— как явственно поняла душа моя глубокое, но немое горе этого истинного отца своего народа, этого добродетельнейшей жизни человека! С какими полными глазами слез, но и с каким восторгом глядел я на монарха, сохранившего все наружное безмятежие, все достоинство сана своего, при гибели, казалось, неотразимой и окончательной!

Но вот обе императорские барки отчалили от берега и поплыли. В эту минуту огромность зрелища восторжествовала над всеми чувствами. Все глаза обратились и устремились на противный берег реки, к барке, несущей этого чудесного человека, этого невиданного и неслыханного полководца со времен Александра Великого и Юлия Кесаря, коих он так много превосходил разнообразностью дарований и славою покорения народов просвещенных и образованных.

Я глядел на него в подзорную трубку, хотя расстояние до противного берега было невелико и хотя оно, сверх того, уменьшалось по мере приближения барки к павильону.

Я видел его, стоявшего впереди государственных сановников, составлявших его свиту,— особо и безмолвно. Время изгладило из памяти моей род мундира, в котором он был одет, и в записках моих, писанных тогда наскоро, этого не находится,— но, сколько могу припомнить, кажется, что мундир был на нем не конно-егерский, обыкновенно им носимый, а старой гвардии. Помню, что на нем была лента Почетного Легиона, чрез плечо по мундиру, а на голове та маленькая шляпа, которой форма так известна всему свету. Меня поразило сходство его стана со всеми печатными изображениями его, тогда везде продаваемыми. Он даже стоял со сложенными руками на груди, как представляют его на картинках. К сожалению, от неимения опоры подзорная трубка колебалась в моих руках, и я не мог рассмотреть подробностей черт его так явственно, как бы мне этого хотелось.

Обе барки причалили к павильону *почти* одновременно, однако барка Наполеона немного прежде, так, что ему достало несколько секунд, чтобы, соскочив с нее, пройти скорыми шагами сквозь павильон и принять императора нашего при самом сходе его с барки;

тогда они рядом вошли в павильон. Сколько помнится, все особы обеих свит не входили в малый павильон, а оставались на плоту большого, знакомясь и разговаривая между собою. Спустя около часа времени они позваны были в большой павильон к императорам. Там-то Наполеон, сказав каждому из них по приветствию, говорил более, чем с другими, с Беннингсеном. Между прочим он сказал ему: «Вы были злы под Эйлау» («Vous étiez méchant à Eilau»), выражая сим изречением упорство и ярость, с какими дрались войска наши в этом сражении, и заключил разговор с ним этими словами: «Я всегда любовался вашим дарованием, еще более вашею осторожностью» («J'ai toujours admiré votre talent, votre prudence encore plus»). Самолюбие почтенного старца-воина приняло эту полуэпиграмму за полный мадригал, ибо во мнении великих полководцев *осторожность* почитается последней военной добродетелью, *предприимчивость* и *отважность* — первыми. Этот анекдот рассказывал мне Беннингсен несколько раз, и каждый раз с новым удовольствием.

Так как Наполеон встретил императора Александра при выходе его из барки, то этикет требовал, чтобы император Александр проводил Наполеона до той барки, на которой он приехал, что и было сделано, и тем заключилось первое свидание.

Французы ликовали!

Музыканты сочиняли и играли марши и танцы разного рода в честь *достопамятного свидания,* в честь *дружбы великих монархов* и прочее. Стихотворцы сочиняли романсы, стансы и песни на те же предметы.

У меня остался в памяти отрывок одной из них — «Le radeau»:

Sur un radeau
J'ai vû deux maitres de la terre;
Sur un radeau
J'ai vû la paix, j'ai vû la guerre
Et le sort de l'Europe entière
Sur un radeau *.

Следующих куплетов не припомню, но вот конец последнего:

* На одном плоту я видел двух повелителей мира; на одном плоту я видел и Мир, и Войну, и судьбу целой Европы — на одном плоту *(фр.)*.

. . . .
Je gagerai que l'Angleterre
Graindrait moins une flotte entière
Que ce radeau* .

Что касается до нас, одно любопытство видеть Наполеона и быть очевидными свидетелями некоторых подробностей свидания двух величайших монархов в мире — несколько развлекли чувства наши; но тем и ограничивалось все наше развлечение. Общество французов нам ни к чему не служило; ни один из нас не искал не только дружбы, даже знакомства ни с одним из них, невзирая на их старание — вследствие тайного приказа Наполеона — привлекать нас всякого рода приветливостями и вежливостью. За приветливости и вежливость мы платили приветливостями и вежливостью,— и все тут. 1812 год стоял уже посреди нас, русских, с своим штыком в крови по дуло, с своим ножом в крови по локоть.

Я не буду описывать свидания, сменившего на другой день первое свидание; это значило бы повторять мною сказанное. Разница между ними состояла в том только, что в последнем участвовал король прусский, что некоторые из особ свиты императора уступили места свои на барке другим особам и что государь и прусский король приглашены были на жительство в Тильзит.

Спеша привести в исполнение последнее обстоятельство, Наполеон в то же утро приказал вывести часть гвардии своей из половины Тильзита и приготовить эту половину города нашей гвардии. Там же приказал он отвести два лучшие дома для обоих монархов.

Этого же дня, в шесть часов пополудни, государь переехал в Тильзит. Наполеон встретил его величество у самого берега при выходе его из лодки. Вся французская пешая и конная гвардия стояла в параде по обеим сторонам главной улицы, от пристани до наполеоновской квартиры, куда государь приехал верхом рядом с Наполеоном. Там был обеденный стол, к которому приглашены были только великий князь Константин Павлович и Мюрат.

---

* Бьюсь об заклад, что весь флот Англии менее страшен, чем этот плот *(фр.)*.

Вечером вступила в половину города, оставленную французской гвардией, часть нашей гвардии, назначенная находиться при высочайшей особе. Она состояла из одного баталиона Преображенского полка, под командою того же полка полковника графа Воронцова (ныне генерал-губернатор Новороссийских губерний), из одного полуэскадрона, Кавалергардского полка, под командою того же полка ротмистра Левашева (ныне генерал-от-кавалерии и граф), из одного полуэскадрона, или взвода, Лейб-гусарского полка, под командой того же полка штабс-ротмистра Рейтерна (умер генерал-лейтенантом), и из нескольких лейб-казаков.

Дом, который занимал государь, находился на большой улице и отстоял от дома, занятого Наполеоном, в саженях восьмидесяти или в ста. Он был двухэтажный, хотя весьма неогромного объема; имел парадное крыльцо, впрочем, довольно тесное, но украшенное четырьмя колоннами. Вход на это крыльцо был прямо с улицы, по трем или четырем ступеням, между двух из средних колонн его фасада. Крыльцо это примыкало к довольно просторным сеням, представляющим три выхода: один в правые, другой в левые комнаты нижнего этажа и третий — прямо, на довольно благовидную и опрятную лестницу, ведущую в верхний этаж, обитаемый самим государем. Войдя на этот этаж, направо находилась общая комната; она была в симметрии с внутренним покоем государя и соединялась с этим покоем проходной комнатой, из коей была дверь на балкон, поддерживаемый колоннами парадного крыльца.

Кроме упомянутой мною части гвардии, находившейся в Тильзите с Воронцовым, Левашевым и Рейтерном, никому не позволено было, ни из наших, ни из прусских войск, приезжать в Тильзит. Разумеется, что из этого числа исключены были адъютанты, по случаю необходимых иногда сношений армии с императорскою главною квартирою, и, разумеется, что я не преминул воспользоваться этой привилегиею. Впрочем, любопытство видеть Наполеона восторжествовало над всеми надзорами. Множество наших генералов, штаб- и обер-офицеров, для избежания препятствий, одевались в партикулярные платья и про-

живали в Тильзите по нескольку дней. После кампании, столько тяжкой и продолжительной, Тильзит казался нам земным раем. Что же касается до высоких гостей этого города, я полагаю, что, невзирая на взаимное их согласие, приветливости, угождения и, если смею прибавить в этому священное слово, *дружбу,* по крайней мере *наружную,*— я полагаю, что род жизни, которую вели они, не соответствовал нраву и привычкам ни того, ни другого.

Дни шли за днями почти однообразно. В полдень или в час пополудни завтрак, вроде обеда. В шесть часов или император Александр приезжал к Наполеону верхом с малочисленными своими конвоем и свитою или Наполеон приезжал к Александру, также верхом, с огромною своею свитою и с огромным своим конвоем. Потом отправлялись они вместе на маневры [19] каких-либо французских войск, или всей гвардии вообще, или гвардии же по частям, или корпуса Даву. Заметить надо, что, невзирая на близкое расположение корпуса Ланна от Тильзита, этот корпус ни разу не был представлен государю, потому что он состоял из одних обломков, оставшихся после понесенного им урона под Гейльсбергом и Фридландом. По окончании маневров Наполеон обыкновенно приглашал государя к себе, где в восемь часов они садились за трапезу. Почти ежедневно, в десять или в одиннадцать часов вечера, Наполеон посещал государя без этикета, по-дружески, пешком, один, без свиты, без охранной стражи, в той исторической шляпе, в том историческом сером сертуке, от коих земля дрожала и которые, казалось, курились еще дымом сражений на самых дружеских беседах. Там он пил чай и оставался с глаза на глаз с государем до часу, а иногда и до двух часов за полночь.

Король прусский переехал в Тильзит 16-го и с того дня часто провождал время с Александром и Наполеоном,— кроме вечерних бесед. Королева прибыла 25-го, за два только дня до заключения мира.

Все, что происходило явно и торжественно, имело очевидными свидетелями не одного меня, и потому можно надеяться, что кто-нибудь дополнит и исправит мною забытое или ошибочно представленное. Достойно сожаления, что никому нельзя описать происшест-

вий, гораздо важнейших: разговоров обоих императоров с глаза на глаз при первой встрече их в павильоне и на упомянутых вечерних беседах. Все это происходило без свидетелей и, следственно, осталось без историка. Вот невозвратная утрата!

Другие происшествия, гораздо менее любопытные, но много еще занимательные и потому драгоценные для истории, имея свидетелей, могли бы быть описанными со всеми подробностями,— это сношения обоих монархов, не совсем тайные, не совсем публичные: разговоры, шутки, пролетные мнения и иногда невольно вырывавшиеся предположения их, словом, разные мысли, которые они сообщали один другому во время прогулок, на маневрах, за обедами,— везде, куда мы, молодые офицеры, не имели права, ни средств проникнуть. К сожалению (по крайней мере, относительно этого предмета), многих из этих свидетелей нет уже на свете, а оставшиеся в живых кончают дни свои с полным равнодушием к исполинским, к эпическим событиям того времени, как беззаботные аисты на развалинах Трои.

Имея некоторое право посещать Тильзит, я просил князя Багратиона о дозволении мне ездить туда как можно чаще. Князь, столько же взыскательный начальник во всем, что касалось до службы, сколько снисходительный и готовый на одолжения подчиненных своих во всяком другом случае, согласился на мою просьбу без затруднения и почти ежедневно посылал меня с разными препоручениями к разным особам, проживавшим тогда в Тильзите. Это обстоятельство представило мне средство видеть почти ежедневно Наполеона, и часто на расстоянии одного или двух шагов от себя, не далее.

Чтобы избежать повторений, я опишу только первую мою встречу с ним; прочие, кроме кой-каких особенностей, не достойных внимания, во всем сходствовали с этой первою встречею.

Не помню, которого числа, знаю только, что скоро после переезда государева в Тильзит, князь Багратион послал меня с запискою к одному из чиновников императорской главной квартиры. Я нарядился в парадный лейб-гусарский мундир и переехал чрез Неман на лодке. Особа, к которой я послан был, находилась в

общей комнате дома, занимаемого государем. Я нашел в этой комнате князя Куракина и князя Лобанова, уполномоченных тогда при переговорах о мире, прусского фельдмаршала Калькрейта, некогда покорителя Майнцкой крепости и свежего еще и знаменитого защитника Данцига, множество министров и других государственных сановников. При мне вошел Коленкур с какою-то особого рода надменною и наглою учтивостью. Он прислан был Наполеоном с приглашением государя на маневры в шесть часов и к его обеденному столу после маневров. Спесивая осанка этого временщика переступала меру терпимости! После, во время посольства своего в Петербурге, он был еще напыщеннее и неприступнее; но, боже мой! надо было видеть его восемь лет после, под Парижем, в утро победного вступления нашего в эту столицу!

Исполня данное мне препоручение, я пошел к однополчанам моим, конвойным лейб-гусарам, где пробыл до шестого часу в нетерпении и в надежде рассмотреть Наполеона лучше, чем я видел его, плывшего на барке.

В шестом часу я уже был на парадном крыльце дома государя.

Не прошло получаса, как услышал я топот многочисленной конницы и увидел толпу всадников, несущихся во всю прыть по главной улице к дому его величества. Это был Наполеон, окруженный своею свитою и конвоем.

Толпа, сопутствовавшая ему, состояла, по крайней мере, из трехсот человек. Впереди скакали конные егеря, за ними все, облитые золотом, в звездах и крестах, маршалы и императорские адъютанты (то же, что у нас генерал-адъютанты). За этою блестящею толпою скакала не менее ее блестящая толпа императорских ординарцев (officiers d'ordonnance, род наших флигель-адъютантов), перемешанных со множеством придворных чиновников, маршальских адъютантов и офицеров генерального штаба, также чрезвычайно богато и разнообразно одетых. Вся эта кавалькада замыкалась несколькими десятками другой части, скакавших впереди конных егерей. В самой средине этой длинной колонны, между маршалами, скакал сам Наполеон.

И вот он у крыльца. Один из двух бессменных пажей его, Мареско, сын славного инженерного генерала, хорошенький мальчик лет семнадцати, одетый в гусарском коричневом доломане с золотом и в треугольной шляпе с полями, соскочил с лошади своей, бросился перед лошадь Наполеона и схватил ее обеими руками под уздцы. Наполеон сошел, или, лучше сказать, спрыгнул с нее, и так быстро вбежал на крыльцо и прошел мимо меня к лестнице, ведущей в государевы покои, что я едва мог заметить его. За ним пошли маршалы и адъютанты его; но все прочие чиновники, свита и конвой его остались верхами на улице. Мюрат, шедший вслед за Наполеоном, встретясь у крыльца с великим князем Константином Павловичем, занялся с ним разговором и не пошел далее. Я долго смотрел на этого Мюрата, на этого, без сомнения, одного из блистательнейшей храбрости военачальников европейских конниц. Его красивость стана и лица, его карусельный род одежды, со всем тщанием и со всем кокетством модной красавицы носимый, бросались в глаза. Известно, что он наряжался богаче и великолепнее на те сражения, в которых он предвидел более опасностей. Но известно также, что, при этом рыцарском духе, дарования его ограничивались яростью в сечах, картинною наружностью и одним навыком механического построения громад кавалерии и действием ими на пункты, указанные Наполеоном.

Мареско вошел на крыльцо и остановился возле меня, препоруча придворному, распудренному и покрытому галунами, конюшему держать Наполеонову лошадь у самых ступеней крыльца. Я помню, что лошадь эта была рыжая, очень небольшого роста, но чистейшей арабской крови и с длинным хвостом. Седло на ней было бархатное малиновое, чепрак такой же, золотом шитый, оголовье из золотого галуна; удила и стремена из литого золота.

Вдруг зашумело на государевой лестнице. Маршалы и адъютанты сходили с нее не останавливаясь и быстро шли к лошадям своим. Мареско предупредил их. Он стремглав бросился с крыльца к Наполеоновой лошади, которую, приняв от конюшего, взял под уздцы, как прежде. Несколько лет пред тем республи-

канец, несколько часов пред тем гордый вельможа,— Коленкур, в богатом обер-шталмейстерском мундире и с двумя звездами на груди, держал одною рукою стремя для наполеоновской ноги, другою — хлыст для руки его, ожидая подхода барина своего к лошади.

Наполеон вышел из сеней на крыльцо рядом с государем и от тесноты крыльца остановился так близко ко мне, что я принужден был попятиться, чтобы как-нибудь случайно не толкнуть его. Он рассказывал что-то государю весело и с жаром. Я ничего не слышал. Я весь был зрение. Я пожирал его глазами, стараясь напечатлеть в памяти моей все черты, все изменения физиономии, все ухватки его. К счастью моему, он, как будто в угождение мне, заговорился более, чем обыкновенно говаривал на ходу к какому-нибудь предмету, и оттого пробыл возле меня, конечно, более двух минут. Я был доволен, но не совсем. Мне непременно хотелось видеть явственнее цвет глаз и взгляд его, и он в эту минуту, как бы нарочно, обратил голову на мою сторону и прямо взглянул мне в глаза. Взгляд его был таков, что во всяком другом случае я, конечно, опустил бы веки; но тут любопытство мое все превозмогло. Взор мой столкнулся с его взором и остановился на нем твердо и непоколебимо. Тогда он снова обратился к государю с ответом на какой-то вопрос его величества, сошел со ступеней крыльца, надел шляпу, сел на лошадь, толкнул ее шпорами и поскакал, как приехал: почти во все поводья. Все это было сделано одно за другим, без антрактов. В ту же секунду все впереди его, все вокруг него, все позади его стоявшие всадники различных чинов и званий разом двинулись с места, также во все поводья, и все великолепное зрелище, как блестящий и громозвучный метеор, мгновенно исчезло из виду.

Я уже сказал, сколько поражен был сходством стана Наполеона со всеми печатными и тогда везде продаваемыми изображениями его. Не могу того же сказать о чертах его лица. Все виденные мною до того времени портреты его не имели ни малейшего с ним сходства. Веря им, я полагал Наполеона с довольно большим и горбатым носом, с черными глазами и волосами, словом, истинным типом италианской физиономии. Ничего этого не было.

Я увидел человека малого роста, ровно двух аршин шести вершков, довольно тучного, хотя ему было тогда только тридцать семь лет от роду и хотя образ жизни, который он вел, не должен бы, казалось, допускать его до этой тучности. Я увидел человека, державшегося прямо, без малейшего напряжения, что, впрочем, есть принадлежность всех почти людей малого роста. Но вот что было его собственностию: это какая-то сановитость благородно-воинственная и, без сомнения, происходившая от привычки господствовать над людьми и чувства морального над ними превосходства. Не менее замечателен он был непринужденностию и свободою в обращении, так и безыскусственною и натуральною ловкостью в самых пылких и быстрых приемах и ухватках своих, на ходу и стоя на месте. Я увидел человека лица чистого, слегка смугловатого, с чертами весьма регулярными. Нос его был небольшой и прямой, на переносице которого едва приметна была весьма легкая горбинка. Волосы на голове его были не черные, но темно-русые, брови же и ресницы ближе к черному, чем к цвету головных волос, и глаза голубые,— что, от его почти черных ресниц, придавало взору его чрезвычайную приятность. Наконец, сколько раз ни случалось мне видеть его, я ни разу не приметил тех нахмуренных бровей, коими одаряли его тогдашние портретчики-памфлетисты.

В этот день и, впрочем, во все последовавшие дни мундир на нем был конно-егерский, темно-зеленый, с красною выпушкою и с отворотами наискось, срезанными так, чтобы виден был белый казимировый камзол с маленькими мундирными пуговицами. Эполеты на нем были золотые полковничьи, подобные нынешним нашим эполетам полных генералов, без звездочек. На мундире его была звезда и крестик Почетного Легиона. Нижнее платье белое казимировое, ботфорты выше колена, из мягкой кожи, весьма глянцевитые и с легкими золотыми шпорами. Шпага на бедре и шляпа в руке, пока не подходил он к лошади.

Из свиты его я заметил маршала Ланна, человека сухощавого и с физиономиею, поражавшею стойкостью, предприимчивостью и решимостью, и маршала Даву, дебелого, довольно высокого роста, лысого, с очками на носу и по наружности своей мало достойного вни-

мания, но уже знаменитого воина по Ауэрштетской победе, собственно ему принадлежащей. О Бертье и о прочих маршалах и генералах я умолчу: время изгладило образы их из моей памяти. Для дополнения описания наружности Наполеона я представляю здесь немногим известное письмо остроумного принца де Линь, видевшего его несколькими только днями после меня. Из этого письма я перевожу на русский язык те только места, которые относятся единственно до Наполеоновой особы.

«Наконец я видел этого делателя и разделывателя королей. Узнав, что после побед своих, свиданий своих и заключения мира, он возвращается в Париж и будет проездом в Дрездене, я из Теплица приехал туда 17/5 июля. Мы с герцогом Веймарским втерлись в толпу народа, стоявшего у дворцовой лестницы.

Император с королем всходили на нее так медленно, от многочисленности и неловкости саксонских низкопоклонников, что я без труда мог осмотреть первого из них с ног до головы. Мне понравилось положение головы его и осанка его, благородно-воинственная. Эта осанка — не великих господ по *дипломам,* обыкновенно пышущая презрением или наглостью, которые принимаются за благородство. Взгляд его был тверд, тих и величествен. Казалось, что он мыслил о многих важных предметах, что давало величавое спокойствие физиономии, и она была в истинном и естественном положении своем. Но физиономия эта не понравилась мне на другой день от принужденной улыбки ложного добродушия, чувствительности и покровительства,— улыбки, которою он, во время посещения своего картинной галереи, угощал народную сволочь и меня вместе с нею.

. . . .

Я не отставал от него и всегда находился на одной высоте с ним, позади толпы, между которой он шел. Я был похож на влюбленного человека, который, чтобы не опустить с глаз милую свою, танцующую экосез, следует за ней вниз и вверх рядов экосеза. Так я не терял ни единого взгляда, ни единого звука голоса его. Звук этот показался мне немного простонароден. Он бросил несколько вопросов и замечаний отрывисто и, что меня удивило, на манер Бурбонов, с коими он также сходствует и некоторым качаньем с боку на бок, на ходу и стоя на месте. Что производит это: престол французский или умышленность?

Все замечательно в человеке, который не говорит и не делает ничего даром и без цели. Так, например, я приметил, что он удостоивал легким вниманием Магдалину Корреджиеву, картины Тициановы, трех граций, прелестный эскиз Рубенса и прочие, и останавливался пред обыкновенными картинами, представляющими сражения или какие-нибудь важные исторические события. Опять спрошу: как это случилось,— само собою или с намерением? Нет сомнения, что это было сделано для зрителей.

. . . .

Наполеон купался, давал аудиенции в ванне, просыпался и вставал в пять часов, навещал в госпиталях раненых под Иеной, осматривал укрепления города и кадетский корпус, где экзаменовал кадетов, держа каждого экзаменующегося за ухо.

Странная эта привычка или ухватка! Он то же делал с князем Иоанном Лихтенштейном при мирных переговорах в Брюне. Случилось, что, не соглашаясь на некоторые статьи, на которые прежде был согласен, он вздумал, по-прежнему, взять за ухо уполномоченного генерала. Лихтенштейн, отстраняясь, сказал ему: *«Если герой нашего века не то говорит во вторник, что говорил он в понедельник,— он вероломствует и мрачит свою славу: военному человеку не пристойно иметь с ним дело: я пришлю к нему министра»*. Это победило Наполеона.

. . . .

Вот другое обстоятельство, которое отвлекло меня от представления к нему и в Вене, и в Дрездене; он обошелся бы со мною или очень ласково, или очень грубо. В первом случае я потерял бы уважение к себе и между своими; во втором — он смутил бы меня упреками за мои шутки на его счет (ибо ему все известно). Что бы я отвечал ему, если бы он сказал мне: *«То вы, сударь, называете меня Сатаною 1-м, то землетрясением, то чертом-человеком, то Магометом Калиостро»*.

Он, может быть, не знает всего удивления, всего восторга, питаемого мною к нему, чудеснейшему существу, которому подобного не было еще в этом мире!»

. . . .

Наконец 27 июня заключен был мир. Войска наши выступили в Россию; князь Багратион отправился в Петербург, и я туда же. Отдых наш был непродолжителен: в январе месяце мы уже были с войсками, воюющими в Финляндии. Это напоминает мне слова незабвенного друга моего и боевого собрата Кульнева: «Матушка Россия,— говаривал он тогда,— тем хороша, что все-таки в каком-нибудь углу ее да дерутся». В то время был еще другой угол, где дрались,— это Турция, куда князь, следственно, и я за ним, явились по прекращении военных действий в Финляндии.

Блаженная была эпоха для храбрости! Широкое было поприще для надежд честолюбия!

ДНЕВНИК ПАРТИЗАНСКИХ ДЕЙСТВИЙ 1812 ГОДА

С 1807 по 1812 год я был адъютантом покойного князя Петра Ивановича Багратиона. В Пруссии, в Финляндии, в Турции, везде близ стремя сего блистательного полководца. Когда противные обстоятельства отрывали его от действовавших армий, тогда он, по желанию моему, оставлял меня при них; так я прошел курс аванпостной службы при Кульневе в 1808 году в северной Финляндии и при нем же в Турции в 1810 году, во время предводительства графа Каменского.

В 1812 году поздно было учиться. Туча бедствий налегла на отечество, и каждый сын его обязан был платить ему наличными сведениями и способностями. Я просил у князя позволение стать в рядах Ахтырского гусарского полка. Он похвалил мое рвение и писал о том к военному министру. Восьмого апреля я был переименован в подполковники с назначением в Ахтырский гусарский полк, расположенный тогда близ Луцка. Восемнадцатого мая мы выступили в поход к Бресту-Литовскому.

Около 17 июня армия наша находилась в окрестностях Волковиска; полк наш находился в Заблудове, близ Белостока.

Семнадцатого июня началось отступление. От сего числа до назначения меня партизаном я находился при полку; командовал первым баталионом оного, был в сражениях под Миром, Романовым, Дашковкой и во всех аванпостных сшибках, до самой Гжати.

Видя себя полезным отечеству не более рядового гусара, я решился просить себе отдельную команду, несмотря на слова, произносимые и превозносимые

посредственностию: *никуда не проситься и ни от чего не отказываться.* Напротив, я всегда уверен был, что в ремесле нашем тот только выполняет долг свой, который переступает за черту свою, не равняется духом, как плечами, в шеренге с товарищами, на все напрашивается и ни от чего не отказывается.

При сих мыслях я послал к князю Багратиону письмо следующего содержания:

«Ваше сиятельство! Вам известно, что я, оставя место адъютанта вашего, столь лестное для моего самолюбия, и вступя в гусарский полк, имел предметом партизанскую службу и по силам лет моих, и по опытности, и, если смею сказать, по отваге моей. Обстоятельства ведут меня по сие время в рядах моих товарищей, где я своей воли не имею и, следовательно, не могу ни предпринять, ни исполнить ничего замечательного. Князь! Вы мой единственный благодетель; позвольте мне предстать к вам для объяснений моих намерений; если они будут вам угодны, употребите меня по желанию моему и будьте надежны, что тот, который носил звание *адьютанта Багратиона пять лет сряду,* тот поддержит честь сию со всею ревностию, какой бедственное положение любезного нашего отечества требует. *Денис Давыдов».*

Двадцать первого августа князь позвал меня к себе, представ к нему, я объяснил ему выгоды партизанской войны при обстоятельствах того времени. «Неприятель идет одним путем,— говорил я ему,— путь сей протяжением своим вышел из меры; транспорты жизненного и боевого продовольствия неприятеля покрывают пространство от Гжати до Смоленска и далее. Между тем обширность части России, лежащей на юге Московского пути, способствует изворотам не только партий, но и целой нашей армии. Что делают толпы казаков при авангарде? Оставя достаточное число их для содержания аванпостов, надо разделить остальное на партии и пустить их в средину каравана, следующего за Наполеоном. Пойдут ли на них сильные отряды? — Им есть довольно простора, чтобы избежать поражения. Оставят ли их в покое? — Они истребят источник силы и жизни неприятельской армии. Откуда возьмет она заряды и пропитание? — Наша земля не так изобильна, чтобы придорожная часть

могла пропитать двести тысяч войска; оружейные и пороховые заводы — не на Смоленской дороге. К тому же обратное появление наших посреди рассеянных от войны поселян ободрит их и обратит войсковую войну в народную. Князь! откровенно вам скажу: душа болит от вседневных параллельных позиций! Пора видеть, что они не закрывают недра России. Кому не известно, что лучший способ защищать предмет неприятельского стремления состоит не в параллельном, а в перпендикулярном или, по крайней мере, в косвенном положении армии относительно к сему предмету? И потому, если не прекратится избранный Барклаем и продолжаемый светлейшим род отступления,— Москва будет взята, мир в ней подписан, и мы пойдем в Индию сражаться за французов!.. Я теперь обращаюсь к себе собственно: если должно непременно погибнуть, то лучше я лягу здесь! В Индии я пропаду со ста тысячами моих соотечественников без имени и за пользу, чуждую России, а здесь я умру под знаменами независимости, около которых столпятся поселяне, ропщущие на насилие и безбожие врагов наших... А кто знает! Может быть, и армия, определенная действовать в Индии!..»

Князь прервал нескромный полет моего воображения; он пожал мне руку и сказал: «Нынче же пойду к светлейшему и изложу ему твои мысли».

Светлейший в то время отдыхал. До пробуждения его вошли к князю Василий и Дмитрий Сергеевичи Ланские, которым он читал письмо, полученное им от графа Растопчина, в котором сказано было: «Я полагаю, что вы будете драться, прежде нежели отдадите столицу; если вы будете побиты и подойдете к Москве, я выйду из нее к вам на подпору со ста тысячами вооруженных жителей; если и тогда неудача, то *злодеям вместо Москвы один ее пепел достанется»*. Это намерение меня восхитило. Я видел в исполнении оного сигнал общего ополчения.

Весь тот день светлейший был занят, и потому князь отложил говорить ему обо мне до наступающего дня. Между тем мы подошли к Бородину. Эти поля, это село мне были более, нежели другим, знакомы! Там я провел и беспечные лета детства моего и ощутил первые порывы сердца к любви и к славе. Но в

каком виде нашел я приют моей юности! Дом отеческий одевался дымом биваков; ряды штыков сверкали среди жатвы, покрывавшей поля, и громады войск толпились на родимых холмах и долинах, Там, на пригорке, где некогда я резвился и мечтал, где я с алчностию читывал известия о завоевании Италии Суворовым, о перекатах грома русского оружия на границах Франции,— там закладывали редут Раевского [20]: красивый лесок перед пригорком обращался в засеку и кипел егерями, как некогда стаею гончих собак, с которыми я носился по мхам и болотам. Все переменилось! Завернутый в бурку и с трубкою в зубах, я лежал под кустом леса за Семеновским, не имея угла не только в собственном доме, но даже и в овинах, занятых начальниками. Глядел, как шумные толпы солдат разбирали избы и заборы Семеновского, Бородина и Горок для строения биваков и раскладывания костров... Слезы воспоминания сверкнули в глазах моих, но скоро осушило их чувство счастия видеть себя и обоих братьев своих вкладчиками крови и имущества в сию священную лотерею!

Так как 2-я армия составляла левый фланг линии, то князь остановился в Семеновском. Вечером он прислал за мною адъютанта своего Василья Давыдова и сказал мне: «Светлейший согласился послать для пробы одну партию в тыл французской армии, но, полагая успех предприятия сомнительным, назначает только пятьдесят гусар и сто пятьдесят казаков; он хочет, чтобы ты сам взялся за это дело». Я отвечал ему: «Я бы стыдился, князь, предложить опасное предприятие и уступить исполнение этого предприятия другому. Вы сами знаете, что я готов на все; надо пользу— вот главное, а для пользы — людей мало!» — «Он более не дает!» — «Если так, то я иду и с этим числом; авось либо открою путь большим отрядам!» — «Я этого от тебя и ожидал,— сказал князь,— впрочем, между нами, чего светлейший так опасается? Стоит ли торговаться несколькими сотнями людей, когда дело идет о том, что, в случае удачи, он может разорить у неприятеля и заведения, и подвозы, столь для него необходимые, а в случае неудачи лишиться горсти людей? Как же быть! Война ведь не для того, чтобы целоваться».— «Верьте, князь,— отвечал я ему,— руча-

юсь честью, что партия будет цела; для сего нужны только при отважности в залетах — решительность в крутых случаях и неусыпность на привалах и ночлегах; за это я берусь... только, повторяю, людей мало; дайте мне тысячу казаков и вы увидите, что будет».— «Я бы тебе дал с первого разу три тысячи, ибо не люблю ощупью дела делать, но об этом нечего и говорить; фельдмаршал сам назначил силу партии; надо повиноваться».

Тогда князь сел писать и написал мне собственною рукою инструкцию, также письма к генералам Васильчикову и Карпову: одному, чтобы назначил мне лучших гусаров, а другому — лучших казаков; спросил меня: имею ли карту Смоленской губернии? У меня ее не было. Он дал мне свою собственную и, благословя меня, сказал: «Ну, с богом! Я на тебя надеюсь!» Слова эти мне очень памятны!

Двадцать третьего рано я отнес письмо к генерал-адъютанту Васильчикову. У него много было генералов. Не знаю, как узнали они о моем назначении: чрез окружавших ли светлейшего, слышавших разговор его обо мне с князем, или чрез окружавших князя, стоявших пред овином, в котором он мне давал наставления? Как бы то ни было, но господа генералы встретили меня шуткою: «Кланяйся Павлу Тучкову [21],— говорили они,— и скажи ему, чтобы он уговорил тебя не ходить в другой раз партизанить». Однако если некоторым из них гибель моя представлялась в любезном виде, то некоторые соболезновали о моей участи, а вообще все понимали, что жить посреди неприятельских войск и заведений с горстью казаков — не легкое дело, особенно человеку, который почитался ими и *остряком* и *поэтом,* следственно, ни к чему не способным. Прошу читателя привести на память случай сей, когда я сойдусь с армиею под Смоленском.

Вышедши от Васильчикова, я отправился за гусарами к Колоцкому монастырю, куда тот день отступал арьергард наш под командою генерала Коновницына. Проехав несколько верст за монастырь мне открылась долина битвы. Неприятель ломил всеми силами, гул орудий был неразрывен, дым их мешался с дымом пожаров, и *вся окрестность была, как в тумане.*

Я с арьергардом ночевал у монастыря, полагая назавтра отобрать назначенных мне гусаров и ехать за казаками к Карпову, находившемуся на оконечности левого фланга армии.

Но 24-го, с рассветом, началось дело с сильнейшею яростью. Как оставить мир, пока стучат стаканами? Я остался. Неприятель усиливался всеминутно. Грозные тучи кавалерии его окружали фланги нашего арьергарда, в одно время как необозримое число орудий, размещенных пред густыми пехотными громадами, быстро подвигались прямо на него, стреляя беглым огнем беспрерывно. Бой ужасный! Нас обдавало градом пуль и картечей, ядра рыли колонны наши по всем направлениям... Кости трещали! Коновницын[22] отослал назад пехоту с тяжелою артиллерией и требовал умножения кавалерии.

Уваров прибыл с своею и великодушно поступил под его начальство. Я сам слышал, как он сказал ему: «Петр Петрович, не то время, чтобы считаться старшинством; вам поручен арьергард, я прислан к вам на помощь,— приказывайте!» Такие черты забываются, зато долго помнят каждую погрешность против правил французского языка истинного россиянина! Но к славе нашего отечества, это не один пример: Багратион, после блистательного отступления своего без ропота поступивший под начальство Барклая в Смоленске; Барклай, поступивший под начальство Витгенштейна в Бауцене; Витгенштейн, поступивший снова под начальство Барклая во время и после перемирия; и прежде сего, в Италии, под Лекко,— Милорадович, явившийся под команду младшего себя по службе Багратиона,— представляют возвышенность в унижении, достойную геройских времен Рима и Греции!

Я прерываю описание жестоких битв армии. Не моя цель говорить о сражениях, представленных уже во многих сочинениях, известных свету; я предпринял описание поисков моей партии, к ним и обращаюсь.

Получа пятьдесят гусар и вместо ста пятидесяти — восемьдесят казаков и взяв с собою Ахтырского гусарского полка штабс-ротмистра Бедрягу 3-го, поручиков Бекетова и Макарова и с казацкой командой — хорунжих Талаева и Григорья Астахова, я вы-

ступил чрез село Сивково, Борис-Городок — в село Егорьевское, а оттуда на Медынь — Шанский завод — Азарово — в село Скугорево. Село Скугорево расположено на высоте, господствующей над всеми окрестностями, так что в ясный день можно обозревать с нее на семь или восемь верст пространства. Высота сия прилегает к лесу, простирающемуся почти до Медыни. Посредством сего леса партия моя могла скрывать свои движения и в случае поражения иметь в нем убежище. В Скугореве я избрал первый *притон.*

Между тем неприятельская армия стремилась к столице. Несчетное число обозов, парков, конвоев и шаек мародеров следовало за нею по обеим сторонам дороги, на пространстве тридцати или сорока верст. Вся эта сволочь, пользуясь безначалием, преступала все меры насилия и неистовства. Пожар разливался по сей широкой черте опустошения, и целые волости с остатком своего имущества бежали от сей всепожирающей лавы, куда — и сами не ведали. Но чтобы яснее видеть положение моей партии, надобно взять выше: путь наш становился опаснее по мере удаления нашего от армии. Даже места, неприкосновенные неприятелем, не мало представляли нам препятствий. Общее и добровольное ополчение поселян преграждало путь нам. В каждом селении ворота были заперты; при них стояли стар и млад с вилами, кольями, топорами и некоторые из них с огнестрельным оружием. К каждому селению один из нас принужден был подъезжать и говорить жителям, что мы русские, что мы пришли на помощь к ним и на защиту православныя церкви. Часто ответом нам был выстрел или пущенный с размаха топор, от ударов коих судьба спасла нас[23]. Мы могли бы обходить селения; но я хотел распространить слух, что войска возвращаются, утвердить поселян в намерении защищаться и склонить их к немедленному извещению нас о приближении к ним неприятеля, почему с каждым селением продолжались переговоры до вступления в улицу. Там сцена переменялась; едва сомнение уступало место уверенности, что мы русские, как хлеб, пиво, пироги подносимы были солдатам.

Сколько раз я спрашивал жителей *по заключении между нами мира:* «Отчего вы полагали нас францу-

зами?» Каждый раз отвечали они мне: «Да вишь, родимый (показывая на гусарский мой ментик), это, бают, на их одёжу схожо».— «Да разве я не русским языком говорю?» — «Да ведь у них всякого сбора люди!» Тогда я на опыте узнал, что в Народной войне дóлжно не только говорить языком черни, но приноравливаться к ней и в обычаях и в одежде[24]. Я надел мужичий кафтан, стал отпускать бороду, вместо ордена св. Анны повесил образ св. Николая[25] и заговорил с ними языком народным.

Но сколь опасности сии были ничтожны перед ожидавшими нас на пространстве, занимаемом неприятельскими отрядами и транспортами! Малолюдность партии в сравнении с каждым прикрытием транспорта и даже с каждою шайкой мародеров; при первом слухе о прибытии нашем в окрестности Вязьмы, сильные отряды нас ищущие; жители, обезоруженные и трепещущие французов, следственно, близкие нескромности,— все угрожало нам гибелью.

Дабы избежать ее, день мы провождали на высотах близ Скугорева, скрытно и зорко; перед вечером, в малом расстоянии от села, раскладывали огни; перейдя гораздо далее, в месте, противном тому, где определяли ночлег, раскладывали другие огни и, наконец, войдя в лес, провождали ночь без огня. Если случалось в сем последнем месте встретить прохожего, то брали его и содержали под надзором, пока выступали в поход. Когда же он успевал скрыться, тогда снова переменяли место. Смотря по расстоянию до предмета, на который намеревались учинить нападение, мы за час, два или три до рассвета, подымались на поиск и, сорвав в транспорте неприятеля, что по силе, обращались на другой; нанеся еще удар, возвращались окружными дорогами к спасительному нашему лесу, коим мало-помалу снова пробирались к Скугореву.

Так мы сражались и кочевали от 29 августа до 8 сентября. Так, полагаю я, начинал Ермак, одаренный высшим против меня дарованием, но сражавшийся для тирана, а не за отечество. Не забуду тебя никогда, время тяжкое! И прежде, и после я был в жестоких битвах, провождал ночи стоя, приклонясь к седлу лошади и рука на поводьях... Но не десять дней,

не десять ночей сряду, и дело шло о жизни, а не о чести.

Узнав, что в село Токарево пришла шайка мародеров, мы 2 сентября на рассвете [26] напали на нее и захватили в плен девяносто человек, прикрывавших обоз с ограбленными у жителей пожитками. Едва казаки и крестьяне занялись разделением между собой добычи, как выставленные за селением скрытные пикеты наши дали нам знать о приближении к Токареву другой шайки мародеров. Это селение лежит на скате возвышенности у берега речки Вори, почему неприятель нисколько не мог нас приметить и шел прямо без малейшей осторожности. Мы сели на коней, скрылись позади изб и за несколько саженей от селения атаковали его со всех сторон с криком и стрельбою, ворвались в средину обоза и еще захватили семьдесят человек в плен.

Тогда я созвал *мир* и объявил ему о *мнимом* прибытии большого числа наших войск на помощь уездов Юхновского и Вяземского; роздал крестьянам взятые у неприятеля ружья и патроны, уговорил их защищать свою собственность и дал наставление, как поступать с шайками мародеров, числом их превышающих. «Примите их,— говорил я им,— дружелюбно, поднесите с поклонами (ибо, не зная русского языка, поклоны они понимают лучше слов) все, что у вас есть съестного, а особенно питейного, уложите спать пьяными и, когда приметите, что они точно заснули, бросьтесь все на оружие их, обыкновенно кучею в углу избы или на улице поставленное, и совершите то, что бог повелел совершать с врагами христовой церкви и вашей родины. Истребив их, закопайте тела в хлеву, в лесу или в каком-нибудь непроходимом месте. Во всяком случае, берегитесь, чтобы место, где тела зарыты, не было приметно от свежей, недавно вскопанной земли; для того набросайте на него кучу камней, бревен, золы или другого чего. Всю добычу военную, как мундиры, каски, ремни и прочее — все жгите или зарывайте в таких же местах, как и тела французов. Эта осторожность оттого нужна, что другая шайка басурманов, верно, будет рыться в свежей земле, думая найти в ней или деньги, или ваше имущество; но, отрывши вместо

того тела своих товарищей и вещи, им принадлежавшие, вас всех побьет и село сожжет. А ты, брат староста, имей надзор над всем тем, о чем я приказываю; да прикажи, чтобы на дворе у тебя всегда были готовы три или четыре парня, которые, когда завидят очень многое число французов, садились бы на лошадей и скакали бы врознь искать меня,— я приду к вам на помощь. Бог велит православным христианам жить мирно между собою и не выдавать врагам друг друга, особенно чадам антихриста, которые не щадят и храмы божии! Все, что я вам сказал, перескажите соседям вашим».

Я не смел дать этого наставления письменно, боясь, чтобы оно не попалось в руки неприятеля и не уведомило бы его о способах, данных мною жителям для истребления мародеров.

После сего, перевязав пленных, я определил к ним одного урядника и девять казаков, к которым присоединил еще двадцать мужиков. Весь этот транспорт отправлен был в Юхнов для сдачи городскому начальству под расписку [27]. Казакам сим я приказал дождаться партии в Юхнове, уверясь, что по ее малолюдству мне нельзя будет оставаться долго в местах, неприятелем наполненных. Однако мне хотелось испытать еще судьбу с горстью моих товарищей и побороться с невозможностью; а так как обязанность моя не состояла в поражении бродяг, но в истреблении транспортов жизненного и военного продовольствия французской армии, то я, по распространении наставления, данного мною токаревским крестьянам, по всем селениям, чрез которые проходила партия моя, взял направление к Цареву-Займищу, лежащему на столбовой Смоленской дороге.

Был вечер ясный и холодный. Сильный дождь, шедший накануне, прибил пыль по тропинке, коею мы следовали связно и быстро. В шести верстах от села попался нам разъезд неприятельский, который, не видя нас, шедших лощиною вдоль опушки леса, беззаботно продолжал путь свой. Если бы я не имел нужды в верном известии о Цареве-Займище, занимаемо ли оно войском и какой оно силы, я бы пропустил разъезд этот без нападения, опасаясь, в случае упущения одно-

го из разъездных, встревожить отряд или прикрытие транспорта, в селе находившегося. Но мне нужен был *язык,* и потому я нарядил урядника Крючкова с десятью доброконными казаками наперехват вдоль по лощине, а других десять — прямо на разъезд. Разъезд, видя себя окруженным, остановился и сдался в плен без боя. Он состоял из десяти рядовых при одном унтер-офицере. Мы узнали, что в Цареве-Займище дневует транспорт с снарядами и с прикрытием двухсот пятидесяти человек конницы.

Дабы пасть как снег на голову, мы свернули с дороги и пошли полями, скрываясь опушками лесов и по лощинам; но за три версты от села, при выходе на чистое место, встретились с неприятельскими фуражирами, числом человек в сорок. Увидя нас, они быстро обратились во всю прыть к своему отряду. Тактические построения делать было *некогда,* да и *некем.* Оставя при пленных тридцать гусаров, которые в случае нужды могли служить мне резервом, я с остальными двадцатью гусарами и семьюдесятью казаками помчался в погоню и почти вместе с уходившими от нас въехал в Царево-Займище, где застал всех врасплох. У страха глаза велики, а страх неразлучен с беспорядком. Все рассыпалось при нашем появлении: иных мы захватили в плен, не только без оружия, но даже без одежды, иных вытащили из сараев; одна только толпа в тридцать человек вздумала было защищаться, но была рассеяна и положена на месте. Сей наезд доставил нам сто девятнадцать рядовых, двух офицеров, десять провиантских фур и одну фуру с патронами. Остаток прикрытия спасся бегством.

Добычу нашу мы окружили и повели поспешно чрез село Климово и Кожино в Скугорево, куда прибыли в полдень 3-го числа.

Партия моя, быв тридцать часов беспрерывно в походе и действии, требовала отдохновения, почему она до вечера 4-го числа оставалась на месте. Для облегчения лошадей я прибегнул к способу, замеченному мною на аванпостах генерала Юрковского еще в 1807 году. Исключив четыре казака для двух пикетов и двадцать — для резерва (который хотя должен был находиться при партии, но всегда был в готовности дей-

ствовать при первом выстреле пикетов), остальных девяносто шесть человек я разделил надвое и приказал в обеих частях расседлывать по две лошади на один час для промытия и присыпки ссадин и также для облегчения. Чрез час сии лошади вновь седлались, а новые расседлывались; таким образом в двадцать четыре часа освежалось девяносто шесть лошадей. В тот же день, по просьбе резерва, я позволил и оному расседлывать по одной лошади на один час.

Пятого числа мы пошли на село Андреевское, но на пути ничего не взяли, кроме мародеров, числом тридцать человек.

Шестого мы обратились к Федоровскому (что на столбовой Смоленской дороге), рассеевая везде наставление, данное мною токаревским крестьянам. На пути встретили мы бежавшего из транспорта наших пленных Московского пехотного полка рядового, который нам объявил, что транспорт их из двухсот рядовых солдат остановился ночевать в Федоровском и что прикрытие оного состоит из пятидесяти человек. Мы удвоили шаг и едва показались близ села, как уже без помощи нашей все в транспорте сем приняло иной вид: пленные поступали в прикрытие, а прикрытие — в пленных.

Вскоре после сего я извещен был о пребывании в Юхнове дворянского предводителя, судов и земского начальства, также и о бродящих без общей цели двух слабых казачьих полках в Юхновском уезде. Известие сие немедленно обратило меня к Юхнову, куда чрез Судейки, Луково и Павловское я прибыл 8-го числа.

Пришедши туда, я бросился к двум привлекавшим меня предметам: к образованию поголовного ополчения и к присоединению к партии моей казацких полков, о коих я упомянул выше.

До первого я достиг беспрепятственно: дворянский предводитель Семен Яковлевич Храповицкий подал мне руку помощи со всею ревностию истинного сына отечества. Сей почтенный старец не только оказал твердость духа, оставшись для примера дворянам с семейством своим на аванпостах Калужской губернии, но ознаменовал особенную силу воли и неусыпную строгость в надзоре за принятыми им мерами к подъя-

тию оружия жителями Юхновского уезда. Отставной капитан Бельский назначен был ими начальствовать. К нему присоединились двадцать два помещика: сто двадцать ружей, партиею моей отбитые, и одна большая фура с патронами поступили для употребления первым ополчившимся, которым сборное место я показал на реке Угре, в селе Знаменском.

Второе требовало со стороны моей некоторой хитрости: означенные казацкие полки были в ведении начальника калужского ополчения, отставного генерал-лейтенанта Шепелева. Личное добродушие и благородство его мне были давно известны, но я знал, что такое начальник ополчения, которому попадается в руки военная команда! Сколь таковое начальство льстит его самолюбию! На сем чувстве я основал предприятие мое. Уверен будучи, что требование сих полков в состав моей партии, если она останется от него независимою, будет без успеха, я сам, будто бы, добровольно поступил под его начальство. Еще из села Павловского я отправил к нему с рапортом поручика Бекетова. В рапорте я говорил, что, «избрав для поисков моих часть, смежную с губерниею, находящеюся под ведением его превосходительства относительно военных действий, я за честь поставляю служить под его командою и за долг — доносить о всем происходящем». Из Юхнова я послал другого курьера с описанием слабых успехов моих и с испрошением ходатайства его об отличившихся (истинные рапорты мои посылаемы были прямо к дежурному генералу всех российских армий Коновницыну). Добрый мой Шепелев растаял от восхищения. Он уже возмечтал, что я действую по его плану, что он поражает неприятеля! 9-го числа я послал к нему нового курьера с *красноречивейшим* описанием пользы *единства* в *действии* и, как следует, заключил рапорт покорнейшею просьбою об усилении меня казацкими полками, находящимися, подобно партии моей, под его командою.

Во время продолжения дипломатической переписки моей я занимался рассылкою чрез земское начальство предписаний о поголовном ополчении.

Между тем из двухсот отбитых нами пленных я выбрал шестьдесят не рослых, а доброхотных солдат; за

неимением русских мундиров одел их во французские мундиры и вооружил французскими ружьями, оставя им для приметы русские фуражки вместо киверов.

Еще мы были в неведении о судьбе столицы, как 9-го числа прибыл в Юхнов Волынского уланского полка маиор Храповицкий[28], сын юхновского дворянского предводителя, и объявил нам о занятии Москвы французами.

Я ожидал события сего и доказывал неминуемость оного, если продолжится отступление по Смоленской дороге, но при всем том весть сия не могла не потрясти душу, и, сказать правду, я и товарищи мои при первых словах очень позадумались! Однако, так как все мы были *неунылого десятка,* то и начали расспрашивать Храповицкого о подробностях. Он уверил нас, что оставил армию в Красной Пахре; что она продолжает движение свое для заслонения Калужской дороги; что Москва предана огню[29] и что никто в армии не помышляет о мире... Я затрепетал от радости и тут же всем находившимся тогда в городе помещикам и жителям предсказал спасение отечества, если Наполеон оставит в покое армию нашу между Москвою и Калугою до тех пор, пока она усилится следуемыми к ней резервными войсками и с Дону казаками. Кто мало-мальски сведущ был в высшей военной науке, тому последствие превосходного движения светлейшего в глаза бросалось. Я счел за лишнее учить стратегии юхновских помещиков, как некогда Колумб не заблагорассудил учить астрономии американских дикарей, предсказывая им лунное затмение. Вечером я получил письмо калужского гражданского губернатора от 8 сентября следующего содержания:

«Все свершилось! Москва не наша: она горит!.. Я от 6-го числа из Подольска. От светлейшего имею уверение, что он, прикрывая Калужскую дорогу, будет действовать на Смоленскую. Ты не шути, любезный Денис Васильевич! Твоя обязанность велика! Прикрывай Юхнов и тем спасешь средину нашей губернии; но не залетай далеко, а держись Медыни и Масальска; мне бы хотелось, чтобы ты действовал таким образом, чтобы не навлечь на себя неприятеля».

Я принял уверенность на меня с самолюбием смертного, но робкий совет не навлекать *на себя* (то

есть на Калугу и на калужского губернатора) неприятеля — оставил без внимания.

Десятого вечером я получил от начальника калужского ополчения предписание принять в мою команду требуемые мною казачьи полки и приставшего к партии моей маиора Храповицкого.

Одиннадцатого мы отслужили молебен в присутствии гражданских чиновников и народа и выступили в поход с благословениями всех жителей. С нами пошли: отставной мичман Николай Храповицкий, титулярный советник Татаринов, шестидесятилетний старец, и землемер Макаревич; прочие помещики остались дома, довольствуясь ношением охотничьих кафтанов, препоясанные саблями и с пистолетами за поясом. К вечеру мы прибыли в Знаменское и соединились с полками 1-м Бугским и Тептярским. Первый состоял из шестидесяти человек, а второй из ста десяти.

Прежде нежели описывать действия войск, чрез неожиданное умножение поступивших из, так сказать, *разбойнической шайки в наездничью партию,* не лишнее будет познакомить читателя с частными начальниками оной.

Волынского уланского полка маиор Степан Храповицкий — росту менее среднего, тела тучного, лица смуглого, во́лоса черного, борода клином; ума делового и веселого, характера вспыльчивого, человек возвышенных чувств, строжайших правил честности и исполненный дарований как для поля сражения, так и для кабинета; образованности европейской.

Состоявший по кавалерии ротмистр Чеченский — черкес, вывезенный из Чечни младенцем и возмужавший в России. Росту малого, сухощавый, горбоносый, цвету лица бронзового, волосу черного, как *крыло ворона,* взора орлиного. Характер ярый, запальчивый и неукротимый; явный друг или враг; предприимчивости беспредельной, сметливости и решимости мгновенных.

Ахтырского гусарского полка штабс-ротмистр Николай Бедряга — малого росту, красивой наружности, блистательной храбрости, верный товарищ на биваках; в битвах — впереди всех, *горит, как свечка.*

Того же полка поручик Дмитрий Бекетов — росту более нежели среднего, тела тучного, круглолицый,

златокудрый. Сердцем — *малый,* как говорится, *рубаха,* весельчак, с умом объемистым, тонким и образованным; офицер весьма храбрый и надежный даже и для отдельных поручений.

Того же полка поручик Макаров — росту высокого, широкоплечий и силы необыкновенной, без образования, но с умом точным. Агнец между своими, тигр на поле битвы.

Первого Бугского полка сотник Ситников, шестидесятилетний старец, и Мотылев, молодой офицер. Оба отличной храбрости и неутомимой деятельности офицеры.

Хорунжий Талаев и Григорий Астахов — офицеры обыкновенные.

Иловайского 10-го полка урядник Крючков — молодой парень, ездок отличный и неутомимый, храбрости чистой, сметливости черкесской.

Шкляров — старший вахтмистр отряда гусаров моей партии, храбрый исполнитель приказаний без размышления.

Иванов — вахтмистр Ахтырского гусарского полка. Головорез, за буянство и разврат несколько раз разжалованный мною в рядовые и за храбрость несколько раз пожалованный в вахтмистры.

Скрыпка и Колядка — надежные вахтмистры.

Гусары все были отличного военного поведения. Наименую тех из них, коих не забыл имена: Федоров, Зворич, Мацыпура, Жирко, Форост, Гробовой, Мацырюк, Пучков, Егоров, Зола, Шкредов, Крут, Бондарев, Куценко, Приман, Осмак, Лишар.

Урядники Донского войска, кои остались у меня в памяти, были: Тузов, Логинов, Лестов; казаки: Афонин, Антифеев, Волков, Володька. Сожалею, что забыл остальных, ибо бо́льшая часть из них достойны быть известными.

На 12 <сентября> я предпринял поиск в самой Вязьме. Сердце радовалось при обзоре *вытягивавшихся полков моих.* С ста тридцатью всадниками я взял триста семьдесят человек и двух офицеров, отбил своих двести и получил в добычу одну фуру с патронами и десять провиантских фур... Тут же я командовал тремястами всадников; какая разница! какая надежда! К тому же ревность обывателей, деятельность

дворянского предводителя в разглашении о поголовном ополчении, в продовольствии моей партии, в устроении на собственное иждивение лазарета в Юхнове и, наконец, спасительное движение армии на Калужскую дорогу — все улыбалось моему воображению, всегда быстро летящему навстречу всему соблазнительному для моего сердца!

На рассвете мы атаковали в виду города неприятельский отряд, прикрывавший транспорт провианта и артиллерийских снарядов. Отпор не соответствовал стремительности натиска, и успех превзошел мое ожидание: двести семьдесят рядовых и шесть офицеров положили оружие, до ста человек легло на месте; двадцать подвод с провиантом и двенадцать артиллерийских палубов с снарядами достались нам в добычу. Немедленно две фуры с патронами и триста сорок ружей поступили в распоряжение командовавшего поголовным ополчением отставного капитана Бельского; и таким образом, с первых дней я имел уже в Знаменском почти на пятьсот человек готового оружия.

Четырнадцатого мы подошли к селению Теплухе, что на столбовой Смоленской дороге, и остановились на ночлег со всею военною осторожностью. Там явился ко мне крестьянин Федор из Царева-Займища с желанием служить в моей партии. Этот удалец, оставя жену и детей, скрывшихся в лесах, находился при мне до изгнания неприятеля из Смоленской губернии и только после освобождения оной возвратился на свое пепелище. По возвращении моем из Парижа в 1814 году я нарочно останавливался в Цареве-Займище, с тем, чтобы посетить моего храброго товарища, но мне сказали, что его уже нет на свете. Он умер от заразы со многими поселянами, скрывавшимися в лесах во время его ратования. Какое поучение! И те, кои избегают смерти, и те, кои на нее отваживаются,— всем равная участь; каждому определен срок неминуемый!.. Стоит ли прятаться и срамиться!

Четырнадцатого к вечеру начали подходить мародеры, а так как мы были скрыты и во всей осторожности, то брали их без малейшего с их стороны сопротивления и почти поодиночке. К десяти часам ночи число пленных дошло до семидесяти человек и двух офицеров; у одного из них все карманы набиты были граб-

ленными печатками, ножичками и прочим. Надобно, однако, сказать, что офицер сей был не француз, а вестфалец.

Пятнадцатого, около восьми часов утра, пикетные открыли шедшее от села Тарбеева большое количество фур, покрытых белым холстом. Некоторые из нас сели на коней и, проскакав несколько шагов, увидели, их, подобно флоту, на парусах подвигавшемуся. Немедленно штабс-ротмистр Бедряга 3-й, поручики Бекетов и Макаров с гусарами и казачьи полки помчались к ним наперерез. Передние ударили на прикрытие, которое после нескольких пистолетных выстрелов обратилось в бегство; но, быв охвачено Бугским полком, бросило оружие. Двести шестьдесят рядовых разных полков, с лошадьми их, два офицера и двадцать фур, полных хлебом и овсом, со всею упряжью, попались нам в руки.

До сего времени все предприятия мои были направлены между Гжатью и Вязьмою. Успех их пробудил деятельность французского губернатора[30]. Он, собрав все конные, чрез город сей следующие, команды, составил сильный отряд (из двух тысяч рядовых, восьми офицеров и одного штаб-офицера) и предписал ему[31] очистить от набегов моих все пространство между Вязьмою и Гжатью, разбить непременно мою партию и привезти меня в Вязьму живого или мертвого[32]. О таковой *неучтивости* я извещен был еще 13 сентября, а 15-го, по взятии транспорта, уведомился чрез конного крестьянина, что отряд сей подошел уже к Федоровскому. Я старался, сколь возможно, чтобы случайность не мешалась в предприятия и извороты мои, вследствие чего вся моя партия выступила сейчас из Теплухи и пошла по дороге к селу Шуйскому. Пройдя некоторое расстояние, она по лощине, покрытой лесом, повернула круто вправо, перешла вне вида Теплухи столбовую дорогу и отступила чрез Румянцево в Андреевское. Там, проведя ночь в строжайшей осторожности, пошла усиленным шагом на село Покровское, находившееся в пяти верстах от столбовой дороги.

Перемещение мое основывалось на трех предположениях: или отряд, назначенный против меня действовать, потеряв меня из виду, обратится к первому назначению своему, то есть продолжать будет путь свой

к Москве; или гоняясь за мною от Дорогобужа до Гжати и от Гжати к Дорогобужу, и изнурит лошадей своих, и представит мне случай поразить его с меньшим затруднением; или, разделясь, чтобы охватить меня, подвергнет себя разбитию по частям.

Восемнадцатого, вечером, по прибытии нашем в село Покровское, крестьянин, пришедший с большой дороги, объявил нам, что он видел пехотного солдата, бежавшего из транспорта пленных наших, которые остановились на ночлег в селе Юреневе, и что сей солдат ночует в селе Никольском, между Юреневым и Покровским. Я спросил крестьянина, может ли он привести ко мне солдата сего? Он отвечал, что может, но что так как одному ему идти туда страшно, то просит казака проводить его. Я ему дал известного урядника Крючкова, и они отправились.

Девятнадцатого, за два часа перед рассветом, посланные мои возвратились и привели этого солдата. Он объявил мне, что, точно, тысяча человек наших пленных остановилась в Юреневе, что часть их заперта в церкви, а часть ночует в селе по избам, где расположена и часть прикрытия, состоящего всего из трехсот человек. Я велел садиться на коней и, пока партия вытягивалась, Крючков при крестьянине и солдате рассказал мне, как, подъехав к Никольскому, они встретили прохожего, который объявил им, что при нем вошла в оное село шайка мародеров, как крестьянин оробел и не смел войти в село, но что он, Крючков, расспрося его подробно о месте, где ночует солдат, надел на себя кафтан крестьянина, вошел в село, наполненное французами, прямо пришел к сенному сараю, где, по рассказу крестьянина, должен был ночевать солдат, разбудил и вывел его оттуда. Такой отважный поступок усугубил большое уважение к нему всех его товарищей, а меня поставил в приятную обязанность донести о том самому светлейшему.

Мы обошли Никольское и остановились за четверть версты от Юренева; еще было час времени до рассвета. К несчастию, пока партия была на марше, транспорт пленных поднялся и пошел далее по Смоленской дороге, оставя место свое трем баталионам польской пехоты, шедшим от стороны Смоленска в Москву. Один из них расположился в селе, а два за церковью, на бива-

ках. Войска сии были в совершенной оплошности, что доказывает неумышленность сего перемещения.

Основываясь на рассказе солдата и полагая, что в самом селе не более половины прикрытия, ибо другую половину я полагал около церкви, заключавшей в себе другую часть наших пленных, я с рассветом осмотрел местоположение и приказал шестидесяти человекам пехоты, прокравшись лощиною к селу, вторгнуться в средину улицы, закричать: *«Ура! наши сюда!»* и на штыках вынести вон неприятеля. Сею пехотою командовал отставной мичман Николай Храповицкий.

В одно время Бугский полк должен был объехать село и стать на чистом месте, между деревнею и церковью, дабы отрезать дорогу оставшимся от поражения. Прежний мой отряд и Тептярский полк я оставил в резерве и расположил полускрытно около леса, приказав им открывать разъездами столбовую дорогу к Вязьме.

Распоряжение мое было исполнено со всею точностью, но не с той удачею, каковую я ожидал. Пехота тихо пробралась лощиною и, бросясь в село, вместо пленных наших и слабого их прикрытия попалась в средину хотя оплошного, но сильного неприятельского батальона. Огонь затрещал из окон и по улице... Герои! Они опирались брат на брата и штыками пробили себе путь к Бугскому полку, который подал им руку: В пять минут боя из шестидесяти человек тридцать пять легло на месте или было смертельно ранено.

Между тем Чеченский с Бугским полком совершенно пресек путь атакованному батальону, который, ожидая подкрепления, мнил до прибытия его удержаться в селе и усилил огонь по нас из изб и огородов. Кипя мщением, я вызвал охотников зажечь избы, в коих засел неприятель... Первыми на то отважились оставшиеся мои двадцать пять героев! Избы вспыхнули, и более двухсот человек охватилось пламенем. Поднялся крик ужасный, но было поздно! Видя неминуемую гибель, батальон стал выбегать из села врассыпь. Чеченский сие приметил, ударил и взял сто девятнадцать рядовых и одного капитана в плен. Тогда батальон столпился, был несколько раз атакован и отступил с честью к двум вышеупомянутым батальонам, которые

уже шли от церкви к нему на помощь. Когда они показались, я, видя, что нам нечего с ними будет делать, приказал понемногу отступать. Огонь, ими по нас производимый, причинил мало вреда, и мы, подобрав наших раненых, вскоре вышли из выстрелов. В это время один из посланных разъездов к стороне Вязьмы уведомил меня о расположенном артиллерийском парке версты за три от места сражения, за столбовою дорогою. Я, отправя раненых в Покровское под прикрытием Тептярского полка, помчался с остальными войсками к парку и овладел оным без малейшего сопротивления. Он состоял в двадцати четырех палубах, в ста сорока четырех волах для перевозки их употребленных и двадцати трех фурманщиках; прочие скрылись в лесах. Возвратясь после сего полууспешного поиска в Покровское, я был, по крайней мере, утешен тем, что опыт поисков, сделанных мною с первою моей командою на Смоленской дороге, обратили светлейшего к предложению моему, и легкие отряды назначены были действовать на путь сообщения неприятеля.

Едва мы успели расположиться в Покровском, как известился я, что новый транспорт пленных наших, числом четыреста человек, остановился неподалеку от нас. Быв уже раз наказан за отвагу штурмовать селение, занятое пехотою, я отрядил вперед урядника Крючкова с шестью отборными казаками: Ластевым, Афониным, Володькой, Волковым и еще двумя, коих забыл имена, и велел ему, подъехав к деревне, выстрелить из пистолетов и поспешно скрыться, дабы тем, встревожа прикрытие, принудить его искать себе покойнее для привала место. Партия же следовала за Крючковым скрытно и оставалась в засаде, ожидая выхода транспорта из селения.

Совершенный успех увенчал мое предприятие. Едва Крючков и казаки его, выстреля, удалились от деревни, как весь транспорт стал вытягиваться из оной. Дав ему отойти на расстояние около двухсот саженей, партия моя поднялась на высоту и часть ее бросилась по долу в атаку. Пленные помогли атакующим, и прикрытие, в сто шестьдесят шесть человек и четыре офицера состоявшее, мгновенно было обезоружено. С добычею сей я воротился на ночлег в Покровское, откуда 20-го, поутру, пошел в село Городище как для до-

ставления покоя моей партии, так и для личного осмотра поголовного ополчения в Знаменском. К тому же я был отягчен добычею. Поиск сей мне доставил девятьсот восемь рядовых, пятнадцать офицеров, тридцать шесть артиллерийских палубов и сорок провиантских фур, сто сорок четыре вола, которых определил я на порцию, и около двухсот лошадей, из коих, выбрав лучшие для худоконных казаков, остальные роздал крестьянам. Так как Городище в пятидесяти верстах от столбовой Смоленской дороги и, следственно, вне опасности от внезапного неприятельского нападения, то партия моя разделилась надвое. Бугский полк занял деревню Луги, в трех верстах от Городища, где я остался с другою частью моей команды. Пикеты были выставлены на двух главных дорогах, и разъезды посылаемы не далее как за три и четыре версты, каждый день по два раза.

Между тем из четырехсот отбитых наших пленных я выбрал двести пятьдесят человек и присоединил к ним остаток моей пехоты, которую назвал *«Геройским полувзводом»* [33]. В полувзвод сей я переводил только за отличие и, таким образом, мало-помалу умножил его до двух взводов. Остальных сто пятьдесят человек я отправил в Знаменское и, наименовав их *«Почетною полуротою»*, брать с них пример предписал всему поголовному ополчению.

Двадцать первого, рано, я ездил в Знаменское, где нашел уже до пятисот человек под ружьем. Бельский мне объявил, что прочие тысяча пятьсот, вооруженные также неприятельскими ружьями, находятся по деревням и в готовности при первой повестке собраться в Знаменское. Он уверял, что рвение поселян так велико, что в случае нужды можно набрать в весьма короткое время до шести тысяч народа; но те уже будут вооружены копьями и топорами, а не ружьями. Потрясение в умах возымело действие, направление было показано... Ежели бы мы угрожаемы были миром! Я желал бы более; но тогда я и тем был доволен.

К славе нашего народа, во всей той стороне известными изменниками были одни дворовые люди отставного маиора Семена Вишнева и крестьяне Ефим Никифоров и Сергей Мартынов. Первые, соединясь с французскими мародерами, убили господина своего;

Ефим Никифоров с ними же убил отставного поручика Данилу Иванова, а Сергей Мартынов наводил их на известных ему богатых поселян, убил управителя села Городища, разграбил церковь, вырыл из гробов прах помещицы села сего и стрелял по казакам. При появлении партии моей в ту сторону все первые разбежались и скрылись, но последнего мы захватили 14-го числа. Эта добыча была для меня важнее двухсот французов! Я немедленно рапортовал о том начальнику ополчения и приготовил примерное наказание.

Двадцать первого пришло мне повеление расстрелять преступника, и тот же час разослано от меня объявление по всем деревням на расстоянии десяти верст, чтобы крестьяне собирались в Городище. Четыре священника ближних сел туда же приглашены были. Двадцать второго, поутру, преступника исповедали, надели на него белую рубашку и привели под караулом к самой той церкви, которую он грабил с врагами отечества. Священники стояли перед нею лицом в поле; на одной черте с ними — взвод пехоты. Преступник был поставлен на колена, лицом к священникам, за ним народ, а за народом вся партия — полукружием. Его отпевали... живого. Надеялся ли он на прощение? До верхней ли степени вкоренилось в нем безбожие? Или отчаяние овладело им до бесчувственности? Но во время богослужения он ни разу не перекрестился. Когда служба кончилась, я велел ему поклониться на четыре стороны. Он поклонился. Я велел народу и отряду расступиться. Он глядел на меня глазами неведения; наконец, когда я велел отвести его далее и завязать глаза, он затрепетал... Взвод подвинулся и выстрелил разом. Тогда партия моя окружила зрителей, из коих хотя не было ни одного изменника и грабителя, но были ослушники начальства. Я имел им список, стал выкликать виновных поодиночке и наказывать нагайками.

Когда кончилась экзекуция, Степан Храповицкий читал: «Так карают богоотступников, изменников отечеству и ослушников начальству! Ведайте, что войско может удалиться на время, но государь, наш православный царь, знает, где зло творится, и при малейшем ослушании или беспорядке мы снова явимся и накажем предателей и безбожников, как наказали разбой-

ника, перед вами лежащего; ему и места нет с православными на кладбище; заройте его в Разбойничьей долине»[34].

Тогда священник Иоанн, подняв крест, сказал: «Да будет проклят всякий ослушник начальства! Враг бога и предатель царя и отечества! Да будет проклят!»

После сего я читал народу наставление, данное мною токаревским крестьянам, и распустил всех по домам; а вечером послал курьера с донесением как об успехе моих поисков, так и о наказании помянутого преступника.

Двадцать третьего, поутру, известился я о кончине благодетеля моего, героя князя Петра Ивановича Багратиона. Судьба, осчастливя меня особою его благосклонностию, определила мне и то счастие, чтобы отдать первую почесть его праху поражением врагов в минуту сего горестного известия. Один пикет, стоявший на проселочной дороге, которая ведет из Городища к Дорогобужу, дал знать, что две большие неприятельские колонны идут к Городищу. Я приказал кавалерии поспешнее седлать и садиться на коней, послал с тем же к Чеченскому в Луги, а сам бросился с пехотою к выезду из села на Дорогобужскую дорогу. Намерение мое состояло в том, чтобы удержать пехотою вход неприятелю в деревню и тем дать время кавалерии изготовиться, собраться и, объехав деревню, ударить неприятелю в тыл.

До выезда — более версты расстояния. Я ехал рысью, и клянусь честью, что пехотинцы мои не только от меня не отставали, но несколько человек из них даже опередили меня. Такова была алчность их к битвам. Подъехав к дальним избам, я остановил мою команду, рассыпал между избами и огородами пятьдесят стрелков, а остальных двести двадцать пять человек, построя в две колонны, показал головы колонн и скрыл хвосты оных за строением. По учреждении всего касательно до защиты села, я поехал вперед увериться сам собою, достоин ли неприятель столь великолепного приема. Вскоре мне открылась толпа пехоты человек в четыреста. Вначале она направлялась к Городищу, но, получа несколько выстрелов от стрелков и увидя колонны мои, потянулась мимо. Тогда я уверился, что эта толпа никакого против меня дерзкого намерения не имеет.

И подлинно, она была не что иное, как сильная шайка мародеров. Я велел стрелкам напирать на отступающих, а всей пехоте — следовать за стрелками. В это время мы увидели маиора Храповицкого, несущегося вихрем с кавалериею. Неприятель бросился в ближнюю рощу; пехота моя — за ним. Гул выстрелов и крик *ура!* загремели и слились вместе. Роща примыкала к реке Упре, на которой есть броды; за рекою же тянулся сплошной лес почти до Масальска; добыча вырывалась. Храповицкий, уроженец и житель Городища[35], с отличнейшими военными дарованиями соединял на этот случай и вернейшее местное познание. Он немедленно обскакал рощу и стал между нею и рекою, в одно время как пехота ворвалась в рощу.

Неприятель, видя неминуемую гибель, стал бросать оружие и сдаваться; я велел щадить, уверенный, что приличнейшая почесть праху великодушного — есть великодушное мщение. Тут мы увидели Чеченского, скачущего с полком своим к нам на помощь. Ему донесли, что мы разбиты и приперты к реке. Удивление его было наравне с радостью, найдя нас победителями. Неожиданное дело сие доставило нам триста тридцать рядовых и пять офицеров. Отставной мичман Николай Храповицкий, командовавший пехотою, в этом деле отличился. Возвратясь в Городище, мы отпели панихиду по нашем герое, моем благодетеле — князе Петре Ивановиче Багратионе, и выступили в село Андреяны.

В то самое время я получил повеление отделить от себя Тептярский полк к Рославлю и Брянску для содействия отряду калужского ополчения, назначенному прикрывать Орловскую губернию. Как ни тяжко мне было исполнить сие повеление, но, чувствуя важность Рославльского пункта, угрожаемого отрядами, посылаемыми из Смоленска на Орловскую дорогу, я без прекословия приказал маиору Темирову идти чрез Мутищево в Рославль.

Двадцать четвертого мы узнали, что неприятельский отряд, определенный против нас действовать, проходя несколько дней без успеха между Вязьмою и Гжатью, показался между Семлевым и Вязьмою, в селе Монине. Не отступая от моего намерения, я обратился к Федоровскому и вечером прибыл в Слукино.

Двадцать пятого от Федоровского мы поворотили вправо к Вязьме, столбовой дорогой. Я хотел посредством сильной перестрелки вокруг города притянуть снова неприятельский отряд в сию сторону и тогда обратиться к Семлеву, где местоположение гораздо удобнее для действия слабым партиям.

Передовые мои открыли перестрелку под самой Вязьмою; а партия, разделясь на три колонны, по обыкновению моему, показала головы и скрыла хвосты оных. Вскоре мы услышали барабанный бой и увидели неприятельскую пехоту, которая стала отвечать на наши выстрелы, но не смела отходить от города. Я был доволен. Простояв на сем месте до вечера, мы зажгли бивачные огни и ночью скрытно отступили в Лосмино, а 26-го — в Андреяны. Прибыв туда, я послал двух крестьян в Покровское разведать о неприятельском отряде. Не прошло четырех часов, как прискакали два парня из Лосмина с донесением, что известный отряд тянулся между сим селом и Вязьмою и идет в направлении к Гжати. Желание мое исполнилось. Немедленно партия поднялась и выступила к Монину. Под вечер она подошла к селу и застала в нем сорок две провиантские фуры и десять артиллерийских палубов под прикрытием ста двадцати шести конных егерей и одного офицера. Сия команда принадлежала отряду, ушедшему за мною к Гжати усиленным маршем в полном уверении найти меня в сем направлении. Пленный офицер объявил мне, что противник мой, в исступлении от неудачи своей, пошел к Гжати и что, в случае нового неуспеха, он намерен сделать решительный поиск вдоль Угры, дабы отрезать меня от Юхнова и Калуги.

Я заметил, что некоторые партизаны, командуя отдельною частию войск, думают командовать не партиею, а армиею, и считают себя не партизанами, а полководцами. Оттого-то господствующая их мысль состоит в том только, чтобы *отрезать* противную партию от армии, к коей принадлежит она, и занимать позиции подобно австрийским методикам. Надобно один раз навсегда знать, что лучшая позиция для партии есть непрестанное движение оной, причиняющее неизвестность о месте, где она находится, и неусыпная осторожность часовых и разъездных, ее охраняющих; что

партию отрезать нет возможности,— и держаться русской пословицы: *убить да уйти* — вот сущность тактической обязанности партизана. Мой противник этого не ведал, и потому мне легко было с ним управиться. Отправя добычу в город прежде мной употребляемым способом, мы продолжали путь к столбовой дороге, около которой проходили до 29-го числа с малою пользою.

Двадцать девятого партия прибыла в Андреяны, где встретил нас курьер мой, возвратившийся из главной квартиры. Он привез мне разные бумаги и известил меня о следовании, на подкрепление моей партии, казачьего Попова 13-го полка, который и прибыл в Андреяны 31-го.

Сей полк, невзирая на усиленные переходы от самого Дона, представился мне в отличнейшем положении и усилил партию мою пятью сотнями доброконных казаков. Тогда я перестал опасаться нападения искавшего меня отряда и взял намерение самому атаковать его. Но прежде сего мне хотелось и наметать и натравить сии новые войска, составлявшие бо́льшую половину моей партии. К тому же, если малочисленным отрядом можно было управлять, так сказать, разбойнически, без предварительного устройства, а братски и крутою строгостью, то сего не можно уже было продолжать с семьюстами человек. Итак, до 3 октября я принужден был заняться образованием постановлений внутреннего управления партии, показанием лучшего, по моему мнению, построения оной в боевой порядок. Сделав несколько практических примеров для нападения, отступления и преследования, я в первый раз испытал *рассыпное отступление,* столь необходимое для партии, составленной из одних казаков, в случае нападения на нее превосходного неприятеля. Оно состояло, во-первых, чтобы по первому сигналу вся партия рассыпалась по полю, во-вторых, чтобы по второму сигналу каждый казак скакал сам из вида неприятеля, и в-третьих, чтобы каждый из них, проехав по своевольному направлению несколько верст, пробирался к предварительно назначенному в десяти, а иногда и в двадцати верстах от поля сражения сборному месту.

Третьего мы выступили и пришли в село Покровское.

Четвертого я предпринял общий поиск и разделил партию на три части так, чтобы в каждой из них находилась часть Попова полка.

Две сотни оного и старую команду сборных казаков моих под начальством Попова я определил идти на речку Вязьму в лес, что между столбовой дорогою и селением, кажется, Лузинцовым. При сей части я находился.

Первый Бугский полк и сотня Попова полка с ротмистром Чеченским — чрез столбовую дорогу, на речку Вязьму, к селениям Степанкову и Вопке.

Две сотни Попова полка с Ахтырскими гусарами, под командою маиора Храповицкого,— к Семлеву; пехота оставалась в Покровском. За два часа пред рассветом все отделения были в движении. Первый отряд остановился в лесу за несколько саженей от мостика, лежащего на речке Вязьме. Два казака взлезли на дерева для наблюдения.

Не прошло часу, как казаки слабым свистом подали знак. Они открыли одного офицера, идущего пешком по дороге с ружьем и с собакою. Десять человек сели на коней, бросились на дорогу, окружили его и привели к отряду. Это был 4-го Иллирийского полка полковник Гётальс, большой охотник стрелять и *пороть дичь,* и опередивший расстроенный баталион свой, который шел формироваться в Смоленск. С ним была легавая собака и в сумке — убитый тетерев. Отчаяние сего полковника более обращало нас к смеху, нежели к сожалению. После расспроса его обо всем, что нужно было, он отошел в сторону и ходил, задумчивый, большими шагами; но каждый раз, когда попадалась ему на глаза легавая собака его, улегшаяся на казачьей бурке,— каждый раз он брал позицию Тальмы в «Эдипе» и восклицал громким голосом: «Malheureuse passion!» (пагубная страсть); каждый раз, когда бросал взгляд на ружье свое,— увы! — уже в руках казаков, или на тетерева, повешенного на пику, как будто вывеской его приключения,— он повторял то же и снова зачинал ходить размеренными шагами.

Между тем стал показываться и баталион. Наши приготовились, и, когда подошел он в надлежащее расстояние, весь отряд бросился на него: передние казаки вроссыпь, а резерв — в колонне, построенной в

шесть коней. Отпор был непродолжителен. Бо̀льшая часть рядовых побросала оружие, но многие, пользуясь лесом, рассыпались по оному и спаслись бегством.

Добыча состояла в двух офицерах и в двухстах нижних чинах.

В одно время ротмистр Чеченский встретил фуры с провиантом, ночевавшие в лесу на дороге от Вопки к Вязьме. Неприятель, приметя казаков, торопился становить обоз полукружием, дабы из-за него защищаться. Но Чеченский не дал им времени исполнить сего построения, ударил и овладел транспортом.

Тогда прикрытие, состоявшее из пехоты, бросилось в средину леса, продолжая огонь беспрерывный... Ярый Чеченский спе́шил своих, бросился в лес и ударил на неприятеля в дротики. Сей удалой поступок довершил поражение, но стоил пятнадцати лучших бугских казаков, которые пали, тяжело раненными и убитыми.

С своей стороны, маиор Храповицкий, выбравшись на столбовую дорогу, обратился к Семлеву. Пользуясь родом войска, составлявшим отряд его, он приказал шедшим впереди отряда Ахтырским гусарам надеть флюгера на пики [36], а казакам скрываться за ними, взяв дротики наперевес. Таким образом отряд сей казался издали польскою кавалериею, идущею от неприятельской армии к Смоленску.

Долго Храповицкий никого не встречал, но около Семлева он увидел многочисленный транспорт огромных бочек, подвигавшийся к нему навстречу с прикрытием и без малейшей осторожности, полагая отряд Храповицкого польским отрядом. Наши допустили неприятеля на пистолетный выстрел и разом, приклонив пики, закричали *ура!* и ударили со всей возможной стремительностью на него. Бо̀льшая часть прикрытия рассыпалась, но поручик Тилинг с горстию своих защищался до тех пор, пока не был ранен; тут и оставлен последними его окружавшими товарищами.

Сей транспорт состоял в новой одежде и обуви на весь 1-й Вестфальский гусарский полк и (по накладной, найденной у Тилинга) стоил семнадцать тысяч франков в Варшаве.

Возвращаясь с добычею к селу Покровскому, Храповицкий был атакован сильною шайкою мародеров,

засевшею в лесу, чрез который надлежало ему проходить. Видя, что нельзя пробиться сквозь неприятеля, столь выгодно расположенного, он объехал его чащею леса и благополучно прибыл в Покровское вечером, где соединился с отрядами Попова 13-го и ротмистра Чеченского.

В сем сложном поиске Попова полк не уступил ни в чем войскам, партию мою составлявшим. В оном оказались казаки отличной меткости и отважности. Лучший офицер сего полка или, лучше сказать, один из отличнейших офицеров всего донского войска был сотник Бирюков; после его заметны были хорунжие Александров и Персианов.

Пленные (коих число простиралось до четырехсот девяноста шести рядовых, одного штаб- и четырех обер-офицеров) были немедленно отправлены в Юхнов, так, как и сорок одна фура, отбитые Чеченским. Лошади, взятые из-под конвойных, частию были разделены между опешевшими и худоконными казаками, а частию розданы жителям. В тот же день поехал от меня курьер в главную квартиру. Я описал дежурному генералу сей последний поиск и просил награждения как отличившимся в действии, так и юхновскому дворянскому предводителю Храповицкому, коего попечением партия моя ни одного дня ни в чем нужды не имела, раненые получали пользование, покой и облегчение.

Окончa историческое, подошло и романическое: пред отъездом своим вошел ко мне поручик Тилинг. Он говорил мне, что казаки взяли у него часы и деньги, но что он, зная право войны, на это не в претензии, а просит только, чтобы ему возвратили кольцо им любимой женщины. Увы! и ах! — я всегда склонен был к чувствам, обуревавшим душу г. Тилинга! Сердце мое может включить в каждую кампанию свой собственный журнал, независимый от военных происшествий. Смешно сказать, но *любовь* и *война* так разделили наравно прошедшее мною поприще, что и поныне я ничем не поверяю хронологию моей жизни, как соображением эпох службы с эпохами любовных чувствований, стоящими, подобно геодезическим вехам, на пустынной моей молодости. В то время я пылал страстью к *неверной,* которую полагал *верною*. Чувства узника моего

отозвались в душе моей! Легко можно вообразить взрыв моей радости при встрече с человеком, у одного алтаря служившим одному божеству со мной. Я обещал ему стараться удовлетворить его желание, и по отправлении его в Юхнов, когда возвратился разъезд, в котором были казаки, взявшие его в плен, я был столько счастлив, что отыскал не только кольцо, но и портрет, волосы и письма, ему принадлежавшие, и немедленно отослал их к нему при сей записке: «Recevez, monsieur, les effets, qui vous sont si chers; puissent-ils, en vous rappellant l'objet aimè, vous prouver, que le courage et le malheur sont respectés en Russie, comme partout ailleurs. Denis Davidoff, Partisan» *.

Сей Тилинг жил до 1814 года в Орле, где всегда с благодарностью, но еще больше с удивлением рассказывал о сем приключении, как рассказывают о великодушии некоторых атаманов разбойников. Впоследствии я узнал, что, устав, подобно мне, менять предметы любви с каждой кампаниею, он при заключении общего мира заключил законный союз с последней им любимой женщиною и променял кочующую жизнь гусарскую на философическое уединение, променял фантасмагорию на существенность.

Пятого числа партия пошла в Андреяны. Там я узнал, что неприятельский отряд разделился надвое. Одна часть находилась в одной деревушке в направлении к селению Крутому, а другая — в Лосмине, что возле Вязьмы. Мы немедленно выступили к Крутому.

Отряд в сто человек с хорунжиим Бирюковым отправлен был к селу Белыщину. Ему велено было остановиться у этого села скрытно и посылать разъезды вправо и влево, чтобы заслонить нападение мое на неприятеля, расположенного близ Крутого. Вся же партия пошла поспешно к последнему селу, забирая влево, чтобы сохранить сообщение с Бирюковым и, в случае удачи, отбросить неприятеля в противную сторону той, где находилась другая часть оного. Неопределительность в расстоянии от Андреян до деревушки, находящейся близ Крутого, была причиною, что вместо

---

* Примите, государь мой, вещи, столь для вас драгоценные. Пусть они, напоминая о милом предмете, вместе с тем докажут вам, что храбрость и злополучие так же уважаемы в России, как и в других землях. Денис Давыдов, партизан *(фр.)*. *(Перевод Давыдова.)*

того, чтобы нам прибыть часа за два перед вечером, мы прибыли тогда, как уже было темно. Надо было решиться: или отложить нападение до утра, или предпринять ночную атаку, всегда неверную, а часто и гибельную для атакующего. Всякое войско сильно взаимным содействием частей, составляющих *целое*, а как содействовать тому, чего не видишь? К тому же мало таких людей, которые исполняют долг свой, *не глядя* на то, что на них *не глядят*. Бо́льшая часть воинов лучше воюет при зрителях. Сам Аякс требовал денного света для битвы. Я знал сию истину, но знал также и неудобства отлагать атаку до утра, когда ржание одной лошади, лай собаки и крик гуся, спасителя Капитолия,— не менее ночной атаки могут повредить успеху в предприятии. Итак, с надеждой на бога, мы полетели в бой.

Мелкий осенний дождь моросил с самого утра и умножал мрак ночи. Мы ударили. При резервном полку оставалась пехота. Передовая неприятельская стража, запрятанная под шалашами, спокойно спала... и не проснется! Между тем Храповицкий и Чеченский, вскакав в деревушку, спешили несколько казаков и с криком *ура!* открыли огонь по окнам. Подкрепя их сотней человек пехоты и взяв две сотни казаков из резерва, я бросился с ними чрез речку Уду, чтобы воспретить неприятелю пробраться к Вязьме окружною дорогою. Мрак ночи был причиною, что проводник мой сбился с пути и не на то место привел меня, где обыкновенно переезжают речку. Это принудило нас спуститься как попало с довольно значительной крутизны и кое-как перебраться на ту сторону. Не зная и не видя местоположения, я решился, мало-помалу подвигаясь, стрелять как можно чаще из пистолетов и во всю мочь кричать *ура!* К счастию, неприятель не пошел в сию сторону, а, обратясь к Кикину, побежал в расстройстве по дороге, которая лежит от Юхнова к Гжати.

Мы гнали его со всею партиею версты четыре. Тут я отрядил сотню казаков вслед за бегущими и велел преследовать их как можно далее, забирая влево, дабы быть ближе к партии, и потом держаться дороги между Вязьмою и Царевым-Займищем, куда я намеревался прибыть после поиска на Лосмино.

В сем деле мы взяли в плен одного ротмистра, одного офицера и триста семьдесят шесть рядовых. А так как по случаю ночной атаки я велел как можно менее заниматься забиранием в плен, то число убитых было не менее пленных.

Перевязав последних и отослав их, по обыкновению, в Юхнов, я дал вздохнуть лошадям и, отправя пехоту в Ермаки, выступил к Лосмину. Направление мое было на Белыщино, дабы, *во-первых,* соединясь с Бирюковым, заменить отрядом его сотню казаков, посланных в преследование неприятеля; *во-вторых,* получить от него сведение о неприятеле, находившемся в Лосмине, и, *в-третьих*, обратясь к Деревещину и Красному Холму, прийти от стороны Вязьмы в тыл к неприятелю и пасть на него как снег на голову.

Предположение мое совершилось бы во всей точности, если б неприятельские фуражиры, находившиеся в селе Сергенкове, не приметили моей партии и не бросились бы в Лосмино для уведомления своего начальника о шествии моем. Доброконные наездники мои погнались за этою сволочью, но так как мы были двадцать четыре часа в походе, из коих два часа — в драке, то лошади наши весьма ослабели, что дозволило нескольким фуражирам уйти и встревожить отряд, обреченный на гибель. Между тем мы подвигались рысью к дороге, что идет из Вязьмы в Лосмино. Рассветало; дождь не переставал, и дорога сделалась весьма скользкою. Противник мой имел неосторожность забыть о ковке лошадей своего отряда, которого половина была не подкована. Однако, по приходе моем к Лосмину, он меня встретил *твердою ногою.* Дело завязалось. В передовых войсках произошло несколько схваток, несколько приливов и отливов, но ничего решительного. Вся партия построилась в боевой порядок и пустилась на неприятеля, построенного в три линии, одна позади другой. Первая линия при первом ударе была опрокинута на вторую, а вторая — на третью. Все обратилось в бегство. Надо было быть свидетелем этого происшествия, чтобы поверить замешательству, которое произошло в рядах французов. Сверх того, половина отряда стала вверх ногами: лошади, не быв подкованы, валились, как будто подбитые картечами; люди бежали пешком в разные сторо-

ны без обороны. Эскадрона два построились и подвинулись было вперед, чтобы удержать наше стремление, но при виде гусаров моих, составлявших голову резерва, немедленно обратились назад без возврата. Погоня продолжалась до полудня: кололи, рубили, стреляли и тащили в плен офицеров, солдат и лошадей; словом, победа была совершенная. Я кипел радостью! Мы остановились. Пленных было: четыреста три рядовых и два офицера, все раненые. Полковник всего отряда, как уверяли, пал на поле битвы и с ним легло до полутораста рядовых; прочие все рассыпались по полям и лесам или достались в добычу обывателям. В обоих сих делах с нашей стороны убито четыре казака, ранено пятнадцать <казаков> и два гусара; лошадей убито и ранено до пятидесяти.

Нужно ли говорить, с каким нетерпением я спешил похвалиться пред фельдмаршалом сим лучшим моим подвигом? Немедленно полетел курьер с теплым еще от огня битвы донесением, и я остался в полной уверенности, что двойная сия победа получит одобрение от самых строгих знатоков военного искусства. Между тем новые замыслы, новые тревоги, новые битвы затерли прошедшее. Я не осведомлялся в главной квартире о деле моем, полагая, что оному нельзя остаться под спудом и что там молчат от недосуга. Мне не отвечали потому, что я не спрашивал, и таковое взаимное молчание продолжалось до перемирия 1813 года. Тогда только все прояснилось: я узнал, что курьер мой захвачен был мародерами на пути к Юхнову и погиб вместе с донесением. Чрез неудачу сию подвиг, без хвастовства сказать, несущий на себе отпечаток превосходства и в соображении, и в исполнении, остался известным только моей партии, неприятельскому губернатору Вязьмы и оставшимся от поражения войскам, со мною сражавшимся. Я уверен, что это скрыли и самому Наполеону, от опасения гнева его за своевольное употребление войск, для другого предмета предназначенных.

Такова бывает участь отдельных начальников, тогда как у линейного *каждое лыко в строку становится!* Впоследствии несколько подобных дел заглохло в неизвестности, но по другим причинам. В тот день и в следующие два дня разъезды мои маячили около столбо-

вой дороги между Вязьмою и Федоровским, где удалось им перехватить три курьера. На 8-е число партия подошла к последнему селению и соединилась с сотнею, посланною в погоню из окрестностей Крутого.

В самое то время французская армия пробудилась от продолжительного своего усыпления в Москве и двинулась на Фоминское. Намерение Наполеона состояло в том, чтобы, обойдя левый фланг нашей армии, находившейся при Тарутине, предупредить ее в занятии Боровска и Малоярославца[37] и, достигнув прежде ее до Калуги, открыть сообщение с Смоленском чрез Мещовск и Ельню. Вследствие чего, прибыв в Фоминское 11-го числа, он повелел корпусу Жюно, занимавшему Можайск, отступить в Вязьму, отряду генерала Эверса, в четырех тысячах состоявшему, выступить из Вязьмы чрез Знаменское и Юхнов, а маршалу Виктору с дивизиями Жирарда и легкою кавалерийскою идти усиленными маршами из Смоленска туда же. Стоит взглянуть на карту, чтобы увидеть, в каком положении я вскоре должен был находиться.

Между тем генерал Дорохов, занимая отрядом своим Котово[38], что близ дороги, идущей из Москвы к Боровску, намеревался атаковать вице-короля Италианского, прибывшего 9-го числа в Фоминское, и требовал на то подкрепления, не зная, что за сим корпусом следовала вся французская армия.

Князь Кутузов, получив известие чрез Дорохова о приближении сильной неприятельской колонны, отправил из Тарутина к Фоминскому корпус Дохтурова с начальником главного штаба 1-й армии Ермоловым. Перед выступлением своим Ермолов приказал Фигнеру и Сеславину следовать по направлению к Фоминскому, с тем чтобы собрать сведения о неприятеле. Фигнеру не удалось перейти Лужу, тщательно охраняемую неприятельскими пикетами. Сеславин успел перейти речку и приблизиться к Боровской дороге; здесь, оставив назади свою партию, он пешком пробрался до Боровской дороги сквозь лес, на котором еще было немного листьев. Достигнув дороги, он увидал глубокие неприятельские колонны, следовавшие одна за другою к Боровскому; он заметил самого Наполеона, окруженного своими маршалами и гвардией. Неутомимый и бесстрашный Сеславин, выхватив из ко-

лонны старой гвардии унтер-офицера, связал его, перекинул чрез седло и быстро направился к корпусу Дохтурова.

Между тем Дохтуров с Ермоловым, не подозревая выступления Наполеона из Москвы, следовали на Аристово и Фоминское. Продолжительный осенний дождь совершенно испортил дорогу; большое количество батарейной артиллерии, следовавшей с корпусом, замедляло его движение. Ермолов предложил Дохтурову оставить здесь эту артиллерию, не доходя верст пятнадцати до Аристова; отсюда, находясь в близком расстоянии от Тарутина и Малоярославца, она могла быстро поспеть к пункту, где в ее действии могла встретиться надобность, а между тем утомленные лошади успели бы отдохнуть. Дохтуров не замедлил изъявить свое на то согласие, и корпус его к вечеру прибыл в Аристово; сам Дохтуров расположился на ночлег в деревне, а Ермолов с прочими генералами остался на биваках. Уже наступила полночь, и чрез несколько часов весь отряд, исполняя предписание Кутузова, должен был выступить к Фоминскому. Вдруг послышался конский топот и раздались слова Сеславина: «Где Алексей Петрович?» Явившись к Ермолову, Сеславин, в сопровождении своего пленника, рассказал все им виденное; пленный подтвердил, что Наполеон, выступив со всею армиею из Москвы, должен находиться в довольно близком расстоянии от нашего отряда. Это известие было столь важно, что Ермолов, приказав тотчас отряду подыматься и становиться в ружье, лично отправился на квартиру Дохтурова. Этот бесстрашный, но далеко не проницательный генерал, известясь обо всем этом, пришел в крайнее замешательство. Он не решался продолжать движения к Фоминскому из опасения наткнуться на всю неприятельскую армию и вместе с тем боялся отступлением из Аристова навлечь на себя гнев Кутузова за неисполнение его предписания.

В этот решительный момент Ермолов, как и во многих других важных случаях, является ангелом-хранителем русских войск. Орлиный взгляд его превосходно оценил все обстоятельства, и он, именем главнокомандующего и в качестве начальника главного штаба армии, приказал Дохтурову спешить к Малоярославцу.

Приняв на себя всю ответственность за неисполнение предписаний Кутузова, он послал к нему дежурного штаб-офицера корпуса Болховского, которому было поручено лично объяснить фельдмаршалу причины, побудившие изменить направление войск, и убедительно просить его поспешить прибытием с армией к Малоярославцу. Ермолов советовал Дохтурову захватить с собою, во время движения своего на Малоярославец, всю оставленную батарейную артиллерию; сам Ермолов с 1-м кавалерийским корпусом барона Меллера-Закомельского и с конною ротой полковника Никитина, желая лично удостовериться в справедливости показаний Сеславина, двинулся по направлению к селу Котову, где был расположен отряд генерала Дорохова. Услыхав перестрелку, которую Дорохов завязал с неприятельскими пикетами, Ермолов послал ему сказать, чтобы он тотчас ее прекратил. На это Дорохов отвечал: «Если бы Алексей Петрович находился сам здесь, он бы поступил точно так же, как и я». Опрокинув неприятельские пикеты, Дорохов наткнулся на сильные резервы; Ермолов, увидав это и боясь быть разбитым сильным неприятелем, придвинул конную роту Никитина. Подтвердив свое приказание Дорохову, он, следуя чрез небольшой лес, достиг обширной поляны, которая простирается от Боровска до самого Малоярославца.

Здесь он увидел обширный лагерь итальянской армии и узнал от пленных, что Наполеон должен обедать в тот день в Боровске.

Решившись быстро спешить к Малоярославцу, Ермолов приказал одному отважному офицеру Сысоева казачьего полка, следуя по прямому пути к Малоярославцу, хотя бы в самом близком соседстве с неприятелем, достигнуть города, собрать все возможные сведения как о нем, так и о неприятеле; ему было приказано, по исполнении поручения, отыскать начальника главного штаба по направлению к Малоярославцу. Этот смелый офицер донес вскоре Ермолову, что перед городом находились уже три баталиона итальянцев, которые были задерживаемы жителями, успевшими разобрать мост; власти городские выехали весьма недавно из города, куда приезжал атаман Платов, который по отъезде своем оттуда оставил там казаков. Ер-

молов прибыл на рассвете к Малоярославцу, перед которым уже находилась вся армия вице-короля; Дохтуров, расположившись лагерем позади города, поручил защиту его Ермолову, которого подкрепил своею пехотою. Войска наши были два раза выбиты из города, хотя рота храброго полковника Никитина, действиями которой руководил сидевший на колокольне адъютант Ермолова Поздеев, жестоко поражала неприятеля.

Между тем фельдмаршал, придя с армиею в село Спасское, не в далеком расстоянии от Малоярославца, приказал войскам отдохнуть. Ермолов отправил в Спасское генерал-адъютанта графа Орлова-Денисова с убедительнейшею просьбой спешить к городу; не получив никакого ответа, он отправил туда одного германского принца, находившегося в то время при наших войсках, с настоятельнейшей просьбой о скорейшем прибытии армии. Фельдмаршал, недовольный этою настойчивостью, плюнул. Тогда корпус Раевского выступил к Малоярославцу, и за ним тронулась вся армия. Сам Раевский, в качестве зрителя, уже давно находился близ Малоярославца, где наблюдал за ходом сражения. Выбитый в последний раз из города превосходным неприятелем, Ермолов расположил против главных его ворот сорок батарейных орудий; он намеревался, за неимением войска, встретив неприятеля жестокою канонадой, начать отступление, но прибытие армии изменило весь ход дела. Неустрашимый Коновницын выбил неприятеля из города. Князь Кутузов, приобретший большую опытность в войне с турками, прибегнул к весьма странному средству для удержания неприятеля, если бы он решился продолжать наступление. Он приказал приступить к возведению нескольких редутов в расстоянии выстрела от города; но после нескольких выстрелов неприятеля из города тысяча пятьсот человек рабочих, бросив здесь весь свой инструмент, рассеялись. Город был, однако, оставлен нашими и занят неприятельскими войсками.

После битвы князь Кутузов имел весьма любопытный разговор с Ермоловым, который я здесь лишь вкратце могу передать: *Князь:* «Голубчик, ведь надо идти?» *Ермолов:* «Конечно, но только на Медынь». *Князь:* «Как можно двигаться в виду неприятельской армии?» *Ермолов:* «Опасности нет никакой: атаман

Платов захватил на той стороне речки несколько орудий, не встретив большого сопротивления. После этой битвы, доказавшей, что мы готовы отразить все покушения неприятеля, нам его нечего бояться». Когда князь объявил о намерении своем отступить к Полотняным заводам, Ермолов убеждал его оставаться у Малоярославца по крайней мере на несколько часов, в продолжении которых должны были обнаружиться намерения неприятеля[39]. Но князь остался непреклонным и отступил. Если б Наполеон, дойдя до Боровска, поспешил бы направить всю армию к Малоярославцу, он неминуемо и весьма легко овладел бы этим городом; предупредив здесь нашу армию, он, без сомнения, не встречая больших затруднений, дошел бы до Юхнова, откуда безостановочно продолжал бы свое обратное шествие по краю изобильному и не разоренному.

Ермолову выпал завидный жребий оказать своему отечеству величайшую услугу; к несчастию, этот высокий подвиг, искаженный историками, почти вовсе не известен.

В самое то время партизан князь Кудашев, находившийся между Лопаснею и Вороновым, пошел в преследование неприятельского авангарда, заслонявшего движение своей армии и двинувшегося уже от берегов Мòчи для примкнутия к хвосту оной.

Всякий военный человек, сведущий в своем деле, увидит ясно, что неприятельская армия, облепленная, так сказать, отрядами Дорохова, Сеславина, Фигнера и князя Кудашева, не могла сделать шагу потаенно, хотя спасение оной зависело от тайного ее движения мимо левого фланга нашей армии и от внезапного появления ее в Малоярославце. Чрез сие Наполеон выпутался бы из сетей, расставленных ему фельдмаршалом при Тарутине, открыл бы себе беспрепятственный путь к Днепру, по неприкосновенному краю обеими воюющими армиями; мог бы, соединясь с Эверсом, Жюно и Виктòром, возобновить наступательное действие без малейшей опасности, имея фланги и тыл свободными. Если спустимся от следствия до причины, то удостоверимся, что извещением Сеславина решилась участь России; но для сего нужен был решительный Ермолов, взявший на себя ответственность при своевольном обращении корпуса Дохтурова к Малояро-

лавцу, и прозорливый главнокомандующий, проникший всю важность Малоярославского пункта и немедленно поднявшийся и прибывший туда со всею армиею восемь часов после Дохтурова [40].

Ничего не ведая о происшествиях в окрестностях Боровска и Малоярославца, мы 9-го вечером, перехватя еще одного курьера недалеко от Федоровского, отошли в Спасское. Подойдя к селу, разъездные привели несколько неприятельских солдат, грабивших в окружных селениях. Так как число их было не велико, то я велел сдать их старосте села Спасского для отведения в Юхнов. В то время как проводили их мимо меня, один из пленных показался Бекетову, что имеет черты лица русского, а не француза. Мы остановили его и спросили, какой он нации? Он пал на колена и признался, что он бывший Фанагорийского гренадерского полка гренадер и что уже три года служит во французской службе унтер-офицером. «Как! — мы все с ужасом возразили ему,— ты — русский и проливаешь кровь своих братьев!» — «Виноват! — было ответом его.— Умилосердитесь, помилуйте!» Я послал несколько гусаров собрать всех жителей, старых и молодых, баб и детей, из окружных деревень и свести к Спасскому. Когда все собрались, я рассказал, как всей партии моей, так и крестьянам о поступке сего изменника, потом спросил их: находят ли они виновным его? Все единогласно сказали, что он виноват. Тогда я спросил их: какое наказание они определяют ему? Несколько человек сказали — засечь до смерти, человек десять — повесить, некоторые — расстрелять, словом, все определили смертную казнь. Я велел подвинуться с ружьями и завязать глаза преступнику. Он успел сказать: «Господи! прости мое согрешение!» Гусары выстрелили, и злодей пал мертвым.

Еще странный случай. Спустя несколько часов после казни преступника крестьяне окружных сел привели ко мне шесть французских бродяг. Это меня удивило, ибо до того времени они не приводили ко мне ни одного пленного, разведываясь с ними по-свойски и сами собою. Несчастные сии, скрученные веревками и завлеченные в ров, не избегли бы такого же роду смерти, как предшественники их, если бы топот лошадей и многолюдный разговор на русском языке не из-

вестили крестьян о приходе моей партии. Убийство было уже бесполезным; они решились представить узников своих на мою волю. Дело тем кончилось, что я велел их включить в число пленных, находившихся при моей партии, и отослать всех в Юхнов, откуда они отправлены были в дальние губернии и, вероятно, погибли или на пути, или на месте с тысячами своих товарищей, которые сделались жертвою лихоимства приставов и равнодушия гражданских начальств к страждущему человечеству.

Но сколь провидение чудесно в определениях своих! Между ними находился барабанщик молодой гвардии, именем Викентий Бод (Vincent Bode), пятнадцатилетний юноша, оторванный от объятий родительских и, как ранний цвет, перевезенный за три тысячи верст под русское лезвие и на русские морозы! При виде его сердце мое облилось кровью; я вспомнил и дом родительский, и отца моего, когда он меня, почти таких же лет, поручал судьбе военной! Как предать несчастного случайностям голодного, холодного и бесприютного странствования, имея средства к его спасению? Я его оставил при себе, велел надеть на него казачий чекмень и фуражку, чтобы избавить его от непредвидимого тычка штыком или дротиком, и, таким образом, сквозь успехи и неудачи, чрез горы и долы, из края в край, довез его до Парижа здоровым, веселым, и почти возмужалым передал его из рук в руки престарелому отцу его.

Что же вышло? Спустя два дня после этого являются ко мне отец с сыном и просят об аттестате. «С радостью,— отвечал я им.— Вот тебе, Викентий, аттестат в добром твоем поведении».— «Нет,— сказал отец,— вы мне спасли сына, довершите же ваше благодеяние,— дайте ему аттестат в том, что он находился при вас и поражал неприятеля».— «Но неприятели были ваши соотечественники?» — «Нужды нет»,— возразил старик.— «Как нужды нет? Ты чрез то погубишь сына, его расстреляют, и дельно...» — «Нынче другие времена,— отвечал он,— по этому аттестату от загладит невольное служение свое хищнику престола и получит награждение за ратоборствование против людей, за него сражавшихся, следовательно, служивших против законного своего монарха».— «Если это так, господин

Бод, жалка мне ваша Франция! Вот тебе аттестат, какого ты требуешь». И подлинно, я в оном налгал не хуже правителя канцелярии какого-либо главнокомандующего, сочиняющего реляцию о победе, в коей он не участвовал. Старик был прав: чрез неделю он снова пришел ко мне с сыном благодарить за новое мое благодеяние. Викентий имел уже в петлице орден Лилии!!!

Десятого и одиннадцатого мы продолжали ходить на правой стороне Вязьмы, между Федоровским и Теплухой. Под вечер разъездные дали знать, что открыли большой транспорт с прикрытием, идущий от Гжати. Мы немедленно двинулись к нему навстречу по обеим сторонам дороги и, вышедши на пригорок, увидели весь караван сей,— увидели и ударили. Наши ворвались в середину обоза, и в короткое время семьдесят фур, двести двадцать пять рядовых и шесть офицеров попались к нам в руки. В прибавок к сему мы отбили шестьдесят шесть человек наших пленных и двух кирасирских офицеров раненых: Соковнина и Шатилова. Сии последние сидели в закрытой фуре, и, услыша выстрелы вокруг себя, приподняли крышу и дали знать казакам, что они русские офицеры. Кто не выручал своих пленных из-под ига неприятеля, тот не видал и не чувствовал истинной радости!

Двенадцатого партия отошла в Дубраву. Едва мы расположились на ночлег, как увидели едущих к нам коляску и телегу. Это был юхновский дворянский предводитель Храповицкий и обратный курьер мой из главной квартиры. Пакетов была куча; один из них был с печатью светлейшего на мое имя. В сем пакете находился рескрипт от него ко мне с рескриптом Храповицкому и особый пакет с извещением о разбитии неприятельского авангарда 6-го числа. Хотя некоторые бумаги были от 10-го, в оных ничего не было положительного об отступлении французской армии, выступившей из Москвы уже 7-го числа. При этих пакетах было много писем от *старых* и *новых* приятелей и друзей, которые осыпали меня такими похвалами, что я едва не возмечтал быть вторым Спартакием...

К умалению обратили меня проклятый генерал Эверс, посланный из Вязьмы к Юхнову, и непростительная собственная моя оплошность. Вот как дело было: 13-го мы пришли в Кикино, где праздновали на-

граждения, привезенные курьером, и слишком рано вздумали отдыхать на недозрелых лаврах. Пикеты следовали примеру партии, а разъезды доезжали лишь до бочки вина, выставленной посредине деревни.

Четырнадцатого мы отправили обратно в Юхнов дворянского предводителя и перешли в село Лосмино в том же *расположении духа и разума,* как и накануне; но едва успели мы сделать привал, как вчетверо сильнее нас неприятель подошел в виду деревни. Будь он отважнее, поражение наше было бы неизбежно. Но вместо того чтобы авангарду его ударить с криком в деревню, где все мы были в разброде, неприятель открыл по нас огонь из орудий и стал занимать позицию! Первое подняло нас на ноги, а второе — исправило следствие постыдного моего усыпления, ибо хотя я видел две густые колонны, но, уверен будучи, что в таковых обстоятельствах *наглость* полезнее *нерешимости,* называемой трусами *благоразумием,* я пошел в бой без оглядки. Когда же пленные, взятые передовыми наездниками, удостоверили нас, что отряд сей не что иное, как сволочь всякого рода [41], тогда казаки мои так ободрились, что преступили меру нужной отважности и едва не причинили более вреда, нежели пользы.

Авангард мой ударил на авангард неприятеля и опрокинул его, но, быв, в свою очередь, опрокинут бросившимися вперед неприятельскими двумя эскадронами, он, вместо того чтобы уходить врассыпь на один из флангов подвигавшейся вперед моей партии (как всегда у меня водилось), перемешался с неприятелем и скакал в расстройстве прямо на партию: если б я не принял круто вправо, то вся сия толпа вторглась бы в средину ее и замешала бы ее без сомнения. К счастию, означенный поворот партии, вовремя исполненный, поправил дело, ибо неприятель, гнавшийся за авангардом, был принят одною частию партии во фланг и, в свою очередь, обращен вспять. Тогда, воспаленные и успехом, и вином, и надеждою на добычу, едва все полки мои не бросились в преследование. Нужно было все старание, всю деятельность моих товарищей — Храповицкого, Чеченского, Бедряги, Бекетова, Макарова и казацких офицеров,— чтобы разом обуздать порыв их и осадить на месте.

Видя, что неприятель не только не смутился отражением своего авангарда, но, получив новое подкрепление со стороны Вязьмы, двинулся вперед с решимостию, я решился не противиться его стремлению и отступить тем порядком или, лучше сказать, тем беспорядком, который я испробовал в Андреянах. Вследствие чего я объявил рассыпное отступление и назначил сборным местом село Красное, за рекою Угрою, известное уже казакам моим. По данному сигналу все рассыпалось и исчезло! Одна сотня, оставленная с хорунжиим Александровым для наблюдения за неприятелем, продолжала перестреливаться и отступать на Ермаки к Знаменскому, дабы заманить неприятеля в другую сторону той, куда партия предприняла свое направление. На рассвете все уже были в Красном, кроме сотни Александрова, которая, соединясь в Ермаках с моей пехотой, отступила с нею вместе в Знаменское, занимаемое поголовным ополчением.

Шестнадцатого, в ночь, я получил известие от начальника сего ополчения капитана Бельского о том, что 16-го, поутру, неприятель, подошедши к последнему селу, намеревался его занять, но, увидя в нем много пехоты, выстрелил несколько раз из орудий и отступил в Ермаки. Тогда только я узнал от пленных, приведенных ко мне со стороны сел Козельска и Крутого, что неприятельская армия выступила из Москвы, но по какому направлению и с каким предположением, мне было не известно.

Семнадцатого я выступил на Ермаки, в том намерении, чтобы, продолжая поиски к стороне Вязьмы, всегда находиться на дороге к Юхнову, откуда я получал все известия из армии, ныне, по выступлении неприятеля из Москвы, сделавшиеся столь для меня необходимыми. Я рассчитывал так, что ежели армия наша возьмет поверхность над неприятельской армией, то последняя не минует того пространства земли, на коей я находился; и что, будучи впереди ее, я всегда буду в состоянии, сколько возможно, преграждать ее отступлению. Если же армия наша потерпит поражение, то непременно отступит к Калуге, вследствие чего и я отступлю к Юхнову или к Серпейску.

Перейдя чрез Угру, авангард мой дал мне знать, что, будучи атакован неприятелем под Ермаками, он

с поспешностию отступает, и что неприятель в больших силах за ним следует с чрезмерною наглостию. Я рассудил послать к нему на подмогу одну сотню, а всю партию переправить обратно чрез Угру.

Едва успел я перебраться на левый берег оной, как увидел вдали дым выстрелов и скачку кавалерии. Это была погоня за моим авангардом. Вскоре показались на горизонте две черные колонны неприятельские, идущие весьма быстро. Авангард мой прибыл к берегу, бросился вплавь и соединился с партией, а неприятельские передовые войска, остановясь на той стороне реки, стали стрелять из ружей и пистолетов, в одно время как часть оных искала броду выше того места, где находилась партия моя. Я увидел по сему, что стремление неприятеля не ограничится рекою, и потому взял меры к отступлению на Федотково. Вследствие чего и дабы совершить оное безопаснее, я немедленно послал три разъезда, по десяти казаков каждый: один на Кузнецово к селу Козельску для открытия левой стороны, дабы никакой другой неприятельский отряд не мог сбоку помешать моему отступлению, второй — в Федотково, для открытия дороги, которую партия избрала, и для приготовления оной продовольствия, а третий — в Знаменское, с повелением Бельскому оставить немедленно сие село с поголовным ополчением и с моею пехотою и поспешнее следовать по Юхновской дороге к селу Слободке. Сам же, желая выиграть время, пока неприятель дойдет до реки и будет чрез оную переправляться, двинулся рысью в три колонны и в два коня, чтобы по средству длины колонн показаться сильнее, нежели я был действительно. Сначала все шло удачно: перестрелка умолкла, и мы продолжали путь беспрепятственно, но едва успели пройти около семи верст, как оба первые разъезда во всю прыть прибыли к нам навстречу и уведомили меня, первый: что другая конная неприятельская колонна идет на дорогу, по коей я следую; а второй: что и в Федотково вступил неприятель. В доказательство первому известию неприятель стал уже показываться с левой стороны, а последнее подтвердил мне прибывший из Федоткова конный крестьянин, который сам видел неприятеля, вступившего в село, и с тем оттуда выехал, чтобы меня уведомить. Обстоятель-

ства представлялись не в розовом цвете! Долгое размышление было неуместно; я немедленно, поворотя вправо на Борисенки и переправясь чрез Угру при Кобелеве, прибыл в Воскресенское, находящееся на границе Медынского уезда, возле дороги из Юхнова в Гжать.

На марше моем один урядник и два казака были посланы к Бельскому с повелением не останавливаться уже в Слободке, отступить к Климовскому заводу; сим же посланным велено было поспешнее проехать в Юхнов для уведомления дворянского предводителя, что партия отступает в Воскресенское и чтобы все бумаги, которые будут адресованы на мое имя из главной квартиры, были посылаемы прямо в означенное село.

Двадцатого, поутру, я получил уведомление от дежурного генерала об отступлении неприятеля из Малоярославца и о следовании его на Гжать и Смоленск[42]. Этого надлежало ожидать: внезапное умножение неприятельских отрядов и обозов с некоторого времени между Вязьмою и Юхновым достаточно могло удостоверить в незамедленном отступлении всей неприятельской армии. Несмотря на это, я не мог бы тронуться с места, если бы светлейший не отрядил после Малоярославского дела всю легкую свою конницу наперерез неприятельским колоннам, идущим к Вязьме. Появление большой части легкого войска с атаманом Платовым и с графом Орловым-Денисовым на пространстве, где я шесть недель действовал и которое в сие время находилось уже во власти неприятельских отрядов, принудило их удалиться частию к Вязьме, а частию к Дорогобужу и тем освободило меня из заточения в Воскресенском. Без сомнения, я лично много обязан сей спасительной мысли; но если бы уважили неоднократные представления мои об умножении на сем пространстве числа легких войск с начала занятия Тарутина, тогда отряды, потеснившие меня почти до Юхнова, или не смели бы явиться на пространстве, столь впоследствии необходимом для нашей армии, и опустошать оное, или попались бы немедленно в руки нашим партиям. Как бы то ни было, исправлять прошедшее было поздно; следовало пользоваться настоящим, и я немедленно послал Бельскому пове-

ление поспешнее двинуться в Знаменское, где соединился с ним того же числа вечером.

Двадцать первого я оставил поголовное ополчение на месте и, присоединя регулярную пехоту к партии, выступил в два часа утра по Дорогобужской дороге на село Никольское, где, сделав большой привал, продолжал следовать далее. От направления сего я попался между отрядами двух генерал-адъютантов: графа Ожаровского и графа Орлова-Денисова [43]; первый прислал ко мне гвардии ротмистра (что ныне генерал-лейтенант) Палицына, дабы выведать, не можно ли ему прибрать меня к рукам, а последний еще от 19-го числа прислал офицера отыскивать меня для объявления, что если я не имею никакого повеления от светлейшего после 20 октября, то чтобы немедленно поступил в его команду.

Уверен будучи, что звание партизана не освобождает от чинопослушания, но с сим вместе и позволяет некоторого рода хитрости, я воспользовался разновременным приездом обоих присланных и объявил первому о невозможности моей служить под командою графа Ожаровского по случаю получения повеления от графа Орлова-Денисова поступить под его начальство, а второго уверил, что я уже поступил под начальство графа Ожаровского и, вследствие повеления его, иду к Смоленской дороге.

Между тем я не счел не только предосудительным, но даже приличным солдатской гордости просить генерала Коновницына довести до сведения светлейшего неприятность, которою я угрожаем. «Имев счастие,— писал я ему,— заслужить в течение шестинедельного моего действия особенное его светлости внимание, мне чрезмерно больно, при всем уважении моем к графу Орлову-Денисову и к графу Ожаровскому, поступить в начальство того или другого, получив сам уже некоторый навык к партизанской войне, тогда как я вижу, что в то же время поручают команды людям, хотя по многим отношениям достойным, но совершенным школьникам в сем роде действия». Я заключал письмо мое изложением выгод размножения, а не сосредоточивания партий при тогдашних обстоятельствах, и послал урядника Крючкова с пятью казаками в главную квартиру, находившуюся, по известиям, около Вязьмы.

Я приказал ему искать меня к 23-му числу около села Гаврикова, чрез которое я намерен был следовать после поиска моего к селу Рыбкам

Того же числа, то есть 21-го, около полуночи, партия моя прибыла за шесть верст от Смоленской дороги и остановилась в лесу без огней, весьма скрытно. За два часа пред рассветом мы двинулись на Ловитву. Не доходя за три версты до большой дороги, нам уже начало попадаться несметное число обозов и туча мародеров. Все мы били и рубили без малейшего сопротивления. Когда же достигли села Рыбков, тогда попали в совершенный хаос! Фуры, телеги, кареты, палубы, конные и пешие солдаты, офицеры, денщики и всякая сволочь,— все валило толпою. Если бы партия моя была бы вдесятеро сильнее, если бы у каждого казака было по десяти рук, и тогда невозможно было бы захватить в плен десятую часть того, что покрывало большую дорогу. Предвидя это, я решился, еще пред выступлением на поиск, предупредить в том казаков моих и позволить им не заниматься взятием в плен, а, как говорится, *катить головнею* по всей дороге. Скифы мои не требовали этому подтверждения; зато надо было видеть ужас, объявший всю сию громаду путешественников! Надо было быть свидетелем смешения криков отчаяния с голосом ободряющих, со стрельбою защищающихся, с треском на воздух взлетающих артиллерийских палубов [44] и с громогласным *ура* казаков моих! Свалка эта продолжалась с некоторыми переменами до времени появления французской кавалерии, а за нею и гвардии [45].

Тогда я подал сигнал, и вся партия, отхлынув от дороги, начала строиться. Между тем гвардия Наполеона, по средине коей он сам находился, подвигалась. Вскоре часть кавалерии бросилась с дороги вперед и начала строиться с намерением отогнать нас далее. Я весьма уверен был, что бой не по силе, но страшно хотелось погарцевать вокруг его императорского и королевского величества и первому из отдельных начальников воспользоваться честью отдать ему прощальный поклон за посещение его. Правду сказать, свидание наше было недолговременно; умножение кавалерии, которая тогда была еще в положении довольно изрядном, принудило меня вскоре оставить боль-

шую дорогу и уступить место громадам, валившим одна за другою. Однако во время сего перехода я успел, задирая и отражая неприятельскую кавалерию, взять в плен с бою сто восемьдесят человек и двух офицеров и до самого вечера конвоевал императора французов и протектора Рейнского союза с приличной почестью.

Двадцать третьего числа я, перешед речку Осму, предпринял поиск на Славково, где снова столкнулся с старою гвардиею. Часть оной расположена была на биваках, а часть в окрестных деревушках. Внезапное и шумное появление наше из скрытного местоположения причинило большую сумятицу в войсках. Все бросилось к ружью; нам сделали даже честь стрелять по нас из орудий. Перестрелка продолжалась до вечера без значительной с нашей стороны потери. Вечером прибыло несколько эскадронов неприятельской кавалерии, но с решительным намерением не сражаться, ибо, сделав несколько движений вправо и влево колоннами, они, выслав фланкеров, остановились, а мы, забрав из оных несколько человек, отошли в Гаврюково. Поиск сей доставил нам со взятыми фланкерами сто сорок шесть человек фуражиров, трех офицеров и семь провиантских фур с разною рухлядью; успех не важный относительно добычи, но важный потому, что опроверг намерение Наполеона внезапно напасть со всею армиею на авангард наш; по крайней мере, так можно заключить по циркуляру, посланному от Бертье ко всем корпусным командирам. Нападение сие, будучи основано на тайне и неведении с нашей стороны о местопребывании всех сил неприятеля, не могло уже быть приведено в исполнение, коль скоро завеса была сорвана моею партиею.

Поутру 24-го числа я получил от генерала Коновницына разрешение действовать отдельно и повеление поспешно следовать к Смоленску. Посланный сей уведомил меня о счастливом сражении при Вязьме 22-го числа и о шествии вслед за мной партий Сеславина и Фигнера, в одно время как Платов напирал на арьергард неприятеля с тыла. Получа повеление сие, я не мог уже тащить за собою храбрую пехоту мою, состоявшую еще в ста семидесяти семи рядовых и двух унтер-офицерах; почему я расстался с нею на дороге от

Гаврюкова и отправил ее в Рославль к начальнику ополчения Калужской губернии.

Теперь я касаюсь до одного случая с прискорбием, ибо он навлекает проклятие на русского гражданина. Но долг мой говорить все то, что я делал, в чем кому содействовал, кто в чем мне содействовал и чему я был свидетелем. Пусть время поставит каждого на свое место.

Около Дорогобужа явился ко мне вечером Московского гренадерского полка отставной подполковник Маслеников, в оборванном мужичьем кафтане и в лаптях. Будучи знаком с Храповицким с детства своего, свидание их было дружеское; вопросы следовали один за другим, и, как вопросы того времени, все относились к настоящим обстоятельствам. Он рассказывал свое несчастие: как не успел выехать из села своего и был захвачен во время наводнения края с его приливом неприятельской армии, как его ограбили и как он едва спас последнее имущество свое испрошением себе у *вяземского* коменданта охранного листа. Знав по опытам, сколько охранные листы бесполезны к охранению, мы любопытствовали видеть лист сей, но как велико было наше удивление, когда мы нашли в нем, что г. Маслеников освобождается от всякого постоя и реквизиций в уважение обязанности, добровольно принятой им на себя, *продовольствовать* находившиеся в Вязьме и проходившие чрез город сей французские войска. Приметя удивление наше, он хотя с замешательством, но спешил уверить нас, что эта статья поставлена единственно для спасения его от грабительства и что он никогда и ничем не снабжал войска французского в Вязьме.

Сердца наши готовы были извинить его: хотя русский, он мог быть слабее другого духом, прилипчивее другого к интересу и потому мог ухватиться за всякий способ для сохранения своей собственности. Мы замолчали, а он, приглася нас на мимоходный завтрак, отправился в село свое, расстоящее в трех верстах от деревни, в коей мы ночевали.

На рассвете изба моя окружилась просителями; более ста пятидесяти крестьян окрестных сел пали к ногам моим с просьбою на Масленикова, говоря: «Ты увидишь, кормилец, село его, ни один *хранц* (то есть

франц или француз) до него не дотронулся, потому что он с ними же грабил нас и посылал все в Вязьму,— всех разорил; у нас ни синь-пороха не осталось по его милости!» Это нас всех взорвало.

Я велел идти за мною как окружавшим избу мою, так и встретившимся со мною на дороге просителям.

Приехав в село Масленикова, я поставил их скрытно за церковью и запретил им подходить ко двору прежде моего приказания. Казалось, мы вступили на благословенный остров, оставшийся от всеобщего потопления! Село, церковь, дом, избы и крестьяне — все было в цветущем положении! Я уверился в справедливости доноса и, опасаясь, чтобы после ухода моего страдальцы сами собой управы не сделали и тем не подали пример другим поселянам к мятежу и безначалию, что в тогдашних обстоятельствах было бы разрушительно и совершенно пагубно для России, я решился обречь себя в преступники и принять ответственность за подвиг беззаконный, хотя спасительный!

Между тем товарищи мои сели за сытный завтрак... Я не ел, молчал и даже не глядел на все лишние учтивости хозяина, который, чувствуя вину свою и видя меня сумрачным и безмолвным, усугублял их более и более. После завтрака он показал нам одну горницу, нарочно, как кажется, для оправдания себя приготовленную: в ней все мебели были изломаны, обои оборваны и пух разбросан по полу. «Вот,— говорил он,— вот что эти злодеи французы наделали!»

Я, продолжая молчание, подал потаенно от него знак вестовому моему, чтобы позвал просителей, и вышел на улицу будто бы садиться на конь и продолжать путь мой. Когда на улице показалась толпа просителей, я, будто не зная, что они за люди, спросил: «Кто они такие?» Они отвечали, что окрестные крестьяне, и стали жаловаться на Масленикова, который уверял, что они изменники и бунтовщики, но бледнел и трепетал. «Глас божий — глас народа!» — отвечал я ему и немедленно велел казакам разложить его и дать двести ударов нагайками.

По окончании экзекуции я спросил крестьян, довольны ли они? И когда передний из них начал требовать возвращения похищенного, то, чтобы прервать все претензии разом, я его взял за бороду и, ударив

нагайкою, сказал сердито и грозно: «Врешь! Этого быть не может. Вы знаете сами, что похищенное все уже израсходовано французами,— где его взять? Мы все потерпели от нашествия врагов, но что бог взял, то бог и даст. Ступайте по домам, будьте довольны, что разоритель ваш наказан, как никогда помещиков не наказывали, и чтобы я ни жалоб и ни шуму ни от одного из вас не слыхал. Ступайте!»

После сего сел на конь и уехал.

Теперь обратимся к военным действиям.

Размещение отдельных отрядов около 24-го и 25-го чисел, то есть во время нахождения главной квартиры французской армии в Дорогобуже, было следующее:

Князь Яшвиль, командовавший отрядом калужского ополчения, встретя в Ельне дивизию Бараге-Дильера, находился на обратном марше в Рославль. Генерал-лейтенант Шепелев с калужским ополчением, шестью орудиями и тремя казачьими полками — в Рославле.

Отряд графа Орлова-Денисова был на марше от Вязьмы чрез Колпитку и Волочек к Соловьевой переправе. Партия моя — вслед за оной на марше из Гаврюкова чрез Богородицкое и Дубовище к Смоленску.

Отряд графа Ожаровского от Юхнова и Знаменского — на марше чрез Балтутино в Вердебяки. Партии Фигнера и Сеславина — от Вязьмы к Смоленску, вслед за моею партией, но ближе к главным колоннам неприятельской армии. Отряд атамана Платова — вслед за арьергардом неприятеля, около Семлева.

Отряд генерала Кутузова [46] — между Гжатью и Сычевкой, в направлении к Николе-Погорелову и к Духовщине. По тому же направлению, но ближе к неприятелю,— партия Ефимова.

Пока покушался я занять большую дорогу у села Рыбков и производил поиск на Славково, граф Орлов-Денисов опередил меня, так что едва усиленными переходами я мог достичь его 25-го числа в селе Богородицком и то уже в минуту выступления его к Соловьевой переправе. Оставя мою партию на марше, я явился к графу с рапортом. Он меня принял, хотя и ласково, но при всем том весьма приметно было, сколь тревожил его вид подполковника, ускользнувшего от владычества генерал-адъютанта и пользовавшегося одинакими с ними правами. Дабы хотя на время ис-

править противоестественное положение сие, он пригласил меня идти вместе с ним к Соловьевой переправе, предсказывая и обещая мне, если я не последую за ним, несчастные успехи. Но я, помня лесистые места около Соловьева и быв убежден в бесполезности сего поиска, отказался, представив ему полученное мною повеление идти к Смоленску. К тому же, прибавил я, изнурение лошадей принуждает меня дать отдых моей партии, по крайней мере часа на четыре. На сие граф, усмехнувшись, сказал: «Желаю вам спокойно *отдыхать!»* — и поскакал к своему отряду, который уже вытягивался по дороге.

Я расчел верно. Покушение графа Орлова-Денисова не принесло ожидаемой им пользы, и он принужденным нашелся обратиться к прежнему пути своему. Если б партия моя была сильнее, дорого бы он заплатил за свою усмешку и долго бы помнил залет свой к Соловьеву, ибо в продолжение сего времени я открыл отряд генерала Ожеро́ в Ляхове и смог бы сделать один то, что сделал под командою графа. 26-го, на марше к Дубовищам, я приметил, что авангард мой бросился в погоню за конными французами. Вечернее время и туманная погода не позволили ясно рассмотреть числа неприятеля, почему я, стянув полки, велел взять дротики наперевес и пошел рысью вслед за авангардом. Но едва вступил в маленькую деревушку, которой я забыл имя, как увидел несколько авангардных казаков моих, ведущих ко мне лейб-жандармов французских (Gendarmes d'élite). Они объявили мне о корпусе Бараге-Дильера, расположенном между Смоленском и Ельнею, и требовали свободы, поставляя на вид, что дело их не сражаться, а сохранять порядок в армии. Я отвечал им: «Вы вооружены, вы французы, и вы в России; следовательно, молчите и повинуйтесь!»

Обезоружа их, я приставил к ним стражу и приказал при первом удобном случае отослать их в главную квартиру; а так как уже было поздно, то мы расставили посты и остановились на ночлег.

Спустя час времени соединились со мною Сеславин и Фигнер [47].

Я уже давно слышал о варварстве сего последнего, но не мог верить, чтобы оно простиралось до убий-

ства врагов обезоруженных, особенно в такое время, когда обстоятельства отечества стали исправляться и, казалось, никакое низкое чувство, еще менее мщение, не имело места в сердцах, исполненных сильнейшею и совершеннейшею радостью! Но едва он узнал о моих пленных, как бросился просить меня, чтобы я позволил *растерзать* их каким-то новым казакам его, которые, как говорил он, еще *не натравлены.* Не могу выразить, что почувствовал я при противуположности слов сих с красивыми чертами лица Фигнера и взором его — добрым и приятным! Но когда вспомнил превосходные военные дарования его, отважность, предприимчивость, деятельность — все качества, составляющие необыкновенного воина,— я с сожалением сказал ему: «Не лишай меня, Александр Самойлович, заблуждения. Оставь меня думать, что великодушие есть душа твоих дарований; без него они — вред, а не польза, а как русскому, мне бы хотелось, чтобы у нас полезных людей было побольше».

Он на это сказал мне: «Разве ты не расстреливаешь?» — «Да,— я говорил,— расстрелял двух изменников отечеству, из коих один был грабитель храма божия».— «Ты, верно, расстреливал и пленных?» — «Боже меня сохрани! Хоть вели тайно разведать у казаков моих».— «Ну, так походим вместе,— он отвечал мне,— тогда ты покинешь все предрассудки».— «Если солдатская честь и сострадание к несчастию — предрассудки, то их предпочитаю твоему рассудку!» — «Послушай, Александр Самойлович,— продолжал я.— Я прощаю смертоубийству, коему причина — заблуждение сердца огненного; возмездие души гордой за презрение, оказанное ей некогда спесивой ничтожностию; лишняя страсть к благу общему, часто вредная, но очаровательная в великодушии своем! И пока вижу в человеке возвышенность чувств, увлекающих его на подвиги отважные, безрассудные и даже бесчеловечные,— я подам руку сему благородному чудовищу и готов делить с ним мнение людей, хотя бы чести его приговор написан был в сердцах всего человечества! Но презираю убийцу по расчетам или по врожденной склонности к разрушению».

Мы замолчали. Однако, опасаясь, чтобы он не велел похитить ночью пленных моих, я, под предлогом

отдавать приказания партии, вышел из избы, удвоил секретно стражу, поручил сохранение их на ответственность урядника, за ними надзиравшего, и отослал их рано поутру в главную квартиру.

Мы часто говорим о Фигнере — сем странном человеке, проложившем кровавый путь среди людей, как метеор всеразрушающий. Я не могу постичь причину алчности его к смертоубийству! Еще если бы он обращался к оному в критических обстоятельствах, то есть посреди неприятельских корпусов, отрезанный и теснимый противными отрядами и в невозможности доставить взятых им пленных в армию. Но он обыкновенно предавал их смерти не во время опасности, а освободясь уже от оной; и потому бесчеловечие сие вредило ему даже и в макиавеллических расчетах его, истребляя *живые грамоты* его подвигов. Мы знали, что он истинно точен был в донесениях своих и, действительно, забирал и истреблял по триста и четыреста нижних и вышних чинов, но посторонние люди, линейные и главной квартиры чиновники, всегда сомневались в его успехах и полагали, что он только бьет на бумаге, а не на деле. Ко всему тому таковое поведение вскоре лишило его лучших офицеров, вначале к нему приверженных. Они содрогнулись быть не токмо помощниками, но даже свидетелями сих бесполезных кровопролитий, и оставили его с одним его *сеидом* — Ахтырского гусарского полка унтер-офицером Шиановым, человеком неустрашимым, но кровожаждущим и по невежеству своему надеявшимся получить царство небесное за истребление неприятеля каким бы то образом ни было.

В ночь возвратились разъездные мои, посланные к селу Ляхову, и уведомили меня, что как в нем, так и в Язвине находятся два сильных неприятельских отряда, что мне подтвердил и приведенный ими пленный, уверяя, что в первом селе стоит генерал Ожеро́ с двумя тысячами человек пехоты и частью кавалерии.

Мы решились атаковать Ляхово. Но так как все три партии не составляли более тысячи двухсот человек разного сбора конницы, восьмидесяти егерей 20-го егерского полка и четырех орудий, то я предложил пригласить на удар сей графа Орлова-Денисова, которого партия состояла из шести полков ка-

зачьих и Нежинского драгунского полка, весьма слабого, но еще годного для *декорации какого-нибудь возвышения.*

Немедленно я послал к графу письмо пригласительное: «По встрече и разлуке нашей я приметил, граф, что вы считаете меня непримиримым врагом всякого начальства; кто без властолюбия? И я, при малых дарованиях моих, более люблю быть первым, нежели вторым, а еще менее четвертым. Но властолюбие мое простирается до черты общей пользы. Вот пример вам: я открыл в селе Ляхове неприятеля, Сеславин, Фигнер и я соединились. Мы готовы драться. Но дело не в драке, а в успехе. Нас не более тысячи двухсот человек, а французов две тысячи и еще свежих. Поспешите к нам в Белкино, возьмите нас под свое начальство — и ура! с богом!»

Двадцать седьмого числа мы были на марше. Вечером я получил от графа ответ. Он писал: «Уведомление о движении вашем в Белкино я получил. Вслед за сим и я следую для нападения на неприятеля; но кажется мне, что атака наша без присоединения ко мне командированных мною трех полков, которые прибыть должны чрез два часа, будет не наверное; а потому не худо бы нам дождаться и действовать всеми силами».

Двадцать восьмого, поутру, Фигнер, Сеславин и я приехали в одну деревушку, занимаемую полком Чеченского, верстах в двух от Белкина. Вдали было видно Ляхово, вокруг села биваки; несколько пеших и конных солдат показывались между избами и шалашами, более ничего не можно было заметить. Спустя полчаса времени мы увидели неприятельских фуражиров в числе сорока человек, ехавших без малейшей осторожности в направлении к Таращину. Чеченский послал в тыл им лощиною сотню казаков своих. Фуражиры приметили их, когда уже было поздно. Несколько спаслось бегством, бо́льшая часть, вместе с офицером (адъютантом генерала Ожеро́), сдалась в плен. Они подтвердили нам известие о корпусе Бараге-Дильера и об отряде генерала Ожеро́, кои, невзирая на следование отряда графа Ожаровского, прошедшего 27-го числа Балтутино на Рославльскую дорогу, остались неподвижными, хотя Балтутино от Ляхова не более как в семнадцати, а от Язвина в девяти верстах.

Вскоре из Белкина подошла ко мне вся партия моя, и граф Орлов-Денисов явился на лихом коне с вестовыми гвардейскими казаками. Он известил нас, что командированные им три полка прибыли и что вся его партия подходит. Поговоря со мною, как и с которой стороны будем атаковать, он повернулся к Фигнеру и Сеславину, которых еще партии не прибыли на место, и сказал: «Я надеюсь, господа, что вы нас поддержите». Я предупредил ответ их: «Я за них отвечаю, граф; не русским — выдавать русских». Сеславин согласился от всего сердца, но Фигнер с некоторою ужимкой, ибо один любил опасности, как свою стихию, другой — не боялся их, но любил сквозь них видеть собственную пользу без раздела ее с другими. Спустя час времени все партии наши соединились, кроме восьмидесяти егерей Сеславина; а так как мне поручена была честь вести передовые войска, то я, до прибытия егерей, велел выбрать в стрелки казаков, имевших ружья, и пошел к Ляхову, следуемый всеми партиями.

Направление наше было наперерез Смоленской дороге, дабы совершенно преградить отряду Ожеро́ отступление к Бараге-Дильеру, занимавшему Долгомостье.

Коль скоро начали мы вытягиваться и подвигаться к Ляхову, все в селе этом пришло в смятение; мы услышали барабаны и ясно видели, как отряд становился в ружье; стрелки отделялись от колонн и выбегали из-за изб к нам навстречу. Немедленно я спе́шил казаков моих и завязал дело. Полк Попова 13-го и партизанскую мою команду развернул на левом фланге спешенных казаков, чтобы закрыть движение подвигавшихся войск наших, а Чеченского с его полком послал на Ельненскую дорогу, чтобы пресечь сообщение с Ясминым, где находился другой отряд неприятеля. Последствия оправдали эту меру.

Сеславин прискакал с орудиями к стрелкам моим, открыл огонь по колоннам неприятельским, выходившим из Ляхова, и продвинул гусар своих для прикрытия стрелков и орудий. Партии его и Фигнера построились позади сего прикрытия. Граф Орлов-Денисов расположил отряд свой на правом фланге партий Фигнера и Сеславина и послал разъезды по дороге в Долгомостье.

Неприятель, невзирая на пушечные выстрелы, выходил из села, усиливал стрелков, занимавших болотистый лес, примыкающий к селу, и напирал на правый фланг наш главными силами. Сеславин сменил пеших казаков моих прибывшими егерями своими и в одно время приказал Ахтырским гусарам, под командою ротмистра Горскина находившимся, ударить на неприятельскую конницу, покусившуюся на стрелков наших. Горскин атаковал,— опрокинул сию конницу и вогнал ее в лес, уже тогда обнаженный от листьев и, следственно, неспособный к укрытию пехоты, стрелявшей для поддержания своей конницы. Стрелки наши бросились за Горскиным и вместе с ним начали очищать лес, а стрелки неприятельские — тянуться из оного чистым полем к правому флангу отряда своего. Тогда Литовского уланского полка поручик Лизогуб, пользуясь их смятением, рассыпал уланов своих и ударил. Проезжая в то время вдоль по линии с правого на левый фланг, я попался между ними и был свидетелем следующего случая.

Один из уланов гнался с саблею за французским егерем. Каждый раз, что егерь прицеливался по нем, каждый раз он отъезжал прочь и преследовал снова, когда егерь обращался в бегство. Приметя сие, я закричал улану: «Улан, стыдно!» Он, не отвечав ни слова, поворотил лошадь, выдержал выстрел французского егеря, бросился на него и рассек ему голову.

После сего, подъехав ко мне, он спросил меня: «Теперь довольны ли, ваше высокоблагородие?» — и в ту же секунду охнул: какая-то бешеная пуля перебила ему правую ногу. Странность состоит в том, что сей улан, получив за подвиг сей георгиевский знак, не мог носить его... Он был бердичевский еврей, завербованный в уланы. Этот случай оправдывает мнение, что нет такого рода людей, который не причастен был бы честолюбия и, следовательно, не способен был бы к военной службе.

Приехав на левый фланг, мне представили от Чеченского взятого в плен кривого гусарского ротмистра, которого я забыл имя, посланного в Ясмино с уведомлением, что ляховский отряд атакован и чтобы ясминский отряд поспешал к нему на помощь. Между тем Чеченский донес мне, что он прогнал обратно в

село вышедшую против него неприятельскую кавалерию, пресек совершенно путь к Ясмину, и спрашивал разрешения: что прикажу учинить с сотнею человек пехоты, засевшей в отдельных от села сараях, стрелявших из оных и не сдающихся? Я велел жечь сараи,— исчадье Чингисханово — сжечь и сараи и французов!

Между тем граф Орлов-Денисов уведомлен был, что двухтысячная колонна спешит по дороге от Долгомостья в тыл нашим отрядам, и что наблюдательные войска его, на сей дороге выставленные, с поспешностию отступают. Граф, оставя нас продолжать действие против Ожеро́, взял отряд свой и немедленно обратился с ним на кирасиров, встретил их неподалеку от нас, атаковал, рассеял и, отрядив полковника Быхалова с частию отряда своего для преследования оных к Долгомостью, возвратился к нам под Ляхово.

Вечерело. Ляхово в разных местах загорелось; стрельба продолжалась...

Я уверен, что если бы при наступлении ночи генерал Ожеро́ свернул войска свои в одну колонну, заключа в средину оной тяжести отряда своего, и подвинулся бы таким порядком большою дорогою к Долгомостью и к Смоленску,— все наши покушения остались бы тщетными. Иначе ничего сделать мы не могли, как конвоировать его торжественно до корпуса Бараге-Дильера и откланяться ему при их соединении.

Вместо того мы услышали барабанный бой впереди стрелковой линии и увидали подвигавшегося к нам парламентера. В это время я ставил на левом моем фланге между отдельными избами присланное мне от Сеславина орудие и готовился стрелять картечью по подошедшей к левому моему флангу довольно густой колонне. Граф Орлов-Денисов прислал мне сказать, чтобы я прекратил действие и дал бы о том знать Чеченскому, потому что Фигнер отправился уже парламентером — к Ожеро́ в Ляхово.

Переговоры продолжались не более часа. Следствие их было — сдача двух тысяч рядовых, шестидесяти офицеров и одного генерала военнопленными.

Наступила ночь; мороз усилился; Ляхово пылало; войска наши, на коне, стояли по обеим сторонам дороги, по которой проходили обезоруженные французские

войска, освещаемые отблеском пожара. Болтовня французов не умолкала: они ругали мороз, генерала своего, Россию, нас; но слова Фигнера: «filez, filez» (пошел! пошел!) покрывали их нескромные выражения. Наконец Ляхово очистилось, пленные отведены были в ближнюю деревеньку, которой я забыл имя, и мы вслед за ними туда же прибыли.

Тут мы забыли слова Кесаря: *«Что не доделано, то не сделано».* Вместо того чтобы немедленно идти к Долгомостью на Бараге-Дильера, встревоженного разбитием кирасиров своих, или обратиться на отряд, стоявший в Ясмине, мы все повалились спать и, проснувшись в четыре часа утра, вздумали писать реляцию, которая, как будто в наказание за лень нашу, послужила в пользу не нам, а Фигнеру, взявшему на себя доставление пленных в главную квартиру и уверившему светлейшего, что он *единственный* виновник сего подвига. В награждение за оный он получил позволение везти известие о сей победе государю императору, к коему он немедленно отправился. После сего можно догадаться, в славу кого представлено было дело, о котором сам светлейший своеручно прибавил:

«Победа сия тем более знаменита, что в первый раз в продолжение нынешней кампании неприятельский корпус положил пред нами оружие».

Двадцать девятого партия моя прибыла в Долгомостье и тот же день пошла к Смоленску. Поиск я направил между дорогами Ельненской и Мстиславской, то есть между корпусами Жюно и Понятовского, которые на другой день долженствовали выступить в Манчино и Червонное. Этот поиск доставил нам шесть офицеров, сто девяносто шесть артиллеристов без орудий и до двухсот штук скота, употребляемых для возки палубов; но дело шло не о добыче. В сем случае намерение мое переступало за черту обыкновенных партизанских замыслов. Я предпринял залет свой единственно в тех мыслях, чтобы глазами своими обозреть расположение неприятельской армии и по сему заключить о решительном направлении оной. Мнение мое всегда было то, что она пойдет правым берегом Днепра на Катань, а не левым на Красный; единственный взгляд на карту покажет выгоду одного и опас-

ность другого пути при движении нашей армии к Красному.

Корпуса Жюно и Понятовского, хотя весьма слабые, но были для меня камнем преткновения; да если бы я мог и беспрепятственно пробраться до Красненской дороги, и тогда я не открыл бы более того, что уже я открыл на дорогах Ельненской и Мстиславской, ибо впоследствии я узнал, что в то время бóльшая часть неприятельской армии находилась еще между Соловьевой переправой, Духовщиной и Смоленском, на правом берегу Днепра. На сию же сторону прибыли только старая и молодая гвардия, занявшие Смоленск, четыре кавалерийские корпуса, слитые в один и расположенные за Красненской дорогой у селения Вильковичах, и два корпуса, между коими я произвел свой поиск.

Так как оружие ни к чему уже служить не могло, то я обратился к дипломатике и старался всеми возможными изворотами выведать от пленных офицеров о сем столь важном решении Наполеона; но и дипломатика изменила мне, ибо по ответам, деланным мне, казалось, что все сии офицеры были не что иное, как бессловесные исполнители повелений главного начальства, ничего не зная о предначертаниях оного...

Соименный мне покоритель Индии (Вакх, иначе Дионизий) подал мне руку помощи. Чарка за чаркою, влитые в глотки моих узников, возбудили их к многоглаголанию. Случилось так, что один из них был за адъютанта при каком-то генерале и только что воротился из Смоленска, куда он ездил за приказаниями и где он видел все распоряжения, принимаемые гвардиею к выступлению из Красного. «Что у трезвого на уме, то у пьяного на языке»,— говорит пословица; откровенность хлынула чрез край, и я все узнал, что мне нужно было узнать, даже и лишнее, ибо к столь любопытному известию он не мог не припутать и рассказы о своих любовных приключениях, которые я принужден был слушать до тех пор, пока мой вития не упал с лошади.

Это известие слишком было важно, чтобы не поспешить доставлением оного к главнокомандующему. Почему я в ту же минуту послал курьера с достаточным прикрытием по Мстиславской дороге, на коей или

в окрестностях коей я полагал главную квартиру. Сам же я остался против встреченных мною войск, отвечая на стрельбу их до тех пор, пока превосходство сил не принудило меня отступить по Мстиславской дороге и провести ночь верстах в пятнадцати от Смоленска. В сии сутки мы прошли, по крайней мере, пятьдесят верст.

Неожиданная встреча и отпор, сделанный мне на ходу к Смоленску, внушили мне мысль достигнуть до Красного [48] посредством большого обхода; к тому же, быв отягчен пленными и двумястами штуками скота, я хотел сдать первых и не оставить без употребления последних в такое время, когда войска наши столь нуждались в пропитании. Вследствие чего я решился коснуться армии и потом продолжать путь мой к Красному. Грубая ошибка! Можно сказать, что расчет мой от дифференциального исчисления при поиске к Смоленску упал в *четвертое* правило арифметики при обратном движении, предпринятом мною *для раздела мясной порции!* И подлинно, взяв направление на Червонное и Манчино, где еще не было неприятеля, я мог быть у Красного 1 ноября, в самый тот день, как дивизия Клапареда, прикрывавшая транспорт трофеев, казну и обозы главной квартиры Наполеона, выступила из Смоленска по сему направлению. Правда, что известие о том дошло до меня весьма поздно; к тому же сколько дивизия сия ни была слаба, все она числом своим превышала мою партию, к тому же она была пехотная, а партия моя — конная. Однако это не отговорка! Господствующая мысль партизанов той эпохи долженствовала состоять в том, чтобы теснить, беспокоить, томить, вырывать, что по силам, и, так сказать, жечь малым огнем неприятеля без угомона и неотступно. Все в прах для сей мысли,— и пленных, и коров!.. Я сберег первых, накормил некоторые корпуса последним,— и виноват постыдно и непростительно.

Итак, пройдя несколько верст по Мстиславской дороге, я встретил лейб-гусарский эскадрон, командуемый штабс-ротмистром Акинфьевым, а в восьми верстах далее нашел несколько пехотных корпусов, расположенных для дневки. Как *корсар,* который после долговременного крейсирования открывает курящиеся

берега родины, так воззрился я в биваки товарищей, так давно мною оставленных. «Берег! Берег!» — подумал я и бросился во всю прыть к избе генерала Раевского. Прием сего с детства моего уважаемого мною и в пылу боев всегда изумлявшего меня героя был таков, какого я ожидал; но посетители его встретили меня иначе; случилось так, что некоторые из них были те самые, которые при вступлении моем в партизаны уверяли меня, что я берусь не за свое дело, полагая оное чрезмерно опасным и не соответствующим моим способностям. Продолжать атаку на пункт, сделавшийся уже неприступным, было бы безрассудно, и потому они переместили батареи свои. Едва я поздоровался с Раевским и некоторыми приятелями моими, как начались улыбки, полунасмешливые взгляды и вопросы насчет двухмесячных трудов моих. Боже мой! Какое напряжение — поравнять службу мою с переездами их от обеда на обед по тарутинской позиции! Иные давали мне чувствовать, что нет никакой опасности действовать в тылу неприятеля; другие, что донесения мои подвержены сомнению; те безмерно хвалили партизанов прошедших войн с тем, чтобы унизить мои поиски; некоторые осуждали светлейшего за то, что дает место в реляциях делам, не достойным внимания; словом, видно было, сколь имя мое, выставленное во всех объявлениях того времени, кололо глаза людям, искавшим в тех же объявлениях имена свои от Немана до Москвы, а от Москвы до Смоленска и осужденным видеть оные в одних расписаниях нашей армии. Огражденный чистой совестью и расписками на три тысячи пятьсот шестьдесят рядовых и сорок три штаб- и обер-офицера, взятых мною от 2 сентября до 23 октября [49], я смеялся над холостым зарядом моих противников и желал для пользы России, чтобы каждый из них мог выручить себя от забвения подобными расписками.

Наделив находившиеся там голодные войска отбитыми мною двумястами штуками скота, я ночевал, не помню в какой-то деревушке, у генерала Раевского, и перед рассветом выступил по направлению к Красному.

Первого ноября на походе я догнал колонну генерала Дохтурова и графа Маркова, которые в то вре-

мя заезжали в какой-то господский дом для привала. Намереваясь вскоре дать отдых партии моей, я указал Храповицкому на ближнюю деревню и приказал ему остановиться в ней часа на два; сам же заехал к генералу Дохтурову, пригласившему меня на походный завтрак. Не прошло четверти часа времени, как Храповицкий прислал мне казака с известием, что светлейший меня требует.

Я никак не полагал столкнуться с главною квартирою в сем направлении; но хо́литься было некогда, я сел на конь и явился к светлейшему немедленно.

Я нашел его в избе; перед ним стояли Храповицкий и князь Кудашев. Как скоро светлейший увидел меня, то подозвал к себе и сказал: «Я еще лично не знаком с тобою, но прежде знакомства хочу поблагодарить тебя за молодецкую твою службу». Он обнял меня и прибавил: «Удачные опыты твои доказали мне пользу партизанской войны, которая столь много вреда нанесла, наносит и нанесет неприятелю».

Я, пользуясь ласковым его приемом, просил извинения в том, что осмелился предстать пред ним в мужицкой моей одежде. Он отвечал мне: «В народной войне это необходимо, действуй, как ты действуешь: головою и сердцем; мне нужды нет, что одна покрыта шапкой, а не кивером, а другое бьется под армяком, а не под мундиром. Всему есть время, и ты будешь в башмаках на придворных балах».

Еще светлейший полчаса говорил со мною, расспрашивал меня о способах, которые я употребил образовать сельское ополчение, об опасностях, в каких я находился, о мнении моем насчет партизанского действия и прочем. В это время вошел полковник Толь с картою и бумагами, и мы вышли из избы.

Я думал, что все кончено, и пошел обедать к знаменитому сладкоеду и обжоре — флигель-адъютанту графу Потоцкому. Но едва успели мы сесть за стол, как вошел в избу лакей фельдмаршала и объявил мне, что светлейший ожидает меня к столу. Я немедленно явился к нему, и мы сели за стол. Нас было шесть человек: сам светлейший, Коновницын, князь Кудашев, Толь, я, недостойный, и один какой-то генерал, которого я забыл и имя, и физиономию. За обе-

дом светлейший осыпал меня ласками, говорил о моих поисках, о стихах моих, о литературе вообще, о письме, которое он в тот день писал к госпоже Сталь в Петербург[50], спросил о моем отце и о моей матери; отца он знал по его остроумию и рассказал некоторые его шутки, мне даже не известные. Мать мою он не знал, но много говорил об отце ее, генерал-поручике Щербинине, бывшем наместником трех губерний при Екатерине. После обеда я напомнил ему о моих подчиненных; он отвечал мне: «Бог меня забудет, если я вас забуду», и велел подать о них записку. Я ковал железо, пока горячо, и представил каждого офицера к двум награждениям. Светлейший беспрекословно все подписал, и я, откланявшись ему, поехал в корчму села сего, где ожидали меня партия моя и брат мой Евдоким, которого я не видал от самого Бородина.

Спустя два часа времени мы выступили в Волково. Извещенный мною из-под Смоленска, а, может, вместе со мною и другими партиями о решительном направлении всей французской армии к Красному, светлейший намеревался атаковать ее на марше и поспешил к окрестностям сего города.

Между 1 и 4 ноября расположение партизанов было следующее:

Второго граф Орлов-Денисов, соединясь со мною, коснулся корпуса Раевского в Толстяках; мы продолжали путь в Хилтичи, куда прибыли к ночи. Отдохнув три часа, мы пошли к Мерлину.

Третьего отряд графа Ожаровского подошел к Куткову, а партия Сеславина, усиленная партиею Фигнера[51], к Зверовичам.

Сего числа, на рассвете, разъезды наши дали знать, что пехотные неприятельские колонны тянутся между Никулиным и Стеснами. Мы помчались к большой дороге и покрыли нашею ордою все пространство от Аносова до Мерлина. Неприятель остановился, дабы дождаться хвоста колонны, бежавшего во всю прыть для сомкнутия. Заметив сие, граф Орлов-Денисов приказал нам атаковать их. Расстройство сей части колонны неприятельской способствовало нам почти беспрепятственно затоптать ее и захватить в плен генералов Альмераса и Бюрта, до двухсот нижних чинов,

четыре орудия и множество обоза. Наконец подошла старая гвардия, посреди коей находился сам Наполеон. Это было уже гораздо за полдень. Мы вскочили на конь и снова явились у большой дороги. Неприятель, увидя шумные толпы наши, взял ружье под курок и гордо продолжал путь, не прибавляя шагу. Сколько ни покушались мы оторвать хотя одного рядового от сомкнутых колонн, но они, как гранитные, пренебрегали все усилия наши и остались невредимыми... Я никогда не забуду свободную поступь и грозную осанку сих всеми родами смерти угрожаемых воинов! Осененные высокими медвежьими шапками, в синих мундирах, в белых ремнях с красными султанами и эполетами, они казались как маков цвет среди снежного поля! Будь с нами несколько рот конной артиллерии и вся регулярная кавалерия, бог знает для чего при армии влачившаяся, то как передовая, так и следующие за нею в сей день колонны вряд ли отошли бы с столь малым уроном, каковой они в сей день потерпели.

Командуя одними казаками, мы жужжали вокруг сменявшихся колонн неприятельских, у коих отбивали отстававшие обозы и орудия, иногда отрывали рассыпанные или растянутые по дороге взводы, но колонны оставались невредимыми.

Видя, что все наши азиатские атаки рушатся у сомкнутого строя европейского, я решился под вечер послать Чеченского полк вперед, чтобы ломать мостики, находящиеся на пути к Красному, заваливать дорогу и стараться всяким образом преграждать шествие неприятеля; всеми же силами, окружая справа и слева и пересекая дорогу спереди, мы перестреливались с стрелками и составляли, так сказать, авангард авангарда французской армии.

Я как теперь вижу графа Орлова-Денисова, гарцующего у самой колонны на рыжем коне своем, окруженного моими ахтырскими гусарами и ординарцами лейб-гвардии казацкого полка. Полковники, офицеры, урядники, многие простые казаки бросались к самому фронту,— но все было тщетно! Колонны валили одна за другою, отгоняя нас ружейными выстрелами, и смеялись над нашим вокруг них безуспешным рыцарством.

В течение дня сего мы еще взяли одного генерала (Мартушевича), множество обозов [52] и пленных до семисот человек; но гвардия с Наполеоном прошла посреди толпы казаков наших, как стопушечный корабль между рыбачьими лодками.

В сумерках Храповицкий едва не попался в плен шедшей близ дороги неприятельской кавалерии. Приняв ее за нашу, он подъехал к самому фронту неприятельскому так близко, что, будучи весьма близорук, мог уже приметить медные *одноглавые* орлы на киверах солдат и офицеров и услышать шепот их. Он бросился прочь во всю прыть; офицеры — за ним, стреляя из пистолетов, и хотя ранили лошадь его, но так легко, что он успел невредимо перелететь, так сказать, чрез яр, в сем месте находящийся, и соединиться с нами. В сем деле у Бекетова была убита лошадь ядром и несколько казаков было ранено.

После сего поиска мы отошли в Хиличи, где граф Орлов-Денисов сдал отряд свой присланному на его место генерал-маиору Бороздину. Из Хиличи я пошел в Палкино и послал сильный разъезд к Горкам с повелением пробираться в Ланники, куда я взял свое направление. В день дела нашего под Мерлиным Сеславин напал на Боево и Ляды, где отбил два магазина и взял много в плен; но в ту же ночь Ожаровский поражен был в селе Куткове. Справедливое наказание за бесполезное удовольствие глядеть на тянувшиеся неприятельские войска и после спектакля ночевать в версте от Красного, на сцене между актерами. Генерал Роге, командовавший молодою гвардиею, подошел к Куткову во время невинного усыпления отряда Ожаровского и разбудил его густыми со всех сторон ружейными выстрелами. Можно вообразить свалку и сумятицу, которая произошла от сего внезапного пробуждения! Все усилия самого Ожаровского и полковника Вуича, чтобы привести в порядок дрогнувшие от страха и столпившиеся в деревне войска их, были тщетны! К счастию, Роге не имел с собою кавалерии, что способствовало Ожаровскому, отступя в Кутково, собрать отряд свой и привести оный в прежде бывший порядок, с минусом половины людей.

Четвертого, в ночи, он прибыл в Палкино, откуда по прибытии его я выступил чрез Боево к Лядам. Око-

ло сего места партия моя снова столкнулась с французами. Тогда подходил к Лядам корпус вице-короля Италианского. Расстройство, понесенное оным на Вопе и между Смоленском и Красным, дозволило нам отбить большое число обозов и взять четыреста семьдесят пять пленных, между коими находилось несколько офицеров. Ночью на 6-е число явились ко мне в Боево Вильманстрандского пехотного полка маиор Ванслов и капитан Тарелкин, ушедшие из плена. Они объявили мне, что Наполеон при них въехал в Дубровну. Я их отослал в главную квартиру и в три часа пополуночи выступил в Ланники.

От самой Вязьмы образ нашей жизни совершенно изменился. Мы вставали в полночь. В два часа пополуночи обедали так плотно, как горожане обедают в два часа пополудни, и в три часа выступали в поход.

Партия шла всегда совокупно, имея авангард, арьергард и еще один отряд со стороны большой дороги, но все сии отделения весьма близко от самой партии. Я ехал между обоими полками иногда верхом, иногда в пошевнях, которые служили мне ночью вместо квартиры и кровати.

Когда не было неприятеля, то за полчаса до сумерков оба полка спешивались и от того приходили на ночлег с выгулявшимися лошадьми, коих немедленно становили к корму. По приведении в устройство всей военной предосторожности мы немедленно ложились спать и во втором часу садились снова за трапезу, на конь и пускались в погоню.

Кочевье на соломе под крышею неба! Вседневная встреча со смертию! Неугомонная, залетная жизнь партизанская! Вспоминаю о вас с любовию и тогда, как покой и безмятежие нежат меня, беспечного, в кругу милого моего семейства! Я счастлив... Но отчего тоскую и теперь о времени, когда голова кипела отважными замыслами и грудь, полная обширнейших надежд, трепетала честолюбием изящным, поэтическим?

О отступлении неприятеля от Красного размещение партизанов было следующее. Отряд Бороздина, заняв Ляды 7-го и Дубровну 8-го, шел к Орше. Отряд графа Ожаровского, пройдя возле большой дороги от Нейкова до Козяков, обращен был к Горкам. Девято-

го Сеславин из селения Грехова, что около Корытни, шел в направлении к Копысу. Как тот, так и другой — в намерении атаковать кавалерийское депо, о коем я узнал только в Ланниках чрез разъездных, посланных мною из Палкина в Горки.

В ночь на 6-е число разъездные мои, посланные в селение Сыву, перехватили рапорт к маршалу Бертье от начальника означенного депо — маиора Бланкара. Узнав о числе войск его по ведомости, приложенной при рапорте, я рассудил, что поиски, предпринимаемые партизанами против отступающих колонн главной армии, могут без осуждения быть неудачными (плетью обуха не перешибешь), но что нападение на отдельную часть, столь необходимую французской армии, каково кавалерийское депо, надлежит произвести с полною уверенностию в успехе, дабы тем лишить кавалерию неприятельскую лучших всадников и почти всего имущества — генералов, штаб- и оберофицеров армии.

Рассуждение сие понудило меня, во-первых, отсрочить нападение на депо ровно вшестеро сильнее моей партии, во-вторых, немедленно отослать перехваченные мною бумаги в главную квартиру, подходившую тогда к Романову (в шестнадцати верстах от меня, то есть от Ланников, где я находился), в-третьих, просить у светлейшего одного полка пехоты и двух орудий на подкрепление и, наконец, в-четвертых, употребить все способы до прибытия требуемых мною войск, чтобы не спускать с глаз означенное депо, дабы, в случае движения его за Днепр, напасть на него с тем, чем бог послал.

В ночь на 8-е число засада, поставленная мною на дороге, из Орши в Горки лежащей, перехватила прежде курьера, а через два часа жида [53], посланных от маршала Бертье к Бланкару с повелением идти наипоспешнее за Днепр. В ту же минуту дали мне знать, что один из разъездов моих, ходивший из Савы к Горкам, вступил беспрепятственно в сие местечко, что вместо депо встретил там отряд графа Ожаровского и что, по известиям от жителей, неприятель пошел к Копысу. Немедля мы пустились, чрез Горяны и Бабиники, к сему же городу.

На походе узнал я, что депо прибыло в Копыс и заняло его, со всею воинской предосторожностию, половинным числом пеших кавалеристов, дабы назавтра прикрыть ими переправу тягостей, защищаемых другою половиною сей сволочи. Обстоятельство это понудило меня остановиться скрытно в шести верстах от Копыса, при селе Сметанке, с намерением не прежде предпринять нападение, как по переправе половины депо чрез реку, и тогда разбить поодиночке: одну часть на сей, а другую — на той стороне Днепра. Река сия не была еще схвачена льдом, одни края оной были легко замерзшими.

Девятого, поутру, мы помчались к Копысу. Почти половина депо была уже на противоположном берегу; другая половина, оставшаяся на сей стороне, намеревалась вначале защищаться против вскакавших в главную улицу гусаров моих и донского полка Попова 13-го; но коль скоро Чеченский с Бугским своим полком пробрался вдоль берега и явился в тылу оной, среди города, у переправы,— тогда все стало бросать оружие, отрезывать пристяжки у повозочных лошадей и переправляться где попало вплавь на противоположный берег. Мгновенно река покрылась плывущими и утопающими людьми и лошадьми. Берега оной и сама она завалились фурами, каретами и колясками. В улицах началась погоня и резня беспощадная, а с противного берега открылся по нас сильный ружейный огонь. Желая дать время рассыпанным по городу казакам моим окончательно очистить улицы от неприятеля, я остановился с резервом на площади у самого берега и велел привести ко мне мэра (городничего), определенного в город сей французами. По дошедшим ко мне слухам, он притеснял и даже убивал пленных наших в угождение полякам. Привели пред меня какого-то рябого и среднего роста человека. Он на чистом русском языке просил у меня позволения объясниться, в одно время как жена его с престарелой матерью своей бросились к ногам моим и просили ему помилования. Пули осыпали нас. Я им сказал, что тут не их место, и просил удалиться, дав честное слово, что господин Попов (так звали сего мнимого мэра) нимало не пострадает, если он невинен, и отдал его под стражу до окончания дела.

Вскоре наездники мои очистили от неприятеля улицы. Я собрал полки и, невзирая на стрельбу, производимую с противного берега, пустился двумя толпами вплавь чрез Днепр, оплывая, так сказать, справа и слева линию стрелков, защищавших переправу. Еще мы не коснулись до берега, как бóльшая часть сих стрелков пришла в смятение, стала бросать оружие и кричать, что они сдаются. Мы переправились. Я отрядил сотню казаков для забрания сдавшихся в плен, скрывавшихся в Александрии[54] и бежавших в разброде чрез столбовую Белорусскую дорогу. Вся партия пустилась за остатками депо, направление которого показывали нам брошенные фуры, повозки и отставшие пехотинцы от главной массы, состоявшей уже не более как в двести пятьдесят рядовых и офицеров, ибо все разбрелось по лесам, погибло в реке, поколото казаками и захвачено ими в плен. Сих последних было шестьсот рядовых и, помнится, около десяти офицеров.

Окончa преследование в нескольких верстах от берега, я послал поручика Макарова со ста казаками по дороге к Толочину, а подполковника Храповицкого со ста пятьюдесятью казаками в Шклов. Сам же с остальною частью партии воротился в Копыс, где удостоверился, что господин Попов не только не исполнял должности мэра, но даже скрывался с семьею своею в лесах во время властвования в сем краю неприятеля. Видя невинность сего чиновника, я поручил ему временное управление городом и велел открыть магистрат по-прежнему. Истинного же мэра отыскал и отослал в главную квартиру с описанием его неистовств с русскими пленными и лихоимства с жителями.

Не прошло двух часов, как прибыл в Копыс Шамшева казачий полк с сто пятьюдесятью Мариупольского полка гусарами, под командою подполковника Павла Ржевского. Сей офицер известил меня, что граф Ожаровский, не застав неприятеля в Горках и видя невозможность догнать его целым отрядом, отрядил часть оного к Копысу, а сам обратился к Шклову, занимаемому, по слухам, дошедшим до графа, сильным неприятельским отрядом. Хотя я верно знал, что в Шклове было не более шестидесяти чело-

век неприятеля, при всем том не мог я чрез Ржевского не пожелать графу Ожаровскому победы и славы тем чистосердечнее, что сражение с шестьюдесятью человеками исполняло если не все, то по крайней мере первую часть моего желания. Обеты мои остались втуне, но когда 10-го числа отряд генерала сего готовился уже переправляться чрез Днепр для атаки на Шклов, Храповицкий явился к нему из сего местечка и объявил, что он накануне еще занял оное своими казаками без сопротивления.

Спустя несколько часов после прибытия Ржевского в Копыс, прибыл туда же и Сеславин. Он немедленно переправился чрез Днепр и, простояв в Александрии до 11-го числа, выступил оттуда чрез Староселье, Круглое и Кручу вслед за французскою армиею.

В ожидании отряда, посланного с поручиком Макаровым к Толочину, я принужден был пробыть в Копысе день более, нежели Сеславин. Тут меня оставили мичман Храповицкий, титулярный советник Татаринов, землемер Макаревич и Федор, приставший ко мне из Царева-Займища. Отдав долг свой отечеству, они возвратились на родину с торжествующей совестию после священного дела! Исключая Храповицкого, два последние были бедные дворяне, а Федор — крестьянин; но сколь возвышаются они пред потомками тех древних бояр, которые, прорыскав два месяца по московскому бульвару с гремучими шпорами и с густыми усами, ускакали из Москвы в отдаленные губернии, и там, — пока достойные и незабвенные соотчичи их подставляли грудь на штык врагов родины, — они прыскались духами и плясали на могиле отечества! Некоторые из этих бесславных беглецов до сих пор воспоминают об этой ужасной эпохе как о счастливейшем времени их жизни! И как быть иначе? Как действительному статскому советнику забыть генеральские эполеты, а регистратору — усы и шпоры?

Двенадцатого я получил повеление оставить прикомандированный ко мне 11-й егерский полк на переправе при Копысе. Хотя по сей только бумаге узнал я, что, вследствие просьбы моей, полк сей был ко мне назначен, — при всем том я с сожалением переслал оному данное мне повеление. Мы подходили к леси-

стым берегам Березины; пехота была необходима, а пехоту у меня отнимали; что было делать? Я прибегнул к прибывшему в город генералу Милорадовичу, который на время одолжил меня двумя орудиями конной артиллерии и тем несколько исправил мое положение.

С вышесказанной бумагой я получил другую следующего содержания: «Полагая генерал-адъютанта Ожаровского весьма слабым, чтобы одному предпринять поиски на Могилев без генерал-лейтенанта Шепелева, имеете, ваше высокоблагородие, немедленно присоединиться к нему и состоять в команде его до овладения Могилевым. По овладении же, отделясь от него, идти форсированными маршами к местечку Березине, где остановиться, ибо, вероятно, что около сего места удастся вам многое перехватить, и для того, прибыв туда, отрядить партию в сторону Бобра и Гумны. *Генерал-лейтенант Коновницын. 11 ноября. На марше к деревне Лещи».*

Сия бумага довершила неприятность! Я всегда был готов поступить под начальство всякого того, кого вышняя власть определяла мне в начальники; скажу более: под Ляховым и Мерлином я сам добровольно поступил в команду к графу Орлову-Денисову, потому что я видел в том пользу службы; но тут обстоятельства были иные. Отряд графа Ожаровского достаточен был по силе своей для овладения Могилевым, хотя бы город сей и не был 9-го оставлен отрядом неприятельским, состоявшим в тысячу двести человек польских войск[55]. Я видел ясно, что направление, данное мне к местечку Нижнему Березину, и предписание наблюдать за неприятельскою армиею к Бобру и Гумнам основывались на предположении, что армия эта склонится к Нижнему Березину и Гумену и чрез то совершенно прекратит фланговое преследование наше, столько пользы нам принесшее! Конечно, я не в состоянии был преградить путь целой армии слабым моим отрядом, если бы дело пришло до драки; но при бедственном положении неприятеля необходимо нужно было считать и на расстройство нравственной силы оного: часто сто человек, которые нечаянно покажутся на дороге, по коей отступает неприятельская армия, напугают ее более, нежели несколь-

ко тысяч, когда дух ее еще не потрясен неудачами. Рассуждение сие решило меня идти прямо на Шклов, Головнино и Белыничи, о чем я предварительно известил как графа Ожаровского, так и Коновницына, и принял на себя ответственность за непослушание.

Тринадцатого, к ночи, партия моя прибыла в Головнино. Я узнал, что местечко Белыничи занято отрядом польских войск, прикрывающих гошпиталь, прибывший туда из Нижнего Березина, по причине появления у местечка сего отряда графа Орурка от Чичагова армии.

Рано 14-го числа мы выступили к Белыничам. На походе встретили мы Ахтырского гусарского полка поручика Казановича, который, полагая край сей очищенным от неприятеля, ездил из полка к родителям своим для свидания с ними и во время скрытного двухдневного пребывания у них видел дом родительский, посещаемый несколько раз грабителями из Белынича. Он, узнав о приближении моем к сему местечку, сел на конь и поскакал ко мне навстречу, чтобы уведомить меня о пребывании неприятеля в местечке, о числе оного и вместе с тем чтобы быть вожатым моим по дорогам, более ему, нежели мне, известным.

Местечко Белыничи, принадлежащее князю Ксаверию Огинскому, лежит на возвышенном берегу Друцы, имеющей течение свое с севера к югу. По дороге от Шклова представляется поле плоское и обширное. За местечком — один мост чрез Друцу, довольно длинный, потому что берега оной болотисты. За мостом, на пути к местечку Эсмонам, частые холмы, покрытые лесом; от Эсмонов до Березины лес почти беспрерывный.

Мы подвигались рысью. Неприятельская кавалерия выехала из Белынича и была подполковником Храповицким, и маиором Чеченским немедленно опрокинута в местечко, занятое двумя сильными батальонами пехоты. Ярость в преследовании увлекла нас на батальоны. Они встретили нас, как следует встречать нападающих, когда хочешь защищаться с честью. Видя затруднение пробиться сквозь местечко, я думал, что можно обойти его справа от стороны фольварка Фойны, но вскоре уверился, что, по причине несколькодневной оттепели и болотистых берегов ре-

ки, еще более найду затруднения в обходе, нежели в прямом ударе. Обстоятельство это решило меня вломиться в главную улицу. Чтобы облегчить мое предприятие, я велел открыть огонь из орудий вдоль по оной улице. Неприятельская колонна расступилась направо и налево, но, пользуясь местностию, не переставала преграждать вступлению нашему в улицу густым ружейным огнем из-за изб, плетней и заборов. Я не умею отчаиваться, но было отчего прийти в отчаяние. Тщетно я умножал и усиливал покушения мои, чтобы вытеснить неприятеля из засады, им избранной: люди и лошади наши падали под смертоносным огнем, но ни на шаг вперед не подавались. Это был мой Аркольский мост! Однако медлить было некогда; с часа на час граф Ожаровский мог прийти от Могилева и, посредством пехоты своей, вырвать у меня листок лавра, за который уже я рукой хватался! Мы разрывались с досады! Брат мой Лев[56], будучи моложе всех, менее других мог покоряться препятствиям. Он пустился с отборными казаками вдоль по улице и, невзирая на град пуль, осыпавших его и казаков, с ним скакавших, ударил на резерв, показавшийся в средине оной, и погнал его к мосту. Но и удар этот ни к чему не послужил! Получа две пули в лошадь, он принужден был возвратиться к партии, которой я удержал стремление за ним, ибо долг ее был вытеснить неприятеля из местечка, а не проскакивать чрез оное, оставляя его полным неприятельскою пехотою.

Между тем подполковник Храповицкий с отрядом гусар и казаков занял с боя гошпиталь и магазин, возле местечка находившиеся, и ожидал дальнейшего повеления. К счастию, я его не отозвал назад по совершении данного ему препоручения, ибо прибывший из графа Ожаровского отряда казачий полковник Шамшев, желая впутаться в дело, стал уже занимать гошпиталь и магазин в славу собственную. Храповицкий выгнал его вон, как хищника чужой добычи. Он оставил оную и остановился с полком своим в поле, не желая нисколько помогать нам и содействовать к овладению местечком.

Неприятель продолжал упорствовать в главной улице. Отдавая должную справедливость храбрости противников моих, но кипя желанием истребить их

прежде прибытия всего отряда графа Ожаровского, коего авангардом был вышесказанный казачий полк, я решился зажечь избы брандкугелями. В самое то время неприятель начал собирать стрелков своих и строиться на улице в колонну, как казалось, для ухода. Оставя намерение зажигать избы, я немедленно приказал садить в него картечами, что ускорило выступление его из местечка. Он потянулся чрез мост по дороге к Эсмонам.

Пропустя колонну далее в поле, мы объехали оную со всех сторон, не переставая разрывать ее пушечными выстрелами. Командующий артиллериею моею поручик Павлов стрелял из одного орудия картечами и ядрами, а из другого гранатами. Хвост колонны лоском ложился по дороге, но сама она смыкалась и продолжала отступление, отстреливаясь. Наконец, в намерении воспользоваться закрытым местоположением, дабы вовсе от нас отделаться, хотя с пожертвованием части своих товарищей, начальник колонны отделил в стрелки около половины колонны. Едва войска сии успели отделиться, как командовавший отборными казаками брат мой Лев ударил на оных из-за леса, обратил их в бегство, отхватил в плен подполковника, двух капитанов и девяносто шесть рядовых, прочих частию поколол, а частию вогнал обратно в колонну,— и запечатлел кровию отважный свой подвиг [57].

Как ни прискорбно было мне видеть брата моего жестоко раненным на поле битвы, но, победя чувство родства и дружбы высшим чувством, я продолжал преследование. Еще от села Мокровичей я отрядил сотню казаков к Эсмонам с повелением разобрать столько моста на реке Ослике, сколько время позволит, и потом скрыться в засаде у переправы. Намерение мое было сделать решительный натиск у сего пункта и тем прекратить бой, стоящий уже мне весьма дорого. И подлинно, неприятель, подшед к Эсмонам, встретил и препятствие для переправы, и ружейный огонь казаков, засевших у моста. Выстрелы оных были сигналом для нашего нападения: мы со всех сторон ударили. Колонна разделилась: одна половина оной стала бросать оружие, но другая, отстреливаясь из-за перилов моста и из-за ив, растущих вокруг

оного, набросала несколько досок, разбросанных казаками моими, переправилась чрез реку и отступила лесами к Нижнему Березину.

В сем деле мы овладели магазином и гошпиталем в Белыничах. В первом найдено четыреста четвертей ржи, сорок четвертей пшеницы, двести четвертей гречихи и пятьдесят четвертей коноплей, а в последнем взяли двести девяносто человек больных и пятнадцать лекарей. Взят один подполковник, четыре капитана и сто девяносто два рядовых, весь обоз и сто восемьдесят ружей.

Справедливость велит мне сказать, что брат мой Лев был героем сего дела.

Возвратясь в село Мокровичи, я немедленно послал выбрать лучших двух хирургов из пятнадцати лекарей, отбитых нами в белыничевском гошпитале, приставил одного из них к брату, другого — к раненым казакам, и отправил весь сей караван в Шклов 15-го поутру.

Грустно мне было расставаться с страждущим братом моим и отпускать его в край, разоренный и обитаемый поляками, чуждыми сожаления ко всякому, кто носит имя русское! К тому же, если б урядник Крючков не ссудил меня заимообразно двадцатью пятью червонными, я принужден был бы отказать брату и в денежном пособии, ибо казна моя и Храповицкого никогда не превышала двух червонных во все время наших *разбоев:* вся добыча делилась между нижними чинами.

Я велел в тот же день сдать под расписку пана Лепинского, управителя графа Огинского имения, отбитые нами у неприятеля магазин, гошпиталь, ружья, обоз и пленных; послал с рапортом об сем деле курьера в главную квартиру, находившуюся в Круглом, и выступил сам по данному мне направлению.

Между тем на берегах Березины совершались громадные события. Наполеону, в первый раз испытавшему неудачу, угрожала здесь, по-видимому, неизбежная гибель. В то время как обломки некогда грозной его армии быстро следовали к Березине, чрез которую им надлежало переправиться, сюда стремились с разных сторон три русские армии и многие отдельные отряды. Казалось, конечная гибель французов

была неминуема, казалось, Наполеону суждено было здесь либо погибнуть с своей армией, либо попасться в плен. Но судьбе угодно было здесь еще раз улыбнуться своему прежнему баловню, которого присутствие духа и решительность возрастали по мере увеличения опасности. С трех сторон спешили к Березине Чичагов, Витгенштейн, Кутузов и отряды Платова, Ермолова, Милорадовича, Розена и другие. Армия Чичагова, которую Кутузов полагал силою в шестьдесят тысяч человек, заключала в себе лишь тридцать одну тысячу человек, из которых около семи тысяч кавалерии; она была ослаблена отделением Сакена с двадцатью семью тысячами человек против Шварценберга и неприбытием Эртеля с пятнадцатью тысячами человек, отговаривавшегося незнанием, следовать ли ему с одной пехотой или вместе с кавалериею. Грустно думать, что в столь тяжкое для России время могли в ней встречаться генералы, столь легко забывающие священные обязанности свои относительно отечества.

Чичагов, занимая правый берег Березины, господствующий над левым, должен был наблюдать большое пространство по течению реки, близ которой местность была весьма пересечена и болотиста. Армия Витгенштейна следовала также по направлению к Березине; утомленная, по-видимому, одержанными успехами, она подвигалась медленно и нерешительно. Мужественный, но недальновидный защитник Петрополя, гордившийся одержанием победы в каких-то десяти генеральных сражениях, был совершенно обманут французским генералом Legrand. В одном из донесений Витгенштейна сказано, что против него находилась дивизия стрелков; это были лишь стрелки, вызванные из пехотной дивизии. Генерал Legrand, ослабленный отделением значительных сил, соединившихся с Наполеоном, отступил весьма искусно от Чашников и Череи. Если бы Витгенштейн преследовал его деятельно и теснил бы французов не ощупью и не так слабо, Legrand, имея лишь весьма мало пехоты, мог бы быть совершенно истреблен или, по крайней мере, значительно ослаблен. Витгенштейн должен был понять, что развязка кровавой драмы должна была воспоследовать на берегах Березины, а потому он должен был, уничтожив или, по крайней мере, значи-

тельно ослабив войска Legrand, быстро двинуться к этой реке. Впоследствии Витгенштейн уверял, что он лишь потому не соединился с войсками адмирала, что ему надлежало преследовать баварцев, которые, как известно, выступили из окрестностей Полоцка [58].

Прибыв весьма поздно с одним своим штабом в Борисов, Витгенштейн обнаружил впоследствии большую нерешительность относительно войск Викто́ра, которые, после переправы Наполеона чрез Березину, могли быть легко уничтожены. Между тем князь Кутузов писал адмиралу из Копыса от 13 ноября, за № 562: «Если Борисов занят неприятелем, то вероятно, что оный, переправясь чрез Березину, пойдет прямейшим путем к Вильне, идущим чрез Зембино, Плещеницы и Вилейку. Для предупреждения сего необходимо, чтобы ваше высокопревосходительство заняли отрядом дефилею при Зембине, в коей удобно удержать можно гораздо превосходнейшего неприятеля. Главная наша армия от Копыса пойдет чрез Староселье, Цегержин, к местечку Березино, во-первых, для того, чтобы найти лучше для себя продовольствие, а во-вторых, чтобы упредить оного, если бы пошел от Бобра чрез Березино на Игумен, чему многие известия дают повод к заключениям». Кутузов, с своей стороны, избегая встречи с Наполеоном и его гвардией, не только не преследовал настойчиво неприятеля, но, оставаясь почти на месте, находился во все время значительно позади. Это не помешало ему, однако, извещать Чичагова о появлении своем на хвосте неприятельских войск. Предписания его, означенные задними числами, были потому поздно доставляемы адмиралу; Чичагов делал не раз весьма строгие выговоры курьерам, отвечавшим ему, что они, будучи посланы из главной квартиры гораздо позднее чисел, выставленных в предписаниях, прибыли к нему в свое время.

Пока князь Кутузов оставался в Копысе и его окрестностях, Наполеон, усиленный войсками Викто́ра, Удино́ и остатками отряда Домбровского, подошел к Березине. Множество примеров из истории убеждают нас в невозможности силою воспрепятствовать неприятелю совершить переправу чрез реку, но затруднить ее по возможности — всегда во власти военачальника

противной армии. Чичагов, которому приходилось наблюдать по течению Березины на расстоянии восьмидесяти верст от Веселова до Нижнего Березина, был введен в заблуждение следующими обстоятельствами: действием Удино́, расположившего свои посты на тридцативерстном пространстве, выше и ниже Борисова, и занявшего отрядом Ухолоды, где делались приготовления для переправы, известиями о приближении австрийцев со стороны Сморгони и, наконец, намеками Кутузова, убежденного, что Наполеон направится к Нижнему Березину. Все это побудило Чичагова двинуться к Шабашевичам. Между тем Наполеон под прикрытием сорокапушечной батареи, устроенной близ Студенок в узком месте реки, благополучно переправился чрез нее. Слабый авангард Чаплица, не будучи в состоянии оказать сопротивления неприятелю, отступил к Стахову; двинувшись один к Зембину, этот авангард отделился бы от прочих частей армии и был бы неминуемо истреблен. Удино́, переправившись во главе французской армии и расположившись между Брилем и Стаховым, занял небольшим отрядом Зембинское дефиле. Чаплиц, слабо подкрепленный Чичаговым, которого шесть гренадерских баталионов остались далеко назади, не мог даже развернуть всех сил своих, так что одна артиллерийская рота стреляла чрез головы других. Чичагов, выслав Сабанеева с войсками к Стахову, приказал изнуренным отрядам Ермолова и Платова стать там же в резерве. Завязался в лесу кровопролитный, но бесполезный бой; французская кавалерия яростно атаковала нашу пехоту, причем мужественный князь Щербатов едва не был взят в плен.

Вместо ошибочного движения на Игумен, Чичагову надлежало, заняв центральный пункт, выслать вверх и вниз по реке отряды для открытия неприятеля; движение на Игумен ничем не может быть оправдано. Что касается других обвинений, так, например, относительно порчи частей в Зембинском дефиле, Чичагов [59] в этом мало виноват; им был послан с атаманским казачьим полком Кайсаров, которому было строго предписано испортить все гати этого дефиле. Кайсаров поднялся вверх по реке Гайне на расстояние около двадцати верст, с намерением приступить к

порче гатей с тыла; глубокие и топкие места, окружающие Гайну, никогда в самую суровую зиму не замерзающие, не дозволили ему привести это предприятие в исполнение. Если б оно удалось, Наполеон нашелся бы вынужденным обратиться на Минск, которым бы вскоре неминуемо овладел. Овладение этим городом было для нас и для французов делом первостепенной важности; здесь были найдены нами богатые магазины с запасами, привезенными из Франции, которыми наша армия воспользовалась. Наполеон, овладев Минском, мог бы здесь остановиться и дать время своим войскам сосредоточиться и отдохнуть. Князь Кутузов, не желая, вероятно, подвергать случайностям исход кампании, принявшей для нас столь благоприятный оборот, и постоянно опасавшийся даже близкого соседства с Наполеоном и его гвардиею, не решился бы, без сомнения, его здесь атаковать. Неизвестно, какой бы в этом случае оборот приняли дела?

Хотя я враг правила, предписывающего строить золотой мост отступающему неприятелю, но здесь обстоятельства вынуждали нас не затруднять Наполеону движения чрез Зембинское дефиле по следующим причинам: во-первых, армии, которым надлежало соединиться на Березине для совокупной атаки, были весьма разобщены, и притом они не были, по-видимому, расположены оказать деятельное содействие одна другой, вследствие неприязни и зависти, существовавшей между военачальниками; Витгенштейн не хотел подчиниться Чичагову, которого, в свою очередь, ненавидел Кутузов за то, что адмирал обнаружил злоупотребления князя во время его командования молдавской армией. Во-вторых, Наполеон, занимая центральный пункт относительно наших армий, имел под руками восемьдесят тысяч человек; он мог легко раздавить любую армию, которая, не будучи поддержана другими, решилась бы преградить ему дорогу. Наконец французы, сознавая вполне свое гибельное положение и невзирая на понесенные страшные потери, обнаружили здесь отчаянное мужество. Отряд Ермолова перешел, вопреки приказанию Кутузова, Днепр близ Дубровны по сожженному мосту, на полуобгоревшие сваи которого были набросаны доски, которые

были перевязаны веревками. Спутанные лошади перетаскивались с величайшим затруднением по этому мосту с помощью веревок, привязанных за хвосты. Переправившись чрез Днепр, Ермолов встретил жида с донесением Витгенштейна светлейшему; прочитав его, Ермолов писал отсюда Кутузову: «Я из этого донесения заключаю, что неприятель кругом обманул графа Витгенштейна, который потому отстанет от него, по крайней мере, на полтора марша». Прибыв в Лошницы, Ермолов чрез адъютанта Чичагова — Лисаневича — получил приказание поспешить к Березине. Совершив почти два перехода в одни сутки, он прибыл в Борисов, где представлялся графу Витгенштейну, который с гордостью говорил ему о выигранных им десяти сражениях. Этот рассказ мужественного защитника Петрополя был прерван неуместными аплодисментами гвардии поручика О<кунева>, известного впоследствии по своим военным сочинениям.

Это может служить мерилом той дисциплины, которая господствовала в войсках этого генерала. Умный, благородный и почтенный генерал И. М. Бегичев, бывший начальником артиллерии при взятии Праги в 1794 году и называвший графа Аракчеева в эпоху его могущества графом Огорчеевым, увидав здесь Ермолова, закричал ему, невзирая на присутствие Витгенштейна и его штаба: «Мы ведем себя, как дети, которых надлежит сечь; мы со штабом здесь, и то гораздо позднее, чем следовало, а армия наша двигается бог знает где, какими-то линиями». Ермолов, явившись к Чичагову, решился подать ему совет не портить Зембинского дефиле; он говорил, что по свойству местности, ему смолоду хорошо известной, это почти неудобоисполнимо по причине болот и топей, окружающих речку Гайну, но если б и удалось испортить некоторые более доступные гати, то они от действия мороза не могли бы затруднить движение неприятеля, который, не будучи обременен тяжестями, мог легко по ним следовать; во-вторых, адмиралу, которого армия была вдвое слабее того, чем ее полагал князь Кутузов, невозможно было одному, без содействия армии князя и Витгенштейна, бывших еще далеко позади, преградить путь Напо-

леону. Чичагову пришлось бы выдержать напор восьмидесятысячной неприятельской армии на местности лесистой, болотистой и весьма невыгодной для принятия боя. На этой местности, в особенности совершенно неудобной для действия кавалерии, он мог противопоставить Наполеону лишь двадцать тысяч человек пехоты; французы же, понимая, что залог спасения заключался для них лишь в отчаянном мужестве, стали бы сражаться как львы. Наконец,— присовокупил он,— если даже удастся испортить дефиле, Наполеон будет вынужден обратиться на Минск, магазины которого были для нашей армии необходимы. Наполеону, сохранявшему присутствие духа в самых трудных случаях, удалось, после переправы чрез Березину, благополучно пройти чрез дефиле; лишь следовавшие позади французские войска были застигнуты нашими. Взятие этих войск, входивших в состав Полоцкого корпуса, свидетельствовало, не в пользу графа Витгенштейна, это ясно доказывало, что они своим присутствием здесь обязаны лишь слабому преследованию этого генерала.

Если б Витгенштейн был проницательнее и преследовал неприятеля с бо́льшею настойчивостью, если бы Кутузов обнаружил более предприимчивости и решительности, и оба они, сообразуясь с присланным из Петербурга планом, направили поспешнее свои войска к Березине, если б Чичагов не совершил своего движения на Игумен, был в свое время усилен войсками Эртеля и поспешил к Студенцу, не ожидая дальнейших известий со стороны Нижнего Березина,— количество пленных могло быть несравненно значительнее; быть может, берега Березины сделались бы гробницей Наполеоновой армады; быть может, в числе пленных находился бы он сам. Какая слава озарила бы нас, русских? Она была бы достоянием одной России, но уже не целой Европы. Впрочем, хвала провидению и за то, что оно, благословив усилия наши, видимо содействовало нам в изгнании из недр России новейших ксерксовых полчищ, предводимых величайшим полководцем всех времен. Мы, современники этих великих событий, справедливо гордящиеся своим участием в оных, мы, более чем кто-либо, должны воскликнуть: «Не нам, не нам, а имени твоему!»

Ермолов, очевидец березинских событий, представил светлейшему записку, в которой им были резко изложены истинные по его мнению, причины благополучного отступления Наполеона. Он поднес ее во время приезда в Вильну князя, сказавшего ему при этом случае: «Голубчик, подай мне ее, когда у меня никого не будет». Эта записка, переданная князю вскоре после того и значительно оправдывавшая Чичагова, была, вероятно, умышленно затеряна светлейшим. Все в армии и в России порицали и порицают Чичагова, обвиняя его одного в чудесном спасении Наполеона. Он, бесспорно, сделал непростительную ошибку, двинувшись на Игумен; но здесь его оправдывает: во-первых, отчасти предписание Кутузова, указавшего на Игумен как на пункт, чрез который Наполеон будто бы намеревался непременно следовать; во-вторых, если бы даже его армия не покидала позиции, на которой оставался Чаплиц, несоразмерность его сил относительно французов не позволяла ему решительно хотя несколько задержать превосходного во всех отношениях неприятеля, покровительствуемого огнем сильных батарей, устроенных на левом берегу реки; к тому же в состав армии Чичагова, ослабленной отделением наблюдательных отрядов по течению Березины, входили семь тысяч человек кавалерии, по свойству местности ему совершенно здесь бесполезной; в-третьих, если Чаплиц, не будучи в состоянии развернуть всех своих сил, не мог извлечь пользы из своей артиллерии, то тем более армия Чичагова не могла, при этих местных условиях, помышлять о серьезном сопротивлении Наполеону, одно имя которого, производившее обаятельное на всех его современников действие, стоило целой армии. Относительно порчи гатей в Зембинском дефиле, он виноват тем, что поручил это дело Кайсарову, а не офицеру более предприимчивому и более знакомому с свойствами местности; но так как это предприятие могло иметь невыгодные для нас последствия, оно потому не может служить к обвинению адмирала, который, будучи моряком, не имел достаточной опытности для командования сухопутными войсками.

Из всего этого я вывожу следующее заключение: если б Чичагов, испортив гати Зембинского дефиле,

остался с главною массою своих войск на позиции, насупротив которой Наполеон совершил свою переправу, он не возбудил бы противу себя незаслуженных нареканий и неосновательных воплей своих соратников, соотчичей и потомков, не знакомых с сущностью дела; но присутствие его здесь не могло принести никакой пользы общему делу, ибо, по всем вышеизложенным причинам, Чичагову невозможно было избежать полного поражения или совершенного истребления своей армии, что было бы для нас, по обстоятельствам того времени, вполне невыгодно и весьма опасно. Наполеон понес бы, без сомнения, в этом случае несравненно бо́льшую потерю; но она была бы, во всяком случае, ничтожна в сравнении с тою, которой Россия была вправе ожидать от своевременного прибытия трех армий к берегам Березины.

Хотя Наполеон с остатками своего некогда грозного полчища поспешно отступал пред нашими войсками, однако могущество этого гиганта было далеко еще не потрясено. Вера в его непобедимость, слегка поколебленная описанными событиями, существовала еще во всей Западной Европе, не дерзавшей еще восстать против него. Наша армия после понесенных ею трудов и потерь была весьма изнурена и слаба; ей были необходимы сильные подкрепления для того, чтобы с успехом предпринять великое дело освобождения Европы, главное бремя которого должно было пасть на Россию. Нам потому ни в каком случае не следовало жертвовать армией Чичагова для цели гадательной и, по стечению обстоятельств, не обещавшей даже никакой пользы. В то время и даже доныне все и во всем безусловно обвиняли злополучного Чичагова, который, будучи весьма умным человеком, никогда не обнаруживал больших военных способностей; один Ермолов с свойственной ему решительностью, к крайнему неудовольствию всемогущего в то время Кутузова и графа Витгенштейна, смело оправдывал его, говоря, что ответственность за чудное спасение Наполеона должна пасть не на одного Чичагова, а и на прочих главных вождей, коих действия далеко не безупречны. Чичагов поручил генералу Чаплицу благодарить Ермолова за то, что он, вопреки общему мнению, решился его оправдывать. Хотя Наполеон, благодаря своему необык-

новенному присутствию духа и стечению многих благоприятных обстоятельств, избежал окончательного поражения, а может быть, и плена, но тем не менее нельзя не удивляться превосходно соображенному плану, на основании которого три армии должны были, соединившись одновременно на Березине, довершить здесь гибель неприятеля. Хотя успех и не увенчал этого достойного удивления плана, однако ж не увенчал по обстоятельствам, совершенно не зависевшим от сочинителей, которые при составлении его обнаружили необыкновенную дальновидность и прозорливость. Они могли утешить себя мыслию, что история представляет немало примеров тому, что самые превосходные предначертания не были приведены в исполнение лишь вследствие ничтожнейших обстоятельств.

Шестнадцатого числа дошел до меня первый отголосок о переходе неприятеля чрез Березину[60], и я, немедленно известя о том фельдмаршала, остановился в ожидании дальнейших от него повелений. Я полагал, что, хотя бы дошедшее до меня известие о переправе было и несправедливо, все, однако же, ясно оказывалось, что неприятель обратился уже не на Нижнее Березино, как сего вначале ожидали, а прямо на Борисов, почему направление мое к Нижнему Березину ни к чему уже не служило. Расчет мой был верен, ибо 16-го, к вечеру, я получил от генерал-квартирмейстера полковника Толя письмо следующего содержания:

«Нужно уведомить вас о взаимном положении обеих армий: Чичагов 9-го числа в Борисове, авангард его под командою графа Ламберта разбил наголову Домбровского. Витгенштейн после поражения Викто́ра, который шел на соединение с Бонапартом, находится в Баранах, что на дороге от Лепеля к Борисову. Авангард наш под командою Милорадовича — в Бобрах, а Платов — в Крупках. Главная наша армия сегодня выступает в Сомры (на карте Хомры), малый авангард оной под командою Васильчикова — в Ухвалы. С своей стороны, вся французская армия — на походе к Борисову. Вы очень хорошо сделаете, если немедленно и как можно поспешнее займете Озятичи и откроете лесную дорогу от сего селения к Борисову. Жела-

тельно, чтобы сей пункт был занят тщательнее, так, как и селение Чернявка, из коей пошлите разъезды на большую Борисовскую дорогу. Орлов послан со ста пятьюдесятью казаками к Чичагову; постарайтесь сделать с ним связь; вы тем угодите фельдмаршалу. Все ваши храбрые будут награждены. *Карл Толь. На походе в Сомры, 16 ноября»*[61].

Видя по письму сему разобщение Витгенштейна с Чичаговым, между коими протекала Березина и находилась неприятельская армия, простиравшаяся, по крайней мере, до восьмидесяти тысяч человек, я хотя не совсем верил известию о переправе, но не сомневался в том, что Наполеон, пользуясь малосилием Чичагова, перейдет реку в каком-нибудь пункте украдкой или силой; по переходе же Березины я предполагал направление неприятельской армии из Борисова к Минску, потому что путь сей есть самый кратчайший из путей, идущих к Варшаве; что на нем она имела в виду соединение с корпусами Шварценберга и Ренье, отчего армия его могла снова возвыситься до ста тридцати тысяч человек; что посредством пути сего она могла избежать бокового преследования нашего, столь для него до Березины пагубного, и идти краем, несравненно менее опустошенным, нежели Виленский, чрез который проходили обе воюющие армии и по которому кругообращались все транспорты оных с начала войны. Вследствие чего я решился, несмотря на предложение полковника Толя, переправиться немедленно чрез Березину и идти на Смолевичи, что между Игумном и Минском.

За таковое ослушание я достоин был строжайшего наказания. Партизан должен и необходимо должен умствовать, но не перепускать, как говорится, ум за разум. Конечно, соединение Чичагова с Витгенштейном на правом берегу Березины умножило бы затруднения неприятелю при переправе; однако нельзя было решительно заключить, чтобы и один Чичагов не смог с ним управиться. Березина, окраеванная болотами, не была еще схвачена льдом, и правый берег ее, господствующий над левым и защищаемый тридцатью тысячами войска, представлял неприятелю довольно еще затруднений и без Витгенштейна. События доказали, что мне ни к чему не послужил ранний и отдаленный

залет мой к Смолевичам, где я всегда успел бы предупредить неприятеля и из Озятичей, в случае переправы Наполеона при Борисове.

Стоило только внимательнее прочесть письмо полковника Толя и взглянуть на карту, чтобы постичь благоразумное его распоряжение.

Полагая неприятеля между селением Начею и Борисовом, извещенный о прибытии Витгенштейна в Бараны, а Чичагова к мостовому Борисовскому укреплению, он считал, что неприятелю ничего не оставалось делать, как, прикрывшись от главной армии речкой Начею, спуститься вдоль по ней к Озятичам и совершить переправу в углу, описываемом означенной речкой и Березиной. Вот причина, почему Толь посылал меня в Озятичи. При всем том я пошел на Смолевичи как будто бы для действия в тыл не неприятеля, а Чичагова армии!!

Однако при достижении Козлова Берега я получил из главной квартиры уведомление, что так как французская армия никакого не имеет средства переправиться чрез сию реку при Борисове, то чтобы я немедленно спешил исполнить данное мне предписание генерал-квартирмейстером. Сия бумага, как и письмо последнего, была от 16-го поутру и, повелевая вторично то же, принудила меня оставить мое безрассудное предприятие, к которому я так привязался, что и при исполнении последнего повеления не мог не уведомить генерал-квартирмейстера, сколь считаю бесполезным предписанное мне направление. На кого греха да беды не бывает? Право, я по сие время не могу постичь причину сему глупому моему упрямству. Уже мы были на половине дороги к Озятичам, как догнал нас посланный ко мне в Козлов Берег курьер с другим письмом от полковника Толя, по которому он извещает меня о переправе французской армии чрез Березину и уведомляет, что главная армия идет на Жуковец, Жодин и Логойск, все на левой стороне неприятеля, и совершенно соглашается со мною в выборе направления партии моей на Смолевичи. Да простит мне генерал-квартирмейстер! В сем случае ошибка уже не на моей стороне. Важность Смолевичевского пункта состояла в том только обстоятельстве, когда бы неприятель избрал направление на Минск; при обращении

же его к Вильне сей пункт терял уже свою значимость и ни для чего другого не годился, как для *ночлега* или *привала*. Направление мое долженствовало быть на Борисовское мостовое укрепление, Логойск и Молодечну; но так как поворот неприятеля с Минской дороги на Виленскую отстранял меня от оного на сто тридцать верст, то и по означенному направлению я не мог уже догнать его прежде Ковны или, по крайней мере, прежде Вильны. Чтобы удостовериться в том, надо знать, что 20 ноября, когда, после переправы моей чрез Березину, я ночевал в Уше, французская армия находилась уже в Илие. Кто взглянет на карту, тот увидит пространство, разделявшее меня от неприятеля; несмотря на то, я решился действовать по предписанию.

Не доходя пятнадцати до Шеверниц верст, я узнал, что прибыла туда главная квартира. Оставя партию на марше, я поскакал один прямою дорогою в Шеверницы. Светлейший в то время обедал. Входя в ворота, повстречался со мною английской службы полковник сир Роберт Вильсон. Он бродил около двора, не смея войти в квартиру светлейшего по причине какого-то между ними взаимного дипломатического неудовольствия. Будучи коротко знаком с ним с самого 1807 года кампании, я спросил его, что он тут делает? «Любезный друг! — отвечал он мне.— Жду известия о решительном направлении армии после того несчастия, которое я давно предвидел, но которое при всем том не может не терзать каждое истинно английское и русское сердце!» — «Английское сердце» невольно навело на уста мои улыбку, с которою я вошел в сени избы светлейшего, и велел вызвать полковника Толя, чтобы лично от него удостовериться в известии о переправе неприятельской армии чрез Березину и узнать, не будет ли мне какого иного направления? Толь и князь Кудашев вышли ко мне в сени и звали меня в избу. Но я, ненавидя бросаться на глаза начальникам, отказался; тогда они объявили самому светлейшему о моем прибытии. Он приказал от своего имени позвать меня, обласкал меня, как умел обласкивать, когда хотел, посадил за стол и угощал как сына.

Сколько я тут видел чиновников, украшенных разноцветными орденами, ныне возвышенных и за-

нимающих высокие должности; их в то время возили при главной квартире подобно слонам великого Могола! Сколько я там видел ныне значительных особ, тогда теснившихся в многочисленной свите главнокомандующего и жаждавших не только приветствия и угощения, но единого его взора! Умолчу о подлостях, говоримых ими даже и мне, недостойному!

После обеда светлейший расспрашивал меня о делах при Копысе и при Белыничах, хвалил расчет мой перед нападением на депо и упрямство мое при завладении последним местом, но пенял за лишнюю строгость с Поповым, которого я принял за мэра Копыса, и прибавил с шуткою: «Как у тебя духа стало пугать его? У него такая хорошенькая жена!» Я отвечал ему, что, судя по нравственности, я полагаю, что у могилевского архиерея еще более жен, которые, может быть, еще красивее жены Попова, но я желал бы, чтоб попалась мне в руки сия священная особа; я бы с нею по-светски рассчитался. «За что?» — спросил светлейший. «За присягу французам,— отвечал я,— к которой он приводил могилевских жителей, и за поминания на эктеньях Наполеона. Чтобы в том удостовериться, — продолжал я, — прикажите нарядить следствие. Ваша светлость, можно не награждать почестями истинных сынов России, ибо какая награда сравниться может с чувством совести их? Но щадить изменников столько же опасно, как истреблять карантины в чумное время». С сим словом я подал ему список чиновников, кои присягали и помогали неприятелю. Светлейший взял оный от меня, прочитал и сказал: «Погодим до поры и до время». Я узнал после, что архиерей могилевский был разжалован в монахи, но не знаю, по моему ли представлению или по представлению другого.

Насчет направления моего я только получил повеление догонять французов чрез Ушу, Борисовское мостовое укрепление, Логойск, Илию и Молодечно. А так как партия моя, обремененная двумя орудиями, не могла следовать за мною прямою дорогою к Шеверницам, то и заставила меня ожидать прибытия ее до полуночи.

Между тем флигель-адъютант Мишо́ (что ныне генерал-адъютант и граф Мишо) пристал ко мне,

чтобы под покровом моей партии догнать Чичагова, к армии которого он был командирован. Оставя орудия наши, как обузу слишком тягостную для усиленных переходов, мы выступили к Жуковцу в четыре часа пополуночи.

Переправа совершилась по тонкому льду. Мы прибыли в Ушу к ночи.

Двадцатого партия выступила в поход и ночевала у Борисовского мостового укрепления. В сей ночи полковник князь Кудашев, проездом к Чичагову, пробыл у меня два часа, взял с собою Мишó и отправился далее с прикрытием одного из моих урядников и двух казаков, из коих один только возвратился, прочие два были убиты поселянами. Это было лучшее доказательство истинного рубежа России с Польшею и намек в умножении осторожности.

Около сего времени морозы, после нескольконедневной оттепели, усилились и постоянно продолжались. Двадцатого я получил повеление, оставя погоню, идти прямо на Ковну[62], чтобы истребить в сем месте всякого рода неприятельские запасы. Такое же — было послано и Сеславину; но ни он, ни я не могли исполнить означенного предписания: я — по причине крутого отклонения моего к Нижнему Березину, отчего отстал на сто тридцать верст от неприятельской армии; а Сеславин — оттого, что, сражаясь с головой оной, чрез удаленность свою от главной квартиры, не прежде мог получить повеление сие, как по занятии Вильны и уже раненым.

Пока я шел от Днепра к Березине, все отряды, кроме графа Ожаровского, и все партизаны, кроме меня, следовали за главною неприятельскою армиею. Армия сия находилась 11-го в Бобрах, имея авангард в селе Наче, 12-го — в Неменице, оставя арьергард в Лошнице. 14-го, в восемь часов утра, авангард оной начал переправляться чрез Березину у Веселова, и 16-го, к вечеру, все силы были уже на противном берегу. С нашей стороны отряд генерала Ермолова, состоявший в четырнадцати баталионах пехоты, в нескольких полках линейной кавалерии и в двух ротах артиллерии, преследовал неприятеля от Орши к Борисову, куда прибыл 16-го числа.

Большой авангард генерала Милорадовича прибыл из Копыса в Глин 15-го, а в Негновище 17-го числа.

Пятнадцатого числа генерал Бороздин сдал отряд свой графу Орлову-Денисову, который 17-го поступил с ним в состав малого авангарда, порученного генералу Васильчикову. Сей авангард был в Ухвале 16-го и в Вилятичах 17-го числа.

Пятнадцатого отряд атамана Платова — в Колпенице, а 16-го — у самой Березины, в пятнадцати верстах выше Борисова.

Пятнадцатого под Кричею Сеславин напал с успехом на польские войска графа Тишкевича, множество поколол, набрал в плен и продолжал путь к Лошнице, где снова имел жаркую схватку с неприятелем.

Шестнадцатого сей отважный и неутомимый партизан, открыв сообщение с графом Витгенштейном, получил от него повеление во что бы то ни стало подать руку адмиралу Чичагову чрез Борисов. Исполнение немедленно последовало за повелением. Борисов был занят Сеславиным; три тысячи человек взято им в плен, и сообщение с Чичаговым открыто[63]. Семнадцатого французская армия тянулась к Зембину, и Наполеон прибыл в Камень. Генерал Ланской, занимавший Белорусским гусарским полком и казаками село Юрово, что на реке Гайне, выступил 16-го числа чрез Антополье и Словогощь к Плещенице, куда прибыл 17-го в полдень.

Он имел благое намерение идти впереди неприятеля к Вильне и преграждать всеми средствами путь головы его колонны, что мог исполнить беспрепятственно, ибо в тот день Плещеницы заняты были одною только придворною свитою Наполеона и конвоем раненого маршала Удино́. Но в то время обязанности партизана столь мало понимаемы были в нашей армии, что сей известный неустрашимостию и отважностию генерал, быв атакован подходившими от Каменя войсками, вместо того чтобы обратиться на Илие и Молодечну, истребляя магазины и заваливая дорогу, отступил обратно к авангарду Чичагова армии, тянувшейся на Зембин по пятам неприятельской армии, и довольствовался взятием генерала Каминско-

го, тридцати штаб- и обер-офицеров и до трехсот рядовых.

Между тем граф Ожаровский получил повеление наблюдать за армиею князя Шварценберга, находившеюся в Слониме. Вследствие чего он выступил на Воложин, 26-го прибыл в Вишнев и в тот же день пошел на Трабы, Деневишки и Бенякони — в Лиды, куда вступил 1 декабря. Отряд генерала Кутузова шел от Лепеля на Вышнее Березино и Докшицы, для наблюдения за Баварским корпусом, находившимся в последнем местечке, и для преследования главной неприятельской армии по северной стороне Виленской дороги.

Партизан Сеславин шел на местечко Забреж, которое 22 ноября он занял с боя. За малым дело стало, чтобы на другой день сам Наполеон не попался ему в руки; во второй раз в течение сей компании судьба спасла его от покушения казаков, везде и повсюду ему являвшихся как неотразимые вампиры! О случае сем говорено в вступлении сей книги.

Двадцатого партия моя обогнала отряд графа Ожаровского около Антополья, 21-го обошла кавалерию Уварова в Логойске, 22-го прибыла в Гайну, 23-го — в Илию и 24-го — в Молодечну, где догнала хвост Чичагова армии, то есть часть Павлоградских гусар и казаков под командою полковника Сталя. Вследствие повеления идти прямо на Ковну, мы свернули 25-го на Лебеду, 26-го пришли в Лоск, 27-го — в Ольшаны, 28-го — в Малые Солешки, 29-го — в Парадомин и 30-го — в Новые Троки. Там я получил повеление остановиться и ожидать нового направления.

Во время моего долговременного и бездейственного похода отряды и партии наши ворвались в Вильну, заваленную несметным числом обозов, артиллерии, больных, раненых, усталых и ленивых.

Впоследствии каждый отрядный начальник приписал себе честь занятия сей *столицы Литовского государства;* но вот истина: пока Чаплиц жевал и вытягивал периоды витийственной речи к жителям, пока Бенкендорф хо́лился для женщин и пока Кайсаров медлил у неприятельских обозов,— Тетенборн с обнаженной саблею повелел редактору виленских газет

объявить свету, что он первый покорил город, и смеялся потом возражениям своих соперников.

Сеславин сделал иначе. Чтобы не обезобразить подвиг сей, я представляю читателю донесение его, сколько память мне позволит; пусть различит он самохвальство иноземца с геройским умалением истинного россиянина, едва намекнувшего о жестокой ране своей в описании деяний своих сотрудников. Вот оно:

«Генералу Коновницыну. С божиею помощию я хотел атаковать Вильну, но встретил на дороге идущего туда неприятеля. Орудия мои рассеяли толпившуюся колонну у ворот города. В сию минуту неприятель выставил против меня несколько эскадронов; мы предупредили атаку сию своею и вогнали кавалерию его в улицы; пехота поддержала конницу и посунула нас назад; тогда я послал парламентера с предложением о сдаче Вильны и, по получении отрицательного ответа, предпринял вторичный натиск, который доставил мне шесть орудий и одного орла. Между тем подошел ко мне генерал-маиор Ланской, с коим мы теснили неприятеля до самых городских стен. Пехота французская, засевшая в домах, стреляла из окон и дверей и удерживала нас на каждом шагу. Я отважился на последнюю атаку, кою не мог привести к окончанию, быв жестоко ранен в левую руку; пуля раздробила кость и прошла навылет[64]. Сумского гусарского полка поручик Орлов также ранен в руку навылет. Генерал Ланской был свидетелем сего дела. Спросите у него, сам боюсь расхвастаться, но вам и его светлости рекомендую весь отряд мой, который во всех делах от Москвы до Вильны окрылялся рвением к общей пользе и не жалел крови за отечество. *Полковник Сеславин. Ноября 27-го».*

По прибытии моем в Новые Троки я получил повеление от генерала Коновницына следовать на Олиту и Меречь к Гродне, рапорты мои — продолжать писать в главную квартиру, а между тем не оставлять уведомлением обо всем происходящем адмирала Чичагова, идущего в Гёзну, и генерала Тормасова, следующего к Новому Свержену, что на Немане.

С сим повелением получил я письмо от генерал-квартирмейстера, в котором объявляет он о желании светлейшего видеть войска наши в добром сношении

с австрийцами. Сии бумаги были от 30 ноября. Мы уже сидели на конях, как вслед за сими повелениями получил я другое, по которому должен был не выходить из Новых Трок и прибыть особою моею в Вильну для свидания с светлейшим. Немедленно я туда отправился.

От Новых Трок до села Понари дорога была свободна и гладка. У последнего селения, там, где дорога разделяется на Новые Троки и на Ковну, груды трупов человеческих и лошадиных, тьма повозок, лафетов и палубов едва оставляли мне место для проезда; кучи еще живых неприятелей валялись на снегу или, залезши в повозки, ожидали холодной и голодной смерти. Путь мой освещаем был пылавшими избами и корчмами, в которых горели сотни сих несчастных. Сани мои на раскатах стучали в закостенелые головы, ноги и руки замерзлых или замерзающих, и проезд мой от Понарей до Вильны сопровождаем был разного диалекта стенаниями страдальцев... восхитительным гимном избавления моей родины!

Первого декабря явился я к светлейшему. Какая перемена в главной квартире! Вместо, как прежде, разоренной деревушки и курной избы, окруженной одними караульными, выходившими и входившими в нее должностными людьми, кочующими вокруг нее и проходившими мимо войсками, вместо тесной горницы, в которую вход был прямо из сеней и где видали мы светлейшего на складных креслах, облокоченного на планы и борющегося с гением величайшего завоевателя веков и мира,— я увидел улицу и двор, затопленные великолепными каретами, колясками и санями. Толпы польских вельмож в губернских *русских* мундирах, с пресмыкательными телодвижениями.

Множество наших и пленных неприятельских генералов, штаб- и обер-офицеров, иных на костылях, страждущих, бледных, других — бодрых и веселых,— всех теснившихся на крыльце, в передней и в зале человека, за два года пред сим и в этом же городе имевшего в ведении своем один гарнизонный полк и гражданских чиновников, а теперь начальствовавшего над всеми силами спасенного им отечества!

Когда я вошел в залу, одежда моя обратила на меня все взоры. Среди облитых златом генералов, красиво убранных офицеров и граждан литовских я явился в черном чекмене, в красных шароварах, с круглою курчавою бородою и черкесскою шашкою на бедре. Поляки шепотом спрашивали: кто такой? Некоторые из них отвечали: «Партизан Давыдов»; но самолюбие мое услышало несколько прилагательных, от коих нахлынула на меня толпа любопытных. Не прошло двух минут, как я был позван в кабинет светлейшего. Он сказал мне, что граф Ожаровский идет на Лиду, что австрийцы закрывают Гродну, что он весьма доволен мирными сношениями Ожаровского с ними, но, желая совершенно изгнать неприятеля из пределов России, посылает меня на Меречь и Олиту, прямо к Гродне, чтобы я старался занять сей город и очистить окрестности оного более чрез дружелюбные переговоры, нежели посредством оружия. Если же найду первый способ недостаточным, то позволил мне прибегнуть и к последнему, с тем только, чтобы немедленно отсылать пленных в неприятельский корпус не токмо ничем не обиженных, но обласканных и всем удовлетворенных.

Светлейший заключил тем, что, ожидая с часа на час рапорта от графа Ожаровского в рассуждении движения его вперед, он полагает нужным, чтобы я дождался в Вильне сего рапорта, дабы не предпринимать по-пустому ход к Гродне. В случае же, что граф Ожаровский не двинется из Лиды по каким-либо причинам, тогда только я должен буду идти поспешнее к назначенному мне предмету.

Ожидаемый рапорт прибыл 3-го вечером. Граф Ожаровский писал, что 2-го числа он занял Лиду и немедленно послал два полка занять Белицы, сам же остановился в первом местечке. Прочитав донесение, я сел в сани и поскакал в Новые Троки. Сборы мои никогда не были продолжительны: *взнуздай, садись, пошел*, и на рассвете партия моя была уже на половине дороги к Меречу[65]. В сем местечке мы успели захватить огромный магазин съестных припасов, который я сдал под расписку прибывшему туда командиру Московского драгунского полка полковнику Давыдову, и продолжал путь вдоль по Неману,

препоруча авангард мой маиору Чеченскому и передав ему наставление, данное мне светлейшим, как обходиться с австрийцами.

Восьмого числа Чеченский столкнулся с аванпостами австрийцев под Гродною, взял в плен двух гусаров и, вследствие наставления моего, немедленно отослал их к генералу Фрейлиху, командовавшему в Гродне отрядом, состоявшим в четыре тысячи человек конницы и пехоты и тридцать орудий.

Фрейлих прислал парламентера благодарить Чеченского за снисходительный сей поступок, а Чеченский воспользовался таким случаем, и переговоры между ними завязались. Вначале австрийский генерал объявил намерение не иначе сдать город, как предавши огню все провиантские и комиссариатские магазины, кои вмещали в себе более нежели на миллион рублей запаса. Чеченский отвечал ему, что все пополнение ляжет на жителей сей губернии и чрез это он докажет только недоброжелательство свое к русским в такое время, в которое каждое дружеское доказательство австрийцев к нам есть смертельная рана общему угнетателю. После нескольких прений Фрейлих решился оставить город со всеми запасами, в оном находившимися, и потянулся с отрядом своим за границу. Чеченский вслед за ним вступил в Гродну, остановился на площади, занял постами улицы, к оной прилегающие, и поставил караулы при магазинах и гошпиталях. Он не преминул также уведомить меня о духе польских жителей города, весьма для нас противном. Нельзя было быть иначе: город Гродна ближе всех больших литовских городов граничил с Варшавским герцогством и потому более всех заключал в себе противников нашему оружию: связи родства и дружбы, способность в сношениях с обывателями левого берега Немана и с Варшавою, с сим горнилом козней, вражды и ненависти к России,— все увлекало польских жителей сего города на все нам вредное. Напротив того, все вообще евреи, обитавшие в Польше, были к нам столь преданы, что, при всей алчности к наживе и корыстолюбию, они во все время отказывались от лазутчества противу нас и всегда и всюду давали нам неоднократные и важнейшие известия о неприятеле.

Надо было наказать первых и погладить последних.

Девятого числа я вступил в город со всею партиею моею. У въезда оного ожидал меня весь кагал еврейский. Желая изъявить евреям благодарность мою за приверженность их к русским, я выслушал речь главного из них без улыбки, сказал ему несколько благосклонных слов и, увлеченный веселым расположением духа, не мог отказать себе в удовольствии, чтобы не сыграть фарсу на манер милого балагура и друга моего Кульнева: *я въехал в Гродну под жидовским балдахином*. Я знаю, что немногие бы на сие решились от опасения насмешки польских жителей, но я не боялся оной, имев в себе и вокруг себя все то, что нужно для превращения смеха в слезы. Исступленная от радости толпа евреев с визгами и непрерывными *ура!* провожала меня до площади. Между ними ни одного поляка не было видно, не от твердости духа и не от национальной гордости, ибо к вечеру они все пали к ногам моим, а от совершенного неведения о событиях того времени. Хотя известие о выступлении из Москвы дошло до них несколько дней прежде занятия мною Гродны, при всем том они все еще полагали армию нашу в окрестностях Смоленска, а отряд мой — партиею от корпуса Сакена.

Я остановился на площади, сошел с коня и велел ударить в барабан городской полиции. Когда стечение народа сделалось довольно значительным, я приказал барабанам умолкнуть и велел читать заранее приготовленную мною бумагу, с коей копии, переведенные на польский язык, были немедленно по прочтении русской бумаги распущены по городу.

«По приему, сделанному русскому войску польскими жителями Гродны, я вижу, что до них не дошел еще слух о событиях; вот они: Россия свободна. Все наши силы вступили в Вильну 1 декабря. Теперь они за Неманом. Из полумиллионной неприятельской армии и тысячи орудий, при ней находившихся, только пятнадцать тысяч солдат и четыре пушки перешли обратно за Неман. Господа поляки! В черное платье! Редкий из вас не лишился ближнего по родству или по дружбе: из восьмидесяти тысяч ваших войск, дерзнувших вступить в пределы наши, пятьсот толь-

ко бегут восвояси; прочие — валяются по большой дороге, морозом окостенелые и засыпанные снегом русским.

Я вошел сюда по средству мирного договора; мог то же сделать силою оружия, но я пожертвовал славою отряда моего для спасения города, принадлежащего России, ибо вам известно, что битва в улицах кончается грабежом в домах, а грабеж — пожарами.

И что же? Я вас спасаю, а вы сами себя губить хотите! Я вижу на лицах поляков, здесь столпившихся, и злобу, и коварные замыслы; я вижу наглость в осанке и вызов во взглядах; сабли на бедрах, пистолеты и кинжалы за поясами... Зачем все это, если бы вы хотели чистосердечно обратиться к тем обязанностям, от коих вам никогда не надлежало бы отступать?

Итак, вопреки вас самих я должен взять меры к вашему спасению, ибо один выстрел — и горе всему городу! Невинные погибнут с виновными... Все — в прах и в пепел!

Дабы отвратить беду — не войскам моим, которые найдут в оной лишь пользу, а городу, которому грозит разрушение,— я изменяю управление оного.

Подполковник Храповицкий назначается начальником города. На полицеймейстера и подчиненных его, которые все поляки, я положиться не могу и потому приказываю всем и во всем относиться к еврейскому кагалу.

Зная приверженность евреев к русским, я избираю кагального в начальники высшей полиции и возлагаю на него ответственность за всякого рода беспорядки, могущие возникнуть в городе, так, как и за все тайные совещания, о коих начальник города не будет извещен. Кагального дело — выбрать из евреев помощников для надзора как за полициею, так и за всеми польскими обывателями города. Кагальный должен помнить и гордиться властью, которою я облекаю его и евреев, и знать, что ревность его и их будут известны вышнему начальству.

Предписывается жителям города, чтобы в два часа времени все огнестрельное оружие, им принадлежащее, было снесено на квартиру подполковника Храповицкого. У кого отыщется таковое пять минут после истечения данного мною срока, тот будет расстрелян

на площади. Уверяю, что я шутить не люблю и слово свое умею держать как в наградах, так и в наказаниях».

«Это что за столб?» — спросил я, увидя высокий столб посреди площади. Кагальный объявил, что этот столб поставлен во время празднования польскими обывателями взятия Москвы. В это время, не помню точно, но, кажется, г-н Андржикович (шурин генерала Беннингсена, ныне губернатор Волынской губернии и оплеченный анненскою лентою) подошел ко мне с унизительною ужимкою и сказал: «Cela se nomme mât de cocagne, mon colonel; les circonstances...»*. Взгляд пронзительный осадил его в толпу, из которой он выступил.

«Кагальный, топоры,— и долой столб!» — Столб мгновенно рухнул на землю. «Что за картины вижу я на балконах и окнах каждого дома?» — «Это прозрачные картины,— отвечал кагальный,— выставленные, как и столб, для празднования взятия Москвы».— «Долой, и в огонь на площади!»

Когда некоторые из картин пронесли мимо меня, я приметил разные аллегорические ругания насчет России. Но самая замечательная находилась на балконе аптекаря. На ней изображались орел Франции и белый орел Польши, раздирающие на части двуглавого орла России. Я велел позвать к себе аптекаря и приказал ему к 12-му числу, то есть ко дню рождения императора Александра, написать картину совершенно противного содержания, присовокупя к орлам Франции и Польши еще двух особых орлов, улетающих от одного орла русского.

Между тем я не забыл и жителей, с домов коих сорваны были подобные аллегории. Им было велено к тому же числу выставить изображения, приличные настоящим обстоятельствам и прославляющие освобождение России от нашествия *просвещенных варваров*. Все повиновались без прекословия; один аптекарь представил затруднения, уверяя, что так как картина, на него наложенная, весьма многосложна, то он не успеет исполнить приказания в такой короткий срок. Этого было довольно. До сей поры на лице и в словах

* Это так называемый призовой столб, полковник; обстоятельства... *(фр.)*

моих изображалась одна холодная строгость; я искал случая закипеть гневом, чтобы окончательно уже сразить надменность польскую. Случай предстал, и, как мне после сказывали товарищи мои, *безобразие мое* достигло до *красоты идеальной*... Я заревел, и электрическая искра пробежала по всей толпе поляков; об аптекаре же и говорить нечего; он вытянулся, как клистирная трубка, и побледнел, как банка магнезии. Я приказал к дому его приставить караул с тем, чтобы целые сутки 12-го числа не было у него огня не токмо в доме, но даже и на кухне, а 13-го вечером, когда нигде уже не будет иллюминации, велел ему осветить все окна и выставить на балконе означенную прозрачную картину. Так и было.

В заключение всем неистовствам (как называли их поляки, и в чем я с ними соглашаюсь), я отыскал того ксендза, который говорил похвальное слово Наполеону при вступлении неприятеля в пределы России, и приказал ему сочинить и говорить в российской церкви *слово*, в котором бы он разругал и предал проклятию Наполеона с его войском, с его союзниками и восхвалил бы нашего императора, вождя, народ и войско; а так как я не знал польского языка, то назначено ему было 11-го числа, вечером, представить рукопись свою Храповицкому для рассмотрения.

Сверх того, я назначил сотню казаков, всегда готовых для Храповицкого, когда нужно было ему прибегнуть к силе для исполнения повелений его. Эти казаки посылаемы также были патрулями по городу денно и нощно и не позволяли сборища свыше пяти человек.

Предписал запечатать магазины и оставить при них поставленные маиором Чеченским караулы.

Приказал открыть греко-российскую церковь и восстановить в ней богослужение. Двенадцатого числа, в день рождения государя императора, приказал, чтобы все городские чиновники явились ко мне с поздравлением, чтобы город был освещен плошками и чтобы звонили целые сутки во все колокола всех церквей.

И, наконец, приказал кагалу подать список всем чиновникам и обывателям, записавшимся в службу Варшавского герцогства.

Таким образом, окончa, так сказать, *площадные* дела мои, я пошел на квартиру, откуда немедленно от-

правил курьера в главную квартиру с донесением о благополучном исполнении возложенного на меня препоручения.

Не прошло часу, как все полезло ко мне с почтительными визитами. Всем произнесен был отрывистый отказ *донским швейцаром* моим, стоявшим с пикою у дверей. Некоторые, однако ж, были приняты: Андржикович, о коем я упомянул выше и с коим Храповицкий должен был иметь сношения касательно продовольствия партии, старик граф Валицкий, который от старости и трусости не вдавался в военные предприятия, а от скупости не помогал деньгами, и господин Рот, венгерский выходец, почтенный старец, издавна в городе поселившийся, чуждый всех политических переворотов и имевший в нашей службе пять сыновей, всегда храбро служивших. Первый был однажды вытолкан взашей Храповицким вследствие какого-то возникшего между ними спора насчет фуража и провианта, нужного для партии; а второго я никогда не забуду выступку, когда он, *получа позволение предстать предо мною*, вползал в комнату, оплеченный голубою польскою лентою, в башмаках и со шляпою под мышкой.

Причина посещения его состояла не в бесплодном унижении, подобно его соотечественникам; он приехал с тем, чтобы выхлопотать у меня помилование от разорения, в коем он не сомневался, услыша, что я ношу бороду и командую казаками,— два обстоятельства, как уверяют, весьма неутешительные! Обладая необычайным движимым имением, завоеванным им в течение сорокалетнего упражнения на зеленой равнине стола ломберного, он дрожал, чтобы другого рода, на другой равнине и в другую игру отличившиеся игроки не лишили его явно и мгновенно того, что он исподтишка приобрел трудами долговременной своей ловкости. Как я втайне смеялся над его трепетом и изворотами, посредством коих искал он удостоверить меня в понесенных им убытках! Признаюсь, я довольно долго наслаждался его боязнью и после всякого рассказа его отвечал ему: «Однако, граф, если б *пошарить* у вас, то, верно, еще кой-что найдется!» И он на всякий таковой ответ повторял: «Дали буг, ниц ни ма!» И крестился, и глаза подымал к небу. А так как он крестил-

ся по католическому исповеданию — с левого плеча на правое, то каждый раз я заставлял его снова креститься по-нашему — справа налево, что он, наконец, сам собою уже делал.

Помуча его более часу, я заключил наше свидание просьбою, чтобы он ничего не боялся, что хотя я в бороде и командую казаками, но что ни я, ни они — не грабители. Без сомнения, он не успокоился от слов сих — и хорошо сделал, но бескорыстное поведение партии моей в одни сутки удостоверило его в истине моего уверения.

Так как во время проезда моего из Тильзита в 1807 году я провел несколько дней в Гродне, то многие из жителей сего города меня знали и, следовательно, не минули немедленно осыпать меня приглашениями всякого рода: иные звали меня на чай, другие на ужин, некоторые разобрали между собою следующие дни для угощения меня и моих товарищей; но мы решительно от всего отказались и разделяли время между собою и обязанностию службы.

Двенадцатого числа, поутру, господин Рот вошел ко мне и объявил о приезде чиновников и всех почетных особ города для поздравления. Занимаемый мною дом был на городской площади, против ратуши. Я и Храповицкий жили в двух маленьких горницах, примыкающих к обширной, сырой зале, с самого начала зимы не топленой и по сырости своей обитаемой одними кашлями и ревматизмами. Там я заставил ждать битый час всех моих посетителей, одетых уже в губернские мундиры, с повинными головами, дрожавшими от страха и стучавшими зубами от стужи нестерпимой. Наконец я предстал пред ними в моей наездничьей одежде. Имелся список, куда кто был записан; я говорил им крупно, без запятых и точек, заключил монолог мой приказанием идти со мною в русскую церковь молиться за царя русского и благодарить бога за избавление России.

Все, что я приказал Храповицкому, Храповицкий — кагалу, а кагал — обывателям, все исполнилось в точности и все разрывало от досады поляков, принужденных против воли прославлять и царя и народ русский, внезапно перейти от надменной походки *вооруженных рыцарей* к национальному их *ногопаде-*

нию, и вместо владычества над Россией — исполнять предписания жидовского кагала.

Тринадцатого, вечером, я получил повеление идти на Ганьондз.

Партия моя немедленно туда выступила, но я по приключившейся мне болезни принужденным нашелся остаться пять дней в Гродне.

Сего числа прибыла в Гродну кавалерия генерал-лейтенанта Корфа, а на другой день и пехота генерала-от-инфантерии Милорадовича. Первому из них я сдал магазины и гошпитали, находившиеся в этом городе, и, переехав к нему на квартиру, остался в оной до моего выздоровления.

Не могу умолчать о генерале Милорадовиче. По приезде его в Гродну все поляки от меня отхлынули и пали к стопам его; но ему было ни до владычества своего, ни до подлости других: он в то время получил письмо с драгоценною саблею от графини Орловой-Чесменской [66]. Письмо это заключало в себе выражения, дававшие ему надежду на руку сей первой богачки государства. Милорадович запылал *восторгом необоримой страсти!* Он не находил слов к изъяснению благодарности своей и целые дни писал ей ответы, и целые стопы покрыл своими гиероглифами; и каждое письмо, вчерне им написанное, было смешнее и смешнее, глупее и глупее! Никому не позволено было входить в кабинет его, кроме Киселева, его адъютанта, меня и взятого в плен доктора Бартелеми. Мы одни были его советниками: Киселев — как умный человек большого света, я — как литератор, Бартелеми — как француз, ибо письмо сочиняемо было на французском языке! Давний приятель Милорадовича, генерал-маиор Пассек, жаловался на него всякому, подходившему к неумолимой двери, где, как легавая собака, он избрал логовище. Комендант города и чиновники корпуса также подходили к оной по нескольку раз в сутки и уходили домой, не получа никакого ответа, отчего как корпусное, так и городское управление пресеклось, гошпиталь обратился в кладбище, полные хлебом, сукном и кожами магазины упразднились наехавшими в Гродну комиссариатскими чиновниками, поляки стали явно обижать русских на улицах и в домах своих, словом, беспоря-

док дошел до верхней степени. Наконец Милорадович подписал свою эпистолу, отверз милосердые двери, и все в оные бросились... но — увы! — кабинет был уже пуст: великий полководец ускользнул в потаенные двери и ускакал на бал плясать мазурку, а я сел в сани и явился 18-го числа в Тикочин, где ожидала меня моя партия.

Переступя за границу России и видя каждого подчиненного моего награжденного тремя награждениями, а себя — забытым по той причине, что, относясь во всю кампанию прямо или к светлейшему или к Коновницыну, я не имел ни одного посредника, который мог бы рекомендовать меня к какому-либо награждению,— я не счел за преступление напомнить о себе светлейшему и писал к нему таким образом:

«Ваша светлость! Пока продолжалась Отечественная война, я считал за грех думать об ином чем, как об истреблении врагов отечества. Ныне я за границей, то покорнейше прошу вашу светлость прислать мне Владимира 3-й степени и Георгия 4-го класса».

В ответ я получил (в селе Соколах, 22-го числа) пакет с обоими крестами и с следующим письмом от Коновницына: «Получа письмо ваше к его светлости, я имел счастие всеподданнейше докладывать государю императору об оказанных вами подвигах и трудах в течение нынешней кампании. Его императорское величество соизволил повелеть наградить вас орденами: 4-го класса св. Георгия и 3-й степени св. Владимира. С приятностью уведомляю вас о сем и проч. *Декабря 20-го дня 1812 года. Вильна»*.

Уверяли меня, что если бы я тогда потребовал Георгия 3-го класса, то, без сомнения, получил бы его так же легко, как и вышеозначенные награждения. Поистине я сделал ошибку, но ошибке сей причиною было высокое мнение, которое я *тогда* имел о сем ордене: я думал, что я еще не достоин третьего класса оного! И как осмелиться было требовать полковнику тот орден, который еще тогда носим был: Остерманом, Ермоловым, Раевским, Коновницыным и Паленом!

В Соколах я принужден был остановиться вследствие повеления генерал-адъютанта Васильчикова. Немедленно после сего получил повеление от

генерала Коновницына следовать в Ганьондз для соединения с корпусом генерала-от-инфантерии Дохтурова и явиться в команду принца Евгения Виртембергского, а вскоре потом дошло до меня и повеление от нового дежурного генерала князя Волконского о том же предмете.

Двадцать четвертого вышло новое размещение войскам, и партия моя поступила в состав главного авангарда армии, препорученного генералу Винценгероде.

Авангард сей состоял из следующих войск:

Корпус генерал-маиора Тучкова 2-го:

			Число людей
Пехота	Запасных баталионов	20	5961
	Рекрутских	4	
	Корабельный экипаж	4	
Кавалерия	Запасных эскадронов	20	1582
	Донских казачьих полков	6	1123
Артиллерия	Батарейная рота	12 орудий	486
	Легких орудий	8 —	
	Цесарская	1 —	

2-й пехотный корпус:

4-я дивизия: четыре полка по два баталиона		2500
3-я дивизия: четыре полка по два баталиона		
Батарейная рота	12 орудий	400
Две легких роты	24 орудия	
Конная рота	12 орудий	
Два донских полка из авангарда Милорадовича.		

Отряд генерала Ланского:

Двадцать эскадронов гусар	1527
Полк уральский казачий	
Два уральские казачьи полка	1812

Отряд мой:

Два полка казачьих: Попова 13-го и 1-й Бугский	550
Команда гусар и сборных казаков	
Итого	16041 человек

Таким образом, поступя в начальники авангарда главного авангарда армии, я сошел с партизанского поприща.

О ПАРТИЗАНСКОЙ ВОЙНЕ

Односторонний взгляд на предмет или суждение о нем с мнимою предусмотрительностью есть причина того понятия о партизанской войне, которое не престает еще господствовать. *Схватить языка,* предать пламени несколько неприятельских хранилищ, недалеко отстоящих от армии, сорвать незапно передовую стражу или в умножении партий видеть пагубную систему раздробительного действия армии — суть обыкновенные сей войны определения. И то и другое ложно! Партизанская война состоит ни в весьма дробных, ни в первостепенных предприятиях, ибо занимается не сожжением одного или двух амбаров, не сорванием пикетов и не нанесением прямых ударов главным силам неприятеля. Она объемлет и пересекает все протяжение путей, от тыла противной армии до того пространства земли, которое определено на снабжение ее войсками, пропитанием и зарядами, чрез что заграждая течение источника ее сил и существования, она подвергает ее ударам своей армии обессиленною, голодною, обезоруженною и лишенною спасительных уз подчиненности. Вот партизанская война в полном смысле слова!

Без сомнения, такого рода война была бы менее полезна, если б воевали одними малосильными армиями, не требующими большого количества съестных потребностей и действующими одним холодным оружием. Но с тех пор как изобретены порох и огнестрельное оружие, с тех пор как умножили огромность военных сил, и, наконец, с тех пор как склонились более к системе сосредоточения, чем раздробления

войск при размещении и направлении их в походах и в действии,— с тех пор и пропитание их, извлекаемое из того пространства земли, которое они собою покрывают, должно было встретить невозможности, а производство зарядов в лабораториях, обучение рекрут и образование резервов — необоримые затруднения среди тревог, битв и военных случайностей.

При таковых обстоятельствах надлежало искать средства к снабжению войск всеми для войны необходимыми потребностями не чрез извлечения их из пространства земли, войсками покрываемого, что от несоразмерности потребителей с произведениями было бы невозможно, а из пределов, находящихся вне боевых происшествий. От сего произошло разделение театра войны на два поля: на *боевое поле* и на *поле запасов,* и снабжение первого произведениями второго, но не вдруг и не великими громадами, а по мере израсходования съестных и боевых предметов, возимых при армии, дабы не обременять ее излишними тяжестями и чрез то не оковывать ее движений. Но само собою разумеется, что изобретение это долженствовало произвести и со стороны противника изобретение к преграждению снабжения неприятельской армии предметами, столь для нее необходимыми. Для достижения этой цели два способа представились при первом взгляде: или действие отрядами на боевое поле непосредственно в тыл фронта армии, где производится раздача привозимых зарядов и провианта и размещение прибывших войск из резервов, или действие оными же отрядами на самое поле запасов.

Но тут же удостоверились, что первое с трудом прикосновенно от смежности самой неприятельской армии с местом, назначенным для нападения, а последнее обыкновенно ограждаемо укреплениями, в средине коих заключаются склады продовольствия, приготовляются заряды и производится образование резервов. Осталось то пространство, по которому все сии три предмета доставляются в армию: вот поле партизанского действия. Оно не представляет тех препятствий, которыми изобилует и боевое поле и поле запасов, ибо как главные силы армии, так и укрепления, находясь на оконечностях оного, не в состоянии защищать его — первые от стремления всех уси-

лий на борьбу с противоположной им главной армией, последние — по причине естественной неподвижности своей.

Из сего следует, что партизанская война существовать не может, когда неприятельская армия расположена на самом поле запасов; но чем более увеличивается пространство, отделяющее боевое поле от поля запасов, тем партизанская война полезнее и решительнее. Правда, что осторожные полководцы не минуют определять по всему протяжению главного пути, рассекающему означенное пространство, и укрепленные этапы, или приюты, для защиты подвозов во время их привалов и ночлегов, и отряды войск для прикрытия сих подвозов во время переходов их от этапа до этапа; меры благоразумные, но далеко уступающие и долженствующие уступить нападению многочисленных и деятельных партий, как всякое оборонительное действие уступает наступательному. К тому же надо прибавить и то, что эти укрепленные этапы, сколько ни были бы обширны, никак не в состоянии вмещать в себе то количество подвод, которое составляет и самый слабый подвоз армий нашего времени; прикрытие, сколько ни было бы многолюдно, никогда совокупно идти не может по той причине, что, охраняя все протяжение подвоза, оно принуждено растягиваться по мере протяжения оного во время переходов и потому всегда быть слабее на точке натиска партии, совокупно действующей. Независимо от этих неудобств, сколько надо боевой силы для снабжения ею сих укрепленных этап, более и более умножающих по мере движения вперед, по мере успехов, увлекающих наступающую армию далее и далее от поля запасов!

Теперь, чтобы окончательно выразить всю важность партизанской войны при огромных ополчениях и системе сосредоточения в действиях нашего времени, сделаем несколько вопросов и ответов. Во-первых, кем производится война? — Людьми, соединенными в армии.

Во-вторых, но люди, так сказать, с пустыми руками могут ли сражаться? — Нет. Война — не кулачный бой. Этим людям нужно оружие; но со времени изобретения пороха и оружие само собою недостаточ-

но: этому оружию нужны и патроны и заряды для произведения действий, от него требуемого; а так как патроны и заряды более или менее выстреливаются в каждой битве и делание их затруднительно при движениях и действии войск, то необходимо нужно снабжать оружие новыми зарядами и патронами с того места, где они приготовляются. Это ясно доказывает, что армия и с оружием в руках, но без патронов и зарядов, не что иное, как устроенная толпа людей с рогатинами, толпа, которая от первого неприятельского выстрела должна рассеяться или, приняв битву, погибнуть. Словом, нет силы в армии, или, можно сказать, что со времени изобретения пороха — нет армии без зарядов и патронов.

В-третьих, требует ли армия подкрепления в течение войны? — Требует, по мере потери людей и лошадей в сражениях, в стычках и перестрелках, также и от ран, получаемых ими в битвах, также и от болезней, умножающихся от усиленных переходов, ненастья, трудов и недостатков всякого рода. Без укомплектования себя армии должны мало-помалу уменьшаться и потом исчезнуть совершенно.

Наконец, в-четвертых, нечего спрашивать, нужна ли пища солдату, ибо человек без пищи не только сражаться, но и жить не может; а так как доказано, что по многолюдству своему армии нашего времени не в состоянии довольствоваться произведениями того пространства земли, которое они собою покрывают, то им необходимы подвозы с пищею, без которых они должны или умереть с голоду, или, рассеясь для отыскивания пропитания за круг боевых происшествий, превратиться в развратную толпу бродяг и грабителей и погибнуть по частям, без защиты и славы.

Итак, чтобы лишить неприятеля сих трех, можно сказать, коренных стихий жизненной и боевой силы всякой армии, какое для сего избрать средство? Нет другого, как истребление их во время их перемещения с поля запасов на боевое поле, следственно, средством партизанской войны. Что предпримет неприятель без пищи, без зарядов и без укомплектования себя войсками? Он принужден будет или прекратить действие миром, или пленом, или рассеянием без надежды на соединение — три последствия весьма не-

утешительные и совершенно противоположные тем, которые стяжает всякая армия при открытии военных действий. Независимо от гибели, которою угрожает партизанская война сим трем коренным стихиям силы и существования всякой армии, есть второстепенные необходимости, тесно связанные с благосостоянием ее, и не менее подвозов с пищею и с зарядами, не менее доставления к ней резервов подвергающиеся опасности: подвозы с одеждою, с обувью и с оружием на смену испорченному от чрезмерного употребления или потерянному в сумятицах сражений; хирургические и госпитальные вещи; курьеры и адъютанты, возящие иногда весьма важные повеления из неприятельской главной квартиры к оставшимся позади областям, резервам, заведениям, отдельным корпусам и отрядам, так как и донесения последних в главную квартиру, чрез что разрушается содействие всех частей между собою. Транспорты раненых и больных, перевозимых из армии в больницы, или команды выздоровевших, возвращающиеся из больницы в армию; чиновники высшего звания, переезжающие с одного места на другое для осмотра отдельных частей или для принятия отдельного начальства, и прочее.

Но это недостаточно. Партизанская война имеет влияние и на главные операции неприятельской армии. Перемещение ее в течение кампании по стратегическим видам долженствует встретить необоримые затруднения, когда первый и каждый шаг ее может немедленно быть известен противному полководцу посредством партий, когда сими же партиями, на первом и на каждом шагу, она может быть задержана засеками, истребленными переправами и атакована всеми противными силами в то время, как, оставя один стратегический пункт, она не успела еще достичь до другого, что приводит нам на память Сеславина и Малоярославец. Таковыми преградами угрожает неприятель и во время отступления своего. Преграды эти, воздвигнутые и защищаемые партиями, способствуют преследующей армии теснить отступающую и пользоваться местными выгодами для окончательного ее разрушения: зрелище, коему мы были свидетелями в 1812 году, при отступлении Наполеоновых полчищ от Москвы до Немана.

Но и этого мало. Нравственная часть едва ли уступает вещественной части этого рода действия. Поднятие упадшего духа в жителях тех областей, которые находятся в тылу неприятельской армии; отвлечение от содействия ей людей беспокойных, корыстолюбивых посредством всякого рода добычи, отбиваемой у нее и разделяемой с жителями в замену приманок, расточаемых им вождями противных войск в одних только прокламациях; одобрение собственной армии частным доставлением к ней и под глаза ее пленных солдат и чиновников, обозов и подвозов с провиантом, парков и даже орудий, и, сверх того, потрясение и подавление духа в противодействующих войсках — таковы плоды партизанской войны, искусно управляемой. Каких последствий не будем мы свидетелями, когда успехи партий обратят на их сторону все народонаселение областей, находящихся в тылу неприятельской армии, и ужас, посеянный на ее путях сообщения, разгласится в рядах ее? Когда мысль, что нет ни прохода, ни проезда от партий, похищая у каждого воина надежду при немочи на безопасное убежище в больницах, устроенных на поле запасов, а в рядах достаточное пропитание, с того же поля привозимое, в первом случае произведет в нем робкую предусмотрительность, в последнем — увлечет его на неизбежное грабительство, одну из главных причин падения дисциплины, а с дисциплиною — совершенного разрушения армии.

Иностранные писатели излагают законы военного искусства не для нас, русских, а для государств, коим принадлежали они, следственно, по масштабу и по свойству военной силы, им известной, а не по масштабу государства, коего военная сила, средства и местность, и поныне находясь за пределами понятий и расчетов их, столь резко разнствуют с другими государствами. Например, правила, чтобы не употреблять легкого войска на долгое время и на дальнее расстояние от главной армии, дабы чрез то не лишить ее той числительной силы, которая в генеральных сражениях так необходима, и что партизанская война безопасна только в собственном и в союзном государстве, но гибельна и невозможна в пределах неприятеля,— суть правила справедливые и неоспоримые отно-

сительно всех европейских государств, но ошибочные относительно России. Легкая европейская конница составлена из людей одинакового свойства с людьми, составляющими все другие части линейного войска.

Она различествует от них одною одеждою и названием, но ничем другим: ни особою способностью к наездам и поискам, ни особою отважностью, сноровкой и подвижностью; следственно, отделение от главной массы такой легкой конницы на предприятия, по неспособности ее, неверные и гадательные — есть истинное раздробление армии на части и лишение ее сил, необходимых в генеральных сражениях. К неспособности этой конницы на отдельное действие надо присовокупить и малочисленность оной, затрудняющую пребывание ее в неприятельской земле, которой народонаселение в такой вражде или в явном против нее восстании. Все это чуждо для российской армии. Легкая конница ее состоит не из бригад или дивизий, носящих только звание легкого войска, а из целых племен воинственных всадников, исключительно занимающихся наездами и из рода в род передающих способность свою к сему роду действия. Конница эта никогда нейдет у нас в счет с линейным войском для генеральных сражений и, мало полезная в них, превосходна и неподражаема в отдельных поисках. Итак, потому что европейскими армиями не употребляется партизанская война от неимения ни единого истинно легкого всадника и от необходимости содержать в общей массе даже и тех, кои носят звание легких всадников, неужели и мы, обладающие целыми народами летучих, неутомимых и врожденных наездников, нимало не послабляющих отсутствием своим регулярную армию, неужели и мы обязаны воспретить себе род действия, для нас столь полезный, для противников наших столь гибельный? Если бы случилось России воевать государства, у коих не было бы ни артиллерии, ни конницы, неужели надлежало бы отказаться ей от употребления противу них и артиллерии и конницы? Что сказали бы об Англии, если б вздумала она заключить флот свой в пристанях, вместо того чтобы сражаться им в открытом море с флотами, столь много уступающими ему и качеством и количеством?

Вот, однако же, что делала Россия в отношении к своей легкой коннице. Насыщенная неразрывным рядом побед и завоеваний, приобретенных усилиями одних линейных войск своих, и потому имея все право избегать заботы в изыскании другого рода средств к покорению своих противников, она довольствовалась одними прямыми ударами штыка, ядра и сабли, столь усердно служивших ей в течение полного столетия. После Бородинского сражения приступлено было к испытанию этого нового употребления легкой конницы. Пущено некоторое число казачьих отрядов на пути сообщения неприятельской армии; и едва отделились они от главных наших сил, как безмятежные дотоле пути сообщения неприятеля приняли иной вид: все обратилось на них вверх дном и в хаос, и несметное число солдат и всяких степеней чиновников, подвозов с провиантом и с оружием, парков с зарядами и даже орудий загромоздили нашу главную квартиру. Безошибочно можно сказать, что более трети войска, отхваченного у неприятеля, и все транспорты, к нему шедшие и доставшиеся нам в сей решительный перелом судьбы России, принадлежат тем из казачьих отрядов, кои действовали в тылу и на флангах неприятельской армии. Если вывод единого испытания этого,— ибо по малочисленности партий, пущенных тогда на путь сообщения неприятеля, можно почесть это предприятие истинным испытанием,— если вывод этот, говорю я, представляет нам такой огромный выигрыш при употреблении таких слабых средств, то чего не можно ожидать от развития этого рода действия по размеру, сообразному с многочисленностью легкой конницы нашей в наступательных войнах с Европою?

Надо надеяться или, лучше сказать, можно с достоверностью ожидать, что со временем и эта часть военной силы, считаемая иноземцами недостойною внимания, потому что они судят о легких войсках наших по своим легким войскам, что и эта часть, от бóльшего и бóльшего усовершенствования, вскоре поступит на степень прочих частей военной силы государства. Огромна наша мать Россия. Изобилие средств ее дорого уже стоит многим народам, посягавшим на ее честь и существование; но не знают

еще они всех слоев лавы, покоящихся на дне ее. Один из сих слоев состоит, без сомнения, из полудиких и воинственных народов, населяющих всю часть империи, лежащую между Днепра, Дона, Кубани, Терека, и верховьев Урала, и коих поголовное ополчение может выставить в поле сто, полтораста, двести тысяч природных наездников. Единое мановение царя нашего — и застонут поля неприятелей под копытами сей свирепой, неутомимо подвижной конницы, предводимой просвещенными чиновниками регулярной армии! Не разрушится ли, не развеется ли, не снесется ли прахом с лица земли все, что ни повстречается, живого и неживого, на широком пути урагана, направленного в тыл неприятельской армии, занятой в то же время борьбою с миллионною нашею армией, первою в мире по своей храбрости, дисциплине и устройству?

Еще Россия не подымалась во весь исполинский рост свой, и горе ее неприятелям, если она когда-нибудь подымется!

ПРИМЕЧАНИЯ, СОСТАВЛЕННЫЕ ДЕНИСОМ ДАВЫДОВЫМ

[1] Известно, что он упал к ногам императора Павла, говоря: «Боже, спаси царей!» «Вам,— сказал император,— предстоит спасать их». Видя, что Суворов с трудом подымается, государь сказал своим придворным: «Помогите встать графу». При этих словах Суворов сам быстро встал, воскликнув: «О, помилуй бог, Суворов сам подымается, никто в том ему не помогает».

[2] Суворов просился однажды в Москву в отпуск с Моздокской линии, устройство которой ему было поручено. Так как императрица не изъявила своего согласия на продолжительный отпуск, он получил лишь пятнадцатидневный. Прибыв в Москву ночью, он благословил спящих детей и тотчас предпринял возвратный путь на линию.

[3] Однажды Военная коллегия жаловалась императрице на Суворова, в полках которого было слишком много музыкантов, что вынуждало его уменьшать число фронтовых солдат. Собран был военный совет, на котором присутствовал и Суворов, который, выслушав все мнения, сказал: «Хороший и полный хор музыкантов возвышает дух солдат, расширяет шаг; это ведет к победе, а победа — к славе». Императрица вполне предоставила это дело на его благоусмотрение. (Многие сведения о великом Суворове были мне сообщены князем Андреем Ивановичем Горчаковым.)

[4] Взятие Варшавы в 1831 году без грабежа нисколько не опровергает всего мною сказанного, ибо гарнизон города имел свободный выход, которым и воспользовался. Если б гарнизон нашелся вынужденным сражаться на улицах, в домах и костелах, город подвергся бы страшным бедствиям.

[5] Рассеяние части армии на осады некоторых крепостей в Италии принадлежит единственно венскому Военному совету. Суворов неоднократно восставал на такой распорядок и два раза просил себе отзыва из армии. Не вмешивайся этот совет в его распоряжения, нет сомнения, что, по превосходству числительной силы Суворова над силою французской армии и гения его над дарованиями Моро, союзные войска еще в июне месяце были бы на границах Франции, Макдональд, занимавший Неаполь, увидел бы себя без сообщения с Франциею, и Массена принужден был бы оставить Швейцарию.

[6] Маршал Макдональд сказал однажды в Париже нашему послу графу П. А. Толстому: «Хотя император Наполеон не дозволяет себе порицать кампанию Суворова в Италии, но он не

любит говорить о ней. Я был очень молод во время сражения при Требии; эта неудача могла бы иметь пагубное влияние на мою карьеру; меня спасло лишь то, что победителем моим был Суворов».

[7] В 1794 году Суворов, выступив из Бреста-Литовского, оставил здесь несколько гренадер для охранения имущества отставного польского полковника Детерко, опасавшегося быть разоренным русскими войсками, которые должны были следовать чрез этот город в Варшаву после выступления Суворова. После взятия Варшавы императрица наградила Суворова фельдмаршальским жезлом и местечком Кобрином, где он провел несколько суток во время проезда своего в свою главную квартиру, находившуюся в Тульчине. Явившись в Кобрин, Детерко со слезами обратился к Суворову и объявил ему, что, невзирая на присутствие оставленных гренадер, он был совершенно ограблен нашими войсками. Суворов спросил у управляющего Кобрином: «Сколько у нас денег?» На ответ управляющего: «До десяти мешков и в каждом не менее тысячи рублей»,— Суворов приказал все отдать Детерко, который был крайне удивлен этой щедростью. (Это мне сообщено А. П. Ермоловым.)

[8] Тележка эта хранилась у покойного отца моего как драгоценность и сожжена в Бородине, во время сражения в 1812 году, вместе с селом, домом и всем имуществом, оставленным в доме.

[9] В народе существует предрассудок, что будто в шеях некоторых сильных и прытких лошадей находятся две особые жилы.

[10] Суворов, соединившись в Кобылках с корпусом Дерфельдена, входившим до этого времени в состав армии князя Репнина, двинулся к Праге. Авангардом этого корпуса командовал граф Валериан Александрович Зубов, которому оторвало ногу при переправе чрез Нарев близ деревни Поповки, ему пожаловали за то андреевский орден, что давало право на генерал-лейтенантский чин. Все офицеры корпуса Дерфельдена должны были представляться Суворову; в комнатах, где был назначен прием, невзирая на холодное время года, были заблаговременно отворены все окна и двери для выкуривания немогузнаек. Так как Суворов не любил черного цвета, то было строго запрещено представляться в нижнем платье этого цвета. В числе представляющихся находился Дерфельден, высокоуважаемый Суворовым, князь Лобанов-Ростовский (племянник князя Репнина и впоследствии министр), украшенный Георгием 3-го класса за Мачинское сражение, Ливен (впоследствии князь), капитан А. П. Ермолов, много иностранных волонтеров, в числе которых находились подполковник граф Кенсона и граф Сен-При. Суворов, обратясь к Лобанову, сказал с усмешкой: «Помилуй бог, ведь Мачинское сражение было кровопролитно». Смотря на Ливена, он сказал: «Какой высокий, должно быть, весьма храбрый офицер. Отчего это я на вас не вижу ни одного ордена?» Сказав графу Сен-При: «Вы счастливо служите; в ваши лета я был только поручиком»,— он вдруг бросился его целовать, говоря: «Ваш дядя был моим благодетелем, я ему многим обязан». Эти слова не были понятны в то время, но впоследствии узнали, что дядя Сен-При, будучи французским министром, возбудил первую турецкую войну. Обратясь к графу Кенсона, Суворов спросил его: «За какое сражение получили вы носимый вами орден и как зовут ор-

ден?» Кенсона отвечал, что орден называется Мальтийским и им награждаются лишь члены знатных фамилий. «Какой почтенный орден! — возразил Суворов.— Позвольте посмотреть его». Сняв его с Кенсона, он его показывал всем, повторяя: «Какой почтенный орден!» Обратясь потом к прочим присутствовавшим офицерам, он стал их поодиночке спрашивать: «За что получили вы этот орден?»—«За взятие Измаила, Очакова и прочее»,—было ответом их. «Ваши ордена ниже этого,— сказал Суворов.— Они даны вам за храбрость, а этот почтенный орден дан за знатный род».

Все представлявшиеся были приглашены к обеденному столу Суворова, который имел обыкновение садиться за стол в девять часов утра. Приглашенные заняли места по старшинству за столом, на котором была поставлена простая фаянсовая посуда. Перед обедом Суворов, не поморщившись, выпил большой стакан водки. Подали сперва весьма горячий и отвратительный суп, который надлежало каждому весь съесть; после того был принесен затхлый балык на конопляном масле; так как было строго запрещено брать соль ножом из солоницы, то каждому следовало заблаговременно отсыпать по кучке соли возле себя. Суворов не любил, чтобы за столом катали шарики из хлеба: замеченному в подобной вине тотчас приносили рукомойник с водой; А. М. Каховский, замечательный по своему необыкновенному уму, избавился от подобного наказания лишь острым словом.

Опасаясь после штурма Праги быть застигнутым неприятелем врасплох, Суворов приказал артиллерии сжечь большой мост, ведущий в Варшаву, где в то время находилось еще десять тысяч хорошего войска под начальством Вавжецкого. В нашем лагере все ликовало после удачного штурма и пило по случаю победы; солдаты Фанагорийского полка, не будучи в состоянии чистить свое оружие, наняли для этого других солдат. Погода стояла хорошая, но весьма холодная; из поднятых палаток поднимался пар от красных лиц солдат, что доставляло немало удовольствия Суворову, говорившему: «Помилуй бог, после победы день пропить ничего, лишь бы начальник позаботился принять меры противу внезапного нападения». Он приказал построить узкий мост для пешеходов, по которому было дозволено жителям приходить в Прагу для отыскивания тел своих ближних. Суворов справедливо рассчитал, что это ужасное зрелище должно неминуемо поколебать мужество поляков; в самом деле, Варшава вскоре сдалась. Суворов торжественно отправился в карете в королевский дворец; в карете сидел против него дежурный генерал Потемкин, человек замечательного ума (он служил впоследствии на Кавказе и сделал на воротах Екатеринограда, обращенных к стороне Тифлиса, надпись: «Дорога в Грузию»). Король встретил его у подъезда. Простившись с его величеством, Суворов не допустил его сойти с лестницы. Во время выступления польских войск в числе десяти тысяч человек из Варшавы казачьему маиору Андрею Карповичу Денисову удалось захватить всех польских начальников, беспечно завтракавших в гостинице; подъехав после того к польским войскам, Денисов, с хлыстиком в руках, приказал им положить оружие, что и было тотчас исполнено. (Это было мне сообщено А. П. Ермоловым.)

В 1820 году этот самый Денисов, уже в чине генерал-лейтенанта, был отдан под суд, за превышение власти, генералом

А. И. Чернышевым. А. П. Ермолов, будучи вызван около этого времени в Лайбах для начальствования армиею в Италии и заехав дорогой в Новочеркасск, узнал о том от Бо́лгарского, правителя канцелярии Чернышева. Убедившись в невинности храброго генерала Денисова, он решился его спасти. Прибыв в Лайбах, Алексей Петрович увидел Чернышева, который сказал ему: «Я слышал, что вы находите мой поступок несправедливым; но я не мог не подвергнуть суду Денисова, превысившего власть свою». На это Ермолов возразил: «Во-первых, я знаю положительно и докажу вам, что ваше обвинение несправедливо и совершенно неосновательно; во-вторых, я спрошу вас: дерзнули ли вы бы сделать малейшее замечание Матвею Ивановичу Платову, который несравненно более Денисова и весьма часто превышал свою власть, и, в-третьих, я обращу ваше внимание на следующее: я был еще ничтожным офицером, а вы — ребенком, когда этот храбрый Денисов, отличаемый Суворовым, заставил в 1794 году десятитысячный польский корпус положить оружие и спас с двумя полками пруссаков после отражения их от Варшавы». Зная благосклонность императора Александра к Ермолову, который не преминул бы довести это до сведения его величества, Чернышев нашелся вынужденным освободить Денисова из-под суда. Возвращаясь в Грузию, Ермолов проехал чрез Аксай, куда выехали к нему навстречу многие донцы, которые весьма любили и уважали его. В числе прибывших находился и Денисов, который приехал благодарить за ходатайство его об нем. (Мне рассказал это сам Бо̀лгарский и дополнил А. К. Денисов.)

[11] Сентября 13-го 1804 года я был переведен из поручиков Кавалергардского полка в Белорусский гусарский полк ротмистром. Подробности этого обстоятельства изложены в моих записках.

[12] В самом этом нумере стоял сын фельдмаршала, граф Николай Михайлович Каменский, по возвращении своем из Финляндии в начале 1809 года. Быв в то время прислан курьером из финляндской нашей армии к военному министру, я навещал графа в сей квартире и с каким-то необыкновенным чувством удовольствия видел то место, где предпринял первую мою попытку на боевую службу.

[13] У князя я нашел трех офицеров. Странно, что изо всех, присутствовавших в горнице его, я один остался в живых. Во-первых, сам князь Багратион пал под Бородиным; Голицын (князь Михаил Сергеевич) убит под Ландсбергом в 1807 году; граф Грабовский убит под Красным в 1812 году, а граф Сен-При убит под Реймсом в 1814 году.

[14] Часть Австрийской Галиции, граничившая с театром военных действий, шла тогда от Мнишева по правому берегу Вислы почти до Праги; потом склонялась вправо к Сироцку, продолжая идти по левому берегу Буга, мимо Брок, Бреста и далее до Хотина.

[15] Князь Багратион прибыл в армию из Петербурга и немедленно принял начальство над главным авангардом.

[16] Я имел честь и счастие служить тогда адъютантом при князе.

[17] На этом поле сражения были селения Шлодитен и Шмодитен. К первому примыкал правый фланг нашей армии; последнее лежит позади первого, в близком расстоянии от него.

[18] Как некогда сказал Кутузов Себастиани. Себастиани, после долгого хвастовства, фанфаронства и исчисления монархов, покорных воле Наполеона, переменя речь, разговорился о Платове и вдруг, оборотясь к Кутузову, спросил его: «Qu'est ce que c'est qu'un Hettman des cosaques?» (Что такое казачий атаман?) — «C'est une espéce de votre Roi de Westphalie» (Это что-то похожее на вашего Вестфальского короля),— отвечал Кутузов. Себастиани закусил губы. Это было в Яссах, в конце 1807 года, за обеденным столом у главнокомандующего молдавской армией фельдмаршала князя Прозоровского. Себастиани проезжал тогда из Константинополя в Париж.

[19] Посетив однажды лагерь французских войск, императоры заехали в полк, находившийся под начальством полковника Николá. Наш государь, попробовав похлебку из принесенного котелка, приказал наполнить его червонцами. Спустя пять лет этот Николá был взят в плен и находился при А. П. Ермолове. Во время приезда государя в Вильну, в конце 1812 года, этот Николá, одетый в партикулярное платье и с головою, повязанною платком вследствие ран, ожидал в толпе вместе с другими приезда государя. Несмотря на его костюм и повязку на голове государь, увидав его, сказал ему весьма ласково: «Я вас где-то видал».— «Я имел счастье принимать ваше величество у себя в полку, а ныне я ранен и в плену». Государь приказал тотчас выдать ему двести червонцев. Впоследствии, в 1814 году, государь спросил однажды в Париже Ермолова: «Где твой Николá, зачем ты его с собой не привез?» — «Я не смел этого сделать,— отвечал он,— потому что вашим величеством было строго приказано оставить всех пленных в России».

[20] Некоторые военные писатели приняли в настоящее время за правило искажать события, в которых принимал участие генерал Ермолов; они умалчивают о заслугах сего генерала, коего мужество, способности, бескорыстие и скромность в донесениях слишком всем известны. Так как подобные описания не могут внушить никакого доверия, я решился либо опровергать вымыслы этих господ, либо сообщать моим читателям все то, о чем им не угодно было говорить. Так, например, в описании Бородинского сражения никто не дал себе труда собрать все сведения о взятии нами редута Раевского, уже занятого неприятелем. Почтенный Николай Николаевич Раевский, именем которого назван этот редут, описывая это событие, упоминает слегка об Ермолове, выставляя лишь подвиги Васильчикова и Паскевича. Отдавая должную справедливость блистательному мужеству этих двух генералов и основываясь на рапорте Барклая и на рассказах очевидцев и участников этого дела, все беспристрастные свидетели этого побоища громко признают Ермолова главным героем этого дела; ему принадлежит в этом случае и мысль и исполнение.

Это блистательное дело происходило при следующих обстоятельствах: получив известие о ране князя Багратиона и о том, что 2-я армия в замешательстве, Кутузов послал туда Ермолова с тем, чтобы, ободрив войско, привести его в порядок. Ермолов

приказал храброму полковнику Никитину (ныне генерал-от-кавалерии) взять с собой три конные роты и не терять его из виду, когда он отправится во 2-ю армию. Бывший начальник артиллерии 1-й армии граф Кутайсов решился сопровождать его, несмотря на все представления Ермолова, говорившего ему: «Ты всегда бросаешься туда, куда тебе не следует, давно ли тебе был выговор от главнокомандующего за то, что тебя нигде отыскать не могли. Я еду во вторую армию, мне совершенно незнакомую, приказывать там именем главнокомандующего, а ты что там делать будешь?» Они следовали полем, как вдруг заметили вправо на редуте Раевского большое смятение: редутом овладели французы, которые, не найдя на нем зарядов, не могли обратить противу нас взятых орудий; Ермолов рассудил весьма основательно: вместо того чтобы ехать во 2-ю армию, где ему, может быть, с незнакомыми войсками не удастся исправить ход дела, не лучше ли восстановить здесь сражение и выбить неприятеля из редута, господствующего над всем полем сражения и справедливо названного Беннингсеном ключом позиции. Он потому приказал Никитину поворотить вправо к редуту, где они уже не нашли Паскевича, а простреленного полковника 26-й дивизии Савоини с разнородной массой войск. Приказав ударить сбор, Ермолов мужественно повел их на редут. Найдя здесь баталион Уфимского полка, последний с края 1-й армии, Ермолов приказал ему идти в атаку развернутым фронтом, чтобы линия казалась длиннее и ей легче было бы захватить большее число бегущих. Для большего воодушевления войск Ермолов стал бросать по направлению к редуту георгиевские кресты, случайно находившиеся у него в кармане; вся свита Барклая мужественно пристроилась к ним, и в четверть часа редут был взят. Наши сбрасывали с вала вместе с неприятелем и пушки; пощады не было никому; взят был в плен один генерал Бонами, получивший двенадцать ран (этот генерал жил после долго в Орле; полюбив весьма Ермолова, он дал ему письмо в южную Францию к своему семейству, которое он просил посетить. При получении известий о победах французов раны его закрывались, и он был добр и спокоен, при малейшем известии о неудачах их — раны раскрывались, и он приходил в ярость).

Так как вся масса наших войск не могла взойти на редут, многие в пылу преследования, устремившись по глубокому оврагу, покрытому лесом и находящемуся впереди, были встречены войсками Нея. Ермолов приказал кавалерии, заскакав вперед, гнать наших обратно на редут. Мужественный и хладнокровный до невероятия, Барклай, на высоком челе которого изображалась глубокая скорбь, прибыв лично сюда, подкреплял Ермолова войсками и артиллерией. В это время исчез граф Кутайсов, который был убит близ редута; одна лошадь его возвратилась. Один офицер, не будучи в состоянии вынести тела, снял с него знак св. Георгия 3-го класса и золотую саблю. (Этот молодой генерал, будучи полковником гвардии <в> пятнадцать лет и генералом — <в> двадцать четыре года, был одарен блистательными и разнообразными способностями. Проведя вечер 25 августа с Ермоловым и Кикиным, он был поражен словами Ермолова, случайно сказавшего ему: «Мне кажется, что завтра

тебя убьют». Будучи чрезвычайно впечатлителен от природы, ему в этих словах неизвестно почему послышался голос судьбы.) Ермолов оставался на редуте около трех часов, пока усилившаяся боль, вследствие сильной контузии картечью в шею, не вынудила его удалиться.

Барклай написал Кутузову следующий рапорт о Бородинском сражении: «Вскоре после овладения неприятелем всеми укреплениями левого фланга сделал он, под прикрытием сильнейшей канонады и перекрестного огня многочисленной его артиллерии, атаку на центральную батарею, прикрываемую 26-ю дивизиею. Ему удалось оную взять и опрокинуть вышесказанную дивизию; но начальник главного штаба генерал-маиор Ермолов с свойственною ему решительностью, взяв один только третий баталион Уфимского полка, остановил бегущих и толпою, в образе колонны, ударил в штыки. Неприятель защищался жестоко; батареи его делали страшное опустошение, но ничто не устояло... третий баталион Уфимского полка и Восемнадцатый егерский полк бросились прямо на батарею, Девятнадцатый и Сороковой егерские полки по левую сторону оной, и в четверть часа наказана дерзость неприятеля; батарея во власти нашей, вся высота и поле около оной покрыты телами неприятельскими. Бригадный генерал Бонами был один из снискавших пощаду, а неприятель преследован был гораздо далее батареи. Генерал-маиор Ермолов удержал оную с малыми силами до прибытия 24-й дивизии, которой я велел сменить расстроенную атакой 26-ю дивизию». Барклай написал собственноручное представление, в котором просил князя Кутузова удостоить Ермолова орденом св. Георгия 2-го класса; но так как этот орден был пожалован самому Барклаю, то Ермолов был лишь награжден знаками св. Анны 1-го класса.

В Бородинском сражении принимал участие и граф Федор Иванович Толстой, замечательный по своему необыкновенному уму и известный под именем *Американца;* находясь в отставке в чине подполковника, он поступил рядовым в московское ополчение. Находясь в этот день в числе стрелков при 26-й дивизии, он был сильно ранен в ногу. Ермолов, проезжая после сражения мимо раненых, коих везли в большом числе на подводах, услыхал знакомый голос и свое имя. Обернувшись, он в груде раненых с трудом мог узнать графа Толстого, который, желая убедить его в полученной им ране, сорвал бинт с ноги, откуда струями потекла кровь Ермолов исходатайствовал ему чин полковника.

После Бородинского сражения Ермолов отправился с Толем и полковником (русским, австрийским и испанским) Кроссаром с Поклонной горы к Москве отыскивать позицию, удобную для принятия сражения. Войска были одушевлены желанием вновь сразиться с неприятелем; когда, после Бородинского сражения, адъютант Ермолова Граббе объявил войскам от имени светлейшего о новой битве, это известие было принято всеми с неописанным восторгом. Отступление наших войск началось лишь по получении известия с нашего правого фланга, которого неприятель стал сильно теснить и обходить. Князь Кутузов, не желая, однако, оставить столицу без обороны, имел одно время в виду вверить защиту ее со стороны Воробьевых гор — Дохту-

рову, а со стороны Драгомиловской заставы — принцу Евгению Виртембергскому. Граф Растопчин, встретивший Кутузова на Поклонной горе, увидав возвращающегося с рекогносцировки Ермолова, сказал ему: «Алексей Петрович, зачем усиливаетесь вы убеждать князя защищать Москву, из которой уже все вывезено; лишь только вы ее оставите, она, по моему распоряжению, запылает позади вас». Ермолов отвечал ему, что это есть воля князя, приказавшего отыскивать позицию для нового сражения. Кутузов, узнав, что посланные не нашли хорошей позиции, приостановил движение корпуса Дохтурова к Воробьевым горам. На Поклонной горе видны доселе следы укреплений, коих надлежало защищать принцу Виртембергскому. Кутузов отправил в другой раз к Москве Ермолова с принцем Александром Виртембергским, Толем и Кроссаром; принц, отличавшийся большою ученостью, сказал: «En faisant creneler les murs des convents, on aurait pu y tenir plusieurs jours» *. Возвратившись в главную квартиру, Ермолов доложил князю, что можно было бы, не заходя в столицу, совершить в виду неприятельской армии фланговое движение на Тульскую дорогу, что было бы, однако, не совсем безопасно. Когда он стал с жаром доказывать, что невозможно было принять нового сражения, князь, пощупав у него пульс, сказал ему: «Здоров ли ты, голубчик?» — «Настолько здоров,— отвечал он,— чтобы видеть невозможность нового сражения».

Хотя на знаменитом военном совете в Филях Ермолов, как видно из предыдущего, был убежден, что новое сражение бесполезно и невозможно, но, будучи вынужден подать свой голос одним из первых, дорожа популярностью, приобретенною им в армии, которая приходила в отчаяние при мысли о сдаче Москвы, и не сомневаясь в том, что его мнение будет отвергнуто большинством, он подал голос в пользу новой битвы. Беннингсен, находившийся в весьма дурных сношениях с Кутузовым, постоянно предпочитавшим мнения противоположные тем, кои были предложены этим генералом, требовал того же самого; неустрашимый и благородный Коновницын поддержал их. Доблестный и величественный Барклай, превосходно изложив в кратких словах материальные средства России, кои были ему лучше всех известны, требовал, чтобы Москва была отдана без боя; с ним согласились граф Остерман, Раевский и Дохтуров. По мнению сего последнего, армия, за недостатком генералов и офицеров, не была в состоянии вновь сразиться с неприятелем. Граф Остерман, питавший большую неприязнь к Беннингсену с самого 1807 года, спросил его: «Кто вам поручится в успехе боя?» На это Беннингсен, не обращая на него внимания, отвечал: «Если бы в этом сомневались, не состоялся бы военный совет, и вы не были бы приглашены сюда». Вернувшись после совета на свою квартиру, Ермолов нашел ожидавшего его артиллерии поручика Фигнера, столь знаменитого впоследствии по своим вполне блистательным подвигам. Этот офицер, уже украшенный знаками св. Георгия 4-го класса за смелость, с которою он измерял ширину рва Рущукской крепости, просил о

* Если бы сделать бойницы в стенах монастырей, то можно было бы продержаться несколько дней *(фр.)*.

дозволении остаться в Москве для собрания сведений о неприятеле, вызываясь даже убить самого Наполеона, если только представится к тому возможность. Он был прикомандирован к штабу и снабжен на Боровском перевозе подорожною в Казань. Это было сделано затем, чтобы слух об его намерениях не разгласился бы в армии.

На втором переходе после выступления из Москвы армия наша достигла так называемого Боровского перевоза. Здесь арьергард был задержан столпившимися на мосту в страшном беспорядке обозами и экипажами частных лиц; тщетны были просьбы и приказания начальников, которые, слыша со стороны Москвы пушечные выстрелы и не зная об истинном направлении неприятеля, торопились продвинуть арьергард; но обозы и экипажи, занимая мосты и не пропуская войск, нисколько сами не подвигались. В это время подъехал к войскам Ермолов; он тотчас приказал командиру артиллерийской роты, здесь находившейся, сняться с передков и обратить дула орудий на мост, причем им было громко приказано зарядить орудия картечью и открыть по его команде огонь по обозам. Ермолов, сказав на ухо командиру, чтобы не заряжал орудий, скомандовал: «Пальба первая». Хотя это приказание не было приведено в исполнение, но испуганные обозники, бросившись частью в реку, частью на берег, вмиг очистили мост, и арьергард благополучно присоединился к главной армии. Лейб-медик Вилье, бывший свидетелем всего этого, назвал Ермолова: «Homme aux grands moyens» *.

Бывший дежурный генерал 2-й армии Марин, автор весьма многих комических стихотворений, часто посещал Ермолова, о котором он говорил: «Я люблю видеть сего Ахилла в гневе, из уст которого никогда не вырывается ничего оскорбительного для провинившегося подчиненного».

[21] Генерал-маиор Тучков (он ныне сенатором в Москве), отлично сражавшийся, был изранен и взят в плен в сражении под Заболотьем, что французы называют Валутинским. Это сражение, называемое также Лубинским, описано генералом Михайловским-Данилевским, который даже не упомянул о рапорте, поданном Ермоловым князю Кутузову. Я скажу несколько слов о тех обстоятельствах боя, которые известны лишь весьма немногим. Распорядившись насчет отступления армии из-под Смоленска, Барклай и Ермолов ночевали в арьергарде близ самого города. Барклай, предполагая, что прочие корпуса армии станут между тем выдвигаться по дороге к Соловьевой переправе, приказал разбудить себя в полночь для того, чтобы лично приказать арьергарду начать отступление. Когда наступила полночь, он с ужасом увидел, что второй корпус еще вовсе не трогался с места; он сказал Ермолову: «Nous sommes en grand danger; comment cela a-t-il pu arriver?» ** К этому он присовокупил: «Поезжайте вперед, ускоряйте марш войск, а я пока здесь останусь». Дурные дороги задержали корпус Остермана, который следовал потому весьма медленно. Прибыв на рассвете в место, где корпуса Остермана и Тучкова 1-го располагались

---

* Человек больших возможностей *(фр.)*.

** Мы в большой опасности, как это могло произойти? *(фр.)*

на ночлег, Ермолов именем Барклая приказал им следовать далее. Князь Багратион, Ермолов и Толь утверждают, что Тучкову 3-му надлежало не только занять перекресток дорог, но и придвинуться ближе к Смоленску на подкрепление Карпова и смену князя Горчакова. Услыхав пушечные выстрелы, Ермолов писал отсюда Барклаю: «Если выстрелы, мною слышанные,— с вашей стороны, мы можем много потерять; если же они со стороны Тучкова 3-го,— бо́льшая часть нашей артиллерии может сделаться добычей неприятеля; во всяком случае прошу ваше высокопревосходительство не беспокоиться, я приму все необходимые меры».

В самом деле, сто восемьдесят орудий, следуя медленно и по дурным дорогам, находились еще в далеком расстоянии от Соловьевой переправы. К величайшему благополучию нашему, Жюно, находившийся на нашем левом фланге, не трогался с места; Ермолов обнаружил здесь редкую деятельность и замечательную предусмотрительность. По его распоряжению, граф Кутайсов и генерал Пассек поспешили к артиллерии, которой приказано было следовать как можно скорее; здесь в первый раз была употреблена команда: «На орудие садись». Ермолов, достигнув перекрестка, поехал далее по направлению к Соловьевой переправе и возвращал назад встречаемые им войска. Принц Александр Виртембергский, не имевший команды, просил Ермолова поручить ему что-нибудь; придав принцу сведущего штаб-офицера с солдатами, он просил его заняться улучшением дорог. Возвратившись к перекрестку, Ермолов узнал здесь от генерала Всеволожского, что Тучков 3-й находится лишь в трехстах саженях отсюда. Князь Багратион в письме своем Ермолову от 8 августа, между прочим, пишет: «Надо примерно наказать офицера квартирмейстерской части, который вел Тучкова 3-го; вообрази, что за восемь верст вывел далее, а Горчаков дожидался до тех пор, пока армия ваша пришла». Взяв в плен двух вестфальцев корпуса Жюно, Тучков 3-й препроводил их к Ермолову, которому они объявили, что у них шестнадцать полков одной кавалерии. Ермолов писал отсюда с капитаном квартирмейстерской части Ховеном (впоследствии тифлисским военным губернатором) великому князю Константину Павловичу, следовавшему в колонне Дохтурова, что надо поспешить к Соловьевой переправе, перейти там реку и, расположившись на позиции, покровительствовать переправе прочих войск. Приказав именем Барклая Остерману и Тучкову 1-му подкрепить Тучкова 3-го, Ермолов направил графа Орлова-Денисова к Заболотью, где он, однако, не мог бы выдержать натиска неприятеля, если бы вместе с тем не велено было командиру Екатеринбургского полка князю Гуриелю занять рощу; во время нападений неприятеля на графа Орлова-Денисова Гуриель поддерживал его батальным огнем из рощи.

Получив записку Ермолова, Барклай отвечал: «С богом, начинайте, а я между тем подъеду». Прибыв вскоре к колонне Тучкова 3-го и найдя, что здесь уже были приняты все необходимые меры, Барклай дозволил Ермолову распоряжаться войсками. Между тем неприятель, заняв одну высоту несколькими орудиями, наносил нам большой вред; Ермолов приказал Желтухину с своими лейб-гренадерами овладеть этой высотой. Желтухин, не

заметив, что высота весьма крута, повел слишком быстро своих гренадер, которые, будучи весьма утомлены во время подъема, были опрокинуты неприятелем. Неприятель, заметив, что этот храбрый полк, здесь сильно потерпевший, намеревается вновь атаковать высоту, свез свои орудия. Между тем Наполеон навел пять понтонов, чрез которые французы могли атаковать наши войска с фланга и тыла; если б Тучков 3-й придвинулся бы ближе к Смоленску, он бы мог быть отрезан. Все наши войска и артиллерия, благодаря неутомимой деятельности, энергии и распорядительности Ермолова, но в особенности бездействию Жюно, достигли благополучно Соловьевой переправы. Барклай, оценив вполне заслуги Ермолова, поручил ему представить от своего имени рапорт о том князю Кутузову.

Однажды Барклай приказал Ермолову образовать легкий отряд. Шевич был назначен начальником отряда, в состав которого вошли и казаки под начальством генерала Краснова. Хотя атаман Платов был всегда большим приятелем Ермолова, с которым он находился вместе в ссылке в Костроме в 1800 году, но он написал ему официальную бумагу, в которой спрашивал, давно ли старшего отдают под команду младшего, как, например, Краснова относительно Шевича, и притом в чужие войска? Ермолов отвечал ему официальною же бумагою, в которой находилось, между прочим, следующее: «О старшинстве Краснова я знаю не более вашего, потому что в вашей канцелярии не доставлен еще формулярный список этого генерала, недавно к вам переведенного из Черноморского войска; я вместе с тем вынужден заключить из слов ваших, что вы почитаете себя лишь союзниками русского государя, но никак не подданными его». Правитель дел атамана Смирной предлагал ему возражать Ермолову, но Платов отвечал: «Оставь Ермолова в покое, ты его не знаешь, он в состоянии сделать с нами то, что приведет наших казаков в сокрушение, а меня в размышление».

[22] П. П. Коновницын был в полном смысле слова благородный и неустрашимый человек, отличавшийся весьма небольшими умственными способностями и еще меньшими сведениями. Будучи назначен дежурным генералом всех армий, он вначале посылал бумаги, им получаемые, к Ермолову, прося его класть на них резолюции. Ермолов исполнил на первый раз его просьбу, но, выведенный из терпения частыми присылками большого количества бумаг, он возвращал их в том виде, в каком получал, с адъютантом своим Фонвизиным, который будил ночью Коновницына и обратно возвращал ему бумаги. Коновницын, прочитав однажды записку Ермолова, в которой было, между прочим, сказано: «Вы напрасно домогаетесь сделать из меня вашего секретаря»,— сказал Фонвизину: «Алексей Петрович ругается и ворчит». Он приобрел отличного руководителя и наставника в квартирмейстерском полковнике Говардовском, авторе знаменитого письма графа Буксгевдена к графу Аракчееву. Этот даровитый штаб-офицер погиб в Бородинском сражении. Впоследствии Толь совершенно овладел Коновницыным.

[23] За два дня до моего прихода в село Егорьевское, что на дороге от Можайска на Медынь, крестьяне ближней волости истребили команду Тептярского казачьего полка, состоящую из шестидесяти казаков. Они приняли казаков сих за неприятеля

от нечистого произношения ими русского языка. Сии же самые крестьяне напали на отставшую мою телегу, на коей лежал чемодан и больной гусар Пучков. Пучкова избили и оставили замертво на дороге, телегу разрубили топорами, но из вещей ничего не взяли, а разорвали их в куски и разбросали по полю. Вот пример остервенения поселян на врагов отечества и, вместе с сим, бескорыстия их.

[24] Но не писать слогом объявлений Растопчина. Это оскорбляет грамотных, которые видят презрение в том, что им пишут площадным наречием, а известно, что письменные люди немалое имеют влияние над безграмотными, даже и в кабаках.

[25] Во время войны 1807 года командир Лейб-гренадерского полка Мазовский носил на груди большой образ св. Николая-чудотворца, из-за которого торчало множество маленьких образков.

[26] День вступления французской армии в Москву. Но мы о том не знали.

[27] Я всегда сдавал пленных под расписки. Валовая сделана была по окончании моих поисков, в окрестностях Вязьмы, и подписана юхновским дворянским предводителем Храповицким.

[28] Он отряжен был в Москву для вербования уланов. Волынский уланский полк находился в западной армии, под командою генерала Тормасова, на Волыни.

[29] Вопреки многим, я и тогда полагал полезным истребление Москвы. Необходимо нужно было открыть россиянам высший предмет их усилиям, оторвать их от *города* и обратить к *государству.*

Слова *«Москва взята»* заключали в себе какую-то необоримую мысль, что Россия завоевана, и это могло во многих охладить рвение к защите того, что тогда только надлежало начинать защищать. Но слова *«Москвы нет»* пресекли разом все связи с нею корыстолюбия и заблуждения зреть в ней Россию. Вообще все хулители сего превосходного мероприятия ценят одну гибель капиталов московских жителей, а не поэзию подвига, от которого нравственная сила побежденных вознеслась до героизма победительного народа.

[30] Генерал Бараге-Дильер был губернатором Смоленской губернии и имел пребывание свое в Вязьме.

[31] Другие уверяли меня, что на сие отважился сам начальник отряда, проходившего тогда из Смоленска в Москву; он только истребовал от губернатора позволение действовать против моей партии.

[32] По взятии 22 октября города Вязьмы генералом Милорадовичем адъютант его, Кавалергардского полка поручик (что ныне генерал-адъютант) Киселев, отыскал в разбросанных бумагах один из циркуляров, рассылаемых тогда генералом Бараге-Дильером по войскам, в команде его находившимся и проходившим чрез Смоленскую губернию, и подарил мне оный. В сем циркуляре описаны были приметы мои и изложено строгое повеление *поймать и расстрелять меня;* я долго хранил его как лучший аттестат действий моих под Вязьмою, но, к сожалению, затерял его в походе 1813 и 1814 годов.

[33] Я вначале намерен был каждому из них поручить в командование по полусотне человек в поголовном ополчении, но они

на это сказали: «Когда-то еще бог приведет им подраться, а здесь мы всегда на тычку!» Как жаль, что в походах я затерял записку с именами сих почтенных воинов!

[34] Так называется и искони называлась долина в трех верстах от Городища.

[35] А ныне и владетель оного.

[36] В то время некоторые гусарские полки были вооружены пиками с флюгерами, как уланы. Из числа сих полков был и Ахтырский.

[37] В описаниях знаменитого Тарутинского сражения многие обстоятельства, предшествовавшие сражению и во время самого боя, выпущены из виду военными писателями. Главная квартира Кутузова находилась, как известно, в Леташевке, а Ермолов с Платовым квартировали в расстоянии одной версты от этого села. Генерал Шепелев дал 4-го числа большой обед, все присутствовавшие были очень веселы, и Николай Иванович Депрерадович пустился даже плясать. Возвращаясь в девятом часу вечера в свою деревушку, Ермолов получил чрез ординарца князя Кутузова, офицера Кавалергардского полка, письменное приказание собрать к следующему утру всю армию для наступления против неприятеля. Ермолов спросил ординарца, почему это приказание доставлено ему так поздно, на что он отозвался незнанием, где находился начальник Главного штаба. Ермолов, прибыв тотчас в Леташевку, доложил князю, что, по случаю позднего доставления приказания его светлости, армию невозможно собрать в столь короткое время. Князь очень рассердился и приказал собрать все войска к 6-му числу вечером; вопреки уверениям генерала Михайловского-Данилевского, князь до того времени и не выезжал из Леташевки. В назначенный вечер, когда уже стало смеркаться, князь прибыл в Тарутино. Беннингсену, предложившему весь план атаки, была поручена вся колонна, которая была направлена в обход; в этой колонне находился и 2-й корпус. Кутузов со свитой, в числе которой находились Раевский и Ермолов, оставался близ гвардии; князь говорил при этом: «Вот просят наступления, предлагают разные проекты, а чуть приступишь к делу, ничего не готово, и предупрежденный неприятель, приняв свои меры, заблаговременно отступает». Ермолов, понимая, что эти слова относятся к нему, толкнул коленом Раевского, которому сказал: «Он на мой счет забавляется». Когда стали раздаваться пушечные выстрелы, Ермолов сказал князю: «Время не упущено, неприятель не ушел, теперь, ваша светлость, нам надлежит с своей стороны дружно наступать, потому что гвардия отсюда и дыма не увидит». Кутузов скомандовал наступление, но чрез каждые сто шагов войска останавливались почти на три четверти часа; князь, видимо, избегал участия в сражении. Место убитого ядром Багговута заступил мужественный принц Евгений Виртембергский, который стал у головного полка. Ермолов послал сказать чрез капитана квартирмейстерской части Ховена графу Остерману, чтобы он следовал с своим корпусом быстрее. Остерман выслал к назначенному месту лишь полковые знамена при ста рядовых. Беннингсен, выведя войска к месту боя, вернулся назад; если б князь Кутузов сделал с своей стороны решительное наступление, отряд Мюрата был бы весь истреблен. Фельдмаршал, окруженный многими генералами,

ехавшими верхом, возвратился вечером в коляске в Леташевку. Он сказал в это время Ермолову: «Голубчик, неприятель понес большую потерю, им оставлено много орудий в лесу». Кутузов, не расспросив о ходе дела у главного виновника победы Беннингсена, послал государю донесение, в котором вместо девятнадцати орудий, взятых у неприятеля, показано было тридцать восемь. С этого времени вражда между Беннингсеном и Кутузовым достигла крайних размеров и уже никогда не прекращалась.

[38] Отряд сей состоял из одного баталиона 19-го егерского полка, двух баталионов Полоцкого пехотного полка, двух баталионов Вильманстрандского пехотного полка, из Мариупольского гусарского полка, четырех эскадронов Елисаветградского гусарского полка, из донских полков Иловайского 11-го и восьми орудий.

[39] Весь этот разговор был тотчас доведен до сведения государя находившимся в то время при нашей армии бароном Анштетом.

[40] Ермолов, следуя после Малоярославского сражения с войсками Милорадовича, отдавал именем Кутузова приказы по отряду; отправляя его, Кутузов сказал ему: «Голубчик, не все можно писать в рапортах, извещай меня о важнейшем записками». Милорадович, имея под своим начальством два пехотных и два кавалерийских корпуса, мог легко отрезать арьергард или другую часть французской армии. Ермолов приказал потому именем Кутузова наблюдать головным войскам возможную тишину и порядок, дабы не встревожить неприятеля, который мог бы расположиться вблизи на ночлег. Однажды главные силы французов оставались для ночлега близ корпуса принца Евгения Виртембергского, у самой дороги, по обеим сторонам которой тянулись насыпи. Эта узкая и длинная дорога, значительно испортившаяся вследствие продолжительных дождей, представляла как бы дефиле, чрез которое неприятелю и нам надлежало следовать. Войска бесстрашного принца Виртембергского, всегда находившегося при головных своих полках, открыли сильный огонь противу неприятеля, который, снявшись с позиции, двинулся поспешно далее в ужаснейшем беспорядке; это лишало нас возможности, атаковав его на рассвете, отрезать какую-либо колонну. Французы, побросав на дороге много орудий, значительно задержали тем наши войска, которые были вынуждены заняться на другой день в продолжение нескольких часов расчищением пути, по коему им надлежало продолжать свое дальнейшее движение. Милорадович ограничился лишь весьма легким замечанием принцу, но Ермолов объявил ему именем Кутузова весьма строгий выговор.

Ермолов просил не раз Кутузова спешить с главною армиею к Вязьме и вступить в этот город не позже 22 ноября; я видел у него записку, писанную рукою Толя, следующего содержания: «Мы бы давно явились в Вязьму, если бы получали от вас более частые уведомления и с казаками, более исправными; мы будем 21-го близ Вязьмы». Князь, рассчитывавший, что он может довершить гибель французов, не подвергая поражению собственных войск, подвигался весьма медленно; хотя он 21-го находился близ Вязьмы, но, остановившись за восемь верст до города, он не решался приблизиться к нему. Желая, однако,

убедить государя в том, что он лично находился во время битвы под Вязьмой, он выслал к этому городу гвардейскую кавалерию с генерал-адъютантом Уваровым, который, чтобы не подвергать батарею Козена напрасной потере, отвел ее назад, ограничившись ничтожною канонадой по городу чрез речку. Федор Петрович Уваров, отличавшийся рыцарским благородством и мужеством, пользовался всегда полным благоволением государя, которому он не раз говаривал: «Выслушайте, ваше величество, со вниманием все то, что я вам скажу; это принадлежит не мне, а людям, несравненно меня умнейшим». Ермолов, потеряв весьма много по службе в последние годы царствования императора Павла, был даже несколько старее в чине Уварова и князя Багратиона во время штурма Праги в 1794 году; они были потому в близких между собою сношениях, и во время Отечественной войны Уваров не раз говаривал Ермолову: «Мне скучно, ты меня сегодня еще не приласкал».

Прибыв из отряда Милорадовича в главную квартиру, находившуюся в Ельне, Ермолов застал Кутузова и Беннингсена за завтраком; он долго и тщетно убеждал князя преследовать неприятеля с большею настойчивостью. При известии о том, что, по донесениям партизанов, Наполеон с гвардией уже близ Красного, лицо Кутузова просияло от удовольствия, и он сказал ему: «Голубчик, не хочешь ли позавтракать?» Во время завтрака Ермолов просил Беннингсена, на коленах которого он не раз в детстве сиживал, поддержать его, но этот генерал упорно молчал. Когда князь вышел из комнаты, Беннингсен сказал ему: «Любезный Ермолов, если б я тебя не знал с детства, я бы имел полное право думать, что ты не желаешь наступления; мои отношения к фельдмаршалу таковы, что мне достаточно одобрить твой совет, чтобы князь никогда бы ему не последовал».

[41] Отряд сей состоял из четырех тысяч человек, принадлежавших разным полкам. Поручение, данное командиру его, видно выше.

[42] В то время Наполеон особою своею был уже в Вязьме, ибо он прибыл туда 19-го, в четыре часа пополудни. Генерал же Эверс не пошел далее и, вследствие полученного им повеления, прибыл 18-го к вечеру обратно в Вязьму.

[43] Первого отряд состоял из шести казачьих полков и Нежинского драгунского, а второго — из 19-го егерского, Мариупольского гусарского, двух донских, двух малороссийских казачьих полков и шести орудий конной артиллерии.

[44] По сочинению г. Шамбре видно, что при французской армии шло 605 орудий, 2 455 палубов и более 5 000 фур, карет и колясок.

[45] Порядок марша неприятеля от Вязьмы был следующий: корпус Жюно, молодая гвардия, 2-й и 4-й кавалерийские корпуса, старая гвардия, корпус Понятовского, корпус принца Евгения, корпус Даву и корпус Нея, который составлял арьергард армии.

[46] Сей генерал поступил на место генерала Винценгероде, взятого в плен посреди Москвы во время выступления из сей столицы французской армии.

[47] Фигнер и Сеславин, как артиллеристы, были безгранично преданы А. П. Ермолову, к которому в армии, а особенно в артиллерии, питали глубокое уважение и любовь за его замечатель-

ный ум, постоянно веселый нрав и ласковое со всеми обращение. На записку Ермолова, заключавшую в себе: *«Смерть врагам, преступившим рубеж России»,* Фигнер отвечал: *«Я не стану обременять пленными».* Фигнер и Сеславин, приезжая в главную квартиру, останавливались у Ермолова, который, шутя, не раз говорил: «Вы, право, обращаете мою квартиру в вертеп разбойников». В самом деле, близ его квартиры часто находились партии этих партизанов в самых фантастических костюмах. При Тарутине Фигнер не раз показывал ту точку в средине неприятельского лагеря, где он намеревался находиться в следующий день. В самом деле, на другой день он, переодетый во французский мундир, находился в средине неприятельского лагеря и обозревал его расположение. Это повторялось не раз.

[48] Сражение под Красным, носящее у некоторых военных писателей пышное наименование трехдневного боя, может быть по всей справедливости названо лишь трехдневным поиском на голодных, полунагих французов; подобными трофеями могли гордиться ничтожные отряды, вроде моего, но не главная армия. Целые толпы французов, при одном появлении небольших наших отрядов на большой дороге, поспешно бросали оружие. В самом Красном имел пребывание Милорадович, у которого квартировал Лейб-гусарского полка полковник Александр Львович Давыдов. Толпа голодных французов, в числе почти тысячи человек, под предводительством одного единоплеменника своего, служившего некогда у Давыдова в должности повара, подступила к квартире Милорадовича. Появление этой толпы, умолявшей лишь о хлебе и одежде, немало всех сначала встревожило. Храбрый командир Московского драгунского полка полковник Николай Владимирович Давыдов, называемый torse * по причине большого количества полученных им ран, ворвался в средину французского баталиона, которому приказал положить оружие. Утомленная лошадь его упала от истощения среди баталиона, который тотчас исполнил его требование. Близ Красного адъютант Ермолова Граббе взял в плен мужественного и ученого артиллерийского полковника Marion, который очень полюбил Ермолова. Когда в 1815 году Ермолову было приказано обезоружить гарнизон Меца или, в случае его сопротивления, овладеть штурмом этой крепостью, комендантом был Marion. Почитая бесполезным обороняться, когда уже вся Франция была занята союзниками, он сдал Мец, где, принимая Ермолова как старого приятеля, он познакомил его с своим семейством.

[49] Атаман Платов загремел в Европе чрез кампанию 1807 года. Начальствуя отрядом, составленным из полков: десяти казачьих, 1-го егерского, Павлоградского гусарского и двенадцати орудий донской конной артиллерии, он взял в плен в течение всей вышеозначенной кампании сто тридцать девять штаб- и обер-офицеров и четыре тысячи сто девяносто шесть рядовых. Соразмеряя силу его отряда с моей партией, мне следовало бы взять только семьсот рядовых и двадцать три офицера. Что же причиною, что число пленных, взятых моими двумя полками, почти равняется с числом пленных, взятых двенадцатью полками атамана? Не что иное, как действие двух полков моих на *сообщение* неприятеля,

---

* кривой *(фр.)*.

а двенадцати полков атамана — на *фронт боевой линии* оного. В «Опыте партизанского действия», мною изданном, представляется превосходство первого действия над последним.

[50] Князь Кутузов, отличавшийся необыкновенным даром слова, не умел, однако, хорошо излагать на бумаге свои мысли.

[51] Фигнер еще не прибыл в то время из Петербурга, куда, как уже я сказал, он послан был курьером с донесением о деле при Ляхове.

[52] В числе оных взята была моими казаками карета господина Фена с картами топографического кабинета Наполеона, с рукописями и с бумагами. К несчастью, я узнал о том вечером, когда, подошед к бивачному огню, я увидел все сии сокровища пылающими в костре. Все, что я мог спасти, состояло в карте России господина Самсона, в кипе белой веленевой бумаги и в визитных карточках, с которыми господин Фен намеревался разъезжать с визитами по Москве и по коим я узнал, что все сие ему принадлежит.

[53] Этот жид имел на себе дубликат, ибо такое же повеление нес на себе другой жид, которого перехватил Сеславин.

[54] Село, отделенное Днепром от Копыса.

[55] Дивизионный генерал маркиз Илорно, или Алорно, португалец родом, бывший губернатором в Могилеве, оставил город сей 9 ноября и отошел в Бобр

[56] Он был тогда подпоручиком 26-го егерского полка и адъютантом генерала Бахметева. Когда генерал сей лишился ноги в Бородинском сражении, он пристал к генералу Раевскому, а потом служил в моей партии.

[57] Он был ранен в левую ляжку пулею, от которой освободился только в 1818 году, что, однако же, не воспретило ему служить с честью 1813 и 1814 года кампании. Он ныне генерал-маиором в отставке.

[58] Граф Витгенштейн обязан был взятием Полоцка ополчению, коим предводительствовал действительный статский советник Мордвинов, которому здесь неприятельское ядро раздробило ногу. Уже было послано войскам приказание отступать, но ратники воспротивились, и Витгенштейн, вынужденный их поддержать, овладел городом.

[59] Адмирал Чичагов, названный Наполеоном cet imbécile d'amiral *, был весьма умен, остер и изъяснялся весьма хорошо и чисто на французском и английском языках. Управление его морским министерством было ознаменовано тремя подвигами: истреблением части Балтийского флота (по мнению некоторых, была уничтожена лишь самая гнилая и негодная часть флота) как бесполезного для России, потому что Зунд принадлежит Дании; испрошением адмиралу Сенявину ордена св. Александра Невского вместо св. Георгия 2-го класса за победу при Тенедосе, где им было выказано более мужества, чем искусства; и переменою покроя морского мундира. Оставив министерство, он долго жил за границей и по возвращении своем был послан в Молдавию; негодуя на светлейшего, лишившего его чести подписать мир с турками, он обнаружил некоторые злоупотребления князя во время командования его Молдавскою армиею.

---

* этот слабоумный адмирал *(фр.)*.

Он вознамерился (по мнению некоторых, вследствие особого приказания) сделать диверсию полумиллионной армии Наполеона, подступавшей уже к Москве, движением своим чрез Кроацию и Боснию в Италию; он для этой цели остановился в Яссах, где, как говорят, приказал убить несколько тысяч волов, из которых ему хотелось сделать бульон на армию. В армии Чичагова господствовала строгая дисциплина, далеко превосходившая ту, которая существовала в армии Витгенштейна. Во время обеда, данного Чичаговым в Борисове, авангард его под начальством графа Павла Палена, выставленный в Неманице, был опрокинут войсками Домбровского, которые преследовали наших до самого города; все устремились к единственному мосту, где столпились в страшном беспорядке. К счастию, неприятель, пришедший сам в расстройство, не мог довершить поражения; однако несколько орудий, много обозов и серебряный сервиз адмирала достались ему в руки. Когда Чичагов, вернувшись из Игумена, решился атаковать французов, он, по мнению некоторых, обратясь к своему начальнику штаба Ивану Васильевичу Сабанееву (отлично-способному генералу, которого Ермолову удалось впоследствии оправдать в глазах императора Александра, почитавшего его пьяницей), сказал ему: «Иван Васильевич, я во время сражения не умею распоряжаться войсками, примите команду и атакуйте неприятеля». Сабанеев атаковал французов, но был ими разбит по причине несоразмерности в силах.

Военный писатель, генерал Водонкур, человек весьма умный, но не храбрый, знавший отлично теорию военного искусства до первого выстрела и пользовавшийся долго гостеприимством Чичагова, написал ему похвальное слово. Генерал Гильемино, человек глубоких сведений, ясного ума и блистательной храбрости, бывший начальником штаба 4-го Италианского корпуса, артиллериею которого командовал Водонкур, говорил мне, что он во время сражения никогда не мог отыскать Водонкура для передачи ему приказаний.

[60] Так как переправа совершилась 16-го числа, то покажется сверхъестественным, чтобы я мог узнать об оной того же дня, быв удален на сто верст от французской армии. Я сему другой причины не полагаю, как то, что переправа началась 14-го в восемь часов утра, а как известие о том дошло до меня посредством жителей, которым достаточно увидеть мост и десять человек на противном берегу, чтобы заключить об успехе,— то видно, что при появлении первых неприятельских войск на правом берегу распространился слух о переходе всей армии, и этот-то слух дошел и до меня.

[61] Полковник Толь, добрым расположением которого я всегда пользовался, был человек с замечательными способностями и большими сведениями. Он получил воспитание в одном из кадетских корпусов во время командования ими Михаила Илларионовича Кутузова, покровительством которого он всегда пользовался. Во время Отечественной войны он был еще молод и мало опытен, а потому он нередко делал довольно значительные ошибки. Так, например, во время отступления наших армий к Дорогобужу он за несколько верст до этого города нашел для них позицию близ деревни Усвятья. Во время осмотра этой позиции, которая была весьма неудобна, потому что правый фланг

отделялся от прочих частей армии болотом и озером, князь Багратион, в присутствии многих генералов, сказал Толю: «Вы, господин полковник, своего дела еще не знаете, благодарите бога, что я здесь не старший, а то я надел бы на вас лямку и выслал бы вон из армии». Не дождавшись неприятеля, обе армии, вопреки уверениям Барклая, отошли к Дорогобужу, где Толем была найдена другая позиция, которою князь Багратион также не мог остаться довольным. Во время осмотра новой позиции Ермоловым граф Павел Строганов указал ему на следующую ошибку Толя: его дивизия была обращена затылком к тылу стоящей позади ее другой дивизии. Трудно объяснить себе, каким образом столь искусный и сметливый офицер, каков был Толь, мог делать столь грубые ошибки; почитая, вероятно, невозможным принять здесь сражение, он не обратил должного внимания на выбор позиции. Несмотря на записку, поданную Барклаю Ермоловым, всегда отдававшим полную справедливость способностям и деятельности Толя, он был выслан из армии. Князь Кутузов, проезжая в армию и найдя Толя в Москве, взял его с собою. Впоследствии он приобрел большую опытность и заслужил репутацию искусного генерала. Он, в качестве начальника Главного штаба, принимал участие в войнах 1828, 1829, 1831 годов; эти войны, в особенности первая половина войны 1831 года, богаты немаловажными ошибками. Зная недружелюбные отношения графа Дибича и Толя между собою, невозможно положительно сказать, в какой степени каждый из них здесь виноват; во всяком случае, Толь, по званию своему во время ведения этих войн, не может не принять на себя ответственности за многое, совершенное в эту эпоху. Но венец его славы — это взятие Варшавы; здесь деятельность, мужество и в особенности вполне замечательная решительность Толя достойны величайших похвал.

[62] Ковна заключала в себе огромные магазины и казну в два с половиною миллиона франков. Местечко сие защищаемо было полутора тысячами человек новобранных немецких воинов и сорока двумя орудиями, из коих двадцать пять имели полную упряжь.

[63] Когда по совершении сего блистательного подвига Сеславин кормил лошадей и отдыхал за Березиной, казачий генерал Денисов с партиею от Платова отряда перешел чрез пустой город и донес атаману, что он занял оный, а не Сеславин. Платов приказал последнему отдать пленных Денисову и, взяв на себя как славу занятия Борисова, так и открытия сообщения с Чичаговым, донес о том главнокомандующему. Пораженный такою наглою несправедливостью, Сеславин того же дня написал к генералу Коновницыну: «Платов отнимает славу моего отряда, усиленного пехотою Чичагова. Неужто надо быть генералом, чтобы быть правым? Спросите обо всем у адмирала, я врать не стану».

Девятнадцатого был сделан запрос от светлейшего Чичагову, правда ли, что Сеславин, усиленный его пехотою, первый занял Борисов, открыл сообщение графа Витгенштейна с его армиею и чрез то был виновником взятия нескольких тысяч пленных? Вот ответ Чичагова: «Имея честь получить предписание вашей светлости от 19-го сего месяца под № 553, обязанностию поставляю донести, что гвардии капитан Сеславин действительно первый занял город Борисов и открыл сообщение со мною гене-

рала-от-кавалерии графа Витгенштейна, доставя от него в то же время письменное ко мне об его движении и предположениях уведомление; равным образом и сдача в плен нескольких тысяч неприятеля была следствием занятия им сего города и соединенного действия с вверенною мне армиею корпуса графа Витгенштейна. Чичагов. № 1944. Ноября 22-го дня 1812 года. М. Илия».

Я вошел в подробности сего случая для того только, чтобы показать, сколько дух зависти обладать может и воином, свершившим круг, обильный блистательными подвигами, гремевшим в Европе славным именем, и коему желать, кажется, ничего не оставалось. Что же должно было ожидать партизанам от тех, кои, удрученные пышными названиями, считают число чинов и крестов своих числом контузий и поклонов, приправленных подарками сочинителям реляций и представлений!

[64] 1810 года на штурме Рущука, шедши спереди колонны с охотниками, он получил жестокую рану в *правую руку;* пуля раздробила кость и прошла навылет.

[65] Кажется, что светлейшего намерение было подстрекнуть графа Ожаровского на следование поспешнее к Гродне, дабы тем облегчить покушение на сей город моей партии, ибо 4-го числа послана была к нему бумага следующего содержания: «Весьма приятны были светлейшему данные вашим сиятельством известия; а как неприятель, вероятно, отступает за границу нашу, то и приказал его светлость по близости вашей к Шварценбергу наблюдать за его движениями и предоставляет вам случай завладеть Гродною. Генерал-лейтенант Коновницын». Означенная бумага разъехалась с рапортом графа Ожаровского, в котором он писал: «В Белице и в окрестностях ее совершенный недостаток в провианте, а особливо в фураже, по долговременному пребыванию там австрийских войск; почему, заняв донскими казаками Белицу и Ищолку, прошу ваше превосходительство позволить мне с остальною частию вверенного мне отряда остаться в Лиде *для удобнейшего продовольствия и поправления кавалерии.* Генерал-адъютант граф Ожаровский». 8-го числа декабря отряд его приказано было распустить.

[66] Сабля эта, осыпанная драгоценными алмазами, была пожалована ее отцу императрицей Екатериной во время каруселя. Письмо графини Орловой было доставлено Милорадовичу чрез адъютанта его Окулова. Милорадович в присутствии своего штаба несколько раз спрашивал у Окулова: «Что говорила графиня, передавая тебе письмо?» — и, к крайнему прискорбию своему, получал несколько раз в ответ: *«Ничего».* Милорадович возненавидел его и стал его преследовать. Окулов погиб скоро в аванпостной сшибке.

Граф Милорадович был известен в нашей армии по своему необыкновенному мужеству и невозмутимому хладнокровию во время боя. Не будучи одарен большими способностями, он был необразованный и малосведущий генерал, отличался расточительностью, большою влюбчивостью, страстью изъясняться на незнакомом ему французском языке и танцевать мазурку. Он получил несколько богатых наследств, но все было им издержано весьма скоро, и он был не раз вынуждаем прибегать к щедротам государя. Беспорядок в командуемых им войсках был всегда очень велик; он никогда не ночевал в заблаговременно назначаемых

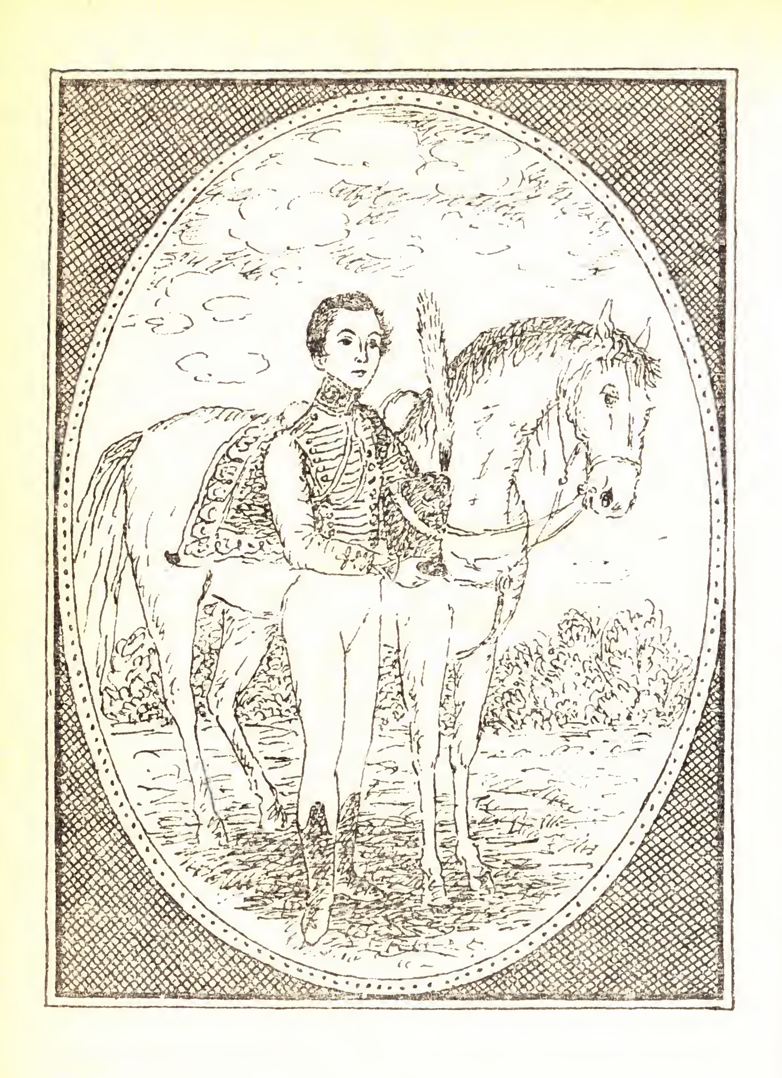
ночлегах, что вынуждало адъютантов подчиненных ему генералов, присылаемых за приказаниями, отыскивать его по целым ночам. Он говаривал им: «Что я скажу вашим начальникам; они лучше меня знают, что им следует делать». После Малоярославского сражения Ермолов, которого он всегда называл sa passion *, следуя при его отряде, отдавал приказания именем Кутузова. Впоследствии, будучи С.-Петербургским генерал-губернатором, Милорадович, выделывая прыжки перед богатым зеркалом своего дома, приблизился к нему так, что разбил его ударом головы своей; это вынудило его носить довольно долго повязку на голове. Он был обожаем солдатами, и, невзирая на то, что не только не избегал опасности, но отыскивал ее всегда с жадностью, он никогда не был ранен на войне. Умирая, Милорадович сказал: «Я счастлив тем, что не умираю от солдатской пули». Он был влюблен в госпожу Дюр; когда она занемогла жабой в горле, он всюду рассказывал: «Elle a l'èquinoxe à la gorge» **.

---

* своей страстью *(фр.)*.

** у нее равноденствие в горле *(фр.)*.

Надежда Дурова





ЧАСТЬ I

ДЕТСКИЕ ЛЕТА МОИ

Мать моя, урожденная *Александровичева,* была одна из прекраснейших девиц в Малороссии. В конце пятнадцатого года ее от рождения женихи толпою предстали искать руки ее. Из всего их множества сердце матери моей отдавало преимущество гусарскому ротмистру *Дурову;* но, к несчастию, выбор этот не был выбором отца ее, гордого властолюбивого пана малороссийского. Он сказал матери моей, чтоб она выбросила из головы химерическую мысль выйти замуж за *москаля,* а особливо военного. Дед мой был величайший деспот в своем семействе; если он что приказывал, надобно было слепо повиноваться, и не было никакой возможности ни умилостивить его, ни переменить однажды принятого им намерения. Следствием этой неумеренной строгости было то, что в одну бурную осеннюю ночь мать моя, спавшая в одной горнице с старшею сестрою своей, встала тихонько с постели, оделась, и, взяв салоп и капор, в одних чулках, утаивая дыхание, прокралась мимо сестриной кровати, отворила тихо двери в залу, тихо затворила, проворно перебежала ее и, отворя дверь в сад, как стрела полетела по длинной каштановой аллее, оканчивающейся у самой калитки. Мать моя поспешно отпирает эту маленькую дверь и бросается в объятия ротмистра, ожидавшего ее с коляскою, запряженною четырьмя сильными лошадьми, которые, подобно ветру, тогда бушевавшему, понесли их по киевской дороге.

В первом селе они обвенчались и поехали прямо в Киев, где квартировал полк Дурова. Поступок матери моей хотя и мог быть извиняем молодостию, любовью и достоинствами отца моего, бывшего прекраснейшим мужчиною, имевшего кроткий нрав и пленительное обращение, но он был так противен патриархальным нравам края малороссийского, что дед мой в первом порыве гнева проклял дочь свою.

В продолжение двух лет мать моя не переставала писать к отцу своему и умолять его о прощении; но тщетно: он ничего слышать не хотел, и гнев его возрастал, по мере как старались смягчить его. Родители мои, потерявшие уже надежду умилостивить человека, почитавшего упорство характерностью, покорились было своей участи, перестав писать к неумолимому отцу; но беременность матери моей оживила угасшее мужество ее; она стала надеяться, что рождение ребенка возвратит ей милости отцовские.

Мать моя страстно желала иметь сына и во все продолжение беременности своей занималась самыми обольстительными мечтами; она говорила: «У меня родится сын, прекрасный, как амур! я дам ему имя *Модест;* сама буду кормить, сама воспитывать, учить, и мой сын, мой милый Модест будет утехою всей жизни моей...» Так мечтала мать моя; но приближалось время, и муки, предшествовавшие моему рождению, удивили матушку самым неприятным образом; они не имели места в мечтах ее и произвели на нее первое невыгодное для меня впечатление. Надобно было позвать акушера, который нашел нужным пустить кровь; мать моя чрезвычайно испугалась этого, но делать нечего, должно было покориться необходимости. Кровь пустили, и вскоре после этого явилась на свет я, бедное существо, появление которого разрушило все мечты и ниспровергнуло все надежды матери.

«Подайте мне дитя мое!» — сказала мать моя, как только оправилась несколько от боли и страха. Дитя принесли и положили ей на колени. Но увы! это не сын, прекрасный, как амур! это дочь, и дочь *богатырь!!* Я была необыкновенной величины, имела густые черные волосы и громко кричала. Мать толкнула меня с коленей и отвернулась к стене.

Через несколько дней маменька выздоровела и, уступая советам полковых дам, своих приятельниц, решилась сама кормить меня. Они говорили ей, что мать, которая кормит грудью свое дитя, через это самое начинает любить его. Меня принесли; мать взяла меня из рук женщины, положила к груди и давала мне сосать ее; но, видно, я чувствовала, что не любовь материнская дает мне пищу, и потому, несмотря на все усилия заставить меня взять грудь, не брала ее; маменька думала преодолеть мое упрямство терпением и продолжала держать меня у груди, но, наскуча, что я долго не беру, перестала смотреть на меня и начала говорить с бывшею у нее в гостях дамою. В это время я, как видно, управляемая судьбою, назначавшею мне *солдатский мундир,* схватила вдруг грудь матери и изо всей силы стиснула ее деснами. Мать моя закричала пронзительно, отдернула меня от груди и, бросив в руки женщины, упала лицом к подушке.

«Отнесите, отнесите с глаз моих негодного ребенка и никогда не показывайте»,— говорила матушка, махая рукою и закрывая себе голову подушкою.

Мне минуло четыре месяца, когда полк, где служил отец мой, получил повеление идти в Херсон; так как это был домашний поход, то батюшка взял семейство с собою. Я была поручена надзору и попечению горничной девки моей матери, одних с нею лет. Днем девка эта сидела с матушкою в карете, держа меня на коленях, кормила из рожка коровьим молоком и пеленала так туго, что лицо у меня синело и глаза наливались кровью; на ночлегах я отдыхала, потому что меня отдавали крестьянке, которую приводили из селения; она распеленывала меня, клала к груди и спала со мною всю ночь; таким образом, у меня на каждом переходе была новая кормилица.

Ни от переменных кормилиц, ни от мучительного пеленанья здоровье мое не расстраивалось. Я была очень крепка и бодра, но только до невероятности криклива. В один день мать моя была весьма в дурном нраве; я не дала ей спать всю ночь; в поход вышли на заре, маменька расположилась было заснуть в карете, но я опять начала плакать, и, несмотря на все старания няньки утешить меня, я кричала от часу громче: это переполнило меру досады матери моей; она

вышла из себя и, выхватив меня из рук девки, выбросила в окно! Гусары вскрикнули от ужаса, соскочили с лошадей и подняли меня всю окровавленную и не подающую никакого знака жизни; они понесли было меня опять в карету, но батюшка подскакал к ним, взял меня из рук их и, проливая слезы, положил к себе на седло. Он дрожал, плакал, был бледен, как мертвый, ехал не говоря ни слова и не поворачивая головы в ту сторону, где ехала мать моя. К удивлению всех, я возвратилась к жизни и, сверх чаяния, не была изуродована; только от сильного удара шла у меня кровь из рта и носа; батюшка с радостным чувством благодарности поднял глаза к небу, прижал меня к груди своей и, приблизясь к карете, сказал матери моей:

«Благодари бога, что ты не убийца! Дочь наша жива; но я не отдам уже ее тебе во власть; я сам займусь ею». Сказав это, поехал прочь и до самого ночлега вез меня с собою, не обращая ни взора, ни слов к матери моей.

С этого достопамятного дня жизни моей отец вверил меня промыслу божию и смотрению флангового гусара *Астахова,* находившегося неотлучно при батюшке как на квартире, так и в походе. Я только ночью была в комнате матери моей; но как только батюшка вставал и уходил, тотчас уносили меня. Воспитатель мой Астахов по целым дням носил меня на руках, ходил со мною в эскадронную конюшню, сажал на лошадей, давал играть пистолетом, махал саблею, и я хлопала руками и хохотала при виде сыплющихся искр и блестящей стали; вечером он приносил меня к музыкантам, игравшим пред зарею разные штучки; я слушала и, наконец, засыпала. Только сонную и можно было отнесть меня в горницу; но когда я не спала, то при одном виде материной комнаты я обмирала от страха и с воплем хваталась обеими руками за шею Астахова. Матушка, со времени воздушного путешествия моего из окна кареты, не вступалась уже ни во что, до меня касающееся, и имела для утешения своего другую дочь, точно уже прекрасную, как амур, в которой она, как говорится, души не слышала.

Дед мой, вскоре по рождении моем, простил мать мою и сделал это весьма торжественным образом: он

поехал в Киев, просил архиерея разрешить его от необдуманной клятвы не прощать никогда дочь свою и, получив пастырское разрешение, тогда уже написал к матери моей, что прощает ее, благословляет брак ее и рожденное от него дитя; что просит ее приехать к нему, как для того, чтобы лично принять благословение отца, так и для того, чтобы получить свою часть приданого. Мать моя не имела возможности воспользоваться этим приглашением до самого того времени, как батюшке надобно было выйти в отставку; мне было четыре года с половиною, когда отец мой увидел необходимость оставить службу. В квартире его, кроме моей кроватки, были еще две колыбели; походная жизнь с таким семейством делалась невозможною; он поехал в Москву искать места по статской службе, а мать со мною и еще двумя детьми отправилась к своему отцу, где и должна была жить до возвращения мужа. Взяв меня из рук Астахова, мать моя не могла уже ни одной минуты быть ни покойна, ни весела; всякий день я сердила ее странными выходками и рыцарским духом своим; я знала твердо все командные слова, любила до безумия лошадей, и когда матушка хотела заставить меня вязать шнурок, то я с плачем просила, чтоб она дала мне *пистолет,* как я говорила *пощелкать;* одним словом, я воспользовалась как нельзя лучше воспитанием, данным мне Астаховым! С каждым днем воинственные наклонности мои усиливались, и с каждым днем более мать не любила меня. Я ничего не забывала из того, чему научилась, находясь беспрестанно с гусарами; бегала и скакала по горнице во всех направлениях, кричала во весь голос: *«Эскадрон! направо, заезжай! с места! марш-марш!»* Тетки мои хохотали, а матушка, которую все это приводило в отчаяние, не знала границ своей досаде, брала меня в свою горницу, ставила в угол и бранью и угрозами заставляла горько плакать.

Отец мой получил место городничего в одном из уездных городов и отправился туда со всем своим семейством; мать моя, от всей души меня не любившая, кажется, как нарочно делала все, что могло усилить и утвердить и без того необоримую страсть мою к свободе и военной жизни: она не позволяла мне гулять в саду, не позволяла отлучаться от нее ни на полчаса; я

должна была целый день сидеть в ее горнице и плесть кружева; она сама учила меня шить, вязать, и, видя, что я не имею ни охоты, ни способности к этим упражнениям, что все в руках моих и рвется и ломается, она сердилась, выходила из себя и била меня очень больно по рукам.

Мне минуло десять лет. Матушка имела неосторожность говорить при мне отцу моему, что она не имеет сил управиться с воспитанницей Астахова, что это гусарское воспитание пустило глубокие корни, что огонь глаз моих пугает ее и что она желала бы лучше видеть меня мертвою, нежели с такими наклонностями. Батюшка отвечал, что я еще дитя, что не надобно замечать меня, и что с летами я получу другие наклонности, и все пройдет само собою. «Не приписывай этому ребячеству такой важности, друг мой!» — говорил батюшка. Судьбе угодно было, чтоб мать моя не поверила и не последовала доброму совету мужа своего... Она продолжала держать меня взаперти и не дозволять мне ни одной юношеской радости. Я молчала и покорялась; но угнетение дало зрелость уму моему. Я приняла твердое намерение свергнуть тягостное иго и, как взрослая, начала обдумывать план успеть в этом. Я решилась употребить все способы выучиться ездить верхом, стрелять из ружья и, переодевшись, уйти из дома отцовского. Чтобы начать приводить в действо замышляемый переворот в жизни моей, я не пропускала ни одного удобного случая украсться от надзора матушки; эти случаи представлялись всякий раз, как к матушке приезжали гости; она занималась ими, а я, я, не помня себя от радости, бежала в сад к своему арсеналу, то есть темному углу за кустарником, где хранились мои стрелы, лук, сабля и изломанное ружье; я забывала целый свет, занимаясь своим оружием, и только пронзительный крик ищущих меня девок заставлял меня с испугом бежать им навстречу. Они отводили меня в горницу, где всегда уже ожидало меня наказание. Таким образом минуло два года, и мне было уже двенадцать лет; в это время батюшка купил для себя верховую лошадь — черкесского жеребца, почти неукротимого. Будучи отличным наездником, отец мой сам выездил это прекрасное животное и назвал его *Алкидом*. Теперь все мои планы, на-

мерения и желания сосредоточились на этом коне; я решилась употребить все, чтоб приучить его к себе, и успела; я давала ему хлеб, сахар, соль; брала тихонько овес у кучера и насыпала в ясли; гладила его, ласкала, говорила с ним, как будто он мог понимать меня, и наконец достигла того, что неприступный конь ходил за мною, как кроткая овечка.

Почти всякий день я вставала на заре, уходила потихоньку из комнаты и бежала в конюшню; Алкид встречал меня ржанием, я давала ему хлеба, сахару и выводила на двор; потом подводила к крыльцу и со ступеней садилась к нему на спину; быстрые движения его, прыганье, храпенье нисколько не пугали меня: я держалась за гриву и позволяла ему скакать со мною по всему обширному двору, не боясь быть вынесенною за ворота, потому что они были еще заперты. Случилось один раз, что забава эта прервалась приходом конюха, который, вскрикнув от страха и удивления, спешил остановить галопирующего со мною Алкида; но конь закрутил головой, взвился на дыбы и пустился скакать по двору, прыгая и брыкая ногами. К счастию моему, обмерший от страха Ефим потерял употребление голоса, без чего крик его встревожил бы весь дом и навлек бы мне жестокое наказание. Я легко усмирила Алкида, лаская его голосом, трепля и гладя рукою; он пошел шагом, и когда я обняла шею его и прислонилась к ней лицом, то он тотчас остановился, потому что таким образом я всегда сходила, или, лучше сказать, сползала, с него. Теперь Ефим подошел было взять его, бормоча сквозь зубы, что он скажет это матушке; но я обещала отдавать ему все свои карманные деньги, если он никому не скажет и позволит мне самой отвести Алкида в конюшню; при этом обещании лицо Ефима выяснелось, он усмехнулся, погладил бороду и сказал: «Ну извольте, если этот пострел вас более слушается, нежели меня!» Я повела в торжестве Алкида в конюшню, и, к удивлению Ефима, дикий конь шел за мною смирно и, сгибая шею, наклонял ко мне голову, легонько брал губами мои волосы или за плечо.

С каждым днем я делалась смелее и предприимчивее и, исключая гнева матери моей, ничего в свете не страшилась. Мне казалось весьма странным, что свер-

стницы мои боялись оставаться одни в темноте; я, напротив, готова была в глубокую полночь идти на кладбище, в лес, в пустой дом, в пещеру, в подземелье. Одним словом, не было места, куда б я не пошла ночью так же смело, как и днем; хотя мне так же, как и другим детям, были рассказываемы повести о духах, мертвецах, леших, разбойниках и русалках, щекочущих людей насмерть; хотя я от всего сердца верила этому вздору, но нисколько, однако ж, ничего этого не боялась; напротив, я жаждала опасностей, желала бы быть окруженною ими, искала бы их, если б имела хотя малейшую свободу; но неусыпное око матери моей следило каждый шаг, каждое движение мое.

В один день матушка поехала с дамами гулять в густой бор за Каму и взяла меня с собою для того, как она говорила, чтоб я не сломила себе головы, оставшись одна дома. Это было в первый еще раз в жизни моей, что вывезли меня на простор, где я видела и густой лес, и обширные поля, и широкую реку! Я едва не задохлась от радости, и только что мы вошли в лес, как я, не владея собою от восхищения, в ту же минуту убежала, и бежала до тех пор, пока голоса компании сделались неслышны; тогда-то радость моя была полная и совершенная: я бегала, прыгала, рвала цветы, взлезала на вершины высоких дерев, чтоб далее видеть, взлезала на тоненькие березки и, схватясь за верхушку руками, соскакивала вниз, и молодое деревце легонько ставило меня на землю! Два часа пролетели как две минуты! Между тем меня искали, звали в несколько голосов; я, хотя и слышала их, но как расстаться с пленительною свободою! Наконец, уставши чрезвычайно, я возвратилась к обществу; мне не трудно было найти их, потому что голоса, меня зовущие, не умолкали. Я нашла мать мою и всех дам в страшном беспокойстве; они вскрикнули от радости, увидев меня; но матушка, угадав по довольному лицу моему, что я не заплуталась, но ушла добровольно, пришла в сильный гнев. Она толкнула меня в спину и назвала проклятою девчонкою, заклявшуюся сердить ее всегда и везде! Мы приехали домой; матушка от самой залы до своей спальни вела и драла меня за ухо; приведши к подушке с кружевом, приказала мне работать, не разгибаясь и не поворачивая никуда головы.

«Вот я тебя, негодную, привяжу на веревку и буду кормить одним хлебом!» Сказавши это, она пошла к батюшке рассказать о моем, как она называла, чудовищном поступке, а я осталась перебирать коклюшки, ставить булавки и думать о прекрасной природе, в первый раз еще виденной мною во всем ее величии и красоте! С этого дня надзор и строгость матери моей хотя сделались еще неусыпнее, но не могли уже ни устрашить, ни удержать меня.

От утра до вечера сидела я за работою, которой, надобно признаться, ничего в свете не могло быть гаже, потому что я не могла, не умела и не хотела уметь делать ее, как другие, но рвала, портила, путала, и передо мною стоял холстинный шар, на котором тянулась полосою отвратительная путаница — *мое кружево,* и за ним-то я сидела терпеливо целый день, терпеливо потому, что план мой был уже готов и намерение принято. Как скоро наступала ночь, все в доме утихало, двери запирались, в комнате матушки погашен огонь, я вставала, тихонько одевалась, украдкою выходила через заднее крыльцо и бежала прямо в конюшню; там брала я Алкида, проводила его через сад на скотный двор и здесь уже садилась на него и выезжала через узкий переулок прямо к берегу и к Старцовой горе; тут я опять вставала с лошади и взводила ее на гору за недоуздок в руках потому что, не умея надеть узды на Алкида, я не могла бы заставить его добровольно взойти на гору, которая в этом месте имела утесистую крутизну; итак, я взводила его за недоуздок в руках и, когда была на ровном месте, отыскивала пень или бугор, с которого опять садилась на спину Алкида, и до тех пор хлопала рукою по шее и щелкала языком, пока добрый конь пускался в галоп, вскачь и даже в карьер; при первом признаке зари я возвращалась домой, ставила лошадь в конюшню и, не раздеваясь, ложилась спать, через что и открылись, наконец, мои ночные прогулки. Девка, имевшая за мною смотренье, находя меня всякое утро в постели совсем одетую, сказала об этом матери, которая и взяла на себя труд посмотреть, каким образом и для чего это делается; мать моя сама видела, как я вышла в полночь совсем одетая и, к неизъяснимому ужасу ее, вывела из конюшни злого жеребца!

Она не смела остановить меня, считая лунатиком, не смела кричать, чтобы не испугать меня, но, приказав дворецкому и Ефиму смотреть за мною, пошла сама к батюшке, разбудила его и рассказала все происшествие; отец удивился и поспешно встал, чтоб идти увидеть своими глазами эту необычайность. Но все уже кончилось скорее, нежели ожидали: меня и Алкида вели в триумфе обратно каждого в свое место. Дворецкий, которому матушка приказала идти за мною, видя, что я хочу садиться на лошадь, и не считая меня, как считала матушка, лунатиком, вышел из засады и спросил: «Куда вы, барышня?»

После этого происшествия мать моя хотела непременно, чего бы то ни стоило, избавиться моего присутствия и для того решились отвезти меня в Малороссию к бабке, старой Александровичевой. Мне наступал уже четырнадцатый год, я была высока ростом, тонка и стройна; но воинственный дух мой рисовался в чертах лица, и, хотя я имела белую кожу, живой румянец, блестящие глаза и черные брови, но зеркало мое и матушка говорили мне всякий день, что я совсем не хороша собою. Лицо мое было испорчено оспою, черты неправильны, а беспрестанное угнетение свободы и строгость обращения матери, а иногда и жестокость напечатлели на физиономии моей выражение страха и печали. Может быть, я забыла бы наконец все свои гусарские замашки и сделалась обыкновенною девицею, как и все, если б мать моя не представляла в самом безотрадном виде участь женщины. Она говорила при мне в самых обидных выражениях о судьбе этого пола: женщина, по ее мнению, должна родиться, жить и умереть в рабстве; что вечная неволя, тягостная зависимость и всякого рода угнетение есть ее доля от колыбели до могилы; что она исполнена слабостей, лишена всех совершенств и не способна ни к чему; что, одним словом, женщина самое несчастное, самое ничтожное и самое презренное творение в свете! Голова моя шла кругом от этого описания; я решилась, хотя бы это стоило мне жизни, отделиться от пола, находящегося, как я думала, под проклятием божиим. Отец тоже говорил часто: «Если б вместо *Надежды* был у меня сын, я не думал бы, что̀ будет со мною под старость; он был бы мне подпорою при вечере дней моих».

Я едва не плакала при этих словах отца, которого чрезвычайно любила. Два чувства, столь противоположные — *любовь к отцу и отвращение к своему полу,* — волновали юную душу мою с одинаковою силою, и я с твердостию и постоянством, мало свойственными возрасту моему, занялась обдумыванием плана выйти из сферы, назначенной природою и обычаями женскому полу.

При таком-то расположении ума и воли моей, в начале четырнадцатого года моего от рождения, отвезла меня мать моя в Малороссию к бабке и оставила у нее. Деда не было уже на свете. Всю нашу семью составляли бабка моя осьмидесятилетняя, умная и и благочестивая женщина; она была некогда красавица и известна по необычайной кротости нрава; сын ее, а мой дядя, средних лет человек, пригожий, добрый, чувствительный, и до несносности капризный, был женат на девице редкой красоты из фамилии *Лизогубов,* живущих в Чернигове; и, наконец, тетка лет сорока пяти, девица. Я более всех любила молодую и прекрасную жену дяди, но никогда однако ж не оставалась охотно в сообществе моих родных: они были так важны, так набожны, такие непримиримые враги воинственных наклонностей в девице, что я боялась думать в их присутствии о своих любимых намерениях. Хотя свободы моей не стесняли ни в чем, хотя я могла с утра до вечера гулять, где хочу, не опасаясь быть бранено, но если б я осмелилась намекнуть только о верховой езде, то, думаю, меня осудили бы на церковное покаяние. Так нелицемерен был ужас родных моих при одной мысли об этих противозаконных и противоестественных, по их мнению, упражнениях женщин, а особливо девиц!

Под ясным небом Малороссии я приметно поздоровела, хотя в то же время загорела, почернела и подурнела еще более. Здесь меня не шнуровали и не морили за кружевом. Любя страстно природу и свободу, я все дни проводила, или бегая по лесным дачам дядиного поместья, или плавая по *Удаю* в большой ладье, называемой в Малороссии *дуб.* Может быть, этой последней забавы не позволили б мне, если б знали об ней; но я имела предосторожность пускаться в навигацию после обеда, когда зоркие глаза молодой тетки

закрывались для сна. Дядя уходил заниматься хозяйством или читал газеты, которые тетушка-девица слушала с большим участием; оставалась только бабушка, которая могла бы увидеть меня; но она имела уже слабое зрение, и я в совершенной безопасности разъезжала прямо перед ее окнами.

Весною приехала к нам еще одна тетка моя, *Значко-Яворская*, живущая близ города Лубен; она полюбила меня и выпросила у бабушки позволение взять меня к себе на все лето.

Здесь и занятия мои и удовольствия были совсем другие; тетка была строгая женщина, наблюдавшая неослабный порядок и приличие во всем; она жила открыто, была знакома с лучшим обществом из окружных помещиков, имела хорошего повара и часто делала балы; я увидела себя в другой сфере. Не слыша никогда брани и укоризн женскому полу, я мирилась несколько с его участию, особливо видя вежливое внимание и угождения мужчин. Тетка одевала меня очень хорошо и старалась свести загар с лица моего; воинские мечты мои начинали понемногу изглаживаться в уме моем; назначение женщин не казалось уже мне так страшным, и мне наконец понравился новый род жизни моей. К довершению успокоения бурных помыслов моих, дали мне подругу: у тетушки жила другая племянница ее, *Остроградская*, годом моложе меня. Мы обе были неразлучны; утро проводили в комнате у тетки нашей, читая, рисуя или играя; после обеда до самого чаю мы были свободны гулять и тотчас уходили в *ливаду;* так называется часть земли, обыкновенно примыкающая к саду и отделяемая от него одним только рвом; я перескакивала его с легкостью дикой козы; сестра следовала моему примеру, и мы в продолжение урочного времени нашей прогулки облетали все соседние ливады во всем их пространстве.

Тетка моя, как и все малороссиянки, была очень набожна, строго наблюдала и исполняла все обряды, предписываемые религиею. Всякий праздник ездила к обедне, вечерне и заутрене; я и сестры должны были делать то же. Сначала мне очень не хотелось вставать до свету, чтоб идти в церковь, но в соседстве у нас жила помещица *Кирьякова* с сыном и также всегда приезжала в церковь. В ожидании нача-

тия службы Кириякова разговаривала с теткою, а сын ее, молодой человек лет двадцати пяти, подходил к нам, или, лучше сказать, ко мне, потому что он говорил только со мною. Он был очень недурен собою, имел прекрасные черные глаза, волосы и брови и юношескую свежесть лица; я очень полюбила божественную службу и к заутрене вставала всегда уже прежде тетушки. Наконец разговоры мои с молодым Кирияковым обратили на себя внимание тетки моей. Она стала замечать, расспрашивать сестру, которая тотчас и сказала, что Кирияк брал мою руку и просил меня отдать ему кольцо, говоря, что тогда сочтет себя уполномоченным говорить с тетушкою.

Получа такое объяснение от сестры моей, тетка призвала меня к себе: «Что говорит с тобою сын нашей соседки всякий раз, когда мы бываем вместе?» Не умея вовсе притворяться, я рассказала тотчас все, что было мне говорено. Тетушка покачала головою; ей это очень не нравилось. «Нет,— говорила она,— не так ищут руки девицы! К чему объясняться с тобою! Надобно было прямо отнестись к твоим родственникам!» После этого меня отвезли обратно к бабке; я долго скучала о молодом Кирияке. Это была первая склонность, и думаю, что если б тогда отдали меня за него, то я навсегда простилась бы с воинственными замыслами; но судьба, предназначавшая мне поприщем *ратное поле,* распорядила иначе. Старая Кириякова просила тетку мою осведомиться, имею ли я какое приданое, и, узнавши, что оно состоит из нескольких аршин лент, полотна и кисеи, а более ничего, запретила сыну своему думать обо мне.

Мне наступил пятнадцатый год, как в один день принесли дяде моему письмо, повергшее всех в печаль и недоумение. Письмо было от батюшки; он писал к матери моей, умолял ее простить ему, возвратиться и давал клятву все оставить. Никто ничего не мог понять из этого письма. Где мать моя? Почему письмо к ней адресовано в Малороссию? Разошлась ли она с мужем, и по какой причине? Дядя и бабка мои терялись в догадках.

Недели через две после этого письма я каталась в лодке по Удаю и вдруг услышала визгливый голос бабушкиной горничной девки: *«Панночко, панночко!*

идыть до бабусци!» Я испугалась, услыша призыв к бабушке, повернула лодку и мысленно прощалась с своим любезным *дубом,* полагая, что теперь велят его приковать цепью к свае и прогулки мои по реке навсегда кончились. «Как это случилось, что бабушка увидела?» — спрашивала я, приставая к берегу. «Бабушка не видала,— отвечала Агафья,— но за вами приехал Степан; матушка ваша прислала». Матушка? За мною? Возможно ли? Ах, прекрасный край, неужели я должна буду оставить тебя?.. Я шла поспешно домой; там увидела старого слугу нашего, бывшего во всех походах с отцом моим; седой Степан почтительно подал мне письмо. Отец писал, что он и мать моя желают, чтоб я немедленно приехала к ним, что им скучно жить розно со мною. Это было непонятно для меня; я знала, что мать не любила меня; итак, это батюшка хочет, чтоб я была при нем; но как же согласилась мать моя? Сколько я ни думала и сколько ни сожалела о необходимости оставить Малороссию, о стеснении свободы, меня ожидающем, о неприятном размене прекрасного климата на холодный и суровый, но должна была повиноваться! В два дня все приготовили, напекли, нажарили, лакомств дали огромный короб и все уложили. На третий почтенная бабка моя прижала меня к груди своей и, целуя, сказала: «Поезжай, дитя мое! Да благословит тебя господь в пути твоем! Да благословит он тебя и в пути жизни твоей!» Она положила руку свою мне на голову и тихо призывала на меня покровительства божия! Молитва праведницы была услышана: во все продолжение воинственной, бурной жизни я испытывала во многих случаях видимое заступление всевышнего.

Нечего описывать путешествия моего под надзором старого Степана и в товариществе двенадцатилетней Аннушки, его дочери; оно началось и кончилось, как начинаются и оканчиваются подобные вояжи: ехали на протяжных тихо, долго и наконец приехали. Отворяя дверь в зал отцовского дома, я услышала, как маленькая сестра моя, Клеопатра, говорила: «Подите, маменька, какая-то барышня приехала!» Сверх ожидания, матушка приняла меня ласково; ей приятно было видеть, что я получила тот скро-

мный и постоянный вид, столько приличествующий молодой девице. Хотя в полтора года я много выросла и была почти головою выше матери, но не имела уже ни того воинственного вида, делавшего меня похожею на Ахиллеса в женском платье, ни тех гусарских приемов, приводивших мать мою в отчаяние.

Прожив несколько дней дома, я узнала причину, заставившую прислать за мною. Отец мой, всегда неравнодушный к красоте, изменил матери моей в ее отсутствие и взял на содержание прекрасную девочку, дочь одного мещанина. По возвращении матушка долго еще ничего не знала, но одна из ее знакомых думала услужить ей, объявив гибельную тайну, и отравила жизнь ее ядом, жесточайшим из всех,— ревностию! Несчастная мать моя помертвела, слушая рассказ безумно услужливой приятельницы, и, выслушав, ушла от нее, не говоря ни слова, и легла в постель; когда батюшка пришел домой, она хотела было говорить ему кротко и покойно, но в ее ли воле было сделать это! С первых слов терзание сердца превозмогло все! Рыдания пресекли ее голос; она била себя в грудь, ломала руки, кляла день рождения и ту минуту, в которую узнала любовь! просила отца моего убить ее и тем избавить нестерпимого мучения жить, быв им пренебреженною! Батюшка ужаснулся состояния, в котором видел мать мою; он старался успокоить ее, просил не верить вздорным рассказам; но, видя, что она была слишком хорошо уведомлена обо всем, клялся богом и совестию оставить преступную связь; матушка поверила, успокоилась и простила. Батюшка несколько времени держал свое слово, оставил любовницу и даже отдал ее замуж; но после взял опять, и тогда-то мать моя в отчаянии решилась было навсегда расстаться с неверным мужем и поехала к своей матери в Малороссию; но в Казани остановилась. Батюшка, не зная этого, написал в Малороссию, убеждая мать мою простить ему и возвратиться; но в то же время и сам получил письмо от матери моей. Она писала, что не имеет силы удалиться от него, не может перенесть мысли расстаться навек с мужем, хотя жестоко ее обидевшим, но и безмерно ею любимым! Умоляла его одуматься и возвратиться к своим обязанностям. Батюшка был тро-

нут, раскаялся и просил матушку возвратиться. Тогда-то она послала за мною, полагая, что присутствие любимой дочери заставит его забыть совершенно недостойный предмет своей привязанности. Несчастная! ей суждено было обмануться во всех своих ожиданиях и испить чашу горести до дна! Батюшка переходил от одной привязанности к другой и никогда уже не возвращался к матери моей! Она томилась, увядала, сделалась больна, поехала лечиться в Пермь к славному *Гралю* и умерла на тридцать пятом году от рождения, более жертвою несчастия, нежели болезни!.. Увы! бесполезно орошаю теперь слезами строки эти! Горе мне, бывшей первоначальною причиною бедствий матери моей!.. Мое рождение, пол, черты, наклонности — все было не то, чего хотела мать моя. Существование мое отравляло жизнь ее, а беспрерывная досада испортила ее нрав и без того от природы вспыльчивый и сделала его жестоким; тогда уже и необыкновенная красота не спасла ее; отец перестал ее любить и безвременная могила была концом любви, ненависти, страданий и несчастий.

Матушка, не находя уже удовольствия в обществе, вела затворническую жизнь. Пользуясь этим обстоятельством, я выпросила у отца позволение ездить верхом; батюшка приказал сшить для меня казачий чекмень и подарил своего Алкида. С этого времени я была всегдашним товарищем отца моего в его прогулках за город; он находил удовольствие учить меня красиво сидеть, крепко держаться в седле и ловко управлять лошадью. Я была понятная ученица; батюшка любовался моею легкостию, ловкостью и бесстрашием; он говорил, что я живой образ юных лет его и что была бы подпорою старости и честию имени его, если б родилась мальчиком! Голова моя вскружилась! но теперешнее кружение было уже прочно. Я была не дитя: мне минуло шестнадцать лет! Обольстительные удовольствия света, жизнь в Малороссии и черные глаза Кирияка, как сон, изгладились в памяти моей; но детство, проведенное в лагере между гусарами, живыми красками рисовалось в воображении моем. Все воскресло в душе моей! Я не понимала, как могла не думать о плане своем почти два года! Мать моя, угнетенная горестию, теперь еще бо-

лее ужасными красками описывала участь женщин. Воинственный жар с неимоверною силою запылал в душе моей; мечты зароились в уме, и я деятельно зачала изыскивать способы произвесть в действие прежнее намерение свое — сделаться воином, быть сыном для отца своего и навсегда отделиться от пола, которого участь и вечная зависимость начали страшить меня.

Матушка не ездила еще в Пермь лечиться, когда в город наш пришел полк казаков для усмирения беспрерывного воровства и смертоубийств, производимых татарами. Батюшка часто приглашал к себе обедать их полковника и офицеров; ездил с ними прогуливаться за город верхом; но я имела предусмотрительность никогда не быть участницею этих прогулок: мне нужно было, чтобы они никогда не видали меня в чекмене и не имели понятия о виде моем в мужском платье. Луч света озарил ум мой, когда казаки вступили в город! Теперь я видела верный способ исполнить так давно предпринятый план; видела возможность, дождавшись выступления казаков, дойти с ними до места, где стоят регулярные полки.

Наконец настало решительное время действовать по предначертанному плану! Казаки получили повеление выступить; они вышли 15-го сентября 1806 года; в пятидесяти верстах от города должна была быть у них дневка. Семнадцатого был день моих именин, и день, в который судьбою ли, стечением ли обстоятельств, или непреодолимою наклонностию, но только определено было мне оставить дом отцовский и начать совсем новый род жизни. В день *семнадцатого сентября* я проснулась до зари и села у окна дожидаться ее появления: может быть, это будет последняя, которую я увижу в стране родной! Что́ ждет меня в бурном свете! не понесется ли вслед за мною проклятие матери и горесть отца! Будут ли они живы! Дождутся ли успехов гигантского замысла моего! Ужасно, если смерть их отнимет у меня цель действий моих! Мысли эти то толпились в голове моей, то сменяли одна другую! Сердце мое стеснилось, и слезы заблистали на ресницах. В это время занялась заря, скоро разлилась алым заревом, и прекрасный свет ее, пролившись в мою комнату, осветил предметы: отцов-

ская сабля, висевшая на стене прямо против окна, казалась горящею. Чувства мои оживились. Я сняла саблю со стены, вынула ее из ножен и, смотря на нее, погрузилась в мысли; сабля эта была игрушкою моею, когда я была еще в пеленах, утехою и упражнением в отроческие лета, и почему ж теперь не была бы она защитою и славою моею на военном поприще? «Я буду носить тебя с честию»,— сказала я, поцеловав клинок и вкладывая ее в ножны. Солнце взошло. В этот день матушка подарила мне золотую цепь; батюшка триста рублей и гусарское седло с алым вальтрапом; даже маленький брат отдал мне золотые часы свои. Принимая подарки родителей моих, я с грустию думала, что им и в мысль не приходит, что они снаряжают меня в дорогу дальнюю и опасную.

День этот я провела с моими подругами. В одиннадцать часов вечера я пришла проститься с матушкою, как то делала обыкновенно, когда шла уже спать. Не имея сил удержать чувств своих, я поцеловала несколько раз ее руки и прижала их к сердцу, чего прежде не делала и не смела делать. Хотя матушка и не любила меня, однако ж была тронута необыкновенными изъявлениями детской ласки и покорности; она сказала, целуя меня в голову: *«Поди с богом!»* Слова эти весьма много значили для меня, никогда еще не слыхавшей ни одного ласкового слова от матери своей. Я приняла их за благословение, поцеловала впоследнее руку ее и ушла.

Комнаты мои были в саду. Я занимала нижний этаж садового домика, а батюшка жил вверху. Он имел обыкновение заходить ко мне всякий вечер на полчаса. Он любил слушать, когда я рассказывала ему, где была, что̀ делала или читала. Ожидая и теперь обычного посещения отца моего, положила я на постель за занавес мое казацкое платье, поставила у печки кресла и стала подле них дожидаться, когда батюшка пойдет в свои комнаты. Скоро я услышала шелест листьев от походки человека, идущего по аллее. Сердце мое вспрыгнуло! Дверь отворилась, и батюшка вошел: «Что́ ты так бледна? — спросил он, садясь на кресла,— здорова ли?» Я с усилием удержала вздох, готовый разорвать грудь мою; последний раз отец мой входит в комнату ко мне с уверенностью

найти в ней дочь свою! Завтра он пройдет мимо с горестью и содроганием! Могильная пустота и молчание будут в ней! Батюшка смотрел на меня пристально: «Что̀ с тобою? Ты, верно, не здорова?» Я сказала, что только устала и озябла. «Что̀ ж не велишь протапливать свою горницу? Становится сыро и холодно». Помолчав несколько, батюшка спросил: «Для чего ты не прикажешь Ефиму выгонять Алкида на корде? К нему приступа нет; ты сама давно уже не ездишь на нем, другому никому не позволяешь. Он так застоялся, что даже в стойле скачет на дыбы, непременно надобно проездить его». Я сказала, что прикажу сделать это, и опять замолчала. «Ты что-то грустна, друг мой. Прощай, ложись спать»,— сказал батюшка, вставая и целуя меня в лоб. Он обнял меня одною рукою и прижал к груди своей; я поцеловала обе руки его, стараясь удержать слезы, готовые градом покатиться из глаз. Трепет всего тела изменил сердечному чувству моему. Увы! Батюшка приписал его холоду! «Видишь, как ты озябла»,— сказал он. Я еще раз поцеловала его руки. «Добрая дочь!» — примолвил батюшка, потрепав меня по щеке, и вышел. Я стала на колени близ тех кресел, на которых сидел он, и, склонясь перед ними до земли, целовала, орошая слезами, то место пола, где стояла нога его. Через полчаса, когда печаль моя несколько утихла, я встала, чтоб скинуть свое женское платье; подошла к зеркалу, обрезала свои локоны, положила их в стол, сняла черный атласный капот и начала одеваться в казачий униформ. Стянув стан свой черным шелковым кушаком и надев высокую шапку с пунцовым верхом, с четверть часа я рассматривала преобразившийся вид свой; остриженные волосы дали мне совсем другую физиономию; я была уверена, что никому и в голову не придет подозревать пол мой. Сильный шелест листьев и храпенье лошади дали знать мне, что Ефим ведет Алкида на задний двор. Я впоследнее простерла руки к изображению богоматери, столько лет принимавшему мольбы мои, и вышла! Наконец дверь отцовского дома затворилась за мною, и кто знает? может быть, никогда уже более не отворится для меня!..

Приказав Ефиму идти с Алкидом прямою дорогою на Старцову гору и под лесом дожидаться меня, я сбе-

жала поспешно на берег Камы, сбросила тут капот свой и положила его на песок со всеми принадлежностями женского одеянья; я не имела варварского намерения заставить отца думать, что я утонула, и была уверена, что он не подумает этого; я хотела только дать ему возможность отвечать без замешательства на затруднительные вопросы наших недальновидных знакомых. Оставив платье на берегу, я взошла прямо на гору по тропинке, проложенной козами; ночь была холодная и светлая; месяц светил во всей полноте своей. Я остановилась взглянуть еще раз на прекрасный и величественный вид, открывающийся с горы: за Камою, на необозримое пространство видны были Пермская и Оренбургская губернии! Темные, обширные леса и зеркальные озера рисовались как на картине! Город, у подошвы утесистой горы, дремал в полуночной тишине; лучи месяца играли и отражались на позолоченных главах собора и светили на кровлю дома, где я выросла!.. Что́ мыслит теперь отец мой? говорит ли ему сердце его, что завтра любимая дочь его не придет уже пожелать ему доброго утра?..

В молчании ночном ясно доходили до слуха моего крик Ефима и сильное храпенье Алкида. Я побежала к ним, и в самую пору: Ефим дрожал от холода, бранил Алкида, с которым не мог сладить, и меня за медленность. Я взяла мою лошадь у него из рук, села на нее, отдала ему обещанные пятьдесят рублей, попросила, чтоб не сказывал ничего батюшке, и, опустив Алкиду повода, вмиг исчезла у изумленного Ефима из виду.

Версты четыре Алкид скакал с одинакою быстротою; но мне в эту ночь надобно было проехать пятьдесят верст до селения, где я знала, что была назначена дневка казачьему полку. Итак, удержав быстрый скок моего коня, я поехала шагом; скоро въехала в темный сосновый лес, простирающийся верст на тридцать. Желая сберечь силы моего Алкида, я продолжала ехать шагом и, окруженная мертвою тишиною леса и мраком осенней ночи, погрузилась в размышления. Итак, я на воле! свободна! независима! я взяла мне принадлежащее, мою свободу: *свободу!* драгоценный дар неба, неотъемлемо принадлежащий каждому человеку! Я умела взять ее, охранить от всех притязаний на бу-

дущее время, и отныне до могилы она будет и уделом моим и наградою!

Тучи закрыли все небо; в лесу сделалось темно так, что я на три сажени перед собою не могла ничего видеть, и, наконец, поднявшийся с севера холодный ветер заставил меня ехать скорее. Алкид мой пустился большой рысью, и на рассвете я приехала в селение, где дневал полк казаков.

ЗАПИСКИ

Полковник и его офицеры давно уже проснулись и собрались все в полковничью квартиру завтракать; в это время я вошла к ним. Они шумно разговаривали между собою, но, увидя меня, вдруг замолчали. Полковник, с видом изумления, подошел ко мне. «Которой ты сотни?» — спросил он поспешно. Я отвечала, что не имею еще чести быть в которой-нибудь из них; но приехал просить его об этой милости. Полковник слушал меня с удивлением. «Я не понимаю тебя! Разве ты нигде не числишься?» — «Нигде».— «Почему?»— «Не имею права».— «Как! Что́ это значит? Казак не имеет права быть причислен к полку казачьему! Что́ это за вздор!» Я сказала, что я не казак. «Ну, кто же ты,— спросил полковник, начинавший выходить из терпения,— зачем в казачьем мундире, и чего ты хочешь?» — «Я уже сказал вам, полковник, что желаю иметь честь быть причислен к вашему полку, хотя только на то время, пока дойдем до регулярных войск».— «Но все-таки я должен знать, что ты таков, молодой человек, и сверх того разве тебе не известно, что у нас никому нельзя служить, кроме природных казаков?» — «Я и не имею этого намерения, но прошу у вас только позволения дойти до регулярных войск в звании и одеянии казака при вас или при полку вашем; что ж до вопроса вашего, кто я таков, скажу только то, что могу сказать: я дворянин, оставил дом отцовский и иду в военную службу без ведома и воли моих родителей; я не могу быть счастлив ни в каком другом звании, кроме военного, потому я решился в этом случае поступить по своему произволу; если вы не примете меня под свое покровительство, я найду средство и один присоединиться к армии». Полковник

с участием смотрел на меня, пока я говорила. «Что̀ мне делать? — сказал он вполголоса, оборотясь к одному седому есаулу.— Я не имею духа отказать ему!» — «На что же и отказывать,— отвечал равнодушно есаул,— пусть едет с нами».— «Не нажить бы нам хлопот».— «Каких же? Напротив, и отец и мать его будут вам благодарны впоследствии за то, что вы дадите ему приют; с его решимостью и неопытностию он попадет в беду, если вы его отошлете». В продолжение этого короткого переговора полковника с есаулом я стояла, опершись на свою саблю, с твердым намерением, получа отказ, сесть на своего питомца гор и ехать одной к предположенной цели. «Ну хорошо, молодой человек,— сказал полковник, оборотясь ко мне,— ступай с нами; но упреждаю тебя, что мы идем теперь на Дон, а там регулярных войск нет. Щегров! дай ему лошадь из заводных!» Высокого роста казак, вестовой полковника, пошел было исполнить приказание. Но я, спеша пользоваться возможностью играть роль подчиненного воина, сказала: «У меня есть лошадь, *ваше высокоблагородие!* Я буду ехать на ней, если позволите». Полковник рассмеялся: «Тем лучше, тем лучше! Поезжай на своей лошади. Как же твое имя, молодец?» Я сказала, что меня зовут *Александром!* «А по отчеству?» — «*Васильем* звали отца моего!» — «Итак, Александр Васильевич, на походе ты будешь ехать всегда при первой сотне; обедать у меня и квартировать. Иди теперь к полку, мы сейчас выступаем. Дежурный, вели садиться на коней». Вне себя от радости, побежала я к своему Алкиду и как птица взлетела на седло. Бодрая лошадь, казалось, понимала мое восхищение; она шла гордо, сгибая шею кольцом и быстро водя ушми. Казацкие офицеры любовались красотою Алкида моего и вместе хвалили и меня; они говорили, что я хорошо сижу на лошади и что у меня прекрасная черкесская талия. Я начинала уже краснеть и приходить в замешательство от любопытных взоров, со всех сторон на меня устремленных; но такое положение не могло быть продолжительно; я скоро оправилась и отвечала на расспросы учтиво, правдоподобно, голосом твердым, покойным, и казалась вовсе не замечающею всеобщего любопытства и толков, возбужденных появлением моим среди войска Донского.

Наконец казаки, наговорясь и насмотревшись на коня моего и на меня, стали по местам. Полковник вышел, сел на черкесского коня своего, скомандовал: *«Справа по три!»* — и полк двинулся вперед. Переднее отделение, нарочно составленное из людей, имеющих хороший голос, запело: *«Душа добрый конь»* — любимую казацкую песню. Меланхолический напев ее погрузил меня в задумчивость: давно ли я была дома! в одежде пола своего, окруженная подругами, любимая отцом, уважаемая всеми как дочь градоначальника! Теперь я казак! в мундире, с саблею; тяжелая пика утомляет руку мою, не пришедшую еще в полную силу. Вместо подруг меня окружают казаки, которых наречие, шутки, грубый голос и хохот трогают меня! Чувство, похожее на желание плакать, стеснило грудь мою! Я наклонилась на крутую шею коня своего, обняла ее и прижалась к ней лицом!.. Лошадь эта была подарок отца! Она одна оставалась мне воспоминанием дней, проведенных в доме его! Наконец борьба чувств моих утихла, я опять села прямо и, занявшись рассматриванием грустного осеннего ландшафта, поклялась в душе никогда не позволять воспоминаниям ослаблять дух мой, но с твердостию и постоянством идти по пути, мною добровольно избранном.

Поход продолжался более месяца; новое положение мое восхищало меня; я научилась седлать и расседлывать свою лошадь, сама водила ее на водопой, так же, как и другие. Походом казацкие офицеры часто скакались на лошадях и предлагали и мне испытать быстроту моего Алкида против их лошадей; но я слишком люблю его, чтоб могла согласиться на это. К тому ж мой добрый конь не в первом цвете молодости, ему уже девять лет; и хотя я уверена, что в целом казачьем полку нет ни одной лошади, равной моему Алкиду в быстроте, точно так же, как и в красоте, но все-таки не имею бесчеловечного тщеславия мучить своего товарища от пустого удовольствия взять верх над тощими скакунами Дона. Наконец полк пришел на рубеж своей земли и расположился лагерем в ожидании смотра, после которого их распускают по домам; ожидание и смотр продолжались три дня; я в это время ходила с ружьем по необозримой степи Донской или ездила верхом. По окончании смотра казаки пустились во все

стороны группами; это был живописный вид: несколько сот казаков, рассыпавшись по обширной степи, ехали от места смотра во всех направлениях. Картина эта припомнила мне рассыпное бегство муравьев, когда мне случалось выстрелить холостым зарядом из пистолета в их кучу.

Щегров позвал меня к полковнику: «Ну вот, молодой человек, нашему странствию конец! а вашему? что̀ вы намерены делать?» — «Ехать к армии»,— смело отвечала я. «Вы, конечно, знаете, где она расположена? знаете дорогу, по которой ехать, и имеете к этому средства? — спросил полковник, усмехаясь. Ирония эта заставила меня покраснеть: «О месте и дороге я буду спрашивать, полковник, что ж касается до средств, у меня есть деньги и лошадь».— «Ваши средства хороши только за неимением лучших; мне жаль вас, Александр Васильевич! Из поступков ваших, более нежели из слов, уверился я в благородном происхождении вашем; не знаю причин, заставивших вас в такой ранней юности оставить дом отцовский; но если это точно желание войти в военную службу, то одна только ваша неопытность могла закрыть от вас те бесчисленные затруднения, которые вам надобно преодолеть прежде достижения цели. Подумайте об этом». Полковник замолчал, я также молчала, и что̀ могла я сказать! Меня стращают затруднениями! Советуют подумать... Может быть, хорошо было бы услышать это дома; но, удалясь от него две тысячи верст, надобно продолжать, и какие б ни были затруднения, твердою волею победить их! Так думала я и все еще молчала. Полковник начал опять: «Вижу, что вы не хотите говорить со мною откровенно; может быть, вы имеете на это свои причины; но я не имею духа отпустить вас на верную гибель; послушайтесь меня, останьтесь пока у меня на Дону; покровительство опытного человека для вас необходимо; я предлагаю вам до времени дом мой, живите в нем до нового выступления нашего в поход; вам не будет скучно, у меня есть семейство, климат наш, как видите, очень тепел, снегу не бывает до декабря, можете прогуливаться верхом сколько угодно; конюшня моя к вашим услугам. Теперь мы поедем ко мне в дом, я отдам вас на руки жене моей, а сам отправлюсь в Черкасск к Платову; там пробуду до нового похода,

который не замедлится; тогда и вы дойдете вместе с нами до регулярных войск. Согласны ли вы последовать моему совету?» Я сказала, что принимаю предложение его с искреннею благодарностью. Надобно было не иметь ума, чтоб не видеть, как выгодно для меня будет дойти до регулярного войска, не обращая на себя внимания и не возбуждая ни в ком подозрения.

Полковник и я сели в коляску и отправились в *Раздорскую станицу*, где был у него дом. Жена его чрезвычайно обрадовалась приезду мужа; это была женщина средних лет, прекрасная собою, высокого роста, полная, с черными глазами, бровями и волосами и смугловатым цветом лица, общим всему казачьему племени; свежие губы ее приятно улыбались всякий раз, когда она говорила. Меня очень полюбила она и обласкала; дивилась, что в такой чрезвычайной молодости отпустили меня родители мои скитаться, как она говорила, по свету; «вам, верно, не более четырнадцати лет, и вы уже одни на чужой стороне; сыну моему осьмнадцать, и я только с отцом отпускаю его в чужие земли; но одному! ах боже! чего не могло б случиться с таким птенцом! Поживите у нас, вы хоть немного подрастете, возмужаете, и, когда наши казаки опять пойдут в поход, вы пойдете с ними, и муж мой будет вам вместо отца». Говоря это, добрая полковница уставливала стол разными лакомствами — медом, виноградом, сливками и сладким только что выжатым вином: «Пейте, молодой человек,— говорила доброхотная хозяйка,— чего вы боитесь? это и мы, бабы, пьем стаканами; трехлетние дети у нас пьют его, как воду». Я до этого времени не знала еще вкусу вина и потому с большим удовольствием пила донской нектар. Хозяйка смотрела на меня, не сводя глаз: «Как мало походите вы на казака! Вы так белы, так тонки, так стройны, как девица! Женщины мои так и думают; они говорили уже мне, что вы переодетая девушка!» Говоря таким образом, полковница хохотала простодушно, вовсе не подозревая, как хорошо отгадали ее женщины и какое замирание сердца причиняют слова ее молодому гостю, так усердно ею угощаемому. С этого дня я не находила уже никакого удовольствия оставаться в семействе полковника, но с утра до вечера хо-

дила по полям и виноградникам. Охотно уехала бы я в Черкасск, но боялась новых расспросов; я очень видела, что казачий мундир худо скрывает разительное отличие мое от природных казаков; у них какая-то своя физиономия у всех, и потому вид мой, приемы и самый способ изъясняться были предметом их любопытства и толкования; к тому же, видя себя беспрестанно замечаемою, я стала часто приходить в замешательство, краснеть, избегать разговоров и уходить в поле на целый день, даже и в дурную погоду. Полковника давно уже не было дома, он жил по делам службы в Черкасске; единообразная бездейственная жизнь сделалась мне несносна; я решилась уехать и отыскивать армию, хотя сердце мое трепетало при мысли, что те же расспросы, то же любопытство ожидают меня везде; но по крайности, думала я, это будет некоторым образом мимоходом, а не так как здесь я служу постоянным предметом замечаний и толкованья.

Решась ехать завтра на рассвете, я пришла домой засветло, чтобы уведомить хозяйку о своем отъезде и приготовить лошадь и сбрую. Входя на двор, я увидела необыкновенную суетливость и беготню людей полковника; увидела множество экипажей и верховых лошадей. Я вошла в залу, и первою встречею был возвратившийся полковник; толпа офицеров окружала его; но между ними не было однако ж ни одного из тех, с которыми я пришла на Дон. «Здравствуйте, Александр Васильевич! — сказал полковник, отвечая на поклон мой,— не соскучились ли вы у нас? Господа, рекомендую, это русский дворянин; он будет спутником нашим до места». Офицеры слегка поклонились мне и продолжали разговаривать о своем походе. «Ну как же вы проводили ваше время, Александр Васильевич? Полюбился ли вам Дон и не полюбилось ли что̀ на Дону?» Говоря это, полковник лукаво усмехался. Поняв смысл последнего вопроса, я покраснела, но отвечала вежливо и сообразно шутке, что старался не прилепляться слишком к прекрасной стороне их, чтоб не заплатить за это поздним сожалением.— «Вы очень хорошо сделали,— сказал полковник,— потому что завтра чуть свет и мы, и вы должны сказать прости нашему тихому Дону! Мне вверен Атаманский полк, и мы имеем повеление идти в Гродненскую губернию;

вот там вы будете иметь случай вступить в какой угодно регулярный полк, их там много».

В три часа утра я оседлала своего Алкида и привела его к строю казаков; но как полковника тут еще не было, то я, привязав свою лошадь, пошла в ту залу, где собрались все офицеры. Множество молодых казачек пришли проводить своих мужей; я была свидетельницею трогательного зрелища. Щегров, бывший всегда при полковнике в походе, был с ним же и на Дону; его отец, мать, жена и три взрослые и прекрасные дочери пришли проводить его и еще раз проститься с ним. Умилительно было видеть, как сорокалетний казак, склонясь до земли, целовал ноги своего отца и матери, принимая их благословение, и после сам точно так же благословил дочерей своих, упавших к ногам его; обряд этого прощанья был совершенно нов для меня и сделал на душу мою самое горестное впечатление! «Вот,— думала я,— как должно расставаться детям с отцом и матерью! а я убежала! Вместо благословения неслись за мною упреки раздраженных родителей, а может быть... ужасная мысль!..» Погрузясь в эти печальные размышления, я не слыхала, как все уже вышли и зала сделалась пуста. Шорох позади меня пробудил мое внимание и извлек из горестных мечтаний очень неприятным образом; ко мне подкрадывалась одна из женщин полковницы: «А вы что̀ ж стоите здесь одни, барышня? Друзья ваши на лошадях, и Алкид бегает по двору!» Это сказала она с видом и усмешкою истинного сатаны. Сердце мое вздрогнуло и облилось кровью; я поспешно ушла от мегеры! Казаки были уже в строю; близ них Алкид мой рыл землю копытом от нетерпения. Поспешая взять его, я встретила строгий взгляд полковника: «В вашем положении надобно всегда быть первым; для вас это необходимо, Александр Васильевич»,— сказал он, выезжая перед фронт. Наконец обычное *«справа по три»* двинуло полк с места. Скоро опять раздалось: *«Душа добрый конь!»* Опять возобновились сцены прежней походной жизни; но я теперь уже не та; сделавшись старее несколькими месяцами, я стала смелее и не прихожу более в замешательство при всяком вопросе. Офицеры Атаманского полка, будучи образованнее других, замечают в

обращении моем ту вежливость, которая служит признаком хорошего воспитания, и, оказывая мне уважение, ищут быть со мною вместе.

В начале весны пришли мы в местечко Дружкополь, на берегу Буга; здесь же квартирует и Брянский мушкетерский полк генерала Лидерса; офицеры обоих полков часто бывают вместе; род жизни их мне кажется убийственным: сидят в душной комнате, с утра до вечера курят трубки, играют в карты и говорят вздор Полковник спрашивал меня, не хочу ли я определиться в Брянский полк? «Сохрани боже, полковник,— отвечала я,— если б на всем Шаре Земном была одна только пехота, я никогда не пошел бы в службу; я не люблю пешую службу».— «Ну, как хотите, ваше от вас не уйдет, вы еще слишком молоды».

Я очень люблю ходить ночью одна в лесу или в поле; вчера я зашла весьма далеко от местечка, и было уже за полночь, когда я возвращалась домой; предавшись, по обыкновению, мыслям, я шла скоро, не замечая мест; вдруг стон глухой и как будто из-под земли раздавшийся прервал и тишину ночи и мои мечтания: я остановилась, осматриваясь и прислушиваясь, я слышу опять стон и вижу себя в десяти шагах от кладбища; стон несся оттуда. Ни малейшая тень страха не взволновала души моей: я пошла к кладбищу, отворила ограду и, вошед туда, ходила по всем могилам, наклонялась, прислушивалась; стон разносился по всему кладбищу, и я, продолжая идти от одной могилы к другой, перешла наконец за церковь и с удивлением услышала, что стон наносится ветром со стороны болота, находящегося в полуверсте от кладбища. Не понимая, что бы это могло значить, я спешила дойти на квартиру полковника, чтобы застать Щегрова не спящим и рассказать ему это происшествие; я нашла в самом деле Щегрова бодрствующим и очень рассерженным; я была некоторым образом у него под надзором; продолжительное отсутствие мое в ночное время навело на него страх; итак, рассказ мой был очень дурно принят: он сказал мне с досадою, что я глупо делаю, таскаясь ночью по кладбищам и обнюхивая могилы, как шакал, и что этот странный вкус

доставит мне удовольствие занемочь гнилой горячкой, от которой умирало множество солдат Брянского полка; и кончил поучение свое замечанием, что если б я не прямо из-под крыла маменьки своей явился к ним и дал бы хоть немного обсохнуть молоку на губах своих, то мог бы знать, что слышанный мною стон происходил от птицы, живущей на болотах и называемой *бугай,* то есть *бык.* Ворчанье старого казака отняло у меня охоту расспрашивать, для чего эта птица не кричит, не поет, не свищет, а стонет, и я, не говоря более ни слова, пошла спать.

Сын полковника учился в *Любаре* у иезуитов; он просил меня приехать к нему полюбоваться необычайною толщиною и огромностию двух его учителей. Квартиры наши в десяти верстах от Любара, итак я поехала туда верхом; я остановилась в той же корчме, в которой всегда останавливается полковник. Войдя в обширную комнату, какая обыкновенно бывает во всякой корчме, я увидела молодую жидовку, читающую нараспев свои молитвы; она стояла перед зеркалом и, завывая потихоньку свои псалмы, в то же время чернила брови и слушала с усмешкою молодого пехотного офицера, говорившего ей что-то вполголоса. Вход мой прервал эту сцену. Жидовка оборотилась ко мне, окинула быстро глазами и подошла так близко, что дыхание ее разливалось теплотою по лицу моему. «Что̀ вам угодно?» — спросила она почти шепотом. Я отвечала, что прошу ее велеть присмотреть за моей лошадью, которую оставляю у нее в корчме. «Вы будете ночевать здесь?» — спросила она еще с тою же таинственностью. «Я ночую в кляшторе иезуитов, а может быть, и здесь, не знаю наверное». Услыша о кляшторе иезуитов, она отвернулась от меня, не говоря ни слова, и, приказав работнику взять мою лошадь, приняла прежнюю позицию перед зеркалом, снова запела сквозь зубы, наклоняясь к офицеру, который опять начал говорить с нею. Оставя их, я пошла посмотреть, выгодно ли помещен Алкид мой, и, видя его довольным во всем, пошла прямо в кляштор отцов иезуитов.

В самом деле, почтенные отцы Иероним и Антонио, учители молодого Б..., чудовищною толщиною своею привели меня в ужас! Огромная масса тел их превосходила всякое вероятие; они почти совсем не

могли стоять, но всё сидели и всю церковную службу читали у себя в келье сидя; дыхание их походило на глухой рев. Я села в угол и смотрела на них, не сводя глаз, с изумлением и некоторым родом страха. Молодой казак давил себе нос и зажимал рот, чтобы не захохотать над странным видом двух своих чудовищ в рясах и вместе моим. Наконец приглашение к ужину прекратило набожный гул почтенных отцов и кривлянье молодого шалуна и мое изумле́нье; мы пошли за стол. Повеса Б... шепнул мне на ухо, что по обязанности гостеприимства он посадит меня между своими учителями, чтоб наслаждаться приятностью их беседы; я хотела было поскорее сесть подле него, но не успела: огромная рука схватила мою руку, и тихо ревущий голос раздался почти под потолком: «Не угодно ли взять место между нами? Прошу покорно! Пожалуйте сюда!» Ужин этот был для меня настоящею пыткою: не разумея польского языка, я не знала, что отвечать моим ужасным соседям с правой и левой стороны; сверх того боялась еще, чтоб не наесться слишком лакомого кушанья в Польше; мне было смертельно жарко; я беспрестанно краснела, и пот каплями выступал на лбу моем. Одним словом, я была измучена и смешна до крайности! Но вот загремели стулья, огромные отцы поднялись; бормотанье молитв их, подобно отдаленному рокотанью грома, носилось над головой моей; по окончании всех возможных церемоний я с радостью увидела себя вне ограды монастырской, и первым движением было, вышед из ворот, почти бегом отдалиться от стен гостеприимной обители, в которой так грустно жить и так трудно дышать!

Атаманский полк идет в Гродно; казаки острят пики и сабли; к моему Алкиду приступа нет! храпит, прыгает, брыкает! Добрый конь! какая-то будет наша участь с тобою! Мы пришли в Гродно; полк пробудет здесь только два дня, а там пойдет за границу. Полковник призвал меня: «Теперь вы имеете удобный случай определиться в который угодно из формирующихся здесь кавалерийских эскадронов; но последуйте моему совету, будьте откровенны с начальником того полка, в который рассудите определиться; хотя чрез это одно не примут вас юнкером, по крайней мере, вы выиграете его доброе расположение и хорошее мнение.

А между тем, не теряя времени, пишите к своим родителям, чтоб выслали вам необходимые свидетельства, без которых вас могут и совсем не принять, или, по крайней мере, надолго оставят рядовым». Я поблагодарила его за совет и за покровительство, так долго мне оказываемое, и наконец простилась с ним. На другой день казаки ушли за границу, а я осталась в Гродно.

Гродно. Я одна! совершенно одна! живу в заездной корчме. Алкид мой беспрестанно ржет и бьет копытом в землю; он также остался один. Из окна моего вижу я проходящие мимо толпы улан с музыкою и пляскою; они дружелюбно приглашают всех молодых людей взять участие в их веселости. Пойду узнать, что это такое. Это называется *вербунок!* Спаси боже, если нет другой дороги вступить в регулярный полк, как посредством вербунка! Это было бы до крайности неприятно. Когда я смотрела на эту пляшущую экспедицию, подошел ко мне управляющий ею портупей-юнкер, или, по их, *наместник.* «Как вам нравится наша жизнь? Не правда ли, что она весела?» Я отвечала, что правда, и ушла от него. На другой день я узнала, что это полк Коннопольский, что они вербуют для укомплектования своего полка, потерявшего много людей в сражении, и что ими начальствует ротмистр. Собрав эти сведения, я отыскала квартиру наместника, вчера со мною говорившего; он сказал мне, что если я хочу определиться в их полк на службу, то могу предложить просьбу об этом их ротмистру Казимирскому, и что мне вовсе нет надобности плясать с толпою всякого сброду, лезущего к ним в полк. Я очень обрадовалась возможности войти в службу, не подвергаясь ненавистному обряду плясать на улице, и сказала это наместнику; он не мог удержаться от смеха: «Да ведь это делается по доброй воле, и без этого легко можно обойтиться всякому, кто не хочет брать участия в нашей *вакханалии.* Не угодно ли вам идти со мною к Казимирскому? Ему очень приятно будет приобресть такого рекрута; сверх этого я развеселю его на целый день, рассказав о вашем опасении». Говоря это, наместник хохотал от всего сердца; мы пошли. Из комнаты наместника нам надобно было проходить через ту большую горницу, о которой я уже говорила, что находится во всякой корч-

ме; она была полна улан и завербовавшихся рекрутов; все это плясало и пело. Стараясь скорее миновать шумную толпу, я ухватила руку наместника; но в то же время один из улан, схватя мой стан рукою, влетел со мною в круг и, топнув ногой, приготовился начать мазурку, которую уже несколько пар прыгали и скользили без всякого порядка. Наместник освободил меня из рук этих очарованных плясунов; смех его удвоился от этого неожиданного случая; наконец мы пришли на квартиру к Казимирскому.

Ротмистр Казимирский, лет около пятидесяти, имеет благородный и вместе воинственный вид; добродушие и храбрость дышат во всех чертах приятного лица его. Когда я вошла, то он, видно сочтя меня за казацкого офицера, вежливо поклонился и спросил: «Что вам угодно?» Я сказала, что желал бы служить в Коннопольском полку и, узнав, что ему поручено комплектовать этот полк, пришел просить о принятии меня в службу. «Вас, на службу в Коннопольский полк! — сказал ротмистр с удивлением,— вы казак, принадлежите к войску Донскому, и в нем должны служить».— «Одеяние мое вас обманывает; я русский дворянин и, следовательно, могу избирать род службы, какой хочу».— «Можете ли доказать это?» — «Нет! Но если вам угодно поверить одному слову моему, что я точно русский дворянин, то я буду уметь ценить такое снисхождение и по окончании кампании обязываюсь доставить в полк все, что нужно для подтверждения справедливости слов моих».— «Как же это сделалось, что вы носите казачий мундир?» — «Отец не хотел отдавать меня в военную службу; я ушел тихонько, присоединился к казачьему полку и с ним пришел сюда».— «Сколько лет вам? Как ваша фамилия?» — «Мне семнадцатый год, фамилия моя *Дуров*». Ротмистр оборотился к одному офицеру своего полка: «Как думаешь? Принять его?» — «Как хотите; почему ж и не принять; теперь война, люди надобны, а он обещает быть молодцом».— «А если он казак и почему-нибудь хочет укрыться от своих, вступя в регулярный полк?» — «Не может этого быть, ротмистр! На лице его написано, что он не лжет, в этом возрасте притворяться не умеют. Впрочем, если вы откажете, он пойдет к другому, который не будет так излишне осторожен, и вы поте-

ряете хорошего рекрута...» Весь этот переговор был по-польски. Ротмистр оборотился ко мне: «Согласен поверить вашему слову, Дуров! Надеюсь, что вы оправдаете мою доверенность вашим поведением». Я хотела было сказать, что в скором времени он сам увидит, стòю ли я чести быть принят в число воинов, имеющих завидное счастие служить *Александру;* но промолчала, боясь, чтоб не сочли этого за неуместное самохвальство; я сказала только, что имею лошадь и желал бы на ней служить, если можно.— «Нельзя,— сказал ротмистр,— вам дадут казенную; однако ж вы можете держать ее при себе до времени, пока найдете случай продать».— «Продать! Алкида! — вскрикнула я невольно.— Ах, сохрани меня боже от этого несчастия!! Нет, господин ротмистр, у меня есть деньги, я буду кормить свою лошадь на свой счет и ни для чего в свете не расстанусь с нею!» Казимирский сам был от колыбели кавалерист; ему очень понравилась моя привязанность к наилучшему товарищу в военное время; он сказал, что лошадь моя будет иметь место на его конюшне и вместе корм, что я могу на ней ехать за границу и что он берет на себя исходатайствовать мне позволение служить на ней. После этого велел послать к себе одного из улан, при нем находившихся, и отдал меня ему в смотрение, приказав учить меня маршировать, рубиться, стрелять, владеть пикою, седлать, расседлывать, вьючить и чистить лошадь, и, когда я несколько научусь всему этому, тогда обмундировать и употреблять на службу. Улан, выслушав приказание, тогда же взял меня с собою в *сборню,* так называется изба, а иногда и сарай, где учат молодых солдат всему, что принадлежит до службы.

Всякий день встаю я на заре и отправляюсь в сборню, оттуда все вместе идем в конюшню; уланский ментор мой хвалит мою понятливость и всегдашнюю готовность заниматься эволюциями, хотя бы это было с утра до вечера. Он говорит, что я буду молодец. Надобно, однако ж, признаться, что я устаю смертельно, размахивая тяжелою пикою — особливо при этом вовсе ни на что не пригодном маневре вертеть ею над головой; и я уже несколько раз ударила себя по голове; также не совсем покойно действую саблею; мне все кажется, что я порежусь ею; впрочем, я скорее готова по-

ранить себя, нежели показать малейшую робость. Проведя все утро на ученье, обедать иду к Казимирскому; он экзаменует меня с отеческим снисхождением, спрашивает, нравятся ли мне мои теперешние занятия и каким я нахожу военное ремесло? Я отвечала, что люблю воинское ремесло со дня моего рождения; что занятия воинственные были и будут единственным моим упражнением; что считаю звание воина благороднейшим из всех и единственным, в котором нельзя предполагать никаких пороков, потому что неустрашимость есть первое и необходимое качество воина; с неустрашимостию неразлучно величие души, и при соединении этих двух великих достоинств нет места порокам или низким страстям. «Неужели вы думаете, молодой человек,— спрашивал ротмистр,— что без неустрашимости нельзя иметь качеств, достойных уважения? Есть много людей робких от природы и имеющих прекраснейшие свойства».— «Очень верю, ротмистр; но думаю также, что неустрашимый человек непременно должен быть добродетелен».— «Может быть, вы правы,— говорил ротмистр, улыбаясь,— но,— присовокупил он, трепля меня по плечу и покручивая усы,— подождем лет десяток и также подождем первого сражения, опыт во многом может разуверить». После обеда Казимирский ложился спать, а я шла в конюшню дать лошади полуденную ее порцию овса; после этого я была свободна делать что хочу до шести часов вечера.

Сколько ни бываю я утомлена, размахивая целое утро тяжелою пикою — сестрою сабли, маршируя и прыгая на лошади через барьер, но в полчаса отдохновения усталость моя проходит, и я от двух до шести часов хожу по полям, горам, лесам бесстрашно, беззаботно и безустанно! Свобода, драгоценный дар неба, сделалась наконец уделом моим навсегда! Я ею дышу, наслаждаюсь, ее чувствую в душе, в сердце! Ею проникнуто мое существование, ею оживлено оно! Вам, молодые мои сверстницы, вам одним понятно мое восхищение! Одни только вы можете знать цену моего счастия! Вы, которых всякий шаг на счету, которым нельзя пройти двух сажен без надзора и охранения! которые от колыбели и до могилы в вечной зависимости и под вечною защитою, бог знает от кого и от чего! Вы, повторяю, одни только можете понять, каким

радостным ощущением полно сердце мое при виде обширных лесов, необозримых полей, гор, долин, ручьев, и при мысли, что по всем этим местам я могу ходить, не давая никому отчета и не опасаясь ни от кого запрещения, я прыгаю от радости, воображая, что во всю жизнь мою не услышу более слов: *ты девка, сиди. Тебе неприлично ходить одной прогуливаться!* Увы, сколько прекрасных ясных дней началось и кончилось, на которые я могла только смотреть заплаканными глазами сквозь окно, у которого матушка приказывала мне плесть кружево. Горестное воспоминание о угнетении, в каком прошли детские лета мои, прекратило тотчас веселые скачки; около часа я бываю скучна, когда вспоминаю о своей домашней жизни; но, к счастию, с каждым днем вспоминаю об ней реже, и только одна мысль, что воле моей, как взору, нет границ, кружит радостию мою голову.

Меня и еще одного товарища *Вышемирского* приказал ротмистр назначить в первый взвод, под команду поручика *Бошнякова;* взвод этот квартирует в бедной помещичьей деревне, окруженной болотами.

Какая голодная сторона эта Литва! Жители так бедны, бледны, тощи и запуганы, что без сожаления нельзя смотреть на них. Глинистая земля, усеянная камнями, худо награждает тягостные усилия удобрять и обрабатывать ее; хлеб их так черен, как уголь, и, сверх этого, смешан с чем-то колючим (дресва); невозможно есть его, по крайней мере, я не могу съесть ни одного куска.

Более трех недель стоим мы здесь; мне дали мундир, саблю, пику, так тяжелую, что мне кажется она бревном; дали шерстяные эполеты, каску с султаном, белую перевязь с подсумком, наполненным патронами; все это очень чисто, очень красиво и очень тяжело. Надеюсь, однако ж, привыкнуть; но вот к чему нельзя уже никогда привыкнуть — так это к тиранским казенным сапогам! они как железные! До сего времени я носила обувь мягкую и ловко сшитую; нога моя была свободна и легка, а теперь! ах, боже! я точно прикована к земле тяжестию моих сапог и огромных брячащих шпор! Охотно бы заказала сшить себе одну пару жиду-сапожнику, но у меня так мало денег; надобно терпеть, чего нельзя переменить.

С того дня, как я надела казенные сапоги, не могу уже более по-прежнему прогуливаться и, будучи всякий день смертельно голодна, провожу все свободное время на грядах с заступом, выкапывая оставшийся картофель. Поработав прилежно часа четыре сряду, успеваю нарыть столько, чтоб наполнить им мою фуражку; тогда несу в торжестве мою добычу к хозяйке, чтобы она сварила ее; суровая эта женщина всегда с ворчаньем вырвет у меня из рук фуражку, нагруженную картофелем, с ворчаньем высыплет в горшок, и когда поспеет, то, выложив в деревянную миску, так толкнет ее ко мне по столу, что всегда несколько их раскатится по полу; что за злая баба! а, кажется, ей нечего жалеть картофелю, он весь уже снят и где-то у них запрятан; плод же неусыпных трудов моих не что иное, как оставшийся очень глубоко в земле или как-нибудь укрывшийся от внимания работавших.

Вчера хозяйка разливала молоко; в это время я вошла с моей фуражкой, полной картофеля. Хозяйка испугалась, а я обрадовалась и начала убедительно просить ее дать немного молока к моему картофелю. Страшно было видеть, как лицо ее подернулось злобою и ненавистию! Со всеми проклятиями налила она молока в миску, вырвала у меня из рук фуражку, рассыпала весь мой картофель по полу, но тотчас, однако ж, кинулась подбирать; это последнее действие, которого я угадывала причину, рассмешило меня.

Взводный начальник наш поручик Бошняков взял меня и Вышемирского к себе на квартиру; будучи хорошо воспитан, он обращается с нами обоими как прилично благородному человеку обращаться с равными ему. Мы живем в доме помещика; нам, то есть офицеру нашему, дали большую комнату, отделяемую сенями от комнат хозяина; мы с Вышемирским полные владетели этой горницы, потому что поручик наш почти никогда не бывает и не ночует дома; он проводит все свое время в соседней деревне у старой помещицы, вдовы; у нее есть прекрасная дочь, и поручик наш, говорит его камердинер, смертельно влюблен в нее; жена помещика наших квартир, молодая дама редкой красоты, очень недовольна, что постоялец ее не живет на своей квартире; она всякий раз, как увидит меня или Вышемирского, спрашивает, очень мило картавя:

«Что ваш офицер делает у NN? Он там от утра до ночи, и от ночи до утра!..» От меня она слышит в ответ одно только — *не знаю!* Но Вышемирский находит забавным уверять ее, что поручик страшится потерять спокойствие сердца и для того убегает опасной квартиры своей.

Я привыкла к своим кандалам, то есть к казенным сапогам, и теперь бегаю так же легко и неутомимо, как прежде; только на ученье тяжелая, дубовая пика едва не отламывает мне руку, особливо когда надобно вертеть ею поверх головы: досадный маневр!

Мы идем за границу! в сраженье! Я так рада и так печальна! Если меня убьют, что̀ будет с старым отцом моим! Он любил меня!

Чрез несколько часов я оставлю Россию и буду в чужой земле! Пишу к отцу, где я и что̀ я теперь; пишу, что, падая к стопам его и обнимая колена, умоляю простить мне побег мой, дать благословение и позволить идти путем, необходимым для моего счастия. Слезы мои падали на бумагу, когда я писала, и они будут говорить за меня отцовскому сердцу. Только что я отнесла письмо на почту, велено выводить лошадей; мы сию минуту выступаем; мне позволяют ехать, служить и сражаться на моем Алкиде. Мы идем в *Пруссию* и, сколько я могу заметить, совсем не торопимся; наши переходы умеренные, и дневки, как обыкновенно, через два дня и через три.

На третьем переходе Вышемирский сказал, что от этой дневки недалеко селение дяди его, у которого живет и воспитывается родная его сестра: «Я попрошусь у ротмистра съездить туда на один день, поедешь ли со мною, Дуров?» — «Если отпустят, охотно поеду»,— отвечала я. Мы пошли к ротмистру, который, узнав наше желание, тогда же отпустил нас, приказав только Вышемирскому беречь свою лошадь и подтвердив нам обоим, чтоб непременно явились через сутки в эскадрон. Мы отправились. Селение помещика *Kуната,* дяди Вышемирского, отстояло пять миль от деревни, где должно было дневать нашему эскадрону, и мы, хотя ехали все рысью, приехали, однако ж, в глубокую полночь; тишина ее нарушалась единозвучным стуком по доске, раздававшимся внутри обширного двора господского, обнесенного высоким забором; это был сто-

рож, ходивший вокруг дома и стучавший чем-то по доске. Ворота не были заперты, и мы беспрепятственно въехали на двор, гладкий, широкий, покрытый зеленою травою; но только что шаги лошадей наших послышались в тиши ночной, в один миг стая сторожевых собак окружила нас с громким лаем; я хотела было, несмотря на это, сойти с лошади, но, увидя вновь прибежавшую собаку, почти вровень с моим конем, села опять в седло, решась не вставать, хотя бы это было до рассвета, пока кто-нибудь не придет отогнать атакующих нас зверей. Наконец сторож с клепалом в руках явился перед нами; он тотчас узнал Вышемирского и чрезвычайно обрадовался. Собаки по первому сигналу убрались в свои лари; явились люди, принесли огня, лошадей наших взяли, отвели в конюшню, а нас просили идти к пану эконому, потому что господа спали и все двери кругом заперты. Не знаю, как весть о приезде Вышемирского проникла сквозь запертые двери целого дома; но только сестра его, спавшая близ теткиной спальни, узнала и тотчас пришла к нам. Это было прекраснейшее дитя лет тринадцати. Она важно присела перед своим братом, сказала *як се маш!* [1] и бросилась со слезами обнимать его. Я не могла понять этого контраста. Нам подали ужинать и принесли ковры, подушки, солому и простыни, чтоб сделать нам постели. Панна Вышемирская восстала против этого распоряжения; она говорила, что постель не нужна, что скоро будет день и что брат ее, верно, охотно будет сидеть и разговаривать с нею, нежели спать. Эконом смеялся и отдавал ей на выбор, или идти в свою комнату, не мешая нам лечь спать, или остаться и для разговору с братом лечь к нам в средину. Девочка сказала: *«Встыдьсе, пане экономе!»* [2]— и ушла, поцеловав прежде брата и поклонясь мне. На другой день позвали нас пить кофе к господину Кунату. Важного вида польский пан сидел с женою и сыновьями в старинной зале, обитой малиновым штофом; стулья и диваны были обиты тою же материею и украшены бахромою, надо думать, в свое время золотою, но теперь все это потускло и потемнело; комната имела мрачный вид, совершенно противоположный виду хозяев, ласковому и добродуш-

[1] как себя чувствуешь! *(польск.)*
[2] Стыдитесь, господин эконом! *(польск.)*

ному; они обняли своего племянника, вежливо поклонились мне и приглашали взять участие в завтраке. Все это семейство чрезвычайно полюбило меня; спрашивали о летах моих, о месте родины, когда я сказала им, что живу недалеко от Сибири, то жена Кунаты вскрикнула от удивления и смотрела на меня с новым любопытством, как будто житель Сибири был существо сверхъестественное! Во всей Польше о Сибири имеют какое-то странное понятие. Кунат сыскал на карте город, где живет отец мой, и уверял, смеючись, что я напрасно называю себя сибиряком, что напротив, я азиятец. Увидя на столе бумагу и карандаши, я просила позволить мне что-нибудь нарисовать. «О, очень охотно»,— отвечали мои хозяева; не занимаясь уже давно этим приятным искусством, я так рада была случаю изобразить что-нибудь, что сидела за добровольною своею работою более двух часов. Нарисовав Андромеду у скалы, я была осыпана похвалами от молодых и старых Кунатов. Поблагодаря их за снисхождение к посредственности таланта моего, я хотела подарить мой рисунок панне Вышемирской; но старая Кунатова взяла его из рук у меня, говоря: «Отдайте мне, если он вам не надобен, я буду говорить всем, что это рисовал коннополец, урожденный сибиряк!» Кунат вслушался. «Извини, мой друг, ты ошибаешься, Дуров азиятец; вот посмотри сама»,— говорил он, таща огромную карту к столу жены своей.

На другой день мы простились с Кунатами; они проводили нас в коляске верст десять. «Срисуйте, Дуров, местоположение нашей деревни,— сказала жена Куната,— это иногда приведет вам на память людей, полюбивших вас, как сына». Я сказала, что и без того никогда их не забуду. Наконец мы расстались; коляска Кунатов поворотила назад, а мы пустились легким галопом вперед. Вышемирский молчал и был пасмурен. Саквы его были наполнены разною провизиею и возвышались двумя холмами по бокам его лошади. Наконец он стал говорить: «Поедем шагом, дары дядюшкины набьют спину моей лошади. Зачем я приезжал! им чужие дороже своих! Они только тобою и занимались, а меня как будто не было тут; что́ в таких родных!» Самолюбие Вышемирского жестоко страдало от явного предпочтения, оказанного мне его родственниками.

Я старалась его успокоить: «Что мне в том, Вышемирский, что дядя и тетка твои так занимались мною, зато сестра твоя ни разу не взглянула на меня и ни слова не сказала со мною во все то время, которое мы у них пробыли; не хочешь ли поменяться? Возьми себе внимание дяди и тетки, отдай мне ласки, слезы и поцелуи сестры твоей». Вышемирский вздохнул, меланхолически усмехнулся и стал рассказывать, что маленькая сестра его жаловалась на слишком строгое содержание и стеснение; я тотчас вспомнила свою жизнь в отцовском доме, матушкину строгость, жестокую неволю, беспрерывное сидение за работой, вспомнила — и печаль отуманила лицо мое; я вздохнула в свою очередь, и мы оба кончили путь наш молча.

Сегодня эскадрон наш присоединился к полку; завтра ротмистр Казимирский должен представить всех нас на смотр генерал-майору Каховскому, и завтра разместят всех по другим эскадронам.

Смотр кончился. Казимирский был столько вежлив, что не поставил меня в одну шеренгу с завербованными, но представил особливо Каховскому; он назначил меня в лейб-эскадрон, которым командует ротмистр Галер.

Наконец мечты мои осуществились! я воин! коннополец! ношу оружие! и, сверх того, счастие поместило меня в один из храбрейших полков нашей армии!

Мая 22-го 1807

Гутштадт. В первый раз еще видела я сражение и была в нем. Как много пустого наговорили мне о первом сражении, о страхе, робости и, наконец, отчаянном мужестве! Какой вздор! Полк наш несколько раз ходил в атаку, но не вместе, а поэскадронно. Меня бранили за то, что я с каждым эскадроном ходила в атаку; но это, право, было не от излишней храбрости, а просто от незнания; я думала, так надобно, и очень удивлялась, что вахмистр чужого эскадрона, подле которого я неслась, как вихрь, кричал на меня: «Да провались ты отсюда! зачем ты здесь скачешь?» Воротившись к своему эскадрону, я не стала в свой ранжир, но разъезжала поблизости: новость зрелища поглотила

все мое внимание; грозный и величественный гул пушечных выстрелов, рев или какое-то рокотанье летящего ядра, скачущая конница, блестящие штыки пехоты, барабанный бой и твердый шаг и покойный вид, с каким пехотные полки наши шли на неприятеля, все это наполняло душу мою такими ощущениями, которых я никакими словами не могу выразить.

Едва было я не лишилась своего неоцененного Алкида: разъезжая, как я уже сказала, вблизи своего эскадрона и рассматривая любопытную картину битвы, увидела я несколько человек неприятельских драгун, которые, окружив одного русского офицера, сбили его выстрелом из пистолета с лошади. Он упал, и они хотели рубить его лежащего. В ту ж минуту я понеслась к ним, держа пику наперевес. Надобно думать, что эта сумасбродная смелость испугала их, потому что они в то же мгновение оставили офицера и рассыпались врознь; я прискакала к раненому и остановилась над ним; минуты две смотрела я на него молча; он лежал с закрытыми глазами, не подавая знака жизни; видно, думал, что над ним стоит неприятель; наконец он решился взглянуть, и я тотчас спросила, не хочет ли он сесть на мою лошадь? «Ах, сделайте милость, друг мой!» — сказал он едва слышным голосом; я тотчас сошла с лошади и с трудом подняла раненого, но тут и кончилась моя услуга; он упал ко мне на руку грудью, и я, чуть держась на ногах, не знала, что мне делать и как посадить его на Алкида, которого тоже держала за повод другою рукою; такое положение кончилось бы очень невыгодно для обоих, то есть для офицера и для меня, но, к счастию, подъехал к нам его полка солдат и помог мне посадить раненого на мою лошадь. Я сказала солдату, чтоб лошадь прислали в Коннопольский полк *товарищу Дурову*, а драгун сказал мне, что спасенный мною офицер, *поручик Панин,* Финляндского драгунского полка и что лошадь мою тотчас пришлют. Офицера повезли к его полку, а я пошла к своему; я чувствовала себя весьма в невыгодном положении, оставшись пешком среди скачки, стрельбы, рубки на саблях, и, видя, что все это или пролетало молниею, или с уверенностью в доброте коня своего тихо галопировало в разных направлениях, вскликнула: «Увы, мой Алкид! где он теперь!» Я очень

раскаивалась, отдавши так безрассудно свою лошадь; и тем более, что мой ротмистр, сначала с участием спросивший меня: «Твою лошадь убили, Дуров? Не ранен ли ты», но, узнавши, как это случилось, что я хожу тут пешком, с досадою вскрикнул на меня: «Пошел за фронт, повеса!» Хотя печально, но поспешно шла я к тому месту, где видела флюгера пик Коннопольского полка. Встречающиеся с сожалением говорили: «Ах, боже мой! Посмотри, какой молодой мальчик ранен». Иначе никто не мог думать, видя улана пешком в залитом кровью мундире. Я уже сказала, что раненый офицер лежал грудью на руке у меня, и надобно полагать, что рана его была на груди, потому что весь мой рукав был в крови.

К неизъяснимой радости моей, Алкид возвращен мне, хотя и не так, как я надеялась, но все возвращен: я шла задумчиво полем к своему полку, вдруг вижу едущего от неприятельской стороны нашего поручика Подвышанского на моей лошади; я не вспомнилась от радости и, не заботясь о том, каким случаем конь мой очутился под Подвышанским, подбежала гладить и ласкать своего Алкида, который тоже изъявил радость свою прыжком и громким ржаньем. «Разве эта лошадь твоя?» — спросил удивившийся Подвышанский. Я рассказала ему свое приключенье. Он тоже не похвалил моей опрометчивости и сказал, что купил мою лошадь у казаков за два червонца; я просила отдать мне ее обратно и взять от меня деньги, им заплаченные. «Хорошо, но на сегодня оставь его у меня; лошадь мою убили, и мне не на чем быть в деле!» Сказал, дал шпоры моему Алкиду и ускакал на нем; а я, я только что не плакала, видя моего ратного товарища в чужих руках, и поклялась в душе никогда уже более никому во всю жизнь не отдавать своей лошади! Наконец этот мучительный день кончился; Подвышанский отдал мне Алкида, и армия наша преследует теперь ретирующегося неприятеля.

24-го и 25-го мая

Берег Пасаржи. Странное дело! Мы так мало торопились, преследуя неприятеля, что он успел переправиться через эту речку, на берегах которой мы теперь

стоим, и нас же встретил выстрелами! Может быть, я ничего в этом не разумею, но мне кажется, что надобно было идти на плечах у неприятеля и разбить его при переправе.

Там же *на берегу Пасаржи.* Другой день стоим мы здесь и ничего не делаем, да и делать нечего. Впереди нас егеря перестреливаются с неприятельскими стрелками через речку; наш полк поставлен тотчас за егерским; но как нам совсем уже нет дела, то и приказано сойти с лошадей. Я голодна смертельно! У меня нет ни одного сухаря! Казаки, поймавшие моего Алкида, сняли с него саквы с сухарями, плащ и чемодан; я получила свою лошадь с одним только седлом, а все прочее пропало! Я стараюсь во сне забыть, что мне есть хочется, однако ж это не помогает. Наконец улан, которому я поручена была в смотрение, и имевший еще и теперь власть ментора, заметя, что на седле моем сакв нет и что лицо мое бледно, предложил мне три больших заплесневелых сухаря; я с радостью взяла их и положила в яму, полную дождевой воды, чтобы они несколько размокли. Хотя я не ела более полутора суток, однако ж не могла съесть более одного из этих сухарей, так они были велики, горьки и зелены. Мы продолжали стоять на одном месте; стрелки перестреливаются, уланы так лежат на траве; я пошла от скуки ходить по холмам, где стоят казацкие ведеты. Сходя с одного пригорка, я увидела ужасное зрелище: два егеря, хотевшие, видно, спрятаться от выстрелов или просто на свободе выпить свое вино, лежали оба мертвые: смерть нашла их в этом убежище; они оба убиты были одним ядром, которое, сорвав сидящему выше всю грудь, пробило товарищу его, сидевшему несколько ниже, бок, вырвало внутренности и вместе с ними лежало; подле него тут же лежала и манерка их с водкою. Содрогаясь, ушла я от страшного вида двух этих тел! Возвратясь к полку, я легла было в кустах и заснула, но была очень скоро и неприятно разбужена: близ меня упало ядро, вслед за ним прилетело еще несколько; я вскочила и отбежала шагов десять от этого места; но фуражка моя там осталась, я не успела схватить ее; она лежала на траве и на темной зелени ее была похожа на огромный цветок по своему яркому малиновому цвету. Вахмистр приказал мне идти взять

ее, и я пошла, хотя не совсем охотно, потому что ядра густо и беспрерывно падали в этот кустарник. Причиною этой неожиданной пальбы на нас были наши флюгера; мы воткнули пики в землю при лошадях. Разноцветные флюгера, играя с ветром и трепеща на воздухе, привлекли внимание неприятеля: угадывая по ним наше присутствие в этом лесочке, он направил туда свои пушки; теперь нас отвели дальше и пики велено положить на землю.

Вечером полку нашему приказано быть на лошадях. До глубокой полночи сидели мы на конях и ожидали, когда нам велят двинуться с места. Теперь мы сделались ариергардом и будем прикрывать отступление армии. Так говорит наш ротмистр. Устав смертельно сидеть на лошади так долго, я спросила Вышемирского, не хочет ли он встать; он сказал, что давно сошел бы с коня, если б не ожидал каждую минуту, что полк пойдет. «Мы это услышим и вмиг сядем на лошадей,— сказала я,— а теперь переведем их за этот ров и ляжем тут на траве». Вышемирский последовал моему совету: мы перевели своих лошадей через ров и сами легли в кустах. Я обвила повод около руки и тотчас заснула. Слышу имя свое, два раза повторенное! чувствую, что Алкид толкает меня головою, храпит и бьет копытом в землю; слышу, что земля задрожала подо мною и потом все затихло! Сердце мое замирало, я понимала опасность, силилась проснуться и не могла. Алкид мой! бесценный конь! хотя остался один, слышал в отдалении своих товарищей, был на свободе, потому что повод ослаб и спал с руки моей, не ушел, однако ж, от меня, но только беспрестанно бил копытом землю и храпел, наклоняя ко мне морду. С трудом наконец открыла я глаза, встала; вижу, что Вышемирского нет; смотрю на место, где стоял полк, его нет! Я окружена мраком и безмолвием ночи, столь страшной в теперешнем случае. Глухо отдающийся топот лошадей дает мне понять, что полк удаляется на рысях; спешу сесть на Алкида, и справедливость требует признаться, что нога моя не вдруг сыскала стремя! Сев, я опустила повода, и мой конь, верный, превосходный конь мой перескочил ров и прямо через кустарник понес меня легким, быстрым скоком прямо к полку, догнал его в четверть часа и стал в свой ран-

жир. Вышемирский сказал, что он считал меня погибшим; он говорил, что сам очень испугался, слыша полк удаляющимся, и потому, кликнув меня два раза, оставил на волю божию участь мою.

29-го и 30-го мая

Гейльзберг. Французы тут дрались с остервенением. Ах, человек ужасен в своем исступлении! Все свойства дикого зверя тогда соединяются в нем! Нет! это не храбрость! Я не знаю, как назвать эту дикую, зверскую смелость, но она недостойна назваться неустрашимостию! Полк наш в этом сражении мало мог принимать деятельного участия: здесь громила артиллерия и разили победоносные штыки пехоты нашей; впрочем, и нам доставалось, мы прикрывали артиллерию, что весьма невыгодно, потому что в этом положении оскорбление принимается безответно, то есть должно, ни на что несмотря, стоять на своем месте неподвижно. До сего времени я еще ничего не вижу страшного в сражении, но вижу много людей, бледных как полотно, вижу, как низко наклоняются они, когда летит ядро, как будто можно от него уклониться! Видно, страх сильнее рассудка в этих людях! Я очень много уже видела убитых и тяжело раненных! Жаль смотреть на этих последних, как они стонут и ползают по так называемому полю чести! Что может усладить ужас подобного положения простому солдату? рекруту? Совсем другое дело образованному человеку: высокое чувство чести, героизм, приверженность к государю, священный долг к отечеству заставляют его бесстрашно встречать смерть, мужественно переносить страдания и покойно расставаться с жизнию.

В первый раз еще опасность была так близка ко мне, как уже нельзя быть ближе; граната упала под брюхо моей лошади и тотчас лопнула! Черепки с свистом полетели во все стороны! Оглушенная, осыпанная землею, я едва усидела на Алкиде, который дал такого скачка в сторону, что я думала, в него вселился дьявол. Бедный Вышемирский, который жмурится при

всяком выстреле, говорит, что он не усидел бы на таком неистовом прыжке; но всего удивительнее, что ни один черепок не задел ни меня, ни Алкида! Это такая необыкновенность, которой не могут надивиться мои товарищи. Ах, верно молитвы отца и благословение старой бабушки моей хранят жизнь мою среди сих страшных, кровавых сцен.

С самого утра идет сильный дождь; я дрожу; на мне ничего уже нет сухого. Беспрепятственно льется дождевая вода на каску, сквозь каску на голову, по лицу за шею, по всему телу, в сапоги, переполняет их и течет на землю несколькими ручьями! Я трепещу всеми членами, как осиновый лист! Наконец нам велели отодвинуться назад; на наше место станет другой кавалерийский полк; и пора! давно пора! Мы стоим здесь почти с утра, промокли до костей, окоченели, на нас нет лица человеческого; и сверх этого потеряли много людей.

Когда полк наш стал на дистанцию, безопасную от выстрелов неприятельских, то я попросила ротмистра позволить мне съездить в Гейльзберг, находившийся от нас в версте расстоянием. Мне нужно было подковать Алкида; он потерял одну подкову, да еще хотелось купить что-нибудь съесть; я так голодна, что даже с завистию смотрела на ломоть хлеба в руке одного из наших офицеров. Ротмистр позволил мне ехать, но только приказал скорее возвращаться, потому что наступала ночь и полк мог переменить место. Я и Алкид, оба дрожащие от холода и голода, понеслись, как вихрь, к Гейльзбергу. В первой попавшейся мне на глаза заездной корчме поставила я своего коня и, увидя тут же кузнецов, кующих казацких лошадей, просила подковать и мою, а сама пошла в комнату; в ней был разведен большой огонь на некотором роде очага или камина какой-то особливой конструкции; подле стояли большие кожаные кресла, на которые я в ту ж минуту села, и только успела отдать жидовке деньги, чтобы она купила мне хлеба, как в то же мгновение погрузилась в глубочайший сон!.. Усталость, холод от мокрого платья, голод и боль всех членов от продолжительного сиденья на лошади, юность, не способная к перенесению стольких соединенных трудов, все это вместе, лиша меня сил, предало беззащитно во власть сну,

как безвременному, так и опасному. Я проснулась от сильного потрясения за плечо; открыв глаза, с изумлением смотрю вокруг себя! Не могу понять, где я? зачем в этом месте? и даже что́ я такое сама! Сон все еще держит в оцепенении умственные силы мои, хотя глаза уже открыты! Наконец я опомнилась и чрезвычайно встревожилась; глубокая ночь уже наступила и покрывала мраком своим все предметы; на очаге едва было столько огня, чтоб осветить горницу. При свете этого то вспыхивающего, то гаснущего пламени увидела я, что существо, потрясавшее меня за плечо, был егерский солдат, который, сочтя меня по пышным белым эполетам за офицера, говорил: «Проснитесь! проснитесь! ваше благородие! канонада усиливается! ядра летят в город!» Я бросилась опрометью туда, где поставила свою лошадь; увидела, что она стоит на том же месте, посмотрела ее ногу — не подкована! В корчме ни души: жид и жидовка убежали! о хлебе нечего уже было и думать! Я вывела своего Алкида и увидела, что еще не так поздно, как мне показалось; солнце только что закатилось, и вечер сделался прекрасный, дождь перестал, и небо очистилось. Я села на моего бедного голодного и неподкованного Алкида. Подъехав к городским воротам, я ужаснулась того множества раненых, которые тут столпились; должно было остановиться! Не было никакой возможности пробраться сквозь эту толпу пеших, конных, женщин, детей! Тут везли подбитые пушки, понтоны, и все это так столпилось, так сжалось в воротах, что я пришла в совершенное отчаяние! Время летело, а я не могла даже и пошевелиться, окруженная со всех сторон беспрестанно движущейся навстречу мне толпою, но нисколько не редеющею. Наконец стемнело совсем; канонада затихла, и все замолкло окрест, исключая того места, где я стояла; тут стон, писк, визг, брань, крик чуть не свели с ума меня и моего коня; он поднялся бы на дыбы, если б было столько простора, но как этого не было, то он храпел и лягал кого мог. Боже, как мне вырваться отсюда! где я теперь найду полк! Ночь делается черна, не только темна! Что́ я буду делать!! К великому счастию моему, увидела я, что несколько казаков пробиваются как-то непостижимо сквозь эту сжатую массу людей, лошадей и орудий; ви-

дя их ловко проскакивающих в ворота, я вмиг примкнула к ним и проскочила также, но только жестоко ушибла себе колено и едва не выломила плечо. Вырвавшись на простор, я погладила крутую шею Алкида: «Жаль мне тебя, верный товарищ, но нечего делать, ступай в галоп!» От легкого прикосновения ноги конь мой пустился вскок. Я вверилась инстинкту Алкида; самой нечего уже было браться распоряжать путем своим; ночь была так темна, что и на двадцать шагов нельзя было хорошо видеть предметов; я опустила повода; Алкид скоро перестал галопировать и пошел шагом, беспрестанно храпя и водя быстро ушми. Я угадывала, что он видит или обоняет что-нибудь страшное; но, не видя, как говорится, ни зги, не знала, как отстраниться от беды, если она предстояла мне. Очевидно было, что армия оставила свое место и что я одна блуждаю среди незнаемых полей, окруженная мраком и тишиною смерти!

Наконец Алкид зачал всходить на какую-то крутизну столь чрезвычайную, что я всею силою должна была держаться за гриву, чтоб не скатиться с седла; мрак до такой степени сгустился, что я совсем уже ничего не видала перед собою, не понимала, куда еду и какой конец будет такому путешествию. Пока я думала и передумывала, что мне делать, Алкид начал спускаться вдруг с такой же точно ужасной крутизны, на какую поднимался; тут уже некогда было размышлять. Для сохранения головы своей я поспешно спрыгнула с лошади и повела ее в руках, наклоняясь почти до земли, чтобы видеть, где ставить ногу, и принимая все предосторожности, необходимые при таком опасном спуске. Когда мы с Алкидом стали наконец на ровном месте, тогда я увидела страшное и вместе плачевное зрелище: несчетное множество мертвых тел покрывало поле; их можно было видеть: они были или совсем раздеты, или в одних рубахах, и лежали, как белые тени на черной земле! На большом расстоянии виделось множество огней и вплоть подле меня большая дорога; за мною редут, на который Алкид взбирался и с которого я с таким страхом спускалась. Узнавши наконец, где я нахожусь, и полагая наверное, что виденные мною огни разведены нашею армиею, я села опять на свою лошадь и направила путь свой по дороге к огням

прямо против меня; но Алкид свернул влево и пошел сам собою в галоп. Путь, им выбранный, был ужасен для меня: он скакал между мертвыми телами, то перескакивал их, то наступал, то отскакивал в сторону, то останавливался, наклонял морду, нюхал труп и храпел над ним! Я не могла долее выносить и повернула его опять на дорогу. Конь послушался с приметным нехотением и пошел шагом, все стараясь, однако ж, принять влево. Через несколько минут я услышала топот многих лошадей, голоса людей и наконец увидела едущую прямо ко мне толпу конных; они что-то говорили и часто повторяли: «Ваше превосходительство!» Я обрадовалась, полагая наверное, что превосходительство знает, где огни коннопольцев, или, в противном случае, позволит мне примкнуть к его свите. Когда они подъехали ко мне близко, то едущий впереди, надобно думать, сам генерал, спросил меня: «Кто это едет!» Я отвечала: «Коннополец!» — «Куда ж ты едешь?» — «В полк!» — «Но полк твой стоит вон там,— сказал генерал, указывая рукою в ту сторону, в которую мой верный Алкид так усильно старался свернуть.— А ты едешь к неприятелю!» Генерал и свита его поскакали к Гейльзбергу, а я, поцеловав несколько раз ушко бесценного моего Алкида, отдала ему на волю выбирать дорогу. Почувствовав свободу, верный конь, в изъявление радости, взвился на дыбы, заржал и поскакал прямо к огням, светящимся в левой стороне от дороги. Мертвых тел не было на пути моем, и, благодаря быстроте Алкида, в четверть часа я была дома, то есть в полку. Коннопольцы были уже на лошадях; Алкид мой с каким-то тихим, дружелюбным ржаньем поместился в свой ранжир и только что успел установиться, раздалась команда: «Справа по три марш!» Полк двинулся. Вышемирский и прочие товарищи одного со мною отделения обрадовались моему возвращению; но вахмистр счел обязанностию побранить меня. «Ты делаешь глупости, Дуров! Тебе не сносить добром головы своей! Под Гутштадтом, в самом пылу сражения, вздумал отдать свою лошадь какому-то раненому!.. Неужели ты не имел ума понять, что кавалерист пешком среди битвы самая погибшая тварь. Над Пасаржею ты сошел с лошади и лег спать в кустах, тогда как весь полк с минуты на минуту ожидал

приказания идти, и идти на рысях. Что ж бы с тобою было, если б ты не имел лошади, которая, не во гнев тебе сказать, гораздо тебя умнее! В Гейльзберг отпустили тебя на полчаса, а ты уселся против камина спать, тогда как тебе и думать о сне нельзя было, то есть непозволительно! Солдат должен быть более, нежели человек! В этом звании нет возраста! Обязанности его должны быть исполняемы одинаково как в 17, так в 30 и 80 лет. Советую тебе умирать на коне и в своем ранжире, а то предрекаю тебе, что ты или попадешься бесславно в плен, или будешь убит мародерами, или, что всего хуже, будешь сочтен за труса!» Вахмистр замолчал; но последняя фраза его жестоко уколола меня. Вся кровь бросилась мне в лицо.

Есть, однако ж, границы, далее которых человек не может идти!.. Несмотря на умствования вахмистра нашего об обязанностях солдата, я падала от сна и усталости; платье мое было мокро! Двое суток я не спала и не ела, беспрерывно на марше, а если и на месте, то все-таки на коне, в одном мундире, беззащитно подверженная холодному ветру и дождю. Я чувствовала, что силы мои ослабевали от часу более. Мы шли справа по три, но если случался мостик или какое другое затруднение, что нельзя было проходить отделениями, тогда шли по два в ряд, а иногда и по одному; в таком случае четвертому взводу приходилось стоять по нескольку минут неподвижно на одном месте; я была в четвертом взводе и при всякой благодетельной остановке его вмиг сходила с лошади, ложилась на землю и в ту ж секунду засыпала! Взвод трогался с места, товарищи кричали, звали меня, и как сон часто прерываемый не может быть крепким, то я тотчас просыпалась, вставала и карабкалась на Алкида, таща за собою тяжелую дубовую пику. Сцены эти возобновлялись при каждой самой кратковременной остановке; я вывела из терпения своего унтер-офицера и рассердила товарищей; все они сказали мне, что бросят меня на дороге, если я еще хоть раз сойду с лошади. «Ведь ты видишь, что мы дремлем, да не встаем же с лошадей и не ложимся на землю; делай и ты так». Вахмистр ворчал вполголоса: «Зачем эти щенята лезут в службу! Сидели бы в гнезде своем!» Остальное время ночи я оставалась уже на лошади; дремала, засыпала, накло-

нялась до самой гривы Алкида и поднималась с испугом; мне казалось, что я падаю! Я как будто помешалась! Глаза открыты, но предметы изменяются, как во сне! Уланы кажутся мне лесом, лес уланами! Голова моя горит, но сама дрожу, мне очень холодно! Все на мне мокро до тела!..

Рассвело; мы остановились; нам позволили развесть огонь и сварить кашу. Ах, слава богу! теперь я лягу спать перед огнем, согреюсь и высохну! «Нельзя,— говорит вахмистр, видя меня усевшуюся близ огня и свертывающую в комок траву, чтоб положить под голову,— нельзя! Ротмистр приказал кормить лошадей на траве; вынь удила из рта своей лошади и веди ее на траву». Я пошла с моим Алкидом ходить в поле, как и другие; он ел росистую траву, и я грустно стояла подле него. «Ты бледен, как мертвый,— сказал Вышемирский, подходя ко мне со своею лошадью,— что́ с тобою? Ты нездоров?» — «Нет, здоров, но жестоко перезяб, дождь промочил меня насквозь, и у меня вся кровь оледенела, а теперь еще надобно ходить по мокрой траве!» — «Кажется, дождь мочил всех нас одинаково, отчего ж мы сухи?» — «Вы все в шинелях».— «А твоя где?» — «Взяли казаки с саквами и чемоданом».— «Это по какому чуду?» — «Разве ты забыл, что я посадил на свою лошадь раненого драгунского офицера и позволил отвезти его на ней в его полк?» — «Ну, да, помню; так что ж?» — «А вот что́: лошадь свою нашел я уже в руках Подвышанского; он купил ее у казаков с одним только седлом, а прочее все пропало!» — «Худо, товарищ, ты всех нас моложе; в холодное ночное время недолго выдержишь без шинели! Скажи вахмистру, он даст тебе шинель после убитого; их пропасть отсылают в вагенбург». Мы говорили еще несколько времени; наконец солнце взошло довольно высоко, день сделался жарок, мундир мой высох, усталость прошла, и я была бы очень весела, если б могла надеяться что-нибудь съесть. Но об этом нечего было думать; я не имела своей доли в той каше, которая варилась; итак, я стала прилежно искать в траве каких-нибудь ягод. Ротмистр, проезжая мимо ходящих по полю улан с их лошадьми, заметил мое упражнение. «Чего ты ищешь, Дуров?» — спросил он, подъехав ко мне. Я отвечала, что ищу ягод. Видно, ротмистр

угадал причину, потому что, оборотясь к взводному унтер-офицеру, сказал ему вполголоса: «Смотри, чтоб Дуров и Вышемирский были сыты». Он поехал далее, а старые солдаты говорили вслед: «Если мы будем сыты, так будут и они! Об этих щенках всегда больше думают, нежели о старых заслуженных солдатах!» — «Какие вы дураки, старые заслуженные солдаты! — сказал подходивший к ним вахмистр.— О ком же и заботиться, как не о детях! Вы, я думаю, и сами видите, что оба эти товарища только что вышли из детского возраста. Пойдемте со мною, дети,— говорил шутя вахмистр, взяв обоих нас за руки,— ротмистр велел накормить вас». Нам дали супу, жареного мяса и белого хлеба.

Видя, что лошади пасутся спокойно и уланы спят на лугу, я не находила никакой надобности бодрствовать одна; было уже более полудня, жар сделался несносен; я сошла на берег речки, протекавшей близ нашего стана, и легла в высокую траву спать. Алкид ходил неподалеку от меня. Глубокий сон мой был прерван криком: *муштучь!.. садись!..* и топотом бегущих улан к лошадям и с лошадьми к фронту; я вскочила опрометью. Вахмистр был уже на коне и торопил улан строиться; ищу глазами Алкида и, к ужасу моему, вижу его плывущего через реку прямо к другому берегу. В это время вахмистр подскакал ко мне: «Ты что стоишь без лошади!» Некогда было колебаться! я бросилась вслед за моим Алкидом, и оба вместе вышли на противный берег. В одну минуту я замуштучила, села, переплыла обратно и стала в свое место прежде, нежели эскадрон совсем построился. «Ну, по крайней мере, молодецки поправился»,— сказал вахмистр с довольным видом.

Шепенбель. Великий боже! какой ужас! Местечко все почти сожжено! Сколько тут зажарившихся людей! о, несчастные!

Июнь 1807

Фридланд. В этом жестоком и неудачном сражении храброго полка нашего легло более половины! Несколько раз ходили мы в атаку, несколько раз про-

гоняли неприятеля и в свою очередь не один раз были прогнаны! Нас осыпали картечами, мозжили ядрами, а пронзительный свист адских пуль совсем оглушил меня! О, я их терпеть не могу! Другое дело — ядро! Оно, по крайней мере, ревет так величественно и с ним всегда короткая разделка! После нескольких часов жаркого сражения остатку полка нашего велено несколько отступить для отдохновения. Пользуясь этим, я поехала смотреть, как действует наша артиллерия, вовсе не думая того, что мне могут сорвать голову совершенно даром. Пули осыпали меня и лошадь мою; но что значат пули при этом диком, безумолкном реве пушек.

Какой-то улан нашего полка, весь покрытый кровью, с перевязанною головою и окровавленным лицом, ездит без цели по полю, то в ту, то в другую сторону. Бедный! он не помнит, куда едет! Насилу держится в седле! Я подъехала к нему и спросила, которого он эскадрона? Он что-то пробормотал и покачнулся так сильно, что я должна была удержать его, чтоб не упал. Видя, что он без памяти, я привязала повод его лошади к шее Алкида и, поддерживая одной рукою израненного, поехала с ним к речке, чтобы освежить его водою. Близ речки он как-то образумился, сполз с лошади и упал у ног моих от слабости. Что мне было делать? Бросить его нельзя, погибнет! довезть до безопасного места нет возможности; да и где тут безопасное место? Кругом стрельба, пальба, ядра скачут во всех направлениях, гранаты лопаются и в воздухе и на земле, конница, как волнующееся море, то несется вперед, то отступает назад, и в этом ужасном смешении я уже не вижу нигде флюгеров нашего полка. Между тем нельзя было терять времени; я зачерпнула в каску воды и облила ею голову и лицо раненого; он открыл глаза: «Ради бога, не покиньте меня здесь,— сказал он, с трудом приподнимаясь.— Я сяду кой-как на лошадь, отведите меня шагом за последнюю линию нашей армии; бог наградит ваше человеколюбие». Я помогла ему сесть на лошадь, села сама на Алкида, взяла опять повод лошади раненого улана и поехала к Фридланду.

Жители бегут! Полки отступают! множество негодяев солдат, убежавших с поля сражения, не быв ра-

ненными, рассевают ужас между удаляющимися толпами, крича: «Все погибло! Нас разбили наголову; неприятель на плечах у нас! Бегите! Спасайтесь!» Хотя я не совсем верила этим трусам, однако ж, видя драгун, целыми взводами на рысях несущимися через город, не могла быть покойною; от всей души сожалела я, что увлеклась любопытством смотреть на пальбу из пушек и что злой рок наслал мне раненого. Оставить его на произвол случая казалось мне последнею степенью подлости и бесчеловечия; я не могла этого сделать! Несчастный улан, с помертвевшим лицом, обращал ко мне испуганный взор свой. Я поняла его опасения. «Можешь ли ты ехать немного скорее?» — спросила я. «Не могу»,— отвечал несчастный и тяжело вздохнул. Мы продолжали ехать шагом; мимо нас бежали и скакали, крича нам: «Ступайте скорее! Неприятель близко!» Наконец мы въехали в лес; я свернула с дороги и поехала чащею леса, не выпуская из рук повода лошади раненого улана; тень и прохлада леса освежили несколько силы моего товарища; но он, на беду свою, сделал из этого самое дурное употребление: вздумал закурить трубку, остановился, высек огня, закурил свой отвратительный табак, и через минуту глаза его закатились, трубка выпала из рук, и он упал безжизненно на шею своей лошади. Я остановилась, стащила его наземь, положила и, не имея никакого способа привесть в чувство, стояла подле его с обеими лошадьми, дожидаясь, пока он опомнится сам собою. Через четверть часа он открыл глаза, поднялся, сел и смотрел на меня с сумасшедшим видом; я видела, что он мешается в уме; голова его была вся изрублена, и табачный дым произвел над нею действие вина. «Садись на лошадь,— сказала я,— иначе мы поздно приедем, вставай, я помогу тебе». Он не отвечал ничего, но силился встать; я пособила ему подняться на ноги. Держа одною рукою повода лошадей, а другою помогая ему подняться на стремя, я едва не упала от того, что ополоумевший улан, вместо того чтоб взяться за гриву коня, оперся всею тяжестью руки на мое плечо.

Мы опять поехали; толпы все еще бежали с прежним криком — *спасайтесь!* Наконец я увидела провозимые мимо нас орудия; я спросила своего protégé, не

хочет ли он при них остаться? Что ему покойнее будет лежать на лафете, нежели сидеть на лошади. Он приметно обрадовался моему предложению, и я тотчас спросила артиллерийского унтер-офицера, возьмет ли он под свой присмотр раненого улана и его лошадь? Тот охотно взялся и тотчас велел снять моего товарища с лошади, постлать несколько попон на лафет и положить его на нем. Я затрепетала от радости, увидя себя свободною, и тогда же поехала бы отыскивать полк, если б могла от кого-нибудь узнать, где он. До самой ночи ехала я одна, расспрашивая тех, кто проезжал мимо меня, не знают ли они, где Коннопольский уланский полк? Одни говорили, что он впереди, другие говорили, что одна часть армии пошла куда-то в сторону и что в этом отряде и мой полк. Я была в отчаянии! Наступила ночь, надобно было дать отдохнуть Алкиду. Я увидела группу казаков, разведших огонь и варивших себе ужин. Сошед с лошади, я подошла к ним: «Здравствуйте, братцы! Вы, верно, будете здесь ночевать?» — «Будем»,— отвечали они. «А лошадей как? пустите на траву?» Они посмотрели на меня с удивлением: «Да куда ж больше! конечно, на траву».— «И они далеко не уйдут от вас?» — «А на что́ вам это знать?» —спросил меня один старый казак, смотря в глаза мне пристально. «Я хотел бы пустить с вашими лошадьми свою пастись на траву, только боюсь, чтоб она не отошла далеко».— «Ну, посматривайте за нею, привяжите ее на аркан да обмотайте его около руки, так лошадь и не уйдет, не разбудя вас; мы своих пускаем на арканах». Сказавши это, старый казак пригласил меня есть с ними их кашу. После этого они спутали своих лошадей и, привязав их на арканы, обмотали концами их каждый свою руку и легли спать. Я ходила за Алкидом в недоумении, мне тоже хотелось лечь; но как оставить лошадь всю ночь ходить на свободе? Аркана у меня не было. Наконец вздумала я связать Алкиду передние ноги носовым платком; это был тонкий батистовый платок, которых дюжина была мне подарена еще в Малороссии бабушкою. Один только из этой дюжины уцелел и был со мною везде; я очень любила его и сама мыла всякой день в ручье, в речке, в озере, в луже, где случалось; этим платком связала я ноги моему Алкиду и

позволила ему есть траву, а сама легла спать неподалеку от казаков.

Заря занялась уже, когда я проснулась; казаков и лошадей их не было, не было также и Алкида моего! Смертельно испуганная, и выше всякого выражения опечаленная, поднялась я с травы, на которой так покойно спала; вокруг меня по всему полю ходили оседланные драгунские лошади. С горьким сожалением в душе пошла я наудачу искать между ними моего Алкида; ходя с полчаса из стороны в сторону, увидела я кусок моего платка, белеющийся вдалеке; я побежала туда, и, к неописанной радости, Алкид прибежал ко мне, прыгая; он заржал и положил голову ко мне на плечо; один конец белого платка волочился еще за правою ногою его, но остаток был изорван в клочки и разбросан по полю. Муштук и трензельные повода с удилами были взяты. Спрашивать об них у драгун бесполезно: кто им велит сказать, а и того более — отдать? Ужасное положение! Как в таком виде показаться в полк!! Это был прекрасный случай научиться эгоизму: принять твердое намерение всегда и во всяком случае думать более о себе, нежели о других! Два раза уступала я чувству сострадания и в оба раза была очень дурно награждена. Сверх того, в первый раз ротмистр назвал меня повесою, а что́ же теперь подумает он обо мне! Сражение продолжалось, когда мне вздумалось подъехать к нашим пушкам, и вдруг меня не стало! Ужасная мысль! Я страшилась остановиться на ней!.. Драгуны, узнав причину моего беспокойства, дали мне длинный ремень, чтоб сделать из него повода, и сказали, что полк мой очень недалеко должен быть впереди, что он так же ночевал, как и они, и что я могу застать его еще на месте. Привязывая гадкий ремень к оголовью, оставшемуся на Алкиде, я чувствовала жестокую досаду на самую себя: «О прекрасный конь мой,— говорила я мысленно,— у какой взбалмошной дуры ты в руках!» Но ни раскаяние, ни сожаление, ни досада не спасли меня от беды! Я приехала в полк, и теперь уже не ротмистр, но сам Каховский, генерал наш, сказал мне, что храбрость моя сумасбродная, сожаление безумно, что бросаюсь в пыл битвы, когда не должно, хожу в атаку с чужими эскадронами, среди сражения спасаю встречного и поперечно-

го, и отдаю лошадь свою, кому вздумается ее попросить, а сам остаюсь пешком среди сильнейшей сшибки; что он выведен из терпения моими шалостями и приказывает мне ехать сейчас в вагенбург. Мне, в вагенбург!! До последней капли кровь ушла из лица моего! И самый страшный сон не представлял мне ничего ужаснее этого наказания! Казимирский, отечески любивший меня, с сожалением смотрел на изменение лица моего; он что-то сказал тихонько шефу, но тот отвечал: «Нет, нет! надобно сберечь его». Потом, оборотясь ко мне, стал говорить гораздо уже ласковее: «Я отсылаю вас в вагенбург для того, чтобы сохранить для отечества храброго офицера на будущее время; через несколько лет вы с большею пользою можете употребить ту смелость, которая теперь будет стоить вам жизни, не принеся никакой выгоды». Ах, что̀ мне в этих пустых утешениях! Это одни слова, а сущность та, что я еду в вагенбург. Я пошла к Алкиду готовить его в этот постыдный путь; обняв верного товарища ратной жизни моей, я плакала от стыда и печали! Горячие слезы мои, падая на черную гриву его, катились и скользили по вальтрапу. Вышемирского тоже отсылают в вагенбург. За что ж его? он всегда на своем месте; его нельзя укорить ни в безрассудной смелости, ни в неуместной жалости; он имеет всю рассудительность и хладнокровие зрелого возраста.

Все готово! И вот началось наше погребальное шествие: раненые лошади, раненые люди и мы двое, в цвете лет, совершенно здоровые, движемся медленно, нога за ногою к месту успокоения, к проклятому вагенбургу! Ничего я так сильно не желаю, как того, чтоб Каховскому до самого окончания кампании ни разу не довелось быть в деле.

Тильзит. Здесь мы соединились с нашим полком: все, что только в силах держать оружие, все в строю! Говорят, что отсюда мы пойдем в Россию, итак, кампании конец! Конец и моим надеждам, мечтам; вместо блистательных подвигов я наделала сумасбродств! Буду ли когда иметь случай загладить их! Беспокойный дух Наполеона и нетвердость короны на голове его обеспечивают меня в этой возможности. Еще зас-

тавит он Россию поднять грозное оружие свое, но скоро ли это будет? И что́ я буду до того времени? Неужели все только товарищем? Произведут ли меня в офицеры без доказательств о дворянстве? А как их достать? Наша грамота у дядюшки, если б он прислал ее! Но нет, он не сделает этого! Напротив... о боже, боже! для чего я осталась живою!.. Я так углубилась в плачевные размышления свои, что не видала, как ротмистр подскакал к тому месту, где я стояла. «Что́ это, Дуров! — сказал он, дотрагиваясь слегка до плеча моего саблею,— время ли теперь вешать голову и задумываться? Сиди бодро и смотри весело. Государь едет!» Сказав это, поскакал далее. Раздались командные слова, полки выровнялись, заиграли в трубы, и мы преклонили пики несущемуся к нам на прекрасной лошади в сопровождении многочисленной свиты обожаемому царю нашему! Государь наш красавец, в цвете лет; кротость и милосердие изображаются в больших голубых глазах его, величие души в благородных чертах и необыкновенная приятность на румяных устах его! На миловидном лице молодого царя нашего рисуется вместе с выражением благости какая-то девическая застенчивость. Государь проехал шагом мимо всего фронта нашего; он смотрел на солдат с состраданием и задумчивостью. Ах, верно отеческое сердце его обливалось кровью при воспоминании последнего сражения! Много пало войска нашего на полях Фридландских!

ВОЗВРАЩЕНИЕ ВОЙСК В РОССИЮ

Вошед в родную землю нашу, армия разошлась покорпусно, подивизионно и даже полками в разные места. Полк наш и полки Псковский драгунский и Орденский кирасирский стоят лагерем. У нас шалаши так огромны, как танцевальные залы; в каждом из них помещается взвод. Ротмистр призвал меня и Вышемирского к себе; он сказал, что военное время, в которое могли мы все вместе лежать на соломе, кончилось; что теперь надобно соблюдать пунктуально все приличия и обязанности службы; что мы должны всякому офицеру становиться во фронт, на часах делать ему на караул, то есть саблею вперед, и на пе-

рекличке окликаться голосом громким и отрывистым. Меня отряжают наравне с другими стеречь ночью наше сено, чистить заступом *пляцувку,* то есть место для развода перед гауптвахтою, и стоять на часах у церкви и порохового ящика. Всякое утро и вечер водим мы лошадей наших на водопой к реке, которая от нас в версте расстоянием; мне достается иногда вести двух лошадей в руках и на третьей сидеть; в таком случае я доезжаю благополучно только к реке; но оттуда до лагеря лечу, как вихрь, с моими тремя лошадьми и на лету слышу сыплющиеся вслед мне ругательства от улан, драгун и кирасир. Все они не могут тогда справиться с своими лошадьми, соблазненными дурным примером моих, которые, зная, что у коновязи дадут им овса, несут меня во весь дух и на скаку прыгают, брыкают, рвутся из рук, и я каждую минуту ожидаю быть сорванною с хребта моего Алкида. Выговор за неумение удержать играющих лошадей достается мне всякий раз от вахмистра и дежурного офицера.

Наконец мы на квартирах; жизнь моя проходит в единообразных занятиях солдата: на рассвете я иду к своей лошади, чищу ее, кормлю и, накрыв попоною, оставляю под покровительством дневального, а сама иду на квартиру, на которой я, к удовольствию моему, стою одна; хозяйка моя теперь — добрая женщина, дает мне молоко, масло и хороший хлеб. Глубокая осень делает прогулки мои не так приятными для меня. Как была бы я рада, если бы могла иметь книги! У ротмистра их много; думаю, он не нашел бы странным, если бы я попросила его позволить мне прочесть их; но боюсь, однако ж, пуститься на этот риск. Если, сверх ожидания моего, скажет он, что солдату есть чем заняться, кроме книг, тогда мне будет очень стыдно. Подожду! будет еще время читать. Неужели я буду всю жизнь простым солдатом? Вышемирского произвели уже в унтер-офицеры. Правда, у него есть покровительница, графиня Понятовская. Еще при начале кампании она сама привезла его к Беннигсену и получила от него обещание быть непосредственным покровителем ее питомца. Но я, я одна в этом пространном мире! Кому надобность заботиться обо мне! Надобно всего ожидать от времени и самой себя!

Странно было бы, если б начальники мои не умели отличить меня от солдат, взятых от сохи.

Крессы — так называется у коннопольцев обязанность развозить *приказы* из штаба в эскадронную квартиру; *быть на крессах* — значит быть послану с одним из таких приказов. Сегодня моя очередь; это объявил мне Гачевский, мой взводный унтер-офицер: «Тебе на крессы, Дуров».— «Очень рад!» Я в самом деле рада всякой новости. В лагере меня очень веселила откомандировка чистить *пляцувку;* я так охотно работала, соскабливала с земли траву заступом, сметала ее в кучу метлою и все это делала, как будто всю жизнь никогда ничего другого не делала. Бывший ментор мой почти всегда присутствовал при этих трудах: он трепал меня по плечу и говорил: *«zmorduiesz-sie dziecko! pracuy po woli»* [1].

Вечером принесли приказ из штаба, и Гачевский велел мне сейчас отправиться с ним к ротмистру, квартировавшему в пяти верстах от нашего селения. «Я пойду пешком,— сказала я Гачевскому.— Мне жаль мучить Алкида».— «Мучить! да тут всего пять верст; а впрочем, если тебе Алкидовых ног жаль больше, нежели своих, ступай пешком». Я пошла; солнце уже закатилось, вечер был прекрасный; дорога пролегала через поля, засеянные рожью; в иных местах извивалась между кустарником. В Польше природа пленительна! По крайней мере, я нахожу ее лучше нашей северной. У нас и середи лета нельзя забыть о зимней стуже: так она всегда близко к нам! Наша зима, настоящая зима, страшная, всемертвящая! А здесь она так коротка, так снисходительна! Снег здешней зимы оставляет взору удовольствие видеть верхушки травы; и этот вид не совсем скрывшейся зелени дает отрадное предчувствие сердцу, что при первом весеннем ветре покажется земля, а там трава, а там — тепло и весна!.. Пока я шла и мечтала, небо закрылось тучами, и зачал кропить мелкий и теплый дождик; я прибавила шагу, и как селение было в виду, то я успела дойти до него прежде, нежели дождь пошел сильнее. Ротмистр прочитал приказ; спросил меня, хороши ли наши квартиры, и после сказал: «Ведь уже ночь, ты

---

[1] Замучишься, паренек! работай, пока хочется *(польск.)*.

можешь завтра отправиться в взвод, а теперь поди переночуй в конюшне». Я совсем этого не ожидала! и мне стало стыдно за Галефа; не с ума ли он сошел? Правда, ему и во сне не снится, кто я... Однако ж все-таки зачем посылать в конюшню... вот прекрасная спальня!

Дождь совсем уже перестал и только изредка накрапывал; я пошла обратно. Но, чтоб быть скорее дома, вздумала идти по глазомеру, прямым путем в ту сторону, где, я знала, что была наша деревня; чтоб успеть в этом, надобно было идти без дороги, через хлебные поля, что́ я и исполнила, ни минуты не размышляя. Не будет ли этот прямой путь длиннее обыкновенной дороги! Пока я шла с краю ржаного поля, то все еще было сносно; ночь была светла, я могла ясно различать предметы. Рожь, смоченная дождем, хотя и обвивалась около меня, но платье мое все еще не промокало; наконец тропинка стала углубляться в средину поля; я вошла в рожь, высокую и густую, и была выше ее только одною головой. Горя нетерпением выйти скорей на чистое место, я шла быстро, не заботясь уже, что густая рожь все свои дождевые капли отдавала мне на мундир; но сколько ни торопилась, не видела конца необозримой равнине колосьев, волнующихся, как море. Я устала, вода текла с меня ручьями; от скорой ходьбы сделалось мне до нестерпимости жарко; тут я пошла тише и утешалась только тем, что ночь когда-нибудь кончится и что я при свете дня увижу наконец, где наша деревня. Покорясь мысленно своему грустному предназначению проплутать всю ночь по мокрой ниве между высокою рожью, я шла тихо и невесело. Да и что́ могло развлекать меня, идущую по уши во ржи и не имеющую перед глазами ничего, кроме колосьев!

Через полчаса терпеливого путешествия моего, и когда я менее всего надеялась увидеть что-нибудь похожее на деревню или забор, вдруг очутилась у самых ворот деревни. Ах, как я обрадовалась! вмиг отворила ворота и почти лётом примчалась к своей квартире. Там все уже спали, огня не было, и я долго еще возилась впотьмах, пока отыскала чемодан, вынула из него белье, разделась, переоделась, завернулась в шинель, легла и в ту ж секунду заснула.

Алкид!.. О смертельная боль сердца, когда ты утихнешь!.. Алкид! мой неоцененный Алкид! некогда столь сильный, неукротимый, никому не доступный и только младенческой руке моей позволявший управлять собою! Ты, который так послушно носил меня на хребте своем в детские лета мои! который протекал со мною кровавые поля чести, славы и смерти; делил со мною труды, опасности, голод, холод, радость и довольство! Ты, единственное из всех животных существ, меня любившее! тебя уже нет! ты не существуешь более!

Четыре недели прошло со времени этого несчастного происшествия! Я не принималась за перо; смертельная тоска тяготит душу мою! Уныло хожу я всюду с поникшею главою. Неохотно исполняю обязанности своего звания; где б я ни была и что б ни делала, грусть везде со мною и слезы беспрестанно навертываются на глазах моих! На часах сердце мое обливается кровью! Меня сменяют, но я не побегу уже к Алкиду! Увы, я пойду медленно к могиле его!! Раздают вечернюю дачу овса, я слышу веселое ржанье коней наших, но молчит голос, радовавший душу мою!.. Ах, Алкид, Алкид! веселие мое погребено с тобой!.. Не знаю, буду ли в силах описать трагическую смерть незабвенного товарища и юных лет моих и ратной жизни моей! Перо дрожит в руке, и слезы затмевают зрение! Однако ж буду писать; когда-нибудь батюшка прочитает записки мои и пожалеет Алкида моего.

Лошади наши стояли все вместе в большой эскадронной конюшне, и мы так же, как в лагере, водили их на водопой целым эскадроном. Дурная погода, не позволявшая делать ни ученья, ни проездки, была причиною, что лошади наши застоялись, и не было возможности сладить с ними при возвращении с водопоя. В день, злосчастнейший в жизни моей, вздумала я, к вечному раскаянию моему, взять Алкида в повод; прежде я всегда садилась на него, а в повод брала других лошадей; теперь, на беду свою, сделала напротив! Когда ехали к реке, Алкид прыгал легонько, не натягивая повода, и то терся мордою об колено мое, то, играя, брал губами за эполет; но на обратном пути, когда все лошади зачали прыгать, скакать на дыбы, храпеть, брыкать, а некоторые, вырвавшись, стали

играть и визжать, то мой несчастный Алкид, увлекшись примером, взвился на дыбы, прыгнул в сторону, вырвал повод из рук моих и, несомый злым роком своим, полетел, как стрела, перепрыгивая на скаку низкие плетни и изгороди. О, горе, горе мне, злополучной свидетельнице ужаснейшего моего несчастия! Следуя глазами за быстрым скоком моего Алкида, вижу его прыгающего... и смертный холод пробегает по телу моему... Алкид прыгает через плетень, в котором заостренные колья на аршин выставились вверх. Сильный конь мог подняться в высоту, но, увы, не мог перенестись! Тяжесть тела опустила его прямо на плетень. Один из кольев вонзился ему во внутренность и переломился! С криком отчаяния пустилась я скакать вслед за моим несчастным другом; я нашла его в стойле; он трепетал всем телом, и пот ручьями лился с него. Пагубный обломок оставался во внутренности и еще на четверть был виден снаружи. Смерть была неизбежна! Прибежав к нему, я обняла его шею и обливала слезами. Добрый конь положил голову на плечо мое, тяжело вздыхал и наконец минут через пять упал и судорожно протянулся!.. Алкид! Алкид!.. для чего я не умерла тут же... Дежурный офицер, увидя, что я обнимаю и покрываю поцелуями и слезами бездыханный труп моей лошади, сказал, что я глупо ребячусь, и приказал вытащить ее в поле; я побежала к ротмистру просить, чтоб приказал оставить в покое тело моего Алкида и позволил мне самой похоронить его. «Как! бедный Алкид твой умер? — спросил ротмистр с участием, видя заплаканные глаза мои и бледное лицо.— Жаль! жаль!.. ты так любил его! Ну что ж делать, не плачь! Я велю дать тебе любую лошадь из эскадрона. Ступай, похорони своего товарища». Он послал со мною своего вестового, и дежурный офицер не мешал уже мне заняться печальною работою хоронить моего Алкида. Товарищи мои, тронутые чрезмерностью моей горести, вырыли глубокую яму, опустили в нее Алкида, засыпали его землею и, нарезав саблями дерну, обложили им высокий курган, под которым спит сном беспробудным единственное существо, меня любившее.

Товарищи мои, кончив свою работу, пошли в эскадрон, а я осталась и до глубокой ночи плакала на мо-

гиле моего Алкида. Человеколюбивый ротмистр приказал, чтоб дня два не мешали мне грустить и не употребляли никуда по службе. Почти все это время я не оставляла могилы коня моего! Несмотря на холодный ветер и на дождь, я оставалась на ней до полночи; возвратясь на квартиру, ничего не ела и плакала до утра. На третий день взводный начальник мой, призвав меня, сказал, чтобы выбрала себе лошадь, что ротмистр приказал дать мне любую. «Благодарю за милость,— отвечала я,— но теперь все лошади равны для меня; я возьму какую вам угодно будет дать мне».

Когда я приходила убирать моего Алкида, то делала это охотно; но теперь такое занятие кажется мне очень неприятным. С глубоким вздохом отвела я свою новую лошадь в то стойло, где умер мой Алкид, и накрыла ее тою попоною, которою три дня тому назад покрывала его. Я уже не плачу, но безрадостно брожу по пожелтевшим полям. Смотрю, как холодный осенний дождь брызжет на могилу Алкида моего и мочит дерн, по которому он так весело прыгал.

Всякое утро первые шаги мои к могиле Алкида. Я ложусь на нее, прижимаюсь лицом к холодной земле, и горячие слезы мои уходят в нее вместе с дождевыми каплями. Переносясь мысленно к детским летам моим, я вспоминаю, сколько радостных часов доставляли мне редкая привязанность и послушание этой прекрасной лошади! Вспоминаю те превосходные летние ночи, когда я, ведя за собой Алкида, всходила на Старцову гору по такой тропинке, по которой взбирались туда одни только козы; мне ничего не стоило идти по ней, маленькие ступни мои так же удобно устанавливались на ней, как и козлиные копытца; но добрый конь рисковал оборваться и разбиться в прах; несмотря на это, он шел за мною послушно, хотя и дрожал от страха, видя себя на ужасной высоте и над пропастью! Увы, мой Алкид! Сколько бед, сколько опасностей пронеслось мимо, не сделав тебе никакого вреда! Но мое безрассудство, мое гибельное безрассудство положило наконец тебя в могилу! Мысль эта терзает, раздирает душу мою!.. Ничто уже не радует меня; самая тень усмешки исчезла с лица моего. Все, что́ ни делаю, делаю машинально, по навыку. С мертвым равнодушием еду на ученье, молчаливо возвра-

щаюсь, когда оно кончится, расседлываю лошадь и ставлю на место, не глядя на нее, и ухожу, не говоря ни с кем ни слова.

За мною приехал унтер-офицер от шефа; меня требуют в штаб. Зачем же это? Однако ж мне велено отдать свою лошадь, седло, пику, саблю и пистолеты в эскадрон, итак, видно, я сюда не возвращусь! Пойду проститься с Алкидом! Я так же неутешно плакала на могиле моего Алкида, как и в день смерти его, и, сказав ему *вечное прости,* впоследнее поцеловала землю, его покрывающую.

Полоцк. Какой-то важный переворот готовится в жизни моей! Каховский спрашивал меня: «Согласны ли были мои родители, чтобы я служил в военной службе? и не против ли их воли это сделалось?» Я тотчас сказала правду, что отец и мать моя никогда б не отдали меня в военную службу; но, что имея непреодолимую наклонность к оружию, я тихонько ушла от них с казачьим полком. Хотя мне только семнадцать лет, однако ж я имею уже столько опытности, чтобы угадать тотчас, что Каховский знает обо мне более, нежели показывает, потому что, выслушав мой ответ, он не оказал и виду удивления к странному образу мыслей моих родителей, не хотевших отдать сына в военную службу, тогда как все дворянство предпочтительно избирает для детей своих военное звание. Он сказал только, что мне должно ехать в Витебск к Буксгевдену с господином Нейдгардтом, его адъютантом. Нейдгардт был тут же. Когда Каховский отдал мне это приказание, то Нейдгардт тотчас раскланялся и пошел со мною к себе в дом. Он оставил меня в зале, а сам ушел к своему семейству во внутренние комнаты. Через четверть часа то одна, то другая голова начали выглядывать на меня из недотворенных дверей; Нейдгардт не выходил; он там обедал, пил кофе и сидел долго, а я все время была одна в зале. Какие странные люди! для чего они не пригласили меня обедать с ними.

К вечеру мы выехали из Полоцка. На станции Нейдгардт пил кофе, а я должна была стоять у повозки, пока переменяли лошадей.

Теперь я в Витебске, живу на квартире Нейдгардта; он стал другим человеком: разговаривает со мною дружески и как вежливый хозяин угощает меня чаем, кофеем, завтраком; словом, поступает так, как бы надобно поступать сначала. Он говорит, что привез меня в Витебск по приказанию главнокомандующего и что мне должно будет к нему явиться.

Я все еще живу у Нейдгардта. Поутру мы вместе завтракаем, после он уходит к главнокомандующему, а я остаюсь в квартире или хожу гулять; но теперь глубокая осень и вместе глубокая грязь. Не находя места, где б можно было ходить по-людски, я иду в трактир, в котором Нейдгардт всегда обедает; там дожидаюсь его и обедаю с ним вместе. После обеда он уходит, а я остаюсь в комнате содержательницы трактира; мне тут очень весело; трактирщица добрая, шутливая женщина, зовет меня *улан-панна* и говорит, что если я позволю себя зашнуровать, то она держит пари весь свой трактир с доходом против злотого, что во всем Витебске нет ни одной девицы такой тонкой и прекрасной талии, как моя. С этими словами она тотчас идет и приносит свою шнуровку; дочери ее хохочут, потому что в эту шнуровку могли бы поместиться они все и вместе со мною.

Пять дней минуло, как я живу в Витебске; наконец сегодня вечером Нейдгардт сказал мне, что завтра должно мне быть у главнокомандующего, что он приказал привесть меня часу в десятом поутру.

На другой день мы пошли с Нейдгардтом к графу Буксгевдену; он ввел меня к нему в кабинет и сам тотчас вышел. Главнокомандующий встретил меня с ласковою улыбкою и прежде всего спросил: «Для чего вас арестовали, где ваша сабля?» Я сказала, что все мое вооружение взяли от меня в эскадрон. «Я прикажу, чтоб все это вам отдали; солдата никуда не должно отправлять без оружия». После этого спросил, сколько мне лет, и продолжал говорить так: «Я много слышал о вашей храбрости, и мне очень приятно, что все ваши начальники отозвались об вас самым лучшим образом...— Он замолчал на минуту, потом начал опять: — Вы не испугайтесь того, что скажу вам; я должен отослать вас к государю. Он желает видеть вас! Но повторяю, не пугайтесь этого; государь наш

исполнен милости и великодушия; вы узнаете это на опыте». Я, однако ж, испугалась: «Государь отошлет меня домой, ваше сиятельство, и я умру с печали!» Я сказала это с таким глубоким чувством горести, что главнокомандующий был приметно тронут. «Не опасайтесь этого; в награду вашей неустрашимости и отличного поведения государь не откажет вам ни в чем; а как мне велено сделать о вас выправки, то я к полученным мною отзывам вашего шефа, эскадронного командира, взводного начальника и ротмистра Казимирского приложу еще и свое донесение; поверьте мне, что у вас не отнимут мундира, которому вы сделали столько чести». Сказав это, генерал вежливо поклонился мне, что и было зна́ком, чтобы я ушла.

Вышед в залу, я увидела Нейдгардта, разговаривающего с флигель-адъютантом Зассом; они оба подошли ко мне, и Нейдгардт сказал: «Главнокомандующий приказал мне отдать вас на руки господину Зассу, флигель-адъютанту его императорского величества; вы поедете с ним в Петербург, итак, позвольте пожелать вам благополучного пути». Засс взял меня за руку: «Теперь вы пойдете со мною на мою квартиру; оттуда пошлем принести ваши вещи от Нейдгардта и завтра очень рано отправимся обратно в Полоцк, потому что Буксгевден приказал, чтоб вам непременно было отдано все ваше вооружение» На другой день очень рано выехали мы из Витебска и скоро приехали в Полоцк.

Полоцк. Засс пошел к Каховскому и через час возвратился, говоря, что Каховский, к удивлению, обедает в двенадцать часов, удержал его у себя и что он должен был есть нехотя. «Завтра мы выедем отсюда очень рано, Дуров. Вам, верно, не новое вставать на рассвете?» Я сказала, что иначе никогда и не вставал, как на рассвете. Вечером пришли ко мне мои взводные сослуживцы и велели меня вызвать. Я пришла. Добрые люди! это были взводный унтер-офицер и ментор мой, учивший меня всему, что надобно знать улану пешком и на коне. «Прощайте, любезный наш товарищ! — говорили они,— дай бог вам счастия; мы слышали, вы едете в Петербург, хвалите нас там; мы вас хвалили

здесь, когда шеф расспрашивал о вас; а особливо меня,— сказал ментор мой, закручивая усы свои с проседью.— Ведь я по приказу Казимирского был вашим дядькою; шеф взял меня к себе в горницу и целый час выспрашивал все до самой малости; и я все рассказал, даже и то, как вы плакали и катались по земле, когда умер ваш Алкид». Напоминание это заставило меня тяжело вздохнуть. Я простилась с моими сослуживцами, отдала наставнику своему годовое жалованье свое и возвратилась в залу в самом грустном расположении духа.

Наконец мы пустились в путь к Петербургу. Коляска наша чуть двигается, мы тащимся, а не едем. На всякой станции запрягают нам лошадей по двенадцати, и все они не стоят двух порядочных; они более похожи на телят, нежели на лошадей, и часто, стараясь бесполезно вытащить экипаж из глубокой грязи, ложатся наконец сами в эту грязь.

Почти на всякой станции случается с нами что-нибудь смешное. На одной подали нам к чаю окровавленный сахар. «Что это значит?» — спросил Засс, отталкивая сахарницу. Смотритель, ожидавший в другой горнице, какое действие произведет этот сахар, выступил при этом вопросе и с какою-то торжественностию сказал: «Дочь моя колола сахар, ранила себе руку, и это ее кровь!» — «Возьми же, глупец, свою кровь и вели подать чистого сахару»,— сказал Засс, отворачиваясь с омерзением. Я от всего сердца смеялась новому способу доказывать усердие свое в угощении. Еще на одной станции Засс покричал на смотрителя за то, что он был пьян, говорил грубости и не хотел дать лошадей. Услыша громкий разговор, жена смотрителя подскочила к Зассу с кулаками и, прыгая от злости, кричала визгливым голосом: «Что за бессудная земля! смеют бранить смотрителя!» Оглушенный Засс не знал, как отвязаться от сатаны, и вздумал сдавить ее за нос; это средство было успешно; *мегера* с визгом убежала, а за нею и смотритель. Полчаса ждали мы лошадей, но, видя, что их не дают, расположились тут пить чай. Засс послал меня парламентером к смотрительше вести переговоры о сливках. Неприятель наш был рад замирению, и я возвратилась с пол-

ною чашкою сливок. Через час привели лошадей, и мы очень дружелюбно расстались с проспавшимся смотрителем и его женою, которая, желая, мне особливо, счастливой дороги, закрывала нос свой передником.

ПЕРВЫЙ ПРИЕЗД МОЙ В СТОЛИЦУ

Петербург. Вот наша светлая, чистая, великолепная столица! памятник непобедимого мужества, великого духа и геройской решимости бессмертного Петра!

Три дня уже прошло, как мы приехали. Я живу у Засса и всякий день хожу смотреть на монумент Петра Великого. Как достойно дано ему это название! Петр был бы великим, в каком бы состоянии ни родился! Величественная наружность его вполне отвечает обширному гению, некогда управлявшему его великою душою!

Участь моя решилась! Я была у государя! видела его! говорила с ним! Сердце мое слишком полно и так неизъяснимо счастливо, что я не могу найти выражений для описания чувств моих! Великость счастия моего изумляет меня! восхищает! О, государь! от сего часа жизнь моя принадлежит тебе!..

Когда князь В*** отворил мне дверь государева кабинета и затворил ее за мною, государь тотчас подошел ко мне, взял за руку и, приблизясь со мною к столу, оперся одной рукою на него, а другою продолжая держать мою руку, стал спрашивать вполголоса и с таким выражением милости, что вся моя робость исчезла и надежда снова ожила в душе моей. «*Я слышал*,— сказал государь,— *что вы не мужчина, правда ли это?*» Я не вдруг собралась с духом сказать: «Да, ваше величество, правда!» С минуту стояла я, потупив глаза, и молчала; сердце мое сильно билось, и рука дрожала в руке царевой! Государь ждал! Наконец, подняв глаза на него и сказывая свой ответ, я увидела, что государь краснеет; вмиг покраснела я сама, опустила глаза и не поднимала уже их до той минуты, в которую невольное движение печали повергло меня

к ногам государя! Расспросив подробно обо всем, что было причиною вступления моего в службу, государь много хвалил мою неустрашимость, говорил: *что это первый пример в России; что все мои начальники отозвались обо мне с великими похвалами, называя храбрость мою беспримерною; что ему очень приятно этому верить и что он желает сообразно этому наградить меня и возвратить с честию в дом отцовский, дав..* Государь не имел времени кончить; при слове: *возвратить в дом!* я вскрикнула от ужаса и в ту же минуту упала к ногам государя: «Не отсылайте меня домой, ваше величество! — говорила я голосом отчаяния,— не отсылайте! я умру там! непременно умру! Не заставьте меня сожалеть, что не нашлось ни одной пули для меня в эту кампанию! Не отнимайте у меня жизни, государь! я добровольно хотела ею пожертвовать для вас!..» Говоря это, я обнимала колени государевы и плакала. Государь был тронут; он поднял меня и спросил изменившимся голосом: «*Чего же вы хотите?*» — «Быть воином! носить мундир, оружие! Это единственная награда, которую вы можете дать мне, государь! другой нет для меня! Я родилась в лагере! трубный звук был колыбельной песнею для меня! Со дня рождения люблю я военное звание; с десяти лет обдумывала средства вступить в него; в шестнадцать достигла цели своей — одна, без всякой помощи! На славном посте своем поддерживалась одним только своим мужеством, не имея ни от кого ни протекции, ни пособия. Все согласно признали, что я достойно носила оружие! а теперь, ваше величество, хотите отослать меня домой! Если б я предвидела такой конец, то ничто не помешало б мне найти славную смерть в рядах воинов ваших!» Я говорила это, сложа руки, как пред образом, и смотря на государя глазами полными слез. Государь слушал меня и тщетно старался скрыть, сколько был он растроган. Когда я перестала говорить, государь минуты две оставался как будто в нерешимости; наконец лицо его осветилось: «*Если вы полагаете*,— сказал император,— *что одно только позволение носить мундир и оружие может быть вашею наградою, то вы будете иметь ее!*» При этих словах я затрепетала от радости. Государь продолжал: «*И бу-*

дете называться по моему имени — Александровым! *Не сомневаюсь, что вы сделаетесь достойною этой чести отличностию вашего поведения и поступков; не забывайте ни на минуту, что имя это всегда должно быть беспорочно и что я не прощу вам никогда и тени пятна на нем!.. Теперь скажите мне, в какой полк хотите вы быть помещены? Я произведу вас в офицеры».*— «В этом случае, позвольте мне, ваше величество, отдаться в вашу волю»,— сказала я. «*Мариупольский гусарский полк — один из храбрейших, и корпус офицеров из лучших фамилий,*— говорил мне государь, — *я прикажу поместить вас туда. Завтра получите вы от Ливена, сколько вам надобно будет на дорогу и обмундировку. Когда все уже готово будет к вашему отправлению в полк, я еще увижу вас».* Сказавши это, государь поклонился мне; я тотчас пошла к двери, но, не умея отворить, вертела во все стороны бронзовую головку, за которую держала; государь, видя, что я не выйду без его помощи, подошел, отпер мне дверь и смотрел за мною вслед до другой двери, с которою я управилась уже сама. Вошед в залу, я вмиг увидела себя окруженной пажами, которые наперерыв спрашивали меня: «Что говорил с вами государь?.. произвел он вас в офицеры?» Я не знала, что́ отвечать им. Но Засс и с ним еще один флигель-адъютант подошли ко мне, и толпа шалунов почтительно отступила. Флигель-адъютант, подошедший вместе ко мне с Зассом, спросил меня: «Есть ли вам лет пятнадцать?» Я отвечала, что мне уже восемнадцатый год. «Нам писали чудеса о вашей неустрашимости»,— сказал он с вежливою уклонкою. Засс прекратил этот разговор, взявши меня за руку. «Нам пора ехать, князь,— сказал он своему товарищу и пошел со мною из дворца. Сходя с лестницы, он спросил: — Не хочешь ли, Дуров, познакомиться с моею родственницею генеральшею Засс?» Я отвечала, что буду очень довольна этим. «Ну так мы сейчас поедем к ней обедать; а после обеда отправимся все вместе показать вам Эрмитаж: там много любопытного».

Госпожа Засс приняла меня очень вежливо. После обеда поехали мы в Эрмитаж. Там более всего привлекли мое внимание картины; я страстно люблю живопись. Генеральша говорит, что если я буду смотреть од-

ни только картины, то не кончу в месяц. «Вот посмотрите,— говорила она, показывая мне букет из яхонтов, алмазов, изумрудов и тому подобных драгоценностей,— посмотрите, это несравненно любопытнее». Я не одного мнения с нею! Что значат камни в сравнении с прекрасным произведением кисти, в котором дышит жизнь! Мне очень понравились четыре картины, представляющие двух девиц во весь рост; на первых двух изображены они в детских летах, а на других в юношеских и так, что, смотря на больших, сейчас узнаешь в них тех прекрасных детей, которые так пленительны своею младенческою красотою! Смотрела на изображение Клеопатры, искала в нем царицы, предпочитающей смерть унижению, и видела только женщину с желтым опухлым лицом, в чертах которого не было никакого выражения, ни даже выражения боли! По обнаженной руке ее ползет пиявка и пробирается прямо к плечу; этот смешной аспид не стоил великой чести уязвить царицу. Можно положить в заклад свою голову, что ни один человек в мире не узнал бы в этом изображении царицы Египетской, и я узнала потому, что Засс сказал мне, показывая на нее рукою: «Вот славная Клеопатра!» Нужно ли было говорить это, если б ее изобразили прилично тому, чем она была!

Сегодня воскресенье; я обедала у генеральши; вечером она, ее племянница, девица Юрковская, Засс и я поехали в театр. По всему видно было, что поехали только для меня; в воскресенье никто из хорошего тона людей не бывает в театре, в воскресенье обыкновенно дается *русалка* или другая подобная ей фарса, наполненная нелепостями; теперь также играли которую-то часть русалки; актриса, представлявшая Лесту, уродовала роль свою со всем возможным старанием; не понимая вовсе характера лица, ею играемого, она в хитоне русалки кривлялась, жеманилась, говорила свысока, усмехалась и смотрела на партер, не заботясь о своем Видостане. Скучнее этого вечера я еще никогда не проводила; пиеса и актриса нагнали мне тоску. Когда села я в карету, генеральша спросила меня: как показалось мне представление? Я сказала откровенно, что пиеса показалась мне составленною из нелепостей, а главная актриса именно на то лицо не похожа, которое представляла. Откровенность моя, ка-

жется, не понравилась; мне отвечали сухо, что петербургские актрисы считаются лучшими из всех.

Сегодня новое покушение удивить меня, занять, развеселить, и опять неудачное, и все это от странных средств. Вздумали показывать мне *китайские тени,* но как я не дитя и не крестьянка, то после первой картинки перестала смотреть на эти штуки. Надобно думать, что генеральша не предполагает во мне ни хорошего воспитания, ни хорошего вкуса; как бы то ни было, но доброе намерение ее заслуживает мою благодарность.

Я еще раз была у государя! Первые слова, которыми он встретил меня, были: «*Мне сказывали, что вы спасли офицера! неужели вы отбили его у неприятеля? Расскажите мне это обстоятельство*».

Я рассказала подробно все происшествие и назвала офицера; государь сказал, что это *известная фамилия и что неустрашимость моя в этом одном случае более сделала мне чести, нежели в продолжение всей кампании, потому что имела основанием лучшую из добродетелей — сострадание!* — «*Хотя поступок ваш,*— продолжал государь,— *служит сам себе наградою, однако ж справедливость требует, чтоб вы получили и ту, которая вам следует по статуту:* за спасение жизни офицера дается *Георгиевский крест!*» С этими словами государь взял со стола крест и своими руками вдел в петлицу мундира моего. Я вспыхнула от радости и в замешательстве ухватила обе руки государя, чтоб поцеловать их, но он не допустил. «*Надеюсь,*— сказал государь,— *что крест этот будет вам напоминать меня в важнейших случаях жизни вашей*». Много заключается в словах сих! Клянусь, что обожаемый отец России не ошибется в своем надеянии; крест этот будет моим ангелом-хранителем! До гроба сохраню воспоминание, с ним соединенное; никогда не забуду происшествия, при котором получила его, и всегда-всегда буду видеть *руку*, теперь к нему прикасавшуюся!..

Возвратясь на квартиру Засса, у которого живу с самого приезда в Петербург, я не успела еще скинуть подсумка, как увидела вошедшего вслед за мною старика, который дрожащим голосом спрашивал у Засса: «Можно ли мне видеть Коннопольского полка товарища Дурова? Я родной дядя его». Услыша слова эти, я отгадала, что вижу перед собою меньшого брата отца

моего, и первая мысль моя была убежать; к счастию, я не имела времени сделать этой глупости. На вопрос дяди Засс тотчас показал меня рукою, и дядя, подошед ко мне, обнял меня и сказал вполголоса: «Мать твоя умерла!» Слова эти, как острый кинжал, вонзились мне в сердце. Я затрепетала, побледнела и, чувствуя, что слезы готовы брызнуть из глаз моих, взяла, не имея сил сказать ни одного слова, дядю за руку и вышла с ним из квартиры Засса. «Поедем ко мне»,— сказал дядюшка, когда мы были уже на улице. Я села в его сани и во всю дорогу молчала, закрывая глаза и лицо шинелью, чтоб проходящие не видали, что я плачу.

Дома дядя рассказал мне, что отец мой получил от меня письмо из *Гродно* и, увидев из этого письма, что я вступила в Коннопольский полк товарищем, испугался столь необыкновенного шага моего; не зная, как помочь этому и что делать, он отослал письмо мое к матушке. Последствия этой неосторожности были гибельны. Я имела безрассудство писать, что непомерная строгость матери выгнала меня из дома отцовского! что я прошу батюшку, в случае, если я буду убита, простить мне ту печаль, которую нанесет ему смерть моя. Матушка лежала опасно больная в постели и была очень слаба, когда ей принесли это письмо; она взяла его, прочитала; молчала с минуту; потом, сказав со вздохом: *«Она винит меня!»* — отвернулась к стене и умерла!.. Я рыдала, как пятилетнее дитя, слушая этот рассказ. Думала ли я, что батюшка покажет ей это письмо!! Дядя дал мне волю предаваться всей жестокости моей печали и раскаяния и отложил рассказать остальное до другого дня.

Получа письмо свое обратно, отец мой послал его к дяде в Петербург и просил узнать, в живых ли я. Дядя показал это письмо кому-то из знакомых ему генералов, и таким образом дошло оно до государя, который, прочитав его, был тронут, как говорили, до слез и тотчас приказал выправиться обо мне в Коннопольском полку, и если донесения будут в мою пользу, то представить меня лично к нему. Все начальники расхвалили меня сверх заслуг моих и ожиданий. Последствием этого была неслыханная милость государя — позволение посвятить ему жизнь свою в звании воина.

Наконец все готово к моему отправлению; мне дали подорожную, предписание в полк и две тысячи рублей на гусарский мундир и покупку лошади. Дядя очень сердится, что я не сказываю, куда еду. Хотя я и говорю ему, что еду к батюшке, но он не верит, а говорит, что рано или поздно узнает, где я буду.

1808 ГОД

15-го января. С этого дня, с этого счастливейшего дня жизни моей началось для меня новое существование! Открылась перспектива блистательная, славная, единственная в своем роде и, к довершению благополучия, с воли и под покровительством могущественнейшего монарха в мире!

На четвертый день выезда моего из Петербурга приехала я в Вильну, где и располагаюсь обмундироваться. Толпа жидов явилась ко мне с предложениями всякого рода услуг. В полчаса у меня было все: квартира, услуга, портные; множество сукон, золотых шнурков, бахромы, сафьянов, треугольных шляп, киверов, султанов, кистей, шпор! одним словом, из комнаты моей сделали лавку с товарами, и мне оставалось только выбирать. Жиды говорили все вдруг и оглушали меня; я не знала, что делать, пока один проворный жид не сказал мне потихоньку: «Вы не избавитесь от них иначе как выбрав себе фактора; тогда он выпроводит тотчас всю эту сволочь и приведет вам купца, у которого вы купите все, что вам надобно, за весьма сходную цену». Я спросила, что такое фактор? «Фактор,— отвечал жид,— есть род слуги проворного, усердного, сметливого, неутомимого и до невероятности дешевого. Угодно вам иметь такого слугу?» Я сказала, что именно такой мне и надобен, и просила его выбрать. «Зачем выбирать,— сказал жид,— я сам буду вашим фактором!» Он объявил всей толпе свое звание и тотчас вступил в отправление своей должности, отослав всех искателей факторства и сговорясь с купцами, разумеется, тоже евреями, обмануть меня со всею возможною бессовестностию. Я, как и все, заплатила дань, сбираемую этими плутами с молодости и неопытности: мундир мой был сшит прекрасно! все мое гусарское одеяние блистало вкусом и богатством. Де-

шевый слуга мой за шестидневную услугу свою взял от меня только один рубль; но зато и в полк приехала я с одним рублем, оставшимся мне от двух тысяч, которые поглотила Вильна посредством усердного, дешевого слуги моего.

Я приехала в Ковель. Подорожная моя только до этого места; однако ж полка Мариупольского здесь нет, он квартирует в Луцке и его окрестностях; я не знаю, что мне делать! Луцк от Ковеля в пятидесяти верстах; денег у меня один рубль, за который, верно, никто не повезет меня до Луцка, также и в Ковеле жить до случая выехать без денег нельзя. Обдумывая, как бы выйти из неприятного положения своего, услышала я хлопанье бича и, взглянув в окно, увидела даму, едущую в бричке прямо к той корчме, в которой я была; жидовка побежала отворить двери. Вошла дама лет тридцати, хорошо одетая, и тотчас обратила на меня свое внимание; она стала говорить со мною и, узнав, что я офицер полка, квартирующего у них в соседстве, хотела было что-то спросить о знакомых ей офицерах; но жидовка не дала ей времени на эти расспросы и тотчас сказала, что я новый офицер, никого еще в полку не знаю и не имею средств доехать в штаб, потому что подорожная моя только до Ковеля, а штаб, как ей известно, стоит в Луцке; и что панна Новицкая хорошо бы сделала, если б взяла молодого гусара в в свою бричку и довезла бы его с собою до местечка *Голоб*, а там он будет уже дома, потому что в Голобах стоит Мариупольский эскадрон. Все это проговорила она одним духом и так проворно, что ни я, ни панна Новицкая не успели опомниться, как увидели себя в необходимости ехать вместе. Для меня это было приятно: я тут видела одну возможность избавиться от хлопот; но девица, которой предлагают взять к себе в повозку молодого гусарского офицера и ехать с ним тридцать верст одной, могла прийти в замешательство; однако же, к чести панны Новицкой, должно сказать, что она без малейшего принуждения и с самою любезною вежливостью тотчас предложила мне место в своей бричке. В два часа панна Новицкая окончила дела свои, состоявшие в покупке сахара, чая, шоколада и тому подобных вещей. Мы поехали. Девица расположена была разговаривать со мной и зачинала

несколько раз; но я отвечала только — да и нет! и то не всегда кстати, потому что, не любя польского языка, я не старалась ему научиться и была в страшном затруднении от говорливости моей спутницы; я чувствовала странность моего обращения, но не знала, как пособить этому горю, и продолжала молчать. Бедная Новицкая! судьбе угодно было, чтобы из всех гусар самый неловкий достался ей товарищем в дороге! Наконец и она замолчала, стала зевать, прислонилась головой к подушке и — заснула! Таким приятным образом доехали мы до местечка *Голоб*. Новицкая тотчас проснулась и приказала кучеру ехать к квартире ротмистра Агеева. Повозка понеслась, прыгая по ухабам, и остановилась перед небольшим выбеленным домиком. «Вот квартира вашего ротмистра»,— сказала Новицкая, вежливо кланяясь мне; я покраснела от глупой роли, какую играла с доброю девкою; хотела было сказать свою благодарность по-польски, но боялась наговорить вздору и от этого опасения еще более покраснела. Наконец я вышла молча из повозки, поклонилась панне тоже безмолвно, и добрые кони умчали мою спутницу к крыльцу огромного дома господского.

В квартире ротмистра никого не было, кроме одного денщика его. Агеев уехал в штаб. Подавая мне чай, старый гусар спрашивал: «Ваше благородие, ночуете здесь или поедете далее?» Узнав, что ротмистр не прежде двух дней возвратится в эскадрон, я решилась переночевать в его квартире. Расспрашивая денщика, узнала я, что Голобы принадлежат вдовствующей воеводине Вильге или Вильжине, как называют ее польки, что эта старая дама лет восьмидесяти, весьма гостеприимная и благодетельная; что у нее живет очень много бедных шляхтянок, молодых и прекрасных, которых она выдает замуж на свой кошт, и что офицеры этого эскадрона часто обедают у нее; но что никогда ни одного бала не было и не будет в ее доме. «Почему ж?» — спросила я словоохотного гусара. «А потому, ваше благородие,—отвечал он,— что сын помещицы, молодой пан *Вильга* лишился жены, которую любил страстно; эта потеря расстроила его здоровье и несколько рассудок, так что он убегает всех вообще людей, не исключая матери и детей своих».

На другой день очень рано утром увидела я у крыльца плетеный короб, стоящий на дровнях, запряженных парою иссохших лошадей. Вошедший гусар, ставя на стол завтрак, сказал: «*Курманка* готова вашему благородию!» Чтоб не открыть своего невежества, я не спросила, что за зверь курманка и почему именно для меня она готова? Позавтракав, я сказала гусару: «Узнай, пожалуйста, скоро ли будут мне лошади?» — «Они уже готовы! вот курманка стоит перед крыльцом»,— отвечал гусар, указывая рукою в окно. Наконец загадка объяснилась: этот плетеный короб называется курманка; думаю, однако ж, тогда только, когда запряжен лошадьми, а без них он опять делается коробом. Как бы то ни было, но в нем должно мне ехать в штаб. Счастие! будь ко мне милостиво! Сделай, чтобы я не встретилась ни с кем из будущих моих сослуживцев! Я совсем не блистательным образом вступаю в полк!

Я села в свой короб, наполненный соломою; невзнузданные лошади побежали рысью, и ямщик во всю дорогу махал над ними длинным прутом и кричал: «*Вью! вью! исс! исс!..*» Видно, это их способ понуждать к бегу своих лошадей.

Луцк. Приехав в этот город, я остановилась, по обыкновению всех проезжих и приезжих, в корчме; оделась как будто в строй и пошла явиться к баталионному начальнику майору Ды́мчевичу. Я отдала ему пакет, данный мне графом Ливеном. Прочитав, Ды́мчевич сказал мне: «Подите к полковому адъютанту, скажите ему, что я велел поместить вас в мой эскадрон. Бумаги эти отдайте ему». После этого он сделал мне несколько вопросов о нашем великом князе Константине Павловиче и, видя, что я ничего о нем не знаю, повторил свое приказание, чтобы я шла к адъютанту, а от него тотчас отправилась в эскадрон.

Мне должно было отдать свой последний рубль, чтоб доехать в *Рожища,* где квартирует эскадрон Ды́мчевича. Командующий этим эскадроном, штабс-ротмистр, принял меня с начальническою важностью, которая, однако ж, ему очень не пристала, как по незначимости его звания, так и по наружности: он чрезвычайно мал ростом, курнос, и выражение лица про-

стонародное. Первый вопрос его был: «Есть ли у вас верховая лошадь?» Я отвечала, что нет. «Надобно купить»,— сказал он. «Мне кажется, что я имею право взять казенную?» — «Имеете; но на одной казенной лошади гусарскому офицеру служить нельзя. Вам должно иметь три лошади: для себя, для денщика и вьюков и заводную». Я сказала, что у меня нет денщика и нет денег на покупку лошадей. «Денщика дадут вам завтра, если вам угодно, а есть или нет у вас деньги, до этого никому нет надобности; но лошади у вас должны быть непременно. Теперь извольте ехать в селение *Березолупы* и принять командование четвертым взводом до возвращения его настоящего командира, который теперь в отпуску...» Не находя большого удовольствия в компании этого чудака, я тотчас уехала в свое село. Мне отвели ту же квартиру, которую занимал *Докукин,* в доме помещицы этого селения. Пани старостина приняла меня с материнскою лаской и просила, чтобы я обедала всякий день у нее: потому, говорила она, что, как вижу, у вас своего повара нет. Старостина совсем не отличает меня от своих двух внуков, двенадцатилетних мальчиков. Как им, так и мне дается одна чашка теплого молока поутру Живем мы почти в одной горнице; только дощаная перегородка отделяет мою кровать от их постелей; они молятся, учатся, кричат, стучат, бранятся, как будто меня тут и нет; сверх того, шалуны всякое утро, как милости какой, просят позволения вычистить мои сапоги, чему и я с своей стороны очень рада.

Г-н *Мальченко* предлагает мне купить у него лошадь за сто рублей серебром, с тем, что денег он подождет, пока пришлют мне из дому. Я согласилась. Лошадь привели; она была бы сносна, если б не так странно держала уши. Мальченко расхваливает ее чрезвычайно... Мне стыдно было сказать ему, что у его лошади уши висят на обе стороны, и покупка совершилась. После этого Мальченко спросил у меня: умею ли я делать приемы карабином, и, когда я сказала, что не умею: «Надобно учиться,— сказал он,— это необходимо! Вы должны знать то, чему обязаны будете учить солдат. Прикажите кому-нибудь из старых гусар показывать вам все действия карабином; недели в две вы будете уметь: это очень нетрудно».

У старостины есть внучка лет восемнадцати, недурна собою, но самых нелепых наклонностей: она готова влюбиться и влюбляется во всякого — в мужика, кучера, лакея, повара, офицера, генерала, попа, монаха! Теперь предметом ее нежности учитель ее братьев, желтый, сухой, отвратительный педант! и она, чтоб быть вместе с этим Адонисом, целое утро сидит в нашей комнате.

Всякое утро приходит ко мне старый *Гребенник*, фланговый гусар моего взвода, с карабином, и я более часа учусь делать от ноги, на плечо, на караул; прием от ноги очень труден для меня; я делаю его неловко и непроворно, что весьма не нравится моему наставнику. Он всякий раз, командуя — *от ноги!* прибавляет: «Не жалейте ноги, ваше благородие! бросайте смелее!» Я попробовала послушать его и не жалеть, как он говорит, ноги, но так жестоко ушибла ее прикладом, что чувствовала боль целый месяц. Наконец я выучилась действовать карабином.

Император Александр приказал мне писать к нему обо всем, в чем буду иметь надобность, через графа Ливена. Итак, я писала к графу, что прошу пожаловать мне пятьсот рублей. Через два месяца я получила их, но не через Ливена; граф Аракчеев прислал мне их и писал, чтобы я во всех моих надобностях относилась уже к нему, потому что он заступил место Ливена при государе. Получа деньги, я заплатила свой долг Мальченку и теперь не знаю, что делать с своей вислоухой лошадью. Кроме этих проклятых ушей, у нее есть еще и странные норовы: она не идет от лошадей, становится на дыбы и в галоп начинает всегда с задней ноги.

Полку Мариупольскому велено собраться близ Луцка. Здесь будет его смотреть корпусной командир наш *Дохтуров*. Но прежде этого мы должны будем выдержать экзамен перед дивизионным начальником своим графом *Суворовым*. Вот мы и выступили на зеленую равнину в белых мундирах, блистающих золотом, и с развевающимися перьями на киверах; в этом комнатном наряде, белом с золотом, многие из нас похожи более на красных дев, нежели на мужественных солдат, а особливо те, которые, подобно мне, имеют не более восемнадцати лет.

Надобно думать, что вислоухий конь мой был всегда в шеренге, потому что начальническая роль, которую пришлось ему играть, приметно ужасала его; он старался втереться во фронт, пятясь туда задом, и когда я колола его острыми шпорами, чтоб заставить податься вперед, то он крутил головой и становился на дыбы. Судя по этому началу, я ожидала убийственных выходок от него, когда начнутся маневры. Так и случилось: граф проехал мимо всего нашего полка шагом, осмотрел внимательно весь фронт и, отъехав после несколько шагов вперед на середину полка, сказал громко: «Господа офицеры!» Все блестящее сонмище понеслось с быстротою ветра к своему начальнику; но мой дьявол, не прежде, как получа от меня несколько жестоких ударов саблею и брыкнув задними ногами, пошел меланхолическим галопом, помахивая плавно ушами. Суворов имел снисхождение дождаться, пока я присоединилась к товарищам; тогда он отдал нам свои приказания, которые состояли в том, какие именно маневры будут делаться при Дохтурове и что́ после чего. «Теперь уже, господа,— прибавил граф,— мы сделаем только репетицию, извольте стать по местам!» Все полетело к полку; на этот раз и я неслась вихрем. Стали перед фронт, выравнялись; раздалась команда: «Повзводно! левые плечи вперед! марш!» Весь полк сделал это движение ровно, стройно; но мой демон зачал пятиться, брыкать, фыркать и крутить со всех сил своей вислоухою головой. Не предвидя доброго конца такому началу, я велела взводному унтер-офицеру стать на мое место перед взводом и, дав два или три каких только могла сильных фуктелей своей лошади, заставила ее нестись со мною стремглав по дороге к Луцку. Суворов, видя эту сцену, сказал только усмехаясь: «Молодой офицер не хочет с нами учиться».

Маневры перед корпусным начальником кончились для меня безбедственно; баталионный командир дал мне свою лошадь. После смотра и ученья пошли все офицеры обедать к Суворову. Как пленительно и обязательно обращение графа! Офицеры и солдаты любят его как отца, как друга, как равного им товарища, потому что он, в рассуждении их, соединяет в себе все эти качества.

Скоро минет три года, как я оставила дом отцовский! как желала бы я увидеться с батюшкой! Теперь мы выступили в лагерь на шестинедельное ученье; но, когда придем опять на квартиры, я попрошусь в отпуск.

Сегодня я, к стыду моему, упала с лошади! Я могла бы сказать — и к несчастию, потому что упала тогда, как весь полк шел в атаку. Подъямпольский дал мне свою лошадь, молодого, игривого жеребца; маневры наши оканчивались благополучно, оставалось только сделать атаку целым полком. При команде: «С места! марш! марш!» — лошадь моя поднялась на дыбы! прыгнула вперед; от сильного движения этого ножны сабли моей оторвались с переднего ремня и попали между задних ног лошади, которая на всем скаку стала бить и с третьего подкида перебросила меня через голову на землю. Я упала и в ту ж минуту потеряла память. Полк остановили в один миг, что было не трудно с людьми и лошадьми, так превосходно выученными. При первом командном крике: *стой*!.. полк остановился как вкопанный. Офицеры подняли меня с земли, расстегнули мой дулам, или дуломан, развязали галстух и кричали, чтоб лекарь скорее пустил кровь! Но, к великому счастию моему, я пришла в память; хлопоты и дальнейшее раздеванье кончилось. Я повязала опять галстух, застегнула дуломан, скинула изорванную портупею и села опять на лошадь; но уже не училась, а ездила просто за полком. Когда ученье кончилось, Ды́мчевич подозвал меня, и когда я подъехала к нему, то он, отделясь от офицеров, поехал со мной и стал говорить: «Вы сегодня упали с лошади...? — Я хотела было сказать, что лошадь сбила меня. Он повторил суровым голосом: «Вы упали с лошади! только вместе с лошадью может упасть гусар, но никогда с нее. Не хочу ничего слышать! Завтра полк идет на квартиры; поезжайте завтра же в запасный эскадрон к берейтору и учитесь ездить верхом».

Местечко Туриск. Я живу у нашего полкового берейтора поручика Вихмана и каждое утро часа полтора езжу верхом без седла, на попонке, и вечером с час. Мне здесь очень весело; Вихман и я проводим целый

день у полковника Павлищева, командующего запасным эскадроном. В семействе Павлищева меня любят и принимают, как родного. Старшая дочь его прекрасна, как херувим! Это настоящая весенняя роза! Чистая непорочность сияет в глазах, дышит в чертах невинного лица ее. Она учит меня играть на гитаре, на которой играет она превосходно, и с детской веселостию рассказывает мне, где что́ видела или слышала смешного.

В здешнем костеле есть икона *Наисвентшей Панны,* то есть Марии Девы, с младенцем у ног ее, опирающимся на глобус. Об этом образе носится предание, что он написан по желанию прежнего владетеля Туриска князя Осолинского. Князь этот страстно влюбился в дочь одного крестьянина; развелся с женою своей, урожденною княжною О****; дал своей любовнице воспитание, приличное знатной даме, и женился на ней. В первый год брака у них родился сын; счастливый князь, желая везде видеть образ страстно любимой жены и сына, приказал написать икону богоматери, дав изображению ее черты молодой княгини своей. Я долго рассматривала этот образ. Княгиня прелестна! у нее кроткая и пленительная физиономия. Ребенок ее — обыкновенное хорошенькое дитя. Смерть их обоих была ранняя и трагическая. Сильные и гордые О****, видя, что рождение сына делало прочным супружество Осолинского с крестьянкою, и потеряв надежду видеть первую княгиню Осолинскую на прежнем ее месте, велели отравить мать и сына. Предметы нежной привязанности Осолинского погибли в глазах его лютою смертию, и он, хотя пережил свою потерю, но, возненавидев свет, отказался от него и пошел в монахи. Имение перешло в руки графов Мошинских, и теперь владеет им один из них, весьма уже старый человек. Я видела также портрет первой жены Осолинского, княжны О****: какая трогательная красота! печаль и задумчивость рисуются в черных глазах ее; темные тонкие брови, розовые уста и лицо бледное, но миловидное, и которого все черты выражают вместе ум и кротость, чрезвычайно очаровательны. Удивляюсь Осолинскому!

Я продолжаю брать уроки верховой езды; к досаде моей, Вихман страстный охотник, и я волею или нево-

лею, но должна ездить вместе с ним на охоту. Кроме всех неудобств и неприятностей, соединенных с этою варварскою забавою, жалостный писк терзаемого зайца наводит мне грусть на целый день. Иногда я решительно отказываюсь участвовать в этих смертоубийствах; тогда Вихман стращает меня, что если не буду ездить на охоту, то не буду уметь крепко держаться в седле. Охота — единственный способ, говорит он, достигнуть совершенства в искусстве верховой езды; и я опять отправляюсь скакать, сломя голову, по каким-то опушкам, островам, болотам и кочкам и мерзнуть от мелкой изморози, оледеняющей мою шинель и перчатки, и наконец отдыхать в какой-нибудь развалившейся избушке и есть ветчину, которой противный соленый вкус заставляет меня тотчас, как только возьму ее в рот, опять выбросить и есть один хлеб. Эти охотники какие-то очарованные люди; им все кажется иначе, нежели другим: адскую ветчину эту, которой я не могу взять в рот, находят они лакомым кушаньем; суровую осень — благоприятным временем года; неистовую скачку, кувырканье через голову вместе с лошадью — полезным телодвижением, и места низкие, болотистые, поросшие чахлым кустарником — прекрасным местоположением! По окончании охоты начинается у охотников разговор об ней, суждения, рассказы — *термины*, из которых я ни одного слова не разумею. Забавные сцены случаются в компании господ охотников! Из самых отчаянных у нас: Ды́мчевич, Мерлин, Сошальский и Вихман. Думаю, что и умирающий человек захохотал бы при виде Ды́мчевича, который, слушая лай гончих, напавших на след, растрогивается, плачет и, отирая слезы, говорит: «Бедные гончие!» Недавно ехал он на гулянье в коляске с старшею дочерью Павлищева и, увидев зайца, бегущего через поле, пришел в такое восхищение, что, забыв присутствие дамы, отсутствие собак и совершенную невозможность гнаться в коляске за этим зверьком, зачал кричать во весь голос: *«Ату его! ату!.. го, го, го!!»* Внезапный восторг его перепугал девицу, кучера и даже лошадей!

В полк приехал новый шеф — *Миллер-Закомельский.* Он тотчас потребовал меня в штаб. Я должна была оставить прекрасное общество запасного эскадрона, которое я чрезвычайно полюбила; Миллер требовал

меня для того, чтоб сказать, что меня уволили в отпуск на *два месяца,* и узнать, для чего я не просилась по команде, а прямо от государя? Я отвечала, что, имея на это позволение, я воспользовалась им для того только, чтоб скорее получить отпуск. Миллер приказал мне ехать в Дубно к графу *Суворову,* говоря, что я найду там *Комбурлея,* житомирского губернатора, от которого мне должно взять подорожную.

Дубно. Граф приготовляется дать пышный бал завтрашний день и сказал мне, что прежде окончания его празднества я не получу подорожной и что я должен танцевать у него; что он вменяет мне это в обязанность. Выслушав все это, я пошла к адъютанту его, графу *Каховскому,* где нашла многих офицеров своего полка; они пили чай. Вскоре пришел к нам и Суворов, в шлафроке и туфлях; он лег на постель Каховского, говоря, что ушел от нестерпимой возни и пыли, которую подняли, выметая, обметая и убирая целый дом для завтрашнего торжества. Каховский подал ему стакан с чаем; часа через два Суворов ушел к себе, а в горницу Каховского принесли целый воз соломы, разостлали по полу, закрыли коврами, на которые бросили несколько сафьянных подушек, и таким образом составили обширную постель для гостей Каховского. Пожелав доброй ночи моим сослуживцам, я ушла в трактир, где остановилась. Дочь трактирщика, панна Добровольская, отперла мне стеклянные двери, ведущие с улицы прямо в залу: «Я давно жду вас ужинать,— сказала она.— У нас сегодня никого нет; пойдемте ко мне в горницу!» Я пошла с нею в ее комнату, куда принесли нам рябчиков, яблоков, белого хлеба, варенье и полбутылки малаги, которую мы всю и выпили.

БАЛ

Обширные залы суворовского дома наполнены были блестящим обществом. Бездна ламп разливала яркий свет по всем комнатам. Музыка гремела. Прекрасные польки, вальсируя, амурно облокачивались на ловких, стройных гусар наших. Суворов до крайности из-

балован польками. За его прекрасную наружность они слишком уже много ему прощают; он говорит им все, что вспадет ему на ум, а на его ум вспадают иногда дивные вещи! Видя, что я не танцую и даже не вхожу туда, где дамы, он спросил у меня причину этой странности; Ста́нкович, мой эскадронный командир и лихой, как говорится, гусар, поспешил отвечать за меня: «Он, ваше сиятельство! боится женщин, стыдится их, не любит и не знает ни по каким отношениям».— «В самом деле! — сказал Суворов,— о, это непростительно! Пойдем, пойдем, молодой человек, надобно сделать начало!» Говоря это, он взял меня за руку и привел к молодой и прекрасной княгине *Любомирской.* Он представил меня этой даме, сказав: «À la vue de ses fraiches couleurs vous pouvez bien deviner qu'il n'a pas encore perdu sa virginité»[1]. После этой, единственной в своем роде рекомендации граф пустил мне руку; княгиня с едва приметною усмешкою ударила его легонько по обшлагу своим веером, а я ушла опять к своим товарищам и через полчаса совсем оставила бал. Теперь более полуночи, а я привыкла рано ложиться спать; сверх того, я не люблю тех обществ, где много женщин. Ста́нкович не ошибся, сказав, что я боюсь их; я боюсь их в самом деле; довольно женщине посмотреть на меня пристально, чтобы заставить меня покраснеть и прийти в замешательство: мне кажется, что взгляд ее проницает меня; что она по одному виду моему угадывает мою тайну, и я в смертном страхе спешу укрыться от глаз ее!

ОТПУСК

Три года с половиною отец не видал меня; я много переменилась — выросла, пополнела; лицо мое из белого и продолговатого сделалось смуглым и круглым; волосы, прежде светло-русые, теперь потемнели; думаю, что батюшка не вдруг узнает меня. Я поехала одна на перекладных, взяв с собою в товарищи одну только саблю свою и более ничего.

Станционные смотрители, считая меня незрелым юношею, делали много затруднений в пути моем: не

---

[1] Судя по его румянцу, вы легко можете догадаться, что он еще не потерял невинности *(фр.)*.

давали мне лошадей часов по шести для того, чтобы я что-нибудь потребовала — обед, чай или кофе; тогда являлись и лошади. Счет подавался, сопровождаемый этими словами: «С прогонами вот столько-то следует получить с вас!» Обыкновенно это бывала сумма довольно значительная, которую я и платила, не говоря ни слова. Иногда не давали мне лошадей и для того, чтоб заставить нанять вольных за двойные прогоны. О, эта дорога вселила в меня и страх и отвращение к почтовым станциям!

Я приехала домой точно в ту пору ночи, в которую оставила кров отеческий, — в час пополуночи. Ворота были заперты. Я взяла из саней саблю и маленький чемодан и отпустила своего ямщика в обратный путь. Оставшись одна перед запертыми воротами дома, в котором прошло мое младенчество, угнетенное, безрадостное, я не испытывала тех ощущений, о которых так много пишут! Напротив, с чувством печали пошла я вдоль палисада к тому месту, где знала, что вынимались четыре тычины; этим отверстием я часто уходила ночью, бывши ребенком, чтоб побегать на площадке перед церковью. Теперь я вошла через него! Думала ли я, когда вылезала из этой лазейки в беленьком канифасном платьице, робко оглядываясь и прислушиваясь, дрожа от страха и холодной ночи, что войду некогда в это же отверстие и тоже ночью *гусаром!!* Окна целого дома были заперты; я подошла к тем из них, которые были детской горницы, взяла было за ставень, чтобы отворить, но он как-то был прикреплен изнутра, и мне не хотелось стучать, чтоб не испугать маленьких брата и сестру; я пошла к строению, в котором жили матушкины женщины; проходя двором, я была услышана двумя нашими собаками *Марсом* и *Мустафою*; они кинулись ко мне с громким лаем, в ту ж минуту превратившимся в радостный визг; верные, добрые животные то вились вокруг ног моих, то прыгали на грудь, то от восхищения бегали во весь дух по двору и опять прибегали ко мне. Погладив и поласкав их, я взошла на лестницу и пошла ходить от двери к двери, стучась у каждой потихоньку; с четверть часа это было безуспешно; обе собаки ходили за мною, и обе царапали ту дверь, в которую я стучалась. Наконец я услышала, что отворяется дверь в сени, и

вскоре женский голос спросил: «Кто там?» Я тотчас узнала, что это спрашивала Наталья, матушкина горничная. «Это я, отопри, Наталья!» — «Ах, боже мой, барышня!» — вскрикнула радостно Наталья, спеша отворять двери; с минуту гремела она засовами и запорами, пока наконец дверь отворилась, и я вошла, держа под рукою свою саблю и сопровождаемая Марсом и Мустафою! Наталья отступила в изумлении: «Ах, господь с нами! да вы ли это!» Она стала перед дверью неподвижна и не давала мне войти. «Да, пусти, Наталья, что с тобою? Ужели ты не узнала меня?» — «Ах, матушка барышня! да как вас и узнать? кабы не по голосу, и в жизнь бы не узнала!» Наталья отворила мне дверь в горницу, сняла с меня шинель и опять ахнула от удивления, увидя золотые шнуры моего мундира: «Какое на вас богатое платье, матушка барышня! вы генерал, что ли?» Наталья еще с четверть часа молола вздор и притрагивалась руками то к золотым шнурам, то к меховому воротнику моей ментии, пока я наконец напомнила ей, что надобно приготовить мне постель. «Сейчас, сейчас! матушка...— Потом прибавила, говоря сама с собою: — Может быть, теперь нельзя уже звать барышнею! Ну, да где ты скоро привыкнешь...— Она было пошла, но опять воротилась: — Не прикажете ли сделать чаю? в две минуты будет готов!» — «Сделай, милая Наталья».— «Ах, матушка барышня! вы все такие же добрые, как и прежде! — Наталья опять начала разговаривать: — Я сию минуту сделаю чай! да как же вас теперь зовут, барышня? вы, вот я слышу, говорите не так уже, как прежде».— «Зови так, Наталья, как будут звать другие».— «А как будут звать другие, матушка?.. батюшка! извините...» — «Полно, Наталья! поди принеси чаю!» Болтунья пошла, но опять воротилась звать с собою Марса и Мустафу: они оба лежали у ног моих и ворчали на Наталью, когда она вызывала их. «Прогоните их, барышня, им надо быть на дворе».— «После, после Наталья! Сделай милость, ступай за чаем, мне смерть холодно». Наталья побежала бегом, а я осталась размышлять о том, что подобные сцены повторятся не только всеми дворовыми людьми, но и всеми знакомыми отца моего. Воображая все это, я почти сожалела, что приехала. Через четверть часа явилась На-

талья с чаем и подушками. «В котором часу встает батюшка?» — спросила я Наталью. «Как и прежде, матушка барышня, в девятом часу...— После этого ответа она опять стала ворчать про себя: — Никак не привыкну... что̀ ты будешь делать...» Я дала по кренделю Марсу и Мустафе и велела им идти; они в ту ж минуту повиновались.

Поутру в семь часов я оделась в свой белый дулам; хотя давно уже были переменены мундиры нашему полку и вместо белых назначены синие, но эскадрон Ста́нковича, не знаю почему-то, должен был целый год еще носить белые. Не желая пестрить фронт, Ста̀нкович просил нас быть тоже в белых мундирах. на что я всех охотнее согласилась, потому что очень любила это соединение белого цвета с золотом. Когда я оделась, Наталья с новым удивлением смотрела на меня: «Вы много переменились, барышня! Батюшка вас не узнает». Я пошла к сестрам, они уже встали и ожидали меня; в ту ж минуту пришел к нам и батюшка! Я обняла колена его и целовала руки, не имея силы выговорить ни одного слова. Отец плакал, прижимал меня к груди своей и говорил, улыбаясь сквозь слезы, что в лице моем не осталось ни одной черты прежней, что я стала похожа на калмычку. Наконец пришел и маленький брат мой в горном мундире; он долго совещался с нянькою, как ему обойтиться со мною: поклониться только или поцеловать у меня руку; и когда нянька сказала, чтоб он сделал так, как ему самому хочется, то он в ту ж минуту побежал броситься в мои объятия. Целуя его, я говорила батюшке, что жаль было бы оставить такого прекрасного мальчика в горной службе и что года через три батюшка позволит мне взять его с собою в гусарский полк. «Нет, нет. Боже сохрани! — сказал батюшка.—Сама будь, чем хочешь, когда уже вышла на эту дорогу, но утеха старости моей, мой *Васенька,* останется со мною». Я замолчала и душевно сожалела, что имела неосторожность огорчить отца предложением, и неуместным и слишком преждевременным. Между тем брат, ласкаясь ко мне, шептал на ухо: «Я поеду с вами».

Хотя я от всей души люблю отца моего, однако ж бездейственная жизнь, недостаток общества, холодный климат и беспрерывные расспросы наших провинциа-

лов навели на меня такую грусть, что я почти с радостью увидела рассвет того дня, в который должна была ехать обратно в полк. Теперешний путь мой был гораздо затруднительнее первого, но только не в лошадях; в них не делали уже мне прижимок, потому что я говорила смотрителям, каждому, который начинал: *Нет лошадей».*— «Я запишу в твою книгу, сколько часов пробуду здесь, и с тебя спросят, если я просрочу». Итак, лошадей везде давали мне очень скоро; но дорога зимняя начинала портиться; а перекладная повозка моя была теперь несравненно полнее, нежели прежде, и мне страшные хлопоты были перетаскивать все это самой. Я не взяла с собой человека, да и не могла взять.

Возвратясь к моим товарищам и к моим любимым занятиям, я чувствую себя счастливейшим существом в мире! Дни мои проходят весело и безмятежно. Встаю всегда с рассветом и тотчас иду гулять в поле; возвращаюсь перед окончанием уборки лошадей, то есть к восьми часам утра; в квартире готова уже моя лошадь под седлом; я сажусь на нее и еду опять в поле, где учу взвод свой часа с полтора; после этого уезжаю в штаб или к эскадронному командиру, где и остаюсь до вечера.

За уроки верховой езды я подарила Вихману свою негодную лошадь; он велел заложить ее в дрожки, и, к удивлению нашему, она сделалась прекрасным конем: итак, оглобли были та сфера, которую назначила ей природа. Так, я думаю, и с человеком бывает! Он будет хорош, если встанет точно на свое место. Еще отдала я Вихману охотничий рог из слонового клыка с прекрасною резьбою; эту редкую вещь батюшка дал мне для графа Суворова; но мне что-то казалось стыдно дарить графа, и я отдала рог Вихману и в ту ж минуту была наказана за неисполнение воли батюшкиной: Вихман взял эту редкость точно так холодно и невнимательно, как будто бы это был коровий рог с табаком.

Баталион наш ушел в Галицию с Миллером-Закомельским. Эскадрон Ста́нковича со всеми его офицерами остается здесь под названием резервного и вместе с запасным будет находиться под начальством Павлищева; я также, будучи офицером эскадрона

Ста́нковича, остаюсь здесь; хотя мне и очень хотелось быть опять за границею и в действии, но Ста́нкович говорит: «Куда не посылают, не напрашивайся; куда посылают, не отказывайся! Этим правилом руководствуются люди испытанной храбрости». Совет его и отличное общество офицеров, вместе со мною остающихся, помогли мне видеть с меньшим сожалением отъезд наших храбрых гусар за границу; случай сделал, что и любезнейшая из полковых дам осталась здесь же. Я хотя и убегаю женщин, но только не жен и дочерей моих однополчан; их я очень люблю; это прекраснейшие существа в мире! Всегда добры, всегда обязательны, живы, смелы, веселы, любят ездить верхом, гулять, смеяться, танцевать! Нет причуд, нет капризов. О, женщины полковые совсем не то, что женщины всех других состояний! С теми я добровольно и четверти часа не пробыла бы вместе. Правда, что и мои однополчанки не пропускают случая приводить в меня в краску, называя в шутку: *гусар-девка!* Но, будучи всегда с ними, привыкаю к этому названию и иногда столько осмеливаюсь, что спрашиваю у них: «Что́ вы находите во мне сходного с девкою?» — «Тонкий стан,— отвечают они,— маленькие ноги и румянец, какой каждая из нас охотно желала бы иметь; поэтому мы и называем вас *гусаром-девицею* и — с позволения вашего — несколько и подозреваем, не по справедливости ли даем вам это название!» Слыша почти каждый день подобные шутки, я так привыкла к ним, что никогда уже почти не прихожу в замешательство.

Мы стоим на границах Галиции в местечке *Колодно*; здесь сухая граница, и обязанность наша делать разъезды и иметь надзор над исправностью казачьего кордона. Колодно принадлежит Швейковскому; у него красавица жена, воспитанная в Париже. Большая каштановая аллея, темная как ночь, ведет от крыльца помещичьего дома к небольшому беленькому домику, обсаженному кругом липами. В этом домике живет эконом с доброю женою и двумя веселыми, резвыми, милыми дочерьми; в этом домике все мы бываем каждый день. Я замечаю, что товарищи мои сидят здесь долее, нежели у гордой и прекрасной Швейковской.

Офицер Вонтробка рассказывал, что в одну из своих прогулок верхом за границу встретился он и познакомился с бароном Чехович, и говорил, что баронесса имеет такую восхитительную красоту, какой никогда еще не представляло ему и самое воображение; но, что, к счастью всех знакомых ей мужчин, ограниченный ум и недостаток скромности служат сильным противоядием гибельному действию зараз ее и что, при всей очаровательности ее неописанной красоты, никто не влюблен в нее, потому что слова и поступки ее уничтожают в одну минуту впечатление, произведенное ее небесною наружностью.

Близ границ наших завелась проклятая *рухавка,* так называют поляки свое ополчение, или, лучше сказать, толпу всякого сброду: все это оборванное, босое, голодное скопище вздумало еще прославлять свой подвиг, довольство и свободу! К стыду бравых мариупольцев, некоторые из них обольстились этим враньем и убежали, чтоб вступить в отвратительную *рухавку.* Ста́нкович очень оскорбился таким неслыханным поступком гусар и послал Вонтробку и меня с целым взводом отыскать, если можно, наших беглецов, взять их силою и привести обратно в эскадрон. Вонтробка принялся за выполнение этого поручения, так что выезд наш для поисков походил более на вылазку против неприятеля, нежели на простой розыск. Мы переехали границу и в полуверсте от местечка *** остановились, сошли с лошадей и чего-то дожидались — я не знаю. Вонтробка старший; он командует и распоряжает, а для чего я тут же, право, не понимаю! Ста́нкович все делает с каким-то излишним триумфом. Мы стояли безмолвно! Я легла на траву и смотрела на блестящее созвездие *Большой Медведицы.* Она припомнила мне веселое время ночных прогулок моих в детских летах. Как часто, дав волю моему *Алкиду* и не заботясь о его дороге, я, опершись обеими руками на холку его и закинув голову вверх, по целой четверти часа рассматривала эти прекрасные семь звезд! Погрузясь всей душою в воспоминания, я была попеременно то двенадцатилетним ребенком на хребте своего Алкида, то коннопольцем, то середи густых лесов Сибири, то на полях Гейльзберга, то на могиле твоей, о конь мой незабвенный!.. Сколько вре-

мени! сколько происшествий! сколько перемен с того времени! Но вот я опять вижу тебя, мое любимое Созвездие! Оно все то же, так же блистательно, те же семь звезд; на том же месте! Одним словом: оно все то же... а я!.. Пройдут годы, пройдут десятки годов, оно будет все то же; но я!... Мысль моя перенеслась в будущность через *шестьдесят* лет вперед, и я с испугом встала... Кивер! сабля! рьяный конь!.. восемьдесят лет!! «Аргентий, едем, ради бога едем! Чего мы тут стоим?...» Я села на лошадь и стала делать вольты в галоп. Неприятные мысли кружились вместе со мною. «Что тебе за охота мучить лошадь?» — спросил Вонтробка. «Для чего ж мы тут стоим по-пустому!» — «Как по-пустому! Я знаю время, когда надобно въехать в местечко... Ну, вот теперь пора... Садись!.. справа по три! марш!..!» Мечты исчезли, я возвратилась к существенности; мы сели на лошадей и отправились к местечку; въехали таинственно, без шуму, с предосторожностями вытянули фронт против стен какого-то кляштора, и Вонтробка послал унтер-офицера и четырех гусар в этот кляштор искать беглецов наших. Разумеется, посланные возвратились ни с чем, потому что кляштор был кругом заперт. На рассвете Вонтробка, оставив людей, поехал вместе со мною к коменданту этого местечка полковнику N***, который был также и командир *рухавки*. Полковник этот был уже знаком Вонтробке прежде, но я видела его в первый раз. Он принял нас смущенно и торопливо; просил садиться; извинялся, что не одет, и тотчас ушел в другую горницу, говоря, что сию минуту воротится. Вонтробке показался такой прием подозрительным, и он сказал мне, что надобно тотчас уехать; и так, не дождавшись хозяина, мы вышли из комнаты, присоединились к своим людям и уехали! Я находила поступок Вонтробки странным и спрашивала его, для чего он это сделал? Он сказал, что заметил в коменданте враждебные намерения. «Да что ж он мог нам сделать? ведь у нас целый взвод гусар».— «Вот прекрасно! целый взвод! а зачем мы здесь? Мы не могли бы сказать в оправдание, что ездили отыскивать бежавших гусар и хотели взять их, если найдем вооруженною рукою; это делалось секретно; это хозяйственное распоряжение эскадронного командира,

извинительное в таких случаях. Ведь неприятно рапортовать, что столько-то гусар бежало за границу».

Неудачность покушений наших не остановила Ста́нковича. Он послал меня в Тарнополь к князю Вадбольскому с письмом и поручением привесть беглых гусар, если мне их отдадут. Мне надобно было проезжать через это самое местечко, где мы делали наш ночной обыск; у заставы спросили, есть ли у меня билет от их полковника? «Нет!» — «Вас нельзя пропустить; достаньте билет...» Я послала гусара к полковнику просить билета; полковник велел просить меня, чтобы я пришла за билетом сама. Я пошла. «Вы должны б были лучше знать свою обязанность, господин офицер,— сказал поляк, нахмурясь.— К начальнику надобно являться самому, а не посылать рядового...— Говоря это, он наскоро подписывал билет.— Приехали с вооруженными людьми, обыскивали кляштор, пришли ко мне, и, когда я вышел на одну минуту, только приказать подать кофе, вы уехали, как будто из разбойничьего вертепа! Как странно так поступать русскому офицеру!..» И все это я должна была слушать. Минуты с две я думала предложить ему стреляться со мною; но опасение подвергнуть Ста́нковича ответственности удержало меня. Я отложила сделать этот вызов, как возвращусь из Тарнополя; тогда мы съедемся на границе. Между тем я сказала, что теперь он волен говорить, что́ хочет, потому что я один здесь, окружен поляками и за границею своего государства. Пока я говорила, он подал мне билет с вежливою уклонкою и, протянув ко мне руку, сказал, что просит моей дружбы; но я отвела его руку своею, отвечая, что после всего услышанного от него я не имею желания быть его другом. Он поклонился, проводил до дверей, и мы расстались.

Я отправилась далее. Ста́нкович приказал мне, что если не отыщу бежавших гусар наших в Тарнополе, то должна буду проехать в Броды.

В Тарнополе стоит Литовский уланский полк. Командир его князь Вадбольский послал вместе со мною в Броды одного из своих офицеров. Приехав в это местечко, мы тотчас пошли к польскому полков-

нику, где нашли многочисленное общество и гремящую музыку. Полковник принял нас очень вежливо, просил остаться у него обедать и взять участие в их удовольствиях. Страхов, товарищ мой, согласился, а я и подавно рада была слушать прекрасную музыку и веселый разговор остроумных молодых поляков. Мы сказали, однако ж, полковнику, зачем приехали, и просили, чтоб он приказал выдать нам наших беглецов. «Со всею готовностью»,— отвечал вежливый хозяин наш и в ту ж минуту послал пана подхоронжего привесть наших гусар, а нас просил, в ожидании, послушать его музыки и выпить по бокалу шампанского. Через полчаса возвратился пан подхоронжий и, приложа руку к меховому киверу, начал говорить почтительно своему полковнику, что гусар, за которыми он посылал его, нет на гауптвахте! «Где ж они?» — спросил полковник. «Убежали!» — отвечал подхоронжий все тем же почтительным тоном. Полковник оборотился ко мне, говоря: «Я очень жалею, что не могу в этом случае оказать вам моих услуг; гусары ваши ушли из-под стражи!» Я хотела было сказать, что это не делает чести их караулу, и не сказала, однако ж; да и к чему бы это было? Не было сомнения, что гусары находились у них и что полковник не имел и в помышлении отдать их. Польские офицеры не могли налюбоваться моим мундиром, превосходно сшитым: они говорили, что их портные не в состоянии дать такую прекрасную форму мундиру. За столом я сидела подле какого-то усача, старинного наездника, служившего еще в Народовой кавалерии; он, выпив несколько бокалов шампанского, привязался ко мне с вопросом, зачем я снял с Лемберга французского орла и привесил австрийского? Я не понимала, чтó он хочет сказать. Страхов, видя мое недоумение, сказал запальчивому народовцу, что меня не было в Львове во время этого происшествия. «Как не было? — восклицал старый улан,— я хорошо помню этот мундир! — и продолжал укорять меня, говоря: — Хорошо ли было так сделать?» Полковник просил его перестать; но просил тем начальническим тоном, которому даже пьяные уланы повинуются. Ротмистр замолчал. Тогда Страхов объяснил мне вполголоса, что наш полк, находя-

щийся с Миллером-Закомельским в Лемберге или Львове, снял откуда-то французского орла и заместил его гербом австрийским; ротмистр-народовец, бывший свидетелем этого происшествия, увидя меня в таком же точно мундире, счел, что и я из числа тех, как он говорил, буйных головорезов. После обеда я простилась с польским полковником и, оставя ему в добычу беглых гусар наших, возвратилась в Колодно.

Вонтробка пригласил меня ехать к баронессе Чехович. «Надобно тебе,— говорил он,— иметь понятие о ее красоте; мое описание недостаточно!» Мы поехали и, к большому счастию моему, не застали ее дома; нас принял один барон. В саду видела я различные роды увеселений, о которых Вонтробка говорит, что все они имеют целию сломить голову занимающимся ими. «Баронесса,— прибавил он,— всеми способами добирается до головы своих посетителей, или посредством красоты своей, или увеселений». Не дождавшись прибытия хозяйки, мы уехали обратно. Вонтробка признался мне в умысле, с каким хотел познакомить меня с баронессою. «Крайняя наглость ее,— говорил он,— встретясь с твоею необыкновенною застенчивостью, обещала мне тьму забавных сцен». Я была очень недовольна его сатанинским планом и сказала ему, что он дурной товарищ и что с этого времени я буду его остерегаться. «Как хочешь,— отвечал он,— но ты несносен и смешон с твоей девичьею скромностью. Знаешь ли, что я скажу тебе? Если бы у меня была жена такая скромная и стыдливая, как ты, я целовал бы ноги ее; но если б с такими же качествами был сын мой, я высек бы его розгами. Теперь посуди сам, не надобно ли тебя отучать всеми способами от твоей смешной стыдливости? Она совсем нейдет гусару и ни на что ему не пригодна».

Ста́нкович делает нам не очень-то приятные сюрпризы: в самое то время, когда мы, как небо от земли, далеки от всякого помысла о каком бы то ни было беспокойстве, он велит играть тревогу, и вмиг все взволнуется: гусары бегут опрометью, выводят бегом лошадей, седлают их как попало, садятся, скачут во весь дух и на скаку поправляют на себе, что́ нельзя

было сделать на месте. Поспевшему в две минуты дается от ротмистра награждение, а приехавшему после всех — тоже награждение, но только совсем другого рода. Одна из этих тревог пришлась мне дорого. У меня болело колено, и именно в том месте, которым надобно прижаться к седлу; я не могла сидеть на лошади и даже испугалась, когда услышала проклятую тревогу; но нечего было делать: выправя поспешно взвод свой, села и сама на лошадь с осторожностию, чтобы не придавить больного колена. Но ведь надобно было скакать: лошадь моя задрала вверх голову и полетела. Все еще, однако ж, сохраняла я необходимое положение на седле; на беду, на пути моем была яма, в которую лошадь моя со всего размаха прыгнула, и тут все пропало; колено мое облилось кровью, я затрепетала от боли, которой никакими словами не могу выразить; довольно, что невольные слезы градом покатились из глаз моих.

Через несколько дней Ста́нкович пригласил меня ехать с ним в *Кременец* к Павлищеву; я всегда с удовольствием бываю в этом городке; его прекрасное романическое положение у подошвы утесистой горы, на которой красуется развалившаяся каменная ограда за́мка королевы Боны, доставляет мне очаровательную и разнообразную прогулку. Полагаю, что Кременец получил свое название от кремнистых гор, его окружающих.

Я очень приятно провожу время в доме Павлищева с его дочерью и юнкером Древичем, отлично воспитанным молодым человеком. Как странна судьба этого несчастного юнкера. При всех его блестящих дарованиях, благородных поступках, недурной наружности и знатном происхождении, он никем не любим и девять лет уже служит портупей-юнкером. За год до знакомства моего с ним случилось ужасное происшествие, в котором он играл главную роль и которое отняло у него чин, свободу и спокойствие совести, а вместе со всем этим и охоту жить: он заколол по неосторожности гусара; за смерть его был судим, содержан целый год на гауптвахте и после разжалован до выслуги в солдаты. Я узнала его несчастия по случаю. Еще Миллер-Закомельский не уходил с баталионом в Галицию, и полк стоял в Кременце; по обя-

занности дежурного, я должна была знать и рапортовать об арестантах. Вошед в маленькую каморку, где сидел бедный Древич, я спросила его, не имеет ли он в чем надобности? что теперешняя моя должность дает мне возможность облегчить несколько суровость его положения. «Ах, если вы не гнушаетесь просьбою убийцы,— сказал он горестно,— то я просил бы вас позволить мне подышать воздухом на этих горах, на которых я прежде проводил столько счастливых часов!» Я сказала, что сама собою не могу этого сделать, но попрошу *Горича* и думаю, через него успею получить от шефа позволение на эту прогулку. Горич очень вежливо выслушал мою просьбу и тотчас пошел к Миллеру; через минуту он возвратился ко мне, говоря, что генерал дает вам волю поступать как угодно в рассуждении облегчения участи арестанта; но просит вас соблюсти должный порядок! Я пошла к Древичу и была свидетельницей радостных и вместе горестных ощущений его при виде красот природы. За нами пошли было два гусара с обнаженными саблями, но я сказала им, что буду сама его стражем и чтобы они следовали за нами издали. Древич несколько раз едва не упал в обморок: столько сидячая жизнь ослабила силы его!

Обоим нашим эскадронам велено идти в поход. Древич отдан под надзор полковнику Павлищеву; достойный офицер этот не имел нужды в образовании, чтобы поступить с арестантом самым благородным и деликатным образом; он просто последовал внушению высокой добродетели: «Вы отданы,— сказал он Древичу,— в мой эскадрон под присмотр до решения вашего дела; но я не могу, я не имею духа видеть вас арестантом на гауптвахте, взамен ее предлагаю вам дом мой, стол и попечение друга. Если б вы решились уйти от меня, разумеется, тогда я заступлю ваше место, то есть буду солдат!» Нет пера, нет слов, беден язык человеческий для выражения того, что чувствовал Древич; я не берусь этого описать. Но вот последствия: Древич жил в доме благодетеля своего, любил его, как отца, и помирился было с своею участью; но пришло решение: Древич — солдат до выслуги. Павлищев обязан был употреблять его в этом качестве на службу, и, видно, продолжительные несчастия, укоры совести в убийстве, хотя

и не умышленном, но все убийстве, и — как я имела случай догадываться — безнадежная любовь к дочери Павлищева сделали несчастному Древичу жизнь его ненавистною! Недели через две после сентенции он застрелился; его нашли в саду на плаще с разлетевшеюся на части головою: близ него лежал карабин.

Мы пришли в Черниговскую губернию и стали квартирами в обширном селении, называющемся *Новая Басань;* здесь живет помещик Чеадаев, старый, уединенный, скучный человек, с такою ж точно сестрою. Мы никогда у него не бываем.

В соседстве у нас свадьба. Помещик М*** отдает дочь свою за ротмистра И*** Александрийского гусарского полка; мы все приглашены и завтра поедем. В доме М*** всем мужчинам отвели одну комнату; в ней поместились военные и штатские, молодые и старые, женатые и холостые. Я, в качестве гусара, должна была быть с ними же; в числе гостей был один комиссионер, *Плахута,* трехаршинного роста, весельчак, остряк и большой охотник рассказывать анекдоты. В множестве рассказываемых им любопытных происшествий я имела удовольствие слышать и собственную свою историю: «Вообразите,— говорил Плахута всем нам,— вообразите, господа, мое удивление, когда я, обедая в Витебске, в трактире, вместе с одним молодым уланом, слышу после, что этот улан *Амазонка,* что она была во всех сражениях в Прусскую кампанию и что теперь едет в Петербург с флигель-адъютантом, которого царь наш нарочно послал за нею! Не обращая прежде никакого внимания на юношу-улана, после этого известия я не мог уже перестать смотреть на героиню!» — «Какова она собою?» — закричали со всех сторон молодые люди. «Очень смугла,— отвечал Плахута,— но имеет свежий цвет и кроткий взгляд, впрочем, для человека непредупрежденного в ней не заметно ничего, что бы обличало пол ее; она кажется чрезвычайно еще молодым мальчиком». Хотя я очень покраснела, слушая этот рассказ, но как в комнате было уже темно, то я имела шалость спросить Плахуту: узнал ли бы он эту Амазонку, если б теперь увидел ее? «О, непременно,— отвечал комиссионер,— мне очень памятно лицо

ее; как теперь гляжу на нее; и где б ни встретил, тотчас бы узнал».— «Видно, память ваша очень хороша»,— сказала я, завертываясь в свою шинель. Плахута начал еще что-то рассказывать, но я не слушала более и тотчас заснула.

На другой день все мы уехали в Басань свою. Девица А*** рассказала мне о смешной ошибке, которая, однако ж, может иметь важные последствия. На третий день возвращения нашего со свадебного пира пошла я к подполковнику; видя его занятого делом, я прошла в комнату девицы А*** и нашла ее погруженную в глубокую задумчивость. На вопрос мой, отчего она так пасмурна и не усталость ли от танцев этому причиною? — отвечала она, вздыхая: «Нет, не усталость от танцев, а происшествие в танцах тяготит душу мою! Я одержала победу, без воли, без намерения, не только не желая, но и не подозревая даже, что такая напасть может со мной случиться!» Я смеялась ее печали и спросила, как же сделалось с нею такое чрезвычайное несчастие? и кто этот богом отверженный, над которым победа причиняет ей такую горькую печаль? «Хорошо вам шутить,— сказала А***,— я готова плакать. Вот послушайте, как это было: вы знаете, что я очень дружна с Катенькой Александровичевой; мы обе, когда нам случается в танцах подавать друг другу руку, всегда уже пожимаем ее; забывшись, я не видала, что надобно было подать руку Ч***, этому молодому гусарскому офицеру Александрийского полка; чувствую, что руку мою взяли, я тотчас пожала, воображая, что рука Катеньки; но, не слыша ответа на мое пожимание, оглядываюсь и, к неизъяснимому замешательству моему, вижу, что это Ч*** держит мою руку и смотрит на меня с видом радости и изумления! Я покраснела и не знала, куда девать глаза свои. Вчера Ч*** сделал мне предложение о супружестве через жену Ста́нковича, желая, как он говорит, увериться в моих чувствованиях и тогда уже просить меня у моих родителей! Но я не имею к нему ни малейшей склонности и совсем не хочу идти так рано замуж. Беда моя, если он отказ этот припишет стыдливости и будет свататься открыто; батюшка отдаст меня! Ч*** богат!» — «Да, наделали вы себе хлопот с этим безвременным пожи-

манием рук; нельзя, однако ж, не удивляться благородству чувствования Ч***; одно пожатие руки девицы заставило его предложить о супружестве, тогда как другой, повеса, пожал бы вашу руку тридцать раз и не дал бы уже нигде покоя, не заботясь предлагать о неразрывном союзе...» Разговор наш был прерван приходом отца девицы А***, Ста́нковича и жены его; опасения А*** были основательны. Ч*** сделал предложение отцу, который принял его с радостию и, полагая наверное, что дочь его согласится, пришел сказать ей об этом предложении. Много было удивления, слез, брани, хлопот, пока наконец девица А*** избавилась нежеланной партии.

Прогуливаясь вечером около мельниц, увидела я, что гусары наши расстанавливают за рвом соломенное чучело. На вопрос мой, для чего это? — отвечали, что завтра ученье конное с стрельбой из пистолетов.

В шесть часов утра мы были уже на поле; Ста́нкович командовал эскадроном; Павлищев был инспектором этого смотра. Действие открыл первый взвод под начальством Т***, которому надобно было первому перескочить ров, выстрелить из пистолета в соломенное чучело и тотчас рубить его саблею; люди последуют за ним, делая то же. Т*** тотчас отрекся прыгать через ров, представляя, к общему смеху нашему, причину своего отказа ту, что он упадет с лошади. «Как вы смеете сказать это,— вскричал инспектор,— вы кавалерист! гусар! Вы не стыдитесь говорить в глаза вашему начальнику, что боитесь упасть с лошади. Сломите себе голову, сударь, но скачите! делайте то, что должно делать в конной службе, или не служите». Т*** выслушал все, но никак не смел пуститься на подвиг и был просто только зрителем отличавшихся его гусар. За ним П*** плавно поскакал, флегматически перескочил ров, равнодушно выстрелил в чучело и, мазнув его саблею по голове, стал покойно к стороне, не заботясь, хорошо или дурно делает эволюции взвод его. За ним была очередь моя; у меня на этот раз не было своей лошади, и я сидела на одной из фронтовых; это был конь пылкий, красивый собою, но до крайности пугливый. Он вихрем понесся к рву, перелетел его со мною, как птица; но вы-

стрел из пистолета заставил его прыгнуть в сторону; с четверть часа мыкался он то туда, то сюда, становился на дыбы и относил быстро от чучела, которого мне надобно было рубить. Я совсем потеряла терпение, и, желая скорее кончить эту возню, ударила саблею своего капризного коня, как мне казалось, плашмя; конь бросился со всех ног на чучело и даже повалил его. Не заботясь о причине такого скорого повиновения, я оборотила лошадь, перескочила обратно ров и стала смотреть, как мои гусары делали ту же самую эволюцию; наконец она кончилась. Выступил на сцену четвертый взвод; им командовал Вонтробка — отличный стрелок и наездник. Я сделалась в свою очередь простым зрителем и подъехала к Ста́нковичу и Павлищеву, чтоб вместе с ними смотреть на молодецкие выходки последнего взвода. «Что это за кровь на ноге вашей лошади, Александров?» — спросил Ста́нкович. Я оглянулась: по копыту задней ноги моего коня струилась кровь и обагряла зеленый дерн. Удивляясь, осматриваю с беспокойством, откуда б это могло быть, и, к прискорбию моему, вижу на клубе широкую рану, которую, вероятно, я нанесла, ударив так неосторожно саблею. На повторенные вопросы Ста́нковича: «Отчего это?» — я должна была сказать, отчего. Ста́нкович переменился в лице от досады: «Поезжайте за фронт, сударь! Поезжайте на квартиру! вам не на чем быть на ученье и незачем; вы мне перераните всех лошадей!» Оглушенная этим залпом выговоров, я поехала на квартиру, не столько раздосадованная журьбою ротмистра, как опечаленная жестоким поступком моим с бедною лошадью. Приехав на квартиру, я приказала при себе вымыть рану вином и заложить корпией. По окончании ученья все поехали к Павлищеву, в том числе и господин Т***. На вопрос Павлищева, а где ж Александров? — трус Т*** поспешил сказать: «Он теперь омывает горячими слезами рану лошади своей».— «Как это! какой лошади?» — «Той, на которой он сидел и которой разрубил клуб за то, что не пошла было на чучело».— «С вами этого не случится, Григорий Иванович! скорее чучело пойдет на вас, нежели вы на него».— Насмешник замолчал с неудовольствием.

КОМАНДИРОВКА
1810

Киев. Стáнкович получил повеление прислать одного офицера, унтер-офицера и рядового к главнокомандующему резервной армией генералу *Милорадовичу* на ординарцы; эскадронному командиру моему пришла фантазия послать ординарцев самых молодых, и по этому распоряжению жребий пал на меня, как говорит Стáнкович, на юнейшего из всех офицеров. Хорошо, что я уже не так молода, как кажусь; мне пошел двадцать первый год, а то я не знаю, что хорошего дождался бы Стáнкович, отправляя трех молокососов одних на собственное их распоряжение и на такой видный пост. Юнкеру Граве шестнадцать лет; гусару восемнадцать, а моя наружность не обещает и шестнадцати. Отличные ординарцы!

На рассвете отправилась я с своею командою в Киев, где находится наша корпусная квартира. Для избежания нестерпимого жара и сбережения лошадей я ехала ночью от Броварей до Киева. Густой сосновый лес искрещен весь бесчисленным множеством дорог, глубоко врезавшихся в песок; не зная, что все они выводят к одному месту, к берегу Днепра и Красному трактиру, я думала, что мы заплутались; продолжая ехать наудачу, дорогою, какая случилась перед нами, и будучи окружены непроницаемою чащею, увидела я что-то мелькнувшее с дороги в лес; дав шпоры лошади, прискакала я к тому месту, где что-то пряталось за деревьями. На оклик мой: кто тут? — вышла крестьянка, едва переводившая дух от страха; но, увидя спокойный и дружелюбный вид трех молодых гусар, она и сама успокоилась и говорила уже смеючись: «Вишь, беда какая, я испугалась вас, а вы меня!» Граве показалось очень смешно, что малороссиянка думала, будто три гусара, вооруженные, могли ее испугаться. «Скажи нам, матушка, куда мы едем? нам надобно в Киев».—«Ну, так вы туда и едете»,— отвечала женщина своим малороссийским наречием. «Как же угадать нам, куда повернуть; здесь такое множество дорог!» — «Что до этого,— сказала крестьянка,— все они выходят к одному месту, к Красному трактиру, недалеко от перевоза». Сказав ей спасибо,

мы поехали рысью и скоро увидели блистающий от лунного света Днепр. Пока проснулись перевозчики и приготовили паром, месяц зачал тускнуть, знак занимающейся зари. Мы взошли на паром, и пока переправлялись, то рассвело совсем. Я поехала прямо к нашему генералу *Ермолову;* у него на дворе юнкер мой и гусар расположились биваками; а я прошла в залу и легла не раздеваясь на диван. Встав за полчаса до пробуждения Ермолова, я привела в порядок свой униформ и ожидала, когда он проснется, чтобы тотчас идти к нему. Прием генерала был весьма ласков и вежлив. Обращение Ермолова имеет какую-то обворожительную простоту и вместе обязательность. Я заметила в нем черту, заставляющую меня предполагать в Ермолове необыкновенный ум: ни в ком из бывающих у него офицеров не полагает он невоспитания, незнания, неуменья жить; с каждым говорит он как с равным себе и не старается упростить свой разговор, чтоб быть понятным; он не имеет смешного предубеждения, что выражения и способ объясняться людей лучшего тона не могут быть понятны для людей среднего сословия. Эта высокая черта ума и доброты предубедила меня видеть все уже с хорошей стороны в нашем генерале. Черты лица и физиономия Ермолова показывают душу великую и непреклонную!..

Адъютант Милорадовича К*** прислал просить меня к себе; я пришла и тотчас увидела, что он ожидал не меня: грубый, необразованный офицер этот спросил, не предложив даже мне стула: «Почему эскадронный командир ваш не прислал на ординарцы того офицера, которого я назначил?» — «Вероятно, потому,— отвечала я,— что назначение ваше несообразно было с его хозяйственными распоряжениями в эскадроне. У нас ведется очередь откомандировок, о которых постороннему нет надобности заботиться». Я видела, что ответ мой рассердил К***, он необыкновенно горд, как вообще все мелочные люди. Несмотря на видимую молодость мою, я имела удовольствие сделать К*** врагом своим.

Выбираются дни, что я с утра до вечера летаю на своем коне — *Алмазе* — или подле кареты Милорадовича, или с поручениями от него к разным лицам в Киеве. В последнем случае он посылает меня тогда

только, когда тот, к кому надобно послать, проезжий или приезжий генерал; но когда он выезжает сам в карете или верхом, то всегда уже сопровождаю его я одна с моими гусарами, и никогда никакой другой ординарец не ездит за ним. Из этого я заключаю, что Милорадович любит блеск и пышность; самолюбию его очень приятно, что блистающий золотыми шнурами гусар на гордом коне рисуется близ окна его кареты и готов по мановению его лететь, как стрела, куда он прикажет.

К*** пришло в голову осматривать, так ли, как должно, одеты ординарцы, не только рядовые, но и офицеры. Сумасбродная фантазия! Может ли пехотный офицер знать в тонкости все принадлежности гусарского мундира, и вдобавок лучше, нежели сами гусары! Я не послушала его приказания как такого, которое не могло ко мне относиться; не поехала к нему на смотр ни сама, ни гусар своих тоже не послала. Он имел слабость пожаловаться Ермолову, у которого все мы, как у дежурного генерала, под непосредственным начальством; Ермолов спросил меня, для чего я не являюсь к К***? «Для того, ваше превосходительство,— отвечала я,— что К*** ничего не смыслит в нашей униформе, и что странно было бы, если б гусарский офицер имел нужду в наставлениях пехотного, как одеться в свой мундир». Ермолов не настаивал более, но сказал только: «К*** это приказано от Милорадовича, сладьте это как-нибудь».— «Поверьте, генерал, что К*** лжет! Милорадович имеет столько ума, чтоб не посылать гусар на смотр к мушкетеру». Дело обошлось без дальних хлопот. К*** оставил свои претензии.

Сегодня было заложение инвалидного дома. По окончании всех обрядов все мы обедали в палатках; день был до нестерпимости жарок. Прежде еще присутствования при заложении дома Милорадович объехал в сопровождении всей свиты своих ординарцев все крепости, что составляло верст двадцать. Его небольшая арабская лошадь, галопируя весьма покойно, не утомила нисколько своего всадника; но не то было со мною: мой Алмаз, не умея сообразить своих скачков с легким и плавным галопом питомца степей и, сердясь, что не дают ему воли скакать, как бы ему хо-

телось, беспрестанно прыгал, становился на дыбы, тротировал и рвал из рук повода. Он так измучил меня, что, когда мы приехали к палаткам, я думала, кровь моя вспыхнет: таким горячим потоком кипела она во всем теле моем!

Мы тотчас после освящения сели за стол; я положила в рюмку кусок льду; *Голицын,* стоявший в это время подле меня, ужаснулся: «Что вы делаете,— сказал он,— вы можете смертельно простудиться». Пока он это говорил, я выпила одним духом свое вино со льдом. «Неужели вам не вредны такие переходы от жары к холоду?» Я отвечала, что привыкла ко всему этому. И в самом деле, здоровье мое беспримерное; я, так сказать, цвету здоровьем, и мне до крайности не нравятся мои алые щеки. Я как-то спросила *Любарского,* нашего полкового лекаря, не знает ли он средства избавиться лишнего румянца? «Очень знаю,— отвечал он,— пейте больше вина, проводите ночи за картами и в волокитстве. Через два месяца этого похвального рода жизни вы получите самую интересную бледность лица».

Мне очень весело в Киеве; я имею здесь много приятных знакомств, в числе которых считаю дом *Масса,* здешнего коменданта; родной племянник его, *Шлеин,* кирасирский офицер, мне хороший приятель. Масс, несмотря на свои шестьдесят лет, все еще молодец и так бодро скачет на коне, как лучший из наших гусар.

Вчера был концерт в пользу бедных; Милорадович подарил по два билета всем своим ординарцам, в том числе и мне. Концерт был составлен благородными дамами; главною в этом музыкальном обществе была княгиня Х***, молодая, прекрасная женщина и за которою наш Милорадович неусыпно ухаживает. Я не один раз имела случай заметить, что успех в любви делает генерала нашего очень обязательным в обращении; когда встречаюсь с ним в саду, то всегда угадаю, как обошлась с ним княгиня: если он в милости у нее, то разговаривает с нами, шутит; если ж напротив, то проходит пасмурно, холодно отвечает на отдаваемую нами честь и не досадует, если становимся ему во фронт, тогда как в веселом расположении духа он этого терпеть не может.

Милорадович давал бал в день именин вдовствующей государыни; блестящий, великолепный бал! Залы наполнены были гостьми; большой старинный сад был прекрасно иллюминован; но гулять в нем нельзя было и подумать: Милорадовичу вздумалось угощать там свой *Апшеронский* полк, что и было после причиною смешного происшествия; вечером бесчисленное множество горящих ламп, гремящая музыка и толпы прекрасных дам привлекли любопытство находившихся в саду наших храбрых сподвижников; они подошли как можно ближе к стеклянным дверям залы, которые были отворены и охраняемы двумя часовыми. Масс, видя, что толпа солдат сгущается от часу более и напирает в двери, так что часовые с трудом могут ее удерживать, чтоб не вломилась в залу, подозвал меня; я была в этот день на дежурстве: «Скажи, Александров, часовым, чтобы затворили двери». Я пошла было исполнить приказание; но Милорадович, слышавший, что говорил мне Масс, остановил меня, спрашивая: «Куда вы?» Я отвечала, что иду сказать часовым... «Знаю,— перервал Милорадович нетерпеливо,— не надобно затворять! пусть войдут! Юнкера могут танцевать! Останьтесь на своем месте!..» Говоря это, он поправил раза два свой галстух, что было признаком досады, и пошел к часовым сказать, чтоб не мешали идти в залу кому вздумается из солдат. Следствием этого распоряжения было то, что менее нежели в пять минут зала наполнилась солдатами, высыпавшими, как рой, из садовой двери; вмиг смешались они с гостьми. Масс пожимал плечами, Ермолов усмехался; дамы с изумлением отступали назад, видя подле себя эти дебелые и грубые существа. Я, вместе с другими ординарцами, смеялась от души странному этому зрелищу. Дамы собрались все в одну горницу; мужчины ожидали, улыбаясь, чем эта сцена кончится. Милорадович, совсем не ожидавший такого шумного и многочисленного посещения своих сослуживцев, сказал, что он советует им идти обратно в сад, где им свободнее будет веселиться; прибавя, что «чистый воздух есть стихия русского воина!» Из этого изречения русские воины ничего не поняли, кроме того, что им надобно идти обратно в сад, куда они немедленно и ушли. Теперь уже сам Милорадович велел затворить

двери; порядок восстановился, музыка заиграла, красавицы рассыпались по зале и снова заблистали взорами на гусар, улан, кирасир, драгун, одним словом, на все носящее усы и шпоры. Офицер Татарского уланского полка, молодой человек необычайной красоты и также необычайно высокого роста, барон N *** казался царем всего этого блестящего сонмища; глаза всех дам и девиц сияли на него своими лучами. Нельзя сосчитать всех соперничеств, досад и движений ревности, произведенных им в этот вечер; порывов последней не избежал и Милорадович. Княгиня, танцуя с ним кадриль, беспрестанно оборачивала голову к другой кадрили, в которой танцевал барон.

За полчаса перед ужином кончились танцы, и все усмирилось; несколько молодых людей, и в их числе комиссионер П***, шалун, болтун и повеса, пошли с нами, то есть с ординарцами, в комнату смежную с залою: там П *** принялся рассказывать о всех красавицах в Малороссии, каких где ему случалось видеть. «В Пирятине видел я,— говорил П ***,— девицу Александровичеву редкой красоты, и что ж у нее такое варварское имя, которого я ни выговорить, ни слышать не могу без досады: *Домника Порфировна!* Слыхали ль вы что-нибудь подобное?» Я вздрогнула при этом имени: Домника Александровичева двоюродная сестра мне, и я, по справедливости, боялась, чтоб от нее по прямой линии не дошло до меня. Опасения мои оправдались в ту ж минуту. П *** продолжал: «Кроме красоты своей, смешного имени, Домника замечательна еще и по близкому родству с тою Амазонкою, о которой так много говорили три года тому назад и которая после бог знает куда девалась». Все стали рассуждать и толковать об этом происшествии; я молчала и пока думала, пристать или нет к этому разговору, *Давыдов,* один из нашей собратии ординарцев, сидевший подле меня, вдруг вскликнул, ударив меня по колену: «Что́ нам в ваших Амазонках! вот у нас своя девочка! не правда ли? тонок, как спичка, краснеет при каждом слове...» — «Что мы здесь спрятались, господа,— сказал *Шлеин,* вставая и взяв за руку меня и драгуна *Штейна,*— пойдемте к генералу!» За нами встали все и пошли толпою в залу.

Как дурно рассчитывают те командиры полков,

которые, желая отдалить от себя худого поведения офицера, посылают его куда-нибудь в откомандировку. В полку он спрятан со всеми его несовершенствами и что бы там ни напроказил, все остается, так сказать, дома; но, будучи выслан на показ свету, он играет *соло,* и так отвратительное, что всем, носящим один мундир с ним, стыдно его слушать. Повод к этому размышлению дало мне одно из происшествий вчерашнего бала: уланский ординарец Т. А.***, видя возможность пить пунш, сколько ему рассудится, напился до такой степени, что его и без того узенькие калмыцкие глаза совсем почти закрылись и он в совершенном опьянении ходил посреди дам, приглашая каждую танцевать, хотя музыка давно уже перестала играть и делались приготовления к ужину. Дамы усмехались и по мере приближения этого чудака удалялись от него; он продолжал бродить среди общества, наткнулся наконец на старого Масса и наступил ему на ногу. Комендантская кровь вспыхнула от такой наглости; он остановил А *** рукою, говоря ему: «Вы, господин офицер, кажется, ничего уже не видите?» — «А что мне видеть?» — возразил А ***, стараясь расширить свои смыкающиеся глаза. «Людей, по ногам которых вы ходите!» — «По чьим?» — спросил пьяный улан. «Мне, мне, коменданту, наступили вы на ногу»,— сказал вышедший из терпения Масс. «Мы все здесь коменданты!» — пробормотал А *** и, махнув рукою, пошел опять ходить по зале, покачиваясь из стороны в сторону. На другой день его отослали в полк.

Сегодня были маневры: пример баталии. Ермолов, командовавший войском, назначенным отступать, просил Милорадовича дать ему двух из своих ординарцев; Милорадович дал ему драгуна и улана, оставя себе гусара и кирасира. Посереди этой суеты сует, скачки, пальбы и атаки какой-то несчастный наездник, сидевший на лошади, отделя от нее ноги на пол-аршина, проскакал мимо меня, зацепился за мою шпору и оторвал ее; я скоро узнала невыгоду остаться с одною шпорою. Милорадович везде посылал одну меня, и я во все продолжение маневров летала в своем золотом мундире с ментиею на плечах, как блестящий метеор, мелькая среди стреляющих, марширующих, кричащих *ура!* и идущих на штыки. Наконец

лошадь моя едва переводила дух; Милорадович стоял в это время над одним глубоким рвом и рассматривал позицию; за оврагом, над которым стоял наш главнокомандующий, находились егерские стрелки и, на беду свою, стояли, а по распоряжению им надобно было лежать. Милорадович рассердился, стал дергать свой галстух и, взглянув на меня, сказал отрывисто, указывая на овраг рукою: «Поезжайте к этим стрелкам, скажите их недогадливому офицеру, чтобы он велел им лечь!» Я тронула стальною шпорою свою лошадь; но она, видя, что надобно идти в глубокий ров, замялась. «Что́ ж, вы не хотите меня слушать!» — закричал Милорадович. Удар шпорою и саблею заставил коня моего броситься стремглав в овраг, и я, как Курций, слетела вместе с лошадью в эту пропасть!

По окончании маневров бедный мой *Алмаз*, отведенный в конюшню, тотчас лег, как только его расседлали, и на другой день я не узнала его, до такой степени он переменился.

Два месяца дежурства моего при главнокомандующем в звании ординарца прошли. Завтра я возвращаюсь в эскадрон.

Служба моя в эскадроне началась очень несчастливо. На рассвете прискакал ко мне дежурный унтер-офицер с известием, что корнет Парадовский застрелился. В одно мгновение оделась я, села на лошадь без седла и поскакала во весь опор на квартиру Парадовского. Ста́нкович был уже там; несчастный Парадовский лежал середь полу, вниз лицом; кровь его большою лужею скопилась у дверей; череп расскочился на несколько кусков, которые лежали на полу и на лавках; карабин, из которого он застрелился, находился близ тела, две пули остались в потолке. Ста́нкович, рассмотрев все письма и кой-какие записки покойника, не нашел ничего, по чему можно было бы угадать причину его самоубийства; он приказал обвернуть платком лицо и остаток головы несчастного Парадовского и отнесть тело его на распутие, где вырыли ему могилу. Мимо ее пролегает дорога, и вечером, проходя ею, я невольно содрогнулась, поравнявшись с зеленым холмом Парадовского: вчера мы шли с ним вместе этой дорогою! а сегодня...

Нам велено идти в поход! Какая непостоянная жизнь, не дадут нигде привыкнуть! Мы было так хорошо ознакомились с окружными помещиками и вот опять понеслись вдаль. Теперешние наши квартиры будут близ Ровно, в имении Корвицкого, местечке Мизочи (на Волыни).

Эскадрон наш прошел через Киев. *Ермолов* ехал с нами до заставы. Он очень ласково разговаривал со мною, спрашивал, не жалею ли я о чем-нибудь в Киеве, и когда я сказала, что не жалею ни о чем, то он похвалил меня, говоря: «Веди себя всегда так, молодой человек, я буду почитать тебя».

Мизочь. Здесь большой манеж и прекрасный сад, два замечательных предмета; остальное все так, как и везде в Польше,— развалившиеся хижины, крытые соломою, и больше ничего. До манежа нам дела нет, мы объезжаем добрых коней в чистом поле; но сад! это дело другое. Я провожу там все послеобеденное время. Какое тут множество цветов, и так прекрасных, что я прыгаю от радости при виде их и ни для чего в свете не могу удержаться, чтоб не достать себе одну из роз, так высоко растущих, как мне никогда еще не случалось видеть; эти деревца вышиною аршина три и более осыпаны прелестнейшими розами, и я не иначе могу доставать их, как срубя цветок концом сабли. В один день я была застигнута на этом подвиге приходом садовника; в замешательстве и показывая ему срубленную розу, я спросила: «Можно ли иногда сорвать цветок с этих розовых деревьев?» — «Да когда уже сорвали, так можно,— отвечал, смеючись, садовник,— но только не испортьте самого деревца».

Вчера Ста́нковичу пришла охота делать ученье в самый полдень; пыль и жар были нестерпимы; маневры делались все на карьере, к чему Ста́нкович, лихой гусар, привык еще при Витгенштейне, прежнем шефе Мариупольского полка. Вчера метода эта едва не стоила жизни бедному жиду, трусливейшему из всех существ, населяющих землю. Окончательный маневр у нас бывает — *атака.* По команде: *с места! марш! марш!* мы понеслись как лишенные ума; Ста́нковичу

рассудилось повесть атаку на *Мизочь,* близ которого была широкая дорога и на ней пыли в пол-аршина глубиною; когда мы вскакали на эту дорогу, то пыль обняла эскадрон таким густым облаком, что я не только не видала, куда скачу, но не видала и лошади, на которой сижу; в это время раздалось вдруг и командирское — *стой! равняйся!* и отчаянный вопль чей-то подле самого стремени моего. Я с испугом остановила свою лошадь, и в то же время редеющая пыль дала мне увидеть у ног моего коня поверженного жида, который кричал во весь голос: *ратуйте!* Его бледное лицо, полные ужаса глаза, растрепанные пейсы и широко разинутый рот делали его похожим на чудовище; лошадь моя захрапела, стала на дыбы, а жид на четвереньках отполз от остановившегося фронта; потом встал и, согнувшись почти до земли, убежал в местечко. Я после узнала, что он упал от страха; но был невредим, потому что случаю угодно было, чтоб в это самое время остановился скачущий эскадрон. После ученья рассказала я моим товарищам об этом происшествии. «Ну что́ ж,— спросил Вонтробка,— когда ты увидел у ног своей лошади пручающегося жида с зияющею пастью и выпученными глазами, не пришло тебе на мысль из Федры.

De rage et de douleur le monstre bondissant
Vient aux pieds des chevaux tomber on mugissant,
Se roule, et leur présente une queule enflammée
Qui les couvre de feu, de sang, et de fumée»[1].

Домбровица. Мы расстались с Александрийцами и пришли квартировать в местечко Домбровицу, принадлежащую графу Платеру, живущему в трех верстах от нее. Я сделала приятное знакомство, и довольно странным образом. Ды́мчевич, наш баталионный командир, занимает бельэтаж большого каменного дома; о жителях верхнего этажа мы не имели никакого понятия. В один день, будучи дежурным по караулам, по обязанности своей пришла я к Ды́мчевичу с

---

[1] От ярости и от боли чудовище подпрыгнуло
И с ревом пало под ноги коням,
Оно извивалось, из огненной пасти
Извергая огонь, кровь и дым *(фр.).*

рапортом; всходя на крыльцо, слышу звуки фортепиано. Эта необыкновенность и превосходство игры заставили меня забыть Ды́мчевича, рапорт и все на свете караулы. Я пошла туда, откуда неслась обворожительная гармония; всхожу на лестницу, иду по коридору и прихожу к дверям, за которыми явственно слышу музыку; отворяю и, к удивлению моему, вижу себя в кухне, в которой не было и не могло быть фортепиан. Остановясь в изумлении, я продолжаю слушать: играют в соседней комнате; ведома гусарскою предприимчивостью, я иду далее, решась непременно узнать, кто так прекрасно чарует слух мой. Прихожу к другой двери, отворяю ее, и восклицание: «Ах, боже мой!» — прекратило тотчас музыку. Вскрикнувшая дама была пожилая женщина; она смотрела на меня с беспокойным и вопрошающим видом; но молодая, игравшая на пиано, хотя смешалась было, тотчас, однако ж, оправилась, когда я сказала, как умела, по-польски, что прекрасная игра ее вела меня, как очарованного, через все места против моей воли и всякого приличия; что если приход мой через кухню кажется ей странным, то прошу ее вспомнить, что я не властен был выбирать дорогу. Она отвечала чистым польским наречием, что ей очень приятен случай, доставляющий ей мое посещение. Меня просили садиться, а я просила ее продолжать свою игру, что́ она тотчас и исполнила. Окончив, она стала говорить своей матери по-русски. Я удивлялась правильному выговору ее и сказала ей об этом. «Я — русская»,— отвечала она. «Ах, боже мой, так на что́ ж я ломаю всеми образами язык свой, чтоб говорить с вами по-польски?» — «Не знаю»,— сказала, смеючись, молодая госпожа Выродова: так была фамилия моей новой знакомой. Это приключение имело весьма приятные последствия: мать и дочь так полюбили меня и до такой степени дорожили моим товариществом, что ни одного дня не могли провесть без меня, и, если я который день не приходила, выговаривали и решительно не хотели, чтобы я пропустила хоть одни сутки, не быв у них; на это я и сама охотно согласилась, потому что нигде не находила столько ума, приятности обращения, ласки, дружбы, отличного образования и блестящих талантов, как в молодой Выродовой.

Добрая старушка, мать Выродовой, любит меня, как сына, называет Сашенькой и целует в лицо. Я рассказала Вонтробке, с которым вместе квартирую, об этом знакомстве; хотя он теперь болен, не может надеть мундира и, следовательно, быть у нее, но желание его видеть этот феномен Домбровицы так велико, что он решился пуститься на какую-нибудь шалость, только чтоб сыскать средство войти к ним в дом; думал, передумывал и наконец выдумал, чтобы я отослала с ним книги к Выродовой; что для этого посольства он наденет солдатский китель и, будучи защищен этой эгидою от внимания дам, рассмотрит со всею свободою мое, как он говорит, *завоевание*. Я отдала ему книги и едва не сделалась больна от смеха, видя его преобразившегося в солдата, больного, худого, бледного, с мутными глазами и скривленной шеею. Он пошел, а я осталась ждать развязки. Через четверть часа Вонтробка возвратился и рассказал, что поход его был весьма неудачен: книги взяла у него горничная девка, и когда он хотел заглянуть в дверь, несколько отворившуюся при шуме, сделанном его приходом, то девка, сочтя его пьяным, не допустила и вытолкнула за двери. Я сказала ему, что самолюбию Выродовой лестно будет, когда она узнает, что было причиною превращения его в пьяного солдата.

К молодой вдове, моей знакомке, приезжает часто графиня Платер. Эта семидесятилетняя дама великая охотница ездить на полеванье за зайцами, волками, кабанами и большая мастерица стрелять из ружья; нередко проезжает она верхом через Домбровицу и всегда мимо нашей гауптвахты; белая лошадь ее не много чем моложе своей всадницы; за нею следует ее берейтор с хлыстиком; когда графине рассудится пуститься в галоп, она говорит одно только слово: *галоп!* по этой команде берейтор дотрагивается хлыстиком до лошади, и она поднимается в плавный и легкий галоп. Мы все имели и случай и время заметить, что белая лошадь галопирует тогда только, когда перед гауптвахтою нашею или на крыльце шефской квартиры соберется много гусарских офицеров. Не понимаю, отчего графиня так недовольна нами; она зовет нас капуцинами! За что? неужели за то, что мы очень ре-

дко бываем в ее доме; так это более ее вина, нежели наша. Слыхано ли где, чтоб бал оканчивался в восемь часов? У графа это узаконенное время ужина, и часто бой роковых восьми часов, заставляя смолкнуть гремящую музыку, слышится так же неожиданно и нежеланно, как бой смертного часа, особливо для некоторых из наших молодых гусар.

Не знаю, что́ мне делать! деньги исчезают, как дым, и куда, не понимаю. Я не играю в карты, не пью вина, ничего не покупаю; но как только обращу ассигнации в серебро, то эти *злотые, гроши, двудестувки* сведут меня с ума и рассыплются, как прах. Стыдно мне просить опять, и еще так скоро, у государя денег, а нет другого средства; отец не даст, да я и сама ни за что не стану беспокоить доброго моего родителя. Ах, он так небогат! и уже стар! Увижу ли я это счастливое время, когда в состоянии буду помогать ему! Благословит ли меня бог этою радостью! Буду ль я покоить старость отца моего! Заплачу ль ему за попечения в детстве моем! О, верх благополучия покорных детей, достигну ли я тебя!

Государь пожаловал мне тысячу рублей; я получила их от Аракчеева, который пишет ко мне, «что, заступя место графа Ливена при государе, взял вместе с прочими делами и ту обязанность, которою возложено на него доводить до сведения императора все мои просьбы и желания». Он оканчивал письмо свое уверением в готовности делать для меня все, что от него зависит.

Сегодня я дежурным в табуне и буду в этой должности всю неделю. Середи луга, отведенного для пастьбы нашим лошадям, построен мой соломенный шалаш; первый день я почти весь проходила по окружным полям и любовалась игрою и беганьем наших четвероногих друзей.

Вчера в первый раз в жизни я испугалась и теперь имею понятие, что́ такое страх. Табун наш пасется в семи верстах от эскадронных квартир; это расстояние я часто проходила пешком без малейшей усталости; вчера, приехав, по обыкновению, верхом к Ста́нковичу с рапортом о благосостоянии наших коней, я осталась у него обедать и, отдав лошадь провожавшему

меня гусару, велела ему ехать обратно в табун, располагаясь сама прийти пешком. После обеда, когда я хотела было идти, Ста́нкович, не зная того, что я отослала свою лошадь, удерживал меня остаться у него до чаю. Я согласилась, рассудя, что вечером не так жарко будет. После чаю Ста́нкович сказал: «Куда тебе спешить, Александров, ужинай с нами; теперь светит месяц, ночь прекрасная, после ужина поедешь». Слова: *ночь прекрасная* решили меня остаться ужинать; я заранее радовалась своему ночному путешествию по безмолвным полям при пленительном свете полной луны. После ужина я простилась наконец с Ста́нковичем и, препоясав острый меч свой, пошла; но, чтоб не делать лишнего обхода, вздумалось мне пройти прямо от квартиры Ста́нковича огородами и полями на дорогу, ведущую от селения к месту, где ходил табун. Я много выиграла бы, если б этот план удался мне; но я ошиблась в своем расчете. При обманчивом свете месяца все казалось мне ровным и гладким; но когда пришлось проходить через эти места, то я думала, что не будет конца рвам, ямам и вспаханным полям. Сначала я с легкостью перескакивала рвы, вымоины и проворно перебегала по вспаханному полю; но, видя, что за одним полем следовало другое, там третье, и еще поле, и еще, а окончания не видно, я потеряла бодрость и пошла тише; наконец рвы и огороды кончились, но поля все еще стлались черным ковром на большое пространство, которое я, хочу или не хочу, должна была перейти. С поздним раскаянием вспомнила я простонародную пословицу, что «прямо одни вороны летают!»

Наконец я вышла на дорогу; месяц был уже почти на средине неба, и свет его разливался серебром по всей необозримой обширности полей; глубокая тишина царствовала вокруг. Вышед на гладкую и ровную дорогу, не чувствуя более под ногами ни кочек, о которые запиналась, ни рыхлой земли, в которую вязла, я пошла было скорым и легким шагом; но вдруг ужас и изумление сделали меня неподвижною. Я остановилась. Вопль, не имеющий в себе ничего человеческого, раздался по всему пространству полей и продолжался, не переставая, с такими ужасными завываниями, визгами, перекатами и некоторым родом стона, что

страх овладел и сердцем, и умом моим, и я оборотилась было назад, чтоб убежать; однако ж стыд этого столь необыкновенного для меня поступка и еще больший стыд сделать его известным своим товарищам заставили меня образумиться и продолжать свой путь. Я вынула саблю и пошла навстречу неистовому воплю, который ревел, выл и грохотал все с одинакою силою. Напрягая зрение, чтобы увидеть, что́ за существо появилось в поле, я не могла ничего усмотреть, и мне нужна была вся сила рассудка и веры, чтоб не счесть этого вопля воплем злого духа. Прошед еще с полверсты, я увидела наконец нечто черное, приближающееся ко мне и кричащее неистово. Я пошла скорее; не доходя шагов сто, увидела я, что это крестьянин огромного роста; уверясь тогда, что это не зверь, не чудовище, не злой дух, но просто человек, я положила саблю в ножны и, сошедшись ближе с крестьянином, спросила его, для чего он так кричит? Он не мог отвечать мне: это был немой, живущий в нашем селении и питающийся подаянием; посредством разных знаков он успел дать мне понять, что идет из ближнего селения и, боясь волков, старается подражать собачьему лаю, чтобы этим отогнать их. Объясняя все это, он употреблял такие страшные телодвижения, что одними ими мог бы испугать всякого; он таращил глаза, щелкал зубами и рычал диким голосом. Я сделала ему знак, чтоб он шел своею дорогою, и он пошел с тем же нелепым воем, который был так страшен мне и который теперь сделался желателен и необходим: мне предстояла опасность действительная, не сверхъестественная, не романическая, но самая простая, грубая и ужасная! — опасность быть съеденной волками. В Малороссии и здесь звери эти во множестве рыщут ночью по полям и вокруг деревень; теперь я шла быстро, присматриваясь с беспокойством ко всем предметам, и по мере как благодетельный вой немого крестьянина стихал в отдалении, беспокойство мое увеличивалось; сердце мое сильно билось от ожидания опасности, в которой ни сила, ни мужество, ни уменье владеть оружием не могли б мне быть пособием; что́ могла я сделать против восьми, десяти или более лютых и голодных зверей? Обескураживающие размышления мои были прерваны самым приятным образом:

до слуха моего явственно доносились оклики часовых при табуне и даже песни, напеваемые ими вполголоса.

Пришед в свой шалаш, я не велела подавать огня и, не раздеваясь, легла на соломенную постель свою. Ожидая скорого появления зари и не имея желания спать, стала я обдумывать, рассматривать, разбирать и переворачивать на все стороны приключения этой ночи. Нельзя уже не признаться, что я испугалась, услыша крик немого крестьянина. Страх мой исчез, когда я увидела, что кричит человек; но снова заменился боязнию встретиться с волками. Для чего ж в сражениях, при виде тысячи смертей близких, ужасных, в душе моей не было и тени страха? Что значит это? Боль, мученье, смерть, не все ли равно — от пули, сабли неприятеля или от зубов и когтей свирепого зверя? Никак не могу добраться умом своим до настоящей причины как страха своего, так и неустрашимости. Неужели это оттого, что смерть на поле сражения сопряжена с славою, а на поле среди волков с одной только болью?

ПОЕЗДКА В ПЕТЕРБУРГ

Полк идет в *Слоним,* а меня отпустили на 28 дней в Петербург. Место графа *Аракчеева* заступил *Барклай де Толли;* будет ли он столько же обязателен ко мне, как был Аракчеев! вряд ли! Говорят, он человек очень суровый. Впрочем, странно было бы, если б сыскался кто-нибудь еще суровее графа; но Аракчеев имел два неоцененные качества — искреннюю привязанность к государю и слепое повиновение воле его.

Я опять увидела прекрасную столицу нашу! очаровательное жилище обожаемого царя! нежно любимого отца — кроткого, милостивого! Нет, язык человеческий беден выражениями для стольких соединенных добродетелей! Каждый день слышу, с каким чувством любви говорят о нашем Александре! Вижу слезы умиления в глазах тех, кто рассказывает какое-нибудь из его действий; и все они исполнены милости, и все они имеют целию счастие людей! Должно сделать усилие

над собою, чтоб перестать писать о нем. Я не кончила бы никогда, если б слушалась того сердечного чувства, которым дышат к нему все жители обширного Петербурга.

Барклай де Толли приказал мне явиться к нему, и, когда я пришла в его кабинет, он отдал мне 500 рублей с весьма вежливым видом, говоря, что государь император полагает эту сумму достаточною для моей обмундировки. Что ж мне было делать? Я взяла деньги, поклонилась и пошла заказывать себе мундир и другие вещи; на эти деньги по одному только чуду можно б было сделать гусарский мундир; но как время чудес прошло уже, то я и решилась перейти в уланы. Написала об этом желании и причине его военному министру, прося, как это было мне позволено, довесть просьбу мою до сведения государя и, сверх этого, дать мне некоторую сумму денег для переезда из одного полка в другой и полную уланскую обмундировку. Написав и послав эту записку к военному министру, я поспешила уехать из Петербурга, полагая, что министр разбранил бы меня сгоряча и не доложил бы ничего государю; но как меня уже нет, бранить некого, то в продолжение времени он обдумает сам, что денег дали мне мало; в гусарах служить дорого. Да и что ему тут! так угодно государю!

Возвратясь в Слоним, я не нашла еще своего полка; он не прибыл. Жиды обступили меня с предложением услуг; но, узнав, что золото у меня только на мундире, ушли, и я одна, без всякой прислуги, живу в доме старого отставного гвардии сержанта, который с утра до вечера рассказывает мне анекдоты своей молодости и службу при Екатерине.

Наконец я дождалась полка; эскадроны разошлись по квартирам, которые все почти в прелестных, романических местах. Как мила Польша по многому! веселые, гостеприимные поляки! прекрасные и ласковые польки! благорастворенный климат! картинные места и покорный, услужливый народ!

Весь наш полк теперь вместе. Первый баталион, квартировавший в Одессе, пришел сюда же в Слоним.

ПЕРЕВОД В ДРУГОЙ ПОЛК

1811, АПРЕЛЯ 1-го

Я на пути обратно в Домбровицу. Я уже *улан Литовского полка;* меня перевели.

С прискорбием рассталась я с моими достойными товарищами! с сожалением скинула блестящий мундир свой и печально надела синий колет с малиновыми отворотами! «Жаль, Александров,— говорит мне старший Пятницкий,— жаль, что ты так невыгодно преобразился; гусарский мундир сотворен для тебя, в нем я любовался тобою; но эта куртка: что́ тебе вздумалось перейти!..» Полковник Клебек, призвав меня: «Что́ это значит, Александров,— спросил он,— что вы перепросились в другой полк? мне это очень неприятно!»

Я не знала, что отвечать. Мне стыдно было сказать, что гусарский мундир был слишком дорог для меня по неуменью распоряжаться деньгами. Сказав печальное прости храбрым сослуживцам, золотому мундиру и вороному коню, села я на перекладную телегу и понеслась во весь скак по дороге к *Пинску.* Денщика моего, Зануденко, отдали мне в уланы, и он, сидя на облучке, закручивает седые усы свои и вздыхает: бедный! он состарился в гусарах.

Вот я и в Домбровице. Литовским полком, в отсутствие шефа *Тутолмина,* командует князь *Вадбольский,* тот самый, которого я знала в Тарнополе. Думаю, что я скоро утешусь о потере гусарского мундира; вид улан, пики, каски, флюгера пробуждают в душе моей воспоминание службы в Коннопольском полку, военные действия, незабвенного Алкида, все происшествия, опасности! Все, все воскресло и живою картиною представилось воображению моему! Никогда не изгладится из памяти моей этот первый год вступления моего на военное поприще; этот год счастия, совершенной свободы, полной независимости, тем более драгоценных для меня, что я сама, одна, без пособия постороннего умела приобресть их. Четыре года минуло этому происшествию. Мне теперь двадцать один год. Ч*** говорит, что я выросла; что когда он видел меня в Тарнополе, то считал ребенком лет тринадцати. Неудивительно! Я имею очень моложа-

вый вид и что-то детское в лице; это говорят мне все; даже и панна Новицкая, прежде, нежели заснула от занимательности моего товарищества, вскликнула раза два: «Mòy bożе! tak mlode dzecko i juz idzie do wòyska!!» [1].

Меня назначили в эскадрон к ротмистру Подъямпольскому, прежнему сослуживцу моему в Мариупольском полку. Доброму гению моему угодно, чтоб и здесь эскадронные товарищи мои были люди образованные: Шварц, Чернявский и два брата Торнези, отличные офицеры в полку по уму, тону и воспитанию. Подъямпольский не дал мне еще никакого взвода; я живу у него; всякий день взводные начальники приезжают к нам, и мы очень весело проводим наше время.

Шеф полка возвратился; я часто бываю у него; он любит и умеет хорошо жить; часто делает балы для дам соседственных поместьев. Графиня Платер не зовет улан капуцинами, и граф не приказывает накрывать стол в восемь часов; напротив, мы танцуем у них до четырех за полночь, и старая графиня берет самое живое и деятельное участие в наших забавах.

Молодая вдова Выродова вышла замуж за Шабуневича, адъютанта нашего полка. Она рассказывала мне, что по отъезде моем в Петербург Вонтробка познакомился с ней, пленился ею и умел ей понравиться; что они были неразлучны все дни: вместе читали, рисовали, пели, играли, варили кофе и пили его, что, одним словом, жизнь их была райская и любовь истинная, на взаимном уважении и удивлении совершенствам друг друга... Я не могла долее слушать. «Как же случилось,— позвольте спросить,— что после всего этого вы — госпожа Шабуневичева?» — «А вот как случилось,— отвечала она: — Полку вашему велено было идти в Слоним; Вонтробка с истинною горестию расставался со мною и клялся хранить верность; но о руке своей ни слова. Из Слонима он писал ко мне очень нежно, но тоже ни слова о вечном соединении нашем; из этого я заключила, что привязанность его из числа тех нескольких десятков привязанностей, которые он имел прежде; он любит испытывать сердце им занятое, и, пока уверится, что любим, точно, соб-

[1] Мой боже! такой юный и уже служит в армии!! *(польск.)*

ственная его любовь простынет. Не желая подвергнуться этому жребию, я перестала отвечать на его письма и принудила себя не думать более о нем. Любовь наградила меня за оскорбление, нанесенное моей нежности: Шабуневич, молодой и прекрасный улан, полюбил меня всею силою пламенной души и доказал истину слов, что не может жить без меня; он предложил мне руку, сердце и все, что имеет и будет иметь. Я вышла за него и теперь, будучи счастливейшею женщиною, всякий день благодарю бога, что он не дал мне мужем Вонтробку. Адская жизнь, милый Александров, с таким человеком, который все испытывает, ничему не верит и от излишней опытности всего боится. Мой бесценный *Юзя* не таков: он верит мне безусловно, и я люблю его с каждым днем более». Прекрасная Эротиада кончила свой рассказ, сев за пиано и спрашивая меня шутя: «Какие пиесы угодно вам, господин Александров, чтоб я играла?» Я назвала их, подала ноты и села подле ее инструмента слушать и мечтать.

Тутолмин — красавец; хотя ему уже сорок четыре года, но он кажется не более двадцати восьми лет; девицы и молодые дамы окружных поместьев все до одной неравнодушны к нему; все до одной имеют против него планы; но он!... Я не видала никого, кто б холоднее и беспечнее его смотрел на все знаки участия, внимания и потаенной любви. Я приписываю это слишком уже высокому мнению о самом себе. О, в сердце, наполненном гордостию, нет места любви!

Вчера *Шварц* и я поехали гулять верхом, и, разъезжая долго без цели по песчаным буграм и кустарникам, мы наконец сбились с пути и с толку, то есть потеряли дорогу и соображение, как найти ее. Кружась более часа все около того места, где казалось нам, должна была быть дорога, усмотрели мы невдалеке деревню. Шварц, начинавший уже выходить из терпения и сердиться, поскакал в ту сторону, а за ним и я. Мы приехали к огородам; в одном из них женщина стлала лен. Шварц, подъехав к этому огороду, закричал: «Послушай, тетка! как зовется эта деревня?» — «Що пан каже?» — спросила крестьянка, кланяясь в пояс. «Как зовут деревню! провались ты с поклонами!» — крикнул Шварц, блистая глазами. Жен-

щина испугалась и начала говорить протяжно и запинаясь при каждом слове, что деревня эта имеет не одно название, что когда она была построена, то называлась как-то мудрено, она не упомнит; а теперь... «Черт возьми тебя, деревню и тех, кто строил ее!» — сказал Шварц, дав шпоры лошади. Мы понеслись. Шварц, бранясь и проклиная, а я с трудом удерживаясь от смеху. Проскакав с полверсты в прямом направлении, мы увидели еще одну женщину, тоже расстилающую лен на поляне, окруженной кустарником, через который пролегала малоезженая дорога. «Позволь мне расспросить эту женщину,— сказала я Шварцу,— ты только пугаешь их своим криком».— «Пожалуй, расспроси, вот увидишь, какой вздор она занесет». Я подъехала к женщине: «Послушай, милая, куда ведет эта дорога?» — «Не знаю!» — «Нельзя ли ею проехать в Корпиловку?» — «Нельзя!» — «Ну, а к черту нельзя ли по ней доехать?» — спросил Шварц, вышед из терпения, с злобною иронией и таким голосом, которого даже и я испугалась. «Можно, можно»,— говорила оробевшая крестьянка, низко кланяясь нам обоим. «Не слушай его, милая, скажи только нам, не знаешь ли, как проехать в Корпиловку? Нельзя ли прямо полями? Она, кажется, должна быть недалеко отсюда».— «Да вы откуда приехали сюда?» — спросила женщина, робко посматривая на Шварца. Я сказала. «О, так вы заплутались, вам надо вернуться назад и опять сюда приехать!..» При этом ответе я умерла, как говорится, от смеху. «Как прекрасно расспросил,— сказал Шварц,— не хочешь ли исполнить по совету!» Мы поехали и, проплутав еще часа два, открыли потом свою заколдованную Корпиловку и приехали в нее.

Наконец стальное сердце Тутолмина смягчилось! пробил час его покорения!.. Графиня Мануци, красавица двадцати восьми лет, приехала к отцу своему, графу Платеру, в гости и огнем черных глаз своих зажгла весь наш Литовский полк. Все как-то необыкновенно оживились! все танцуют, импровизируют, закручивают усы, прыскаются духами, умываются молоком, гремят шпорами и перетягивают талию à la circassienne![1] Графиня истинно очаровательна! в белом

[1] как черкешенки *(фр.)*.

атласном капоте с блондовым покрывалом на волосах, опускающимся до половины ее прекрасных томных глаз. Она сидит в больших креслах и с милою небрежностию и равнодушием смотрит на ходящих, стоящих, блестящих и рисующихся перед нею уланских *Адонисов* наших! Она с дороги устала; так пленительно склоняет она голову к плечу матери и говорит вполголоса: «Ah! maman, comme je suis fatiguée!»[1] Но огонь глаз и удовольственная улыбка говорят противное. Уланы верят им более, нежели словам, и не торопятся домой. Наконец дремота восьмидесятилетнего Платера вразумила плененных кавалеристов, что, может быть, графиня в самом деле устала.

Красавец Тутолмин и красавица Мануци неразлучны; бал у Тутолмина сменяется балом у Платера; мы танцуем поутру, танцуем ввечеру. После развода, который теперь всякий день делается с музыкою и полным парадом и всегда перед глазами нашего генерал-инспектора — графини Мануци, мы идем все к полковнику; у него завтракаем, танцуем и наконец расходимся по квартирам готовиться к вечернему балу! От новой Армиды не вскружилась голова только у тех из нас, которые стары, не видели ее, имеют сердечную связь и, разумеется, у меня; остальное все вздыхает!

Все утихло!.. не гремит музыка!.. Мануци плачет!.. нет ни души в их доме из нашего полка!.. Мануци одна в своей спальне горько плачет!.. А вчера мы все так радостно скакали какой-то бестолковый танец!.. вчера, прощаясь, уговаривались съехаться ранее, танцевать долее и опять на весь вечер навязать нашему Грузинцову старую графиню!.. Но вот как непрочны блага наши на земле: *выступить в двадцать четыре часа!* Магические слова! от них льются слезы Мануци! от них весело суетятся молодые солдаты! от них все, что вчера пело и танцевало, пасмурно рассчитывается и расплачивается за разные разности! Рейхмар говорит, что его ошеломило этим приказом! Солнцев, Чернявский, Лизогуб, Назимовы и Торнези, хотя были верными сподвижниками Тутолмина на поприще

---

[1] Ах! мама, как я устала! *(фр.)*

волокитства, нимало, однако же, не грустят и сейчас все полетели в свои эскадроны; Торнези и я поехали в *Стрельск.* «Опомнились ли вы наконец? — спросил нас Подъямпольский.— Я думал, вы насмерть закружитесь!» Мы сказали, что все еще раздается в ушах наших звук последнего котильона. «Ну, хорошо! а вот теперь начнем котильон, которого фигуры будут, повидимому, довольно трудны... Прощайте, господа! у нас полные руки дела!» Мы отправились к своим взводам.

ЧАСТЬ II

ВОЙНА 1812 ГОДА

11-го марта. Сегодня сказали мы последнее прости гостеприимному дому Платера, веселому жилищу нашему в Домбровице и всему, что нас любило, и всему, что нас пленяло! Мы идем в Бельск, выострим свои пики, сабли и пойдем далее.

Говорят старики уланы, что всякий раз, как войско русское двинется куда-нибудь, двинутся с ним и все непогоды. На этот раз надобно им поверить: со дня выступления провожают нас снег, холод, вьюга, дождь и пронзительный ветер. У меня так болит кожа на лице, что не могу до нее дотронуться; по совету старшего Торнези я каждый вечер умываюсь сывороткой, и от этого средства боль немного прошла, но я сделалась так черна, так черна, что ничего уже не знаю чернее себя.

Подъямпольский занят расчетами в штабе; я осталась старшим офицером по нем и командую эскадроном; впрочем, я калиф на час; через два дня царствование мое кончится.

Кастюкновка. В этом селении назначена эскадрону нашему дневка. Квартирою нам четверым — *Чернявскому,* двум *Торнези* и мне — служит крестьянская хижина, почернелая, закоптелая, напитанная дымом, с растрепанною соломенной кровлею, земляным полом и похожая снаружи на раздавленную черепаху.

Передний угол этой лачуги принадлежит нам; у порога и печи расположились наши денщики, прилежно занимаясь чисткою удил, мундштуков, стремян, смазываньем ремней и тому подобными кавалерийскими работами. Неужели нам оставаться целый день в такой конурке и в таком товариществе! Мы решились ехать на весь день к помещику селения *Соколовскому.*

Он принял нас очень ласково, и мы провели у него день весело и приятно. Я очень была обрадована, узнав, что он тот самый Соколовский, о котором писал Коцебу в своем *достопамятном годе жизни.* Коцебу называет его Соколовым, видно, по ошибке. Соколовский рассказывает нам, как жил в Сибири, грустил, надеялся, ходил на охоту и ждал с терпением и философиею перемены к лучшему. Я спрашивала, так ли жил Коцебу в Сибири, как описывает, и был ли он печален? «Он жил весело,— отвечал, смеючись, Соколовский,— играл каждый день в карты, каждый день выигрывал и по наружности, казалось, мало заботился о том, что́ будет с ним далее».

*Селенье*****. Здесь остановились мы, не знаю, надолго ли. Мне отвели квартиру у униатского священника; молодая жена его очень нежно заботится доставлять мне все, что есть лучшего у нее в доме; всякое утро приносит мне сама кофе, сливки, сахарные сухари, тогда как для мужа приготовляет просто стакан гретого пива с сыром; обед ее всегда вкусен, деликатен, и, только чтоб не до конца прогневить супруга, готовится одно какое-нибудь блюдо по его вкусу, который, надобно признаться, довольно груб.

Вчера пастырь наш был очень рассержен чем-то; во все продолжение обеда хмурился и отталкивал блюда, которые жена его подставляла ему, приятно усмехаясь; к счастию, гневу его не довелось разразиться на словах. Никто не говорил с ним, и даже старались не встречаться взглядами; в этом маневре жена была из первых.

Хозяйка выводит меня из терпения; нет дня, чтоб она не говорила мне: *вы должны быть непременно поляк!* «Почему вы так думаете?» — спрашиваю я и получаю в ответ какую-нибудь пышную глупость: *вы*

так приятно говорите; приемы ваши так благородны! Она с ума сошла!.. «Неужели приятность разговора и благородство приемов принадлежат, по вашему мнению, исключительно одним полякам? Чем же провинились перед вами все другие нации, позвольте спросить; что́ вы отнимаете у них эти преимущества?..» Вместо ответа она смеется, отделывается шутками и снова начинает открывать во мне различные доблести поляка. Отбиваясь всеми возможными доводами от чести быть поляком, сказала я, между прочим, хозяйке, что если она замечает во мне что-нибудь не совсем русское, так это может быть оттого, что в крови моей есть частицы малороссийской и шведской крови, что бабки мои с отцовской и материнской стороны были одна малороссиянка, другая шведка. Хозяйка начала хвалить шведов, превознося до небес их храбрость, твердость, правоту; хозяин приметно терял терпение; на беду, в это самое время подали ему любимое блюдо его, гречневую кашу, облитую сверху салом и усыпанную выжаренными кусочками этого же самого сала; в Польше называют их, не знаю уже для чего и почему — *шведами.* Хозяин, схватя блюдо, поставил его перед собою и с исступлением стал бить ложкою по этим безвинным кусочкам, приговаривая: «Не люблю шведов! не люблю шведов!» Сальные брызги летели на мундир и эполеты мои; я поспешно встала из-за стола, обтирая платком лицо... *«Ах, мой боже!* — воскликнула хозяйка, стараясь вырвать у него из рук ложку,— *помешался, совсем помешался!»*

Дни через три после этой сцены хозяйка принесла мне поутру кофе, как то делала всякий день; но в этот раз она уже не дожидалась, пока я возьму из рук ее чашку; она поставила все передо мною на столик и, не говоря ни слова, села задумчиво у окна. «Что так невесела, моя прекрасная хозяйка?» — спросила я. *«Nic, panie poruczniku!* [1] — Помолчав с минуту, она стала говорить: — Будете вы помнить меня?» — «Буду, клянусь честию, буду!» — «Дайте же мне залог этого обещания».— «Извольте; что́ вам угодно?» — «Это кольцо!» Она взяла мою руку, сжимая легонько мизинец, на котором было золотое кольцо... Этого я не

---

[1] Ничего, пан поручик! *(польск.)*

ожидала; молча и в замешательстве смотрела я на молодую попадью, устремившую на меня свои черные глаза, и не знала, что делать!.. Кольцо это было подарено девицею *Павлищевой,* и я поклялась ей никогда не расставаться с ним. Между тем хозяйка ждала ответа и, разумеется, невольно смешалась, видя, что я не снимаю в ту же секунду кольцо, чтоб отдать ей... *«Что это значит, мой друг, что ты сидишь у господина поручика и забыла, что я еще не завтракал?»* Это говорил разгневанный хозяин; он растворил дверь моей комнаты и, увидя, что жена его держит мою руку, остановился на пороге. Жена кинулась к нему: *«Ах, жизнь моя, душа моя, прости мне, пожалуйста! сейчас все будет готово!»* Говоря это, она как молния проскочила мимо мужа и оставила его в положении статуи на пороге дверей, прямо против меня. Успокоенная счастливым оборотом дела, грозившего сначала лишить меня кольца, этого бесценного залога дружбы, я просила хозяина войти ко мне. «Я скажу вам радостную весть, господин поручик»,— говорил хозяин, входя в комнату. «Какую ж это, почтенный отец?» — «Вы завтра идете в поход».— «Завтра! а вы как это знаете?» — «Я сейчас от вашего ротмистра; просил было, чтоб вас переместили к кому другому. Вы, надеюсь, не прогневаетесь на это; я не так богат, чтоб давать стол и все выгоды офицеру долее двух или трех дней, а вы стояли у меня около двух недель. Все это я представил вашему ротмистру; но он сказал, что сию минуту получено повеление выступить в поход и что завтра в восемь часов утра эскадрон ваш выйдет отсюда».— «Поздравляю вас, любезный хозяин! весть эта, конечно, радостнее вам, нежели мне; теперь время не слишком благоприятно для похода: и дождь, и снег, и холод, и пыль — все вместе! Я думал, мы дождемся здесь, пока весна установится прочно».— *«Что ж делать! когда велят, надобно идти».* Сказав это, хозяин поклонился мне с ироническою усмешкою и отправился пить свое гретое пиво.

Итак, поход! да и к лучшему, идти так идти; на этих квартирах мы только бесполезно разнеживаемся; привыкаем к лакомствам, ласкам, угождениям; белые атласные ручки легонько треплют по щеке; рвут нежно за ушко; дают конфект, варенья; стелют мягкую

постель, и как легко, как приятно свыкаться! Со всем этим вдруг поход, вдруг надобно перейти от неги к суровостям, пересесть с бархатной софы на бурного коня и так далее: во всем контраст! Я не успела кончить своих размышлений, как ротмистр прислал за мною. «Ну, брат,— сказал он, как только я отворила дверь к нему в горницу,— прощайся с черноглазой попадьей своей, завтра поход!» — «Слава богу, ротмистр».— «Слава богу? вот новость!.. да не ты ли был piekne dzecko i czerwone jablko?[1] Неблагодарный!..» Шутка ротмистра напомнила мне, что я в самом деле неблагодарна; за любовь хозяйки я не могла заплатить ни любовью, ни золотым кольцом; но все надобно было бы подарить что-нибудь на память, и, разумеется, не деньги! Я возвратилась на квартиру; хозяйка печально накрывала стол; хозяин стоял у окна, играл какую-то жалобную песню на скрипке и посматривал иронически на жену.

До обеда оставался еще целый час; я пошла в свою горницу, чтоб посмотреть, не найду ли чего подарить хозяйке; роясь в вещах своих, отыскала я две дюжины сарпинских платков, радужно блестящих; я купила их в Сарепте и послала батюшке; но когда была у него в гостях, он подарил мне их обратно, и они лежали у меня без употребления; я вынула их и разложила по столу. Продолжая ревизовать свое имущество, я отыскала в углу чемодана свой силуэт, снятый еще в гусарском полку и в том же мундире; я положила его к платкам и опять зачала перебрасывать все, что было в чемодане. Наскуча наконец искать и недоискиваться и чтоб кончить все одним разом, я взяла чемодан за дно, перевернула, вытрясла всю его начинку на пол и села сама тут же; в ту самую минуту, как я с восторгом схватила одною рукой стразовую пряжку к поясу, а другою большой платок, подаренный сестрою, вошла хозяйка: «Обед готов! что́ вы это делаете?» — «Вы хотели иметь какую-нибудь вещь на память, сделайте мне удовольствие, выберите, что́ вам понравится», — говорила я, показывая ей на платки, силуэт, пряжку и платок большой. «Я выбрала кольцо».— «Его нельзя отдать, это подарок друга».— «Святая

[1] прекрасное дитя и красное яблочко (*польск.*).

вещь, подарок друга! берегите его!..» Она подошла к столу, взяла силуэт и, не обращая глаз на другие вещи, пошла к дверям, говоря, что муж ее ждет меня обедать. Выбор подарка тронул меня, я побежала за нею, обняла ее одною рукой и убедительно просила взять еще хоть стразовую пряжку для пояса: «Ведь вы любите меня, моя добрая хозяюшка! для чего ж не хотите взять вещь, которую будете носить так близко к сердцу?» Она не отвечала ничего и даже не взглянула на меня; но, прижав к груди руку мою, взяла из нее легонько пряжку и сошла вниз, не говоря ни слова. Через минуту я последовала за нею; хозяин сидел уже за столом, хозяйка показывала ему пряжку. «Ну что́ я в этом разумею»,— говорил он, отталкивая руку ее и пряжку. Увидя меня, он встал, прося меня садиться за стол: «А что́, мой друг, сегодня надобно бы получше угостить господина поручика, ведь он расстается с нами, вероятно, навсегда; что́ у нас сегодня?» — «Увидишь». После этого короткого ответа, сказанного как будто с досадою, она села на свое место. «Моя жена сердится на вас,— стал говорить хозяин,— вы слишком дорого платите ей за эти две недели, которые мы имели удовольствие доставлять вам кой-какие неважные выгоды».— «Кажется, я ничем не платил вам: блестящую безделку нельзя принимать как уплату; это просто для...» — я хотела сказать — *воспоминания,* но хозяйка взглянула на меня, и я замолчала, как можно заметить, очень некстати; хозяин докончил: «Подарок для памяти, не так ли? Но мы и без него помнили бы вас». День этот весь, до самого вечера хозяин был в хорошем нраве; он шутил, смеялся, играл на скрипке, целовал руки жене и просил ее спеть под аккомпанемент его игры: *vous me quittez...* [1], прося и меня присоединить мои убеждения к его. «Вы еще не знаете, как прекрасно поет моя жена!..» Наконец жена потеряла терпение, укоризненно взглянула на своего мужа глазами, полными слез, и ушла. Это расстроило хозяина; он в замешательстве и торопливо повесил скрипку на стену и отправился вслед за женою. Я пошла к ротмистру и пробыла там до полночи, именно для того, чтоб не видаться, если

---

[1] вы меня покидаете... *(фр.)*

можно, этого вечера ни с одним из моих хозяев; но обманулась в своем расчете; оба они дожидались меня ужинать и были, по-видимому, в самом лучшем согласии. Видя, как хозяйка амурно прилегла на грудь своего супруга, я подумала было, что подозрения мои неосновательны, и, обрадовавшись этому открытию, стала говорить с нею весело, дружески и доверчиво; но разочарование было готово. Муж оборотился к дверям приказывать что-то человеку; хозяйка в это время проворно вынула из-за косынки мой силуэт, показала мне его, поцеловала и опять спрятала; все это сделала она в две секунды, и, когда муж ее снова обернулся к нам, она опять прильнула к плечу его.

Я встала на рассвете, на минуту завернула к хозяину и жене его, пожелала им счастливо оставаться и отправилась к ротмистру ожидать часа, назначенного для похода. Насмешник Торнези всю дорогу ехал подле меня и пел: *nie kochaysie we mnie, bo to nadaremnie...*[1]

Мы идем не торопясь, переходы наши невелики, и вот снова велено нам остановиться *впредь до повеления,* и, как нарочно, квартиры достались самые невыгодные. Деревня эта бедна, дурна и разорена, надобно думать, непомерными требованиями ее помещика. Мы все четверо квартируем в одной большой избе, и разместились — Чернявский с старшим Торнези у окна на лавках; а я с младшим у печи на нарах; прямо против нас на печи, под самым потолком сидит старуха лет в девяносто. Не знаю, для чего она берет себя беспрерывно двумя пальцами за нос, говорит при этом самым тонким голосом — *хм!* и потом прикладывает эти два пальца к стене. Первые дни мы с Торнези хохотали как сумасшедшие над этим упражнением нашей Сивиллы, но теперь уже привыкли и, несмотря на пронзительное хмыканье, иногда забываем, что над нашими головами есть нечто дышащее.

Этого года весна какая-то грустная, мокрая, холодная, ветреная, грязная; я, которая всегда считала прогулкою обходить конюшни своего взвода, теперь

---

[1] не влюбляйся в меня, потому что это напрасно... *(польск.)*

так неохотно собираюсь всякое утро в этот обход, лениво одеваюсь, медлю, смотрю двадцать раз в окно, не разъяснивается ли погода; но как делать нечего, идти надобно непременно, иду, леплюсь по кладкам, цепляюсь руками за забор, прыгаю через ручейки, пробираюсь по камням и все-таки раз несколько попаду в грязь всею ногой. Возвратясь из своего грязного путешествия, я застаю моих товарищей всех уже вместе: Чернявский читает *Расина,* Сезар курит трубку и всегда кладет кусочек алоя на верх табаку, говоря, что так делают турки; Торнези, Иван, представляет иногда балет — *Ариадна* на острове *Наксосе,* и всегда самую Ариадну. Это могло б рассмешить и умирающего; я забываю в ту ж минуту затруднительный вояж по грязным улицам.

Подъямпольский поехал в штаб для каких-то отчетов дни на три; товарищей моих послали доставить овса и сена для наших лошадей, а я осталась командиром эскадрона и повелителем всей деревни по праву сильного. Я так мало заботилась знать что-нибудь в этой деревне, кроме своих конюшен, что даже не знала, есть ли в ней почта или нет; сегодня утром я имела случай узнать это. Окончив все занятия по службе, взяла я какую-то Вольтерову сказку перечитывать в сотый раз от нечего делать и от нечего читать; и когда я с нехотением и скукою развернула книгу и легла было на походный диван свой — лавку с ковром, дверь вдруг отворилась и вошел молодой пехотный офицер: «Позвольте узнать, кто здесь командует эскадроном?» — «Я».— «Прикажите, сделайте милость, дать мне лошадей; я спешу в полк, вот моя подорожная; жид, содержатель почты, не дает мне лошадей, говорит, что все в разгоне, но он лжет; я видел — множество их ведут поить».— «Сию минуту будут у вас лошади. Прошу садиться. Послать ко мне дежурного!..» Дежурный пришел. «Ступай сейчас на почту и прикажи заложить лошадей в экипаж господина офицера, каких найдешь, хотя бы жид и сказал, как то они говорят обыкновенно, что у него одни только курьерские». Дежурный пошел и в две минуты возвратился с жидом, содержателем почты. Иуда клялся и говорил, что не даст лошадей, потому что остались только одни курьерские. «А вот увидим, как ты

не дашь лошадей! — Я оборотилась к дежурному: — Я приказал тебе, чтоб лошади были непременно заложены; зачем ты пришел ко мне с жидом?» С окончанием этого вопроса дежурный и жид в одну секунду исчезли; их обоих словно вихрем вынесло за дверь, и через десять минут экипаж офицера подкатился к крыльцу моей квартиры. Офицер встал: «Не служили ль вы когда в гусарах?» — спросил он. «Служил».— «И, верно, в Мариупольском? и, верно, вы Александров?» — «Да, почему вы это знаете?» — «Я был с вами знаком в Киеве; мы были вместе на ординарцах у Милорадовича; неужели вы меня не вспомните?» — «Нет».— Я *Горленко».*— «Ах, боже мой! теперь только я припоминаю себе черты ваши; как я рад! Посидите же у меня еще немного; расскажите мне о других наших товарищах; где Шлеин, Штейн, Косов?» — «Бог их знает; я с ними, так вот как и с вами, до сего времени нигде не встречался. Увидимся где-нибудь все; теперь настало время разгульного житья, то есть беспрестанной ходьбы, езды, походов, переходов, то туда, то сюда, где-нибудь да столкнемся; с ними я не был так дружен, как с вами. Помните ли, как мы садились всегда в конце стола, чтоб быть далее от генерала и брать на свободе конфекты? Ташка ваша всегда была нагружена для обоих нас на целый день».— «Нет, это вы уже шутите, я что-то не помню, чтоб нагружал свою ташку десертом».— «А я так помню! Прощайте, Александров! Дай бог нам увидеться опять такими же, как расстаемся!» Он сел в повозку и понесся вдоль по ухабистой дороге посреди тучи грязных брызг. Я возвратилась в свою дымную лачужку, очень довольная тем, что заставила проклятого жида дать лошадей; я еще не забыла тех придирок и задержек, которые испытывала на станциях, когда ездила в отпуск. Все проделки смотрителей тотчас пришли мне на память, как только Горленко сказал, что ему не дают лошадей, под предлогом, будто они все в разгоне, и я обрадовалась случаю отмстить хоть одному из этого сословия.

ФУРАЖИРОВКА

Товарищи мои возвратились: Чернявский ни с чем; Сезар с приобретением неважным; Иван привез несколько поболее. Через два дни посылают меня.

Наконец и я отправилась доставать фураж! Мне, как и другим, дали команду, дали предписание за подписью и печатью командира полка ездить по окружным поместьям, требовать у помещиков овса и сена, брать все это и взамен давать расписки, с которыми они могут посылать своих старост в эскадрон, чтоб там получить квитанции и с ними опять ехать в штаб; там тоже дадут квитанции, и с этими уже квитанциями должны господа помещики явиться в комиссию для получения уплаты наличными деньгами.

На рассвете оставила я грязную деревню нашу, дымную квартиру свою с ее столетнею обитательницею и тремя молодцами, то есть моими товарищами, и, последуемая двенадцатью уланами, отправилась в путь. Первым поприщем моих действий было поместье подкоморного Л***; в тридцати верстах от наших квартир. Поручение мое казалось мне довольно щекотливым, и оттого я пришла в большое замешательство, когда увидела дом пана Л*** в десяти шагах от себя... Как я начну! что скажу! Может быть, это человек почтенный, старый, отец семейства; примет меня радушно, сочтет за гостя, а я, я буду требовать овса почти даром! Я ведь знаю, что поляки неохотно отдают свои произведения под наши квитанции и все способы употребляют избавиться от них; что и весьма натурально. Как бы ни был верен платеж по квитанциям, но все веселее и вернее получить сию минуту наличные деньги, нежели разъезжать туда и сюда с квитанциями. Рассуждая, размышляя и краснея от готовящейся драмы, я все-таки доехала, взъехала на двор, взошла в комнаты, и предчувствие не обмануло меня...

Меня встречает человек лет шестидесяти; лицо его печально, взор беспокоен. Приметно, однако ж, что причина этого не мы, незваные гости; ему даже и не видно улан моих, а я одна, с моею наружностью семнадцатилетнего юноши, не могла испугать его; итак, это какая-нибудь домашняя скорбь рисуется на добродушном лице его. Поляки всегда очень вежливы:

он пригласил меня сесть прежде нежели спросил, что доставляет ему честь видеть меня в своем доме. Наконец начало сделано; вопрос, столько ужасающий меня, вылетел из уст моего хозяина; я отвечала, покраснев, как только может человек покраснеть, что имею поручение от полка отыскивать фураж, где только есть возможность достать его, и купить... разумеется, не на деньги, а под квитанцию. «Я не могу вам служить этим,— сказал помещик равнодушно,— неделя тому назад у меня сгорело все: овес, сено, пшеница, рожь, и я теперь отправил к окружным помещикам купить для себя всего этого, если продадут. Квартирование ваше, господа кавалеристы, очень выгодно для тех из нас, у которых есть что продавать вам, но служит величайшим подрывом для тех, которые, подобно мне, ищут купить». В продолжение этого разговора нам подали кофе. Л*** продолжал: «Вы имеете поручение весьма затруднительное; простите мою откровенность, но под квитанции ни один помещик не продаст вам продуктов земли своей; не продал бы и я даже и тогда, если б все мы не имели другой дороги сбыть их; посудите же, отдадут ли их теперь, когда имеют случай продать за наличные деньги?» Я встала в нерешимости и не знала, что делать: уехать, не говоря более ни слова, или показать ему предписание? Л*** тоже встал. «Вы уже едете? Жалею очень, что не могу исполнить вашего требования; мне приятно было бы долее пользоваться удовольствием видеть вас у себя, если б я не был убит горестию: вчера я схоронил сына!..» Он не мог более ничего сказать; глаза его затмились слезами, и он сел, не в состоянии будучи держаться на ногах. Я поспешно вышла, села на лошадь и в галоп ускакала с моими уланами.

Под вечер приехала я в поместье старостины Ц*** и теперь уже несколько смелее вошла в комнату. Как на беду, и здесь надобно иметь дело с старостью; меня приняла дама лет осьмидесяти; узнав мою надобность, она велела позвать эконома и просила меня заняться чем-нибудь, пока он придет. Говоря это, она отворила дверь в другую комнату; это была обширная зала, где собраны были всех родов способы забавляться: волан, бильярд, кольцо, карты, разрезные картинки, арфа, гитара... Я нашла тут общество молодых

людей; все они занимались разными играми. «Это все мои внуки»,— сказала хозяйка, вводя меня в их круг; они в ту же минуту просили меня взять участие в их играх; я тотчас согласилась и от всей души предалась удовольствию играть во все игры поочередно; подхватывая и отбрасывая волан, я в то же время слушала очаровательную игру на арфе одной из девиц и восхитительное пение другой. Как желала я, чтоб эконом не приходил как можно долее! При звуках арфы и прекрасного голоса можно ль было помыслить, не содрогаясь, о том предписании, которое, как спящий змей, лежало у меня на груди под мундиром; стоило только вынуть его, и все встревожатся. А теперь — как веселы эти молодые люди! Как они полюбили меня! Как дружелюбно жмут мне руки, обнимают, целуют; девицы сами ангажируют, в танцах резвятся, бегают! Все мы теперь не что иное, как толпа взрослых детей, и вот чрез какие-нибудь полчаса вдруг все переменится; я сделаюсь отчаянным уланом, имеющим и власть и возможность забрать у них фураж... А мои пленительные хозяева... что сделается с их радостными физиономиями, живым и веселым говором! Ах, для чего и здесь не сгорел весь овес и не умерла которая-нибудь внука или внук!.. Тогда мне легче было бы уехать без всего; а теперь!.. Вот я уже в пятидесяти верстах от эскадрона, а еще ничего не сделала и, верно, не сделаю, потому что всякий помещик, хотя бы он имел одну только каплю ума, не даст мне ничего под простую расписку; а требовать повелительно и в случае отказа все-таки надобно взять нужное и отправить в эскадрон на их же лошадях, дав помещику за все это расписку!.. Как можно подумать об этом и не прийти в отчаяние! По крайней мере, я впервые проклинала свое уланское звание; среди танцев, смеху, беготни я вздрагивала всякий раз, когда отворялась дверь в нашу залу. К счастию, эконом не пришел до самого ужина, и, к величайшему моему благополучию, хозяйка сказала, что может дать мне овса четвертей десять и четыре воза сена с тем, чтоб людям ее было заплачено за провоз и чтоб с моею распискою ехал в эскадрон при возах ее староста и мой унтер-офицер; я с великою радостью и благодарностию согласилась на все ее распоряжения и поцеловала ее руку; я поцеловала бы ее и тогда, если

б не была к этому обязана обыкновением Польши и моим одеянием, потому что ее снисходительность сняла ужаснейшую тяжесть с моего сердца и избавила от необходимости шевелить змея, которого теперь повезу далее.

Отправя возы с фуражом, я возвратилась к веселому обществу; меня ожидали ужинать, и хлопоты отправления замедлили ужин одним часом; когда сели за стол, хозяйка поместила меня подле себя. «Вы слишком усердны к службе, молодой человек,— начала она говорить,— возможно ли смотреть самому и дожидаться, пока возы с фуражом наложатся и выберутся из селения; это уже чересчур; по вашему виду и молодости я не предполагала найти в вас такого хорошего служивого». Безрассудная старуха не знала того, что для ее же выгод я ни на минуту не выпускала из виду моих улан; они могли бы поискать в разных местах чего-нибудь получше овса! Долго ли будут люди судить всегда по наружности!.. Меня удерживали ночевать, но я уже разочаровалась и не находила более приятности быть в этом обществе.

Оставя дом старостины Ц***, я решилась ехать всю ночь, чтоб на рассвете посетить еще деревню отставного ротмистра М... польской службы; жиды сказали мне, что у него очень много заготовлено овса и сена, и именно на продажу; надеюсь, судьба будет так милостива ко мне, что спящий змей не проснется.

Старый народовец, к которому я пришла в десять часов утра, принял меня с всем радушием кавалериста: «Садитесь, садитесь, любезный улан, чем вас потчевать? вина вы, верно, еще не пьете, не правда ли? итак, кофе. Гей, *Марисю!»* На этот возглас явилась Марися, седая, сухая, высокая, с пасмурною физиономией. «Прикажи, милая, подать нам кофе». Самолюбию моему было очень лестно, что Марися (хотя ей было под пятьдесят) взглянула на меня ласково и с усмешкою, тогда как взор ее на ветерана выражал и досаду и пренебрежение вместе; она отвечала, что сейчас будет готов, ушла и через четверть часа возвратилась с кофеем. Сказав своему господину, что его спрашивает эконом, сама поместилась подле меня, чтоб разливать кофе; я не удивлялась этой фамилиарности: домоправительницы холостых стариков имеют все привилегии

госпож и в Польше бывают почти всегда из дворян, то есть шляхтянки. Наконец хозяин возвратился; узнал причину моего приезда, покачал головою, пожал плечами: «Ну, если я не дам под расписку вашу овса, что тогда?» — «Тогда у меня не будет его»,— отвечала я.— «Вы умереннее, нежели я ожидал, и это делает вам много чести. Для чего ваши начальники не посылают вас с деньгами, вместо права давать расписки?» — «Не знаю; это уже, думаю, хозяйственное распоряжение полка. Но ведь и вам все равно, что расписка, что деньги; разница только во времени; получите немного позже, потому что надобно ехать за ними в штаб». Народовец рассмеялся: «Ах, как вы еще молоды, *kochany koliego!*[1] Пойдемте, однако ж, вам, я думаю, нельзя терять времени, пойдемте; я велю дать вам двадцать четвертей овса; более этого не могу и не хочу уделить вам от назначенного уже мною в продажу не иначе как на деньги». Я так обрадовалась этим двадцати четвертям, которые превышали мое ожидание, давали возможность возвратиться в эскадрон и освободиться наконец от ненавистной *баранты,* что схватила руку старого народовца и побежала было с быстротою лани, таща его с собою... «Тише, тише, молодой человек! верю, что вам приятно получить столько овса без хлопот; но моя пора бегать прошла уже; сверх того, я ранен в обе ноги, итак, пойдемте шагом». Я устыдилась своего неуместного восхищения и молча шла подле моего доброхотного хозяина. Мы прошли через прекрасный сад и вышли к его стодолам и житницам; тут стоял эконом и мои уланы. Наконец все готово; я отправила всех своих улан с этой добычею и оставила при себе только одного, располагаясь провесть день у любезного народовца и завтра возвратиться в эскадрон. С каким удовольствием вынула я из-за мундира свое предписание, изорвала его в мельчайшие кусочки и бросила в озеро. Как я была рада! Вся веселость моя возвратилась, и старый ротмистр так доволен был моим товариществом, что просил меня самым убедительным образом остаться у него еще дни на два: «Ваша юность цветущая, живость, веселость приводят мне на память и оживляют в душе моей счастливое время мо-

[1] милый коллега! *(польск.)*

лодости; таков был я в ваши лета; останьтесь, молодой человек,— говорил он, обнимая меня,— подарите эти два дни старику, который полюбил вас, как сына!» Я осталась. В награду моей уступчивости хозяин мой пригласил к себе из окружных поместьев семейства три или четыре. Я провела очень весело время у бравого народовца; мы танцевали, играли во все возможные игры, бегали по горницам не лучше пятилетних детей, и сколько ни хмурилась Марися, но шум, говор, смех, танцы нисколько не утихали; и сверх того, хозяин превзошел наше ожидание, установив огромный стол конфектами, вареньями и лакомствами всех родов. Каково-то было бедной Марисе; она не могла пройти мимо этого стола, не сделав какой-то судорожной гримасы.

Два дни минуло; я простилась с моим добрым хозяином и поехала обратно в эскадрон. Так кончилась неприятная откомандировка моя, и дай бог, чтоб никогда уже более не возобновилась! Возвратясь домой, я ничего не рассказывала ротмистру, кроме того, что не имела нужды прибегать к насильственным мерам. На квартире нашей теперь остались только мы двое с Сезаром; Чернявский и старший Торнези опять поехали на поиски.

Сегодня товарищи мои возвратились, и сегодня же мы идем в поход. Долго ль это будет! я что-то худо понимаю, для чего мы идем с такими расстановками?

Мы прошли верст сто и опять остановились. Говорят, *Наполеон* вступил в границы наши с многочисленным войском. Я теперь что-то стала равнодушнее; нет уже тех превыспренных мечтаний, тех вспышек, порывов. Думаю, что теперь не пойду уже с каждым эскадроном в атаку; верно, я сделалась рассудительнее; опытность взяла свою обычную дань и с моего пламенного воображения, то есть дала ему приличное направление.

Мы стоим в бедной деревушке на берегу Наревы. Каждую ночь лошади наши оседланы, мы одеты и вооружены, с полуночи половина эскадрона садится на лошадей и выезжает за селение содержать пикет и делать разъезды; другая остается в готовности на лошадях. Днем мы спим. Этот род жизни очень похож на описание, которое делает мертвец *Жуковского:*

Близ Наревы дом мой тесный:
Только месяц поднебесный
Над долиною взойдет,
Лишь полночный час пробьет,
Мы коней своих седлаем,
Темны кельи покидаем.

Это точь-в-точь мы, литовские уланы: всякую полночь седлаем, выезжаем; и домик, который занимаю, тесен, мал и близ самой Наревы. О, сколько это положение опять дало жизни всем моим ощущениям! Сердце мое полно чувств, голова мыслей, планов, мечтаний, предположений; воображение мое рисует мне картины, блистающие всеми лучами и цветами, какие только есть в царстве природы и возможностей. Какая жизнь, какая полная, радостная, деятельная жизнь! Как сравнить ее с тою, какую вела я в Домбровице! Теперь каждый день, каждый час я живу и чувствую, что живу; о, в тысячу, в тысячу раз превосходнее теперешний род жизни!.. Балы, танцы, волокитства, музыка... о боже! какие пошлости, какие скучные занятия!..

Право, я не думала, что найду употребление тому вину, которого раздают нам по две рюмки каждый день наравне с солдатами; но, видно, не надобно ничем пренебрегать: вчера, проходя одно селение, должно было нашему эскадрону идти через узкую плотину; какое-то затруднение, встретившееся переднему отделению, заставило эскадрон остановиться; другие, подходя, потеснили нас с тылу, и лошади наши, теснясь и упираясь, чтоб не упасть в широкие рвы с боков плотины, стали беситься, бить и становиться на дыбы. В этом беспорядке меня вдавили в середину моего взвода и так сжали, что я хотя и видела, как стоящая передо мною лошадь располагалась ударить меня своею, хорошо подкованною ногою, но во власти моей было только с мужеством дождаться и вытерпеть этот удар; от жестокой боли я вздохнула из глубины души! Негодная лошадь имела и волю и возможность раздробить ногу мою, потому что я была, как в тисках; к счастию, когда она собиралась повторить удар, эскадрон тронулся с места, и все пришло в порядок. Когда стали на лагерь, я осмотрела свою ногу и ужаснулась: она была расшиблена до крови и распухла; от подошвы до колена ломит нестерпимо. В первый раз в жизни я

охотно села бы в повозку; мучительно ехать верхом; но как переменить этого нечем, то и надобно терпеть. Повозок при нас давно уже нет ни одной. Теперь вино пригодилось мне; всякий день я мою им больную ногу свою и вижу, к испугу моему, что она делается с каждым днем багровее, хотя боль и утихает. Ступень ушибленной ноги сделалась черна, как уголь; я боюсь смотреть на нее и не могу понять, отчего почернела ступень, когда ушиб на средине между ею и коленом? Штаб-лекарь *Карнилович* говорит, что ногу мою надобно будет отрезать; какой вздор!

Что бы это значило? Мы отступаем и очень поспешно, а еще ни разу не были в деле!

Сегодня шли без дороги, лесом; я думала, что мы спешим прямым путем на неприятеля, но ничего не бывало; мы прибежали, чтоб вытянуть фронт наш в высоких коноплях. Было для чего торопиться! Однако ж впереди нас сражаются... Худо остаться без настоящего начальника! Полковой командир *Тутолмин* отрапортовался больным еще в Бельске и оставил нас на произвол судьбы; нами командует теперь *Штакельберг,* подполковник Новороссийского драгунского полка. *Крейц,* шеф этого полка, наш бригадный начальник.

Мы все еще стоим в коноплях; день жарок до несносности. Ротмистр *Подъямпольский* спросил меня, не хочу ли я купаться? И когда я отвечала, что очень бы хотела, тогда велел мне взять начальство над четырнадцатью человеками улан, отряженными им за водою к ближней речке, которая была также недалеко и от сражающихся. «Теперь имеешь случай выкупаться,— сказал ротмистр,— только будь осторожен: неприятель близко».— «Что ж мы не деремся с ним?» — спросила я, вставая с лошади, чтобы идти на реку. «Как будто всем надобно драться! подожди еще, достанется и на твою долю; ступай! ступай! не мешкай! да смотри, пожалуйста, Александров, чтоб соколы твои не разлетелись». Я пошла позади моей команды, велев унтер-офицеру идти впереди, и в таком порядке привела их к речке. Оставя улан наполнить котелки свои водою, умываться, пить и освежаться как могли, я ушла от них на полверсты вверх по течению, проворно разделась и с неизъяснимым удовольствием броси-

лась в свежие, холодные струи. Разумеется, я недолго могла тут блаженствовать; минут через десять я вышла из воды и оделася еще скорее, нежели разделась, для того что выстрелы слышались очень уже близко. Я повела свою команду, освеженную, ободренную и несущую благотворную влагу своим товарищам.

Весь эскадрон наш отряжен на пикет; мне очередь разводить, ставить и объезжать ведеты. Для этого дано мне пол-эскадрона; с другою половиною Подъямпольский расположился в селении. Получив от ротмистра наставления, как в каком случае поступать, какие брать предосторожности и что наблюдать при размещении часовых, я отправилась с своим полуэскадроном на гору к монастырю, где надобно было поставить первый ведет. Половиною людей своих я заняла назначенные пункты, а другая была в готовности, чтобы по прошествии урочного времени сменить их. Была уже полночь, когда я подъехала сменять свои ведеты. Подъезжая к селению, расположенному недалеко от той горы, где находился монастырь, я приказала уланам ехать по траве, прижать сабли коленом к седлу и не очень сближаться одному с другим, чтоб не бренчать стременами. У самого селения я остановила свою команду и поехала одна осмотреть, не кроется ли где неприятель. Мертвое молчание царствовало повсюду; все дома были брошены своими жителями; все было тихо и пусто, и одна только черная глубь растворенных сараев и конюшен крестьянских страшно зияла на меня. *Зелант,* имевший дурную привычку ржать, когда отставал от лошадей, теперь, казалось, таил дыхание и ступал так легко по твердой дороге, что я не слыхала его топота. Уверясь, что в селении никого нет, я возвратилась к своим уланам и повела их через деревню к подошве горы. Тут, взяв с собою двух улан и одного унтер-офицера, оставила я всю свою команду, а сама поехала на гору к стенам монастыря, чтоб сменить главный ведет. «Нам что-то слышится в поле, ваше благородие,— говорили уланы,— и что-то маячит то там, то сям, как будто люди на лошадях, но разглядеть порядочно не можем, а чуть ли то не французы». Я сказала, что если при оклике не скажут лозунга, то стрелять по них, и, взяв с собою смелых улан, поехала к оставленной под горою команде. Проезжая

рощу, окружавшую монастырь, я очень удивилась, увидя одного из тех людей, которые должны были ждать меня у подошвы горы, идущего ко мне пешком. «Что это значит? — спросила я.— Зачем ты здесь и без лошади?» Он отвечал, что лошадь сшибла его. «Как! стоя на месте!» — «Нет; на нас напали французы; унтер-офицер, которому вы поручили нас, убежал первый; нам нечего было делать, и мы разбежались в разные стороны. Я поскакал было к вам, чтоб дать знать; но лошадь моя стала на дыбы и, сбросив меня, убежала».— «Где ж французы?» — «Не знаю».— «Прекрасно!» Я не вправе была взыскивать с солдата, когда унтер-офицер бежал, но чрезвычайно была недовольна и встревожена этим обстоятельством. При выезде из рощи увидела я толпу конных людей, которые что-то нерешительно переминались: то поедут, то станут, то осадят лошадей и наклонятся один к другому. Я остановилась, чтоб всмотреться, что это такое; но, услыша русский разговор, тотчас подъехала к ним и спросила, кто они? «Казаки,— отвечал мне один из них,— хорошо, что вы остановились, а то мы хотели ударить на вас».— «Для чего же ударить, не окликнув, не спрося лозунга, не узнав наверное, неприятель или свой? Да что еще значит: *хорошо, что вы остановились?»* — «А как же! ведь вы давеча бежали от нас...» Теперь все дело объяснилось: несколько человек казаков, рыская, по обыкновению, по всем местам, заехали и в пустую деревню посмотреть, нет ли чего или кого; оттуда пустились в монастырь и, увидя под горою конный отряд, сочли его за неприятельский, и пока совещались между собою: гикнуть на него или нет, храбрецы мои, сочтя их также за неприятелей, не рассудили за благо этого дождаться и, следуя примеру негодяя унтер-офицера, бросились скакать в разные стороны. Это рассыпное бегство и быстрота лошадей их спасли от преследования казаков, которые, взъехав в гору, осмотрели монастырь и, не нашед ничего и никого, отправились обратно; но, увидя меня с тремя уланами, приняли за тех же, по их мнению, французов, которые от одного вида их бежали, и если б я не подъехала к ним с вопросом, то они ударили бы на нас с пиками. «Уж мы хотели было принять вас хорошенько!» —сказал один бравый казак лет пятиде-

сяти. «Куда вам,— отвечала я с досадою,— наши пики тверже ваших, вы не нашли б места, куда убежать»; и, не слушая более их толков, поехала своею дорогою. Свыше всякого выражения я была недовольна и обескуражена. Что ожидает меня в будущем? Можно ль пуститься на какое-нибудь славное дело с такими сподвижниками? При одном виде опасности они убегут, выдадут, остыдят. Зачем я оставила доблестных гусаров моих? Это — сербы, венгры! Они дышат храбростию, и слава с ними неразлучна!.. Все пропало для меня в будущем; но что еще ожидает меня теперь? Трусы, верно, уже встревожили резерв; Подъямпольский может послать в главную квартиру с этим адским донесением: «пикет под начальством поручика Александрова разбит неприятелем, по этому действию, прорвавшимся через передовую линию ведетов!» И вот спокойствие и безопасность армии потревожены, потому только, что поручик Александров или трус или глупец, позволил себя разбить, не защищаясь, не дав знать резерву, не сделав ни одного выстрела; иначе неприятелю нельзя было бы так удобно прорезать передовую цепь ведетов! А мне сказано, *что и тень пятна на имени Александрова не простится мне никогда!..* Мысли и чувства, черные, как ночь, тяготили ум и сердце мое; я ехала шагом в сопровождении трех улан, мне оставшихся; вдруг сильный топот скачущего полуэскадрона поразил слух мой. Взглянув вперед, увидела я Торнези *Сезара,* несущегося, как вихрь, а за ним летящий полуэскадрон. Увидя меня, он вскрикнул с изумлением, останавливая свою лошадь: «Это ты, Александров! Скажи, ради бога, что такое случилось?» — «Чему случиться, брат? Разумеется, случилось то, что и всегда будет случаться с нашими трусами. Они испугались казаков и, не пошевеля даже оружием, бежали, как зайцы».— «Подъямпольский в отчаянии; унтер-офицер сказал, что тебя взяли в плен и весь пикет вырезали».— «Что за выражение! *вырезали!* Ведь канальи-то не спали, чтоб их вырезать; их могли только изрубить. Что ж Подъямпольский?» — «Я тебе говорю, что он в отчаянии:«Как он мог забыть мои слова! Я так ясно, так подробно все растолковал ему»,— говорил с горестию и досадою бравый начальник наш. Но вот он едет и сам; мы ведь поехали было

отбивать тебя у неприятеля, хотя бы это стоило целого эскадрона...» Я подъехала к Подъямпольскому: «Не вините меня, ротмистр! Я лучше желал бы быть разбит и взят в плен, нежели видеть себя покрытым незаслуженным стыдом». (В первый раз еще дано мне поручение, назначен пост, соединенный с опасностью и требующий мужества и неусыпности, и вот как отлично исполнено это поручение.) Я рассказала ротмистру подробно все происшествие. Мы возвратились в наше село, оставя бедных часовых стоять без смены до рассвета. Не было уже времени сменять их. Подъямпольский, отличнейший офицер, храбрый и опытный, получа нелепое донесение от бежавшего с пикета унтер-офицера, как ни был им встревожен и огорчен, не хотел послать, однако ж, этого известия далее, не употребя прежде всех способов поправить это несчастное дело, и решился лучше погибнуть со всем эскадроном, сражаясь до оста́льной капли крови, нежели допустить в огласку столь постыдный случай. Благодаря этой геройской решимости имя мое сохранилось от поношения, но происшествие это сделало глубокое впечатление недоверчивости в душе моей; я стала бояться всякой откомандировки, всякого поручения, если только исполнять его надобно было вместе с моею командою. Никогда, никогда уже нельзя будет поверить им! Правду говорил Ермолов, *что трус солдат не должен жить*. Тогда такое заключение казалось мне жестоким, но теперь вижу, что это — истина, постигнутая великим умом необыкновенного человека. Ленивый земледелец, расточительный купец, вольнодумец священник — все они имеют порок, противоположный их званию и выгодам, но пример их никого не увлекает, и они вредны только себе: бедность и презрение остаются им в удел. Но трус солдат!! У меня нет слов изобразить всю великость зла, какое может сделать один ничтожный, робкий негодяй для целой армии!.. И в теперешнем случае, какие беды навлекло бы на мою голову одно только то, что трус испугался своей тени, убежал, увлек за собою других, был бы причиною ложного донесения, напрасной тревоги всего войска! Нет, робкий солдат не должен жить: *Ермолов прав*!

Эти размышления занимали меня до рассвета. Ведеты наши были сменены; трусов наказали больно, унтер-офицера еще больнее. По окончании этой расправы новая мысль не дает мне покою, пугает, стыдит меня; и я ничем не могу выжить ее из головы, краснею, начертывая эти строки: не я ли одна виновата? не я ли одна заслуживаю и нарекание и наказание? Я офицер; мне поручен был этот отряд; зачем я оставляла их одних и с таким унтер-офицером, который никогда еще не был в деле?

Скорыми маршами едем мы в глубь России и несем на плечах своих неприятеля, который от чистого сердца верит, что мы бежим от него. Счастие ослепляет!.. Мне часто приходит на мысль молитва Старна перед жертвенником Одена, когда он просит его наслать на ум Фингала недоуменье, *предзнаменующе могущего паденье!..* Вопреки бесчисленным поклонникам Наполеона беру смелость думать, что для такого великого гения, каким его считают, он слишком уже уверен и, в своем счастии и в своих способностях, слишком легковерен, неосторожен, малосведущ. Слепое счастие, стечение обстоятельств, угнетенное дворянство и обольщенный народ могли помочь ему взойти на престол: но удержаться на нем, достойно занимать его будет ему трудно. Сквозь его императорскую мантию скоро заметят артиллерийского поручика, у которого от неслыханного счастия зашел ум за разум: неужели, основываясь на одних только сведениях географических и донесениях шпионов, можно было решиться идти завоевывать государство обширное, богатое, славящееся величием духа и бескорыстием своего дворянства, незыблемой опоры русского престола; устройством и многочисленностию войск, строгою дисциплиною, мужеством их, телесною силою и крепостью сложения, дающего им возможность переносить все трудности; государство, заключающее в себе столько же народов, сколько и климатов, и ко всему этому имеющее оплотом своим веру и терпимость? Видеть, что это славное войско отступает, не сражаясь, отступает так быстро, что трудно поспевать за ним, и верить, что оно отступает, страшась дождаться неприятеля! Верить робости войска русского в границах его отечества!.. Ве-

рить и бежать за ним, стараясь догнать. Ужасное ослепление!! Ужасен должен быть конец!..

Французы употребляют все старания догнать нас и подраться, а мы употребляем тоже все старания уйти и не драться. Маневр этот очень утешает меня. Забавно видеть, с какою быстротою несем мы доверчивого неприятеля своего во глубину лесов наших!.. не всегда, однако ж, кажется это смешным. Воображая страшный конец отступления нашего, я невольно вздыхаю и задумываюсь. Французы — неприятель, достойный нас, благородный и мужественный; но злой рок в виде Наполеона ведет их в Россию; в ней положат они головы свои, в ней рассыплются кости их и истлеют тела.

Двое суток я не смыкаю глаз и почти не схожу с лошади. Штакельберг послал меня занимать место для лагеря; мне дали по четыре улана с каждого эскадрона, и со мною едут также квартиргеры полков Новороссийского драгунского и Ахтырского гусарского. Заняв место для лагеря, я еду встретить полк, и когда он расположится, дожидаюсь приказаний и, получа их, немедленно отправляюсь. Марши наши довольно велики; я почти всякий раз выезжаю в ночь, приезжаю на место около полудня, и, пока разведут места всему ариергарду, я жду своей очереди принять назначенное для полка; после этого надобно тотчас ехать ему навстречу, разместить эскадроны и, опять дождавшись конца всей суматохи и новых приказаний, отправляться в путь.

Третьи сутки прошли так же: лагерь занят под местечком Кадневым. Я не в силах долее выносить; возвратясь из лагеря в местечко, я послала улана на дорогу смотреть, когда покажется полк, и дать мне знать, а сама пошла на квартиру в намерении что-нибудь съесть и после заснуть, если удастся. В ожидании обеда легла я на хозяйскую постель и более ничего уже не помню... Проснувшись поздно вечером, я очень удивилась, что дали мне так долго спать: в горнице не было ни огня, ни людей; я поспешно встала и, отворя дверь в сени, кликнула своего унтер-офицера; он явился. «Разве полк не пришел еще?» — спросила я; он отвечал, что нет, а что пришел один только Киевский драгунский. «Для чего ж вы не разбудили меня?» —

«Не могли, ваше благородие; вы спали сном смертным; мы сначала будили вас тихонько, но после трясли за руки, за плечи, посадили вас, поднесли свечу к самым глазам вашим, наконец, брызнули холодной водою в лицо вам; все напрасно: вы даже не пошевелились. Хозяйка, при которой все это происходило, заплакала, увидя, что мы, не успев разбудить вас, положили опять на постель: «Бедное дитя! он, как мертвый! зачем вы берете таких молодых в службу?» Она, наклонясь к вам, прислушивалась, дышите ли вы. Оставшись при вас, я велел улану ехать далее по дороге навстречу полка; но он скоро возвратился с уведомлением, что нашему полку переменен маршрут и что сюда пришел один только Киевский драгунский полк под начальством *Эмануэля»*. Я тотчас поехала в лагерь; там еще не спали, и я нашла тут обоих своих товарищей — драгунского и гусарского квартиргеров; первый просил Эмануэля взять его с командою под свое начальство покамест; а гусар и я, осведомясь, какою дорогою пошли наши полки, пустились отыскивать их, в чем и успели весьма скоро.

Между нашим ариергардом и неприятельским авангардом бывают иногда небольшие сшибки, так только, чтоб не совсем без дела отступать.

Охота же так бежать!.. Я не знаю, что мне делать; смертельно боюсь изнемочь; впоследствии это припишут не чрезмерности стольких трудов, но слабости моего пола! Мы идем и день и ночь; отдохновение наше состоит в том только, что, остановя полк, позволят нам сойти с лошадей на полчаса; уланы тотчас ложатся у ног своих лошадей, а я, облокотясь на седло, кладу голову на руку, но не смею закрыть глаз, чтоб невольный сон не овладел мною. Мы не только не спим, но и не едим: спешим куда-то! Ах, бедный наш полк!

Чтоб прогнать сон, меня одолевающий, я встаю с лошади и иду пешком; но силы мои так изнурены, что я спешу опять сесть на лошадь и с трудом поднимаюсь на седло. Жажда палит мою внутренность; воды нет нигде, исключая канав по бокам дороги; я сошла опять с лошади и с величайшим неудобством достала на самом дне канавы отвратительной воды, теплой и зеленой; я набрала ее в бутылку и, сев с

этим сокровищем на лошадь, везла еще верст пять, держа бутылку перед собою на седле, не имея решимости ни выпить, ни бросить эту гадость; но чего не делает необходимость! я кончила тем, что выпила адскую влагу...

Если б я имела миллионы, отдала бы их теперь все за позволение уснуть. Я в совершенном изнеможении. Все мои чувства жаждут успокоения... Мне вздумалось взглянуть на себя в светлую полосу своей сабли: лицо у меня бледно, как полотно, и глаза потухли! С другими нет такой сильной перемены, и, верно, оттого, что они умеют спать на лошадях; я не могу.

В ту ночь Подъямпольский бранил меня и Сезара за то, что люди наших взводов дремлют, качаются в седле и роняют каски с голов. На другой день после этого выговора мы увидели его самого едущего с закрытыми глазами и весьма крепко спящего на своем шагистом коне; утешаясь этим зрелищем, мы поехали рядом, чтобы увидеть, чем это кончится; но Сезар хотел непременно отомстить ему за выговор: он пришпорил свою лошадь и проскакал мимо Подъямпольского; конь его бросился со всех ног, и мы имели удовольствие видеть испуг и торопливость, с какою Подъямпольский спешил подобрать повода, выпавшие из рук его.

Непостижимый дух раздора овладел мною и Сезаром! Начинаем всегда тем, что выедем вперед эскадрона, разговариваем прежде очень дружелюбно, после начинаем спорить и наконец, наговорив друг другу вежливых колкостей, разъезжаемся к краям дороги. В одну из этих вылазок мы отъехали ко рвам по сторонам дороги, сошли с лошадей и легли; но, к счастию, не заснули еще, как эскадрон подошел; Подъямпольский, полагавший, что мы при своих взводах, удивился и рассердился, увидя нас спокойно расположившихся у рвов близ дороги. «Не стыдно ли вам, господа! — говорил он,— вместо того, чтобы смотреть за своими солдатами, чтоб не спали, не падали, не роняли касок, не портили лошадей, вы уехали вперед и легли спать на дороге!..» Подстрекаемые тем же духом раздора, который вооружал нас друг против друга, мы отвечали ему, что не про-

шло еще и двух дней, как он сам испытал и доказал, что теперешние трудности превышают силы человека! Подъямпольский, не возражая ничего, приказал только нам быть непременно при своих местах и людях. «Мы обязаны подавать им пример,— прибавил он ласково,— им легче будет переносить всякий труд, если они увидят, что офицеры их переносят его наравне с ними; никогда солдат не осмелится роптать ни на какую невыгоду, если офицер его разделяет ее с ним...» Я почувствовала справедливость слов Подъямпольского и приняла твердое намерение всегда ими руководствоваться.

Наконец дали нам отдых. С каким неописанным удовольствием разостлала я свою шинель на сено, легла и в ту же минуту заснула. Думаю, что я спала часов десять, потому что солнце уже садилось, когда я выползла из своего шалаша, в буквальном смысле выползла, для того что отверстие, служащее дверью, было немного выше полуаршина. Глазам моим представилась живая и прекрасная картина: толпы офицеров уланских, гусарских, кирасирских ходили по всему лагерю; солдаты варили кашу, чистили амуницию; ординарцы, адъютанты скакали то там, то здесь; прекрасная музыка нашего полка гремела и восхищала бесчисленное множество всех полков офицеров, пришедших слушать ее. Штакельберг, теперешний командир полка нашего, будучи любителем и знатоком музыкального искусства, занялся усовершенствованием нашей полковой музыки и довел ее до высшей степени превосходства, так что теперь в обеих армиях, первой и второй *западных*, нет ей равной.

Полк наш расположен близ цепи холмов, довольно высоких; когда наступила ночь, зажглись бесчисленные огни бивачные, раздался шум, говор солдат, топот, ржание лошадей. Я рассматривала с полчаса эту шумную, одушевленную сцену и наконец, сама не знаю для чего, перешла на другую сторону холмов; спустясь в долину, я не слыхала уже ни малейшего шуму, как будто солдат, войны, армии не существовало никогда на свете! Я взошла опять на холмы, посмотрела несколько времени на картину кипящей деятельности, беспрерывной суеты и движения и снова погрузилась в тишину и спокойствие долины!

Этот скорый переход от величайшего шума к совершенному безмолвию делает на душу мою какое-то впечатление, которого я, однако ж, ни понять, ни описать не могу.

Близ Смоленска объявили нам Государев манифест, в котором было сказано, что *«государь не удерживает более нашего мужества и дает свободу отмстить неприятелю за скуку противувольного отступления, до сего времени необходимого»*. Солдаты наши прыгали от радости, и взоры всех пылали мужеством и удовольствием. «Наконец! — говорили офицеры,— теперь будет наша очередь догонять!»

Смоленск. Я опять слышу грозный, величественный гул пушек! Опять вижу блеск штыков! Первый год моей воинственной жизни воскресает в памяти моей!.. Нет! трус не имеет души! Иначе как мог бы он видеть, слышать все это и не пламенеть мужеством! Часа два дожидались мы приказания под стенами крепости Смоленской; наконец велено нам идти на неприятеля. Жители города, видя нас проходящих в порядке, устройстве, с геройскою осанкою и уверенностию в своих силах, провожали нас радостными восклицаниями; некоторые, а особливо старики, беспрерывно повторяли: *помоги бог! помоги бог!* какимто необыкновенно торжественным голосом, который заставлял меня содрогаться и приводил в умиление...

Полк наш помещен по обеим сторонам дороги; эскадрон Подъямпольского на левой; еще левее кирпичные сараи. Место, нам доставшееся, так неудобно для оборотов кавалерии, что при первом натиске неприятеля мы не удержим его за собою; все это поле изрыто, усеяно мелкими кустами и перерезано рытвинами так, что при каждом быстром движении эскадронам пришлось бы перескакивать на каждом шагу или ров, или куст, или яму. Так как здесь брали глину для кирпичей, то ям было бесчисленное множество, и, сверх того, все они были полны дождевой воды. Нам велено было удерживать неприятеля. Итак, чтоб завязать дело, Подъямпольский, выстроив эскадрон в боевой порядок, велел выехать фланке-

рам. «Кому из вас, господа, угодно взять над ними начальство?» — спросил нас ротмистр. Старший Торнези сейчас вызвался; он и человек двадцать лучших наездников пустились на неприятеля. Через час они возвратились все, исключая Торнези, которого французы изрубили; говорят, что он в запальчивости занесся в толпу их, и, сколько они ему ни кричали *rendez vous! rendez vous*[1] он, не слушая, рубил их направо и налево, и наконец они с остервенением кинулись на него, и вмиг его не стало.

Когда Подъямпольский спросил фланкеров, как могли они допустить, чтоб изрубили их офицера? то они в оправдание свое сказали, что Торнези заскакал в толпу неприятелей и, не принимая предложения их сдаться, рубил и бранил их без пощады, и что они все вдруг кинулись на него; множество сабель засверкало над несчастным Торнези, и он упал к ногам своей лошади без жизни и образа.

Мы все смотрели очень внимательно на правую сторону дороги, где происходило уже сражение и некоторые из наших эскадронов отлично дрались; дорого заплатили бы мы за это зевание по сторонам, если б наш священник *Вартминский*, самый неустрашимый человек изо всего полка, не подъехал к нам и не указал в левую сторону своею нагайкою (единственным оружием, которое он равно употреблял для лошадей и для неприятеля). Взглянув, куда он указывал, мы увидели скачущую к нам во фланг неприятельскую кавалерию; в одно мгновение Подъямпольский скомандовал: «Второму полуэскадрону правое плечо вперед» — и, поставя его к неприятелю лицом, приказал мне взять начальство и в ту ж минуту ударить на несущуюся к нам конницу. Восхитительная минута для меня! Я уже не помнила постыдного бегства улан моих с пикета, видела только возможность прославиться... Но вдруг команда моя «с места, марш, марш» слилась с громовым голосом нашего начальника, раздавшимся позади нашего фронта: *«назад! назад!..»* В одну секунду мой полуэскадрон повернулся назад и поскакал сломя голову на большую дорогу; я осталась позади всех. Без порядка скакал

---

[1] сдавайтесь! сдавайтесь! *(фр.)*

эскадрон густой толпою по кустам, буграм и рытвинам; *Зелант,* горячий, заносчивый конь мой, рвался из-под меня, но я не смела дать ему воли; он имел дурную привычку, разгорячась, драть голову кверху, и мне предстоял весьма трудный выбор: дать волю Зеланту и тотчас упасть с ним в яму или полететь стремглав через куст или, придерживая его, быть догнанной неприятелем, летящим по следам нашим. Я выбрала последнее как более безопасное: посредственность французской кавалерии давно была мне известна, и я могла быть уверена, что в целом отряде, который гнался за нами, ни одна лошадь не равнялась Зеланту в быстроте; итак, удерживая коня своего, неслась я большим галопом вслед скачущего эскадрона; но, слыша близко за собою топот лошадей и увлекаясь невольным любопытством, не могла не оглянуться; любопытство мое было вполне награждено: я увидела скачущих за мною на аршин только от крестца моей лошади трех или четырех неприятельских драгун, старавшихся достать меня палашами в спину. При этом виде я хотя не прибавила скорости моего бега, но, сама не знаю для чего, закинула саблю на спину острием вверх. Миновав бугры и ямы, Зелант, как бурный вихрь, унес меня от толпы неприятельской. Выбравшись на ровное место, мы отплатили неприятелю за свое беспорядочное бегство: повинуясь голосу офицеров, эскадрон в минуту пришел в порядок, построился и грозною тучею понесся навстречу неприятелю. Земля застонала под копытами ретивых коней, ветер свистал в флюгерах пик наших; казалось, смерть со всеми ее ужасами неслась впереди фронта храбрых улан. Неприятель не вынес этого вида, и желая уйти, был догнан, разбит, рассеян и прогнан несравненно с бóльшим уроном, нежели был наш, когда мы приневолены были отступать во весь дух через бугры и рытвины.

Теперь эскадрон наш поставили на правой стороне дороги, а бугристое поле занято егерями. «Давно бы так!» — говорит Подъямпольский, покручивая усы с досадою... Мы здесь должны охранять крепость, итак, стоим без дела, но в готовности, то есть на лошадях и пики наперевес. Впереди нас стрелки Бутырского полка перестреливаются с неприятельскими.

Храбрый, отличный полк! Как только он начал действовать, в ту ж минуту пули неприятельские перестали долетать до нас.

На этом месте мы будем до завтра. Бутырский полк сменен другим, и теперь пули не только долетают до нас, но и ранят. Подъямпольскому это очень неприятно. Наконец, наскуча видеть, что у нас то того, то другого отводили за фронт, он послал меня в Смоленск к Штакельбергу сказать о критическом положении нашем и спросить, что он прикажет делать? Я исполнила, как было велено, сказала Штакельбергу, что у нас много ранено людей, и спросила, какое будет его приказание? «Стоять,— отвечал Штакельберг, — стоять, не трогаясь ни на шаг с места. Странно, что Подъямпольский присылает об этом спрашивать!» Я с великим удовольствием повезла этот прекрасный ответ своему ротмистру. «Что́,— кричал мне издали Подъямпольский,— что́ велено?» — «Стоять, ротмистр!» — «Ну, стоять так стоять»,— сказал он покойно; и, оборотясь к фронту с тем неустрашимым видом, который так ему свойственен, хотел было несколько ободрить солдат, но, к удовольствию своему, увидел, что они не имеют в этом нужды: взоры и лица храбрых улан были веселы; недавняя победа одушевила черты их геройством. Весь их вид говорит: *беда неприятелю!* К вечеру второй полуэскадрон спешился, и я, имея тогда свободу отойти от своего места, пошла к ротмистру спрашивать о всем том, что в этот день казалось мне непонятным. Подъямпольский стоял у дерева, подперши голову рукою, и смотрел без всякого участия на перестрелку; приметно было, что мысль его не здесь. «Скажите мне, ротмистр, для чего вы посылали к Штакельбергу меня, а не унтер-офицера? Не правда ли, что вы хотели укрыть меня от пуль?» — «Правда,— отвечал задумчиво Подъямпольский,— ты так еще молод, так невинно смотришь и среди этих страшных сцен так весел и беспечен! Я видел, как ты скакал позади всего эскадрона во время беспорядочного бегства нашего от кирпичных сараев, и мне казалось, что я вижу барашка, за которым гонится стая волков. У меня сердце обливается кровью при одной мысли видеть тебя убитым. Не знаю, Александров, отчего мне кажется, что если те-

бя убьют, то это будет убийство противное законам; дай бог, чтоб я не был этому свидетелем! Ах, пуля не разбирает. Она пробивает равно как грудь старого воина, так и сердце цветущего юноши!..» Меня удивило такое грустное расположение духа моего ротмистра и необыкновенное участие во мне, какого прежде я не замечала; но, вспомня, что у него брат, нежно им любимый, остался в Мариупольском полку один, предоставленный произволу судьбы и собственного разума, нашла весьма натуральным, что мой вид незрелого юноши и опасности войны привели ему на память брата, детский возраст его и положение, в каком он может случиться при столь жаркой войне.

Наступила ночь; второй полуэскадрон сел на лошадей, а первый спешился; пальба ружейная прекратилась. Я просила ротмистра позволить мне не садиться на лошадь; он согласился, и мы продолжали разговаривать. «Объясните мне, ротмистр, отчего у нас так много ранят офицеров? Рядовых такая густая масса; их более и удобнее было бы убивать; разве в офицеров нарочно метят?» — «Разумеется, — отвечал Подъямпольский, — это самый действительный способ расстроить и ослабить силы неприятеля».— «Почему ж?» — «Как почему! потому что один храбрый и знающий офицер более сделает вреда неприятелю своими сведениями, проницанием, уменьем пользоваться и выгодами местоположения и ошибками противной стороны, а особливо офицер, одаренный тем высоким чувством чести, которое заставляет встречать бестрепетно смерть и спокойно действовать в величайших опасностях; такой офицер, повторяю, один более сделает вреда неприятелю, нежели тысяча солдат, никем не начальствуемых...» Разговор наш продолжался часа два все в этом же смысле; я слушала со вниманием суждения и замечания Подъямпольского, лучшего офицера в полку нашем, храброго, опытного, строгого к себе столько же, как и к другим. Очередь сойти с лошадей второму полуэскадрону прекратила беседу нашу; ротмистр сел на лошадь, а мне сказал, что теперь я могу, если хочу, заснуть полчаса. Я не заставила повторить этого два раза, но тотчас воспользовалась позволением и, закутавшись солдатским плащом, легла под деревом, положа голову на корни его.

На рассвете сквозь тонкий сон слышала я, что по каске моей что-то щелкало; проснувшись совсем, я открыла голову и увидела стоящих недалеко от меня подполковника *Лопатина* и Подъямпольского; они о чем-то разговаривали, смотря и по временам указывая в сторону неприятельских стрелков; стыдясь, что нашли меня спящею, я спешила встать; и в это самое время пуля на излете ударила по каске моей, а тем объяснились и первые щелчки; я собрала лежащие близ меня пули и понесла их показать ротмистру. «Ну так что ж! — сказал он, рассмеявшись, — неужели тебе и это в диковинку?» — «А как же! ведь они не докатились, а долетели, почему ж не ранили меня?» — «Не имели силы. Полно, однако ж, садись на лошадь, нас сейчас сменят!» Драгунский эскадрон пришел стать на наше место, а мы вошли в крепость и у стен ее расположились отдыхать.

Смоленск уступили неприятелю!.. Ночью уже ариергард наш взошел на высоты за рекою. *Раевский* с сожалением смотрел на пылающий город. Кто-то из толпы окружавших его офицеров вздумал вскликнуть: «Какая прекрасная картина!..» — «Особливо для *Энгельгардта,* — подхватил который-то из адъютантов генерала, — у него здесь горят два дома!»

Мы всё отступаем! Для чего ж было читать нам, что государь не удерживает более нашего мужества! Кажется, не слишком большому опыту подвергли нашу храбрость. Как вижу, мы отступаем в глубь России. Худо будет нам, если неприятель останется в Смоленске! Одна только безмерная самонадеянность Наполеона обеспечивает в возможности заманить его далее. Все это, однако ж, выше моего понятия. Неужели нельзя было встретить и разбить неприятеля еще при границах государства нашего? К чему такие опасные маневры? Для чего вести врага так далеко в средину земли своей?.. Может быть, это делается с прекрасною целью; однако ж, пока достигнут ее или разгадают, войско может потерять дух; и теперь уже со всех сторон слышны заключения и догадки, одни других печальнее и нелепее.

По очереди пришлось мне быть на ординарцах у *Коновницына.* Генерал этот очень любит находиться как можно ближе к неприятелю и, кажется, за ничто

считает какие б то ни было опасности; по крайней мере, он так же спокоен среди битв, как и у себя в комнате. Здесь завязалось небольшое сражение. Генерал подъехал к передовой линии; но как свита его тотчас привлекла внимание и выстрелы неприятеля, то он приказал нам разъехаться. Не знаю почему, мы не скоро послушались его, и в это время ранили под ним лошадь. Неприятель сосредоточил на нашей группе свои выстрелы, что и заставило Коновницына отъехать немного далее от линии фланкеров. Когда мы повернулись все за ним, то мой досадный Зелант, имея большой шаг, неприметно вышел вперед генеральской лошади. Коновницын, увидя это, спросил меня очень строго: «Куда вы, господин офицер? Разве не знаете, что вам должно ехать за мною, а не впереди?» Со стыдом и досадою осадила я свою лошадь. Генерал верно, подумал, что это страх заставил меня прибавить шагу!..

Коновницыну надобно было послать на левый фланг к графу *Сиверсу* узнать, что в случае отступления безопасны ли и удобны ли дороги для его ретирады, довольно ли с ним войска и не нужно ли будет ему подкрепления? Для принятия этого поручения явилась я. «Ох, нет! — сказал Коновницын, взглянув на меня,— вы слишком молоды, вам нельзя этого поручить; пошлите кого постарее». Я покраснела: «Не угодно ли вашему превосходительству испытать; может быть, я в состоянии буду понять и исполнить ваши приказания». — «А... очень хорошо! извините меня, — сказал Коновницын торопливо и вежливым тоном; он отдал мне свои приказания, прибавя, чтоб я как можно скорее ехала. Не успела я скрыться у него из виду, как он, тревожимый недоверчивостью, послал другого ординарца по следам моим с тем же самым приказанием, и это было действием видимого покровительства божия, потому что неприятель занял уже те места, через которые проехала я к Сиверсу. Возвращаясь, я встретилась с посланным офицером, от которого и узнала, что там, где прежде ехала, находятся уже неприятельские стрелки. Приехав к Коновницыну, я рассказала ему со всею подробностию о положении отряда Сиверса, о путях, переправах, средствах, одним словом, обо всем, что мне велено было узнать. Конов-

ницын, выслушав мое донесение, расхвалил меня, попросил извинения в том, что усомнился было дать мне поручение по причине моей молодости, и, видно, желая загладить это, посылал уже везде одну меня через целый день, говоря при каждом поручении: «Вы исправнее других». Носясь весь день по полям от одного полка к другому, я измучилась, устала, смертельно проголодалась и совсем уже не рада стала приобретенной славе исправного ординарца. Бедный Зелант сделался похож на борзую собаку.

Солнце уже закатилось, когда мы стали на лагерь. Я только что успела сойти с лошади, как должна была опять сесть на нее: Подъямпольский сказал, что мне очередь ехать за сеном для целого полка. «Вот тебе десять человек от моего эскадрона; сейчас прибудут остальные, отправляйся с богом! Да нельзя ли,— прибавил он вполголоса,— достать что-нибудь съесть: гуся, курицу; сколько уже дней все один хлеб, до смерти наскучило!..» Пятьдесят человек улан явились под начальство мое, и я поехала с ними по первой, какая попалась, дороге отыскивать сенокос, потому что в это время года начинают уже косить. Ночь была очень тепла, но и очень темна; месяц не светил. Отъехав верст шесть от лагеря, мы увидели в полуверсте от нас деревню и в три минуты были уже в ней, потому что, обрадовавшись такой скорой находке, пустились туда рысью. К деревне примыкал обширный луг; виднелась речка, за нею несколько мелких перелесков. Приказав уланам идти с лошадьми на луг, я осталась одна в покинутой деревне и, привязав лошадь, пошла осматривать опустевшие жилища. Что-то было страшно видеть все двери отворенными; везде царствовал мрак, тишина и запустение; ничто не было заперто: конюшни, сараи, анбары, кладовые и дома, все было растворено! На дворе, однако ж, ходили, лежали, стояли коровы, овцы и сидели гуси стадами: бедные гуси! вид их припомнил мне просьбу Подъямпольского! припомнил, что одному из них непременно надобно будет умереть! Ах, как мне стыдно писать это! Как стыдно признаваться в таком бесчеловечии! Благородною саблей своей я срубила голову неповинной птицы!! Это была первая кровь, которую пролила я во всю мою жизнь. Хотя это кровь пти-

цы, но поверьте, вы, которые будете когда-нибудь читать *мои Записки,* что воспоминание о ней тяготит мою совесть!.. Через час уланы мои возвратились, ведя за собою лошадей своих, навьюченных сеном. «Не слишком ли тяжело вы навьючили их?» — спросила я, видя, что по бокам лошадей висели огромнейшие связки сена. «Нет, ваше благородие! ведь сено легко»! Я поверила, вовсе не подозревая, что тут кроется тяжесть мне неизвестная, и что для этого нарочно навязаны такие ужасные горы сена. Я села на лошадь, велела взять мертвого гуся и поехала впереди своего отряда, который шел пешком, ведя лошадей своих в поводу. Мы уже прошли бóльшую половину своей дороги и были верстах в двух от лагеря, как вдруг прискакал улан: «Поспешите, ваше благородие, полк скоро пойдет». Я велела людям идти так скоро, как они могут; они побежали; натурально, что и лошади пошли рысью; я очень удивилась, увидя, что в отряде моем то там, то сям падают с лошадей бараны. Я не имела времени спросить, для чего они столько набрали их, как другой улан прискакал с приказанием от полка бросить сено и спешить к полку; я приказала оставить все, и сено, и баранов, и моего гуся на месте, сесть на лошадей и рысью возвращаться в полк; мы догнали его уже на марше. «Что это значит, ротмистр, что полк так скоро пошел?» — «Вот странный вопрос, что значит! велено, так и пошли; мы не прогуливаемся, теперь война!» Я замолчала. Ротмистр был не в духе и, верно, оттого, что голоден. Я тоже голодна и, сверх того, нисколько не спала эту ночь.

У нас новый главнокомандующий: *Кутузов!..* Это услышала я, стоя в кругу ординарцев, адъютантов и многих других офицеров, толпящихся около разведенного огня. Гусарский генерал *Дорохов* говорил, поглаживая седые усы свои: «Дай бог, чтоб *Михайло Ларионович* поскорее приехал и остановил нас; мы разбежались, как под гору».

Кутузов приехал!.. солдаты, офицеры, генералы — все в восхищении; спокойствие и уверенность заступили место опасений; весь наш стан кипит и дышит мужеством!..

Холодный, пронзительный ветер леденит тело мое. Шинель моя не только что не на вате, но и ни на чем;

под нею нет подкладки. Уланский колет мой подложен тафтою, и в нем состоит вся моя защита против ветра, столько же холодного, как зимою.

Бородино. Вечером вся наша армия расположилась биваками близ села Бородино. Кутузов хочет дать сражение, которого так давно все желают и ожидают. Наш полк, по обыкновению, занимает передовую линию. В эту ночь я сколько ни свертывалась, сколько ни куталась в шинель, но не могла ни согреться, ни заснуть. Шалаш наш был сделан à jour[1], и ветер свистал сквозь него, как сквозь разбитое окно. Товарищи мои, которых шинели теплы, спят покойно: охотно бы легла я у огня, но его нет и не разводили.

24-го августа. Ветер не унялся! на рассвете грозно загрохотала вестовая пушка. Гул ее несся, катился и переливался по всему пространству, занятому войском нашим. Обрадовавшись дню, я тотчас оставила беспокойный ночлег свой! Еще не совсем замолк гул пушечного выстрела, как все уже было на ногах! Через четверть часа все пришло в движение, все готовится к бою! Французы идут к нам густыми колоннами. Все поле почернело, закрывшись несметным их множеством.

26-го. Адский день! Я едва не оглохла от дикого, неумолкного рева обеих артиллерий. Ружейные пули, которые свистали, визжали, шикали и, как град, осыпали нас, не обращали на себя ничьего внимания; даже и тех, кого ранили, и они не слыхали их: до них ли было нам!.. Эскадрон наш ходил несколько раз в атаку, чем я была очень недовольна: у меня нет перчаток, и руки мои так окоченели от холодного ветра, что пальцы едва сгибаются; когда мы стоим на месте, я кладу саблю в ножны и прячу руки в рукава шинели; но, когда велят идти в атаку, надобно вынуть саблю и держать ее голою рукой на ветру и холоде. Я всегда была очень чувствительна к холоду и вообще ко всякой телесной боли; теперь, перенося днем и ночью жестокость северного ветра, которому подвержена,

[1] на один день, временный *(фр.)*.

беззащитно, чувствую, что мужество мое уже не то, что было с начала кампании. Хотя нет робости в душе моей и цвет лица моего ни разу не изменялся, я покойна, но обрадовалась бы, однако ж, если бы перестали сражаться.

Ах, если б я могла согреться и опять почувствовать, что у меня есть руки и ноги! Теперь я их не слышу.

Желание мое исполнилось; нужды нет, каким образом, но только исполнилось; я не сражаюсь, согрелась и чувствую, что у меня есть руки и ноги, а особливо левая нога очень ощутительно дает мне знать, что я имею ее: она распухла, почернела и ломит нестерпимо: я получила контузию от ядра. Вахмистр не допустил меня упасть с лошади, поддержал и отвел за фронт. Несмотря на столько битв, в которых была, я не имела никакого понятия о контузии; мне казалось, что получить ее не значит быть ранену, и потому, не видя крови на колене своем, воротилась я к своему месту. Подъямпольский, оглянувшись и видя, что я стою перед фронтом, спросил с удивлением: «Зачем ты воротился?» — «Я не ранен», — отвечала я. Ротмистр, полагая, что меня ударила пуля на излете, успокоился, и мы продолжали стоять и выдерживать огонь до самой ночи. Тогда неприятель зачал освещать нас светлыми ядрами, живописно скачущими мимо нашего фронта; наконец и эта забава кончилась, все затихло. Полк наш отступил несколько назад и спешился; но эскадрон Подъямпольского остался на лошадях. Я не в силах была выдерживать долее мучений, претерпеваемых мною от лома в ноге, от холода, оледенявшего кровь мою, и от жестокой боли всех членов (думаю, оттого, что во весь день ни на минуту не сходила с лошади). Я сказала Подъямпольскому, что не могу более держаться на седле и что если он позволит, то я поеду в вагенбург, где штаб-лекарь *Карнилович* посмотрит, что делается с моею ногой; ротмистр позволил. Наконец пришло то время, что я сама охотно поехала в вагенбург! В вагенбург, столько прежде презираемый! Поехала, не быв жестоко раненною!.. Что может храбрость против холода!!

Оставя эскадрон, пустилась я, в сопровождении одного улана, по дороге к вагенбургу, едва удерживаясь от болезненного стона. Но я не могла ехать далее Бо-

родина и остановилась в этом селении; оно из конца в конец было наполнено ранеными. Ища бесполезно избы, куда б меня пустили, и получая везде отказ, решилась я войти и занять место, не спрашивая согласия; отворив дверь одной обширной и темной, как могила, избы крестьянской, была я встречена двадцатью голосами, болезненно кричащими ко мне из глубины этого мрака: *«Кто там? Зачем? Затвори двери! Что тебе надобно? Кто такой пришел...»* Я отвечала, что я уланский офицер, ранен, не могу найти квартиры и прошу их позволить мне переночевать здесь. *«Нельзя, нельзя!* — закричало вдруг несколько голосов,— здесь раненый полковник, и нам самим тесно!» — Ну, так раненый полковник должен по себе знать, что в таком положении трудно искать квартиры, и как бы ни было вам тесно, но вы должны были бы предложить мне остаться между вами, а не выгонять». На эту проповедь отвечал мне кто-то отрывисто: «Ну, пожалуй, оставайтесь, вам негде будет лечь». — «Это уже моя забота», — сказала я и, обрадовавшись, что наконец вижу себя в тепле, взлезла на печь и легла на краю не только что во всем вооружении, но даже не снимая и каски. Члены мои начали оттаивать и боль утихать; одна только ушибленная нога была тяжела, как бревно: я не могла пошевелить ее без боли. Изнуренная холодом, голодом, усталостию и болью, я в одну минуту погрузилась в глубочайший сон. На рассвете, видно, я хотела повернуться на другую сторону, но как спала на краю печи, то сабля моя от этого движения свесилась и загремела; все проснулись и все кричали *«Кто тут! Кто ходит!»* Голос их показывал сильный испуг; один из них прекратил эту тревогу, напомня товарищам обо мне, выражаясь весьма обязательно: «Это возится тот улан, вот что с вечера еще черт принес к нам». После того они опять все заснули, но я уже не спала; нога моя жестоко болела, и, вместо вчерашнего озноба, во мне был сильный жар. Я встала и, рассмотрев сквозь трещины ставня, что заря уже занималась, отворила дверь, чтобы выйти и оставить гостеприимный кров, под которым провела ночь; у самого порога стоял мой улан с обеими лошадьми; терзательная боль, когда надобно было стать и опереться левою ногой на стремя, выжала неволь-

ные слезы из глаз моих. Отъехав с полверсты, я хотела уже сойти с лошади и лечь в поле, отдавшись на волю судьбы: нога моя затекла и причиняла мне боль невыносимую! К счастию, улан мой увидел вдали телегу; на ней лежала пустая бочка, в которой отвозили вино в армию; сейчас он поскакал и привел эту телегу ко мне; пустую бочку сбросили, а я заняла ее место и легла на ту солому, на которой она лежала. Улан повел моего Зеланта в поводу, и таким образом прибыла я в вагенбург, где нашла доброго приятеля своего полкового казначея *Бурого,* и теперь сижу в его теплом шалаше, в его тулупе; в руках у меня стакан горячего чаю; нога обвязана бинтами, намоченными спиртом; надеюсь, что и это поможет за неимением лучших средств. Карниловича нет здесь, он при полку.

Я совершенно оправилась! Хороший суп, чай и теплота возвратили членам моим силу и гибкость; все забыто, как сон, хотя нога и болит еще. Но что об ней думать! К тому ж, право, мне кажется, что моя контузия из всех контузий самая легкая.

Проведя два дня в шалаше Бурого, я спешила возвратиться в полк; мне дано отвесть туда небольшой отряд, состоящий из двадцати четырех улан, для укомплектования эскадрона.

Мы отступаем к Москве и теперь уже в десяти верстах от нее. Я просила *Штакельберга* позволить мне съездить в Москву, чтоб заказать сшить теплую куртку; получа позволение, я отдала свою лошадь улану и отправилась на паре едва дышащих кляч, нанятых в селении. Я хотела было остановиться в Кремле у *Митрофанова,* искреннего друга и сослуживца отца моего, но узнала, что он куда-то уехал. Пока я доспросилась о нем, должна была заходить ко многим жильцам обширного дома, в котором были и его комнаты. Один из этих набегов произведен на горницы молодой купчихи; она, увидя меня отворяющую дверь ее, тотчас стала говорить: «Пожалуйте, пожалуйте, батюшка господин офицер! прошу покорно, садитесь, сделайте милость; вы хромаете, конечно, ранены? Не прикажете ли чаю? Катенька, подай скорее». Говоря все это, она усаживала меня на диване, а Катенька, миленькая четырнадцатилетняя девочка, во всем блеске купеческой красоты, стояла уже передо мною с

чашкою чаю. «Что, батюшка, супостат наш далеко ли? Говорят, он идет в Москву». Я отвечала, что его не пустят в Москву. «Ах, дай-то бог! Куда мы денемся тогда? Говорят, он всех принуждает к своей вере». Что мне было отвечать им на такие вопросы? Малютка тоже отозвалась своим тоненьким голосом: «Слышно, что они всех пленных клеймят против сердца»,— говоря это, она указывала на свое собственно сердце. «Это легко может быть, — отвечала я, — об этом что-то и я слышал». Они приступили было ко мне с расспросами, но я встала, сказав, что должен спешить к своему месту. «Итак, господь с вами, батюшка», — говорили обе сестры, провожая меня по переходам к лестнице.

Куртку мне сшили, я надела ее и хотела сейчас выехать из города; но это не так-то легко было сделать: неприятель близко, многие извощики оставили Москву, и те из них, которые были еще тут, просили с меня пятьдесят рублей, чтоб довезть до главной квартиры; но как у меня нет и одного, не только пятидесяти, то я отправляюсь пешком. Прошед версты три по мостовой, я принуждена была лечь на землю, как только вышла за заставу: нога моя снова стала болеть и пухнуть, и я не могла уже ступить на нее. К моему счастию, проезжала мимо какая-то фура, нагруженная седлами, потниками, манерками, ранцами и всяким другим военным дрязгом; при ней был офицер. Я просила его взять меня на эту фуру; сначала он не соглашался, говоря, что ему нельзя ничего из тех вещей сбросить и некуда посадить меня; но, представя ему, что не только офицер, но и простой солдат дороже государю двадцати таких фур, я убедила его дать мне место. У главной квартиры я встала, поблагодарила офицера и пошла, прихрамывая, искать *Шварца,* чтоб попросить у него какую-нибудь лошадь; моя осталась в полку. Я отыскала Шварца в квартире графа *Сиверса.* После Бородинского дела мы не видались; он очень удивился, увидя меня, и спросил, для чего я не при полку? Я рассказала ему о контузии, о боли, о Москве, о куртке, прибавя ко всему этому, что желала бы как можно скорее возвратиться к полку и что для этого мне нужна лошадь. Шварц дал мне казачью лошадь с тонкою вытянутою шеей, безоб-

разную, оседланную гадким седлом с огромной подушкой. На этом коне, не имевшем и в доброе свое время ни огня, ни быстроты, приехала я в полк. Горя нетерпением сесть на своего бодрого и гордого Зеланта, я узнала, к величайшей досаде моей, что он отправлен с заводными лошадьми верст за пять в деревню.

Перешед Москву, мы остановились верстах в двух или трех от нее; армия пошла дальше.

Через несколько времени древняя столица наша запылала во многих местах! Французы вовсе нерасчетливы. Зачем они жгут наш прекрасный город? свои великолепные квартиры, так дорого ими нанятые? Странные люди!.. Мы все с сожалением смотрели, как пожар усиливался и как почти половина неба покрылась ярким заревом. Взятие Москвы привело нас в какое-то недоумение; солдаты как будто испуганы; иногда вырываются у них слова: *лучше уж бы всем лечь мертвыми, чем отдавать Москву!* Разумеется, они говорят это друг другу вполголоса, а в таком случае офицер не обязан этого слышать.

Полк наш примыкал левым флангом к какой-то деревушке; в ней не было уже ни одного человека. Я спросила ротмистра, долго ли мы тут будем стоять? «Кто ж это знает, — отвечал он, — огней не велено разводить, так, видно, надобно быть наготове каждую минуту. А тебе на что это знать?» — «Так; я пошел бы в крайний дом лечь спать ненадолго; у меня очень болит нога». — «Поди; пусть унтер-офицер постоит у избы с твоей лошадью; когда полк тронется с места, то он разбудит тебя». Я проворно побежала в дом; вошла в избу и, видя, что пол и лавки выломаны, не нашла лучшего места, как печь; я влезла на нее и легла с краю; печь была тепла, видно, ее недавно топили; в избе было довольно темно от притворенных ставень. Теплота и темнота! какие два благословенные удобства! Я тотчас заснула. Думаю, что спала не более получаса, потому что скоро проснулась от повторенных восклицаний: «Ваше благородие! ваше благородие! полк ушел! неприятель в деревне!!» Проснувшись, я спешила встать, и, стараясь опереться левою рукой, почувствовала под нею что-то мягкое; я обернулась посмотреть и как было темно, то наклонилась

очень близко к предмету, в который уперлась рукою; это был мертвый человек и, кажется, ополчанин; не знаю, легла ли бы я на печь, если б увидела прежде этого соседа, но теперь я и не подумала испугаться. Каких странных встреч не случится в жизни, особливо в теперешней войне! Оставя безмолвного обитателя хижины спать сном беспробудным, я вышла на улицу; французы были уже в деревне и стреляли кой-накого из наших. Я поспешила сесть на свою лошадь и рысью догнала полк.

Штекельберг послал меня за сеном для полковых лошадей, и я волею или неволею, но должна была ехать на лошади упрямой, ленивой и безобразной, как осел; пустя вперед свою команду, ехала я за нею, размышляя о неприятном положении своем. Стыд и беда с таким конем ожидают меня в первом деле: на неприятеля он не пойдет, от неприятеля не унесет... «Вот здесь наши заводные!» — сказал один из улан своему товарищу, указывая на ближнее селение; оно было в версте от дороги, по которой я вела свой отряд. Мысль, что могу достать свою лошадь, осветила мой ум, успокоила и разогнала все мрачные помыслы; я поручила унтер-офицеру вести шагом отряд к ближнему лесу, а сама не поскакала уже, но потряслась как могла скорее к селу, где надеялась найти наших заводных.

Судьба ожесточилась против меня: я не нашла здесь своей лошади; здесь не нашего полка заводные; уланские далее еще верстах в трех от селения.

Несчастный голодный осел, на котором я сижу и терзаюсь досадою, какую только можно себе представить, не хочет идти иначе как шагом и то с величайшею ленью. Мучительнее этого состояния я еще не испытывала. Если б мне отдали на выбор: быть ли еще на двух Бородинских сражениях или два дня только иметь под собою эту верховую лошадь, сию минуту избираю первое, не колеблясь ни секунды.

Я отыскала и взяла своего Зеланта; но как дорого мне это стоило! Решась во что бы то ни стало избавиться неприятного положения своего, принудила я шпорами и саблею бедную лошадь довезти меня рысью до второго селения, и тут, к восхищению моему, первый предмет, который мне представился, был Зелант!

Пересев на него, полетела я, как стрела, к тому лесу, куда велела ехать своему отряду; я надеялась отыскать его по следам, но множество дорог, идущих вправо, влево, поперек — и на всех бесчисленное множество конских следов, — привели меня в недоумение. Проехав версты три наудачу по дороге, которая показалась мне шире других, приехала я к господскому дому прекрасной архитектуры. Цветник перед крыльцом, ведущим в сад, был весь истоптан лошадьми; по аллеям тянулись богатые кружева и блонды: следы грабительства видны были везде. Не встречая тут ни одного человека и не зная, как отыскать свою команду, решилась я возвратиться в полк. Штакельберг, увидя меня одну, спросил: «Где ж ваша команда?» Я откровенно рассказала, что, желая взять свою лошадь в ближнем селении, велела отряду идти шагом к лесу и там дождаться меня; но что, возвратясь, я не нашла их на назначенном месте и теперь не знаю, где они. «Как смели вы это сделать! — закричал Штакельберг. — Как смели оставить свою команду! Ни на секунду не должны вы были отлучаться от нее; теперь она пропала: лес этот занят уже неприятелем. Ступайте, сударь! сыщите мне людей, иначе я представлю на вас главнокомандующему, и вас расстреляют!..» Оглушенная этою выпалкой, поехала я опять к проклятому лесу, но там были уже неприятельские стрелки. «Куда ты едешь, Александров?» — спросил меня офицер лейб-эскадрона, находившийся в передней линии наших стрелков. Я отвечала, что Штакельберг прогнал меня искать моих фуражиров. «А ты ужели их потерял?» Я рассказала. «Это, братец, пустяки, фуражиры твои, верно, прошли безопасно окольными дорогами и теперь должны быть в селении, занятом заводными лошадьми нашего ариергарда; ступай туда». Я последовала его совету и, в самом деле, нашла своих людей с их вьюками сена в этом селе. На вопрос: для чего не дожидались меня, сказали, что, услыша скачку и пальбу в лесу, думали, что это неприятель, и, не желая вовсе быть взятыми в плен, уехали дальше, верст за восемь; нашли там сено, навьючили им лошадей и приехали ожидать меня здесь. Я отвела их в полк, представила Штакельбергу и поехала прямо к главнокомандующему.

Чувствуя себя жестоко оскорбленною угрозой Штакельберга, что меня расстреляют, я не хотела более оставаться под его начальством: не сходя с лошади, написала я карандашом к Подъямпольскому: «Уведомьте полковника Штакельберга, что, не имея охоты быть расстрелянным, я уезжаю к главнокомандующему, при котором постараюсь остаться в качестве его ординарца».

Приехав в главную квартиру, увидела я на одних воротах написанные мелом слова: *Главнокомандующему;* я встала с лошади и, вошед в сени, встретила какого-то адъютанта. «Главнокомандующий здесь?» — спросила я. «Здесь», — отвечал он вежливым и ласковым тоном; но в ту же минуту вид и голос адъютанта изменились, когда я сказала, что ищу квартиру *Кутузова:* «Не знаю; здесь нет, спросите там»,— сказал он отрывисто, не глядя на меня, и тотчас ушел. Я пошла далее и опять увидела на воротах: *Главнокомандующему.* На этот раз я была уже там, где хотела быть: в передней горнице находилось несколько адъютантов; я подошла к тому, чье лицо показалось мне лучше других; это был *Дишканец:* «Доложите обо мне главнокомандующему, я имею надобность до него». — «Какую? вы можете объявить ее через меня».— «Не могу, мне надобно, чтобы я говорил с ним сам и без свидетелей; не откажите мне в этом снисхождении», — прибавила я, вежливо кланяясь Дишканцу. Он тотчас пошел в комнату Кутузова и через минуту, отворяя дверь, сказал мне: «Пожалуйте» — и с этим вместе сам вышел опять в переднюю; я вошла и не только с должным уважением, но даже с чувством благоговения поклонилась седому герою, маститому старцу, великому полководцу. «Что тебе надобно, друг мой?» — спросил Кутузов, смотря на меня пристально. «Я желал бы иметь счастие быть вашим ординарцем во все продолжение кампании и приехал просить вас об этой милости». — «Какая же причина такой необыкновенной просьбы, а еще более способа, каким предлагаете ее?» Я рассказала, что́ заставило меня принять эту решимость, и, увлекаясь воспоминанием незаслуженного оскорбления, говорила с чувством, жаром и в смелых выражениях; между прочим, я сказала, что, родясь и выросши в лагере, люблю во-

енную службу со дня моего рождения, что посвятила ей жизнь мою навсегда, что готова пролить всю кровь свою, защищая пользы государя, которого чту, как бога, и что, имея такой образ мыслей и репутацию храброго офицера, я не заслуживаю быть угрожаема смертию... Я остановилась, как от полноты чувств, так и от некоторого замешательства: я заметила, что при слове «храброго офицера» на лице главнокомандующего показалась легкая усмешка. Это заставило меня покраснеть; я угадала мысль его и, чтобы оправдаться, решилась сказать *все.* «В Прусскую кампанию, ваше высокопревосходительство, все мои начальники так много и так единодушно хвалили смелость мою, и даже сам *Буксгевден* назвал ее *беспримерною,* что после всего этого я считаю себя вправе назваться *храбрым,* не опасаясь быть сочтен за самохвала».— «В Прусскую кампанию! разве вы служили тогда? который вам год? Я полагал, что вы не старее шестнадцати лет». Я сказала, что мне *двадцать третий год* и что в Прусскую кампанию я служила в Коннопольском полку. «Как ваша фамилия?» — спросил поспешно главнокомандующий. «*Александров!*» Кутузов встал и обнял меня, говоря: «Как я рад, что имею наконец удовольствие узнать вас лично! Я давно уже слышал об вас. Останьтесь у меня, если вам угодно; мне очень приятно будет доставить вам некоторое отдохновение от тягости трудов военных; что ж касается до угрозы расстрелять вас, — прибавил Кутузов, усмехаясь, — то вы напрасно приняли ее так близко к сердцу; это были пустые слова, сказанные в досаде. Теперь подите к дежурному генералу *Коновницыну* и скажите ему, что вы у меня бессменным ординарцем». Я пошла было, но он опять позвал меня: «Вы хромаете? отчего это?» Я сказала, что в сражении под Бородиным получила контузию от ядра. «Контузию от ядра! и вы не лечитесь! сейчас скажите доктору, чтобы осмотрел вашу ногу». Я отвечала, что контузия была очень легкая и что нога моя почти не болит. Говоря это, я лгала: нога моя болела жестоко и была вся багровая.

Теперь мы живем в *Красной Пахре,* в доме Салтыкова. Нам дали какой-то дощатый шалаш, в котором все мы (то есть ординарцы) жмемся и дрожим от хо-

лода. Здесь я нашла *Шлеина,* бывшего вместе со мною в Киеве на ординарцах у *Милорадовича.*

Лихорадка изнуряет меня. Я дрожу, как осиновый лист!.. Меня посылают двадцать раз на день в разные места; на беду мою, Коновницын вспомнил, что я, будучи у него на ординарцах, оказалась отличнейшим из всех, тогда бывших при нем. «А, здравствуйте, старый знакомый», — сказал он, увидя меня на крыльце дома, занимаемого главнокомандующим; и с того дня не было уже мне покоя. Куда только нужно было послать скорее, Коновницын кричал: «Уланского ординарца ко мне!» — и бедный уланский ординарец носился, как бледный вампир, от одного полка к другому, а иногда и от одного крыла армии к другому.

Наконец, Кутузов велел позвать меня: «Ну что,— сказал он, взяв меня за руку, как только я вошла,— покойнее ли у меня, нежели в полку? Отдохнул ли ты? что твоя нога?» Я принуждена была сказать правду, что нога моя болит до нестерпимости, что от этого у меня всякий день лихорадка и что я машинально только держусь на лошади по привычке, но что силы у меня нет и за пятилетнего ребенка. «Поезжай домой, — сказал главнокомандующий, смотря на меня с отеческим состраданием,— ты в самом деле похудел и ужасно бледен; поезжай, отдохни, вылечись и приезжай обратно». При этом предложении сердце мое стеснилось. «Как мне ехать домой, когда ни один человек теперь не оставляет армию!» — сказала я печально. «Что ж делать! ты болен. Разве лучше будет, когда останешься где-нибудь в лазарете? Поезжай! теперь мы стоим без дела, может быть, и долго еще будем стоять здесь; в таком случае успеешь застать нас на месте». Я видела необходимость последовать совету Кутузова: ни одной недели не могла бы я долее выдерживать трудов военной жизни. «Позволите ли, ваше высокопревосходительство, привезть с собой брата? Ему уже четырнадцать лет. Пусть он начнет военный путь свой под начальством вашим».— «Хорошо, привези, — сказал Кутузов, — я возьму его к себе и буду ему вместо отца».

Через два дни после этого разговора Кутузов опять потребовал меня: «Вот подорожная и деньги на прогоны, — сказал он, подавая то и другое, — поезжай с

богом! Если в чем будешь иметь надобность, пиши прямо ко мне, я сделаю все, что от меня будет зависеть. Прощай, друг мой!» Великий полководец обнял меня с отеческою нежностию.

Лихорадка и телега трясут меня без пощады. У меня подорожная курьерская, и это причиною, что все ямщики, не слушая моих приказаний ехать тише, скачут сломя голову. Малиновые лампасы и отвороты мои столько пугают их, что они хотя и слышат, как я говорю, садясь в повозку, «ступай рысью», но не верят ушам своим и, заставя лихих коней рвануть разом с места, не прежде остановят их, как у крыльца другой станции. Но нет худа без добра: я теперь не зябну; от мучительной тряски меня беспрерывно бросает в жар.

В *Калуге* пришел на почту какой-то, по-видимому, чиновник и, выждав, как никого не осталось в комнате, подступил ко мне тихо, как кошка, и еще тише спросил: «Не позволите ли мне узнать содержание ваших депеш?» — «Моих депеш! Забавно было бы, если б рассказывали курьерам, что́ написано в тех бумагах, с которыми они едут! Я не знаю содержания моих депеш». — «Иногда это бывает известно господам курьерам; я скромен, от меня никто ничего не узнает», — продолжал шептать искуситель с ласковою миной. «И от меня так же. Я скромен, как и вы», — сказала я, вставая, чтоб уйти от него. «Одно слово, батюшка! Москва...» Остального я не слыхала, села в повозку и уехала. Сцены эти повторялись во многих местах и многими людьми; видно, им не новое было расспрашивать курьеров.

Казань. Я остановилась в доме благородного собрания, чтобы пообедать. Лошади были уже готовы, и обед мой приходил к концу, как вошло ко мне приказное существо с тихою поступью, прищуренными глазами и хитрою физиогномией: «Куда изволите ехать?» — «В С...» — «Вы прямо из армии?» — «Из армии».— «Где она расположена?» — «Не знаю».— «Как же это?» — «Может быть, она перешла на другое место».— «А где вы оставили ее?» — «На поле между Смоленском и Москвою».— «Говорят, Москва взята; правда ли это?» — «Неправда! Как можно!» — «Вы не

хотите сказать! все говорят, что взята, и это верно!» — «А когда верно, так чего ж вам больше?» — «Стало, вы соглашаетесь, что слух этот справедлив?» — «Не соглашаюсь! прощайте, мне некогда ни рассказывать, ни слушать вздору о Москве». Я хотела было ехать. «Не угодно ли вам побывать у губернатора? он просил вас к себе»,— сказал хитрец совсем уже другим тоном. «Вам надобно было сказать мне это сначала, не забавляясь расспросами, а теперь я вам не верю, и к тому ж я курьер и заезжать ни к кому не обязан». Чиновник опрометью бросился от меня и через две минуты опять явился: «Его превосходительство убедительно просит вас пожаловать к нему; он прислал за вами свой экипаж». Я тотчас поехала к губернатору. Почтенный *Мансуров* начал разговор свой благодарностью за мое благоразумие в отношении к нескромным расспросам. «Мне очень приятно было,— говорил он,— слышать от своего чиновника, с какой осторожностью вы отвечали ему; я много обязан вам за это. Здесь наделал было мне хлопот один негодяй, вырвавшийся из армии; столько наговорил вздору и так растревожил умы жителей, что я принужден был посадить его под караул. Теперь прошу вас быть со мною откровенным: Москва взята?» Я медлила ответом: губернатора смешно было бы обманывать, но тут стоял еще какой-то чиновник, и мне не хотелось при нем отвечать на такой важный вопрос. Губернатор угадал мысль мою: «Это мой искренний друг, это второй я! прошу вас не скрывать от меня истины; меня удостаивает доверенностию и сам государь; сверх того, мне надобно знать о участи Москвы и для того, чтобы взять свои меры в рассуждении города; буйные татары собираются толпами и выжидают случая наделать неистовств; я должен это упредить; итак — Москва точно взята?» — «Могу вас уверить, ваше превосходительство, что не взята, но отдана добровольно, и это последний триумф неприятеля нашего в земле русской: теперь гибель его неизбежна!» — «На чем же вы основываете ваши догадки?» — спросил губернатор, на лице которого при словах *Москва отдана* изобразилось прискорбие и испуг. «Это не догадки, ваше превосходительство, но совершенная уверенность: за гибель врагов наших порукою нам спокойствие и веселый вид всех на-

ших генералов и самого главнокомандующего. Не натурально, чтоб, допустя неприятеля в сердце России и отдав ему древнюю столицу нашу, могли они сохранять спокойствие духа, не быв уверенными в скорой и неизбежной погибели неприятеля. Сообразите все это, ваше превосходительство, и вы сами согласитесь со мною». Губернатор долго еще разговаривал со мною, расспрашивая о действиях и теперешнем положении армии, и наконец, прощаясь, наговорил мне много лестного и в заключение сказал, что Россия не дошла бы до крайности отдать Москву, если б в армии были все такие офицеры, как я. Подобная похвала, и от такого человека, как Мансуров, вскружила бы голову хоть кому, а мне и подавно. Мне, которую ожидает тьма толков, заключений, предположений и клевет, как только пол мой откроется! Ах, как необходимо будет мне тогда свидетельство людей подобных *Мансурову, Ермолову и Коновницыну!..*

РАССКАЗ ТАТАРИНА

За Казанью начинаются леса обширные, густые, дремучие и непроходимые; зимою большая дорога, идущая через них, так же узка, как и всякая проселочная; последние еще имеют преимущество перед первою, потому что ими можно иногда ближе проехать и всегда уже дешевле; последнее обстоятельство для меня было также немаловажно, и я со второй станции поворотила с большой дороги на маленькую, которая вела и час от часу глубже заходила в чащу соснового леса. Наступила ночь! в дремучем лесу ничто не шелохнуло, и только раздавались восклицания моего ямщика и заунывные песни старого татарина, ехавшего вместе со мною от самой Казани; он выпросил у меня позволение сидеть на облучке повозки и за то прислуживал мне в дороге; *гайда, гайда, Хамитулла!..* пел он протяжным и грустным напевом своего народа; это был припев какой-то неоканчиваемой песни. Устав слушать одно и то же целый час, я спросила: «Что это за Хамитулла, *Якуб,* которым ты прожужжал мне уши?» Якуб сердито повернулся на облучке: «Что за Хамитулла? Хамитулла был первый красавец из всего рода нашего!» — «Из твоей семьи, Якуб, или из всего та-

тарского племени?..» Якуб не отвечал; я думала, он осердился, по обыкновению; но седой татарин мрачно смотрел в глубь леса и вздыхал. Я оставила его думать, как видно, о Хамитулле и хотела, закрыв голову шинелью, лечь спать; вдруг Якуб оборотился ко мне совсем: «Барин! мы едем теперь через тот самый лес, где так долго крылся и скитался Хамитулла!.. где он наводил ужас на путников одним только именем своим и мнимыми разбоями!.. где его искали, преследовали и наконец поймали!.. Бедный Хамитулла! видя его в цепях, я не верил глазам своим. Он! добрый и честный человек, примерный сын, брат, друг!.. в цепях за преступление!.. за разбой!.. Как бы вы думали, барин, какое было это преступление и какого рода разбой?.. Хотите знать?» — «Хорошо, Якуб, расскажи».— «Я люблю говорить об нем; дивлюсь ему и жалею о бедственной судьбе его со всем сердоболием отца... Да, я любил Хамитуллу, как сына!

Ему было семнадцать лет, когда я, заплатив калым за вторую жену свою, переехал жить к тестю в деревню****, чтоб помогать ему в трудах. Дом отца Хамитуллы был подле нашего; мне было тогда сорок два года от роду; детей у меня не было; и я всей душою привязался к бравому юноше, который тоже любил меня, как отца. Он был не только что прекраснейший из молодых людей наших, но и отличнейший стрелок и отважнейший наездник. Иногда, усмирив сердитого неезженого коня и подводя его ко мне, он говорил: «Посмотри, Якуб, только на таких люблю ездить! Что в этих кротких!.. Ах, если б не было и вовсе на свете смирных лошадей!..» Я смеялся: «За что ж ты хочешь, Хамитулла, чтоб мы все сломили себе шеи, садясь на бешеных лошадей? Хорошо тебе, ты молод, силен, славный наездник; а я, а старик-отец твой? что бы стали мы делать?» — «Правда! не подумал я об этом»,— и шалун бегом уводил своего любимца на траву.

Но настало время, когда ни добрый конь, ни тугой лук не веселили более Хамитуллу. Огненные кони его, разметав гриву, летали по горам и долам, а Хамитулла и не думал оседлать которого-нибудь из них; ему приятно было оставаться дома и изредка проходить мимо окна *Зугры,* дочери одного из богатейших

татар деревни. Зугра была смуглая, статная, высокая татарочка; разумеется, с черными глазами и бровями, хотя эта последняя прелесть и не диковина у татарок; они почти все черноглазы; но чернота глаз и бровей Зугры была как-то пленительно черна! в них было что-то, от чего жестоко болело сердце Хамитуллы...» «Как же, Якуб, удалось твоему Хамитулле видеть свою любезную? Ведь у вас татарки прячутся от мужчин».— «Но только не от тех, кому хотят понравиться; тут они очень искусно умеют дать себя увидеть. Довольно, что Хамитулла умел отличить прелестную черноту глаз и бровей своей Зугры от такой же точно черноты двадцати пар других глаз и бровей. «У нее глаза горят, а брови лоснятся! клянусь тебе, Якуб, клянусь кораном!» — повторял предо мною влюбленный. «В уме ли ты, Хамитулла! разве нет у тебя товарищей одних с тобою лет, что ты приходишь говорить мне такой вздор и еще клясться в нем кораном?» — «Товарищам! рассказать товарищам о *Зугре*! ах, они слишком хорошо знают об ней, и я, верно, уже не буду лить масло на огонь».— «Ну, чего же ты хочешь? Просил ли ты отца дать калым за нее?» — «Просил».— «Что ж он сказал?» — «Не по деньгам, не в состоянии!.. Отец Зугры хочет такой *калым*, какого у нас в деревне никто дать не может, а я и подавно...» — «В таком случае нечего делать, Хамитулла. Будь благоразумен, старайся забыть; победи себя; займись чем-нибудь, торгом, например; поезжай в Казань».— «Да и надобно будет ехать,— говорил уныло мой молодой друг,— поеду; отец посылает меня продавать халаты, я пробуду там до весны».— «А как скоро ты отправляешься?» — «Через неделю». Я радовался этому, полагая, что в Казани, прекрасном и многолюдном городе, среди забот, забав и разнообразия предметов, молодой татарин не будет иметь времени заниматься своею страстию; худо я знал Хамитуллу!

Он поехал, писал к отцу часто, давал подробный отчет в своей продаже; присылал вырученные деньги, не торопил своим возвращением и не упоминал о Зугре ни слова. Я радовался, думал, что отсутствие произвело свое действие, что юноша успокоился; но худо я знал Хамитуллу!

Между тем, пока он торговал, тосковал, отчаивался, надеялся и ждал первых цветов весны, чтоб возвратиться под родимый кров, калымы за прекрасную Зугру отвсюду предлагались старому *Абурашиду,* отцу ее; по мере умножения цены их умножалось и корыстолюбие старого татарина. Наконец приехал из отдаленного городка богатый купец и предложил калым, против которого нельзя уже было устоять Абурашиду; Зугру помолвили и отдали. Вечером того дня, в который Зугра кропила горькими слезами великолепную перевязь на груди своей — подарок молодого мужа, вечером этого самого дня приехал Хамитулла.

Никто не видал на лице молодого татарина никакого признака печали, не только бешенства или отчаяния как того можно было ожидать, судя по первому движению, с каким услышал он о свадьбе Зугры; я первый встретился с ним случайно, при въезде его в деревню, и, полагая, что от меня легче ему будет услышать такую убийственную весть, сказал ее со всею ласкою и утешениями отца. С первых слов Хамитулла побледнел, как полотно, и задрожал всеми членами; судорожно схватился он за топор, лежавший у него на телеге; но в ту ж минуту пришел в себя и, к неизъяснимому удивлению моему, дослушал совершенно холодно всю историю сватовства, слез, сопротивления и, наконец, свадьбы бедной его Зугры. Я радовался этому равнодушию и благословлял переменчивость сердца человеческого; но ах, барин! худо я знал Хамитуллу!

В ночь Зугра исчезла с постели своего мужа, а Хамитулла с нар своего отца; их обоих не нашли нигде. Муж Зугры едва не сошел с ума; он поехал в город, подал просьбу; приехал суд, начались розыски, поиски; наконец открылось, что Хамитулла живет со своею Зугрою в дремучем *волоке,* имеющем верст более сорока пространства, вот в этом самом, через который мы теперь едем. Ну, была ли какая возможность найти его тут, а еще более поймать? Я от всей души радовался этому обстоятельству; оно успокаивало мои опасения о Хамитулле на настоящее время; но что будет далее? куда он денется зимою? что он будет есть, чем одеваться? Как жить в лесу в это

время года, столь ужасное в нашей стороне!.. Между тем отец и муж Зугры разъезжали каждый день в лесу, сопровождаемые конвоем всех своих родственников. Земская полиция тоже отыскивала Хамитуллу, который, как носился слух, то там, то сям отнимал у прохожих хлеб, а иногда и деньги, не делая, впрочем, ни малейшего вреда никому. В этих розысках и слухах прошло почти все лето. Наступила осень; молва огласила уже Хамитуллу разбойником; хотя он даже не толкнул рукою никого и если брал что у них, так это была всегда такая малость, которой могло достать только на покупку хлеба. Но вот земская полиция ищет с понятыми и со всею ревностию деятельных чиновников, ищет разбойника Хамитуллу! В одну дождливую ночь, когда месяц не светил уже и было так темно, что и в двух шагах от себя нельзя было ничего рассмотреть, я сидел долее обыкновенного; мне что-то было грустно; мысли самые горестные носились в уме моем и сменяли одна другую: все они были о Хамитулле! Близка развязка печальной повести моего любимца; зима все откроет и все кончит! ужасно! Наконец я лег на постель, глаза мои уже смыкались; кажется, будто я заснул; но тихий стук у окна и шепот знакомого голоса заставили меня с ужасом и невольною радостию быстро подняться с постели. «Хамитулла!» — вскрикнул я со слезами и более не мог ничего сказать; слова замерли; я мог только жать трепещущую руку моего бедного друга! Я не мог позвать его в избу, не мог предложить крова, тепла, пищи! Сердце мое хотело разорваться! «Хамитулла, беги! деревня полна понятых; тебя ищет сам *исправник!* Беги скорее!» — «Выйди ко мне, Якуб,— сказал Хамитулла едва слышным голосом,— выйди ко мне, пройдем со мною за деревню, туда к лесу; мне надо многое тебе рассказать». Я вышел, и мы, взявшись за руки, пошли из деревни в поле; в версте от нас чернелся лес; мы укрылись туда. Я хотел было остановиться. «Нет, отец, пойдем дальше! Я имею нужду в тебе; ты сделаешь мне услугу, может, уже последнюю!..» Не имея сил говорить, шел я безмолвно, куда вел меня Хамитулла; ливный дождь хлестал меня без пощады по лицу и голове; второпях я выскочил без шапки; мы шли более получаса самыми

скорыми шагами. «Вот,— сказал Хамитулла, вдруг останавливаясь и останавливая меня,— вот, Якуб, моя бедная Зугра!..» Он кинулся к какому-то бугорку, похожему на копну сена или кучу соломы. Я подошел за ним и увидел, что Хамитулла вынимает из-под наваленных сосновых ветвей женщину; это была его Зугра! С раздирающими душу стонами прижимал ее Хамитулла к сердцу своему: «Зугра! моя Зугра! мое единственное благо на земле! мы должны расстаться!..» Он упал в отчаянии на траву и обнимал колена плачущей Зугры... Она села к нему, положила голову его к себе на грудь, обняла, прижала уста свои к бледному лицу изнемогающего юноши и, страстно целуя его, обливала горчайшими слезами... Я плакал навзрыд. Ах, барин! какие чувства скрываются иногда под грубою наружностью нашею и в глубине диких непроходимых лесов холодного края нашего! Когда первые порывы жесточайшего из всех страданий любви — страдания разлуки, несколько утихли, Зугра стала говорить: «Покоримся на время судьбе, мой милый друг! расстанемся, пока ты сыщешь место, где б мы могли опять быть вместе; я пойду к отцу, но не пойду к мужу, ни за что не пойду! Он не муж мне! моего согласия не спрашивали. Пусть отец отдаст калым; я твоя, вечно твоя! другого мужа у меня не было!» — «Ах, Зугра, Зугра! мы расстаемся навсегда!» — говорил уныло молодой татарин; но, постепенно приходя в бешенство от мысли о вечной разлуке, жестоко стал бить себя в грудь, крича отчаянным голосом: «Зугра! я тебя более не увижу! Убей меня, Якуб! убей! на что мне жизнь без Зугры!..» Между тем заря стала заниматься... Я старался привесть в рассудок Хамитуллу и, указывая ему на светлеющий восток, говорил, что если он не хочет быть схвачен понятыми, то чтоб немедленно решался на что-нибудь... «Я еще не знаю, зачем ты привел меня в этот лес. Ты говорил о какой-то услуге: что я могу для тебя сделать? Вот тебе сердце и рука отца; располагай ими, требуй от меня всего, что может умягчить жестокость твоей участи...» Хамитулла встал, обнял снова Зугру и долго держал ее в объятиях, судорожно прижимая к груди своей... Наконец, отдавая ее мне и побледнев, как уже и мертвому нельзя более побледнеть, сказал

погасающим голосом: «Возьми ее, Якуб, укрой на первых порах от злобы отца, мужа, от насмешек злых людей! возьми мою Зугру!.. Зугра, Зугра!.. Якуб, для чего ты не хочешь убить меня!..» Опасаясь новых порывов отчаяния, я схватил молодую татарку за руку и бегом, сколько позволяли то мне мои силы, бежал с нею почти до самой деревни. Она задыхалась от слез!

Пришед домой, я отдал Зугру на руки женам своим и пошел в сборную избу, узнать, что там предпринимается для поимки Хамитуллы. Мне сказали, что все пути в лесу застановлены караулами; что сам подполковник распоряжает всем этим; что позднее время года способствует всем их маневрам, потому что облетевшие листья, оставя лес обнаженным, позволяют видеть очень далеко в чащу. Несчастный Хамитулла будет пойман, неизбежно пойман!.. Возвратясь домой, я нашел Зугру спящею. Бедная была худа и бледна; она беспрестанно вздрагивала и, всхлипывая, произносила невнятно — *Хамитулла! о Хамитулла!..*

Долго будет рассказывать, барин! о всем, что я узнал от Зугры, как они жили в лесу, как были неизъяснимо счастливы и как наконец смертная тоска и предчувствие бед теснили грудь их при виде облетающих листьев. Лес, с каждым днем более обнажающийся, начинал становиться для них не убежищем, но прозрачною темницей, и вот Хамитулла решился поручить Зугру мне и бежать куда-нибудь далее до благоприятнейшего времени. Но он не мог успеть в этом; земская полиция под начальством своего исправника (военного подполковника) приняла такие деятельные меры, что через несколько дней беспрерывного преследования и поисков бедный друг мой, мужественный, храбрый Хамитулла, несмотря на геройское сопротивление, был схвачен, закован в цепи, отвезен в город и посажен в тюрьму. Его судили и... Но нет, я уже не могу более говорить! Воспоминание это растравило опять давнюю рану сердца моего! Неповинен он был в крови человеческой. Однако ж с ним поступили, как с душегубцем! Главным преступлением поставлялось ему то, что в стычке с понятыми он ранил самого исправника и оставил его замертво распростертого на дороге. Вот

вся кровь, которую пролил Хамитулла в продолжение всего бедственного скитания своего по лесам...»

Татарин закрыл лицо руками и вздыхал, или, лучше сказать, стонал, наклоня голову почти до колен... Дав время утихнуть этому порыву скорби, я спросила: «Что сделалось с Зугрою?» — «Зугру взял отец обратно; она грозила умертвить себя, если ее отдадут к мужу. Ее красота, несчастная любовь, безмолвная горесть, безотрадные слезы делали ее для всех предметом живейшего участия; но она была мертва для всего, исключая воспоминаний о Хамитулле. Днем и ночью плакала о нем, сидя за своею занавеской, и это она сложила песню, которую вы слышали от меня; в ней она представляет счастливое время любви их в дремучем волоке, их опасения близкой разлуки, страх при раздающихся голосах понятых, отыскивающих по лесу следов ее милого... и наконец последнее расставание! Вся деревня поет у нас эту песню».— «Что же значит припев: *«гайда, гайда, Хамитулла»?* — *«Гайда* значит спеши, или иди, или пойдем, смотря по тому, как придется это слово». Якуб замолчал.

Волок! дремучий волок! в твоей-то чаще непроходимой, жилище лютых зверей, горела любовь, какой нельзя выразить словами! — Хамитуллы уже давно нет; но еще раздается звук имени его в тех местах, где он был так счастлив! где он любил и был любим беспримерно! Сколько раз эхо этого леса повторяло имя его, произнесенное то шепотом любви, то грозным голосом сыщика, то, наконец, заунывным пением молодой татарки, бедной осиротевшей Зугры!..

Наконец я дома! Отец принял меня со слезами! Я сказала, что приехала к нему отогреться. Батюшка плакал и смеялся, рассматривая шинель мою, не имеющую никакого уже цвета, простреленную, подожженную и прожженную до дыр. Я отдала ее Наталье, которая говорит, что сошьет себе капот из нее.

Рассказав отцу о добром расположении ко мне Главнокомандующего, я убедила его отпустить со мною брата; он согласился на эту жестокую для него разлуку, но только с условием дождаться весны; сколько я ни уверяла, что для меня это невозможно, батюш-

ка ничего слышать не хотел. «Ты можешь ехать,— говорил он,— как только выздоровеешь, но *Василия* не отпущу зимой: в такие лета! в такое смутное время! нет, нет! ступай одна, когда хочешь; его время не ушло; ему нет еще четырнадцати лет». Что мне делать? предоставляю времени ознакомить батюшку с мыслию расстаться с нежно любимым сыном; не дожидаюсь и пишу к *Кутузову,* что, «желая нетерпеливо возвратиться под славные знамена его, я не надеюсь иметь счастие стать под ними вместе с братом своим, потому что старый отец не хочет отпустить от себя незрелого отрока на поле кровавых битв в такое суровое время года и убеждает меня, если можно, дождаться теплого времени, и что я теперь совсем не знаю, что мне делать».

Я получила ответ Кутузова; он пишет, *что я имею полное право исполнить волю отца; что, будучи отправлена Начальником армии, я только ему одному обязана отчетом в продолжительности моего отсутствия; что он позволяет мне дождаться весны дома, и что я ничего через это не потеряю в мнении людей, потому что опасности и труды я делила с моими товарищами до конца, и что неустрашимости моей сам Главнокомандующий очевидный свидетель.* Письмо это было писано рукою *Хитрова,* зятя Кутузова; руку его батюшка хорошо знал, потому что Хитров жил несколько времени в В**** и отец имел случай переписываться с ним. Я показала письмо батюшке, и старый отец мой так тронут был милостями и вниманием ко мне знаменитого полководца, что не мог не заплакать. Я хотела было сохранить это письмо памятником доброго расположения ко мне славнейшего из героев России, но батюшка, взяв к себе эту бумагу, заставлял меня двадцать раз в день краснеть, показывая ее всем и давая каждому читать. Я принуждена была унесть это письмо тихонько и сжечь; когда узнал отец о моем поступке, то очень оскорбился и строго выговаривал мне, укоряя в непростительном равнодушии к такому лестному вниманию первого человека в государстве. С почтительным молчанием выслушала я батюшкины упреки, но, по крайней мере, довольна была, что неоконченное чтение письма Кутузова прекратилось.

Здесь живут пять пленных французских офицеров; трое из них очень образованные люди. Уверенность их в благоразумии Наполеона делает честь собственному их благоразумию: они указывают на карте *Смоленск* и говорят мне: *monsieur Александр, франсус тут.* Я не имею духа вывесть их из счастливого заблуждения; на что мне говорить им, что безрассудные французы в западне!

Наконец после множества отлагательств батюшка решился отпустить брата: да и пора! снег весь уже стаял, я горю нетерпением возвратиться к военным действиям. Получа свободу готовиться к отъезду, я принялась за это с такою деятельностию, что в два дня все было кончено. Отец дал нам легкую двуместную коляску и своего человека до Казани, а там мы поедем уже одни. Отцу очень не хотелось отпустить брата без слуги; но я представила ему, что это могло бы иметь весьма неприятные последствия, потому что лакея ничто не удержало бы говорить все, что ему известно. Итак, решено, что мы едем одни.

1813 ГОД

1-го мая, в понедельник, на рассвете оставили мы дом отцовский! Совесть укоряет меня, что я не уступила просьбе батюшки не ехать в этот день. Он имеет предрассудок считать *понедельник* несчастливым; но мне надобно было уважить его, а особливо в этом случае. Отец отпускал любимого сына и расставался с ним. как с жизнию! Ах, я не права, очень не права! сердце мое не перестает укорять меня. Я воображаю, что батюшка будет грустить и думать гораздо более теперь, нежели когда б мы, согласно воле его, выехали днем позже. Человек неисправим! Сколько раз уже раскаивалась я, поступив упорно потому только, что считала себя вправе так поступить! Никогда мы не бываем так несправедливы, как тогда, когда считаем себя справедливыми. И как могла, как смела я противопоставить свою волю воле отца моего, я, которая считаю, что отец должен быть чтим детьми своими как божество? Какой демон наслал затмение на ум мой?..

За три станции не доезжая Казани, коляску нашу изломало в куски: нас сбросило с косогора в широкий

ров; коляска наша растрещилась, но мы, к счастию, остались оба невредимы. Теперь мы поедем в телеге. Как странна участь моя! Сколько лет уже разъезжаю я именно на том роде повозки, которой не терплю!

Москва. Митрофанов сказал нам горестную весть: *Кутузов умер!* Теперь я в самом затруднительном положении: брат мой записан в Горную службу и в ней числится, а я увезла его, не взяв никакого вида от его начальства. Как мне теперь отдать его в военную службу! При жизни Кутузова необдуманность эта не имела бы никаких последствий; но теперь я буду иметь тьму хлопот. Митрофанов советует отослать Василия домой; но с первых слов об этом брат решительно сказал, что он ни для чего не хочет возвратиться в дом и, кроме военной службы, ни в какой другой не будет.

Смоленская дорога. Проезжая лесами, я долго не могла понять причины дурного запаха, наносимого иногда ветром из глубины их. Наконец, я спросила об этом ямщика и получила ответ, какого не могло быть ужаснее, сказанный со всем равнодушием русского крестьянина: *где-нибудь француз гниет.*

В Смоленске ходили мы по разрушенным стенам крепости; я узнала то место близ кирпичных сараев, где мы так невыгодно были помещены и так беспорядочно ретировались. Я указала его брату, говоря: «Вот здесь, Василий, жизнь моя была в опасности». Бегство французов оставило ужасные следы: тела их гниют в глубине лесов и заражают воздух. Несчастные! никогда еще ничья самонадеянность и кичливость не были так жестоко наказаны, как их! Ужасы рассказывают об их плачевной ретираде.

Когда мы воротились на станцию, смотрителя не было дома; жена его просила нас войти в комнату и записать самим свою подорожную. «Лошади сейчас будут»,— сказала она, садясь за свою работу и поцеловав нежно миловидную девочку, которая стояла подле нее. «Это дочь ваша?» — спросила я. «Нет, это француженка, сирота!..» Пока закладывали нам лошадей, хозяйка рассказала трогательную историю прекрасной

девочки. Французы шли к нам на верную победу, на прочное житье, и в этой уверенности многие взяли с собою свои семейства. При гибельной ретираде своей, или, лучше сказать, бегстве обратно, семейства эти старались укрываться в лесах, и от стужи, и от казаков. Одно такое семейство расположилось в окрестностях Смоленска в лесу, сделало себе шалаш, развело огонь и занялось приготовлением какой-то скудной пищи, как вдруг *гиканье* казаков раздалось по лесу... Несчастные! к ним можно было применить стих:

Jusqu'au fond de nos coeurs notre sang s'est glacé [1].

Они кинулись все врозь, куда глаза глядят, и стараясь только забежать в самую густоту леса. Старшая дочь, лет осьми девочка (эта самая, которая теперь стоит перед нами, опершись на колени своей благодетельницы, и плачет от ее рассказа), забежала в непроходимую чащу и до самого вечера ползала в глубоком снегу, не имея на себе ничего, кроме белого платьица. Бедное дитя, совсем окоченевшее, выползло наконец при закате солнца на большую дорогу; оно не имело сил идти, но ползло на руках и ногах. В это время проезжал верхом казацкий офицер; он мог бы и не видать ее, но девочка имела столько присутствия духа, что, собрав все силы, кричала ему: mon ami! par bonté prenez moi sur votre cheval! [2] Удивленный казак остановил лошадь и, всматриваясь в предмет, шевелящийся на дороге, был тронут до слез, видя, что это дитя почти полунагое, потому что все ее одеяние изорвалось, руки и ноги ее были совсем закоченевши; она упала наконец без движения. Офицер взял ее на руки, сел с нею на лошадь и поехал к Смоленску. Проезжая мимо станции, он увидел жену смотрителя, стоящую у ворот. «Возьмите, сделайте одолжение, эту девочку на ваше попеченье». Смотрительша отвечала, что ей некуда с ней деваться, что у нее своих детей много. «Ну, так я при ваших глазах размозжу ей голову об этот угол, чтоб избавить дальнейших страданий!» Пораженная, как громом, этою угрозой и думая

---

[1] В глубине наших сердец кровь заледенела *(фр.)*.

[2] мой друг! сделайте милость, посадите меня на вашу лошадь! *(фр.)*

уже видеть исполнение ее на самом деле, смотрительша поспешно выхватила бесчувственную девочку из рук офицера и унесла в горницу; офицер поскакал далее. Более двух месяцев дитя находилось почти при смерти; несчастное все поморозилось; кожа сходила лоскутьями с рук и ног, волосы вышли, и наконец, после сильной горячки, оно возвратилось к жизни. Теперь эта девочка живет у смотрительши как любимая дочь, выучилась говорить по-польски и, благодаря незрелости возраста своего, не сожалеет о потерянных выгодах, на какие имела право по знатности своего рода: она из лучшей фамилии в Лионе. Многие знатные дамы, которым смотрительша рассказывала, так же, как и нам, эту историю, предлагали трогательной сироте жить у них; но она всегда отвечала, обнимая смотрительшу: «Маменька возвратила мне жизнь; я навсегда останусь с нею!» Смотрительша заплакала, оканчивая этими словами свою повесть, и прижала к груди своей рыдающее дитя. Сцена эта тронула нас до глубины души.

Курьерскую подорожную у меня взяли и дали другую только до Слонима, где все офицеры, почему-нибудь отставшие от своих полков, остаются уже под начальством *Кологривова;* и меня ожидает та же участь! На дороге съехались мы с гусарским офицером *Никифоровым,* весьма вежливым и обязательным, но не много странным. Мой повеса брат находит удовольствие сердить его на каждой станции.

Слоним. Опять я здесь; но как все изменилось! Я не могла даже отыскать прежней квартиры у старого гвардейца. Кологривов принял меня с самым строгим начальническим видом: «Что вы так долго пробыли дома?» — спросил он; я отвечала, что за болезнью. «Имеете вы свидетельство от лекаря?» — «Не имею!» — «Почему?» — «Не находил надобности брать его». Этот странный ответ рассердил Кологривова до крайности. «Вы, сударь, повеса...» Я ушла, не дав ему кончить этого обязательного слова. Итак... что ж теперь делать? Имея на руках несовершеннолетнего брата, которого нельзя отдать в полк, потому что он числится уже в Горной службе: куда я денусь с ним! Так думала я, закрыв лицо руками и облокотясь на большой жидовский стол. Тихий удар по плечу заставил меня

взглянуть на свет божий. «Что вы так задумались, Александров? вот вам приказ от Кологривова; вам должно ехать в *Лаишин* к ротмистру *Бибикову* и принять от него лошадей, которых вы будете пасти на лугах зеленых, на мураве шелковой!» Я совсем не имела охоты шутить: что я буду делать с братом? куда я дену его? взять с собою в полк, представить ему картину жизни уланской, такому незрелому юноше! сохрани боже! но что ж я буду делать?.. Ах, для чего я не оставила его дома? мое умничанье растерзало сердце отца разлукою с нежно любимым сыном и вместо пользы принесло мне хлопоты и досаду!.. Печаль и беспокойство столько изменили вид мой, что *Никифоров,* наш дорожный товарищ, был тронут этим: «Оставьте у меня вашего брата, Александров, я буду ему тем же, чем были вы, и точно ту же дружбу и те же попечения увидит он от меня, как бы от самих вас». Предложение благородного Никифорова сняло тяжесть с сердца моего; я поблагодарила его от всей души и отдала ему брата, прося последнего не терять времени, писать к отцу и требовать увольнения из Горной службы. Я отдала ему все деньги, простилась и уехала в Лаишин.

Ротмистр *Бибиков, Рузи, Бурого* и я имеем поручение откармливать усталых, раненых и исхудавших лошадей всех уланских полков; на мою часть досталось сто пятьдесят лошадей и сорок человек улан для присмотра за ними. Селение, в котором квартирую, в пятнадцати верстах от Лаишина, окружено лесами и озерами. Целые дни провожу я, разъезжая верхом или прогуливаясь пешком в темных лесах и купаясь в чистых и светлых, как хрусталь, озерах.

Я занимаю обширный сарай, это моя зала; пол ее усыпан песком, стены украшены цветочными гирляндами, букетами и венками; в средине всего этого поставлено пышное ложе, во всем смысле этого слова, *пышное:* на четырех низеньких отрубках положены три широкие доски; на них настлано четверти в три вышиною мелкое душистое сено почти из одних цветов и закрыто некоторым родом бархатного ковра с яркими блестящими цветами; большая сафьянная подушка

черного цвета с пунцовыми украшениями довершает великолепие моей постели, служащей мне также диваном и креслами: я на ней сплю, лежу, сижу, читаю, пишу, мечтаю, обедаю, ужинаю и засыпаю. Теперь *июль*; в течение длинного летнего дня я ни на одну минуту не соскучиваюсь, встаю на заре в три часа, то есть просыпаюсь, и тогда же улан приносит мне кофе, которого и выпиваю стакан с черным хлебом и сливками. Позавтракав таким образом, иду осматривать свою паству, размещенную по конюшням; при мне ведут их на водопой; по веселым и бодрым прыжкам их вижу я, что уланы мои следуют примеру своего начальника: овса не крадут, не продают, но отдают весь этим прекрасным и послушным животным; вижу, как формы их, прежде искаженные худобою, принимают свою красивость, полнеют, шерсть прилегает, лоснится, глаза горят, уши, едва было не повисшие, начинают быстро двигаться и уставляться вперед; погладив и поласкав красивейших из них, приказываю оседлать ту, которая веселее прыгает, и еду гулять, куда завлечет меня любопытство или пленительный вид. В двенадцать часов возвращаюсь в свою сплетенную из хвороста залу: там готова уже мне *миска* очень вкусных малороссийских щей или *борщу* и небольшой кусок черного хлеба. Окончив обед, после которого я всегда немножко голодна, иду опять гулять или по полям, или над рекою; возвращаюсь домой часа на два, чтоб написать несколько строк, полежать, помечтать, настроить воздушных за́мков, опять разломать их, просмотреть наскоро свои *Записки,* не поправляя в них ничего; да и куда мне поправлять и для чего; их будет читать своя семья, а для моих все хорошо. Перед вечером иду опять гулять, купаться и наконец возвращаюсь присутствовать при вечернем водопое. После всего этого день мой заключается сценою, которая непременно каждый вечер возобновляется: теперь рабочая пора, итак при наступлении ночи все молодицы и девицы с протяжным пением (отвратительнее которого я ничего не слыхала) возвращаются с полей и густою толпою идут к деревне; у входа ее ожидают их мои уланы, тоже толпою стоящие; соединясь, обе толпы смешиваются; пение умолкает; слышен говор, хохот, визг и брань (последняя всегда от мужей); с таким гамом

все они вбегают в деревню и наконец идут по домам. Иду и я лечь на пышное, мягкое, душистое ложе свое и в ту же минуту засыпаю; но завтра тот же порядок, те же сцены. Спокойствие, радость, веселые мечты, здоровье, свежий румянец — все это неразлучно со мною при теперешнем роде моей жизни, и я ни на одну минуту не чувствовала еще скуки. Природа, поселив в душе моей любовь к свободе и к своим красотам, дала мне неисчерпаемый источник радостей; как только открываю глаза поутру, тотчас чувство удовольствия и счастия пробуждается во всем моем существовании; мне совсем невозможно представить себе что-нибудь печальное, все в воображении моем блестит и горит яркими лучами. О государь! обожаемый отец наш! нет дня, в который бы я мысленно не обнимала колен твоих! Тебе обязана я счастием, которому нет равного на земле: счастием быть совершенно свободною! Твоему снисхождению, твоей ангельской доброте, но всего более твоему уму и великому духу, имевшему силу постигнуть возможность высоких доблестей в слабом поле! Чистая душа твоя не предполагала во мне ничего недостойного меня! не страшилась употребления во зло звания, мне данного! Истинно, государь проник душу мою. Помыслы мои совершенно беспорочны: ничто никогда не занимает их, кроме прекрасной природы и обязанностей службы. Изредка увлекаюсь я мечтами о возвращении в дом, о высокой степени, о блистательной награде, о небесном счастии — покоить старость доброго отца, доставя ему довольство и изобилие во всем! Вот одно время, в которое я плачу... Отец мой! мой снисходительный и великодушный отец! подарит ли мне милосердный бог эту неизреченную радость быть утешением и подпорою твоей старости...

Замечаю я, что носится какой-то глухой, невнятный слух о моем существовании в армии. Все говорят об этом, но никто, никто ничего не знает; все считают возможным, но никто не верит; мне не один раз уже рассказывали собственную мою историю со всеми возможными искажениями: один описывал меня красавицею, другой уродом, третий старухою, четвертый давал мне гигантский рост и зверскую наружность и так далее... Судя по этим описаниям, я могла б быть уверенною, что никогда ничьи подозрения не остановятся на

мне, если б одно обстоятельство не угрожало обратить наконец на меня замечания моих товарищей: мне должно носить усы, а их нет и, разумеется, не будет. *Назимовы, Солнцев* и *Лизогуб* часто уже смеются мне, говоря: «А что, брат, когда мы дождемся твоих усов? уж не лапландец ли ты?» Разумеется, это шутка; они не полагают мне более восемнадцати лет; но иногда приметная вежливость в их обращении и скромность в словах дают мне заметить, что если они не совсем верят, что я никогда не буду иметь усов, по крайней мере, сильно подозревают, что это может быть. Впрочем, сослуживцы мои очень дружески расположены ко мне и весьма хорошо мыслят; я ничего не потеряю в их мнении: они были свидетелями и товарищами ратной жизни моей.

Мне приказано сдать всех лошадей и людей старшему в команде моей унтер-офицеру, а самой отправиться к эскадрону нашего полка в команде штабс-ротмистра *Ржевсницкого.* У нас их два. Старший какой-то чудак, настоящий *Шлейхер,* все знает, все видел, везде был, все сделает, но службу не любит и мало ею занимается; его стихия при штабе. Но брат его — неустрашимый, опытный, правдивый офицер; всею душою предан и лагерному шуму, и острой сабле, и доброму коню. Я очень обрадовалась, что буду у него в эскадроне: терпеть не могу ничтожных эскадронных начальников; с ними в военное время беда, а в мирное — и смех и горе.

Приехав к Ржевсницкому, я застала эскадрон на лошадях, готовый к выступлению в поход; этого я совсем не ожидала и очень была расстроена таким быстрым переходом от совершенного спокойствия к величайшей деятельности и хлопотам. «Здравствуй, любезный Александров! — сказал Ржевсницкий,— я давно тебя ожидаю; есть ли у тебя лошадь?» — «Ни лошади, ни седла, ротмистр! что я буду делать?» — «Тебе надобно остаться здесь на сутки и поискать купить седло; лошадь возьми из казенных; только на днёвке постарайся догнать эскадрон». После этого он пошел с эскадроном, а я отправилась к нашему поручику *Страхову*; нашла там многих офицеров своего полка, и один из них продал мне дрянной французский арчак за сто пятьдесят рублей. Хотя я и видела, что эта цена была

безбожная, но что ж мне было делать? Если б он хотел взять пятьсот рублей за свое седло, и то должна б была заплатить.

На другой день, вместе с зарею, я встала и тотчас поехала по следам своего эскадрона. Около пяти часов пополудни приехала я в то селение, где ему назначена была днёвка; первый предмет, представившийся мне, был вахмистр в одной рубахе, привязанный у крыльца; сперва я этого не рассмотрела и хотела было отдать ему свою лошадь; но, увидя наконец, что он привязан, привязала также и свою лошадь. «За что тебя привязали?» — спросила я бедного узника. «Ведь вы видите, что за руки»,— отвечал он грубо.

В Брест-Литовском, прежде выступления за границу, должно было нам выдержать инспекторский смотр. Целые два часа проливной дождь обливал нас с головы до ног. Наконец, промокшие до костей, перешли мы за рубеж России; солнце вышло из облаков и ярко заблистало; лучи его и теплый летний ветер скоро высушили наши мундиры.

Отряд наш составлен из нескольких эскадронов разных уланских полков; командиром у нас полковник *Степанов*. К нам присоединилось еще несколько эскадронов конноегерских, которыми начальствует *Сейдлер*, тоже полковник и, кажется, старше нашего.

Пруссия. Мы идем к крепости *Модлину* и будем находиться под начальством *Клейнмихеля*. Вчера целый день шел дождь и дул холодный ветер. Нам должно переправляться через реку, хотя не широкую, но как паром не поднимает более десяти лошадей, то переправа наша будет очень продолжительна. Все наши уланы не похожи стали на людей: так лица их посинели и почернели от холода! Хуже зимнего мороза этот холодный ветер при беспрерывном мелком дожде. Мне вздумалось идти погреться в домик на горе, над самою рекою; вскарабкавшись по крутой скользкой тропинке и вошед в залу, в которой огонь, разведенный на камине, разливал благотворную теплоту, я была встречена грозным: «Зачем вы пришли?» Это спрашивал полковник *Степанов*, который расположился ожидать здесь, пока отряд его весь переправится. Я отвечала,

что как эскадрон Литовский еще не начинал переправляться и что его очередь будет не скоро, то я пришел немного согреться. «Вам надобно быть при своем месте,— сказал сухо полковник,— ступайте сейчас». Я пошла и мысленно от всей души бранила полковника, выгнавшего меня из теплой сухой залы на холод, мокроту и темную ночь! Подойдя к берегу, я увидела, что эскадрон готовится к переправе. Я была дежурным и должна была находиться неотлучно как при переправе эскадрона, так и на походе; поставя на паро̀м, сколько могло уместиться людей с лошадьми, я ушла в маленькую каютку на палубе, где в небольшой чугунной печке горел торф и немка варила кофе для желающих. Мягкая постель ее стояла подле самой печки; я знала, что переправа нашего эскадрона продолжится часа полтора, и для того велела смотреть за нею дежурному унтер-офицеру, которого исправность мне была известна, и, когда все кончится, уведомить меня. Распорядившись так благоразумно, уселась я на немкину постель и велела подать себе кофе, которого выпив две чашки согрелась. В каюте было не только очень тепло, но даже слишком жарко; я, однако ж, не имела никакой охоты выйти на палубу; дождь и ветер продолжались; в ожидании, пока весь эскадрон переправится и мне скажут об этом, я погрузилась в мягкие высокие подушки и уже не помню и не знаю, как заснула глубочайшим сном. Когда я проснулась, то не слышно уже было никакого шуму ни от ветра, ни от дождя, ни от людей. Все было тихо; паро̀м не шевелился, и в каюте не было никого. Удивясь этому, я проворно встала и, отворя дверь, увидела, что паром стоит у берега, что вся окрестность пуста, нигде не видно ни одного человека и что наступает день. «Что ж это значит? — думала я,— неужели обо мне забыли?» Взошед на гору, я увидела улана с моею лошадью. «Где же эскадрон?» — «Давно ушел».— «Что ж не разбудили меня?» — «Не знаю».— «Кто повел эскадрон?» — «Сам ротмистр...» Я села на лошадь: «Какой эскадрон переправился последний?» — «Оренбургский уланский».— «Давно?» — «Более двух часов».— «Что ж ты не сказал мне, когда наш эскадрон пошел?» — «Никто не знал, где вы».— «А дежурный унтер-офицер?» — «Он велел мне только взять вашу лошадь и ждать здесь

на берегу».— «Далеко наши квартиры?» — «Верст пятнадцать...» Я поехала легкою рысью, будучи очень недовольна собою, своим уланом, дежурным унтер-офицером, ветром, дождем и полковником, выгнавшим меня так безжалостно. Утро сделалось прекрасное: ветер и дождь перестали, солнце взошло, и наконец я увидела близ густого леса квартиры нашего эскадрона. Приехав к своим товарищам, я нашла их покойными, довольными (то есть сытыми); они хорошо позавтракали и готовились к походу. Итак, мне оставалось голодной, не сходя с лошади, примкнуть к эскадрону и идти до новых квартир.

Модлин. Мы пришли к Модлину 10-го августа. Завтра эскадрон наш идет на пикет. *Ржевницкий* разместил всех нас на расстоянии двух верст; я в середине и главный командир этого пикета; *Ильинский* и *Рузи* по флангам, должны присылать ко мне всякое утро с извещением о всем, что у них случается, а я посылаю уже к ротмистру. Теперь я живу в маленькой пещере или землянке; к ночи половина людей моих в готовности при оседланных лошадях, а другая покоится.

Вчера Ржевницкий прислал мне бутылку превосходных сливок в награду за маленькую ошибку с неприятелем и за четырех пленных.

Видно, в Модлине большой запас ядер и пороху, стоит только показаться кому-нибудь из наших в поле, тотчас стреляют по них из пушек, а иногда делают эту честь и для одного человека, что кажется мне чрезвычайно смешно: возможно ли в одного человека потрафить ядром?..

Мы оставили Модлин и идем присоединиться к своим полкам. Наш стоит под Гамбургом.

Богемия.— Октябрь. Как живописен вид гор Богемских! Я всегда въезжаю на самую высокую из них и смотрю, как эскадроны наши тянутся по узкой дороге пестрою извилистою полосою...

Опять настала холодная, сырая погода; мы окружены густым туманом и в этом непроницаемом облаке

совершаем путь свой через хребет Богемских гор. Сколько прекраснейших видов закрыто этой волнующеюся серою пеленою! К довершению неприятности у меня жестоко болят зубы.

НОЧЬ В БОГЕМИИ

«Ваше благородие завтра дежурным по эскадрону».— «Рано ли поход?» Вахмистр, объявлявший мне мое дежурство, отвечал, что в приказе отдано: в четыре часа утра быть на сборном месте. «Хорошо, ступай...» Сегодня до смерти устала! Только что пришли на квартиры, я отдала моего *Урагана* Киндзерскому и пустилась по первой тропинке, какая попалась на глаза, идти, куда она поведет, и целый день проходила, то взбираясь на горы, то спускаясь в долины, то бегая от одного прекрасного места к другому; мне везде хотелось быть, где только я видела хорошее местоположение, а их было множество. Не прежде как по закате солнца кончилась моя прогулка. Спеша возвратиться в эскадрон, я не могла, однако ж, не остановиться еще на четверть часа, чтоб полюбоваться, как вечерний туман, подобно беловатому дыму, начинал наполнять узкие ущелья гор. Наконец я дома, то есть в эскадроне (извините, любезный батюшка! я всякий раз забываю, что вы не любите, когда я употребляю слово *дом,* говоря об эскадроне), и первою встречею был наряд на дежурство. Я позвала своего денщика: «Зануда, разбуди меня завтра на рассвете».— «Не *турбуйтесь,* ваше благородие; разбудит вас *генерал-марш!»* — «Ах, да, я и забыл, ну так не надобно».

Что может быть досаднее, как *генерал-марш* на рассвете!.. Заря еще не совсем занялась, а уже трубачи стали фронтом перед моими окнами и заиграли эту *штуку,* которая имеет волшебную силу не только прогнать сон, но и заставить в ту же секунду вставать и одеваться ленивейших из нашего вооруженного сословия. Хотя я считаюсь одним из деятельнейших офицеров, однако ж никогда еще мне так не хотелось остаться в постели на полчаса, как теперь. Но вот *Рузи* распахнул дверь настежь и влетел в полном униформе. «Как, ты еще лежишь! а дежурство? вставай,

вставай! какой ты чудак! разве не слыхал *генерал-марша?»* — «Как будто можно не слыхать, когда над самым ухом играют в десять труб!» — «Уж и в десять; какое великолепие! всего два трубача ездят по деревне. Однако ж вставай, ведь ротмистр шутить не любит».— «Вот еще вздумал стращать».— «Вставай, я иду выводить эскадрон...» Рузи ушел, а я в пять минут оделась. Мне что-то показалось, что к полному униформу надобен султан, и я приказала Зануде подать его; но когда он принес, то я совсем не могла понять, что такое проклятый усач держит в руках; это была какая-то длинная, желто-бурая кисть. «Что это такое, *Зануда?»* — «Султан вашего благородия!» — «Это султан... где ж он был у тебя?» — «В чемодане!» — «И, верно, без футляра?» — «Без футляра?» — «Подай, негодный человек!..» Я с досадою вырвала из рук остолбеневшего Зануды султан свой, и, вложив его в каску, пошла к товарищам. Зануда ворчал вслед про себя: «На урода все не в угоду; перед кем он хотел пялиться с своим султаном!..»

Взглянув на мои нахмуренные брови и на султан ни на что не похожий, офицеры хором захохотали: «Ах, как ты мил сегодня, Александров! Как тебе к лицу этот султан! Сегодня ты и он сотворены друг для друга!.. И к чему так украсился, позволь спросить?» — «Я дежурным».— «Так что ж?» — «Надобно быть в полной форме».— «И с султаном?» — «Да!» — «Как ты смешон... полно, брат, брось эту дрянь, а то он сломит тебе голову при теперешнем ветре». Я не послушалась.

Мы выступили. На походе Рузи сдал мне дежурство, и как он в четвертом взводе, то мы и ехали вместе за эскадроном. «Знаешь ли, Александров, где мы ночуем сегодня?» — «Знаю, в поместье барона N***».— «Ну, да! но ведь ты не воображаешь, какие удовольствия нас ожидают!» — «Какие же?» — «Мы квартируем в самом за̀мке; барон богат, как Крез, гостеприимен; переход сегодняшний невелик, успеем прийти задолго до вечера; у барона, верно, есть дочери и фортепиано. О, я предчувствую что-то восхитительное!» — «Ты помешался, Рузи; кто тебя уверил, что барон расположен будет забавлять нас?» — «Немцы говорят, что он очень добр и любит жить весело».— «Ну, а до-

чери? Если их нет?» — «Найдутся...» Ветер от часу более усиливался. «Переедем, Рузи, на другую сторону; ты, кажется, правду сказал, что султан сломит мне голову; этот досадный ветер порывает его из стороны в сторону...» Мы переехали. В этот день назначено было рушиться всем надеждам Рузи. Ясное небо покрылось сперва легкими облаками, после тучами и наконец обложилось все черною непроницаемою пеленою; дождь с шумом и ветром спустился на нас рекою и нещадно поливал беззащитных улан. Пока мы успели надеть свои плащи, все уже было мокро на нас; проводники нас водили бог знает где, и короткий переход растянулся так, что мы пришли на квартиры в глубокую полночь.

Мокрые, дрожащие, обрызганные красною глиной, остановились мы наконец перед пышным зàмком барона N***. Ах, с какою радостию спрыгнула я с лошади; мне не верилось, что я уже на земле. Целый день на коне! целый день под дождем! Члены мои совсем одеревенели! Такой переход надолго останется в памяти.

«Что ж ты встал с лошади, Александров? — спросил ротмистр.— Разве ты забыл, что ты дежурный? садись опять и разведи людей по квартирам».— «Я могу это сделать и пешком, ротмистр»,— отвечала я и, взяв в повод своего *Урагана,* пошла было перед эскадроном. Ротмистр усовестился: «Воротись, Александров! людей разместит унтер-офицер...»

Мы пошли вверх по чистой, светлой и, как стекло, гладкой лестнице; вошли в комнаты великолепные, роскошно меблированные и расположились отдыхать на креслах и диванах. Злой рок постиг все, к чему только мы прикоснулись как бы то ни было: ходили ль, стояли, сидели, везде оставляли следы красной глины, которою были обрызганы с головы до ног, или правильнее — с ног до головы.

Приветливый хозяин просил нас садиться за стол; ротмистр и товарищи мои в ту ж минуту уселись, шумно заговорили, забрячали рюмками, стаканами, тарелками, шпорами, саблями; и, полагая себя обезопасенными от дождя и ветра на всю остальную часть ночи, предались беззаботно удовольствию роскошного стола и веселого разговора.

Пользуясь их ревностным старанием около ужина, я ушла в спальню, или просто в комнату, для нас назначенную; двери из нее в столовую были растворены; несколько кроватей стояли рядом у стен. Как это не жаль барону дать такое прекрасное белье для постелей! Одна пощада, какую могла я сделать бароновой роскоши, состояла в том, что скинула сапоги, облипнувшие глиною, в остальном же во всем легла на пуховик и пуховиком закрылась. Как все это было хорошо, чисто, бело, мягко, нежно, богато! все атлас, батист, кружева, и середи всего этого мокрый улан, забрызганный красною глиной!.. Положение мое казалось мне так забавным, что я смеялась, пока не заснула.

Я проснулась от громкого и жаркого спора нашего ротмистра с майором *Ничвалодовым* Оренбургского уланского полка: «В вашей канцелярии не умели написать»,— говорил ротмистр. «Извините,— вежливо отвечал Ничвалодов,— у вас не умели прочитать». Спорили, кричали, наконец начали снова читать *приказ,* и оказалось, что Ничвалодов прав: мы не на своих квартирах. Вот ужасная весть!! Я вмиг выскочила из своего теплого приюта; ротмистр искал уже меня глазами: «Где дежурный офицер! Александров! ступайте, велите играть тревогу, да как можно громче! — Но, видя, что я не трогаюсь с места, спросил с удивлением:— Что ж вы сидите?» Ничвалодов отвечал за меня, что я в одних чулках. «Вот прекрасный дежурный! ну, сударь, идите хоть в чулках!» К счастию, денщик вошел с моими сапогами; я проворно надела их и бегом убежала, чтоб не слыхать насмешливых восклицаний ротмистра: «Отличный дежурный! вам бы совсем раздеться!..» Ветер дул с воем и порывами; дождь лил, и ночь была темна, как нельзя уже быть темнее. На дворе стояли наши трубачи. «Ступайте по деревне и играйте тревогу сильнее»,— сказала я им. Они поехали. Не было другого средства собрать людей наших, размещенных в деревне, растянутой версты на три по ущельям гор. Часа через полтора эскадрон собрался; мы сели на лошадей; проводники с факелами поместились впереди, назади и по бокам эскадрона; мы пошли, дрожа и проклиная поход, бурю, ротмистра и дальность квартир: нам должно было пройти еще две мили.

Отъехав с полверсты, ротмистр вдруг остановил эскадрон; мозг неугомонного начальника нашего озарила нелепая мысль оставить меня одну дожидаться людей, которые, полагал он, не слыхали тревоги или не могли поспеть на сборное место. «Соберите их всех, Александров, и приведите за нами вслед на квартиры!» Прекрасное распоряжение! но делать нечего, возражать нельзя. Я осталась; эскадрон пошел, и, когда хлопанье по грязи конских копыт совсем затихло, дикий вой ветра овладел всею окрестностью. Вслушиваясь в ужасный концерт, я мечтала, что окружена злыми духами, завывающими в ущельях гор. Право, ротмистр помешался в уме! Почему он не оставил мне одного из проводников с факелом? Что я теперь буду делать? Как найду дорогу обратно в деревню? Ее не видно, огня нигде ни одной искры не светится. Неужели мне стоять тут, как на часах, и стоять до самого рассвета? Бесполезные вопросы мои самой себе были прерваны нетерпеливым прыжком моего коня; я хотела было успокоить его, лаская рукою; но это средство, прежде всегда действительное, теперь не помогло; он прыгал, подымался на дыбы, крутил головой, храпел, бил копытом в землю и ходил траверсом то в ту, то в другую сторону; не было возможности усмирить беснующегося *Урагана.* Шум окрестных лесов и вой ветра оглушали меня; но, несмотря на это, мне слышался другой шум и другой вой. Желая и страшась увериться в своей ужасной догадке, я невольно и с замиранием сердца прислушиваюсь; к неизъяснимому испугу моему, узнаю, что не обманулась; что это падает ручей в глубокую пропасть и что по ту сторону оврага воет что-то, но только не ветер. Воображение мое рисовало уже мне стаю голодных волков, терзающих моего *Урагана,* и я так занялась этим отчаянным предположением, что забыла опасность гораздо ближайшую и вовсе немечтательную: *пропасть,* в которую низвергался ручей, была в двух шагах от меня, а *Ураган* все еще не стоял смирно; наконец я вспомнила, и первым движением было броситься с лошади; но мысль, что она вырвется и убежит за эскадроном, удержала меня. Ах, добрый отец мой! что было бы с тобою, если б ты мог теперь видеть дочь свою на бешеном коне, близ пропасти, ночью, середи лесов, ущелий и в сильную

бурю!.. Гибель прямо смотрела мне в глаза! Но промысл вышнего, отца нашего на небесах, следит все шаги детей своих. Порыв ветра вырвал султан мой и понес быстро через ров прямо к кустарнику, где слышался мне, как я думала, вой волков, страшных товарищей ночной стражи моей; через минуту вой прекратился, и *Ураган* перестал прыгать. Теперь я могла бы уже встать с него, но прежнее опасение, что он вырвется, удержало меня еще раз, и я, подобно *конной статуе*, стояла неподвижно над обрывом бездны, в которую с шумом падал ручей.

Дождь давно уже перестал, ветер начал утихать, ночь сделалась светлее, и я могла явственно разглядеть предметы, меня окружавшие: за мною вплоть близ задних ног моего *Урагана* была *пропасть!* Во всю жизнь я не соскакивала так скоро с лошади, как теперь, и тотчас отвела ее от этого ужасного соседства. Всматриваясь с беспокойством в чернеющуюся глубь кустарников за оврагом, я не могла еще ничего разглядеть там; но *Ураган* покоен, итак, видно, ничего и нет. Хотелось, правда, увидеть мне и султан свой, однако ж нигде ничто не белелось, и если он не во рву, то вихрем занесло его бог знает куда. Продолжая присматриваться ко всему меня окружающему, я разглядела множество дорог, дорожек и тропинок, ведущих в горы, в ущелья и в леса; но где та, по которой мне надобно ехать? ни на одной не видно конских следов. Пока я старалась увидеть хоть малейший признак их, туман, предвестник утра, начал расстилаться вокруг меня белым облаком, сгустился и покрыл все предметы непроницаемою мглою; и вот я опять не смею сделать шагу, чтобы не сломить себе головы или не потерять вовсе уже дороги! Утомленная и опечаленная, легла я на траву подле рыхлой колоды; сперва я только облокотилась на нее, но нечувствительно склонилась и голова моя, сомкнулись глаза, и сон овладел мною совершенно.

Рай окружал меня, когда я проснулась! Солнце только что взошло; миллионы разноцветных огней горели на траве и на листах; бездна, ручей, лес, ущелье — все, что ночью казалось так страшно, теперь было так восхитительно, свежо, светло, зелено, усеяно цветами; в ущельях столько тени и травы! Последнему

обстоятельству обязана я тем, что *Ураган* не убежал; он покойно ходил по росистой траве и с наслаждением ел ее. Я пошла к нему, без труда поймала и села на него.

Не один раз уже испытала я, что *инстинкт* животного в некоторых случаях более приносит пользы человеку, нежели собственные его соображения. Только случайно могла бы я потрафить на дорогу, по которой пошел эскадрон; но *Ураган,* которому я отдала на волю выбирать ее, в четверть часа вышел на ту, на которой ясно видны были глубокие следы множества кованых лошадей: это наш вчерашний путь! в версте от него, между ущельями, виднелась деревня барона N***; а вчера ротмистр оставил меня в нескольких саженях от нее; все это возня проклятого *Урагана* отвела меня на такое пространство! Я поворотила его к деревне, чтоб посмотреть, нет ли там наших людей; но он решительно не согласился на то, поднялся на дыбы и весьма картинно повернулся на задних ногах в ту сторону, куда пошел эскадрон. Кажется, *Ураган* умнее меня: можно ли полагать, что уланы пробудут на ночлеге до восхода солнца, если б даже и остались от эскадрона?

Дав волю коню своему галопировать, как он хочет и куда хочет, я неслась довольно скоро то с горы на гору, то по закраинам глубоких оврагов. Узкая дорога круто поворачивала направо около одного глубокого обрыва, обросшего кустарником; проскакивая это место, увидела я что-то белое в кустах; я соскочила с лошади и, взяв ее в повод, побежала туда, нисколько не сомневаясь, что это мой султан, и не обманулась; это был он и лежал на ветвях кустарника в блистательной белизне; дождь вымыл его как нельзя лучше, ветер высушил, и предмет вчерашних насмешек был бел, пушист и красив, как только может быть таким волосяной султан. Вложив его в пожелтевшую каску свою, занялась я трудным маневром сесть опять на своего адского *Урагана.* Не знаю, почему я не могу расстаться с этой лошадью, за что люблю ее? она так зла, так нетерпелива и заносчива, что голова моя всегда непрочна на плечах, когда сижу на этом воплощенном демоне. С четверть часа кружилась я с моим конем по кустарнику и стараясь поставить ногу в стремя,

прыгала на другой везде, где ему вздумалось вертеться; наконец гнев овладел мною, и я, рванув со всей силы повода, крикнула на него каким-то страшным голосом; конь присмирел, и я поспешила сесть на него.

Великий боже! на какие странные занятия осудила меня судьба моя! Мне ли кричать диким голосом, и еще так, что даже бешеная лошадь усмирилась!.. Что сказали бы прежние подруги мои, если бы услышали меня, так нелепо возопившую? Я сердилась сама на себя за свой вынужденный подвиг: за оскорбление, нанесенное нежности женского органа моим богатырским возгласом!

Красота местоположений и быстрый скок *Урагана* развеселили меня опять; я перестала досадовать и находила уже смешным и вместе необходимым средство, которым удалось мне смирить непокорного коня; но *Ураган* хотел, кажется, отплатить мне за минутный страх свой, а может быть, и чувствуя близость квартир, он начал храпеть, покручивать головой и галопировать с порывами. Я несколько оробела, зная, что когда он разгорячится, то, ничего уже не разбирая, скачет где попало; торопливые и неудачные усилия мои удержать его не служили ни к чему; я начала терять присутствие духа. Удивительно, как лошади могут скоро понять это и тотчас воспользоваться! *Ураган* полетел, как из лука стрела!

Хранил меня бог, видимо, хранил! Разъярившееся животное летело со мною вовсе уже без дороги! Сначала я очень испугалась; но невозможность удержать лошадь, ни спрыгнуть с нее образумила меня; я старалась сохранить равновесие и держаться крепко в стременах.

Видно, в беде, как и в болезни, есть перелом: завидя вдали перед собой черную полосу, пересекающую путь мой, я обмерла и хотела сброситься с лошади; минута колебания отняла у меня время исполнить пагубное намерение; конь прискакал к истоку, клубящемуся в обрывистых берегах, и прямо бросился в него. Не помню, как я туда слетела с ним и как удержалась на седле; но тут и кончилось бешенство моего *Урагана*; исток был не шире трех сажен; укротившийся конь переплыл его вкось, взобрался с неимоверным усилием на крутой берег и пошел шагом, повинуясь уже ма-

лейшему движению поводов. Вышед опять на прямую дорогу, хотя он приметно вздрогнул от нетерпения нестись к своим товарищам, однако ж продолжал идти шагом, и, когда я позволила ему подняться в галоп, он галопировал ровно, плавно и послушно до самых квартир.

«Где изволили вояжировать? — насмешливо спросил меня ротмистр,— кажется, я поручил вам дождаться оставшихся людей, и с ними вместе вы должны были прибыть в эскадрон. Что ж вас задержало? люди давно уже здесь».— «Я долго стоял на одном месте, ротмистр; вы не дали мне проводника с факелом, а ночь была, вы знаете, темна, как погреб, итак, я не смел никуда съехать, чтоб не упасть в ров».— «Так неужели вы стояли, как *конное изваяние* из меди, все на том же месте, где я вас оставил?» — «Несколько минут стоял; но, разумеется, кончил бы тем, что постарался бы сыскать дорогу обратно к барону в деревню, если б лошадь моя не стала беситься, чего-то испугавшись; тогда я уже занялся только ею и...»—«И не могли сладить»,— перервал меня ротмистр. От этой неуместной и неприличной укоризны досада вспыхнула в сердце моем; я взяла каску в руки, чтоб выйти вон, и отвечала сухо и не глядя на ротмистра: «Ошибаетесь! я не хотел сладить; ни время, ни место не позволяли этого».

Как ни хотелось мне рассказать моим товарищам происшествие бурной ночи, однако ж я удержалась; и к чему б это послужило! Для них все кажется или слишком обыкновенно, или вовсе невероятно. Например, волкам моим они бы не поверили, сказали б, что это были собаки, что, может быть, и правда; а молодецкий скачок в реку делом столько обыкновенным, что даже нашли бы смешным слышать от меня рассказ этот за диковину. Им ведь не приходит в голову, что все обыкновенное для них очень необыкновенно для меня.

Прага. Здесь стояли мы до самой ночи; начальство города находило какое-то затруднение позволить корпусу нашему пройти через город. Наконец позволили, и мы прошли поспешно, не останавливаясь ни на ми-

нуту; за этим строго смотрели. Однако ж Ильинский, Рузи и я остались в трактире поужинать на скорую руку и после пустились догонять эскадрон вскачь, гремя по каменной мостовой. Немцы с испуга сторонились, и вслед нам раздавалось беспрерывное *«шверкот»*. Зима здесь необыкновенно холодна; немцы приписывают это нашествию русских и, пожимаясь перед камином, говорят, что если б они могли предузнать прибытие незваных гостей, то заготовили бы больше торфу.

Гарбург. Вчера было неудачное покушение потревожить спокойствие Гарбурга. С полночи выступили мы вместе с Конноегерским полком к стенам этой крепости и расположились ожидать рассвета, для того чтоб громить ее пушками. Меня со взводом отрядили прикрывать два осадные орудия; всеми нами командовал один из начальников Ганзеатических войск. Рассвело; начали мы бросать в крепость бомбы и бросали часа два беспрерывно; зажгли там два или три дома, но удостоиться ответа не могли: гарбургский гарнизон как будто вымер; нам не отплатили ни одним выстрелом. И какая цель была нашего восстания, не могу понять. Я думала, что будет приступ; но вся тревога наша кончилась тем, что мы бросили в Гарбург несколько десятков бомб и ушли обратно на свои квартиры. Экспедиция эта сделала вред одной только мне. В ожидании рассвета я легла подле орудия на мокрый песок и как теперь весна, то думаю, что от сырых испарений земли простудила голову и была целую неделю так жестоко больна, что меня нельзя было узнать, как будто после трехлетнего беспрерывного страдания.

Гамбург. Ничего нет смешнее наших объездов по пикетам. Пароли, отзывы, лозунги так искажаются нашими солдатами, особливо пехотными рекрутами, что и нарочно нельзя выдумать таких нелепых названий, какие им представляются сами собою, потому что это все нерусское. И что за охота на русских пикетах давать паролем немецкий город! Сверх этого, рекрут

спрашивает пароль таким образом: *«Кто идет? говори! убью!»* (Но это пустая угроза: он боится прицелиться, чтоб ружье, сверх ожидания, не выстрелило.) После этого, не дождавшись ответа, кричит во весь голос: *«Что̀ пароль? пароль город* ***» — и скажет какую-нибудь нелепость; спрашивает и отвечает сам же, а подъехавшему офицеру остается только удерживаться от смеху; впрочем, во всем есть хорошая сторона: если б бестолковый солдат, которого никак нельзя вразумить, что он должен спрашивать, а не сказывать пароль, выговаривал его как должно, то неприятельский пикет, будучи очень близко от нашего, мог бы его слышать и воспользоваться им к невыгоде нашей, но как он слышит то, чего ни понять, ни выговорить нельзя, то остается все спокойно по своим местам.

Вчерашней ночью полковник наш едва было не сломил себе головы, и хотя происшествие это само по себе нисколько не смешно, но сделалось, однако ж, столь забавным случаем, что и сам полковник рассказывал его со смехом. Ему хотелось проверить исправность своих пикетов, и он поехал осмотреть их один. Разъезжая несколько времени и не видя часовых на тех местах, где им должно было быть, полковник сильно досадовал на неисправность пикетного офицера; он думал, что часовых совсем не поставили, и был выведен из заблуждения очень смешным образом, от которого едва было не погиб. Часовые были все на местах; но как ночь была темна, как черное сукно, то они слыша проезжающего человека, вместо оклика, таили дыхание; один из них, на беду нашего полковника, заснул, сидя у пня, и от фырканья лошади проснулся, вскочил опрометью и дико закричал от испуга: *«Что̀ пароль? лозунг — Гаврило!»,* то есть архангел Гавриил. Лошадь кинулась в сторону и упала в яму вместе с своим всадником. По милости бога, полковник отделался легким ушибом.

1814 ГОД

Известие о взятии *Парижа* заставило *Даву* сдаться. Французы вышли из Гамбурга, и военные действия прекратились. Мы теперь мирные гости датского коро-

ля. Пользуясь этим обстоятельством, я хочу объехать прекрасную *Голштинию* одна в кабриолете, в который заложу свою верховую лошадь.

Ильинский вызвался быть моим товарищем. Мы взяли отпуск на неделю и отправились прежде в *Пениберг*. Желая пройти несколько пешком по прекрасной тенистой аллее, которая ведет от *Ютерзейна* к Пенибергу, встали мы оба с своего кабриолета; я обернула вожжи около медной шишечки спереди кабриолета и, в надежде на смирение старого коня, пустила его идти по дороге одного. Мы не заметили, что лошадь, чувствуя легкость экипажа, стала прибавлять шагу; но наконец я увидела, что она далеко ушла вперед; я побежала, чтобы остановить ее, но этим сделала то, что лошадь также побежала, и все шибче, шибче, вскачь и наконец во весь дух. Ильинский, собрав все силы, догнал было ее и схватил за оглоблю; но лошадь сшибла его на землю, переехала колесом ему через грудь и поскакала во весь опор к Пенибергу. Ильинский вскочил и, потирая грудь рукою, побежал, однако ж, вслед за исчезающею уже из виду лошадью, я думаю, для того, что спереди на кабриолете лежал наш чемодан, где находились наши мундирные серебряные вещи и пятьсот рублей золотом; всего этого ни мне, ни ему потерять не хотелось. Однако ж и бежать до самого Пениберга не было возможности. Несмотря на это, Ильинский и лошадь скрылись у меня из глаз; я тоже пошла самым скорым шагом и нашла моего товарища и коня у самого въезда в Пениберг. Они были окружены толпою немцев; но чемодана уже не было. «Что̀ теперь делать?» — спрашивал меня Ильинский. «Здесь есть их начальство,— сказала я,— ты хорошо говоришь по-немецки, поди к ним и расскажи, какие именно вещи были у нас в чемодане, так, верно, разыщут...» Ильинский пошел; а я, сев на кабриолет, поехала занять квартиру, где, отдав немцу-работнику лошадь свою в смотрение, пошла к начальнику этого города. Там был уже Ильинский; немцу что-то не хотелось разыскивать нашей пропажи; он говорил, что это дело невозможное: «Лошадь ваша бежала через лес одна; как можно угадать, что сделалось с вашими пожитками?..» Ильинский в досаде на такое хладнокровие к нашему невзгодью сказал, что если б это случи-

лось в Петербурге, то через сутки пропажа была бы найдена, хотя бы несколько тысяч людей было тут замешано, и что нет в свете полиции, которая могла бы сравниться с русскою в деятельности, проницательности и остроумии средств, употребляемых ею для разыскания и открытия самых тонких мошенничеств. Эти слова свели с ума и вывели из себя хладнокровного немца; с покрасневшим лицом, сверкающими глазами и кипящею досадою вышел он поспешно из комнаты. Не видя надобности дожидаться его возврата, мы ушли на свою квартиру.

Ехать далее нам не было средств; у нас пропали все деньги, вещи и даже мундиры; мы оба остались в одних только сюртуках. Этот день мы не пили чаю, не ужинали и наутро ожидала нас печальная участь — не пить кофе, не завтракать и ехать тридцать верст обратно с пустым желудком. У меня оставалось два марка; но их надобно было употребить для лошади. Ильинский находил это несправедливым и сильно восставал против моего, как он называл, пристрастия к упрямому животному: «Счастлива эта негодная скотина, что деньги у тебя в кармане; а если б они были у меня, так уж извини, Александров, пришлось бы твоему ослу поститься до самого Ютерзейна».— «А теперь попостимся мы, любезный товарищ,— отвечала я,— да и о чем ты хлопочешь? вообрази, что ты на биваках, на походе, что теперь военное время, *двенадцатый год,* что сухари наши и провизию бросили в воду, что казаки отняли у денщиков наших вино, жаркое и хлеб или что плуты эти сами съели все и сказали на казаков; одним словом, вообрази себя в одном из этих положений, и ты утешишься».— «Благодарю! утешайся ты один всем этим»,— сказал сердито голодный Ильинский и спрятался в шкап. Я не знаю, как иначе назвать постели затейливых немцев; это точно шкапы: растворя обе половинки дверец, найдешь там четвероугольный ларь, наполненный перинами и подушками, без одеяла; если угодно тут спать, то стоит только залезть в средину всего этого, и дело кончено. Видя, что Ильинский ушел в шкап с тем, чтоб до утра не выходить, я пошла убеждать хозяйку засветить для меня даром свечку; она исполнила мою просьбу, погладив меня по щеке и назвав добрым мо-

лодым человеком, не знаю, за что; я написала страницы две и наконец тоже легла спать на полу, вытащив из другого шкапа все перины и подушки, сколько их там было.

В три часа утра я гладила и целовала доброго коня своего, который, не обращая на это внимания, ел овес, купленный на последние мои два марка; Ильинский спал; работник мазал колеса нашего кабриолета и хозяйка спрашивала меня из окна: *«Гер официр, волен зи кафе?»* Все эти действия были прерваны поспешным приходом гневного градоначальника. «Где ваш товарищ?» — спросил он отрывисто; в руках у него был наш чемодан. Обрадовавшись, увидя опять погибшее было наше сокровище, я побежала будить моего камрада. «Вставай, Ильинский! — кричала я, идя к дверцам его шкапа, чтоб их растворить: — вставай! наш чемодан принесли».— «Отвяжись ради бога; что ты расшутился,— ворчал Ильинский невнятно,— не мешай мне спать».— «Я не шучу, Василий! вот здесь начальник Пениберга с нашим чемоданом».— «Ну, так возьми у него».— «Да это не так легко сделать; он, видно, хочет именно тебе его отдать и, как догадываюсь, вместе с каким-нибудь пышным возражением на вчерашнее твое сомнение в исправности их полиции».— «Ну, так попроси же, брат, его хоть в хозяйскую горницу, пока я встану». Через пять минут Ильинский вошел к нам. Градоначальник, до того все молчавший, стремительно встал с своего места и, подошед к Ильинскому: «Вот ваши вещи все до одной и все деньги тою самою монетою, какою были. Не думайте, чтоб полиция наша уступала в чем-нибудь вашей петербургской. Вот ваши вещи, и вот вор,— сказал он, с торжеством указывая в окно на восемнадцатилетнего юношу, стоящего на дворе.— Он вчера увидел вашу лошадь близ Пениберга, схватил с кабриолета чемодан, бросил его в ров за кусты, а лошадь отвел в город. Теперь довольны ли вы? Вора сейчас повесят, если вам угодно?» При этом ужасном вопросе, сделанном со всею немецкою важностью, Ильинский побледнел; я затрепетала, и мое желание смеяться над забавным гневом пенибергца обратилось в болезненное чувство страха и жалости. «Ах, что вы говорите! — вскликнули мы оба вдруг,— как можно этого хотеть?

нет, нет! ради бога, отпустите его...» — «Я вижу, что ошибался на счет вашей полиции; простите это моему незнанию»,— прибавил Ильинский самым вежливым тоном. Успокоенный немец отпустил несчастного мальчика, который, стоя перед нашим окном, трепетал всем телом и был бледен, как полотно. Услыша, что его прощают, он всплеснул руками с таким выражением радости и так покорно стал на колени перед нашим окном, что я была тронута до глубины души, и даже сам пенибергский начальник тяжело вздохнул; наконец, он пожелал нам веселого путешествия по Голштинии и ушел.

Теперь мы уже смело потребовали кофе, сливок, сухарей и холодной дичи на дорогу. «Ах, какой счастливый характер имеешь ты, Александров,— говорил мне Ильинский, когда мы сели опять в свой кабриолет; — ты совсем не грустил о пропаже своего имущества».— «К чему это великое слово *имущество*, Ильинский? Разве мундир, подсумок и сорок червонцев — имущество?» — «Однако ж у тебя более ничего нет».— «Нет, так будет; но твоя печаль была мне очень смешна».— «Почему?» — «Потому что тебе не привыкать быть без денег: как только заведется какой червонец, ты сейчас ставишь на карту и проигрываешь».— «Я иногда и выигрываю».— «Никогда! По крайней мере, я ни разу еще не видал тебя в выигрыше: ты игрок столько же неискусный, сколько я несчастливый».— «Неправда! Ты не можешь судить о моем искусстве; ты не имеешь никакого понятия об игре»,— сказал Ильинский с досадою и после всю дорогу молчал.

За обедом мы помирились. В *Ицечое* мы ночевали и на другой день поехали к *Глюкштату*. Печальный вид Эльбы, которая здесь течет вровень с болотистыми берегами, стаи воронов с своим зловещим криком нагнали нам скуку и грусть; мы поспешили уехать оттуда и, свернув с большой дороги, поехали проселочными. В одном новом постоялом доме, как нам казалось, мы были приятно удивлены вежливым приемом и хорошим угощением. Наружность этого дома ничего не обещала более, как только картофель для обеда и солому для постели, и мы, вошед туда, спросили себе обедать, как обыкновенно спрашивают в трактирах, не

обращая никакого внимания на хозяина. Но тонкая скатерть, фарфоровая посуда, серебряные ложки и солонки и хрустальные стаканы возбудили наше внимание и вместе удивление; этим не кончилось: поставя на стол кушанье, хозяин просил нас садиться и сел сам вместе с нами. Ильинский, который не терпел никакой фамилиарности, спросил меня: «Что это значит? зачем этот мужик сел с нами?» — «Ради бога, молчи,— отвечала я; — может быть, это будет что-нибудь из *Тысячи и одной ночи:* кто знает, во что может превратиться наш хозяин?»... В продолжение этого разговора пришел хозяйский брат и тоже сел за стол; я не смела зачать говорить: недовольный вид Ильинского и беспечная веселость обоих крестьян до крайности смешили меня; чтоб не обидеть добродушных хозяев неуместным смехом, я старалась не смотреть на Ильинского. После обеда нам подали кофе в серебряном кофейнике, на прекрасном подносе, сливки в серебряном горшочке превосходной работы и ложечку фасона суповой разливальной ложки, тоже серебряную, ярко вызолоченную внутри. Все это поставили на стол; оба хозяина просили нас наливать для себя кофе по своему вкусу и сели пить его с нами вместе. «Что это значит? — повторял Ильинский; — простой трактир, голые стены, деревянные стулья, просто одетые люди — и прекрасный обед, превосходный кофе, фарфор, серебро, позолота, вид какого-то богатства, вкуса и вместе деревенской простоты. Как ты думаешь, Александров, что бы это такое значило?» — «Не знаю ничего, но думаю только, что нам нельзя будет здесь платить».— «Почему? а я так думаю напротив, что здесь мы заплатим вдесятеро дороже против других мест».

Мы ушли прогуливаться по прекраснейшим окрестностям, какие только могли быть на такой ровной и плоской стороне, какова Голштиния. Возвратясь, я просила Ильинского распоряжаться во всем самому, требовать и расплачиваться, сказав, что на меня находит страх и я ожидаю какого-нибудь чудного явления. Нам подали чай с тою же ласкою, добродушием, богатством прибора и вкусом. Наконец надобно было ехать; лошадь наша была отлично вычищена, кабриолет вымыт, и брат хозяйский держал под уздцы коня

нашего у крыльца. Я увидела, что Ильинский вертит в руках два марка. «Что ты хочешь делать? Неужели за столько усердия, ласки и угощения всеми благами земными ты хочешь заплатить двумя марками? Сделай милость, не плати ничего; поверь, что они не возьмут».— «А вот увидим»,— отвечал Ильинский и с этим словом подал хозяину два марка, спрашивая, довольно ли этого? «Мы ничего не продаем, здесь не трактир»,— отвечал хозяин покойно. Ильинский несколько смешался; он спрятал свои марки и сказал, смягчая голос: «Но вы так много издержали для нас».— «Для вас? Нет! я очень рад, что вы заехали ко мне; но разделил с вами только то, что всегда сам употребляю с своим семейством».— «Мы приняли вас за крестьян»,— сказал Ильинский, подстрекаемый любопытством и ожиданием какого-нибудь необыкновенного открытия; но он тотчас спустился с облаков. «Вы и не ошиблись, мы крестьяне!»... Наконец после нескольких вопросов и ответов узнали мы, что эти добрые люди получили наследство от дальнего родственника своего, богатого ямбургского купца; что не более полугода тому, как они выстроили себе этот дом, что ошибки, подобные нашей, им часто случается видеть и что мы не первые сочли дом их за трактир. «И вы всех так радушно угощаете, не выводя из заблуждения?» — «Нет, вас первых!» — «За что же?» — «Вы — русские офицеры; король наш велел нам с русскими обходиться хорошо».— «Однако ж, добрые люди, русским офицерам приятно было бы, если б вы не оставляли их так долго в тех мыслях, что они в трактире; мы все требовали так повелительно, как требуют только там, где должно заплатить».— «Вы могли угадать, что не за что платить, потому что мы обедали вместе с вами...» При этих словах Ильинский покраснел, и мы оба не говорили уже более, но поклонились доброму хозяину нашему и уехали.

Настала глубокая осень. Темные ночи, грязь, мелкий дождь и холодный ветер заставляют нас собираться перед камином то у того, то у другого из наших полковых товарищей. Некоторые из них превосходные музыканты; при очаровательных звуках их флейт и гитар вечера наши пролетают быстро и весело.

ПОХОД ОБРАТНО В РОССИЮ

Нет ни одного из нас, кто бы радостно оставлял *Голштинию;* все мы с глубочайшим сожалением говорим «прости» этой прекрасной стране и ее добродушным жителям. Велено идти в Россию. Голштиния, гостеприимный край, прекрасная страна! никогда не забуду я твоих садов, цветников, твоих светлых прохладных зал, честности и добродушия твоих жителей! Ах, время, проведенное мною в этом цветущем саду, было одно из счастливейших в моей жизни!.. Я пришла к *Лопатину* сказать, что полк готов к выступлению. Полковник стоял в задумчивости перед зеркалом и причесывал волосы, кажется, не замечая этого. «Скажите, чтоб полк шел; я останусь здесь на полчаса»,— сказал он, тяжело вздохнув. «О чем вы вздохнули, полковник? Разве вы не охотно возвращаетесь на родину?» — спросила я. Вместо ответа полковник еще вздохнул. Выходя от него, я увидела меньшую баронессу, одну из хозяек нашего полковника, прекрасную девицу лет двадцати четырех, всю расплаканную. Теперь я понимаю, отчего полковнику не хочется идти отсюда... Да! в таком случае *родина* — бог с ней!..

Итак, не охотно и с горестию расстались мы с Голштиниею и, конечно, уже навсегда? Там нас любили, хотя не всех — это правда; но где же любят всех!.. Нас любили по многим отношениям: как союзников, как надежных защитников, как русских, как добрых постояльцев, и, наконец, как бравых молодцов; последнее подтверждается тем, что за эскадроном нашим следуют три или четыре амазонки! Все они в полной уверенности выйти замуж за тех, за кем следуют. Но разочарование ближе, нежели они думают; одна из них взята Пел***, сорокалетним женатым сумасбродом; он хочет нас уверить всех, что его *Филлида* следует за ним, уступая силе непреодолимой любви к нему! Мы слушаем, едва удерживаясь от смеху. Непреодолимая любовь к Пел***! к плешивому чучеле, смешному и глупому!.. Разве какое-нибудь очарование...— *всего в свете прекраснее его лягушачьи глаза!*

Что за странный расчет выбирать для похода самую дурную пору! Теперь глубокая осень, грязная, темная, дождливая; у нас нет другого развлечения, кроме

смешных сцен между нашими влюбленными парами. Вчера вечером *Торнези* рассказывал, что был у Пел***, son objet[1] сидела тут же, вся в черном и в глубокой задумчивости; Пел *** смотрел на нее с состраданием, которое в нем до крайности смешно и неуместно: «Вот что делает любовь,— сказал он, вздыхая; — она томится, грустит, не может жить без меня! гибельная страсть — любовь!..» Торнези едва не задохся, стараясь удержаться от хохота. «Да ведь ты с нею, чего ж ей грустить?» — «Все сомневается в моей любви; не надеется удержать меня навсегда при себе».— «Разумеется, ты ведь женат; я не понимаю, на что ты взял ее».—«Что ж мне было делать? она хотела утопиться!..» — «Я, право, не знаю,— говорил мне Торнези,— где бы она утопилась; кажется, в Ютерзейне вовсе нет реки. Пел *** долго еще врал в этом тоне; но, послушай, какой был финал всему этому и как Пел *** достоин был знать и видеть его: я вышел приказать, чтоб подали мою лошадь; возвращаясь, встретил в сенях задумчивую красавицу; она бросилась мне на шею, прижалась лицом к моему лицу и заплакала: *Cher officier! sauvez moi de ce miserable! je le deteste! je ne l'ai jamais aimé; il m'a trompé!*[2] Она не имела времени более говорить; Пел *** отворил дверь из комнаты; увидя нас вместе, он ни на минуту не смутился: столько уверен в силе своей красоты и достоинстве! Проклятой шут!..»

Познань. Здесь назначено было судьбою расторгнуться всем связям любовным; я узнала это случайно; мне надобно было идти в полковую канцелярию к Я***, который теперь в должности адъютанта, потому что бедный наш *Тызин* не мог уже более не только заниматься должностью, но даже и следовать за полком; он остался в каком-то немецком городке с своею молодою и опечаленною женой. Квартира Я*** состояла из четырех комнат; в двух была канцелярия, а в двух он жил сам с *пажиком,* которого мы все называли *прекрасным бароном.* Узнав, что адъютанта нет до-

---

[1] его предмет *(фр.).*

[2] Милый офицер! спасите меня от этого негодяя! я его ненавижу! я никогда его не любила, он меня обманул! *(фр.)*

ма, я пошла на его половину к барону; но, отворя дверь, остановилась в недоумении, не зная, идти или воротиться. По зале ходила молодая дама в величайшей горести; она плакала и ломала руки. Окинув глазами комнату и не видя прекрасного барона, я стала всматриваться в лицо плачущей красавицы и узнала в ней пажика Я-го. «Ах, *Dieu! à quai bon cette metamorphose, et de quai vous pleurez si amérement?..»*[1] Она отвечала мне по-немецки, что она очень несчастлива, что Я*** отправляет ее обратно в Гамбург и что она теперь не знает, как показаться в свою сторону. Пожалев о ней искренно, я ушла. На другой день, на походе, не видя уже более ни одной из наших амазонок за эскадроном, я спросила Торнези, какая участь постигла их. «Самая обыкновенная и неизбежная,— отвечал он: — ими наскучили и отослали».

Обыкновенно впереди эскадрона едут песенники и поют почти во весь переход; не думаю, чтоб им это было очень весело; даже и по доброй воле наскучило бы петь целый день, а поневоле и подавно. Сегодня я была свидетельницею забавного способа заохочивать к пению: *Веруша,* унтер-офицер, *запевало,* несчастнейший из всех запевал, начинает всякую песню в нос голосом, какого отвратительнее я никогда не слыхала и от которого мы с Торнези всегда скачем, сломя голову, прочь; теперь он был что-то не в духе, а может, нездоров, и пел, по обыкновению, дурно, но, против обыкновения, тихо; *Ржевницкий* заметил это: «Ну, ну, что значит такой дохлый голос? пой, как должно!..» Веруша пел одинаково. «А, так я же тебе прибавлю бодрости!» — и с этим словом зачал ударять в такту нагайкою по спине поющего Веруши... Я увидела издали эту трагикомедию, подскакала к Ржевницкому и схватила его за руку: «Полно, пожалуйста, ротмистр! Что вам за охота! Ну, пойдут ли песни на ум, когда за спиной нагайка!..» Я имею некоторую власть над умом Ржевницкого; он послушался меня, перестал поощрять Верушу нагайкою и отдал ему на волю гнусить как угодно.

---

[1] Ах, боже! с чего такая метаморфоза, и почему вы так горько плачете?.. *(фр.)*

Витебск. Вот мы и опять в земле родной! Меня это нисколько не радует; я не могу забыть Голштинию! Там мы были в гостях; а мне что-то лучше нравится быть гостем, нежели домашним человеком.

Квартирами полку нашему назначено местечко Яновичи, грязнейшее из всех местечек в свете. Здесь я нашла брата своего; он произведен в офицеры и, по просьбе его, переведен в наш Литовский полк. Я, право, не понимаю, отчего у нас обоих никогда нет денег? Ему дает батюшка, а мне государь, и мы вечно без денег! Брат говорит мне, что если бы пришлось идти в поход из Янович, то жиды уцепятся за хвост его лошади; сильнее этого нельзя было объяснить, как много он задолжал им. «Что же делать, Василий! моя выгода только та, что я не должен, а денег все равно нет».— «У вас будут; вам пришлет государь».— «А тебе отец; а отец отдаст последние».— «И то правда; разве написать к батюшке?» — «А ты еще этого не сделал?» — «Нет!» — «Пиши, пиши с этою ж почтой».

В ожидании, пока весна установится, мы оба живем в штабе, потому что в эскадронах теперь вовсе нечего делать. Мы с братом достали какой-то непостижимый чай, как по дешевизне, так и по качеству; я заплатила за него три рубля серебром, и, сколько бы ни наливали воды в чайник, чай все одинаково крепок. Не заботясь отыскивать причину такой необыкновенности, мы пьем его с большим удовольствием.

Яновичи. Настало время экзерциций, ученья пешего, конного, настала весна. По настоянию эскадронного командира мне должно было ехать в эскадрон.

Смешная новость! К*** влюблен! Он приехал в Яновичи, чтоб взять меня с собою в эскадрон; дорогою рассказал, что он познакомился с помещицей Р*** и что молодая Р***, дочь ее, нейдет у него с ума, наконец, что он от любви и горести все спит. Справедливость слов своих он подтвердил самым действием — сейчас заснул. Все это было мне чрезвычайно смешно; но как я была одна, то смеяться что-то не приходилось, и я спокойно рассматривала чары вновь расцветшей природы. Однако ж, видно, К*** не на шутку влюблен; только что мы с ним приехали в эскадрон, он как

по *инстинкту* проснулся; тотчас потребовал вахмистра, отдал наскоро ему приказание и велел закладывать других лошадей. «Поедем со мною, Александров, я тебя познакомлю».— «С кем, майор?» — «С моими соседками».— «Верно, с вашей Р***?» — «Ну, да!» — «Поедемте; я буду очень рад увидеть нашу будущую майоршу».— «Да чуть ли то не так будет, любезный! я что-то и день и ночь думаю об ней».— «Ну, так едемте скорей».

Я думала, что дорогою не будет конца разговорам К*** о красоте, достоинствах, талантах и о всех возможных совершенствах телесных и душевных божественной Р***, но очень приятно обманулась в своем опасении; К*** сел в бричку, не сказал даже — *ступай скорее!* и как будто ехал не к девице милой, прекрасной и любезной, но на какое-нибудь ученье или смотр, пустился толковать о строе, лошадях, пиках, уланах, флюгерах; одним словом, обо всем хорошем и дурном, но только не о том, чем, как мне кажется, должны б быть заняты его мысли и сердце. Странный человек! Проговоря с полчаса как на заказ о всем нашем быту строевом, он наконец вздохнул, сказав: *еще далеко!* завернул голову шинелью, прислонился в угол брички и заснул. Я очень обрадовалась этому. Добрый человек и исправный офицер, К*** не имел ни того образования, ни тех сведений, ни даже того сорту ума, которые делают товарищество и разговор приятным; я была рада, оставшись на свободе, думать о чем хочу и смотреть на что хочу.

В этом странном любовнике все смешно! Как он может проснуться именно тогда, когда надобно! У самого подъезда он открыл глаза с таким видом, как будто не спал ни минуты; мы вышли из нашего экипажа. Всходя на лестницу, я сказала К***, что он должен представить меня дамам. «Да уж не беспокойся, я буду уметь это сделать!» Смешной ответ заставил меня бояться какой-нибудь странной рекомендации; но дело обошлось лучше, нежели я думала. К*** сказал просто, указывая на меня: «Офицер моего эскадрона Александров...» Покорившая строевое сердце К*** была лет осьмнадцати девица, белая, белокурая, высокая, стройная, с длинными светлыми волосами, большими темно-серыми глазами, большим ртом, белыми зуба-

ми и с смелою гренадерскою выступкою; все это мне очень понравилось! Если б я была К***, то и я выбрала б ее в подруги жизни своей и любила б ее так же, как любит он: ехала б к ней, не спеша доехать, спала б всю дорогу и просыпалась бы у подъезда! Я сейчас познакомилась с ней и подружилась; это было кончено в полчаса. Но что меня дивило, и изумляло, и восхищало, это была мать ее, прекраснейшая женщина! настоящая Венера! если б только Венера могла иметь признаки сорокалетнего возраста! На этом очаровательном лице было собрано все, что есть прекраснейшего из прелестей: блестящие черные глаза, тонкие черные брови, коралловые губы, цвет лица, превосходящий всякое описание!.. Я смотрела на нее и не могла перестать смотреть; наконец, не умея говорить иначе, как думаю, я сказала ей прямо, что не могу отвесть глаз от ее лица и не могу себе представить, что за восхитительное существо была она в юности! «Да, молодой человек, вы не ошибаетесь, я была *Венера;* иного названия, ни сравнения не было мне! да, я была красавица в полном значении этого слова!..» Несмотря, что она говорит это о себе, я нахожу, что она еще очень скромна. Она говорит «была красавица», но она теперь, сию минуту необыкновенная красавица! Неужели она этого не видит!..

К*** сосватал Р***; через неделю свадьба; я очень рада. Молодая девица довольно образованна, веселого нрава и свободного, непринужденного обращения; надеюсь, мне будет очень весело в их доме, когда она сделается нашею полковою дамою. Ах, как я не люблю этих неприступных медведиц, которые, желая поддержать какой-то высший тон, не замечают того, что, вместо знатных дам, они имеют всю наружность надутых купчих. Глупые женщины!..

Вчера были мы приглашены на бал; я поехала с К***. Новобрачный, по прежнему обыкновению, заснул; а как нам надобно было ехать около десяти верст, то я имела довольно времени разговаривать с молодою майоршею. Мы рассказывали друг другу анекдоты, смешные происшествия и хохотали, не опасаясь разбудить счастливого супруга. Наконец разговор наш настроился на другой тон; мы говорили о сердце, о любви, о чувствах неизъяснимых, о постоян-

стве, счастии, несчастии, уме, и бог знает о чем мы уже не говорили; я заметила в спутнице моей такой образ мыслей, который заставил меня удивиться, что она вышла за К***; я спросила ее об этом. «Я бедна,— отвечала она,— и, как видите, не красавица; сердце мое было свободно; матушка находила К*** выгодным женихом для меня, и я не видела большого затруднения исполнить волю ее».— «Пусть так, но любите ли вы его?» — «Люблю,— сказала она, помолчав с минуту,— люблю, разумеется, без страсти, без огня, но люблю как доброго мужа и как доброго человека; у него нрав превосходный; все его недостатки выкупаются его добрым сердцем».

Военный бал наш был таков же, как и все другие балы: очень весел на деле и очень скучен в описании.

Теперь я должна описать поступок, которого вот уже несколько дней с утра до вечера стыжусь. Пусть этот род исповеди будет мне наказанием.

Желая погулять по прекрасным рощам около Полоцка, я выпросилась в отпуск на неделю и, взяв в товарищи Р***, поехала с ним в поместье его отца. Лошадей давали нам только что не дохлых, но весьма уже готовых прийти в это состояние; мы ехали на простой телеге по грязной дороге и то влеклись, то тряслись, смотря по тому, каковы были у нас лошади. Приключений с нами не было никаких, если не считать за приключение, что зазевавшийся ямщик, проезжая мимо толпы идущих крестьян, задел одного оглоблею, опрокинул его и переехал; что оскорбленные мужики шли за нами с дубинами более полуверсты, называя нас, именно *нас*, а не ямщика нашего, *псами и сорванцами*. Наконец мы приехали к реке, за которою было поместье Р***. Пока приготовляли паром, товарищ мой пошел в шалаш закурить трубку, а я осталась на берегу любоваться закатом солнца; в это время подошел ко мне старик лет девяноста, как мне казалось, просить милостыни; при виде его белых волос, согбенного тела, дрожащих рук, померкших глаз, его ужасной сухощавости и ветхих рубищ сожаление, глубочайшее сожаление овладело мною совершенно! Но как могло это небесное чувство смешаться с дьявольским, клянусь, не понимаю!.. Я вынула кошелек, чтоб дать бедному помощь, значительную для него; денег у меня

было восемь червонцев и ассигнация в десять рублей; эту несчастную ассигнацию ни на одной станции не хотели взять у меня, считая сомнительною, и я имела безбожие отдать ее бедному старику! «Не знаю, мой друг,— говорила я обрадованному нищему,— дадут ли тебе за нее те деньги, какие должно; но в случае, если б не дали, поди с нею к ксендзу ректору, скажи, что это я дал тебе эту ассигнацию, тогда ты получишь от него десять рублей, а эту бумажку он возвратит мне; прощай, друг мой!» Я сбежала на паром; мы переехали и через час были уже под гостеприимным кровом пана Р***. Здесь я прожила четыре дня; ходила по темным перелескам, читала, пила кофе, купалась и почти не видала в глаза семейства Р***, так как и самого его.

«Гость наш немного дик,— говорила Р-му сестра его,— он с утра уходит в лес и приходит к обеду, а там опять до вечера его не видать; неужели он так делает и в полку? Умен он?» — «Не знаю; ректор хвалит его».— «Ну, похвала ректора ничего не значит. Он его без памяти любит с того времени, как узнал, что он дал десять рублей старому *Юзефу*».— «За что?» — «Вот за что! за что дают всякому, кто просит именем Христовым».— «Как! неужели старик Юзеф просит милостыни, и помещик его позволяет? в его лета?» — «Да, в его лета, помещик его не только позволяет, но приказывает гнать на этот промысел всякого того из своей деревни, кто не может работать почему б то ни было: по старости, слабости, болезни, несовершеннолетию, слабоумию; о, из его села изрядный отряд рассыпается каждое утро по окрестностям».— «Ужасный человек!.. Однако ж я не знал, что мой товарищ так мягкосерд к бедным».— «Товарищ твой дикарь; а дикари все имеют какую-нибудь странность».— «Неужели ты считаешь сострадание странностью?» — «Разумеется, если она чересчур. К чему давать десять рублей одному; разве он богат?» — «Не думаю; впрочем, я мало еще его знаю...» Я поневоле должна была выслушать разговор брата с сестрою. Возвратясь часом ранее обыкновенного с прогулки и не находя большого удовольствия в беседе старого Р*** и его высокоумной дочери, ушла я с книгою в беседку в конце сада; молодые Р*** при-

шли к этому же месту и сели в пяти шагах от меня на дерновой софе. Обязательная Р*** говорила еще несколько времени обо мне, не переставая называть дикарем и любимцем ректора; наконец брат ее вышел из терпения: «Да перестань, сделай милость, как ты мне надоела, и с ним! Я хотел поговорить с тобою о том, как убедить отца дать мне денег; теперь мачехи нет, мешать некому».— «Нет, есть кому».— «Например! не ты ли отсоветуешь?» — «Тебе грех так говорить; я люблю тебя и хотя знаю, что всякие деньги из рук твоих переходят прямо на карту, но готова б была отдать тебе и ту часть, которая следует мне, если б только имела ее в своей власти. Нет, любезный Адольф! не я помешаю отцу дать тебе деньги, а собственная его решимость, твердая, непреложная воля не давать тебе ни копейки...» Более я ничего не слыхала, но, подошед к дверям беседки, увидела брата и сестру бегущих к дому; видно, последние слова девицы Р*** привели в бешенство брата ее, он бросился бежать к отцу, а она за ним. Я поспешила туда же. Удивительно, какую власть над собою имеет старик Р***; я нашла их всех в зале; девица была бледна и трепетала; брат ее сидел на окне, сжимал судорожно спинку у кресел и тщетно старался принять спокойный вид; глаза его горели, губы тряслись. Но старик встретил меня очень ласково и покойно спрашивал, шутя: «Уж не имеете ли вы намерения сделаться пустынником в лесах моих? Я желал бы это знать заранее, чтоб приготовить для вас хорошенькую пещеру, мох, сухие листья и все нужное для отшельничества».

Не знаю, чем кончилось между отцом и сыном, но расставанье было дружелюбное. Взбалмошный Адольф привел в ужасное замешательство сестру свою, а меня просто в замешательство уверениями, что она и я очень похожи друг на друга лицом и что сестра живой его портрет; итак, мы все трое на одно лицо! Как лестно! Молодой Р*** похож, как две капли воды, на дьявола...

Наконец мы опять взмостились на телегу и поехали. На первой станции, когда надобно было платить прогоны, я вынула кошелек, чтобы достать деньги, и очень удивилась, что из осьми червонцев двух не-

доставало. Я старалась припомнить, не оставляла ль кошелька на столе или на постели, когда уходила гулять; но нет, кажется, он всегда был со мною. Наконец я вспомнила и от всей души обрадовалась: червонцы, верно, запали в ассигнацию, которая лежала вместе с ними в кошельке и была свернута ввосьмеро, чтобы уместиться в нем, я вынула ее и отдала нищему у парома, не развертывая; итак, он получил от промысла божия ту помощь, которую я подала ему, но едва не испортила каким-то сатанинским расчетом! Впрочем, одно только чудовище способно дать бедному такую помощь, в недействительности которой было б оно уверено! Нет, отдавая ассигнацию, я думала только, что ее возьмут в гораздо меньшей цене, чего она стоит, и что на станциях не брали ее потому, что видели у меня золото и что поляки не терпят другой монеты, кроме звонкой.

Витебск. Я живу у комиссионера С***. Отпуск мой еще не кончился, и я проведу это время веселее здесь, нежели в эскадроне. Его королевское высочество принц *Виртембергский* любит, чтоб военные офицеры собирались у него по вечерам; я тоже там бываю; мы танцуем, играем в разные игры, и принц сам берет иногда участие в наших забавах.

ДУЭЛЬ

Сегодня часу в десятом утра Р*** пришел ко мне рассказать, что он поссорился с князем К*** и что князь назвал его подлецом. «Поздравляю тебя! что ж ты сделал?» — «Ничего! я сказал, что он негодяй; но, кажется, он этого не слыхал».— «Как все это хорошо! и ты пришел похвалиться, что тебя назвали подлецом! Я в первый раз от роду слышу, чтоб тот, кто так назвал благородного человека, остался без пощечины». Говоря это, мы оба стояли у открытого окна, и только что я кончила, князь К***, как на беду, шел мимо. Р*** позвал его; надобно думать, что К*** счел голос Р*** за мой, потому что, поклонясь вежливо, пошел тотчас ко мне; но, к величайшему удивлению своему, моему, моего хозяина и еще двух офицеров, был

встречен в самых дверях от Р*** и вопросом «это меня вы назвали подлецом?», и пощечиной вдруг!! С*** просил всех нас провалиться из его дома: «Деритесь где хотите, господа, только не здесь!..» Мы все пошли за город. Разумеется, дуэль была неизбежна, но какая дуэль!.. Я даже и в воображении никогда не представляла ее себе так смешною, какою видела теперь. Началось условием: не ранить друг друга в голову; драться до первой раны. Р*** затруднился, где взять секунданта и острую саблю; я сейчас вызвалась быть его секундантом и отдала свою саблю, зная наверное, что тут, кроме смеху, ничего не будет особенного. Наконец два сумасброда вступили в бой; я никак не могла да и не для чего было сохранять важный вид; с начала до конца этой карикатурной дуэли я невольно усмехалась. Чтоб сохранить условие не ранить по голове и, как видно, боясь смертельно собственных своих сабель, оба противника наклонились чуть не до земли и, вытянув каждый свою руку, вооруженную саблей, вперед как можно далее, махали ими направо и налево без всякого толку; сверх того, чтоб не видеть ужасного блеска стали, они не смотрели; да, как мне кажется, и не могли смотреть, потому что оба нагнулись вперед вполовину тела. Следствием этих мер и предосторожностей, чтобы сохранить первое из условий, было именно нарушение этого условия: Р***, не видя, где и как машет саблею, ударил ею князя по уху и разрубил немного; противники очень обрадовались возможности прекратить враждебные действия. Князь, однако ж, вздумал было шуметь, зачем ему в противность уговора разрубили ухо; но я успокоила его, представя, что нет другого средства поправить эту ошибку, как опять рубиться. Чудаки пошли в трактир, а я отправилась обратно к С***. «Ну, что, как кончилось?» Я рассказала. «Вы помешанный человек, Александров! что вам за охота была подстрекнуть Р***; самому ему никогда б и в мысль не пришло вызывать на дуэль, а еще менее давать пощечину». (Мне, право, не приходило в голову, что я подстрекала его к поступку, противному законам; и только теперь вижу, что С*** был прав.) Старый С*** принялся хохотать, вспомня сцену в дверях.

Надобно проститься с залою принца Виртембергского! надобно оставить Витебск и возвратиться в грязные Яновичи. Эскадронные командиры с воплем требуют офицеров к своим местам; нечего делать, завтра еду.

Яновичи. Кажется, здешняя грязь превосходит все грязи, сколько их есть на свете. Не далее как через площадь к товарищу не иначе можно пробраться, как верхом; можно, правда, и пешком, но для этого надобно лепиться около жидовских домов, по завалинам, как можно плотнее к стенам, окнам и дверям, из которых обдает путешествующего различного рода паром и запахами, например, водки, пива, гусиного сала, козлиного молока, бараньего мяса и так далее... Можно быть уверену в насморке по окончании этого отвратительного обхода.

Витебск. В теперешний приезд мой старый С***, напуганный буйною сценою, не пустил уже меня к себе на квартиру, и мне отвели ее в доме молодой и прекрасной купчихи. Только что я расположилась там по-хозяйски, пришел ко мне *Херов,* короткий знакомец брата. «Здравствуй, Александров! давно ли ты приехал?» — «Сейчас!» — «А брат?» — «Он в эскадроне».— «Где ты обедаешь, у принца?» — «Не знаю; я пойду явиться к принцу; если пригласит, так у него».— «Посмотри, какие славные шпоры купил я».— «Серебряные?» — «Да!..» Мы оба стояли у стола, и я облокотилась на него, чтобы поближе рассмотреть шпоры. В это время Херов наступил легонько мне на ногу; я оглянулась; вплоть подле меня стояла хозяйка: «Не стыдно ли вам, господа, говорить такие слова в доме, где живут одни женщины?..» Вот новость! я уверяла хозяйку, что слова наши могли б быть сказаны перед ангелами, не только перед женщинами. «Нет, нет! вы меня не уверите; уж я слышала!» — «Не может быть, вы ослышались, милая хозяюшка».— «Прошу не называть меня милою, а вести себя лучше в моем доме...» Сказав это, она важно отправилась в свою половину и оставила нас думать что угодно об ее выходке. Херов взял было кивер, чтоб идти уже, но, взглянув случайно на мой кошелек и увидя, что в нем

светилось золото, остановился: «Брат твой должен мне, Александров, не заплатишь ли ты за него?» — «Охотно! сколько он тебе должен?» — «Два червонца».— «Вот изволь».— «Какой ты славный малый, Александров! дарю тебе за это мои серебряные шпоры». Херов ушел, а я, приказав тотчас привинтить новые шпоры к сапогам, надела их и пошла явиться принцу.

В час пополуночи возвратилась я на свою квартиру; постель мне была постлана в маленькой комнате на полу; в доме все уже было тихо, и только в горницах хозяйки светился еще огонь. Полагая себя в совершенном уединении и полною владетельницею своей комнаты, я без всяких опасений разделась. Хотела было, правда, запереть двери, но как не было крючка, то, притворя их просто, легла и, кажется, что спала уже, по крайней мере, я не слыхала, как дверь в мою горницу отворилась. Я проснулась от шарканья ногами кого-то ходящего по моей комнате; первым движением моим было закрыть голову одеялом; я боялась, чтоб бродящее существо не ударило меня в лицо ногою. Не знаю почему, я не хотела спросить, кто это ходит, и к лучшему; я тотчас услышала голос, который спрашивал не совсем громко: «Где вы?» Это была хозяйка; она с нетерпением повторяла: *«Где вы?»* — и продолжала шаркать ногами по полу, говоря: *«Да где же вы?* Посмотрите, что у меня в ушах вместо серег; что-то недоброе! Кажется, в каждом висит по злому... то есть по черту! по одному только черту!..» Она смеялась при этом каким-то диким смехом, но не громким. Я пришла в ужас; не было сомнения, что хозяйка моя была сумасшедшая, что она укралась от надзора своих девок, что пришла ко мне, именно ко мне, и что она найдет меня очень скоро в комнате, которая всего полторы сажени длины и ширины. Что сделает она тогда со мною! Бог знает, какой оборот возьмут тогда мысли ее! Может быть, она сочтет меня одним из тех демонов, которые, думает она, висят в ушах у ней вместо серег! Я слыхала, что сумасшедшие очень сильны, итак, в случае нападения я не надеялась выйти с честию из этого смешного единоборства. Думая все это, я таила дыхание и боялась пошевелиться; но мне сделалось до нестерпимости душно

лежать с закутанною головой; я хотела открыть немного одеяло, и в этом движении дотронулась до подсвечника, он упал со стуком. Радостный крик сумасшедшей оледенил кровь мою! Но, к счастию, этот крик разбудил ее женщин; и в то самое время, когда она с восклицаниями кинулась ко мне, они вбежали и схватили ее уже падающую на меня с распростертыми руками.

Природа дала мне странное и беспокойное качество: я люблю, привыкаю, привязываюсь всем сердцем к квартирам, где живу; к лошади, на которой езжу; к собаке, которую возьму к себе из сожаления; даже к утке, курице, которых куплю для стола, мне тотчас сделается жаль употребить их на то, для чего куплены, они живут у меня, пока случайно куда-нибудь денутся. Зная за собою эту смешную слабость, я думала, что буду сожалеть и об грязных *Яновичах,* если придется с ними расставаться; однако же, слава богу, нет! Мы идем в поход, и я чрезвычайно рада, что оставляю это вечное, непросыхаемое болото. Вот одно место на всем Шаре Земном, куда бы я никогда уже не захотела возвратиться.

Полоцк. Сегодня утром, выходя из костела, увидела я Р***; он шел очень скоро и был, казалось, чем-то озабочен. Меня всегда очень забавляют его рассказы о его победах; вечно он героем какого-нибудь происшествия и из всякого выходит увенчанным или миртами, или лаврами. Надеясь и теперь услышать что-нибудь подобное, побежала я за ним, догнала, поравнялась и остановила за руку: «Чем так озабочен, товарищ? Не надобен ли тебе опять секундант? я к твоим услугам...» Казалось, появление мое сделало неприятное впечатление на Р***. Это удивило меня: «Что с тобою? Куда ты так спешишь?» — «Никуда! я просто иду; тебе кланяется батюшка. Извини, брат! я виноват перед тобою: проиграл твои деньги».— «Какие мои деньги?» — «Два червонца».— «Я тебя не понимаю!» — «Разве ты не получал письма от ректора?» — «Нет!» — «А, ну так тебе и в самом деле нельзя знать ничего. Бедный старик, которому ты дал десять рублей, нашел в этой ассигнации два червонца и, полагая очень благоразумно, что ты не имел намере-

ния дать ему такую сумму, отнес их к ректору, который, похваля редкую честность бедного, пришел с этими червонцами к батюшке. Я был тут же; ректор рассказал нам историю о червонцах и просил переслать их к тебе; я взял эту комиссию на себя; но, к несчастию, прежде чем увиделся с тобою, встретился искусительный случай попробовать счастия; я поставил их на карту и — остался твоим должником».— «Очень рад! будь им сколько угодно; но зачем батюшка твой распорядился так нечеловеколюбиво! Деньги эти надобно было оставить у того, кому провидение их назначило».— «Ну, зафилософствовал! Я мог бы сказать тебе кой-что против этого, да уж бог с тобой, теперь некогда, иду взять в долг кордон и эполеты из офицерской суммы. Прощай!..» Сумасброд побежал, а я пошла прогуливаться. Я всегда иду очень скоро и совершенно отдаюсь мечтам, меня увлекающим. Теперь я думала о том, как прекрасна природа! как много радостей для человека в этом мире! Думала и о том, как неисповедимы пути, которыми велят нам идти к такому или другому случаю в жизни; и что самое лучшее средство сохранить мир душевный состоит в том, чтоб следовать покорно *деснице*, ведущей нас сими путями, не разыскивая, почему это или то делается так, а не иначе... Мысли мои были то важны, то набожны, то печальны, то веселы, а наконец, и сумасбродно веселы. Радостное предположение, что я буду иметь прекрасный дом, где помещу старого отца своего; что украшу его комнаты всеми удобствами и всем великолепием роскоши; что куплю ему покойную верховую лошадь; что у него будет карета, музыканты и превосходный повар!.. так восхитило меня, что я запрыгала на одном месте, как дикая коза! Теперь я вижу, что *Перретта* не выдумка. От сильного телодвижения мечты мои рассеялись. Я опять увидела себя уланским офицером, у которого все серебро на нем только, а более нигде, и что для исполнения мечтаний моих надобны, по крайней мере, чудеса, а без них ничему не бывать! Сделавшись по-прежнему уланским поручиком, я должна была в качестве этом спешить возвратиться в эскадрон, чтоб не опоздать к времени, назначенному для похода: за что иногда приходится строго отвечать!

В походе нашем ничего нет замечательного, кроме причины его: *Наполеон* как-то исчез с того острова, на котором *союзные государи* рассудили за благо уместить вместе с ним все его планы, замыслы, мечты, способности великого полководца и обширный гений; теперь все это опять вырвалось на волю, и вот снова движение в целой Европе!.. Двинулись войска, снова вьются наши флюгера в воздухе, блистают пики, прыгают добрые кони! там сверкают штыки, там слышен барабан; грозный звук кавалерийских труб торжественно будит еще дремлющий рассвет; везде жизнь кипящая, везде движение неустанное! Тут важно выступает строй кирасирский; здесь пронеслись гусары, там летят уланы, а вот идет прекрасная, стройная, грозная пехота наша! главная защита, сильный оплот отечества — непобедимые мушкетеры!.. Хоть я люблю без памяти конницу, хоть я от колыбели кавалерист, но всякий раз, как вижу пехоту, идущую верным и твердым шагом, с примкнутыми штыками, с грозным боем барабанов, чувствую род какого-то благоговения, страха, чего-то похожего на оба эти чувства: не умею объяснить. При виде пролетающего строя гусар или улан ничего другого не придет в голову, кроме мысли: какие молодцы! какие отличные наездники! как лихо рубятся! беда неприятелю! и беда эта обыкновенно состоит в ранах более или менее опасных, в плене, и только. Но когда колонны пехоты быстрым, ровным и стройным движением несутся к неприятелю!.. тут уже нет молодцов, тут не до них: это герои, несущие смерть неизбежную! или идущие на смерть неизбежную — средины нет!.. Кавалерист наскачет, ускачет, ранит, пронесется, опять воротится, убьет иногда; но во всех его движениях светится какая-то пощада неприятелю: это все только предвестники смерти! Но строй пехоты — смерть! страшная, неизбежная смерть!

Ковно. Без дальних приключений пришли мы на границу и расположились квартирами в окрестностях этого местечка. Ведь можно же иногда попасть в

убийственное положение совсем неожиданно. Вчера постигло меня самое смешное несчастие: брат и я обедали у ковенского помещика, пана *Ст-лы,* старинного гостеприимного поляка. Несмотря на свои шестьдесят лет, Ст-ла был еще красивый молодец, из числа тех немногих людей, которые живут долго и состареваются за день только до смерти; он казался не более сорока лет; с ним вместе жили его сестра и племянница, девушка лет осьмнадцати, наружности обыкновенной. Надобно думать, что мы с братом очень понравились господину Ст-ле, потому что он не щадил ничего, чтоб сделать для нас приятным быть у него. После роскошного стола, всех родов лакомства, кофе, мороженого, одним словом, всего, чем только он мог пресытить нас, вздумалось ему довершить свое угощение изящнейшим из услаждений, как он полагал, пением своей племянницы: *zaspiewaу ze, moia kochana, dlia tych walecznych zolnierzów* [1]. Бесполезно бедная девица уверяла, что не может петь, что она простудилась, что у нее насморк и болит горло; деспот дядя ничему не внимал и настоятельно требовал, чтоб она сию минуту пела; должно было покориться и запеть перед двумя молодыми уланами: она запела!.. Такого голоса нельзя забыть! Не имею духа ни описывать, ни делать сравнений!.. Девица была права, отбиваясь из всех сил от этого рокового пения... Услыша первые звуки ее голоса, я почувствовала содрогание во всем теле; желала бы провалиться или быть за сто верст от певицы; но... я была на диване, прямо против нее! и, к несчастию, дух-искуситель заставил меня взглянуть на брата; он не смел поднять глаз и пылал, как зарево. Я не знала, куда деваться, не знала, что делать, чтоб не захохотать; но, видя наконец безуспешность своих усилий, перестала и трудиться над этим... Я, как говорится, померла со смеху... Певица замолчала. А я!.. я, сделавшись в глазах ее дураком, безотчетным дураком, искала и не находила, чем извинить этот проклятый смех. К счастию моему, она пела русскую песню; в ней упоминалось что-то о бабочке; а девица, как полька, не умея хорошо выговорить, называла ее *бабушкою.* Я сложила

---

[1] спой, моя дорогая, для этих доблестных воинов *(польск.).*

всю вину на это слово, и все сделали вид, что поверили; но продолжать пение уже не просили более. Заплатя так хорошо за угощение и внимание пана Ст-лы, мы поехали обратно в Вильну, где расположился наш штаб и где мы будем стоять — впредь до повеления.

Эскадрон К*** стоит в имении бискупа князя Г***. Здесь живет сестра его, менее всего в свете похожая на то, что она есть, то есть на княжну Г***.

Вчера я в первый раз увидела нашу молодую майоршу после ее супружества; она сделалась неузнаваема: выросла и потолстела. Смотря на нее, я не верила глазам своим. Как в такое короткое время стать настоящим *богатырем Добрынею!* Я потому так назвала ее, что К*** в восхищении от ее роста и полноты, говорит всем, кто хочет его слушать: «Моя Сашенька раздобрела!»

Сегодня в полночь, возвращаясь из штаба и проезжая мимо полей, засеянных овсом, увидела я что-то белое, ворочающееся между колосьями; я направила туда свою лошадь, спрашивая «кто тут?». При этом вопросе белый предмет выпрямился и отвечал громко: «Я, ваше благородие! улан четвертого взвода».— «Что ж ты тут делаешь?» — «Стараюсь, ваше благородие!..» Я приказала ему идти на квартиру и более уж никогда не стараться... Забавный способ избрали эти головорезы откармливать своих лошадей! Заберутся с торбами в овес и обдергивают его всю ночь; это, по их, называется — *стараться.*

Дня три шел беспрерывный дождь, и сегодня только проглянуло солнце. Я вывела свой взвод на зеленый луг и летала с ним два часа, то есть занималась взводным ученьем; после этого людей отпустила домой, а сама поехала еще гулять; заезжала к В***, видела его *divinité*[1], которая теперь в женском платье и удивительно как похожа на кубарь; оттуда возвратилась в свое селение. Подъезжая к своей квартире, я

[1] божество *(фр.)*.

услышала какое-то хлопанье: наконец слышу голоса, умоляющие о помиловании. Ах, боже! это у меня наказывают палками! Кто ж это смеет? Я поскакала в галоп, и, когда вскакала на двор, К*** в ту ж минуту велел перестать и пошел ко мне навстречу: «Извини, Александров! я у тебя похозяйничал; твои уланы украли у жида восемнадцать гарнцев водки и спрятали на твоей конюшне в сено. Жида к тебе не допускали, так он приехал ко мне, и вот я все разыскал и наказал; не сердись, брат, нельзя было без этого».— «Как сердиться! напротив, я вам очень благодарен». Но досада кипела в душе моей. Что за проклятый народ эти уланы! Что за охота быть их начальником, когда перед моими глазами приезжают бить их!..

Вся наша жизнь здесь на границе проходит ни в чем; кто курит табак, кто играет в карты, стреляет в цель, объезжает лошадей, прыгают через ров, через барьер; но всего уже смешнее для меня наши вечерние собрания у того или другого офицера. Разумеется, что на этих собраниях дам нет. Несмотря на это, у нас раздается музыка, и мы танцуем одни; танцуем все — старые и молодые, мазурку, кадрили, экосезы; меня это очень забавляет. Какое удовольствие находят они танцевать без дам, особливо совершеннолетние!.. Я всегда танцую за даму.

Мы возвращаемся через Вильну обратно в Россию. Проходят дни за днями единообразно, монотонно; что было сегодня, то будет и завтра. Рассветает: играют *генерал-марш,* седлают, выводят, садятся, едут... и вот шаг за шагом вперед, к вечеру на квартирах. Ничто не нарушает спокойствия мирных маршей наших; не только что никакое происшествие, но даже ни дождь, ни ветр, ни буря, ничто не хочет разбудить спящего похода нашего! Мы идем, идем, идем, и — пройдем: вот и все тут.

Сегодня утром я обрадовалась... Стыдно бы мне это чувствовать и писать; но, право, обрадовалась, услыша плачевный вопль чей-то близ квартиры майора; по крайней мере, было для чего дать шпоры коню, прискакать, с участием спрашивать, разыскивать; я понеслась в карьер к квартире К*** и, увидя зрелище и смешное, и жалкое вместе, поспешила соскочить с лошади, чтобы остановить эту трагикомедию: май-

ор наказывал улана Бозье (которого товарищи его называют — Бозя); бедняк с первой палки возопил горестно, простирая руки к небу: *«O mon Dieu! mon Dieu!»* [1] — *«Я тебе дам, каналья, медю, медю!»* — говорил К***, стараясь принять сердитый вид, к которому, однако ж, комическое лицо его было несродно; но, впрочем, он в самом деле был раздосадован, и бедному *французу* досталось бы еще раз десять воскликнуть: *«o mon Dieu! mon Dieu!»* — а г-ну К*** столько же повторить свое: *«я тебе дам медю, медю»*, если б я не упросила его перестать. «Ну, лентяй, благодари этого офицера, а то бы, вместо трех палок, я дал бы тебе тридцать». — «Что он сделал, майор?» — «Не слушает, братец, никого! унтер-офицер приказал ему вычистить седло, амуницию и приготовиться на вести к полковнику, а он ничего этого не сделал».— «Да понял ли он приказание унтер-офицера?» — «Вот, прекрасно! понял ли! должен понять!..» Бесполезно было бы толковать с К***, я выпросила только, чтобы он отдал бедного *Бозье* ко мне в взвод, на что он охотно согласился, говоря: «Возьми, возьми, братец, мне до смерти надоел этот *немец!»*

Великие Луки. Мы пришли! мы на месте! это наши квартиры, и все кончено!.. Исчезли очаровательные картины чужих краев! чужих нравов! Не слышно более привета добродушных честных германцев! Нет восхитительных, чарующих вечеров польских! Здесь все так важно, так холодно!.. Попробуйте попросить стакан воды у крестьянина; с минуту он еще не тронется с места, пойдет лениво, едва двигаясь; наконец даст вам воду, и как только выпили: «две копейки за труд, барин!» Провались они совсем.

Наш эскадрон квартирует в какой-то *Вязовщине.* Какое гармоническое название! Сейчас можно подобрать рифму и очень приличную. Право, я от скучных квартир, от дымных изб, грязи, дождя, холодной осени сделалась такого дурного нрава, что на все досадую: на запачканных крестьян, зачем они запачканы; на крестьянок, зачем дурны собою, зачем отвратительно одеваются, еще отвратительнее говорят; например:

---

[1] о мой бог! мой бог! *(фр.)*

свеца, на пеце, соцыла. Проклятая! Кто подумает, что она *соцыла,* делала что-нибудь; ничего не бывало: это она *искала.*

Без смерти смерть стоять в этой *Вязовщине* без книг, без общества; лежать целый день на нарах, под облаками едкого дыма и слушать, как мелкий осенний дождь сечет в оконницы, затянутые или слюдою, или, что еще гаже, пузырем. О верх подлости!.. Нет, бог с ними, со всеми приятностями подобного квартирования; уеду в штаб.

Великие Луки. Здесь, по крайней мере, дым не ест глаз моих, и на свет божий смотрю сквозь чистые стекла! Всякий день приходит ко мне Г*** вспоминать счастливое время, проведенное в Гамбурге, и в сотый раз рассказывает о незабвенной *Жозефине,* о восхитительном вечере, в который она, приняв от него в подарок выигранные им тысячу луидоров, находила его весьма любезным целую неделю; но после двери ее всегда уже были заперты перед ним, и он, как влюбленный испанец, приходил с гитарою перед дом, где жила эта *драгоценность.* После нескольких романсов, вздохов и разного рода глупостей он простирал руки к безмолвной каменной громаде и восклицал, как Абелард... *прибежище девиц богобоязненных, честных!* И все это он рассказывал мне совсем не шуточно, но с тяжелыми вздохами и навернувшимися слезами... О сумасшедший, сумасшедший Г***!

ДВЕ НЕДЕЛИ ОТПУСКУ
1816

«Отто Оттович! отпустите меня в Петербург недели на две». *Штакельберг* отвечал, что этого нельзя теперь; время отпусков прошло и, сверх того, сам государь в Петербурге. «Впрочем, вы можете ехать с поручением»,— сказал он, подумав с минуту. «С каким, полковник? Если не выше моего понятия, так сделайте милость, дайте мне его».— «В полк не донято из Комиссариата холста, сапог, чешуи, кой-что из оружия, сбруи, да денег тринадцать тысяч; если хотите взяться все это принять и привезть в полк, так поезжайте, я дам вам предписание». — «Справлюсь ли я

с этим поручением, полковник? ведь я ничего тут не разумею».— «Да нечего и разуметь; я дам вам опытного унтер-офицера и рядовых, они все сделают; а вы должны будете взять только деньги тринадцать тысяч из Провиантского депо; ну, а на случай каких недоразумений посоветуйтесь с *Бурого,* он казначей; это по его части». — «Очень хорошо, полковник, я сейчас пойду к Бурого, спрошу его; и если обязанности этого поручения не выше моего понятия, то завтра же, если позволите, отправлюсь в Петербург».

От Бурого я не добилась никакого толку; на вопрос мой, что мне должно будет делать, если буду откомандирован за приемом вещей? он отвечал: «Соблюдать строгую *честность!»* — «Как это? растолкуйте мне».— «Не нужно никаких толкований: будьте честны! вот и все тут; другого совета и наставления я не могу дать вам, да и не для чего».— «А этот мне не нужен! чтоб быть честным, я не имею надобности ни в советах, ни в наставлениях ваших».— «Не хорохорься, брат! молод еще; не все случаи в жизни перешел; я знаю, что говорю: будь честен!»

Бурого упрям; я знала, что если уже он заладил: «будь честен, да будь честен!», то другого ничего уже и не скажет. Бог с ним! ведь Штакельберг сказал, что пришлет мне опытного унтер-офицера; еду на авось.

Петербург. Я приехала прямо к дяде на квартиру; он все на той же и все также доволен ею — смешной вкус у дядюшки! Квартира его на Сенной площади, и он говорит, что имеет всегда перед глазами самую живую и разнообразную картину. Вчера он подвел меня к окну: посмотри, Александр, не правда ли, что это зрелище живописное?.. Слава богу, что дядюшка не сказал — прекрасное! тогда я не могла б, не солгавши, согласиться; но теперь совесть моя покойна; я отвечала: «Да, вид картинный!» — прибавя мысленно: «только что картина фламандской школы...» Не понимаю, как можно находить хорошим что-либо неприятное для глаз! Что занимательного смотреть на толпу крестьян, неуклюжих, грубых, дурно одетых; окруженных телегами, дегтем, рогожами и тому подобными гадостями! Вот живая картина, всегда разнообразная, которою дядя мой любуется уже девять лет сряду.

Сегодня дают концерт в *Филармонической зале;* иду непременно туда. Я думаю, это будет что-нибудь очаровательное: оркестр из отличных музыкантов, как говорят. Я, правда, ничего не смыслю в музыке, но люблю ее более всего; она как-то неизъяснимо действует на меня; нет добродетели, нет великого подвига, к которым я не чувствовала бы себя способною тогда, как слышу эти звуки, которых могущества ни понять, ни изъяснить не могу.

Я сидела у стены, под оркестром, лицом к собранию; подле меня сидел какой-то человек в черном фраке, средних лет, важного и благородного вида.

Зала была наполнена дамами; все они казались мне прекрасными и прекрасно убранными; я всегда любила смотреть на дамские наряды, хотя сама ни за какие сокровища не надела бы их на себя; хотя их батист, атлас, бархат, цветы, перья и алмазы обольстительно прекрасны, но мой *уланский колет лучше!* По крайней мере, он мне более к лицу, а ведь это, говорят, условие хорошего вкуса, одеваться к лицу.

Дамы беспрестанно приходили, и ряды стульев все ближе подвигались к нам — ко мне и моему соседу. «Посмотрите, как они близко,— сказала я,— неужели мы отдадим им свое место?» — «Не думаю, — отвечал он, усмехаясь,— место наше для них неудобно».— «Вот еще ряд прибавился! Еще один, и они будут у самых колен наших!» — «А разве это худо?..» Я замолчала и стала опять рассматривать наряд вновь пришедших дам. Прямо против меня сидела одна в розовом берете и платье, сухощавая, смуглая, но приятная лицом и с умною физиономиею; ей, казалось, было уже лет тридцать; подле кресел ее стоял генерал *Храповицкий.* Не жена ль это его? Я смотрела на нее, не сводя глаз; в наружности ее проявлялось что-то необыкновенное... Наконец, я оборотилась к моему соседу: «Позвольте спросить, кто эта дама, в розовом, прямо против нас?» — «*Храповицкая*, жена этого генерала, что стоит подле ее кресел».— «Я что-то слышал...» Сосед не дал кончить: «Да, да, таких героинь у нас немного!..» Отзыв этот уколол мое самолюбие. «Кажется, была одна...» Меня опять прервали. «Да, была, но уж той нет, она умерла, не выдержала...» Вот новость! много раз случалось мне слышать собст-

венную свою историю со всеми прибавками и изменениями, часто нелепыми; но никогда еще не говорили мне в глаза, что я умерла! с чего взяли это? Как мог пронестись слух о смерти, когда я жива, лично известна царю... Впрочем, пусть думают так, может, это к лучшему... Пока мысли эти пролетали в голове моей, я смотрела на товарища, разумеется, не видя его; он тоже смотрел на меня и, казалось, читал мысль мою в глазах: «Вы не верите? я слышал это от людей, которые доводились ей роднею...» Я не отвечала. Могильный разговор этот испугал меня, и, сверх того, боялась, чтоб он не заметил, как близко это относится ко мне. До окончания концерта я не говорила с ним ни слова.

Сегодня минула неделя, как я приехала в Петербург, и сегодня надобно мне начать свое дело. Я пошла явиться к дежурному полковнику *Доброву;* название это очень прилично ему; у него такое приятное добродушное лицо. «Когда вы приехали?» — спросил он, лишь только я кончила обыкновенную нашу форменную *скороговорку,* которою мы уведомляем наших начальников, кто мы, откуда и зачем. Я отвечала, что более недели уже как я в Петербурге. «И теперь только явились! За это надобно вам хорошенько голову вымыть. Являлись вы к князю?» — «Нет еще!» — «Ну, как же это можно! приходите ко мне в восемь часов утра, я сам поеду с вами к князю».

От Доброва я пошла в Комиссариат. Управляющий *Долинский* думал, что я кадет, только что выпущенный из корпуса, и очень удивился, когда я сказала, что десять лет уже, как я в службе.

Уланы мои мастерски крадут; я, право, не увеличиваю; они всякий день говорят мне: сегодня столько-то, а сегодня столько-то, ваше благородие, приобрели мы экономии. Сначала я не понимала этого; но теперь уже знаю: они принимают холст на меру и тут же крадут его. Чудак Бурого! не это ли он разумел, когда твердил мне — *будь честен!* Вот забавно! я что тут могу сделать? Неужели проповедовать честность людям, которые ловкую кражу считают, как спартане, молодечеством? Мы говорим улану: старайся, чтоб лошадь твоя была сыта! Он перетолковывает это приказание по-своему и старается красть овес на полях.

Нет, нет, право, я не намерена хлопотать об этом вздоре; пусть крадут! Кто велел Штакельбергу давать мне такое поручение, о котором я не имею понятия? Он сказал, что даст мне опытного унтер-офицера! в добрый час! воровство пошло успешнее, как прибыл опытный унтер-офицер; теперь они говорят, что для всего лазарета достанет холста из экономии. Это я слышала, проходя мимо тюков, которые они увязывали; провались они от меня совсем, с холстом и с тюками! У меня голова заболела от таких непривычных упражнений: стоять, смотреть, считать и давать отчет.

Сегодня я пошла часу уже в одиннадцатом к своей скучной должности и, не находя большой надобности стоять именно там, где принимают вещи, прогуливалась по переходам, иногда останавливалась, облокачивалась на перилы и уносилась мыслями к местам, не имеющим ни малейшего сходства с Комиссариатом. В одну из этих остановок раздался близ меня повелительный возглас: «Господин офицер!» Я оглянулась; за мной стоял какой-то чиновник в мундире с петлицами на воротнике, сухой, высокий, лицо немецкое. «Что вам угодно?» — спросила я. «Которого вы полка?..» Я сказала. «Вы, конечно, за приемом вещей?» — «Да!» — «Как же вы смели начать приемку, не дав мне знать? Как смели не явиться ко мне?.. Изумленная таким вопросом от человека, который, казалось мне, был штатской службы, я отвечала, что обязан являться только своему начальству военному. «Я ваш начальник теперь! Ко мне извольте явиться, сударь! приказываю вам это именем князя! И почему вы не рапортуете мне о успехе вашей приемки? От вас одних я ничего не знаю, ничего не получаю!» — «И вас одних я совсем не понимаю!» — «Как, как! вы смеете так сказать мне! я доложу князю».— «Я и при князе скажу вам это же самое: я вас не понимаю; не знаю, кто вы, какие ваши права требовать от меня рапортов, отчетов, и почему я должен к вам явиться?..» Он утих: «Я советник П****! Князь поручил мне смотреть, чтобы господа приемщики не теряли времени попустому и чтоб приемка производилась безостановочно; для этого вы должны уведомлять меня всякий вечер, сколько чего принято. Теперь понимаете ли меня, господин офицер?» — «Понимаю».— «Итак, завт-

ра извольте явиться ко мне за приказаниями! этого я требую именем князя».— «Нельзя, завтра я должен быть у полковника Доброва и вместе с ним ехать к князю».— «Нет! Со мною должны вы ехать; я представлю вас князю».— «Помилуйте! с какой стати вы представите меня! Это должен сделать мой настоящий начальник, военный...» От этого слова П**** чуть не рехнулся: он кричал и что-то еще приказывал именем князя; но я уже не слушала и ушла от него к своим людям. Видя, что они оканчивают на сегодня свою работу, я возвратилась к дяде, которому и рассказала смешную встречу на переходах.

На другой день пошла я к Доброву, а оттуда вместе с ним к князю. Корпусный начальник наш принял меня, как и всякого другого; выслушал, кто я, зачем и откуда. Когда кончила, он, сделав легкую уклонку головою и не обращая более на меня никакого внимания, оставил на волю делать, что хочу: стоять, сидеть, ходить, остаться у него часа на два или сейчас уехать; я выбрала последнее и поехала в Комиссариат. Там я нашла людей своих уже за работою; они опять принимали, мерили, обманывали. Я никак не считаю себя обязанною знать толк во всем этом. Зачем дают такое поручение фрунтовому офицеру? Я не казначей, не квартермистр; если что-нибудь приму не так, пусть пеняют на себя.

Оправдываясь таким образом сама перед собою, пошла я к графу Аракчееву. Пока дежурный ходил докладывать, вошел какой-то штаб-офицер. Увидя свободную поступь мою в передней графа, он, видимо, обеспокоился, надулся и начал осматривать меня, меряя глазами с головы до ног. Я не замечала этого минут пять; но, подошед к столу, чтоб посмотреть книгу, которая лежала тут раскрытою, я случайно взглянула на него; этой непочтительности не мог уже он выдержать; на лице его изображалась оскорбленная гордость. Возможно ли, простой офицер смеет ходить, смеет брать книгу в руки! одним словом, смеет двигаться в присутствии штаб-офицера! Смеет даже не замечать его, тогда как должен бы стоять на одном месте в почтительной позитуре и не спуская глаз с начальника! Все эти слова отпечатывались на физиономии штаб-офицера, когда он с презрительною ми-

ною спрашивал меня: «Кто вы? что вы *такое?*» Приписывая странный вопрос его неуменью спросить лучше, я отвечала просто: «Офицер Литовского полка!» В эту самую минуту позвали меня к графу.

Говорят, что граф очень суров; нет, мне он показался ласковым и даже добродушным. Он подошел ко мне, взял за руку и говорил, что ему очень приятно узнать меня лично; обязательно припомнил мне, что по письмам моим выполнил все без отлагательства и с удовольствием. Я отвечала, что обязанностию сочла прийти к нему повторить лично мою благодарность за милостивое внимание. Граф простился со мною, уверяя в готовности своей делать все для меня угодное. Столько вежливости казалось мне очень несовместным с тем слухом, который носится везде о его угрюмости, неприступности, как говорят другие. Граф, может быть, только просто сердит иногда, в чем нет еще большой беды.

От графа пошла я к семейству N. N ***, которое любило меня, как родного. Они собирались ехать в театр: «Не хотите ли с нами? Сегодня дают *Фингала;* вы, кажется, любите трагедии?» Я с радостью приняла это предложение. В шесть часов приехали к ним две сестры Д***, сухощавые, старые девицы: «Ах, вы, верно, едете в театр!» — «Да; не угодно ли вам вместе с нами?» — «Не стесним ли вас?» — «Нисколько!..» В семь часов пришли сказать, что карета подана, и мы пошли, я могла бы сказать, что мы высыпались к подъезду; нас было ровно восемь человек, а карета двуместная! «Как же мы поместимся?» — спросила я с удивлением. «Это я улажу,— сказал N. N***, поспешно усаживая меня в карету,— садитесь, плотнее в угол!» Я подумала, что он мог бы и не давать мне этого совета, потому что остальные семь человек, верно, так плотно прижмут меня в этот угол, как бы мне и не хотелось, а я, на беду, взяла с собою плащ. Не знаю, каким непостижимым средством N. N*** усадил всех нас так, что сидели покойно, не измяли нарядов и не задохлись, хотя все мы были приличного роста и полноты, то есть не было между нами ни карлиц, ни скелетов. Хвала тактике твоей, почтенный N. N***, думала я.

В одно время с нами приехали к подъезду театра

два гвардейских офицера; одна из нашего общества дам была красавица, и, к несчастию, ей первой надобно было выйти из кареты; это обстоятельство поставило нас в критическое положение. Увидя прекрасную женщину, гвардейцы остановились посмотреть и были свидетелями смешного зрелища, как неоканчаемая процессия тянулась из двуместной кареты и наконец заключилась уланом, закутанным в широкий плащ.

Этот вечер смешно начался и смешно кончился: *Фингал* превосходная трагедия, но сегодня к концу действия непредвиденный случай вмиг превратил ее в комедию. Трагик, обыкновенно игравший Фингала, заболел; роль его отдали другому, для которого она была нова еще; он играл ее натянуто и торопливо; но представлявший Старна был настоящий Старн! Игра его возбуждала и участие, и удивление вместе; каждому казалось, что видит не актера, но точно царя и отца оскорбленного. Надобно думать, что превосходство игры его смущало бедного Фингала; он приходил в замешательство!.. В то самое мгновение, когда Моина должна была вбежать на сцену, смешавшийся Фингал, спеша схватить меч Оскара, толкнул как-то неловко Старна и оторвал ему бороду!.. В секунду ярый гнев старого царя утих... Партер захохотал; Моина, вбежав, остановилась, как статуя, и занавес опустился.

Вечером Долинский сказал мне, что П**** жаловался князю. «За что?» — спросила я. «Первое, что вы не явились к нему; а второе, что, вместо рапортов, пишете просто записки, сколько чего принято».— «Что ж князь?» — «Ничего, промолчал». Иначе не могло и быть; П**** вздорно жалуется; об приеме вещей, кажется, никогда не уведомляют рапортами. И что за странный человек! Как он не может понять, что не вправе ожидать этого от военного офицера...

Мне велено явиться завтра в *ордонанс-гауз* в пять часов утра. Весело мне будет идти ночью, не зная дороги и не имея у кого спросить. В этот час здесь глубокая ночь.

Меня разбудили в четыре часа; я оделась. «Что ж я буду делать, дядюшка? Как найду ордонанс-гауз? Не можете ли рассказать мне?» — «Очень могу, вот

слушай...» Дядя зачал рассказывать мне весьма подробно, продолжительно и столько употреблял старания дать мне ясное понятие о моей дороге, что я именно от этого ничего и не поняла. Поблагодарив дядю за труд, я пошла на авось. Проходя мимо Гостиного двора, вздумала я перейти ближе к лавкам под крышу и только что хотела перешагнуть веревку, протянутую вдоль лавок, как страшное рычание собаки остановило меня и заставило отскочить на середину улицы. Путешествие мое в четыре часа утра по пустым улицам Петербурга, и к цели которого я не знала, как достигнуть, было бы очень занимательно для меня, если б не тревожил страх опоздать или и совсем не прийти к назначенному времени. Из всего продолжительного рассказа дяди я помнила только, что надобно идти мимо Гостиного двора; но ведь Гостиный двор имеет конец, куда ж тогда? Я подходила уже к последней лавке и хотела было направить путь свой прямо к дворцу, полагая, что такие места, как ордонанс-гауз, верно, находятся недалеко от него; итак, узнаю от часового. Стук дрожек заставил меня тотчас оставить все планы; это был экипаж извощичий; я остановила его, и кучер, не дожидаясь моего вопроса, спросил сам: «В ордонанс-гауз, барин?» — «Да!» — «Извольте, садитесь... Я сейчас только отвез туда офицера».— «Ступай же скорее!» И вот все, что было романического в вояже моем в глубокую *декабрьскую* ночь по опустевшим улицам обширного города в полном вооружении и имея в виду найти дом, к которому не знала дороги; и все это вмиг исчезло; теперь я обыкновенный офицер, поспешно едущий на извощичьих дрожках в ордонанс-гауз; место менее всего в свете романическое, и где получу какое-нибудь приказание, сказанное тоном сухим и повелительным. «Ступай, пожалуйста, скорее! далеко еще?» — «А вот здесь»,— сказал извощик, останавливая лошадь у подъезда огромного дома, над дверьми которого была черная доска с надписью: *«Ордонанс-гауз»*. Я взбежала по лестнице и вошла в залу; тут было множество офицеров пехотных и кавалерийских. За столом сидел адъютант и что-то писал; в камине горел огонь, я села близ него в ожидании развязки. Из офицеров никто не го-

ворил один с другим, но все в молчании или ходили по зале, или стояли у камина, смотря задумчиво на огонь, как вдруг эта сонная сцена оживилась; вышел *Закревский:* «Господа! — по этому слову все офицеры встали в шеренгу.— Кавалерия, вперед, на правый фланг!» И вот мы, в числе четырех: кирасир, два драгуна и один улан, стали на правом фланге прямо перед лицом Закревского, он взглянул на меня очень внимательно раза два, пока отдавал нам свое приказание: «Явиться к командиру конногвардейского полка *Арсеньеву!»* Наконец нам объявили подробнее, что в конной гвардии обмундируют наших рядовых с какими-то переменами; мы выслушали и разъехались: кавалеристы домой, а покорные пехотинцы отправились прямо к Арсеньеву. Я узнала это потому, что у подъезда они, сговариваясь идти туда, спросили и нас: «А вы, господа, пойдете с нами?» — Сегодня мне некогда»,— отвечала я.

Я послала Рачинского в канцелярию конногвардейскую для примерки какого-то нового мундира. По возвращении он сказал мне: «Велено вашему благородию явиться самим туда».— «Куда?» — «В швальню к маиору *Шаганову».* Наскучили мне все эти затеи! насилу я развязалась с ними. Была только один раз у Арсеньева и сказала Шаганову, что буду присылать к нему улана; что мне вовсе не нужно присутствовать при этом и что я имею совсем другое поручение от своего полка. Сказав это, я ушла.

Завтра отправляюсь в полк; *две недели отпуска* миновали! Я провела их скучно: с утра до вечера в мундире, затянута, становясь во фронт, получая извещения — явиться туда! явиться сюда! Никогда более не поеду в такой отпуск.

ПОЕЗДКА НА ИЖЕВСКИЙ ОРУЖЕЙНЫЙ ЗАВОД

Я не знала, как употребить время своего четырехмесячного отпуска; в уездных городах мало средств проводить его приятно, а особливо зимою: бостон, вист, вист, бостон; пирог, закуска; закуска. пирог; вот все способы избавиться того *лишнего часа,* который найдется почти у всякого из нас. Для ме-

ня ни один из этих способов не годился; карт я не люблю, а пирог и закуска хороши только на полчаса. С месяц я прожила, однако ж, не скучая, пока было что говорить с отцом, братом, сестрами; пока было где ходить в лесах, по тропинкам, то взбираться на горы, то спускаться в овраги; наконец, узнав все места верст на двадцать кругом; переговоря все, и забавное и страшное, и важное и смешное, и даже перечитав все ужасы Радклиф, увидела я, что не только один, но и все мои часы сделаются *лишними;* а отпуска оставалось еще два месяца; уехать прежде срока было бы странно; да и что-то не в обыкновении. Итак, я решилась спросить батюшку, не позволит ли он мне поехать куда-нибудь недели на две. С первых слов снисходительный отец мой согласился: «Ты хорошо вздумал, друг мой,— сказал батюшка,— в соседстве у нас Оружейный завод, поезжай туда. Начальник его, генерал *Грен*, мне хороший приятель; там прекрасное общество, составленное из людей образованных, хорошо воспитанных; у них свой театр, музыка; у многих отборная библиотека; поезжай с богом, я позволяю тебе пробыть там праздник Рождества и Новый год. Когда ты хочешь ехать?» — «Завтра, если позволите».— «Пожалуй, но успеешь ли? Ведь надобно достать повозку, у меня дорожной нет».— «У Казанцова есть готовая, недавно сделана; я куплю ее».— «А что он хочет за нее?» — «Триста рублей».— «Вели привезть, надобно посмотреть...» Я послала за повозкой; батюшке и мне показалась она стоящею гораздо более той цены, которую спросил Казанцов, и я в ту ж минуту отдала деньги. На другой день после завтрака я обняла и перецеловала всю мою семью поодиночке; с чувством прижала к сердцу руки добрейшего из отцов, поцеловала их обе и, сказав всем еще раз «прощайте», бросилась в повозку. Вся тройка, давно уже дрожавшая и от холоду, и от нетерпения, взвилась на дыбы, рванула с места разом, полозья завизжали, и повозка понеслась вихрем по дороге, углаженной и скованной морозом в тридцать градусов.

В одиннадцатом часу подъехала я к воротам полковника *Цеддельмана.* Это был старый знакомец отца моего. На осведомление мое, можно ли у них

остановиться, отвечали радостным криком две его свояченицы, молодые девицы, которых я любила без памяти; они обе выскочили на крыльцо, схватили с плеч моих шинель, бросили ее человеку в руки и умчали меня с собою в комнаты. Прошло четверть часа, прежде, нежели Цеддельман мог обнять меня, спросить о здоровье отца и предложить свое радушное гостеприимство. *Наталия* и *Мария* не выпускали меня из рук; они то обе вдруг говорили, то одна другую перебивали, так что я не знала, которую слушать. «Да перестаньте! вы одурите его,— говорил Цеддельман, смеясь и стараясь высвободить меня из рук их;— дайте же мне поздороваться с ним...» Наконец радостный восторг моих приятельниц утих несколько; и как они сидели уже за столом, когда я приехала, то, пригласив меня ужинать, сели опять за стол. В продолжение ужина рассказали мне по порядку весь быт разных увеселений на заводе; главное был театр. «Кто же у вас актеры?» — спросила я.— «Сын генерала и много других чиновников».— «А дамы играют?» — «Ни одна».— «Кто ж играет женские роли?» — «Иногда практиканты, иногда берут кого-нибудь из генеральской канцелярии».— «И они хорошо играют?» — «Ну, как удастся; у нас отлично играются мужские роли, потому что молодой *Грен, Смирнов* и *Давыдов* — такие актеры, каких редко можно видеть на сцене, даже и в столице».— «Какого рода пиесы предпочтительно играются?» — «Комедии и оперы».— «Оперы?» — «Да! и какие оперы! какие голоса! какая музыка!» — «Вот, право, это любопытно видеть; я в восхищении, что вздумал сюда приехать. Часто у вас даются представления?» — «Два раза в неделю».— «Молодой Грен женат?» — «Женат, на красавице...» После ужина Наталия и ее подруга хотели было еще много рассказывать мне о разных происшествиях в их маленьком царстве; но Цеддельман увел их обеих, говоря: «До завтра, до завтра! не все вдруг; дайте ему и самому что-нибудь увидеть... Я надеюсь, вы у нас погостите?» — «Пока не наскучу вам».— «В таком случае вы останетесь у нас на всю жизнь. Вот ваша комната, желаю вам покойного сна». Я осталась у дверей, пока Цеддельман и обе девицы, перешед залу, скрылись в противопо-

ложную комнату. Тогда, отворя дверь своей комнаты и ожидая найти в ней и тепло, и светло, я очень удивилась, не найдя ни того, ни другого; из отверстой двери несло на меня холодом Гренландии, и во тьме ее белелись только окна, замерзшие, на вершок толщиною. Изумление мое в ту ж секунду было прервано приходом моего человека с свечою в одной руке и жаровнею в другой. «Разве здесь нет комнаты теплее этой? тут, кажется, все равно, что на дворе».— «Что делать, сударь. Эту комнату натопить нельзя; ее всегда отдают гостям, не потому, чтоб хотели их заморозить, но потому, что она всех других приличнее для них: отдельна от спален хозяев, примыкает к зале, имеет лучшую мебель и особливый ход; весь ее порок, что холодна, как собачья конура в зимнюю ночь». Слушая этот вздор моего человека, я вошла в комнату. Постель мне была сделана из мехов волчьих и медвежьих; человек поставил жаровню и на нее небольшой тазик с спиртом, который он тотчас и зажег: «Вот, сударь, сию минуту будет тепло на целые полчаса; этого довольно, чтобы раздеться и лечь, а там уже вам будет и жарко между таким множеством шуб...» В самом деле, воздух тотчас начал согреваться. Я подошла к постели, желая рассмотреть это ложе из звериных кож; подняла верхний мех и очень удивилась и обрадовалась, увидев на самой средине волчьего меха премиленького щеночка недель шести; он спал, свернувшись клубком. Оборотясь к человеку, чтобы спросить, откуда взялось это прекрасное маленькое животное, я заметила на лице его какую-то глупо-торжественную мину, по которой сейчас угадала, что это он сделал мне такую нечаянность. «Где ж взял ее?» — спросила я. «На улице; его мучили мальчишки и бросили; он начинал уже мерзнуть и чуть полз, когда я увидел его и тотчас взял. Если вам неугодно, так позвольте мне удержать его у себя».— «Нет, пусть останется у меня...» — Я отослала человека, разделась и легла спать, взяв прежде на руки миленькую тварь, кроткую, беззащитную и одаренную от природы такою способностью любить, какой люди никогда не достигнут, несмотря ни на какие свои утонченности в чувствованиях...

Человек правду сказал, что мне будет жарко от

шуб: я спала не более получаса и проснулась от визга миленького щенка; он упал с постели. Подняв его, я опять положила к себе под шубу; но ему, как и мне, сделалось нестерпимо жарко; он выполз наверх, растянулся на коже и дышал тяжело, хотя в горнице было до крайности холодно; видно, ему хотелось пить, и к тому ж теплота его природной шубы с теплотою мехов сделали ему жар нестерпимым; он метался по постели, падал с нее, ходил по полу и визжал; я всякий раз вставала, искала его ощупью под кроватью, опять ложилась и наконец совсем не рада стала своему приобретению. Поутру я, дрожа, одевалась в своей Лапландии и торопилась так, как никогда еще ни в каком случае не торопилась. Окончив в пять минут весь свой наряд, схватила я на руки своего маленького товарища и пошла к семейству Цеддельмана; все они были уже за чайным столом. «Это что за прелесть! — вскричали обе девицы, как только увидели мою собачку; — где вы взяли ее? неужели с собою привезли? что вчера не сказали нам? где она была?» — «Это бесприютная сирота, была вчера осуждена на смерть вашими уличными повесами; но судьбе не угодно, и вот она очутилась на моей постели в средине той полдюжины мехов, из которых она была составлена».— «Да, кстати, о мехах, было вам тепло?» — «Посереди мехов, пока лежал, разумеется, было не только тепло, но даже душно; а каково было тогда, как пришлось вставать и одеваться, так уже этого рассказать словами нельзя и надобно испытать».— «Как! да ведь мы приказали нагреть вашу комнату спиртом, пока вы еще лежите в постели».— «Ну так, видно, я не дал времени исполнить ваше приказание; я никогда не лежу в постели, проснувшись, и тотчас встаю и одеваюсь». Цеддельман прекратил пустой разговор наш, спрося меня, не хочу ли я ехать с ним к генералу? «Очень охотно, любезный полковник, поедемте!» — «А я возьму покамест вашего красавчика под свой присмотр,— сказала Мария и взяла у меня из рук собачку,— ее надобно вымыть»,— говорила она, унося ее.

Нам подали сани, которые здесь зовутся *пошевнями;* экипаж довольно бедный и неприятный для глаз, по крайней мере, для моих. На облучке сидел

татарин с сердитым лицом; он взглянул на нас обоих с выражением ненависти; мы сели. «Что ваш кучер так пасмурен, не болен ли?» — «О, нет! это обыкновенное выражение его физиономии; у него только вид такой, а на самом деле он очень добрый человек. Люблю этот народ! Татары во многих отношениях лучше наших...» Цеддельман сел на своего конька; он имел какое-то смешное пристрастие к татарам и, принимаясь хвалить их, нескоро оканчивал свой панегирик. Между тем мы ехали самою тихою рысью. «Все это так, почтенный полковник, но для чего мы едем почти шагом? теперь двадцать пять градусов морозу; так, вместо этого парадного шествия, нельзя ли приказать пролететь вихрем».— «Что вы! боже сохрани! *Шарын* придет в отчаяние да и просто не послушает: он любит лошадей более всего, что только может любить человек...» Я молчала; до квартиры генерала было еще далеко, а мороз нестерпим; я решилась без согласия Шарына и Цеддельмана понуждать лошадей к бегу и стала щелкать ртом и цмукать, как то обыкновенно делают, чтобы придать живости лошадям. Средство это было успешно: лошади пустились большой рысью; пристяжная начала свиваться кольцом и подпрыгивать. «Что это, что это? держи, Шарын! Да держи, братец!..» Я перестала, но когда Шарын удержал лошадей, то опять принялась за свой маневр, и опять то же действие... «Не понимаю, что сегодня с моими лошадьми! отчего они несут?» — говорил Цеддельман. Шарын злился и ворчал что-то, упоминая *шайтана!* Он нисколько не подозревал, что этим шайтаном была я. Ни Шарыну, ни Цеддельману нельзя было слышать тех подстреканий, которые я делала их лошадям: первый был глух, а последний слишком закутан. Наконец, щелкая и цмукая, бранясь и удивляясь, прыгая и извиваясь, долетели мы все к подъезду генерала.

Старый *Грен* принял меня очень ласково. Он был один из тех прямодушных, снисходительных и вместе строгих людей, которых служба так полезна государству во всех отношениях. Они обыкновенно исполняют свои обязанности усердно и в точности; имеют обширные сведения по своей части, потому что неусыпно вникают во все, что к ней относится; бывают лю-

бимы подчиненными, потому что исправляют их, наказывают и награждают отечески; уважаются правительством, потому что служат твердою подпорою всем его распоряжениям; таков был и старый Грен, и к этим достоинствам присоединял еще качества радушного хлебосола. «А, здравствуй! здравствуй, небывалый гость! — говорил он, обнимая меня.— Здоров ли твой батюшка? не стыдно ли тебе давно не приехать ко мне?.. Петя! Петя,— кричал он сыну,— что у нас завтра на театре? — «Опера», — отвечал молодой Грен. «Какая?» — *«Мельник».*— «Роли все разобраны?» — «Все».— «Жаль! а я было хотел, чтоб и ты поступил в нашу труппу»,— говорил Грен, обращаясь ко мне с усмешкою. Я отвечала, что охотно возьму какую-нибудь роль в комедии. «Ну, вот и прекрасно! Какая пиеса дается в воскресенье?» Сын его отвечал, что будут играть *Недоросля.* «О, тут такое множество лиц! есть из чего выбрать...» Молодой Грен очень вежливо предложил мне выбрать себе любую роль: «Я прикажу ее списать для вас, потому что надобно вытвердить к репетиции». Я спросила, какую он сам обыкновенно играет? *«Кутейкина».* Я не могла не засмеяться, представляя себе этого прекрасного и статного молодого офицера в дьячковском балахоне и с пучком на затылке. «Ну так я возьму *Правдина».* Грен засмеялся в свою очередь.

Возвратясь к Цеддельману, первою заботою было осведомиться о моем найденыше. Я не узнала его, так он сделался прелестен после купанья: шерсть его длинная, мягкая, блестящая была бела, как снег, кроме ушей, которые были темно-бурого цвета; мордочка остренькая, глаза большие, черные и вдобавок — прелесть необыкновенная — черные брови. В это время ее только что вынули из шубы, где она спала завернутая; и как ей было жарко, то она, чтоб свободнее дышать, разинула свой маленький рот, и розовый язычок ее вместе с черными глазами, бровями и носиком делал ее столько очаровательным творением, что я не могла насмотреться, не могла налюбоваться ею и целый день носила на руках. «Какое ж имя дадите ей?» — спрашивали меня обе девицы. «Амур, разумеется; разве можно назвать иначе такую красоту!»

Я провела у Цеддельмана три недели и во все это

время была самым исправным истопником его. Я спала всегда в той же холодной горнице, которую, по невозможности натопить, перестали совсем топить; натурально, что после вставания и одевания в таком холоде я целый день не могла уже согреться и потому целый день заботилась, чтоб печи были хорошо вытоплены и жарко закрыты. Последнее обстоятельство было строго запрещено самим Цеддельманом; ему все казалось слишком тепло, хотя дом его был самый холодный и даже прославился этим качеством между всеми другими домами. Доказательством этому служило и то, что жена его и обе сестры ее ходили с утра до вечера в теплых капотах. Забавно было видеть, как Цеддельман ходил от одной печи к другой, прикладывал руку к душнику и с восклицанием: «Ах, боже мой! как нажарили!!» поспешно закрывал его; а я ходила за ним следом и в ту ж минуту открывала. Всякий вечер он подтверждал работнику: *топить меньше*, и всякое утро этот работник получал от меня на водку, чтоб *топил больше,* и, разумеется, просьба и деньги брали верх над угрозою и приказанием. Цеддельман говорил, что он не знает, куда деваться от жару, и что совсем не может понять, какой бес овладел его работником, который, несмотря ни на какие запрещения, топит его печи не на живот — на смерть.

В продолжение этих трех недель щенок мой немного подрос и сделался еще красивее; разумеется, он был со мною неразлучно, исключая когда ездила в театр или к генералу, я отдавала его на руки одной из женщин Цеддельмана и просила ее, чтоб она не ласкала его и не кормила без меня. Мне хотелось, чтоб никто никаких прав не имел на любовь моего Амура и чтоб эта любовь вся принадлежала одной мне. Впрочем, я брала свои меры, чтоб собачка моя не нуждалась ни в чьем снисхождении; прежде нежели уехать со двора, я кормила ее досыта, играла с нею, ласкала и наконец укладывала на постель, и, когда уже она засыпала, я оставляла ее на попечение Анисьи.

Вместе с окончанием праздников, святочных игр, танцев, репетиций и представлений наступило время возвратиться домой. Назначив день своего отъезда на завтра, я поехала к генералу, чтоб провесть у него весь этот день. «Зачем ты так скоро хочешь ехать?» —

спросил меня добродушный Грен. «Батюшке будет скучно так долго не видеть меня».— «Ну, так с богом! против этого нечего сказать...» Прощаясь со мною, генерал примолвил, что хочет подарить мне вещь, которая, он знает, будет мне очень драгоценна. По приказанию его человек принес стальной молоток отличной работы. «Вот, Александров,— сказал генерал, подавая мне его,— дарю тебе этот молоток; ты согласишься, что я не мог ничего дороже этого подарить тебе, когда узнаешь, что он был сделан для императора Александра...» Я не дала кончить, схватила молоток, поцеловала и прижала к груди. «Нет слов выразить вам мою благодарность, генерал, за такой подарок».— «Не хочешь ли узнать, по какому случаю вещь эта не достигла своего назначения и, будучи сделана для могущественного монарха, достается теперь его *protégé?»* [1] — «Сделайте одолжение, объясните! Вы сверх заслуг моих милостивы ко мне, генерал!» — «Ну, так слушай: государь император располагался осмотреть сам наши заводы; в этих случаях высокому посетителю показываются обыкновенно все работы, в действии которых и он берет участие; вот для этого и был сделан молоток, чтобы государь ударил им несколько раз по раскаленной полосе железа; после чего кладут на молоток штемпель с означением времени этого события и хранят уже его на все грядущие времена в воспоминание и приезда и труда августейшего отца России. Но как этот молоток вышел не так хорош, каким бы должен быть, то я велел сделать другой, а этот лежал у меня и вот долежал до того, что наконец достался в руки человека, которым царь-отец любим несравненно более, нежели другими». Поблагодарив генерала еще раз за подарок, за рассказ, радушный прием и отеческую любовь ко мне, я простилась с ним, надобно думать, навсегда.

Я застала батюшку занятого отправлением почты и, хотя знала, что он не любил, когда ему мешали в это время, однако не могла удержаться, чтоб не положить перед ним молоток. Батюшка вздрогнул от нечаянности и хотел было рассердиться, но, увидя, что это я, удовольствовался только сказать: «Эх, улан,

---

[1] протеже, т. е. тот, кто пользуется покровительством *(фр.)*.

когда ты будешь умнее! кстати ли пугать старого отца». — «Мне это и в голову не приходило, любезный батюшка; напротив, я хотела вас обрадовать. Знаете ли, какой это молоток?» — «После расскажешь, теперь некогда мне слушать; поди к сестре...» Я пошла было. «Возьми же молоток». — «Нет, батюшка, пусть он лежит перед вами! это драгоценность! вы после узнаете». Батюшка махнул рукою, и я побежала к сестре с моим *Амурчиком,* которого тотчас и положила ей на колена. — «Ах, какая прелесть! что за прекрасная собачка! Верно, это подарок для меня», — говорила *Клеопатра*, лаская очаровательного Амура. «Нет, сестрица, извини! его уже никому и на за что не отдам; он поедет со мною в полк». — «Как можно!» — «Да, непременно». — «Ну, так возьмите же его от меня; нечего и ласкать то, что не будет моим». — «Да таки и не советую, я приревную». — «От вас это не новость; вы всегда хотите исключительной привязанности». — «А кто ж этого не хочет?..» Сестра замолчала и немножко надулась; я взяла свою собачку и отправилась к себе в комнату ждать окончания батюшкиных хлопот.

Выслушав историю *молотка,* отец взял его к себе и сказал, что эта вещь слишком драгоценна, чтобы он позволил мне таскать ее везде с собою, что она останется у него. Нечего делать, надобно было уступить. Я поглядела еще раз на блестящую, гладко полированную рукоять, которой назначение сначала было так велико, и отдала ее в руки отца, говоря, что мне очень приятно видеть его владетелем этой вещи.

С каждым днем более привязывалась я к моему Амуру. Да и как было не любить его! Кротость имеет неодолимую власть над нашим сердцем даже и в безобразном животном; но что же тогда, как самое доброе, самое верное и вместе самое лучшее из них смотрит вам в глаза с кроткою покорностью, следит все ваши движения, дышит только вами, не может ни минуты быть без вас, которое отдаст за вас жизнь свою. Будьте к нему несправедливы, побейте его напрасно, жестоко, хоть даже бесчеловечно; оно ложится у ног ваших, лижет их и, нимало не сердясь на вашу жестокость, ожидает одного только ласкового взгляда, чтобы кинуться к вам на руки, обнимать вас лап-

ками, лизать, прыгать. Ах, добрейшее и несчастнейшее из животных! ты одно только любишь так, как нам всем велено любить, и одно только ты терпишь более всех от вопиющей несправедливости людей: имеет ли кто подозрение, что в пищу его положен яд, дают эту пищу собаке съесть, чтоб в том увериться!.. Состарелась собака при доме своего хозяина, служа ему, как назначила ей природа, он меняет ее на молодую. А что сделает тот, кто ее выменяет? убьет, разумеется, для кожи! Худо ловит борзая: повесить ее! За что ж все это, за что? Бедственная участь собаки вошла даже в пословицу, хотя из всех животных она одна только любит человека. Лошадь, благородное животное, расшибет лоб своему всаднику весьма равнодушно; кошка выцарапает глаза; бык поднимет при случае на рога, как бы их ни кормили, как бы ни ласкали. Один только беспримерный друг человека собака за черствый кусок хлеба остается ему и верна, и привержена по смерть. Случалось иногда, по безумию, мне самой непонятному, наказывать моего кроткого, незлобивого Амура. Бедняжечка! как он вился около ног моих, ложился, ползал и наконец садился на задние лапки, смотря на меня своими прекрасными черными глазами с таким выражением покорности и печали, что я почти со слезами укоряла себя в несправедливости; я брала его на колени, гладила, целовала, и он в ту ж минуту начинал опять играть. Никогда ни на одну минуту не разлучалась я с моим Амуром. Где б я ни была, он всегда или лежал подле меня на полу, или сидел на окне, на стуле, на диване, но непременно подле меня и непременно на чем-нибудь мне принадлежащем, например на платке, перчатках, или же на шинели. Без этого он не был покоен.

Однажды на рассвете я выпустила его из горницы и дожидалась, пока он опять попросится в комнату; но прошло четверть часа, его нет. Я этим очень обеспокоилась и пошла искать его по двору: нет нигде! звала — нет! Смертельно испугавшись, послала человека искать его по улицам; целый час прошел в мучительном ожидании и тщетных поисках. Наконец собачка моя пришла и села за воротами. Услышав лай ее, я выглянула в окно и не могла не рассмеяться,

увидев, что она, как большая, подняла мордочку кверху и завыла. Но я дорого заплатила за этот смех! Сердце мое и теперь обливается кровью при воспоминании этого воя! это было предчувствие... Я взяла беглеца моего в горницу и, видя, что он весь мокр от росы, положила его на подушку и закрыла своим архалухом; он тотчас заснул; но увы! не спала его злая участь. Через час я оделась и хотела, по обыкновению, идти гулять. Что-то говорило мне, чтоб я шла одна... Но когда ж мы слушаем тайных предостережений! они так тихи, так кротки... Я сняла архалух с спящей собачки: «Пойдем гулять, Амур!» Амур вскочил и запрыгал. Мы пошли; он бежал передо мною.

Через час я уже несла его на руках, бледная, трепеща всеми членами. Он еще дышал; но как!! Дух проходил в две широкие раны, сделанные зубами чудовищной собаки. Амур умер на руках моих... С того времени мне часто случалось и танцевать всю ночь, и смеяться много, но истинного веселия никогда уже не было в душе моей: оно легло в могилу моего Амура... Многие найдут это странным; может быть, и хуже, нежели странным... как бы то ни было, но смерть моего маленького друга выжимает невольные слезы из глаз моих среди самых веселых собраний. Я не могу забыть его!..

Сегодня я уезжаю. Батюшка, прощаясь со мною, сказал: «Не пора ли оставить меч? я стар; мне нужен покой и замена в хозяйстве; подумай об этом». Я испугалась такого предложения!.. Мне казалось, что вовсе не надобно никогда оставлять меча; а особливо в мои лета,— что я буду делать дома! Так рано осудить себя на монотонные занятия хозяйства! Но отец хочет этого!.. Его старость!.. Ах, нечего делать. Надобно сказать всему прости!.. и светлому мечу, и доброму коню!.. друзьям!.. веселой жизни!.. учению, парадам, конному строю!.. скачке, рубке... всему, всему конец!.. Все затихнет, как не бывало, и одни только незабвенные воспоминания будут сопровождать меня на дикие берега Камы; в те места, где цвело детство мое; где я обдумывала необыкновенный план свой!!

Минувшее счастие!.. слава!.. опасности!.. шум!.. блеск!.. жизнь, кипящая деятельностию!.. *прощайте!*

ДОБАВЛЕНИЕ К «КАВАЛЕРИСТ-ДЕВИЦЕ»

НЕКОТОРЫЕ ЧЕРТЫ ИЗ ДЕТСКИХ ЛЕТ

«Вот и еще рассвет семнадцатого сентября!.. и все еще он алеет за Камою!.. все еще я дома!.. Все еще в белом платье девическом!..» Так думала я на заре того дня, в который исполнилось мне четырнадцать лет.

Когда я оделась, чтоб идти в церковь, матушка позвала меня. В этот день я не ожидала брани, однако ж голос ее произвел на меня обыкновенное свое действие: я испугалась.

Веселый вид матери успокоил меня: она ласково дала мне поцеловать свою руку и поздравила со днем именин, но заметя, что я беспрестанно смотрю на свой розовый кушак: «Долго ль твердить тебе, что ты не имеешь права на самолюбие?.. Красивая розовая лента не имеет ничего общего с тобою!.. Она красива сама по себе и тебе ничего не придает!..» Я покраснела. «Пора тебе идти в церковь. Ступай, да, пожалуйста, смотри на образа, а не на свою ленту».

День прошел в играх с моими подругами; и как этого года у нас была дивная осень, ничем не хуже весны, то нам позволено было идти гулять на Старцову гору.

Казалось, я хотела наверстать принуждение целого года, потому что бегала во весь дух; скакала, как дикая коза; разбегалась с горы и перескакивала кусты вереса, по нескольку, один за другим. Подруги мои не могли и подумать поравняться со мною в этом удальстве. Чтоб позабавиться их страхом, я прибегала на самый край стремнины, становилась на нем одною ногою, держа другую на воздухе. Вопль ужаса

раздавался за мною, и нянька, которая водила с нами маленькую сестру мою, почти со слезами просила меня оставить такие страшные штуки. «Перестаньте, матушка барышня!.. вспомните, что ведь уж вам четырнадцать лет!.. кстати ли будет вам упасть с горы; а если еще, чего боже сохрани, изломаете ручку или ножку, что тогда делать?» Но я была глуха к доводам доброй Марьи: вечное заключение в горнице и проклятая кружевная подушка делали для меня день моей свободы чем-то волшебным, то и резвость моя по этой причине доходила до степени совершенного сумасбродства.

Наконец, устав прыгать и бегать, уселись все мы на траву есть пироги и лакомства, которых матушка дала нам в изобилии. По окончании нашего полдника, нам должно было возвратиться домой. Чтоб окончить этот день какою-нибудь шалостью знаменитою, спешила я пройти мысленно все свои резвости в Малороссии и вспомнила, что, живши там, случалось мне иногда находить змею, на которую я в ту же секунду наступала ногою, наклонялась, брала ее осторожно рукою за шею, близ самой головы, и держала, но не так крепко, чтоб она задохлась, и не так слабо, чтоб могла выскользнуть. С этим завидным приобретением я возвращалась в комнаты бабушки и когда ее не было дома, то бегала за *Гапкою, Хиврею, Виндею, Мартою* и еще несколькими, таких же странных имен, девками, которые все хотя были гораздо старше меня, но с неистовым воплем старались укрыться куда попало от протянутой вперед руки моей, в которой рисовалась черная змея!.. В настоящем смысле рисовалась, потому что она то яростно шипела, выставляя что-то изо рта, то очень картинно обвивала хвостом мою руку, обнаженную до локтя, то опять развивала и махала им в воздухе.

Избегав весь дом по всем углам, заставя всех кричать столько, сколько у кого было голоса, я уходила в сад и в ту минуту, как хвост змеи, оставляя мою руку, колебался в воздухе, бросала ее вдруг на землю и вмиг убегала.

Теперь, вспомня эту приятную забаву, я от души жалела, что холодный климат наш вовсе неблагоприятен для змей и что у нас их почти нигде и никогда не

видно. Приходилось эмблему вечности заменить лягушкою, которой одна из подруг моих смертельно боялась; но как гадина эта казалась мне слишком уже гадка, чтоб взять ее в руки, а, сверх того, и не было ее наготове, а полдник наш приходил к окончанию, искать ее было некогда, то я и решилась подняться на хитрости.

Как только мы кончили нашу полевую трапезу и нянька, приказав людям убирать все, сказала нам: «Теперь пора домой, барышня! маменька приказала, чтоб к пяти часам вы были дома», я отбежала шагов двадцать от места нашего пированья и, ухватя черный засохший листок, показала его издали Аннете, говоря: «Посмотри, Аннета, вот лягушка!»

Аннета помертвела, закричала и, как стрела, полетела на большую дорогу, прямо к заставе города; все кинулось за нею и все кричало...

Испугавшись этого слишком уже полного успеха своей глупости и страшась, чтоб с Аннетою не было чего дурного, бежала я за ними, крича, что это листок, не лягушка, и в уверение показывала его; но подруги мои ничего не слыхали: они видели только, что я догоняю их и держу в руке что-то черное. Они добежали до будки часового, ворвались в нее и заперлись.

Изумленный инвалид протирал глаза свои, полагая, что ему это *помстилось,* как они говорят; но, увидя и меня, летящую вслед за ними, осклабился милостиво и, указывая на свое обиталище, сказал: «Все тут спрятались!»

С трудом уверила я Аннету и подруг, что в руках у меня был листок, а теперь нет уже и его. Они не отпирали, пока ветеран не побожился, сказав: «Право слово, сударыни, в руках ее высокоблагородия ничего нет!» Тогда затворницы вышли; подошла и нянька с маленькою сестрою. Все в тишине и безмолвии отправились по домам. Аннета просила меня дать ей слово никогда не пугать ее более призраком лягушки. «Я могу умереть от этого,— говорила она,— тогда чем ты разделаешься с своею совестию?..» Я никак не могла понять этой необычайной степени страха, потому что сама ничего не боялась; однако ж видела, что подруга моя говорит правду: когда она увидела издали мой листок и по восклицанию предполагала, что я достала

лягушку, чтоб пугать ее, то лицо у нее покрылось все черными пятнами. Расставаясь, мы помирились: я просила ее не сердиться, она простила; но, когда она опять повторила свою просьбу не шалить так безжалостно в другой раз, мне стало очень грустно. «Да разве ты думаешь, Аннушка, что это так возможно... В другой раз!.. А как бы ты думала, когда настанет этот другой раз?.. Не ближе будущих именин; а тогда кто знает, что будет? Ты старше меня более года, тебя отдадут замуж!.. Когда нам придется опять играть вместе?.. Матушка не пустит меня до будущего лета никуда больше!..» Сумасбродная резвость моя утихла, и слезы навертывались на глазах. Аннета обещала приходить ко мне всякий раз, как только мать ее пойдет к моей матери.

Мне никак не приходило в голову, что все мои дикие скачки на Старцовой горе, прыганье через кусты и мастерское балансированье на краю пропасти на одной ноге были видны матушке как нельзя явственнее: окно спальни ее было прямо против этого места; она взяла зрительную трубку, навела ее на место наших игр, и я в своем белом платье с розовым поясом подвизалась пред нею со всею возможною энергиею самой сумасбродной резвости.

«Ах, барышня, барышня, что вы наделали!.. — говорила мне моя Василиса, приглаживая мои волосы, как-то глупо переколотые булавками вместе с лентою. — Матушка хотела послать за вами Степана, чтобы вы сейчас шли домой, да уж Дарья Ивановна упросила; она сказала, что в этот день не надобно с вас взыскивать так строго».— «Да ведь мы недолго были там; *сказано: прийти домой после вечерни;* ну, вот мы и пришли в то самое время, когда люди вышли из церкви».— «Барыня не за это рассердилась: она видела из спальни, как вы скакали через кусты и становились по-журавлиному над пропастью; матушка все смотрела на вас в долгую трубку, что с обоих концов ее окошечки круглые, и беспрестанно вскрикивала: «Негодная повеса! она сломит себе голову! она слетит в пропасть! Чего смотрит там эта дура Марья?..» После подозвала она Дарью Ивановну и отдала ей длинную трубку. «Ну вот, посмотрите сами, Дарья Ивановна! Говорят, я строга; но с этою негод-

ною девчонкою и сам ангел милосердия сделается строг!» Дарья Ивановна смотрела долго и то вздрагивала, то хохотала... а матушка сердилась!.. Ох, как сердилась!» — «Ну, а Дарья Ивановна что говорила?» — «Да уж, видно, нельзя было закрыть-то вас; и она говорила, что в четырнадцать лет барышне можно б так и не прыгать... Какая, право! на что бы ей это говорить, когда видит, что барыня и так сердита?.. Ну теперь, барышня, я все оправила на вас, идите к матушке; она приказала, как возвратитесь с прогулки, чтобы сейчас пришли к ней». Я спросила Василису, где батюшка, и, услышав, что у него гости, пошла к матери с сердцем, полным страха и каких-то грустных ожиданий.

«Ты бесновалась на горе!» — были первые слова, какими встретила меня матушка; я молчала и внутренно признавалась, что мать моя употребила настоящее слово... «Слушай же теперь!.. Я прощаю тебе этот раз, потому что за другой я сама тебе порукою, что тебе не удастся более так сумасбродствовать; но от этого дня я требую, чтобы ты посвятила себя на усовершенствование в женских работах. Ты, к стыду своему, не умеешь ничего делать! Другие матери хвалятся работою дочерей своих, а я стыжусь, бегу скорее закрыть гадкое твое кружево, когда кто спрашивает меня: «Это, конечно, рукоделие вашей дочери?»... Прекрасное рукоделье!.. Двадцать соро́к не могли бы так напутать, как твои *искусные* руки!.. К тебе скоро уж можно будет применить пословицу: *велика Федора!*.. Кто поверит, что тебе сегодня только еще исполнилось четырнадцать лет?.. Ты имеешь рост и вид осьмнадцатилетней девки!..» При этих словах матери моей я взглянула в зеркало, против которого случайно стояла; мать заметила это и отвела меня в сторону. «Кажется, нечем любоваться! Помни же мои приказания: книг не смей брать в руки, кроме праздничных дней,— и то, чтобы книги выбраны были мною; в будни занимайся работою и старайся непременно уметь все, что тебе прилично и необходимо; чтоб ты все сама делала для себя, шила и вязала...» Долго еще матушка делала мне наставления и отдавала приказания все в этом тоне; наконец, когда наступила уже ночь, она позволила мне идти в свою горницу. Мое сердце

было полно грусти. Слезы чуть-чуть держались в глазах!.. Я побежала к Алкиду, обняла его шею, положила голову на гриву, и ручьи слез брызгами скатывались с нее к его копытам. Добрая лошадь круто поворачивала голову свою, чтоб приблизить морду к моему лицу; она нюхала меня с каким-то беспокойством, била копытом в землю, опять приставляла морду свою к моей голове и трогала верхнею губою мои волосы и щеки; ржала тихонько и наконец стала лизать мне все лицо!.. Видимое беспокойство моего коня, моего будущего товарища, утишило печаль мою, я перестала плакать и стала ласкать и гладить Алкида, целовать его морду и говорить с ним, как то я делала с первого дня, как только батюшка купил его.

На другой день гнев матушки прошел, и она не повторяла уже мне приказания доводить до совершенства мою работу, потому, верно, что видела бесполезность этого требования.

Хотя я чрезвычайно боялась моей матери, но непомерная резвость одолевала меня и увлекала вопреки страха наказания; мне кажется, я вымышляла разные глупости невольно, par fatalité [1]. Мне принесли из леса молодого филина, но уже большого; я посадила его в сад и кормила дня три или четыре; но в один вечер вдруг пришла мне мысль принесть его в горницу к матушке!... Я взяла чудовищную птицу на руки, отворила тихонько дверь в спальную матери, и, увидя в зеркало, что она сидит на лежанке, я протянула обе руки вперед и, выставив из-за печи одну только голову птицы, едва было этою фарсою не перепугала насмерть свою мать, которая, увидя чью-то безобразную голову с круглыми желтыми глазами, крючковатым носом и видя, что эта голова одна только, без туловища, так высоко от земли и так быстро смотрит на нее, сочла, что это сам сатана выглядывает из-за печи!.. Глупая шутка прошла мне даром.

Между тем, как я от часу более укреплялась в силах, росла, выравнивалась и постоянно готовилась к преобразованию, так давно замышляемому мною, мать моя постепенно угасала; ее чудная красота от всего, что имела в себе чарующего, сохранила одну только

---

[1] фатально, по воле рока *(фр.)*.

необычайную белизну лица и томность прекрасных глаз. Теперь она была ничем более, как тенью той красавицы Дуровой, которою некогда все восхищались!.. Скрытная грусть иссушила источник ее жизни, и бедная моя мать, погружаясь в самоё себя, перестала заботиться о моих шалостях; неуменье делать какую б то ни было женскую работу, а наконец, и мой рыцарский дух перестали ее тревожить. Она смотрела на все сквозь пальцы или, лучше сказать, не смотрела ни на что.

В начале весны матушка решилась ехать в Малороссию к родным; меня оставила дома, отчего я была в восторге. С собою взяла она меньшую сестру и, сказав мне и батюшке холодное прости! выехала на неопределенное время. Не знаю, как назвать то чувство, которое овладело мною, когда я увидела коляску, укатившуюся со двора. Когда я вошла в комнаты и могла уже смело ходить везде, громко говорить, стучать, прыгать, вертеться перед зеркалом, бегать в саду, выходить за ворота; могла бросить гадкую кружевную подушку на подволоку со всеми ее коклюшками и тою путаницею, за которую меня так часто били по рукам,— кажется, что чувство это было — безумная радость, что нет уже существа, имевшего власть стеснить мою свободу и лишить удовольствия. Не знаю, виновна ли я была, что чувствовала эту радость, но знаю, что чувствовала ее со всею энергиею невольника, вырвавшегося на свободу. Батюшка дал мне полную волю делать, что хочу. Я вставала всегда на рассвете, потому что чрезвычайно любила видеть постепенное пробуждение природы, и восход солнца встречала всегда уже в поле на своем Алкиде, которого батюшка отдал мне уже совсем. Теперь я берегла своего доброго коня и не делала так, как два года тому назад, ездивши по тропинкам над пропастями, рискуя сломить шею себе и ему, не скакала, как сумасшедшая, по песчаной косе; напротив, теперь я имела терпение ездить иногда верст по пяти — шагом: это была величайшая жертва и самое сильное доказательство привязанности моей к Алкиду, потому что природная живость и нетерпение были так во мне сильны, что я никогда не ходила тихо ни в каком случае, но всегда бегала, прыгала, скакала и в целый день не остава-

лась и четверти часа на месте, исключая обеда. Я никуда не ездила в гости, именно потому, что в гостях надобно сидеть; но все дни проводила то в поле, то в лесу, а вечером играла с девками в жмурки. Батюшка обыкновенно проводил вечера у кого-нибудь из знакомых, а я оставалась полновластною госпожою комнат и своих поступков, которые все были ознаменованы самыми резкими повесничествами.

В один день вздумалось мне с своим причетом, столь же умным, как и я, одеть одну из моей свиты птицею; для этого превращения надобно было сделать некоторые довольно странные приготовления, и которых здесь никак нельзя так подробно описать, чтоб дать об них ясное понятие, да в этом, я думаю, нет и надобности; довольно, что работа наша увенчалась успехом, и мы все с торжеством смотрели на нашу огромную птицу, гордо расхаживающую по горницам. Это было вечером, я никак не ожидала, чтобы случилась какая помеха нашей забаве; но вдруг стук экипажей раздался на дворе, и отец с гостьми вошел в комнату; птица наша ходила в зале, которая отделялась от передней комнаты еще двумя, и так я имела время убежать с своими нимфами; но бедная пернатая была беззащитна, потому что из рук ее было сделано употребление совсем не то, для которого назначила их природа, и все тело имело позитуру, удобную только для важной и горделивой выступки, но не для беганья; итак, следствием всего этого было то, что батюшка и гости с изумлением остановились в дверях, не понимая, какого рода животное бьется и кувыркается на полу залы. Кончилось тем, что бедную птицу очень небережно вытащили за ноги вон из залы. Сколько ни любил меня отец мой, однако ж на этот раз осердился и сказал, что он желал бы, чтоб время для меня остановилось, потому что голова моя слишком тупо зреет.

Люди наши говорили мне, что я похорошела без матушки. Немудрено, мне теперь всякий день весело; я не слышу голоса, от которого всегда бледнела, хотя б и ни в чем не была виновата; страх не теснит сердца моего и голова не кружится от беспрестанного сиденья в горнице; свобода, свежий воздух, радостное ощущение в душе, не оставляющее меня в продолже-

ние целого дня, возвратили мне и ясность взора, и цвет юности, которые начали было тускнеть от душного воздуха неволи.

Сегодня батюшка говорил мне, что, видно, я и не думаю о назначении моем в свете... «Я не тесню твоей свободы, друг мой, и мне очень приятен твой удовольственный вид; но я желал бы, чтоб ты не употребляла во зло той воли, которую я даю тебе, и очень был бы доволен, если бы ты не все дни проводила в поле и на коне... Посмотри, на что ты похожа стала?.. Так загореть и обветрить даже и мальчику было бы нехорошо, а ведь ты девочка!.. Мне иногда бывает и смешно, и стыдно, когда я смотрю на тебя, как ты в своем белом платье стоишь в толпе сверстниц, точно жук в молоке». Эти слова я выслушивала в почтительном молчании, нисколько ими не тревожась и никак не обижаясь тем, что была похожа на жука в молоке. Я совсем не понимала, на что мне белизна?.. «Батюшке,— думала я,— все равно, бела я или черна, я тем не менее любимая дочь его. Алкид тоже любит меня и не понимает разницы между белым и черным, а у меня в целом мире только два предмета сильной привязанности: мой добрый отец и Алкид!.. Не вижу надобности томить себя скукою, скрываясь от солнца и ветра для того только, чтоб сохранить белизну, ни на что мне не пригодную. Батюшке стыдно, что я очень загорела, что я чернее всех своих подруг, даже самых смуглых!.. Не может быть! Верно, он сказал это без мыслей, думал о чем-нибудь другом». Так успокоивала я маленькое угрызение совести, какое чувствовала с полчаса после каждого замечания отцовского, что шалости мои приличны более прошедшему времени, нежели настоящему, и что я уже скоро из девочки сделаюсь девицею.

Марья тоже говорила иногда, одевая меня: «Умывайтесь чем-нибудь, барышня, хоть хреном или кислым молоком. Знаете ли, что вы, как две капли воды, похожи на плащеватую цыганку».— «А кто такая плащеватая цыганка?» — «Нелегкая их знает! Плащеватые цыгане, говорят, самые черные из всех других цыган». Нянька начинала мне рассказывать о различных поколениях цыган, чем они отличаются одни от других, и забывала, что я похожа на одну из самого черного их поколения.

Надобно думать, что четырнадцатилетний возраст служит границею и вместе переходом из детства в юношество и так же, как всякий перелом, имеет свой кризис; что многочисленные шалости мои были как будто прощальною данью летам детства, проведенным большею частию в слезах и угнетении.

В саду у нас было много больших развесистых берез. Батюшка очень любил густую тень их и приказал сделать под ними несколько дерновых соф. На беду этих деревьев, я увидела как-то, разъезжая по лесу на своем Алкиде, что мальчики, подрубливая деревья, и именно березу, топором, прикладывали к этой ране губы свои и сосали что-то. Я подъехала к ним. «Что вы это делаете?» — «Пьем сок березовый».— «Разве у березы есть сок?» — «Есть, и какой сладкий!.. Не хотите ль отведать?.. Вон там, под деревом, стоит бурачок; чай, в нем много уже: с утра поставили». Мальчик побежал к дереву, взял небольшой бурак и подал мне: в нем было больше половины чистого, светлого и сладкого сока березы; я выпила. «Как же это делать, чтоб достать этот сок из березы?» — «А вот так, как мы делаем: надобно ударить острием топора вкось по дереву, сделается глубокий разруб, и из него польется сок; тогда в разруб надобно положить маленький желобок и подставить кадочку или хоть чашку большую; сок идет до самого вечера, по закате солнца перестает; тогда взять посудину и унести домой». Возвратясь с прогулки, я тотчас поступила по данному наставлению: взяла у батюшки в кабинете маленький топорик, которым он подчищал сам деревья в саду, и как он был очень востер, то мне не стоило никакого труда сделать несколько очень глубоких разрубов на наших прекрасных ветвистых березах. Я вложила в их тяжкие раны небольшие трубочки из их же коры, подставила под них банки из-под варенья и в полном удовольствии от того, что к вечеру буду иметь много березового сока, пошла наконец в свою комнату. Батюшка в этот день был занят с утра отправлением почты и давно уже посылал за мною; но как я была с трех часов утра за десять верст от своего дома, то, разумеется, призывы отцовские были мне не слышны; возвратясь же, я тотчас занялась работою около несчастных берез, и, видно, злой судьбе их угодно было,

чтоб отец мой ушел на то время из кабинета, когда я приходила взять топорик, и таким стечением обстоятельств бедные березы подверглись моему тиранству беззащитно. Наконец батюшка узнал, что я возвратилась, и приказал позвать меня. Я пришла. «Разве ты забыла,— спросил меня отец голосом, в котором я не слышала обыкновенной его доброты,— разве ты забыла, что сегодня почтовый день?..» — «Извините, батюшка, совсем забыла». Ответ этот сейчас возвратил мне ласку отцовскую. «Много еще зефиров в голове твоей!.. Ну, садись за работу. У меня сегодня такая пропасть писем, что не знаю, как будет уломать экспедитора, чтоб принял, потому что никак не успею кончить к двенадцати часам».— «Так что же, батюшка? Велите опять *Андреяновичу* стать перед ним на колени. Этот маневр был вам один раз удачен».— «Там увидим. Вот тебе десять писем; делай же хорошенько конверты, чтоб не были кривы; печати чтоб были круглы и не слишком велики; надписывай четко». Всякий почтовый день это была моя работа; я была на этот день батюшкиным секретарем и только тогда походила на что-нибудь путное, когда сидела за особенным столом в батюшкиной комнате и внимательно делала конверты, печатала, надписывала.

Вечером я взяла все банки, слила из них сок в большую суповую вазу и велела поставить на погреб с тем, чтобы завтра положить туда сахару и потчевать этим нектаром свою Аннету.

На другой день я уехала, по обыкновению, очень рано верхом и возвратилась к обеду. Только что я встала с лошади, батюшка вышел ко мне, взял меня за руку и повел в сад, говоря: «Поди-ка сюда!» Я пошла очень покойно, ожидая, что батюшка, верно, готовит мне какую-нибудь приятную нечаянность; может быть, купил мне какую-нибудь птицу или зверька, или что из лакомства положено на дерновом столе; но как ужасно разрушились все мои льстивые предположения!.. Я с испугом остановилась, завидя издали окровавленные пни белых берез, вчера надрубленных мною. «Что это, батюшка?.. — вскрикнула я чуть не плача; — отчего они все в крови?» — «Как отчего?.. ведь это ты изрубила их?» — «Я! но я хотела достать соку».— «Бессовестная!..» — Батюшка с досадою бро-

сил мою руку и ушел в комнаты. Я совсем не знала, что от этих разрубов, которые делают на дереве для сока, оно на другой год засохнет и что для предупреждения этого надобно, как только сок перестанет течь, разрубы замазывать глиною, что обыкновенно бывает по закате солнца. Не знала также и того, что сок, обливший дерево, на другой день принимает красный цвет, настоящее подобие крови.

Целый день батюшка казался недовольным мною; но он любил меня, и сердце его было одно из тех, которые умеют только любить и прощать.

Комната, в которой я жила под надзором няньки, когда мне было лет пять или шесть, была и теперь моею, с тою разницею, что маленьких детей и бывшую няньку мою перевели наверх: так называли мы одну комнату с балконом, выстроенную на подволоке; в ней все наше поколение Дуровых жило и росло от колыбели до шести лет, а иногда и до восьми, а там уже отдавались на руки другой женщине и переводились в другое жилище, ближе к матушке. Я, как существо необыкновенное, неугомонное, неукротимое, требовала исключения из этого мирного порядка переходов с высших в нижние комнаты и была отвезена за две тысячи верст в Малороссию на тринадцатом году от рождения; возвратясь через год под кров отцовского дома, я вступила во владение этой комнаты, которая называлась детскою и сохранила это название навсегда, хотя уже после жили в ней люди всех возможных возрастов. Итак, я спала в этой детской одна с Василисою, моею горничною девкою (лет семнадцати), до неимоверности глупой, что мне было очень на руку.

В один теплый весенний вечер, когда батюшки не было дома и нельзя было ожидать, чтоб он скоро возвратился, рассудила я заняться составлением фейерверка своего изобретения. На дворе было так тихо, что ни один листок не шелохнулся, и, сверх того, тепло и темно; я велела принесть пороху, сажи и желтого воску, растопила, столкла порох и смешала его с серою, потому что я видела как-то, что сера очень красиво горит. Я очень жалела, что пороху было у меня немного, не более, как на один заряд. «У кого спрятан порох? — спрашивала я Василису.— Мне бы надобно его столько же, сколько сажи, полную тарелку. Не

знаешь ли ты, у кого порох?» — «Я думаю, у дворецкого; ведь у него все на руках! — отвечала Василиса с глупым видом.— Идти попросить?» — «Сходи, пожалуйста! да ты не говори, для чего; скажи, что я хочу идти с ружьем».— «А батюшка-то!.. Ведь он не велит вам ходить с ружьем».— «Не твое дело. Поди! Не забудь же, как сказать...» — «Слышу — скажу!» Василиса возвратилась с отказом. «Петруша сказал, барышня, что батюшка строго запретил давать вам порох, и ружье ваше отнесено в анбар и там заперто».— «Ну, хорошо, я обойдусь без пороха; селитра горит тоже ясно; у нас ее много, кажется?» — «Много у повара: ею что-то солили».— «Ну, поди же, принеси».— «Да разве украсть у Никиты? ведь так не даст».— «С тобой конца не будет!.. Ничего не успею сделать!.. Поди, достань селитры, как хочешь!» — «Я украду!.. унесу тихонько!.. добром этот жидомор не даст». Василиса побежала и через пять минут принесла большую горсть селитры; я принялась за работу: смешала вместе сажу, порох, селитру: все это было уж очень мелко истолчено, истерто и просеяно; эту смесь всыпала в растопленный воск и сделала род теста, из которого наделала маленьких фигур, похожих на сахарную голову. Фигурок этих было около двухсот; я установила их очень симметрически на большом железном подносе, так что из всех их составилась круглая пирамида или тоже род сахарной головы. Я зажгла нижний ряд; пламя охватило не вдруг, потому что воск препятствовал селитре гореть скоро, также и порох потерял от него много своей силы; итак, пирамида моя горела разного цвета огнями, светло, ярко и долго. Я была в восторге!.. Наконец она сгорела; поднос еще оставался на столе, но в комнате не было никакого запаха, потому что все окна были отворены; вдруг я услышала поспешные шаги и испуганный голос батюшки. Василиса вмиг бросила поднос за печку... Батюшка вбежал. «Где горит?.. отчего такой дым по всему двору?.. что сожгли?.. не тлеет ли где стена?.. что ты здесь делала?» Последний вопрос относился прямо ко мне, и на него я только отвечала очень непокойным голосом: «Ничего, батюшка!..» Отец оборотился к Василисе: «Говори, что вы делали здесь?» — «Ничего, сударь!.. сера и порох!..» — воскликнула Ва-

силиса, пошатнувшись от пощечин!.. В первый раз батюшка позволил себе ударить девку и в первый раз назвал меня дурою.

После этого происшествия, которое так испугало отца моего, заставя его думать, что дом наш сию минуту вспыхнет, я притихла недели на две; но в начале третьей посчастливилось мне найти на улице гусарскую круглую пуговицу, и первая мысль моя была начинить ее порохом и бросить в печь к старой Прасковье, готовившей обед для людей. Я не могла не знать, что порох вспыхивает в секунду, итак, чтоб это свойство его не лишило меня удовольствия видеть испуг и удивление старой поварихи, я растерла порох с каплею воды и, смешав мокрый с сухим, хотя с большим трудом, но успела, однако ж, начинить пуговицу плотно до самого отверстия... Я и сама еще не понимала, что будет делать моя ручная граната, если я брошу ее в горящую печь; думала, что она лопнет там и более ничего, и радовалась только тому, что выстрел этот старуха припишет колдовству, начнет творить молитву, креститься, крестить горшки, печь, выгонять всех из избы, говоря, что всему причиною чей-нибудь нечистый глаз! Вот все, чего я ожидала от моей пуговицы; но успех превзошел мое ожидание и заставил меня усмириться на целый месяц... Через минуту после того, как я бросила пуговицу в печь, она вылетела из нее со свистом, летала по избе, щелкала по стенам и наконец лопнула близ моей головы и взрыла мне кожу на самой ее верхушке; капли крови вмиг разбрызнулись по всем локонам. Я, однако ж, не вскрикнула, но поспешно убежала в свою горницу и заперлась. Платье мое все уже было испещрено кровавыми каплями. Сбросив его поскорее, я надела темное, вымыла голову вином и, вытерев полотенцем, засыпала ссадины углем; от этого средства кровь тотчас перестала, но дня три я чувствовала какое-то кружение в голове.

От того времени я не делала уже никаких опытов с порохом. Старая Прасковья рассказывала всем, кто хотел слушать, что дьявол вылетел из печи в то самое время, как она ставила кастрюлю, забывши сказать: «Господи, благослови!», что злой дух долго летал по избе, задел по уху Наталью, скоробил под лавку Ефи-

ма и, влетев снова в печь, молниею выскочил в трубу, и что всем этим чудесам была свидетельницею сама барышня.

Лето приходило к концу, а вместе с ним и мой пятнадцатый год; матушка все еще была в Малороссии, а с нею и моя меньшая сестра; батюшка не скучал, а мне никогда и в голову не приходило, что матушка должна же ведь когда-нибудь приехать домой. Мне казалось, что я всегда буду вести такую свободную, счастливую жизнь. Я перестала делать опыты с порохом, не пугала старой Прасковьи, как-то вообще все порывы сумасбродства и резвости начали утихать; одно только, от чего я не могла отвыкнуть, да и не видела надобности отвыкать, это было раннее вставанье на заре и тотчас же прогулка в поле верхом; иногда я возвращалась в девять часов, время, в которое вставал отец, а иногда к обеду, потому что я ездила всегда очень далеко. Неутомимый Алкид мой не жаловался на это, по крайности, веселый и легкий галоп его утверждал меня в этом мнении: уставшая лошадь всегда идет лениво; впрочем, я заботилась об Алкиде несравненно более, нежели о себе. Если я заезжала так далеко, что не могла возвратиться домой прежде обеда, то разнуздывала Алкида и позволяла ему есть траву, а иногда покупала ему в деревне овса, насыпала его в свой платок и держала пред Алкидом не только с большим терпением, но и с большим удовольствием во все то время, пока он ел; после этого водила его пить к ручью или наливала ведром в колоду.

Наступила осень. К нам в город пришли казаки. Батюшка часто ездил гулять с их офицерами; но я старалась никогда не быть с ними вместе. В своей казачьей униформе мне очень нужно было, чтоб они никогда не видали меня так одетую: для этого я имела свои причины.

Батюшка приметно был доволен, что я сделалась несколько потише, как говорила моя нянька. В один день он принес мне несколько шелковых материй. «Пора тебе одеваться лучше; у меня часто бывают гости, а ты уже становишься велика; ты уже девица!.. Вот, прикажи сделать себе платья, какие носят». Говоря это, батюшка положил на стол свои дары и ушел. С того дня я всегда носила шелковое платье

всякий день, и как мне непременно надобно было, чтоб волосы мои не были так длинны, как их вырастила природа, а обрезать я не смела, то я старалась завивать их так круто, чтоб они только доставали до плеч.

Осень наша не бывает продолжительна: в первых числах октября нападает снег и нередко остается уже на всю зиму; оттепелей почти не бывает никогда. Как только настала зима, батюшка просил меня, чтоб я не ездила более верхом; а чтоб утешить меня в этом лишении, приказал сшить мне голубую бархатную шубу какого-то венгерского покроя с золотыми пуговицами и шнурами и такую ж точно шапку с соболем, кистями, шнурками, и все это было для того, чтоб я могла ездить в санях и сама править. Блестящий наряд мой не утешал меня; я раз по двадцати ходила к Алкиду ласкать его и кормить хлебом. Один раз батюшка увидел меня задумчиво стоящую близ Алкида, положа руку на его гриву. «Что ты не попробуешь на нем ехать в санях? Прикажи заложить его, и пусть Ефим проедет: может быть, он хорошо пойдет». Я испугалась этого предложения. Возможно ли унизить столько моего гордого, благородного коня!.. В оглобли!.. этого красавца в оглобли!.. Дерзкая рука грубого Ефима осмелится ударить кнутом это животное, столько меня любящее!.. «Нет, нет, ради бога, батюшка, не делайте этой обиды моему Алкиду! Я ведь только так пришла к нему; я не скучаю, что вы не приказываете мне ездить теперь верхом, я буду ждать лета». Батюшка рассмеялся и сказал мне, что я напрасно встревожилась, что эта лошадь подарена мне и находится в полной моей власти; но что он советует мне, если я не хочу, чтобы кто другой садился на нее, кроме меня, гонять ее на корде для сохранения ее здоровья и доброго аппетита.

Настали святки, начались игры, переодевания, гадания, подблюдные песни. В нашей стороне все это сохранилось еще во всей своей свежести; все мы, старые и молодые, очень протяжно припеваем: слава! и верим, как оракулу, что кому вынется, тому сбудется, не минуется; и я, как мои подруги, шептала на свое золотое кольцо и клала его под салфетку в блюдо; но как я моему кольцу говорила не то, что мои подруги говорили своим, то очень удивлялась, если мне, вме-

сто *саней,* выходила *кошурка!* Если которая из подруг не была тут и спрашивала меня на другой день, что тебе вышло: «Да вот эта гадкая кошурка!!» — «Гадкая кошурка!.. Да ведь это лучшая песня из всех!.. Ну, а тебе какой бы хотелось?» Я не могла сказать, какой именно: это была глубокая тайна моя!.. Впрочем, по наружности я ни в чем не отставала от моих подруг и, увлекаемая силою примера и ветренностию моего возраста, делала все то же, что и они.

В один вечер подруги мои собрались у меня. После всех возможных игр побежали все мы с зеркалом в руках наводить его на месяц; каждая кричала, что видит кого-то, и со страхом, настоящим или притворным, передавала зеркало в руки другой. Дошла очередь до меня; я навела зеркало на месяц и любовалась его ясным ликом... «Ну, что!.. Видишь ли что-нибудь?..» — спрашивали меня со всех сторон. «Постойте! еще ничего покудова!..» Это я сказала громко и в ту же секунду услыхала, что снег захрустел от чьей-то тяжкой походки; подруги мои взвизгнули и побежали; я проворно оглянулась: это был мой Алкид! Он услыхал мой голос, оторвался и прибежал ко мне, чтоб положить свою голову на мое плечо. Ах, с каким восторгом обняла я крутую шею его!.. Подруги мои воротились, и громкий хохот их заставил доброго коня моего делать картинные прыжки, все, однако ж, вокруг меня; наконец я отвела его к дверям конюшни, и он очень послушно пошел в свое стойло. Я от души верила, что появление Алкида во время таинственного смотрения на месяц было предвещением, что я вступлю в то звание, которое было всегдашним предметом моих мыслей, желаний, намерения и действий. Воротясь в залу, подруги мои рассказывали молодым дамам, что мой Алкид и прыжками своими, и брыканием разогнал всех возможных суженых и что они не могли никого увидеть.

В последний день святок назначено было в кругу нашем, девическом, повторить все способы, какими они допытываются у судьбы о хороших и дурных качествах своих суженых, а также и о том, будут ли у них эти суженые и скоро ли будут?.. Решено заключить все роды гаданий бросанием башмака через ворота. Для всех этих чар собрались ко мне, как в та-

кое место, где больше раздолья и больше свободы; к одиннадцати часам вечера кончились все игры и все гадания; оставалось последнее: бросать башмак через ворота. Мы вышли толпою на двор в сопровождении нескольких девок; все мои подруги были одеты просто, потому что праздники уже кончились и наряжаться парадно было не для чего; к тому ж в нарядном платье не так свободно можно заниматься волшебными действиями, как-то: полоть снег или упасть в него навзничь; итак, все девицы были одеты кто в ситцевом, кто в перкалевом белом платье; одна только я была в шелковом пунцовом с какими-то золотыми шнурками и кисточками. Все мы построились в шеренгу против ворот; я была в середине, итак, начинать было не мне; поочередно каждая снимала свой башмак, оборачивалась спиною к воротам и бросала башмак через голову и через ворота. Все мы бежали опрометью смотреть, как он лег, в которую сторону носком; девица надевала его, и мы опять становились во фрунт. Дошла очередь до меня; я скинула свой атласный светло-голубой башмак, оборотилась спиною к воротам... В это время послышался скрып полозьев; но мимо дома нашего проезжали так же, как и мимо всякого другого, итак, этот скрып не помешал мне сказать моему башмаку, что куда я поеду, чтоб туда он упал носком. С последним словом я бросила его через голову за ворота. Башмаки моих подруг падали тотчас подле ворот; но я была сильнее их, итак, башмак мой полетел выше и далее. В то самое время, как он взвился на воздух из руки моей, какой-то экипаж быстро подкатился, остановился и восклицание: «Что это!..» оледенило кровь мою; я окаменела от испуга: это была матушка!.. Она приехала, и башмак мой упал к ней в повозку.

Я стала безмолвна и бесцветна!.. Строгий взор матери моей заставил меня потупить глаза. «Как разряжена!.. Что значит этот наряд? И для чего вы, сударыня, не заплетаете волос в косу, как я вам приказала?.. И об чем вам угодно было гадать?.. Вам, я вижу, было очень весело без меня!.. Верю!.. Возвратитесь, однако ж, к должным вашим занятиям и не смейте никогда распускать волос, как Русалка, ни надевать шелкового платья иначе, как в годовые праздники».

Матушка ушла в свою спальню и заперлась; я с стесненным сердцем скинула красивый наряд свой и со слезами намочила водою локоны, чтоб распустились, для того, что надобно их было заплесть в косу, которой я до крайности не любила. Окончивши эту работу, я пошла на минуту к Алкиду положить голову на его гриву и поплакать о печальной перемене свободы на неволю... Алкид с каким-то удивлением обнюхивал мою косу, глядел мне в глаза и, видно, находил меня хуже в этом виде горничной девки, в который я преобразилась, потому что начинал бить копытом в пол и опять нюхать мое платье и косу!.. Этот маневр развеселил меня; я перестала плакать; обняла Алкида за шею и сказала ему, как будто он мог понимать меня: «Еще год, Алкид, еще один только год; а там, хотя б то жизни стоило, мы здесь не будем!»

Жизнь моя пошла опять такая ж, как за год до этого: проклятую подушку кружевную опять отыскали на подволоке, обтянули новым полотном, повесили тьму коклюшек, и вот она опять передо мною!.. Я, право, не понимаю, отчего это матушка пристрастилась именно к этому рукоделию?.. Что в нем хорошего?..

Впоследствии я увидела, что матушке совсем не до того, чтоб смотреть, занимаюсь я рукодельем или нет, и многое уже она оставляла без внимания. Я могла ездить верхом, когда настало лето, могла не быть целое утро дома; казалось, что матушка этого не замечала; она почти не выходила из своей комнаты, глубоко задумывалась и часа по два сряду ходила по горнице взад и вперед, говоря что-то сама с собою. Бедная мать моя нисколько не поздоровела от воздуха Малороссии!.. Ни кров отеческий, ни воздух родины не могли вылечить недуга душевного. Матушка часто укоряла меня в нечувствительности, говоря: «Если б ты была добрая дочь, то не осушила б глаз при виде материнских бедствий!..» Но могла ль я понимать эти бедствия!.. Я вовсе не разделяла ее горести, потому что не имела никакого понятия о свойстве и силе ее; неопытность возраста моего закрывала от

меня все, что было безотрадного в положении моей матери!.. Если она говорила мне: «Ты бесчувственна, как дерево!.. мать томится жизнию, прячется от света, а ты скачешь, сломя голову, по полям и долинам!.. Мне кажется, если я лягу в землю, то ты пронесешься на коне своем чрез могилу мою, не остановясь ни на минуту мыслию, что под этим бугром лежит тело матери твоей!..», я молчала, с трудом удерживая слезы, которые из глубины сердца выжимала жестокость материнского выговора, и когда она прогоняла меня, говоря: «Пошла вон, бесчувственная!», то я уходила в свою комнату и минут пять горько плакала; наконец переставала, с полчаса посвящала на то, чтоб разгадать, почему матушка не может утешиться в давно минувшей неверности батюшкиной?.. потому что теперь он всегда так ласков с нею; и об чем бы мне должно было плакать тут? как говорила матушка; но как на эти вопросы самой себе могло отвечать одно только время или опыт, то я, наскуча доискиваться бесполезно — что? как? отчего? и почему?.. отдавалась опять никогда не утихающему желанию идти куда-нибудь, ехать, скакать на лошади, прыгать чрез рвы, кусты, плавать, нырять, взбираться на недоступные крутизны, спускаться в пропасти; одним словом, быстрая кровь моя не позволяла мне оставаться минуты в бездействии, и горесть матери моей, ее выговоры, укоризны в бесчувствии исчезали, как сон, из памяти моей!.. Виновата ль я, если печаль ее не печалила меня?.. Виновата ль я была, если не понимала ее?.. Впрочем, не удивительно было бы, если б сердце мое и ожесточилось, потому что сколько я могу помнить, то она мне никогда ничего не позволяла любить!.. Всякая привязанность моя, к чему бы то ни было, находила препятствие!.. Довольно было увидеть, что я ласкала какое-нибудь животное, чтоб тотчас его отнять у меня!.. Вот я уже на своей воле, достигла цели своих желаний; но и теперь иногда с сожалением вспоминаю о той маленькой собачке, которую я первую еще любила. Мне было десять лет; не помню, кто подарил мне крошечную беленькую собачку, довольно смешной наружности и смешного имени: она была на самых коротеньких ножках, одно ушко стояло, другое висело, глаза разные: один голубой, другой чер-

ный, один немного больше другого, и ко всем этим совершенствам, название Манилька делало ее существом ни для кого не интересным, кроме меня; я любила ее так, как после уж ничего не любила!.. Матушка приказала, чтоб я отдала моего маленького друга кому хочу, но чтоб только его не было у меня. Я не смела ничего сказать, не смела просить, чтобы этот приговор был отменен; но долго плакала, держа Манильку у груди своей и целуя ее черную мордочку, и думаю, что никак бы не собралась с силами отнесть ее сама в девичью, чтоб отослать со двора, но матушка прислала за нею. Манильку унесли, я принялась рыдать!.. К вечеру она опять прибежала и как-то прокралась в мою горницу. Я чуть не сошла с ума от радости и легла спать ранее обыкновенного, чтоб скрыть свою *Манилечку* от всех шпионских разведываний матушкиных девок; на беду, мать моя пришла ко мне в спальню, не знаю за что-то бранить меня; я лежала уже в постели, и собачка спала на руке моей, положа мордочку к плечу. После выговоров и наставлений матушка стала говорить со мною несколько ласковее и наконец хотела уже идти. Я радовалась, что благополучно кончилось, что она не видала моей собачки, которой белая шерсть не разнилась от белого рукава моей рубашки; как вдруг матушка наклонилась ко мне, говоря: «Отчего это у тебя дыры на рукаве?» — и с этим словом схватила рукою голову собачки. Ее черный носик и ресницы показались матушке дырами на моем рукаве. Она вздрогнула, отскочила, вскрикнула: ах!.. Манилька залаяла и, увы! была тотчас взята от меня!.. С того вечера я уже никогда ее не видала и никогда не могла узнать, что с нею сделалось и кому ее отдали. Бедное животное! может быть, ее тогда же убили, чтоб не иметь хлопот относить куда-нибудь!.. Случаю этому минуло уже много лет, но я все еще не могу ни забыть, ни заменить моей бедной Манильки. С того времени и до сих пор у меня не было никогда ни одной собачки.

Год спустя после происшествия с Манилькою солдат, стрелявший для нашего стола дичину, принес мне живую тетерку. Я жила тогда наверху, под надзором Марьи, и спала неблизко от комнат матери; обстоятельство это обеспечивало меня обладанием те-

теркою; я взяла ее и поместила за печью, кормила, чем могла и умела. Птица сделалась ручною, знала мой голос и выходила на него; но без меня сидела в своем захолустье. Нянька иногда угрожала, что выкинет ее, потому что она ночью ходила по головам всех спящих на полу, в том числе и няньки моей, с которой еще всякий раз стаскивала носом ее колпак и клевала в голову; но как добрая Марья, всех нас вырастившая, любила меня, то, разумеется, угрозы своей никогда не исполняла на деле, и я покойно владела птицею, любила ее, кормила, носила на руках и очень заботливо отыскивала для нее корм, какой она предпочтительно ела.

Но, видно, всякому надобно иметь свой черный день! Пришел черный день и моей бедной тетерке. За печью, где она всегда жила, окотилась кошка и осталась там с своею пискучею семьею. Днем птица моя беспрестанно заглядывала за печь; но, видя, что место занято, опять уходила под мою кровать; но когда наступила ночь, то любимица рассудила, что может отправиться в обход, и вот, промаршировав, по обыкновению, по головам спящих, пошла за печь и наступила, видно, на котят... С каким-то писком выкинулась она оттуда, но уже злая кошка укусила ей ногу выше колена. Тетеря моя хворала месяца два. Ее можно б было вылечить, но я ничего в этом не знала, а нянька всегда говорила: *«Провались она вставши!* ее лечить!.. каким ее бесом лечить?»

В Вербное воскресенье я принесла много этих лоз вербы, усеянных шишечками, и отдала их все своей больной птице, которая съела их с жадностию!.. Бедняжка ползала уже на одной ноге!.. На Святой неделе матушка приказала мне ехать с собой в гости... «Боже мой! — думала я,— в гости!.. а моя тетеря при смерти!..» Матушка рассердилась на меня за мой печальный вид. «Что ты все дуешь губы?.. Ты и без того нехороша!.. И как ты смеешь дуться, когда я приказываю ехать?.. Возьми ее, Марина, одень сейчас!» Мы поехали. Я сидела и не знала, будет ли конец этому посещению. Воротясь домой, я, как стрела, бросилась наверх. Птица моя была выкинута на балкон, но была, однако ж, жива еще. Я взяла ее на руки; она отдохнула!.. «Ах! нянька, начто ты ее выкинула?» —

«Вот еще начто!.. ее надобно совсем забросить — она уже околевает!..» Я молчала и спрятала умирающую птицу за кровать. Тетеря все еще жила. На другой день матушка опять приказала мне одеваться, чтоб ехать с нею в гости; я уже заплакала. «Это что значит? — сказала мать моя с удивлением,— как ты смеешь плакать?..» Я всхлипывала, и слезы катились градом. «Да об чем ты плачешь, негодная упрямица? — вскрикнула моя мать с нетерпением.— Пошла, сию минуту одевайся!» — «Тетеря умирает!» — сказала я наконец, задыхаясь от рыданий. «Что? кто умирает?» — «Тетеря!» — «Что это за адский вздор!.. Послать ко мне Марью!» Нянька пришла. «Что у нее там наверху?.. отчего она ревет?..» — «Да вот, сударыня, Шитов принес тетерку, давно уже, барин подарил ее барышне, а теперь эта птица от чего-то умирает».— «Так об этом плакать, Федорушка ты! Пошла, сейчас одевайся. Возьми ее, Марья... Тетерю выкинуть!» Все это было сказано таким голосом, который не оставил мне и тени надежды принять последний вздох моей бедной умирающей. Я оделась, беспрестанно плача. «Куда как хорошо! — говорила мне нянька; — расплакать так глаза! Посмотри, на кого ты похожа?.. Умойся, сударыня!..» Я умывалась и плакала. «Да будет ли этому конец? — закричала Марья. — Я оторву голову твоей тетере!» Угроза эта вмиг осушила мои слезы. «Не буду, не буду плакать! Позволь ей лежать на месте».— Нянька ворчала что-то про себя; однако ж не тронула мою птицу, которая была еще жива.

Возвратясь домой, я не нашла уже ее. Нянька сказала мне, что птица издохла и что она выкинула ее на подволоку; от этой вести у меня замерло сердце. Всякому взрослому это покажется смешно, но тогда юная душа моя была так же полна чувством печали от этой потери, как семь лет спустя от трагической смерти Алкида.

Я с нетерпением дожидалась часа, в который мне велено было ложиться спать; и как только нянька, уложив меня, пошла в девичью ужинать, я тотчас встала и, не смея взять с собою огня, пошла впотьмах искать ощупью своей умершей птицы. Проползав четверть часа по песку и глине, которые обыкновенно насыпаются на подволоках, я нашла наконец охла-

девший труп тетери. Ах! с каким прискорбием, сожалением, любовью и вместе радостью прижала я к груди своей мертвую птицу!.. Я плакала и целовала ее, легла с нею на постелю и закрылась одеялом совсем с головой, чтоб нянька не заметила ее. Между тем Марья возвратилась и, верно б, не подозревала ничего, если б я не обратила на себя ее внимание необыкновенными движениями своими под одеялом. Мне, как строусу, казалось, что нянька ничего уже не видит, потому что я сама не вижу ее. Итак, я, окутавшись кругом своим одеялом, обнимала, целовала мертвую тетерю, называла ее самыми нежными именами и потихоньку плакала. Марья, слыша мой шепот, поцелуи, какие-то беспокойные движения руками, сорвала вдруг с меня одеяло, говоря: «А! ты с тетерей!» — и с словом этим схватила птицу и выкинула из окна через забор на улицу.

Целую неделю я плакала всякую ночь о своем пернатом друге и всякую ночь видела его во сне. Время утишило эту грусть. Я не смела уже ни к чему прилепиться сердцем, не смела любить ничего, потому что чувство это считалось во мне не тем, чем оно было — прекрасным качеством души, но просто шалостью, и как шалость строго мне запрещалось. В двенадцать лет все эти малолетные привязанности ребенка заменились сильным пристрастием к Алкиду; а как этот предмет моих ухаживаний и попечений был вне власти моей няньки, то мне и легко было утаить от нее это обстоятельство.

Я была уже на возрасте, когда случилось мне прочитать в одном из тогдашних журналов какое-то происшествие, взятое из времен идолопоклонства. Там описывался молодой человек, которого отцу Зевес позволил просить от него милости, какой ему рассудится, с полной уверенностию получить просимое. Безрассудный отец употребил это позволение на то, чтобы уничтожить в сыне своем все порывы добра и храбрости. При каждой замеченной им наклонности к чему-нибудь отец бежал повергнуться к подножию истукана Зевесова, прося погасить в душе сына его: то чувство любви, то порыв щедрости, то вспышку мужества!.. И Зевес, хоть неохотно, лишал, однако ж, юношу постепенно всех лучших даров природы, от-

нимая их один за другим. К двадцатилетнему возрасту сын, благодаря неусыпным мольбам отца, сделался хоть брось. Я находила большое сходство в участи своей с участию этого молодого человека. В самой нежной юности моей отличительными чертами моего характера были: живое сострадание ко всему, что было угнетаемо; готовность поделиться всем, что есть у меня лучшего, с моими подругами и пылкость к защите слабого от притеснений сильного. В этом последнем случае я увлекалась порывом негодования, не спрашиваясь сил своих. Мне не было еще полных тринадцати лет, когда я в один день, проходя вечером мимо детской горницы, услыхала плач маленькой сестры моей; я отворила дверь, и дитя бросилось ко мне, прося защиты от матушкиной горничной женщины, которая хотела уложить ее спать, а ей хотелось еще поиграть. Я просила Марину позволить ребенку заняться еще с полчаса своими игрушками, но сердитая малороссиянка закричала: «Нет, нет! пусть сейчас ложится!» — и взяла ее за руку, чтоб поставить перед образом, говоря: «молись же!» и начала было ей сказывать молитву, но не имела для этого времени: руками, которые управляли Алкидом, я охватила стан Марины, с силою подняла ее от пола и, несмотря на сопротивление, вынесла ее в сени на крыльцо и убежала обратно в горницу к сестре, которая прыгала и хохотала от радости. Я заперла за собою дверь и не впустила Марины прежде, пока не прошли те полчаса, которых просила я у нее из чести. К счастию, женщина эта постыдилась жаловаться матушке, а то мне за мое заступление пришлось бы дорого расплатиться.

К концу тринадцатого года моего от рождения я сделалась равнодушна ко всем забавам своего возраста и, благодаря стараниям отнимать у меня все, к чему только замечали мою привязанность, я не любила никого, исключая Алкида; но привязанность к коню не имела ничего сходного с привязанностью к кроткой и ласковой собачке или к какой-нибудь птице. К бодрому и сердитому Алкиду отношения мои были совсем другие: я могла укрощать его, принося ему овса, хлеба, сахару, соли, и после садиться на него и ездить, где ему хотелось из благодарности во-

зить меня; но я не могла быть с ним всегда, не могла так пестоваться, как с собачкою или птичкой: надобен был и другой возраст, и другие обстоятельства, чтоб сделать Алкида столько бесценным для меня, как он был впоследствии.

Когда истребились все роды привязанностей в сердце моем, когда я уже не любила никакого животного, ни четвероногого, ни двуногого, тогда, надобно думать, от пустоты душевной сделалась я до нестерпимости резва; и не удивительно, что матушка решилась от меня избавиться, отвезя в Малороссию к бабушке. Странные выходки мои тем более ненавистны были матери моей, что я росла, как говорится, не по дням, а по часам. Я имела просто вид осьмнадцатилетней девки — по крайности, так говорила матушка; а шалостей моих нельзя было бы простить и пятилетнему ребенку!.. Каково было матери моей видеть дочь, почти взрослую и к тому ж нелюбимую, лазящую по деревьям, сбивающую камнями гнезда с них; а что всего страннее, смешнее и неприличнее, прыгающую с крыши или балкона на землю!.. Не понимаю и теперь, как я не изуродовалась, как не повредила чего-нибудь внутри, соскакивая с четырехаршинной высоты вниз.

В Малороссии резвости мои понемногу утихали с первых месяцев; только я бегала за девками с змеею в руках и выискивала каждый вечер самую огромную лягушку, чтоб посадить ее под кресла, на которых сидел дядя мой. Он смертельно боялся этой гадины, и страшная суматоха, которая поднималась в целом доме от моей лягушки, казалась мне очень занимательным спектаклем!.. А всего утешительнее было для меня чистосердечное удивление тетушки, по какому чуду лягушка заходит каждый вечер на второй этаж дома и именно для того только, чтоб сидеть под креслами дяди моего!.. Но чтоб подумать на меня, приписать это моей шалости — сохрани боже! Вид мой был в совершенной противоположности с моими поступками. Строгое содержание в доме матери, привычка бояться ее напечатлели на физиономии моей какую-то робость, по которой никак нельзя было предполагать во мне способности к таким отчаянным шалостям.

К концу четырнадцатого года моего я увидела опять себя под кровом отеческого дома, и время прошло до шестнадцати лет, как выше описано.

ДОН

В чистых патриархальных нравах войска Донского, в его родной земле я находила самым благородным, что все их сотники, эсаулы и даже полковники не гнушались полевыми работами!.. С каким уважением смотрела я на этих доблестных воинов, поседевших в бранных подвигах, которых храбрость делала страшным их оружием, была оплотом государству, которому они служили, и делала честь земле, в которой родились! С каким уважением, говорю, смотрела я, как они сами возделывали эту землю: сами косили траву полей своих, сами сметывали ее в стога!.. Как благородно употребляют они время своего отдохновения от занятий воина!.. Как не отдать справедливости людям, которых вся жизнь от юности до могилы посвящена пользам или отечества, или своей семьи; как не отдать им преимущества пред теми, которые лучшее время жизни проводят, травя беззащитных зайцев и отдавая хлеб детей своих стае борзых собак!

Как я теперь весела от утра до вечера!.. Воля — драгоценная воля! — кружит восторгами голову мою от раннего утра до позднего вечера! но как только раздастся мелодическое пение казаков, я погружалась в задумчивость, грусть налегает мне на сердце, я начинаю бояться странной роли в свете, начинаю страшиться будущего!.. Национальный напев казаков трогает, отзывается грустью, и сюжет песен их почти всегда трагическое происшествие, где главную роль играет *душа добрый конь!..* и, разумеется, седло черкесское, уздечка шелковая, стремена позолочены!.. Второе лицо: молодой казак, тяжело раненный!.. Народные песни добрых казаков показывают воинское ремесло их и неиспорченность нравов; всегда воспеваемый герой, делая предсмертные поручения душе доброму коню, велит ему бежать стрелой к дому своей матери и говорить почти так же, как у малороссиян:

Да як выйде к тоби да стара маты,
Ой знай, коню, що й одвичаты.

Уважение к родителям, безусловное повиновение воле их и заботливое попечение об них в старости служат отличительною чертою свойства обитателей Дона и несомненным доказательством чистоты их нравов.

ГУДИШКИ

Я перехожу из очарования в очарование!.. Польша!.. одно это слово сводит меня с ума от радости!.. Итак, вот этот край... театр стольких происшествий!.. Но где все то высказать, чем полна душа моя!.. Это тот край, в котором любовь поставила престол свой!.. Это тот край, в котором женщина — владычица!.. Женщина — герой, полководец, министр!.. Это тот край, в котором женщина управляет всем, покоряет все единственною, необоримою властию, властию ума, красоты и любезности!.. Сколько блеска, сколько жизни, сколько чарующей таинственности в прелестном краю этом, и как прекрасны места здесь!..

Или уже это новость причиною, что все здесь приводит меня в восторг!.. Но мне даже эти глинистые поля, усеянные камнями, кажутся чем-то необыкновенно хорошим; я хожу по них несравненно с большим удовольствием, нежели дома ходила по Старцовой горе, к Ерамаске, к Сигаевской мельнице, по дороге к Дубровке!.. У нас эти места считаются картинными; но здешние места имеют пред ними два великие преимущества: одно то, что я вижу их в первый раз, что они новы для меня; а другое то, что они полны воспоминаний, и каких воспоминаний!.. говорящих сердцу, душе, наполняющих ее чувствами умиления, удивления, энтузиазма!.. Сколько имен приводят на память эти безмолвные поля!.. Ян Собиесский!.. Валленрод! Альдона!.. Все, что я когда-нибудь читала о происшествиях этого края, о войнах Литвы, все это оживляется предо мною, все это движется на этих полях, возделываемых теперь худыми, бедными chłopami [1], которые следят меня бессмысленно глазами

[1] мужиками *(польск.)*.

и никак не понимают, зачем молодой улан таскается во всякую пору по их болотистым полям, останавливается, смотрит то в ту, то в другую сторону, и лицо его делается то печально, то радостно!.. Что может дать им понятие о том чаде, который кружит теперь мою голову!.. Литвин мало чем разнится от тех баранов, с которыми живет в одной избе!.. Уж нет тех литвинок, ходивших некогда к Вилии за водою; ни об одной из них нельзя сказать piekna litwinka co w niey czerpie wode, ma serce czystsze, slioznieysze jagody!..[1] Теперь это просто женщины, дурные лицом, дурно одетые и которые говорят: *поручникос деньчикос праша рашке,* то есть: денщик поручика просит миску. Можно б, кажется, разочароваться! Однако такова сила воспоминаний: я смотрю с удовольствием на бледных, худых chłopów z koltunamu[2] на голове, на безобразных баб и девок с зобами на шее, потому что это потомки тех, которые черпали воду в Вилие и которых красота превосходила красоту струй, отражавших в себе небо голубое!.. те, которые доблестно воевали с рыцарями храма!.. одним словом: это литвинки! это литвины!..

Пока эскадрон наш выправится, выучится и выхолится так, чтоб можно было его представить с пользою пред лицо неприятеля, Казимирский велит мне и Вышемирскому выполнять все обязанности службы наравне с старыми солдатами. Товарищ мой находит это распоряжение очень неприятным, а я напротив. Унтер-офицер мой, видя, что я всякое поручение исполняю скоро, охотно и с удовольственным видом, мало заботился наблюдать очередь в своих нарядах; но как только надобно было куда послать, сейчас посылает меня. В один вечер принесли от ротмистра записку, которую надобно было отвезть к одному из взводных начальников, квартировавшему от нас в пяти верстах, в селении *Гудишках.* Солнце уже закатилось, когда унтер-офицер пришел ко мне на квар-

---

[1] прекрасная литвинка, что черпает в ней воду, сердцем чистая, прекраснейшая лицом *(польск)*.

[2] мужиков с колтунами *(польск.)*.

тиру с этою запискою. «Съезди, Дуров, с этою бумагою к поручику Б-ву; теперь еще не так темно, солнце только что село; не тебе бы очередь, да где того ленивца докличешься. Пожалуйста, поезжай ты». На этот раз мне что-то не хотелось ехать; однако ж я оседлала Алкида и поехала в раздумье: не слишком ли я уж ревностно берусь за всякое поручение?.. Ведь этим никого не удивишь! Непросвещенный унтер-офицер рад случаю без хлопот и без возражений посылать одну меня, избегая чрез то ссоры с беспокойными головами!.. На беду, весь этот полк из дворян, хотя, не во гнев им, я думаю, что дворянство их легко, как пух; но несмотря на это, каждый из них не уступит ни на шаг — так они всегда выражаются,— если думают, что ими повелевают пристрастно. Между тем что я ни думала, но все ехала вперед, и в поле стало совсем темно; дорога, однако ж, была видна, я ехала рысью, чтоб поскорее отделаться от своего поручения, и вот въехала в деревню, подъехала к окну первой избы, постучала в него поводом. «Чого тоби?» — спросил женский голос. «Как называется эта деревня?» — «Деревня? Гудишки».— «А где квартира поручика?» — «Якого поручика?» — «Офицер где стоит?» — «Офицер? здесь нет офицера!» — «Это не те *Гудишки*, товарищ,— отозвался голос солдата,— есть другие, в версте только отсюда».— «Да куда ж надобно ехать?» — «Да прямо, куда ж больше? здесь одна только улица; выедешь за деревню, так увидишь Гудишки вплоть». Я поехала, выехала за деревню и точно увидела селение очень близко; но прямо проехать к нему нельзя было: надобно объезжать очень большое болото, поросшее кустарником. Нечего делать, я поехала кругом. Наконец я и опять в селении, опять стучу поводом в слюду окна, опять тот же вопрос: «чого тоби?», и опять на вопрос вопрос: «как зовется деревня?», и опять ответ: «Гудишки»; одним словом, точь-в-точь так, как было в первых Гудишках: «где офицер?.. какой офицер?.. здесь нет офицера!»... Даже Алкид мой выходил из терпения! Здесь тоже стояли солдаты. «Не знаете ли вы, где здесь квартирует уланский поручик Бо-в?» — спрашивала я двух или трех проходящих мимо меня драгун. «Как не знать... Один уланский офицер кварти-

рует версты две отсюда, в Гудишках».— «Опять! да ведь это Гудишки?..»— «Конечно, Гудишки; но здесь стоим мы, драгуны, а уланы дальше».— «Нельзя ли мне дать проводника?» — «Только намекните им об этом, так ни одного мужика не найдете в целой деревне, все до одного спрячутся».— «Ну так хоть расскажи мне, как найти эту деревню, где стоят уланы».— «Да это под боком; как за деревню, так и увидите. Зимой полверсты только дороги, а теперь болота не допускают; кругом будет версты две; но дорога все одна, не заплутаетесь; держитесь только все вправо». Я поехала. За деревнею дорога круто повернула влево; а ведь мне сказано держаться вправо; но вправо нет вовсе дороги... Однако в той стороне отдавался собачий лай, итак, там должна быть деревня; к тому ж и Алкид мой сам собою повернул тотчас направо. Он хотел было галопировать, однако ж я удержала. Кто знает, чем еще кончится и когда кончится такой несчастливый поход.

Более часу ехала я почти наудачу, потому что дорога то появлялась под ногами коня моего, то опять исчезала. Здесь я не могла ввериться безусловно инстинкту Алкида, потому что рисковала попасть в болото, если б дала ему волю идти прямо в ту сторону, где он предчувствовал жилье; итак, при малейшей топкости места я сворачивала в сторону; но, выехав на твердую землю, опять направляла Алкида туда, откуда от часу явственнее слышался лай собак; наконец я вдруг увидела себя близ домов. Все уже спало в этих низеньких, крытых соломою лачужках, огня не видно было ни в одном окне. Я проехала далее в середину деревни; но надобно же было начать тем, чем начинала в двух первых деревнях: надобно было спрашивать, что это за деревня? Начался приступ по-прежнему. На стук мой в окно отвечала сперва одна только маленькая собачка испуганным ворчаньем, а после пронзительным лаем с визгом; этот лай и мой стук разбудили наконец все, что было усыплено в мрачной внутренности этого обмазанного короба, в котором литвин живет и называет своим домом. «А кто там?.. чого тоби?» — «Какая это деревня?» — «Гудишки».

Я несколько времени оставалась безмолвна; мне

что-то уже страшно было спросить: где квартира офицера? и я решилась прежде узнать, кто стоит здесь — конница или пехота, итак, я начала опять спрашивать: «А кто квартирует у вас?..» — «Коннопольцы».—«Ах, слава богу! наконец я нашла, что искала. У кого стоит офицер? Укажи мне!» — «Здесь нет офицера». — «Как?..» — «Чого тоби?» — «Нет офицера?» — «Да нет же; офицер в другом селе». — «Далеко отсюда?» — «Четыре версты».— «От часу не легче! А как [называется] то село, где офицер?» — «Гудишки».— «Боже мой! не заколдована ль я!.. Что за проклятые Гудишки обступили меня кругом!.. Будет ли им конец!..» — это я только думала... Наконец опять стала спрашивать: «Много уже прошло ночи?» — «А бог знает! думаю, что уж будет за полночь».

Что тут делать?.. Из Гудишек не выпутаешься!.. Дороги не видно, а теперь ехать четыре версты!.. Не ехать нельзя!.. Проводника не дадут!.. Поеду опять наудачу. «Куда же мне ехать из деревни?» На этот вопрос я не получила ответа. Пока я думала и передумывала, что делать, крестьянин заснул. Снова стучу, снова лай и визг, и снова: «чого тоби», но уже с досадою и бранью: *«от се якийсь бис наскочыв!..»* — «Как проехать в те Гудишки, где офицер?..» — «Прямо, все прямо! никуда не сворачивать!» Ну хорошо, это, по крайности, безопасно; теперь уже не заплутаюсь, прямо ехать немудрено!.. Алкид шел нехотя; ему, верно, казалось очень странно, почему я ни в одной деревне не остановилась ни на минуту, не вставала с него и почему он этой ночью не может никуда отвезть меня!..

Я продолжала ехать все прямо и думала уже, что как по шнуру докачусь наконец к месту своего назначения. Теперь я не видела надобности тащиться шагом, дотронулась легонько ногами к бокам Алкида; он поднялся в галоп и после двух скачков стал, как вкопанный... Передо мною был забор вышиною вровень с головою коня моего и тянулся вправо и влево на такое пространство, о котором я не могла иметь никакого соображения, потому что было темно, и я видела только то, что было передо мною!.. Прошу теперь верить чему-нибудь! Что могло быть определительнее этих слов: «прямо, все прямо, никуда не

сворачивая!»... Но как же не свернуть, когда прямо забор такой вышины, которую нельзя перескочить! Как тут не свернуть!.. Я поворотила направо и проехала вдоль забора.

Я все ехала, забор все тянулся. Наскуча видеть его неотступно с левой стороны, я оборотила лошадь, проскакала в галоп до того места, от которого повернула вправо, посмотрела через забор, нет ли там дороги; но, не видя ничего, решилась ехать влево до тех пор, пока проеду эту досадную загороду. Она, однако ж, не кончилась, но повернулась круто вправо, туда же повернула и я, рассудя, что благоразумнее держаться чего-нибудь солидного, нежели плутать наудачу в поле.

Мне казалось, что я проехала верст около двух все близ забора, по крайности я так думала, бесполезно стараясь вслушаться, не лает ли где собака. Все было тихо!.. Теплая и прекрасная весенняя ночь была темна, земля сыра, и снег не во всех местах еще сошел. Несмотря на темноту, я могла заметить, что в стороне этой было много болот и что они местами поросли мелким кустарником. Эти соображения заставили меня наблюдать большую осторожность и держаться своего забора как такого путеводителя, с которым я не рисковала утонуть в болоте; но вот забор опять круто поворачивает вправо!.. Вплоть к углу его подошла дорога; но куда и откуда?.. На эти вопросы отвечать некому. Однако ж если я все буду поворачивать направо, то, разумеется, объеду кругом забор и не подвинусь ни на шаг ближе к селению; итак, надобно ехать дорогою. Не может быть, чтоб она была через болото! Разве это зимняя!.. Надобно бы рассмотреть. Я встала с Алкида, наклонилась к земле и рассматривала дорогу: на ней видны были недавние следы колес и копыт конских, я опять села на седло, но Алкид, казалось, был недоволен этим: он не трогался с места и оборотил круто свою голову ко мне. Я тотчас встала опять и повела его в поводу; он пошел, наклоняя морду до земли и стараясь захватить траву, которая только что начала показываться. Бедный конь устал и проголодался!

Наконец нетерпение кончить скорее странный и неприятный вояж свой взяло верх над желанием

дать отдых Алкиду; я села на него и, не спуская глаз с дороги, поехала рысью. Скоро я услышала глухой лай собаки!.. Даже Алкид мой обрадовался при этом сигнале близкого окончания нашего ночного плутания, он вздрогнул и пошел в галоп; я не удерживала. Чрез полчаса что-то зачернелось вдали, как будто густая темная туча лежала на земле.

Близясь с каждою минутою более к черной массе, я увидела ее наконец обратившуюся сперва в лес, потом в стоги сена, а наконец в ряды домов, похожих на раздавленную черепаху, маленьких, почерневших, с оборванными соломенными крышами. *«Худая стоянка лучше доброго похода!»* — пословица всех старых солдат сейчас пришла мне на мысль, как только я почувствовала, что вид этих закоптелых развалин обрадовал меня не меньше, как и моего Алкида. В деревне все было погружено в глубокое усыпление, даже собаки лаяли нехотя, изредка и каким-то сонным голосом. Туго сплетенный конец ременного повода опять стучит в слюду окна, и я уже ожидала обычного и неизбежного *чого тоби?,* однако ж на этот раз меня спросили по-польски: «Kto taki?..» [1] Я отвечала: «Коннополец».— «A kolego!.. jak sie masz? cóz to na kresach?..»[2] — «Нет, не на кресах; так вздумалось Батовскому послать; на глаза попался!.. Скажи, пожалуйста, где квартира поручика?» — «Какого поручика?» — «Ну, вашего, Бо-ва».— «Он квартирует не здесь!» — «Да это настоящее заколдованье!.. Недостает только, чтоб это село было Гудишки и чтоб офицер был не здесь, а около версты отсюда в Гудишках!» — «Да так точно и есть,— отвечал улан,— это село называется Гудишки; в версте отсюда другое, тоже Гудишки; и там квартирует Бо-в. Когда ты так хорошо это знаешь, на что ж расспрашиваешь?»

Голова у меня шла кругом!.. Уж не сделалось ли какое преобразование в эту ночь во всем, что было построено на шаре земном!.. Кто мне поручится, что к рассвету я не увижу всю поверхность нашего полушария, усеянную Гудишками, и ничем более, как Гудишками! Что это значит?.. Не из земли ль они воз-

---

[1] Кто такой?.. *(польск.)*

[2] А, коллега!.. как себя чувствуешь? ты на кресах?.. *(польск.)*

никли в эту ночь? Алкид бил копытом в землю и оборачивал голову ко мне то направо, то налево. Ах, бедный конь! бедный конь!.. А ведь еще надобно ехать!.. «Ты точно уверен, товарищ, что не более версты до квартиры Бо-ва?» — «Я думаю, и версты не будет; это тотчас за селом, как выедешь».

Я погладила моего Алкида. Нечего делать, мой добрый конь, уж эту версту проедем, а там и на покой. Я поехала рысью и точно увидела что-то чернеющееся недалеко от села. В полной уверенности, что это наконец квартира офицера, к которому записка, я поехала самою большею рысью и приехала к густому лесу... Я встала с лошади, решась идти пешком всю дорогу, сколько ее еще подготовит мне насмешливый случай. Мне чуть не до слез было жаль моего Алкида!..

Я вступила в темный лес; дорога шла широкая и многоезженная, заплутаться нельзя!.. Алкид беспрестанно наклонял голову, искал травы; но тут ее не было. Между тем начало светать; я увидела, что лес очень редок и невелик. При выходе из него дорога разделялась надвое и пошла в разные стороны. При помощи рассвета можно было усмотреть впереди две деревни; я пошла наудачу направо, в полчаса дошла до ней и в первой избе имела удовольствие еще раз услышать, что деревня эта — Гудишки; но что офицер квартирует не здесь, а с полверсты отсюда, в других Гудишках!.. Очень рада! но пусть проклятие ляжет на все Гудишки, сколько у вас их есть, а я далее не поеду!.. Я отвела моего Алкида в корчму, расседлала, подостлала ему соломы, положила сена, накормила хлебом с солью, укрыла своей шинелью; чрез четверть часа напоила водою, смешанною с овсяною мукою, и, оставя его под надзором жидовского работника, понесла записку пешком в деревню к Бо-ву, потому что она точно была не более полуверсты от места, где я оставила отдыхать мою лошадь.

«Почему этот глупец Батовский не прислал этой записки вчера? — спрашивал меня Бо-в, проворно вскакивая с постели (он только что проснулся).— Здесь написано, чтоб я прибыл в эскадронную квартиру с моим взводом в четыре часа утра!.. Когда получена у вас эта записка?» — «Вчера вечером и тот-

час отправлена к вам. Тут никто не виноват, кроме странного случая: я всю ночь ездил из Гудишек в Гудишки!» — «Тут никто не виноват, кроме дурака твоего унтер-офицера!.. Разве он не мог дать тебе проводника?..» Между тем Бо-в поспешно одевался и приказал седлать лошадей. Попрося у него позволения удалиться, я пошла скорыми шагами обратно в деревню, где оставался мой Алкид. Он спал очень покойно на своей соломенной постели.

Оставя его покоиться, я взошла в корчму. Там, за перегородкою, раздавалось жалобное завывание евреев, молившихся богу; за столом сидело уже несколько потомков Валленрода; перед ними стояла кварта водки и лежало несколько обаранок. При входе моем они было с робостию поднялись с своих мест, говоря: «Dobry deń panu Zolnierzowi...» Но, взглянув на меня, уселись опять очень покойно, сказав мне довольно фамильярно: «Siadyi, moskaliu молодый, с нами!.. Chzesz wódku?»[1] — «Нет, друзья, благодарю; пейте сами». Я села на стул и не знала, как сладить со сном, который смыкал глаза мои. Один из литвинов вынул гадкую табакерку из бересты, отворил ее и с услаждением начал нюхать табак, который, без сомнения, был еще хуже того куска березовой коры, в котором хранился. Я слышала, что табак прогоняет сон. «Можно мне взять немного?» — спросила я, подойдя к столу и протягивая руку к табакерке; но мне не было уже надобности в ней; довольно приблизиться к той отвратительной пыли, которою она была наполнена, чтоб чихнуть ровно двадцать раз и чтоб прошел сон не только от усталости, но даже если б наслан был очарованием.

Набожное вытье за перегородкою утихло. Арендатор, сухой, длинный жид с плутовскою физиономиею, но вместе умною и насмешливою. Он спросил меня, не прикажу ли я сварить для меня кофе?.. «Моя жена,— говорил он,— делает его превосходно!» Я хоть не любила кофе, потому что дома никогда мне не давали его, однако ж согласилась на предложение еврея.

---

[1] Добрый день пану военному... Садись, русский... Хочешь водки? *(польск.)*

Пока Сора и Рифка (Сарра и Руфь) хлопотали и суетились подкрашивать кофе, чтоб был темен (без крепости, однако ж, приличной этому цвету), пока искусно подбалтывали муки в молоко, чтоб дать ему вид густых сливок, еврей подсел ко мне разговаривать: «Вы, конечно, дворянин?» — «А что?» — «Это видно по всему».— «Можно ошибиться; но оставим это. Для тебя, я думаю, все равно, кто б я ни был, а вот скажи мне лучше, кому принадлежат эти деревни? — Я указала рукою в окно, из которого видно было большое пространство плоской, болотистой земли, с частыми низенькими перелесками и кустарниками, а между ними множество небольших сел, или вёсок, как их называют в Польше.— Одного они помещика или разных?..» — «А! это вы спрашиваете о двенадцати Гудишках?.. Они все принадлежат одному пану Шамбеляну, короны польской графу Тор-ле».— «Но зачем же всем им дано одно название?» — «Не могу вам рассказать хорошо, отчего именно, потому что и сам худо знаю об этом. Носится какое-то предание, что еще во время Литвы граф этот переселился к нам откуда-то, кажется, из Польши. Он был очень богат, имел большую семью и много людей; в числе прислуги его был мальчик лет одиннадцати, чудесной красоты, но самого дьявольского свойства: детские шалости его носили на себе резкий отпечаток злодеяний. Я знаю многие из них, но не хочу оскорблять вашей чувствительности этим рассказом; довольно вам знать, что мальчик этот имел способность совершенно натуральную подражать крику всякого животного, всякой птицы и всякому звуку, как-то: шелесту листьев, журчанию воды, шуму каскада, разбитому стеклу, одним словом, всему, что только дает голос свой в природе... Но всего лучше копировал он гул колокола погребального!.. Настоящий звук не производил такого замирания сердца, как гудение этого зловещего голоса!.. За это страшное преимущество все семейство графа называло его *Гудишек;* иногда присоединяли к этому название *гробовый,* но после отменили, и при нем осталось только первое. Тут я уже теряю нить происшествий. Известно только то, что у графа было одиннадцать дочерей, что Гудишек этот вырос, был очень хорош собою и был одним из величайших злодеев; что

семейство графа погибло каким-то сверхъестественным образом в одну ночь; что граф был свидетелем ужасов, от которых сошел с ума, но жил, однако ж, долго и пришел в рассудок за один час только до кончины. Говорят, будто бы он просил наследника, племянника своего, тоже графа М-го, чтоб он дал другое название всем Гудишкам; но, видно, воля его не была уважена, потому что они и теперь так называются... Но какую связь имеет это наименование деревень с тем, которое дано было злому мальчишке, об этом нет даже ни малейшего намека в рассказах народных, хотя очевидно, что они должны быть тесно связаны между собою каким-нибудь необыкновенным случаем... Надобно думать, что тайна эта слишком ужасна и мало делает чести фамилии, к которой относится, когда употреблены такие успешные меры, чтоб скрыть ее совершенно».— «И нет никаких догадок?» — «Никаких».

Чернобровая Сора, с быстрыми глазами и алым ртом, поставила передо мною поднос со всем, что должно быть подано к кофе, и спросила: сам я буду наливать или прикажу ей, и с этим словом нанесла руку на сахарницу, чтоб взять кусок. Я поспешила остановить... Жидовки очень хороши лицом, но сахар надобно брать самому.

Смесь эта, которую Сора величала кофеем и которую по справедливости можно было назвать сладкою микстурою, укрепила меня и ободрила. Счастливое свойство молодости! Уж, верно, совершеннолетнему человеку кофе этот, вместо пользы, принес бы вред.

Расплатясь с арендатором, я вышла проведать Алкида. Он уже был неспокоен и приветствовал меня тихим, благородным ржанием. Алкид редкий конь!.. У него есть ум и какой-то род вежливости; он никогда не ржет глупо, во весь голос, как делают другие лошади. У него, напротив, есть что-то мелодическое, что-то нежное в этом единственном способе, какой дала ему природа изъявлять свою радость.

Возвращаясь на квартиру, я имела удовольствие окинуть глазом все двенадцать Гудишек, рассеянных кругом не более как на двадцати верстах расстоянием, и благодарила судьбу, что она не заставила меня объехать их всех и не дозволила услышать прежде о проклятом паже Гудишке. При всей смелости, данной

мне природою, гробовый Гудишек мерещился бы мне на каждом шагу.

«Я думал, что ты утонул в болоте и с Алкидом»,— сказал мне Батовский, когда я приехала на свои квартиры. «Да ведь только этого и недоставало».— «А что?» — «Да так! вы протурили меня без проводника, вечером, в село Гудишки... Как бы вы думали, сколько их здесь?..» — «Кого?» — «Гудишек».— «Не знаю! Я думаю, одни только».— «Их ровно двенадцать, и я был под видимою защитою неба, потому что проехал только в пять из них, а остальные увидел уже сегодня утром, проезжая мимо».

ДОМБРОВИЦА

Уланы нашли какой-то секрет расположить к себе старого графа П. а. е. а, а особливо жену его до такой степени милостиво, что так же долго и шумно веселятся в доме его, как будто у кого-нибудь из равных себе, молодых шалунов. Нет уже и в помине раннего ужина в восемь часов; напротив, это время, кажется, никогда уже не настает в сутках, проходящих в доме графа; по крайности, на часах мы уже не видим стрелки на числе «восемь». Но прямо от шести или семи с половиною она перескакивает к десяти; но не прежде, как в самом деле будет уже двенадцать. Иногда граф удивляется странному ходу своих часов; но графиня даже и не замечает этого. Из всего общества нашего веселее всех она сама.

Я так же ревностно посещаю графские балы и так же ревностно танцую, как и мои новые товарищи; хотя в последнем находят меня очень застенчивым, особливо дамы очень неохотно идут со мною, потому что от той минуты, в которую пара моя подаст мне руку, и до конца кадрили или котильона ей должно, как ученику Пифагора, осудить себя на молчание, потому что я никогда ни слова не говорю ни с одною из них, и если моя дама, конечно, для удостоверения, не лишена ль я способности говорить, зачинает сама, то я отвечаю как могу короче и, по большей части, одними: «да» и «нет».

Я никак не могу понять, отчего полковник наш при разводе нисколько не похож на то, чем он бывает по-

утру у себя в комнате. Вчера я пришла к нему часу в десятом рапортовать о исправности караулов и чуть было не спросила его самого: «встал ли полковник?»

Дома ему сорок лет; перед разводом двадцать пять! Дома, и именно поутру, он пожилой мужчина; но когда совсем оденется, это молодой красавец, от которого не одна голова кружится и мечтает.

Старшему Торнези вздумалось очень неудачно пошутить. Мы поехали в Стрельск, по обыкновению, на плетеной бричке, трое; ямщик у нас был мальчик лет четырнадцати, робкий, худой, больной и, как видно, очень запуганный: при всяком повышении голоса кого-нибудь из нас он приметно вздрагивал; я одна только обращала на это внимание и, чтоб сколько-нибудь ободрить его, спросила: «умеет ли он хорошо править?» В ответ на это он ударил длинною хворостиною лошадей своих, которые, однако ж, не прибавили шагу. «За что же ты бьешь их?.. Ведь они хорошо бегут». Другой удар и робкий взгляд были ответом. Лучше замолчать: он, видно, не понимает. Между тем мы подъехали к крутому спуску на поёмные луга; лошади наши были не взнузданы, а пристяжные и не обвожены. Я советовала выйти. «Напротив,— отвечал Торнези,— мы тут лихо отхватаем. Послушай, мальчик, видишь ты этот камень, что лежит на дороге?» — «Вижу».— «Ну, смотри же, правь так, чтоб ты непременно попал на него колесом».— «Чую, пане».— И с этим словом ударил лошадей изо всей силы своею хворостиною и точно наскакал прямо колесом на камень. От сильного толчка бричка полетела в сторону, и мы были разбросаны по дороге в весьма картинных положениях; особливо изобретатель этой потехи, старший Торнези, по какому-то чуду, долее нас оставался на воздухе, далее упал и больнее ушибся. Безответному вознице нашему не сделалось никакого вреда, чему я была очень рада. «Возможно ли, какой дурак! — говорил Торнези, подходя к бричке, которую мы должны были подымать: мальчик наш не имел силы для этого подвига.— Думал ли я, что он шутку мою сочтет за приказание и переломает нам ребра!..»

Нельзя ненаказанно оскорблять самолюбия людей, и как справедлива эта пословица: что *правда глаза колет*. Всякую насмешку, какую угодно язвитель-

ную, люди прощают, если она несправедлива; но если внутреннее чувство говорит им, что их скопировали удачно, тогда нет непримиримее врага, как справедливо осмеянный человек. Недели две тому назад, в одно скучное и жаркое послеобеда, вздумалось мне от совершенного уже безделья декламировать Жуковского *Людмилу.* Старший офицер, который лег было спать за перегородкою, но, видно, еще не заснул, отозвался вдруг:

«Сейчас видно, что это баба сочинила!..»

Ну что бы мне отвечать ему *не вдруг!..* Так нет: я тотчас сказала, что он не может судить о том, чего не разумеет; а как это была неоспоримая истина, потому что доблестный улан был небольшой грамотей, то ответ мой, заставя его замолчать, сделал, однако ж, из доброго товарища прочного врага, который никогда не пропускает случая дать мне это почувствовать. Взыскания его по службе слишком пристрастны, что иногда выводит меня из терпения, и когда я говорю ему, что *«такой вздор, о котором он столько распространяется, мог бы быть сказан в двух словах и не так жестко»*, то он отвечает: «в этом позвольте уже мне *разуметь более вас».*

Вечером рассказывала мне молодая госпожа Выр....ва, что в омутистой речке, протекающей близ Домбровицы, поймали неводом черта.

«Куда ж девали этот богатый лов?»

«Бросили опять в реку».

«Вы верите этому?»

«Отчасти».

«Как отчасти?.. Что вы хотите сказать?»

«Что вытащили из реки хоть и не совсем черта, но что-нибудь очень похожее на него».

«Да что ж может быть в наших реках похожее на этого обитателя мрака? Дело другое, в море, там много чудовищ, о которых простой народ не имеет понятия; так, если б одно из них, по какому-нибудь чуду, завелось в нашей речке и было вытащено, тогда можно б поверить сходству его с сатаною... Но как этого нет, так я не понимаю, отчего такой странный слух!.. Не чурбан ли какой, облиплый илом, выставился из невода?.. Они от страха не рассмотрели».

«Нет, это было нечто живое; и когда ему дали свободу, то оно бросилось в воду и ушло на дно».

«Вы, кажется, хотите напугать меня».

«Вас!.. Напугать улана!.. Вот забавно!.. Неужели вы способны испугаться?.. Да и к тому же, что вам за дело до сатаны?.. Я думаю, у вас нет с ним никаких сношений...»

«Теперь нет, но могут быть».

«Право?.. Ах, как это любопытно! Нельзя ли растолковать эту загадку?»

«Какая тут загадка! Тут просто беда. Ведь вы говорите, что mauvaix esprit[1] вытащен был из нашей речки и опять в нее брошен?»

«Да! но что ж из этого?»

«А вот что: в этой речке я всякую ночь купаюсь ровно в двенадцать часов».

«Какой вздор!.. Зачем непременно в двенадцать, в этот страшный час владычества духов, мертвецов и привидений?»

«Шутите, шутите! А двенадцать часов ночи имеют свои привилегии, которых никак нельзя отвергать».

«Например?»

«Например, лев рыкает ровно в двенадцать часов ночи, собака воет, петух поет, в это же время страшный сон видится; сердце ноет; грустно припоминается потеря невозвратимая друга, отца, чего-нибудь еще более милого, чем друг и отец; и все это непременно в полночь! Хоть посмотрите тогда на часы, когда это случается с вами. А, кстати! и срок близко.— Я указала Вы....вой на часы; стрелка была на десяти минутах двенадцатого.— Простите! Оставляю вам свободу для испытаний».

«Вы домой?»

«Нет, в реку».

«Шутите! К чему так поздно?»

«Раньше нельзя: днем полон берег людей; вечером то на службе, то у вас; одна полночь моя».

«Смотрите, однако ж, будьте осторожны. Оставя все вздорные слухи, легко может быть что-нибудь опасное в этой реке, исполненной омутов. Советовала б не искушать...»

---

[1] злой дух (*фр.*).

«Кого?.. Вы, верно, хотели сказать: не испугать?.. Не опасайтеся, не испугаю и не испугаюсь: в омутах нашей речки обитают одни только раки и караси».

Окончa это пустословие, я в самом деле пошла купаться. В целой Домбровице отзывались одни только сигналы часовых, остальное все было погружено во сне; ночь была темная и тихая; я сбежала на берег, разделась и вошла в воду, ни о чем так мало не думая, как о страшилище, вытащенном рыбаками, и вовсе не ожидая, чтоб оно пришло сделать мне компанию вместе купаться. Противоположный берег хотя был близок, но как было очень темно, то его и не видно, но слышу я, однако ж, что-то бросилось с него в воду и прямо против меня; а как вода все-таки имела какой-то отблеск, то мне и видно было, что существо, прыгнувшее в воду, плыло прямо ко мне, что оно было черно и космато, но не слишком велико; впрочем, огромность его могла скрываться в воде. Оно плыло быстро, сильно рассекало воду и еще сильнее пыхтело. Я рассудила посторониться, чтоб неведомое животное могло беспрепятственно выйти на берег; итак, приняв в сторону шага на три, я имела удовольствие видеть, что на берег выскочила свинья и бросилась бежать со всех ног, верно испугавшись моей головы, которая одна только виднелась поверх воды.

На другой день, тотчас после развода, я пошла к Выр....вой рассказать, как *неблагородно* превратился *лукавый*. Она много смеялась, и мы согласились с нею, что всем чудесностям служат основою почти всегда похожие на этот случай... Например, если б вместо меня вчера купался суеверный крестьянин или солдат и был свидетелем этой, очень естественной, переправы нечистого животного, кто б его уверил тогда, что это не сам Луцифер собственною особою изволит переплывать реку?

ЛИТЕРАТУРНЫЕ ЗАТЕИ

Одного дня собрались все мы у Ар...., и было уже около девяти часов вечера, когда пришел к нам Груз....в. Он возвратился из *рекогносцировки:* так называл он невольную прогулку свою по грязному ме-

стечку в звании дежурного по караулам. «Что за негодное время, братцы! — говорил он, сбрасывая мокрую шинель свою на руки Ар....ва денщика.— Что за негодное время! Посмотрите вы на этот дождь, полюбуйтесь им! На что он похож? На мак, на пыль, на мглу и на все это вместе!.. А что за великолепная грязь! Как зеркало!..» Груз....в расположен был, кажется, высыпать несколько острот и сравнений, по его мнению, очень замысловатых; но как его никто не слушал, то он оставил бесполезный труд и подошел к столу посмотреть, чем его товарищи так прилежно занимались.

Шестеро их сидели около этого стола в глубоком молчании, устремя неподвижные взоры на руки седьмого, раздававшего, подобно Зевесу, направо и налево злое и благое.

Гру....в поместился тут же, также замолчал и также устремил взор на эти две руки, из которых одна была в беспрерывном движении. Наконец радостное восклицание Р... *«Паллада моя!»* нарушило всеобщую тишину и было сигналом к шуму, смеху, восклицаниям.

«Фортуна во всем потворствует своему баловню,— говорил Гру...в,— именно *Палладу* хотел он выиграть, и вот она его!» Раз... оглушил нас, крича во весь голос своему неповоротливому денщику: «Робакон! Глух, что ли, ты? Поди на конюшню ротмистра Бе-е-го, возьми там вороную кобылицу *Палладу* и отведи ко мне; вели поставить особливо от других лошадей и покрыть голубою попоной. Послушайте, господа, я не играю более. Я без памяти рад, что залучил к себе красавицу Палладу, и уж, верно, не порискую опять потерять ее; а сверх того, мне уже до смерти надоело играть!» — «И мне тоже»,— сказал Ч...ий, отталкивая от себя карты далеко на средину стола. «А меня уж просто одурь взяла,— говорил С..., усаживаясь по-турецки на диван.— Ровно три часа водят наших лошадей из конюшни в конюшню и обратно; это жернов *Сизифа».*

— Кто ж вам велит катать его?

— А что ж прикажешь другое делать?

— Об этом вам стыдно было б спрашивать: ты,

Арский, стихотворец, они двое — превосходные музыканты, Лип....— сочинитель, Р....з — поэт...

— Боже мой, как ты смешон с своим торжественным провозглашением!.. Две недели сряду уже, как мы слышим всякий день игру Нав...ва и Яз...кого; и признаюсь, что, несмотря на превосходство их таланта, мычанье волов скоро уже покажется мне приятнее этого вечного бренчанья на гитаре. А о сочинителе и говорить нечего: нам не нужны средства от бессонницы; один только поэт был бы похож на что-нибудь путное, если б мог воспевать что-нибудь другое, а не наши балы и праздники полковые. Но этого рода поэзия кажется мне так несносна, так несносна, что я не нахожу слов, чтоб достойно разбранить ее; и предвещаю тебе, Раз...., что если ты не исправишься и будешь нести все ту же околесную: *ура* да *ура! ура* и *виват! с тобою навеки, мерзавец* или *красавец солдат!* и бог тебя знает, что ты тут прибираешь; — ну так если другого ничего не будет, то тебе придется разве своего *Кастора* схватить за хвост вместо черта и читать ему поэтические описания *бала, данного таким-то полком дамам такого-то города!* Итак, в ресурсе остаюсь я — стихотворец... Но знаете ли, друзья, от какого места моей комнаты отталкивает меня, как электрическою силою? От того угла, в котором стоит стол с моими стихами!

— Вот уже четверть часа, как слушаю тебя, Арский, и не могу понять. Ты говоришь, что Раз.... поэт, а ты стихотворец; да разве это не одно и то же?

— Разумеется, нет. Поэтом можно быть и без рифм; а стихотворцы непременно уже должны выражаться в *такту;* сверх того, название стихотворца, по моему мнению, можно дать всякому, кто только прибирает рифмы, хотя б в них не было искры человеческого смысла; но быть поэтом может только тот, кто получил от природы этот изящный дар, не зависящий ни от навыка, ни от наук. Название поэта не дадут без разбора всякому, кто пишет стихи.

Ар.... замолчал; офицеры разлеглись на диванах, затягивались табаком, зевали, бранили погоду. Ар.... опять стал говорить:

— Ну что ж, господа, неужели позволим скуке победить себя? Вы знаете, что нас побеждать могут

одни только прекрасные глаза прекрасного пола, а во всем прочем наше условие, девиз, пароль *не поддаваться неприятелю!* Итак, давайте ратовать против скуки. Предлагайте всякий, кто какое средство выдумает.

— Я не знаю, что тут предлагать, когда ты обраковал музыку, поэзию и стихотворство.

— Нет, нет! это все хорошо, но только чтоб не вечно одно и то же; не вечно у себя, подле себя или около себя. Для чего бы кругу наших забав и занятий не быть обширнее?

— Ты до чего-то добираешься, Ар...., только я не могу разгадать.

— А вот до чего, друзья: каждый из нас в жизни своей или слышал, или видел что-нибудь любопытное, забавное, трагическое и даже поучительное; пусть всякий опишет одно какое-нибудь из известных ему происшествий или хоть свою какую мысль, но только с непременным условием не выводить на сцену полка, его балов, праздников, парадов, и чтоб как можно реже встречались в наших анекдотах слова *лихой конь, шпоры, усы, сабля.*

— Усы нельзя ли выключить из этой опалы? Они ведь не принадлежат исключительно одному нашему кавалерийскому сословию.

— Ну, хорошо, усы могут играть роль, если понадобится, а более ничего.

— Позвольте и мне замолвить слово за коня: он также, если не ошибаюсь, сотворен природою не для одних улан или гусар.

— Ну, так! я знал, что если кто уже вступится за коня, так, верно, это Александров! Извольте, пускай *конь добрый, боевой, с детских лет товарищ мой* — пускай он гуляет по воле.

— Итак, у нас остаются в изгнании сабли и шпоры.

— Полно невпопад остриться. Вы хорошо понимаете мою мысль; говорите же, согласны ли на этот план?

— От всей души, любезный Ар.... . Мысль твоя превосходна! Теперь надобно уговориться, кому начать, как весть очередь и когда вступить в должность Шехеразады?

— Я, с согласия нашего осьмиугольного братства, вручаю тебе жезл управления: избирай и назначай!

— Что он там выдумал? Какое осьмиугольное братство? — спрашивал Р.... .

— Тебе все надобно в рот положить. Ведь нас восемь человек? Ну вот тебе и осьмиугольное братство!..

— Прекрасное объяснение! Поэтому каждый из нас брат и угол вместе!

— Отвяжись, пожалуйста!.. Ну, пусть будет осьмичленное братство!..

Офицеры захохотали: «Нет уже, брат, уволь от названия».— «А для чего ж ?.. Чем бы худо было название *общество осьмиугольной звезды?»* — «Вот еще что вздумал — общество!.. Смотри, ты забыл.......?»

— Ну, ну, бог с вами! обойдемся и без названия. Назначай же. Ар...., кому первая очередь.

— Если вы все единодушно избрали меня распорядителем этих затей, то я присуждаю начать младшему; и так, поочередно, окончится старшим.

— Младшему летами? Ну, так тебе, Александров, выступать на сцену.

— Нет, Р.... моложе меня.

— Извини, брат, у нас тот моложе, у кого нет усов...

— Как будто для ваших усов назначен всякому один и тот же возраст. Могут, я думаю, они расти годом ранее или позже.

— Слышишь, Ар....? Это начало бунта. Употреби свою власть.

Ар.... сказал мне, что он как кавалерист руководствуется верностию глаза и что глаз его находит меня моложе Р....; почему он и требует, чтоб я беспрекословно повиновался назначению главы сообщников.

Нечего делать! я уступила тем скорее, что в споре об усах я боюсь заходить слишком далеко.

— К какому ж дню прикажете быть готову?

— Все мы имеем очень хорошее мнение о ваших способностях, итак, завтра надеемся, просим и ожидаем должного приношения на наш осьмигранный жертвенник.

— Что за великолепную чуху занес ты, Ар....? Какой еще осьмигранный жертвенник?

— Ну, да вот, видишь, нас восемь, так уже я не знаю, как и возвеличить это число. Прощайте, однако ж! Полно балагурить: скоро двенадцать часов. Завтра, господа, сборное место у меня. *Завтра всех я ожидаю к вечернему чаю.* Adieu! Александров, не забудьте, что завтра вы должны явиться к нам с тетрадью в руках.

Такое требование не слишком затрудняло меня: в чемодане моем лежало множество исписанных листов бумаги. Я решилась посвятить часа три на то, чтоб пересмотреть их; выбрать, составить что-нибудь похожее на целое и завтра переписать набело. В этом намерении я вытащила из-под кровати чемодан, уселась подле него на пол, расшнуровала и, захватив рукою кипу бумаг, вынула ее на свет божий; и как же обрадовалась, увидя, что это одно из происшествий нашего дикого лесистого края: это *злополучная Елена Г***!*

Я толкнула опять чемодан под кровать, положила вынутые бумаги на стол, подле них приготовила несколько листов белой бумаги, чернил, перьев, песку; поспешно разделась, легла, закрылась с головой и вот думала, что сейчас засну. Не тут-то было! Кажется, как будто я, вынув описание жизни Елены Г***, вместе с этим вызвала ее с того света.

Хотя глаза мои были закрыты, но я видела ее; она являлася во всех изменениях: ребенком, девицею, молодою женщиною, красавицею, страшным уродом и, наконец, хладным посиневшим трупом, лохмотьями прикрытым! И когда доходила до этого последнего превращения, то опять начинала с того возраста, в котором я увидела ее в первый раз, грудным ребенком, сидящую в батистовой рубашечке на белой атласной подушке, обшитой блондами, и оканчивала тележкою, стоящею на улице под дождем и покрытой рогожею!.. Я потеряла терпение, встала, велела подать огня и села рисовать с натуры.

Вот передо мною описание жизни несчастной Елены Г***, и вот она сама в моем воображении переходит очевидно из возраста в возраст, из одного положения в другое; я слышу ее голос, детский плач, дет-

ский лепет, после веселый смех юности, вижу горькие слезы, бедность, позор, величайшую нищету, болезнь, ужасающую человечество, долгие страдания и лютую смерть!.. Товарищам моим и в голову не приходит, как страшно для меня мое полночное занятие!..

Я окончила свою работу, пересмотрела, поправила, переменила, где должно, *а* на ъ и отнесла к моим товарищам, будучи утомлена как нельзя более от этой всенощной сиденки.

На другой вечер была очередь Р.... Мы все собрались к Ар.... и с нетерпением ожидали прихода нового сочинителя; наконец, когда свечи уже подали и Ар.... начинал бранить медленность Р..., он явился с тетрадью в руках. «Милости просим, милости просим! — закричал ему навстречу Ар....— По местам, господа!.. Посмотрим, Р..., чем-то ты нас обрадуешь!.. Столько ли твоя пиеса наделает между нами толков, споров, шуму, вздохов и восклицаний, как вчерашняя Елена с прекрасными, а после просто с красными глазами!..» — «Ну, господа, овому талант, овому другой!.. Условия не было писать умно, красноречиво, трогательно, грубо, глупо, поразительно; а просто писать, то есть описать что-нибудь кто как умеет. Итак, вот мое приношение; чем богат, тем и рад! Прикажете читать?» «Как же, как же! — закричал шалун С.... ,— читай! Обещаем тебе самое молчаливое внимание и самое внимательное молчание...» — «Господи! какой враль! Перестань, ради бога не мешай!.. Начинай, Р....». Р.... вынул из принесенной тетради один только листок. Увидя это, С... всплеснул руками: «Ну, пропали мы!.. Верно, опять стихи!» — «Да уймись, С..., дай ему начать... Впрочем, Р...., надобно признаться, что тощая наружность твоего приношения невольно обезоруживает... Но читай, читай, пожалуйста!.. Извини!.. Молчим и слушаем!..» Р.... начал:

— «Чего мы не делаем, к чему не прибегаем, чтоб только сократить время: трубки, вино, карты, музыка, женщины — все мало!.. все еще остается два часа лишних!.. Лишних!.. С этим нечего шутить!.. Два лишних часа, если не будут убиты, могут убить, и это еще меньшее из зол, каких они бывают причиною.

Какой глупости не вздумает человек, имеющий пред собою два часа времени, которого не знает, куда девать, с кем провесть, кому посвятить; одним словом, не знает, куда деться с ним, куда убежать от него?.. Ах, время лишнее, время лишнее! никто не хочет обратить внимания на тебя; а ты-то и есть источник всяческого зла, тебя-то и подстерегает враг рода человеческого, чтоб развернуть пред глазами праздного ума необозримый свиток обольщений всякого рода, вида, сорта, пола, цвета, возраста и количества!.. На нем купец находит для себя тот вид добросовестности, какой должно ему иметь, выхваляя покупателям доброту негодных товаров; погребщик — тайну подделывать дурное вино под хорошее так искусно, чтоб только одна расстройка здоровья употребляющих его давала им позднее понятие об этом; кокетка — тот взгляд, тот жест, которыми, употребя их вовремя и кстати, разоряет целые семейства и погружает их в бездну зол; полководец — ту проклятую мысль, что личная слава его должна быть им предпочтена славе отечества; наш Кордин — смету, что даром выкормит свою четверню башкирских жеребцов; Арский — те стихи, которыми убивает все, исключая времени, и, наконец, я, ваш покорнейший слуга, отыскал там вот эту галиматью, которую и имею честь представить вам на суд».

— Как! уже и конец?

— Конец. Воображение мое отказалось служить мне далее.

— Вот, что называется, поддел!.. Что ж теперь делать?.. Вечер только что начался; у нас уже не два часа лишних, а целых шесть!.. Ну, Р.... , ты, который так хорошо разрисовал свиток сатаны, поищи на нем, куда нам девать, в чем провесть большую часть вечера?

Р.... подумал с полминуты.

— Извольте, нашел! Поедемте к Морозинскому: у него сегодня танцуют. Там будет красоточка, Варинька.

— С уважением, Р...., с уважением! Разве не видишь, как Дем.... вспыхнул?..

— При имени Вариньки? Нет, не этому божеству

он поклоняется. «Смугла, свежа, румяна его прелестная Татьяна!»

— А! так вот перед каким огнем тает его сердце! Вкус не дурен! Прекрасная Негритяночка может хоть кому вскружить голову.

— Однако ж, воля ваша, господа, она уж чересчур смугла.

— Вот, чересчур смугла!.. Это, брат, будет приметно не прежде, как через пятнадцать лет; а теперь она с своими шестнадцатью годами, розовыми щеками, пунцовыми губами, черными, блестящими глазами и прекрасными жемчужными зубами, теперь она бела, как лилия!..

— Ну, так что ж, господа, ехать так ехать!.. Полно вам рисовать красавиц, каких нет в натуре!.. Ваши описания перевернули и мой старый мозг вверх дном! Хочу увидеть эту Аравитскую лилию. Едем!

Это говорил Д.б.р.н.к.й, шестидесятилетний венгерец; он только что допил третий стакан пуншу, стукнул им по столу и хотел было реситировать похвалу выпитому нектару, но никак не мог склеить в памяти своей послания *Давыдова* к *Бурцову*, где говорится что-то о шести стаканах пуншевых, в которых сокрыт небесный дар или жар — не помню и я так же, как Д.б.р.н.к.й.

— Едем, молодежь! — повторил старый ротмистр, вставая и вытирая платком усы, на которых блистали еще капли пунша.

— Как! и почтенные седины венгерские едут с нами? Бравый ротмистр наш хочет взять участие в этой ловле нежных вздохов и пламенных взглядов?.. А за эту честь мы все даем слово уступить ему место подле прелестной Негритянки на целый час...

— Да, если она просидит только на месте целый час.

ДВЕ КНИГИ[1]

В заключительных строках своей автобиографии Денис Давыдов писал: «Кочуя и сражаясь тридцать лет с людьми, посвятившими себя исключительно военному ремеслу, он в то же время занимает не последнее место в словесности между людьми, посвятившими себя исключительно словесности».

То же самое могла бы сказать о себе и Надежда Дурова.

Они были современниками — прославленный герой Отечественной войны 1812 года, один из известнейших поэтов пушкинской поры и знаменитая «кавалерист-девица», чья удивительная судьба еще при ее жизни стала легендой. Они не были знакомы между собой, хотя, несомненно, и слышали друг о друге и даже встречались не однажды на тех многих дорогах, которыми вела их военная судьба. Но они были писателями, они написали замечательные книги, и книги эти отразили в себе несравненно более общего, чем имели между собой в жизни их авторы.

Пути и судьбы их были резко различны.

Аристократ, барин, блестящий гусар и «модный» поэт, Денис Давыдов уже в юности познал, что такое успех в обществе и громкая литературная известность. Повсюду — и в пышных светских салонах, и на веселых гусарских пирушках, и среди виднейших русских литераторов, которые почти все были его друзьями или приятелями,— везде он был, что называется, свой человек, желанный гость, признанный авторитет. Его стихи звучали и в великосветских гостиных, и в солдатских казармах, его эпиграммы ходили по Петербургу в десятках списков, его шутки и остроты повторялись на каждом шагу (одну из них сам Пушкин поставил через много лет эпиграфом ко второй главе «Пиковой дамы»). Словом, это был совершеннейший гусар — и в жизни, и в поэзии. В иных своих стихах он, впрочем, заходил подчас слишком далеко, и «аттическая соль» великосветской эпиграммы пре-

---

[1]

вращалась тогда в тонкий яд политической сатиры. Таковы, например, были две его басни — «Голова и Ноги» и «Орлица, Турухтан и Тетерев» (1803). Басни эти ходили в списках, и ко второй из них один благонамеренный современник сделал весьма характерное примечание: «Сие, хотя ловко сочиненное, но дерзкое и ядом и злостью дышащее и сожжения достойное стихоплетение пошло в народе в начале 1805 года. О сочинителе всеобщая молва носилась, что был он некто г. Давыдов, человек острый, молодой, но привыкнувший к таковым злословиям. И за сие будто бы был наказан ссылкою в Сибирь, чего он по всей справедливости был и достоин».

Насчет «Сибири» благонамеренный читатель ошибался, но была в его словах и своя доля правды: басни стали известны при дворе, и юному их автору пришлось сменить пышный кавалергардский мундир на ментик армейского гусарского полка, квартировавшего в Киевской губернии. Через два года с помощью влиятельных друзей ему, правда, удалось вновь перевестись в гвардию, но этих «вольтерьянских» стихов двор не прощал ему до конца жизни.

В 1806 году начинается боевой путь Дениса Давыдова. Он участвует во многих знаменитых сражениях, проявляя замечательную храбрость и блестящий военный талант, его ценят и высоко отзываются о нем крупнейшие полководцы того времени — Багратион, Кульнев, Кутузов.

Давыдов любил повторять, что он «поэт не по рифмам и стопам, а по чувству» и прежде всего «по залету и отважности его военных действий». Таким он был всегда. Однако с особой яркостью, с особым блеском эта его черта проявилась в Отечественной войне 1812 года, когда во главе крупных партизанских отрядов он совершал дерзкие рейды по тылам наполеоновской армии и одержал целый ряд блистательных побед. Молва о его подвигах шла по всей России. Громкая известность «поэта-гусара» переросла в широчайшую славу национального героя. В знаменитой портретной галерее Зимнего дворца, посвященной героям 1812 года, портрет Дениса Давыдова занимает достойное место.

Выдающимся литературным фактом стали и его военные записки. Написанные непосредственным участником великих событий, они соединили в себе неотразимую достоверность исторического документа и замечательную выразительность художественного повествования. «Предоставляем военным людям судить о военном достоинстве этих статей,— писал о них В. Г. Белинский,— что же касается до литературного, с этой стороны они — перлы нашей бедной литературы: живое изложение, доступность для

всех и каждого, интерес, слог его, быстрый, живописный, простой и благородный, прекрасный, поэтический! Как прозаик, Давыдов имеет полное право стоять наряду с лучшими прозаиками русской литературы».

Первые отрывки из военных записок печатались в различных журналах в середине 1830-х годов. В то же самое время (1836) вышла в свет и другая книга — книга, о которой сразу же заговорили все. Это была книга Надежды Дуровой «Кавалерист-девица. Происшествие в России», позднее получившая название «Записки кавалерист-девицы».

Книга не случайно имела такой подзаголовок — «Происшествие в России». Написанная в жанре обычных военных мемуаров, повествуя о многочисленных походах и сражениях, участником которых был ее автор (и с этой стороны близко напоминая военные записки Давыдова), книга Дуровой, однако, имела в виду какую-то совершенно особую цель, какую-то особую мысль, которая должна была заставить читателя воспринимать повествование не просто как рассказ о походах и сражениях, а как нечто цельное, пронизанное единым художественным замыслом. «Происшествием» была сама жизнь Надежды Дуровой, сама ее судьба. Происшествием невиданным, неслыханным — таким, сама исключительность которого заставляет задуматься о многом и многом.

Надежда Андреевна Дурова родилась в 1783 году. Отец ее, обедневший дворянин, офицер армейского гусарского полка, по выходе в 1789 году в отставку получил должность городничего и поселился в захолустном городке Сарапуле Вятской губернии. До шестилетнего возраста единственным «гувернером» будущей писательницы был «фланговый гусар» Астахов. Итогом этого воспитания было то, что к шести годам девочка «знала твердо все командные слова, любила до безумия лошадей», «бегала и скакала по горнице во всех направлениях, кричала во весь голос: „Эскадрон! направо заезжай! с места! марш-марш!"».

Подобные наклонности, конечно, сыграли определенную роль в дальнейшей судьбе Дуровой. Однако главное было все же в другом. Главное было в той общей атмосфере духовно-нравственного гнета, которая окружала молодую девушку в родительском доме и которая (догадываться об этом Дурова начала очень рано) была связана с какими-то еще более общими социальными причинами. «Может быть,— пишет Дурова,— я забыла бы наконец все свои гусарские замашки и сделалась обыкновенною девицею, как и все, если б мать моя не представляла в самом безотрадном свете участь женщины. Она говорила при мне в самых обидных выражениях о судьбе этого пола: женщина, по ее мне-

нию, должна родиться, жить и умереть в рабстве; что вечная неволя, тягостная зависимость и всякого рода угнетение есть ее доля от колыбели до могилы <...>; что, одним словом, женщина самое несчастное, самое ничтожное и самое презренное творение на свете!» Натура гордая и самолюбивая, личность самобытная и деятельная, Дурова не может примириться с такой печальной участью. И она решается на отчаянно смелый шаг: ночью 17 сентября 1806 года она тайно покидает родительский дом и под именем Александра Соколова присоединяется к казачьему полку, идущему на Дон. Весной 1807 года под именем того же Соколова она вступает в Коннопольский уланский полк и уже в мае принимает участие в боевых действиях против наполеоновских войск. Она участвует в крупных сражениях под Гутштатом и Фридландом, проявляет незаурядную храбрость и воинское умение, за что вскоре получает Георгиевский крест из рук самого царя. Прослужив некоторое время в одном из самых «престижных» гусарских полков (Мариупольском), куда была определена по распоряжению царя, Дурова затем вновь перевелась в уланы, в Литовский полк, с которым в Отечественную войну прошла многотрудный боевой путь от Немана до Бородина.

О своем литературном призвании Надежда Дурова начала думать еще в ранней молодости. Первые ее опыты в этой области были, надо полагать, не слишком самостоятельны, да и времени у нее на них, по условиям ее жизни, было не много. Однако писатель, вдумчивый, зоркий художник, жил в ней всегда. И, выйдя в 1816 году в отставку, Дурова обратилась к литературным занятиям со всею присущей ей энергией и настойчивостью.

В своих многолетних походах она вела записки, нечто вроде дневника. Писательское чутье подсказало ей, что это и есть тот первостепенной значимости материал, который лучше всяких беллетристических вымыслов расскажет современникам о действительной жизни, о ее важнейших нравственно-социальных проблемах. Духовный мир молодого современника, драматизм и поэзия его нравственного поиска, ставшего подвигом,— вот та мысль, которая легла в основу ее первой книги. Эту особенность таланта Дуровой тонко уловил В. Г. Белинский. «Боже мой, что за чудный, что за дивный феномен нравственного мира героиня этих записок, с ее юношескою проказливостью, рыцарским духом <...>, с ее глубоким поэтическим чувством, с ее грустным, тоскливым порыванием на раздолье военной жизни...» «И что за язык, что за слог у Девицы-кавалериста! Кажется, сам Пушкин отдал ей свое прозаическое перо, и ему-то обязана она этою мужественною твердостию и силою, этою яркою выразительностью своего слога,

этою живописною увлекательностию своего рассказа, всегда полного, проникнутого какою-то скрытою мыслию».

«Записки кавалерист-девицы» были вершиной писательского успеха Дуровой, самой яркой страницей ее литературной биографии. Впоследствии она написала еще несколько повестей и рассказов, но особенного признания они не получили за исключением повести «Год жизни в Петербурге, или Невыгоды третьего посещения», в которой писательница рассказала о своих встречах с Пушкиным, о том, какое горячее участие принимал великий поэт в издании ее знаменитой первой книги. Умерла Н. А. Дурова в 1866 году.

Литературное наследие Дениса Давыдова и Надежды Дуровой нынешнему читателю известно не слишком широко. В полном объеме с ним знакомы лишь более или менее узкие специалисты. Но о главных книгах этих замечательных русских писателей читатель навсегда сохранит благодарную память.

Л. И. Емельянов

ПРИМЕЧАНИЯ

ДЕНИС ДАВЫДОВ

Стихотворения

Орлица, Турухтан и Тетерев (с. 9). В басне, получившей большую популярность у современников и распространявшейся в списках, под Орлицей подразумевается Екатерина II, в образах Турухтана и Тетерева выведены соответственно Павел I и Александр I.

Бурцову. Призывание на пунш (с. 12). *Бурцов* Алексей Петрович, сослуживец и друг Давыдова, гусарский офицер (ум. в 1813 г.).

«Поведай подвиги усатого героя...» (с. 21). *Кульнев* Яков Петрович (1763—1812), русский генерал, известный своим личным мужеством. Под его началом Давыдов служил в Финляндии в 1808—1809 гг.

Графу П. А. Строганову (с. 23) — *Строганов* Павел Александрович, генерал (1774—1817).

Вольный перевод из Парни (с. 39) — *Парни* Эварист (1753—1814), известный французский поэт, популярный в России в начале XIX века, автор поэмы «Война богов».

На смерть NN (с. 48). Название не соответствует настоящему смыслу стихотворения, написанного в связи с увольнением генерала А. П. Ермолова (1777—1861), друга и родственника Давыдова, с должности главнокомандующего в Грузии.

Зайцевскому, поэту-моряку (с. 49) — *Зайцевский* Ефим Петрович (1800—1861), морской офицер. Во время штурма Варны в русско-турецкую войну 1828 г. первым ворвался в крепость, был тяжело ранен.

Современная песня (с. 65). *Филипп Филиппыч-клоп* — имеется в виду мемуарист Ф. Ф. Вигель (1786—1856); *маленький аббатик* — сатирическое изображение Петра Яковлевича Чаадаева (1794—1856), русского мыслителя, одного из идеологов «западничества», тяготевшего к католицизму.

В. П. Коркия

Проза

Некоторые черты из жизни
Дениса Васильевича Давыдова

С. 70. *...в год смерти Дениса Дидерота.*— Речь идет о французском писателе Дени Дидро (1713—1784). *Между порошами и брызгами* — то есть между зимней и весенней охотой.

С. 72. *...писал мыслете.*— Здесь: был пьяным. *...Делиеву басню...*— речь идет о французском поэте и переводчике Ж. Э. Делиле (1738—1813).

С. 74. *Блюхер* Гебхарт Лебрехт (1742—1819) — прусский генерал-фельдмаршал, командовавший в 1813 году объединенными русско-прусскими войсками в Силезии.

С. 76. *Глазунов* Илья Иванович (1786—1842) — петербургский книгопродавец и издатель.

С. 77. *«Мнемозина»* — московский литературный альманах (1824—1825), издававшийся В. К. Кюхельбекером и В. Ф. Одоевским. *«Соревнователь просвещения»* — петербургский ежемесячный журнал, издававшийся Вольным обществом любителей российской словесности в 1818—1825 гг. *«Амфион»* — один из многочисленных литературных альманахов 1820—1830 гг. Здесь печатал свои стихотворения сам Д. Давыдов.

С. 78. *...как кагульских, как очаковских инвалидов-героев...*— В русско-турецких сражениях при Кагуле и Очакове в 1770 и в 1788 гг. русские одержали крупные победы. *...забалканских и варшавских щеголей-победителей!* — Намек на николаевских военачальников Ивана Ивановича Дибича-Забалканского (1785—1831) и Ивана Федоровича Паскевича (1782—1856).

С. 79. *...пел ...как на костре тамплиер Моле, объятый пламенем.*— В 1310 г. магистр ордена тамплиеров Жак де Моле вместе со своими соратниками был казнен Филиппом IV Красивым по обвинению в ереси.

Встреча с великим Суворовым (1793)

С. 80. *Суворов Александр Аркадьевич* (1804—1882) — внук А. В. Суворова.

С. 82. *...насмешками, достойными Аристофана и Пирона.*— Речь идет об «отце комедии», древнегреческом поэте Аристофане (ок. 445 — ок. 385 до н. э.) и французском поэте и драматурге Алексисе Пироне (1689—1773), авторе едких эпиграмм.

С. 83. *Прага* — здесь: предместье Варшавы.

С. 95. *Лафатер* Иоганн Каспар (1741—1801) — швейцарский писатель, автор трактата «Физиогномические фрагменты...».

Встреча с фельдмаршалом графом Каменским (1806)

С. 102. *Эскадронный командир.*— Речь идет о Б. А. Четвертинском. *...весть о разбитии прусской армии под Иеной.*— В начале октября 1806 г. Пруссия потребовала у Наполеона отвести войска от ее границы. Наполеон в ответ на это перешел границу и 14 октября в сражении при Иене и Ауэрштадте нанес Пруссии сокрушительный удар.

С. 104. *Абеллино* — герой мелодрамы швейцарского драматурга Г. Цшоке (1771—1848) «Абеллино — страшный разбойник» (1793), шедшей на русской сцене в начале XIX в. *Фра-Диаволо* (Брат дьявола) — разбойник, постоянно менявший обличье, персонаж комической оперы Д. Ф. Э. Обера на либретто Э. Скриба.

С. 112. *...переменить красную ленту на голубую, голубую на полосатую!* — Речь идет об орденских лентах александровской (красной), андреевской (голубой), георгиевской (черно-желтой, полосатой).

С. 114. *Корф* Федор Карлович (1774—1826) — генерал, в 1812 г. командовал корпусом.

Дневник партизанских действий 1812 года

Настоящий дневник представляет собой вторую часть военных записок «1812 год».

С. 187. *Ростопчин* Федор Васильевич (1763—1826) — московский генерал-губернатор.

С. 188. *Раевский* Николай Николаевич (1771—1829) — генерал, в 1812 г. командовал корпусом.

С. 189. *Тучков* Николай Иванович (1765—1812) — генерал, в 1812 г. командовал корпусом. Погиб от раны, полученной в Бородинском сражении. *Коновницын* Петр Петрович (1764—1822) — генерал. В начале войны 1812 г. командовал пехотной дивизией; во время Бородинского сражения после ранения Багратиона принял командование 2-й армией; с сентября 1812 г. дежурный генерал при Кутузове

С. 190. *Милорадович* Михаил Андреевич (1771—1825) — генерал, в 1812 г. командовал авангардом преследования наполеоновской армии.

С. 219. *Дохтуров* Дмитрий Сергеевич (1756—1816) — генерал, участник войны 1805—1807 гг., один из виднейших военачальников в Отечественной войне 1812 г.

С. 231. *Ожаровский* Адам Петрович (1776—1855) — генерал, в 1812 г. командовал корпусом.

С. 262. *Сакен* (Остен-Сакен) Фабиан Вильгельмович (1752—1837) — генерал, в 1812 г. командовал корпусом. *Защитник Петрополя* — генерал Петр Хрисанфович Витгенштейн (1769—1843), который в 1812 г. командовал корпусом на петербургском направлении.

С. 263. *Удино* Никола Шарль (1767—1847) — маршал Франции, в 1812 г. командовал корпусом, действовавшим на петербургском направлении.

С. 264. *Чаплиц* Ефим Игнатьевич (1768—1826) — генерал.

С. 273. *Роберт Вильсон* представлял Англию при главной квартире русской армии. *Взаимное дипломатическое неудовольствие* объясняется враждебностью, которую проявлял Вильсон по отношению к Кутузову.

С. 276. *Ланской* Сергей Николаевич (1774—1814) — генерал; во время контрнаступления 1812 г. командовал отрядом в главном авангарде русской армии.

С. 278—279. *...о желании светлейшего видеть войска наши в добром сношении с австрийцами.*— Подразумеваются тайные контакты Австрии с Россией, существовавшие вопреки военному союзу Австрии с Францией.

С. 290. *Волконский* Петр Михайлович (1776—1852) — генерал.

С. 305. *Кутайсов* Александр Иванович (1784—1812) — генерал, в 1812 г. командовал артиллерией 1-й армии; убит в Бородинском сражении.

С. 307. *Принц Евгений Виртембергский* (1788—1858) — генерал русской службы, племянник императрицы Марии Федоровны. *Принц Александр Виртембергский* (1771—1825) — генерал на русской службе, брат императрицы Марии Федоровны. *Остерман*

(Остерман-Толстой) Александр Иванович (1770—1857) — генерал, в 1812 г. командовал корпусом.

С. 310. *Аракчеев* Алексей Андреевич (1769—1834) — генерал, с 1808 г. военный министр, председатель военного департамента Государственного Совета.

С. 311. *Тормасов* Александр Петрович (1752—1819) — генерал, в 1812 г. командовал 3-й армией; с сентября 1812 г. занимался комплектованием и подготовкой русских войск к контрнаступлению.

С. 312. *Багговут* Карл Федорович (1761—1812) — генерал. Погиб в Тарутинском сражении.

С. 314. *Уваров* Федор Петрович (1773—1824) — генерал, в 1812 г. командовал кавалерийским корпусом, участник сражений под Бородином, Тарутином и Малоярославцем.

НАДЕЖДА ДУРОВА

Записки кавалерист-девицы

С. 336. *...ехали на протяжных...* — т. е. не переменяя лошадей.

С. 338. *Чекмень* — мундир казачьего офицера.

С. 340. *Вальтрап* — суконное покрывало на седло.

С. 348. *Атаманский полк* казаков соответствовал гвардии регулярного войска.

С. 352. *Юнкер* — здесь: доброволец из дворян, исполнявший офицерские обязанности и впоследствии получавший офицерский чин.

С. 353. *Портупей-юнкер* — это звание присваивалось лицам, выдержавшим экзамен на офицера, но еще не произведенным в офицерский чин.

С. 360. *Клепало* — доска, в которую бил сторож, указывая время дня и ночи.

С. 361. *Саква* — дорожная кожаная сумка.

С. 365. *Егеря* — легкая пехота. *Ведеты* — парные посты, выставляемые для охранения полевых караулов.

С. 373. *Вагенбург* — здесь: военный обоз.

С. 374. *Фридланд* — речь идет о проигранной русскими битве под Фридландом 2(14) июня 1807 г.

С. 387. *Буксгевден* Федор Федорович (1750—1811) — немецкий генерал на русской службе; в начале войны 1805—1807 гг. командовал корпусом; после Тильзитского мира — главнокомандующий русской армией.

С. 393. *Ливен* Христофор Андреевич (1777—1838) — князь, генерал, начальник военно-походной канцелярии Александра I.

С. 394. *...изображение Клеопатры...* — Имеется в виду полотно французского художника П. Миньяра (1612—1695) «Смерть Клеопатры». *«Русалка»* — романтическая опера С. И. Давыдова «Леста — днепровская русалка» (1805).

С. 395. *Китайские тени* показывались с помощью так называемого волшебного фонаря, служившего для перевода на экран в увеличенном виде изображений, сделанных на стекле.

С. 400. *Константин Павлович* (1779—1831) — брат Александра I, фактический наместник Королевства Польского. *Старостина* — владелица государственной земли, пожалованной представителю дворянского рода за заслуги.

С. 404. *Дулам, дуломан* — короткая гусарская куртка.

С. 406. *Миллер-Закомельский* Петр Иванович (1755—1823) — генерал от артиллерии.

С. 428. *Тротировал* — пускался тихой рысью.

С. 432. *...и я, как Курций, слетела вместе с лошадью в эту пропасть!* — Согласно преданию, в 362 г. до н. э. в центре римского форума вдруг разверзлась бездонная пропасть. Прорицатель возвестил, что заполнить ее может лишь лучшее достояние Рима. Тогда доблестный юноша Курций, воскликнув: «Нет лучшего достояния в Риме, чем оружие и храбрость!», бросился в пропасть и она сомкнулась над ним.

С. 434. *«Федра»* — трагедия французского драматурга Ж. Расина (1677).

С. 442. *Колет* — короткая форменная куртка в кирасирских полках. *Тутолмин* Павел Васильевич (1773—1837) — генерал, командир Литовского уланского полка.

С. 444. *Эротиада* — производное от имени Эрота (Эроса, греч.), бога любви.

С. 446. *Армида* — прекрасная волшебница, героиня поэмы итальянского поэта Т. Тассо (1544—1595) «Освобожденный Иерусалим».

С. 448. *...о котором писал Коцебу...* — Речь идет об автобиографическом сочинении «Достопамятный год моей жизни» (1801) немецкого драматурга А. Ф. фон Коцебу (1761—1819). В 1800 г. Коцебу приехал в Россию, был арестован по подозрению в шпионаже и сослан в Сибирь.

С. 453. *Сивилла* — здесь: колдунья, волшебница (по имени легендарных женщин-прорицательниц). *...Ариадна на острове Наксосе...* — Греческий миф гласит, что Ариадна помогла Тесею победить Минотавра, но, увезенная им на остров Наксос, была им покинута.

С. 455. *Ташка* — кожаная сумка на ремнях.

С. 456. *Подкоморный* — в Польше и Литве высшая судебная должность.

С. 460. *Баранта* — здесь: грабеж.

С. 461. *...Наполеон вступил в границы наши...* — Армия Наполеона начала переправу через Неман 11(23) июня 1812 г., т. е. за два дня до официального объявления русского правительства о начале войны.

С. 468. *...молитва Старна перед жертвенником Одена...* — Речь идет о трагедии В. А. Озерова «Фингал» (1805).

С. 503. *Хитров* (Хитрово) Николай Захарович (1779 — ок. 1826) — генерал-майор.

С. 507. *Кологривов* Андрей Семенович (1775—1825) — генерал, с октября 1812 г ведавший формированием кавалерийского резерва.

С. 511. *Арчак* — деревянная основа седла.

С. 512. *Клейнмихель* Андрей Андреевич (1758—1815) — генерал-лейтенант, в 1818 г. занимавшийся формированием пехотных полков.

С. 524. *Ганзеатических войск* — войск немецких земель (Ганза — союз северонемецких городов, возникший в средние века).

С. 532. *Филлида* — греческий миф рассказывает о фракийской царевне Филлиде, ожидавшей своего жениха Демофонта, не вернувшегося к назначенному сроку. В отчаянии Филлида повесилась и была превращена в миндальное дерево; возвратившийся Демофонт обнял ствол дерева, и оно расцвело.

С. 546. *Перетта* (Пьеретта) — персонаж народной французской и итальянской комедии.

С. 552. *...восклицал, как Абелард...*— Французский философ и поэт Пьер Абеляр (1079—1142), не получив согласия на брак со своей возлюбленной Элоизой, удалился в монастырь.

С. 553. *...на Сенной площади ...картина фламандской школы...*— Сравнение петербургской Сенной площади (ныне пл. Мира), на которой велась торговля сеном, соломой, дровами, с бытовой живописью художников фламандской школы — Д. Теньером (младшим), П. Рубенсом, Ф. Снейдерсом и др.

С. 554. *Храповицкая* — жена командира Измайловского полка генерала Матвея Евграфовича Храповицкого (1784—1847) сопровождала мужа во время войны 1812 г. и заграничных походов и получила медаль «За взятие Парижа».

С. 559. *Ордонанс-гауз* — гауптвахта.

С. 562. *Радклиф* Анна (1764—1823) — английская писательница, автор «готических» романов, полных тайн, кошмаров и ужасов.

С. 567. *«Мельник»* — комическая опера М. М. Соколовского и Е. И. Фомина «Мельник, колдун, обманщик и сват» по пьесе А. О. Аблесимова (1742—1783).

Л. И. Емельянов

Добавление к «Кавалерист-девице»

С. 581. *Плащеватая цыганка* — «(южное) поколение нищих, полунагих и вечно бродячих цыган» (*Даль В. И.* Толковый словарь русского языка).

С. 588—589. *...вместо саней, выходила кошурка!* — Гадание заключается в том, что девушки вынимают из блюда, покрытого платком, свои кольца, положенные туда заранее, и поют особые (подблюдные) песни; из того, под какую песню чье кольцо вынется, заключают о дальнейшей судьбе. Каждая песня имеет свое значение. Так, «кошурка» («Зовет кот кошурку в печурку спать...») означает скорое замужество; «сани» («Стоят сани снаряженные, и полостью они подернуты, только сесть в сани да поехати») — дорогу.

С. 600. *Ян Собиесский* — Ян Собесский (1629—1696) — польский полководец; после победы в 1673 г. над турками у Хотина с 1674 г.— король (под именем Яна III). *Валленрод* Конрад (ум. в 1393 г.) — гроссмейстер Тевтонского ордена, воевал против Литвы и Польши. Предание сделало из него литвина, который вступил в орден, чтобы отомстить ему за разорение родины. Таким Валленрод представлен в поэме А. Мицкевича «Конрад Вал-

ленрод» (1827). *Альдона* — дочь литовского князя Кейстута (XIV в.), жена Конрада Валленрода.

С. 609. *...еще во время Литвы...* — т. е. во времена Великого княжества Литовского, существовавшего с начала XIII в. до 1569 г., когда оно объединилось с Польшей в одно государство — Речь Посполитую.

С. 611. *...ей должно, как ученику Пифагора, осудить себя на молчание...* — Пифагор (VI в. до н. э.) — древнегреческий философ, математик, религиозный и политический деятель. Ученики Пифагора (пифагорийцы) разработали сложную систему культовых запретов.

С. 616. *Паллада* — одно из имен древнегреческой богини-воительницы Афины, которая также считалась богиней мудрости и покровительницей наук, здесь: кличка лошади. *Жернов Сизифа, Сизиф* — в древнегреческой мифологии царь Коринфа, приговоренный за обман богов вечно вкатывать в гору тяжелый камень, тут же скатывающийся обратно. *Сизифов труд* — тяжелая, бесплодная работа.

С. 617. *Кастор* — в древнегреческой мифологии один из двух сыновей-близнецов Зевса и Леды, здесь: кличка лошади.

С. 620. *...описание жизни Елены Г**** — повесть Н. А. Дуровой «Игра судьбы, или Противозаконная любовь. Истинное происшествие, случившееся на родине автора».

С. 623. *Хочу увидеть эту Аравитскую лилию.* — Правильнее: Аравийскую — т. е. жительницу Аравийской пустыни в северо-восточной Африке. *...послания Давыдова к Бурцову, где говорится что-то о шести стаканах пуншевых, в которых сокрыт небесный дар или жар...* — Имеется в виду стихотворение Д. В. Давыдова (1784—1839) «Бурцову. Призывание на пунш» (1804):

На столе стоят ужасных
Пять стаканов пуншевых!
Они полны, уверяю,
В них сокрыт небесный жар.

Вл. Муравьев

СОДЕРЖАНИЕ

ДЕНИС ДАВЫДОВ

Стихотворения

Проза

НАДЕЖДА ДУРОВА

Записки кавалерист-девицы

Часть I

Часть II

Добавление к «Кавалерист-девице»

Д 13 **Давыдов Д. В.** Стихотворения. Проза. **Дурова Н. А.** Записки кавалерист-девицы / Сост., В. П. Коркия; Послесл. Л. И. Емельянова; Прим. В. П. Коркия, Л. И. Емельянова, Вл. Б. Муравьева.— М.; Правда, 1987.— 640 с.

В настоящий сборник, посвященный 175-летнему юбилею Отечественной войны 1812 г., включены произведения Д. В. Давыдова (1784—1839) и «Записки кавалерист-девицы» Н. А. Дуровой (1783—1866).

Д $\frac{4702010100 - 1295}{080(02) - 87}$ 1295 — 87 84 Р 1

Денис Васильевич ДАВЫДОВ

СТИХОТВОРЕНИЯ. ПРОЗА

Надежда Андреевна ДУРОВА

ЗАПИСКИ КАВАЛЕРИСТ-ДЕВИЦЫ

Составитель
Виктор Платонович Коркия

Редактор
Е. М. Кострова

Оформление художников
А. В. Озеревской, А. Т. Яковлева

Художественный редактор
Н. Н. Каминская

Технический редактор
Т. Б. Слизун

ИБ 1295

Сдано в набор 25.06.86. Подписано к печати 25.08.86.
Формат 84x108 1/32. Бумага кн.-журн.
Гарнитура «Литературная». Печать высокая.
Усл. печ. л. 33,60. Усл. кр.-отт. 33,60. Уч.-изд. л. 33,79
Тираж 500000 экз. (3-й завод: 250001—375000 экз.).
Заказ № 64 Цена 3 руб.

Набрано и сматрицировано в ордена Ленина и ордена
Октябрьской Революции типографии
имени В. И. Ленина издательства ЦК КПСС «Правда».
125865 ГСП. Москва, А-137, улица «Правды», 24.

Отпечатано в типографии изд-ва «Подилля»
Хмельницкого обкома Компартии Украины.
г. Хмельницкий, проспект Мира, 59.



Денис Давыдов

Сочи-
нения

Надежда Дурова